ISSN 0130 – 6545

10.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Цветные иллюстрации номера — детали оформления общественных зданий, выполненные художниками ГДР

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

10 Октябрь 1979

Содержание

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ — Солдат и женщина *(Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Вступление автора)* 3

АНХЕЛЬ МАРИЯ ДЕ ЛЕРА — Продается человек *(Роман. Перевод с испанского Вероники Спасской)* 76

РИЧАРД УИЛБЕР — Стихи *(Перевод с английского Андрея Сергеева. Вступление А. Зверева)* 111

КРИСТЕР ЧИЛЬМАН — Милейший принц *(Роман. Окончание. Перевод со шведского Л. Горлиной. Послесловие Евг. Долматовского)* 117

Критика

Е. КНИПОВИЧ — Историческая сознательность художника (Заметки о творчестве Германа Канта) 195

Сопоставляя точки зрения

Кризисные семидесятые? (Беседа в редакции: «Основные тенденции в современной литературе Англии и США») 201

Писатель и время

АМРИТА ПРИТАМ — Преодоление *(Перевод с панджаби и вступление И. Серебрякова)* 215

Культура и современность

Заметки на полях

Т. Р.— «Последовательность Паркинсона» 222

Публицистика

София-79: мир — надежда планеты
Из материалов второй Международной писательской встречи 225

Наши публикации

ЦЮЙ ЦЮБО — Вперед, в Красную столицу! (Из книги «Путевые заметки о новой России», 1922 г. *Перевод с китайского и вступление М. Шнейдера)* 244

Антирубрика

ВИДИА НАЙПОЛ — Записки ночного портье *(Перевод с английского Людмилы Биндеман)* 251

Наши гости

Г. Смирнов — Альдо Де Яко, Элио Филиппо Аккрокка (Италия) 255
С. Ильинская — Василис Василикос (Греция) 257

Среди книг

Издано в СССР

В. Коркин — Выразить невыразимое ✦ А. Бочаров — Грустная улыбка Делибеса ✦ Воображение и реальность (Интервью Бернара Клавеля) 259

Издано за рубежом

Н. Литвинец — Монолог рабочего Пауля ✦ Г. Ратгауз — Два поэта ✦ Л. Черкасский — Новая поэма Ай Цина ✦ В. Валицкий — Пекин и научная фантастика ✦ Д. Затонский — Почему Зигмунт Рогалла сжег свой музей? 264

Из месяца в месяц 272

Авторы этого номера 287

На обложке: панно «Человек и пространство». Работа коллектива авторов под руководством профессора ВАЛЬТЕРА ВОМАКИ (ГДР).

© «Иностранная литература», 1979.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ

Солдат и женщина

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого С. ФРИДЛЯНД

Несколько слов от автора советским читателям

Мне повезло в жизни. Будучи немцем 1921 года рождения, я впервые вступил на землю легендарного и героического города на Волге лишь в 1974 году. Но в подобном везении нет моей заслуги. Я вполне мог вступить на землю этого города тридцатью двумя годами раньше. Подчиняясь приказу. Как оккупант. Я был солдатом, служил в фашистской военной авиации, был правоверным воякой. И это мое далекое «я» могло уже давно обратиться в прах и порасти травой забвения и справедливости.

По-настоящему мне повезло после войны, когда я получил возможность по-новому, с антифашистских позиций взглянуть на мир, научился этому сам и начал учить других. По-настоящему мне повезло потому, что я помогал строить другую, социалистическую Германию. И тем не менее: здесь, на волжском берегу, где произошло решающее сражение войны, передо мной еще раз мучительным видением встало то мое далекое «я», тот глупый, правоверный вояка. На берегу, перед лестницей, у мельницы, на Мамаевом кургане мне все чудилось, будто я слышу, как немецкие глотки горланят песню:

Когда нас флаг зовет вперед,
Плевать, куда наш путь ведет...

Ни одному человеку не дано полностью зачеркнуть какую-то часть своей прежней жизни, даже когда его теперешние взгляды диаметрально противоположны прежним. С этими мыслями я спускался с Мамаева кургана, окруженный людьми, для которых эта война была войной за правое дело и которые были приветливы со мной. Я же был одновременно и то, далекое «я» и это, близкое, я был членом делегации зарубежных гостей, приехавших на празднование сорокалетия со дня образования Союза советских писателей. Человек из Москвы, которого я хорошо знаю и который хорошо знает мою жизнь, шел рядом со мной. Возможно, он почувствовал, что творится в душе его немецкого спутника. Он сказал: «Не забудь про ступеньки». А больше ничего не сказал.

Уже перед самым отъездом из города я услышал рассказ — без имен, без подробностей — о женщине из разоренной деревни, которая вытребовала себе немецкого военнопленного как рабочую силу, а впоследствии вышла за него замуж. Должен признаться, этот рассказ избавил меня от внезапно нахлынувших видений прошлого. Но я понимал, что немногие известные мне факты, которые скорее мешают, нежели помогают понять необычные, нетипические судьбы, для советских людей могут прозвучать совсем иначе, чем для меня.

Вернувшись в Москву, я рассказал обо всем Константину Симонову. Он согласился со мной, что эта история и в самом деле может породить двоякие отклики, независимо от литературно-эстетической подачи материала. И посоветовал, если я решусь излагать эту историю, излагать ее вольно, не доискиваясь прототипов. Я последовал его совету, не предпринимая дальнейших изысканий. Я рассказал все так, как это могло бы произойти. Возможно, я руководствовался лишь своими субъективными представлениями. Возможно, я порой сохранял верность действительности, порой вольно с ней обращался.

И все время, пока я писал, в ушах у меня звучали слова моего спутника, сказанные на Мамаевом кургане: «Не забудь про ступеньки».

Июль 1979 года.

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ

Соотнесение времен

Среди обычного зимнего дня как-то неожиданно кончилось большое сражение. Едва отгремели последние залпы, так же неожиданно встала из речной долины, спустилась с изрытых холмов, проплыла вместе с облаками по недостижимо высокому небу над исстрелянным городом глубокая тишина.

Еще не ушли с позиций солдаты, а тишина уже затопила окопы, бункеры, огневые точки между развалин. Тот, кто оглядывался, уходя, с удивлением замечал, что за его спиной все переменилось, что глубокая тишина, единственно дающая нам возможность ощутить время, уже бесповоротно обратила в прошлое все, что еще мгновение назад вполне принадлежало настоящему, что можно было потрогать руками, что было тысячекратно до последней мелочи видено и в бинокль и невооруженным глазом. Тот же, кто оглядывался вторично, сразу или немного погодя, кто не довольствовался удивлением, которое вызывает у нас безмолвная власть времени, тот видел лишь, что время, подобно прибою, поднявшемуся из неведомых глубин, бьется о берега нашей жизни, что ни одна волна не похожа на другую, что ни одному чувству, ни одному впечатлению не дано повториться в точности.

■

Далеко в степи, где скоро уже три месяца, как сомкнулось в конце ноября кольцо вокруг немцев, где за несколько дней немецкий фронт понес на всем протяжении огромные потери, до сих пор в стороне от накатанных дорог лежали под открытым небом или под снегом убитые немцы. Вот сюда-то, в края, пораженные разрухой, голодом и холодом, были направлены поисковые и похоронные команды. Команды эти состояли из военнопленных, охрана при них была минимальная, и по сути дела они были предоставлены самим себе. Каждая отвечала за свой участок. На очистку его отводилось, смотря по размерам, от двух до трех недель. Снабжали их, в зависимости от отведенных сроков, одинаковым пайком и для конвоиров, и для арестантов. Пленные говорили по этому поводу, что у кого дырки в зубах, тому и глотать нечего — все в дырках остается. Закоченевшие трупы часто имели при себе подорожную, порой — это бывало реже — энзе, состоявший из банки свиного жира, чаще кусок заплесневелого хлеба либо позеленевшие крошки соевого шоколада, истлевшие сигареты, потерявшие цвет кислые леденцы. В нагрудных карманах, в заплечных мешках попадались деньги, ни на что уже не годные, кроме как на закрутку. Находили они также ручное оружие, боеприпасы, гранаты. Всякого, кто подбирал оружие и прятал его под одеждой либо где-нибудь в другом месте, конвоиры имели право расстрелять без суда и следствия. Пленных ознакомили с этим правом, и своей подписью они подтвердили, что признают его.

В команде старшины от работы никто не отлынивал, ежедневную норму — пятнадцать километров, независимо от погоды, от большего либо, наоборот, меньшего количества найденных «объектов»,— соблюдали строго, все подлежащее отправке отправлялось, все подлежащее дележке точно делилось. Старшина, человек лет сорока, приземи-

стый, подвижный как мальчишка, с лицом, задубевшим от сибирских морозов, был сама справедливость. Он требовал для себя единственной привилегии — ежедневно бриться самым тщательным образом. Его заместитель и единственный солдат, молоденький, долговязый парнишка, чтил старшину как родного отца, а четверых пленных, составлявших команду, хотя те работали не за страх, а за совесть, ненавидел лютой ненавистью, как убежденных фашистов, которые просто вынуждены сейчас подчиняться обстоятельствам. Вот старшина, тот не стриг всех немцев под одну гребенку. Его инстинктивная неприязнь была адресована офицерам и тем людям, в которых он угадывал образованных либо «начальство», пусть даже образованные выглядели жалко и беспомощно, пусть даже «начальство» больше смахивало на рабочих. Эти люди, так рассуждал старшина, должны были лучше во всем разбираться, иначе себя вести, другими словами — выступать против войны. Ведь знание помогает человеку стать хозяином своей судьбы. У четверых ефрейторов, которых старшина отобрал по своему вкусу для своей команды, были, на его взгляд, не «культурные», а простые немецкие лица и, может, даже человеческие души. А впрочем, черт их всех разберет.

В снаряжение команды входила лошадь и фура. Фура на высоких колесах, удлиненная — немцы окрестили ее «кафе-мороженое»,— имела над осью прикрепленный гвоздями ящик с замком. Под осью болталось жестяное ведро. В ящике старшина хранил паек: хлеб, соль, чай, крупу, тушенку. Там же взрывчатка для могил: динамитные патроны, запальные шнуры, найденные гранаты. Там же всякая снасть для захоронения и ломы. Там же найденное оружие: пистолеты, автоматы, а от карабинов только замки. Противогазные сумки, набитые подобранными личными знаками. На ящике лежали два мешка с кормом для лошади, прикрытые одеялами и промерзшими, негнущимися палатками, и все это было перехвачено веревкой.

Один из пленных умело обращался с лошадью, косматым тяжеловозом. С легкой руки старшины жеребец отзывался на кличку «Арестант». Может, потому, что все время норовил удрать, а может, и потому, что обладал поистине фантастическим нюхом на все маломальски пригодное в пищу и, чтобы ублажить свою ненасытную утробу, готов был без зазрения совести отмахивать десятки километров — что и подтвердилось в один прекрасный день. Утолив до некоторой степени свой голод, Арестант даже обнаруживал известную смекалку: без возницы и без окрика двигался вместе с широко рассыпавшейся группой, огибал заносы, сам останавливался, как только видел, что люди остановились. Тому из пленных, который умел с ним обращаться, достаточно было его окликнуть, и Арестант покорно трусил туда, где был обнаружен «объект», подлежащий погрузке. Но однажды — если точно, это было на девятый день их работы, ранним утром, когда на фуре еще ничего не лежало,— жеребец вдруг свернул с дороги и припустил рысью наискось, через поле, таща за собой пустую фуру. Тому немцу, что разбирался в лошадях, старшина велел задержать Арестанта и коротко подвязать вожжи. Немец и без того уже бежал за лошадью, пытаясь остановить ее свистом. Нечего было и думать о том, чтобы догнать ее, хотя бы потому, что на нем была тяжелая шинель да еще шерстяные лоскутья и всякое тряпье, которым он за неимением белья обмотал тело под кителем и под брюками, скрепив все это телефонным кабелем. Жеребец остановился, подождал человека, позволил даже взять себя за поводья, но на этом все послушание кончилось. Конь уперся, широко расставив передние ноги, и решительно не желал поворачивать. Человек влез на фуру и опустил поводья в надежде, что конь скоро устанет и образумится.

Не такая уж это была откормленная животина. Когда фура дернулась и конь почти сразу припустил рысью, немец услышал мальчишеский голос молодого солдата. Он повернул голову. Солдат гнался за ним, кричал, яростно махал руками, приказывая остановиться. Пленный описал рукой круг. Тогда молодой солдат выстрелил в воздух. Жеребец навострил уши. Теперь с ним вообще нельзя было совладать. Немец не мог больше устоять на ногах, он прислонился к козлам — высокому ящику — и ехал дальше полустоя, полусидя. Молодой солдат выстрелил еще раз. При желании ему бы ничего не стоило попасть. Тем более что мишень не искала укрытия. А тяжеловоз, закинув голову, мчал как одержимый в неизвестном направлении, и копыта весело цокали по смерзшейся, словно камень, земле.

Человеку на телеге чудилось, будто отныне и навсегда он свободен, будто лошадь послушна только его воле, будто никогда впредь не станет он седлать коней и держать стремя для их благородий, не станет натирать целебной мазью толстые задницы и толстые ляжки высокородных сопляков, которые наезжают к ним в имение и любят повторять, что, мол, «счастье для людей — на спине у лошадей». И сыну моему, так думал человек, этого тоже не придется делать, если, конечно, парень выберется живой из заварухи. Господская печка скоро догорит. Слишком многое они здесь кинули в ее огонь. Трудно сказать, к добру это или к худу, что Мария может больше не тревожиться за сына, хотя сын на фронте, да и по характеру сорвиголова. Мария уже свое оттревожилась. Ядовитые испарения в красильном цеху. Господин барон отлично знал, что у Марии слабые легкие с молодых лет. Он не должен был отпускать Марию на оружейный завод. А груди у Марии всегда были высокие и упругие. Молодая барыня ей даже завидовала. Перед тем как уснуть, Мария всегда просила, чтобы я положил руку ей на грудь. Тогда, говорила Мария, ей привидится во сне гнедой жеребенок, как он к ней подходит и дотрагивается до нее своими мягкими губами.

Выстрел вспугнул его воспоминания. Пуля просвистела мимо головы. Но стреляли спереди. По военной привычке человек бросился ничком на дно телеги и натянул вожжи. Жеребец и здесь не повиновался, а знай себе мчал вперед, туда, откуда прилетела пуля. Перед ними возник кирпичный домик с односкатной жестяной крышей. Из кургузой трубы поднимался белый дым — чадили сырые дрова. Домик был с навесом, а под навесом стояла женщина. Винтовка прижата к бедру, палец на спусковом крючке, дуло нацелено точно в лежащего на фуре человека в немецкой шинели и немецкой кепке, оно так близко, что, когда человек поднял голову, его глаза глянули прямо в дуло. Должно быть, лошадь и побежала на дым. Немного не доходя до хижины, она перешла на шаг, а под навесом вовсе остановилась. Там лежало сено, которое она и принялась хрупать, вытянув шею. Теперь женщина должна бы разглядеть буквы на спине шинели, это ведь русские буквы, большие, написанные масляной краской. Не станет же она бояться военнопленного. Он услышал, как женщина выкрикивает какие-то отрывистые слова, и понял, что она велит ему сойти на землю. Он повиновался охотно, хотя и не спеша. Когда женщина сплюнула перед ним на землю, он заметил, что жеребец не просто так, а с разбором выдергивает из утрамбованного сена травинки. Когда же он поднял руки кверху и женщина начала ложем приклада простукивать его тело в поисках спрятанного оружия, просто и грубо тыча куда придется, без малейших признаков стыдливости, в открытой двери домика возникла фигура другой женщины, постарше, и щуплого парнишки со всклокоченными светлыми волосами. Мальчик тоже целился в него из винтовки, и глаза его казались желтыми от

ненависти. Пожилая женщина не могла скрыть страх. Сперва она хотела успокоить мальчика, положить руку ему на плечо, но потом отдернула руку. Человеку вторично пришлось вытерпеть этот бесцеремонный обыск, предварительно расстегнув шинель. По требованию мальчика старуха сдернула шинель у него с плеч. Про себя человек возблагодарил свое толстое «белье». Приклад уткнулся в нагрудный карман его кителя и обнаружил там что-то твердое, металлическое. Ради этого открытия женщина могла бы и не так свирепо тыкать ему прикладом в грудь. Она могла бы увидеть, что карман чем-то набит. Женщина сделала несколько шагов назад, мальчонка — несколько шагов вперед, и оба держали человека под прицелом, пока он выворачивал карманы и демонстрировал их содержимое: жестяную коробку и тяжелую зажигалку, которую смастерил из двухсантиметровой гильзы. Старуха должна была опробовать найденное. Зажигалка так и оказалась зажигалкой, она не выщелкивала, она выбрасывала пламя, большой, дымный язык пламени, тотчас, с первого раза, едва старуха крутанула колесиком. Мальчик с жадностью глядел на все это. Человека удивила женщина помоложе, та не задула пламя, а загасила его подушечкой большого пальца. Ну и баба! В темной, безоконной глубине домика горел огонь, и выглядело это так, словно горит он в кузнечной печи. Не исключено, что домик был раньше полевой кузней. Может, в этих краях когда-то ходили табуны лошадей. Простора здесь хватает. Но откуда тогда взялись женщины? До сих пор их команда не встретила на своем пути ни одной живой души.

В жестяной банке человек хранил остатки табака-сечки, несколько гвоздей различной длины (человек с понятием всегда может смастерить из гвоздей какой-нибудь инструмент) и три завернутых в бумажку куска сахара из кафе в прекрасном городе Праге. От кого-то он слышал, что когда не останется совсем никакой еды, три кусочка сахара могут продлить жизнь еще на три дня. До сих пор человек не проронил ни звука. Женщина помоложе перебросилась несколькими словами с той, что постарше. Быстрые, недоверчивые слова. При этом она указывала на колодец. Затем молодая дала ему в руки один из трех кусочков и жестами потребовала, чтобы он его съел. Она явно думает, что перед ней отравитель колодцев. Человек бережно снял обертку, чтобы ни крошки не пропало даром, потом отправил и кусок, и крошки себе в рот, на язык. Они заставили его раскрыть рот, чтобы посмотреть, не схитрил ли он. Затем молодая на своем резком и малопонятном языке пожелала, судя по всему, узнать, где находится его команда. Человек кивнул на жеребца, который все так же, с разбором, выдергивал сено, потом указал в направлении, откуда он прибыл вместе с жеребцом и фурой. Женщины снова посовещались. Похоже было, что теперь они говорят про лошадь. Уж лучше надеть шинель, не то, кто их знает, еще и до шинели доберутся. Одному богу известно, до чего бы договорились обе женщины, не возникни на горизонте фигура молодого солдата. Тот что-то орал не своим голосом. Время, которое понадобилось солдату, чтобы преодолеть расстояние, их разделяющее, мальчуган — он явно имел какое-то отношение к обеим женщинам — использовал для того, чтобы выцыганить у старшей зажигалку и коробку с табаком. Коробка была как-никак из медной жести. Зажигалка вообще привлекла мальчика с первой же минуты, а что до жестяной коробки, его, надо думать, соблазнила яркая картинка на крышке, изображавшая сбор табака в Бразилии. Старый хозяин любил этот сорт черных бразильских сигарет. В прошлом году, когда человеку дали десять дней отпуска, чтобы похоронить жену, причем на это же время пришелся сорок первый год его рождения, старик самолично презентовал ему коробочку своих любимых.

Чтоб ценил! В наше время это большая редкость. А Мария умерла. Старшая не сразу решилась отдать ребенку скудные пожитки пленного, она поглядела на другую, но другая даже головы не повернула в их сторону. Она поджидала солдата. Человек видел, что сомнения терзают душу старой женщины. Хоть бы табак оставила. Не тут-то было. Мальчишка исчез со своими трофеями в глубине домика. И даже дверь за собой затворил. Открывалась дверь наружу. Если бы в этом кирпичном домике раньше жили люди, дверь открывалась бы внутрь. Выпотрошили, стало быть, пленного. На удивление легко и просто. Только жалкий новичок позволит отобрать у себя при шмоне огонь и табак.

Дыхание шумно рвалось изо рта у солдата. Он был красный от быстрого бега и от злости, но воздуха его сердцу и легким хватало, потому что он еще на чем свет стоит честил и лошадь, и пленного, это подлое фашистское отродье. Мата в этом словоизвержении тоже хватало. Плишке говорит, что солдат ругается как коренной горожанин. Пленный невольно сдернул с головы шапку вместе с наушниками, похожими скорее на повязку. Голова у него была коротко острижена. Коль скоро барин либо управляющий заговорил таким манером, значит, снимай шапку. Так положено. А думать при этом можно что захочешь. Не прерывая потока ругательств, солдат пытался оттянуть жеребца от сена. Но тот коротко фыркнул и продолжал невозмутимо хрупать — по-прежнему с разбором выдергивая стебельки. Солдат резко дернул его за поводья, жеребец взвился. Хорошо, перед ним была стена домика, не то бы он понес. Возможно, обеим женщинам с самого начала не понравились городские замашки солдата, возможно, им не понравилось также, что он и не подумал с ними поздороваться. А уж поглядев, как солдат обращается с лошадью, они в две глотки набросились на тощего и долговязого парнишку. Тот хотел огрызнуться, но они не дали ему раскрыть рта. Правда, их крик вынудил его поставить винтовку на предохранитель, но когда обе женщины взапуски — особенно усердствовала младшая — принялись его бранить, это звучало со стороны как прицельный огонь с ближней дистанции. Конвоир, у которого удирает фашист вместе с лошадью и телегой! Женщины, конечно, не пожалели красок, расписывая, какого они мнения о подобных конвоирах. Пленный снова прикрыл шапкой стриженую макушку. Теперь непосредственно к нему никто не обращался. Теперь град осыпал того, кто сам накликал грозу. Напротив колодца, по другую сторону домика, пленный увидел сводчатый вход в земляной погреб. Красиво выложенный камнем. Должно быть, в этом погребе у них хранятся всякие припасы. Вон туда и тропка протоптана. Может, там есть и картошка. Горячую бы картофелину! Одну-единственную! А нельзя, так что ж поделаешь! И козу они держат в погребе. Это видно по тому, что из погреба вдруг высунула рогатую голову бурая коза и возбужденно замекала. Меканье козы смешалось с криками женщин. Солдат втянул голову в плечи. Наконец-то его проняло. Он небось думает, что меканье ему почудилось. Нет, углядел, слава богу, козу. Благо она вышла на свет. Наклонила рогатую голову. Видно, коза заменяет им собаку. Вот она прет на солдата. Но солдат уже по горло сыт перебранкой. Он отскакивает за столб. Старуха ведет себя более разумно. Она загоняет козу обратно. А та, что помоложе, вдруг умолкает. Внезапно. Когда женщины внезапно замолкают в разгаре ссоры, у них обычно делается сердитое лицо. У Марии, к примеру, бывало сердитое. И тогда надо чем-нибудь заняться. Подыскать себе дело, все равно какое. Мужской опыт придал человеку немного храбрости. Он подошел к сену и перебросил несколько охапок в фуру. Расхрабрившись, он даже подошел к моло-

дой женщине, которая тем временем взяла лошадь под уздцы, и молча выдернул поводья у нее из рук. Потом он развернул фуру и влез на козлы. Солдат уселся позади. Возница щелкнул языком. Лошадь натянула поводья и припустила рысцой. Солдатик взял автомат, висевший у него через плечо, пронес над головой и уставил дулом в спину пленному, сидевшему перед ним на козлах. Ему хотелось по крайней мере красиво уйти.

Ночью накануне последнего дня работ погода резко ухудшилась. Поднялся колючий, морозный ветер. Пленный, знавший толк в лошадях, выбрался из палатки. Он услышал звяканье жестяного ведра. Жеребец стоял, как и обычно, за поставленной на попа и слегка наклоненной фурой, вожжи были обмотаны вокруг оси. Жеребец тыкался мордой в жестяное ведро, также подвешенное к оси. В этом ведре варили чай и кашу, из него же поили лошадь, из него же она съедала свою ежедневную мерку овса. Чем меньше овса получает умная лошадь, тем медленнее она ест. Если лошадь среди ночи звякала ведром, у нее были на то свои причины. И на этот звук, тот, кто знал толк в лошадях, всякий раз вылезал из палатки. Старшина же всякий раз, когда кому-нибудь из пленных надо было среди ночи выйти, сухо покашливал. Чтоб знали, что он все видит. Старшина мог даже во сне услышать, как чихает комар. Но лошадь заменяла целый наряд дневальных. И поэтому когда звякало ведро и специалист по лошадям вылезал из палатки, старшина не кашлял. По степи гоняли одичавшие, голодные псы, ростом с теленка. Они могли задрать лошадь. В каждой собаке есть волчья кровь. Просто она дремлет до поры до времени, но зато если проснется, такая собака страшней любого волка. А солдатик, хоть и корчит из себя неустрашимого храбреца, панически боится одичавших собак. Но и собаки, в свою очередь, боятся огня. Поэтому солдатик однажды сам себе дал приказ вставать ночью каждые два часа и подбрасывать в огонь свежие полешки. За день набегается, ночи длинные, и парнишка, естественно, спит крепким сном молодости. Тем не менее каждые два часа он сам себя выволакивает из палатки, чтобы поддержать огонь и, пользуясь случаем, пересчитать пленных. Подобного рвения от такого шумливого желторотика, казалось бы, и ожидать нельзя.

Итак, когда специалист по лошадям вылез в эту ночь из палатки, он увидел, что порывистый ветер задул огонь и развеял золу. А солдатик спит. Человек убедился в этом не без злорадства, он и сам понимал, что несправедлив, но ничего не мог с собой поделать. Впрочем, злорадство улетучилось скоро. Человек увидел, почему лошадь громыхала ведром. Ветер задувал сбоку. Лошадь пыталась укрыться от ветра за поставленной на попа фурой. Но ветер задувал и под нее. Человек развернул фуру так, чтобы ветер дул в ее наклонное дно, колеса подпер деревянными чурбаками. Лошадь сунула ему в шинель свою теплую морду. Это она не часто делала. Так оно и лучше. Из-за Марии. Чтобы совсем не рехнуться. Вот почему человек принялся обматывать попоной тело лошади. На минуту оторвавшись от работы, он вдруг испугался. Из безлунной ночи на него двигалась какая-то фигура, за собой эта фигура тащила что-то большое, плоское, переливающееся огоньками. Вдобавок где-то вдали подвывала собака. Лошадь стояла спокойно. Значит, не чужой. Вскоре человек и сам угадал старшину. По быстрой походке, по торчащим в стороны ушам теплой шапки. Никогда, даже при таком ледяном, пронзительном ветре, старшина их не опускал. Старшина завидел пленного еще издали. Подойдя поближе, он что-то пробурчал себе под нос. Так среди ночи приветствуют друг друга старые знакомые. А большое, плоское, переливающееся, которое старшина тащил за собой,— это был, оказывается,

здоровенный кусок самолетного крыла с какого-нибудь сбитого и развалившегося при столкновении с землей на части штурмовика. Старшина сгибал блестящую от намерзшего снега жесть до тех пор, пока ему не удалось засунуть ее конец между колесными спицами. Закрепить ее по-другому было невозможно. Пленный сразу понял, чего хочет старшина. Он хочет снова развести огонь за этой жестяной ширмой. Может, ради уснувшего солдатика, потому что солдатик плохо спит без своего огня-костерка. Кинжалом для ближнего боя старшина начал тесать щепки с полена, а пленный искусно сложил их башенкой. У него защекотало в кончиках пальцев — до того хотелось развести огонь. Но зажигалки больше не было. Эта вредная старуха отлично понимала, что ему в его положении нельзя без зажигалки. У них же горел в домике огонь. В самой настоящей печке, под крышей, в четырех стенах, огонь сберечь нетрудно. Ну, давай, давай, поторапливал его старшина. Он ведь знал, какая у пленного зажигалка, он не раз оценивающе поглядывал на нее и говорил — как это по-русски? — «карошо». Стало быть, одобрил. «Капут»! — сказал пленный. Старшина запустил руку в карман шинели и перебросил пленному собственную зажигалку.

Зажигалка у него была примерно тех же размеров, сделана по тому же принципу, только с завинчивающимся колпачком. Невелика хитрость, если есть чем сделать нарезку. Взвился язык пламени. Вдвоем они перетащили обугленные остатки старого костра, выложили из свежих поленьев конек крыши. Огонь разгорелся превосходно, как по инструкции. Быстро разогревшись, оттаяла жесть, на сером фоне проступила краска, белая и черная. Когда языки пламени добрались до конькового бруса, на жести проглянула свастика. Старшина стоял как ни в чем не бывало. Лошадь прянула в сторону задом. Может, именно такие кресты набрызгивала краской Мария. Она ведь писала, что красит по шаблону. Старшина о чем-то спрашивает, в его речи мелькнуло слово «familija». Какое дело старшине до моей семьи? Я хоть бы и знал его язык, все равно не стал бы отвечать. Об этом говорить нельзя. Ни на каком языке. Мария — это касается меня одного. Там, где не хватило попоны, лошадиная шерсть заиндевела. Можно нацарапать тавро ногтем большого пальца.

— Жена,— говорит человек и царапает ногтем крест на лошадином боку там, где не хватило попоны.

Сын — это тоже мое дело. Сын у меня — сорвиголова. Это они сразу углядели. И сделали из него такого ухаря, такого разбедового унтер-офицера. Но у мальчишки хорошие задатки. Он не способен лгать, нигде и никогда. А мне надо бы отлить. Против ветра не положено. Уж лучше на высокий символ. А знаешь ли ты, старшина, какой у меня брат, брат у меня блюдолиз и бравый вояка одновременно.

В Польше он лишился одного глаза. Надо, чтоб человеку везло, так он сказал. Теперь до конца войны — только нестроевая служба. Между тем он при одном своем глазе дослужился до фельдфебеля. Теперь он инспектирует гарнизонные конюшни. Если, конечно, там еще остались хоть какие лошади. Но мой брат своего не упустит. Даже когда на всю конюшню останется одна-единственная кобыла и один-единственный солдат, чтобы ходить за ней, то и тогда этому последнему солдату придется чистым носовым платком протирать под хвостом у последней кобылы, когда у нее течка, чтоб в конюшне был порядок! Чтоб чистота! Тут он способен метать громы и молнии. Но вот чтоб вызволить Марию из красильни, для этого он чересчур злопамятен. Мария его как-то обозвала скотиной, скотина ты, говорит. Старшина неплохой человек. Не спросил, никто не спросил, почему у Плишке со вчерашнего дня разбита губа. У него загребущие лапы. Что

найдет у кого съестного, тут же втихаря и слопает. Ну и все помалкивают. Хотел болван задать деру с пистолетом и двумя баночками сала. Семья, семья, это ты, старшина, много захотел. Вежливости ради ограничимся именем.

— Меня звать Рёдер,— сказал пленный.

— Ройдер,— повторил старшина.

Больше он и не желал знать о немце, который разбирается в лошадях, мочится на свою собственную высокую эмблему, а теперь снова полез под низкую, хлопающую на ветру крышу палатки.

За ночь ветер усилился. К утру небо сплошной черно-серой массой облаков тяжело повисло над степью. Легким не хватало воздуха. Темное небо сообщало свои краски земле и ветру. Тонкий снежный покров, весь в проталинах и неровностях, покрывал землю как серая костяная мука. Ветер был тоже серый и звероподобный, он бросался на людей, кусал их и душил. Порой он поднимал снег и гнал перед собой поземку, как низкий туман. Порой на мгновения разрывал пелену, закрывшую небо. И тогда несколько мгновений на землю изливался непереносимо слепящий свет, и снег начинал сверкать разноцветными искрами, и люди бранились и стонали и брели ощупью, как слепые.

Продвигаясь вперед, старшина то и дело поглядывал на карту и сравнивал местность, где глазу не за что было зацепиться, с ее показаниями. Это он первый раз заглянул в карту. Через два часа старшина подозвал солдата. За два часа, прошедшие с побудки, команда ничего не нашла. Они и вчера ничего не нашли. Не вынесло ли их ненароком за пределы заданного участка? Рёдер и хотел этого и в то же время опасался. Старшина неплохой человек. Но он не из тех, кто допустит, чтобы его потом упрекнули в халатном выполнении приказа. Хорошо, что Плишке трется возле них обоих, что у Плишке хватило смекалки именно сейчас выскребать смерзшийся снег из дыр во льду. Начальник команды утром четко распорядился: выскребать снег из дыр. И проверять, что под ним! Плишке перевел. Плишке гораздо лучше понимает по-русски, чем в том признается. Когда старшине надо что-нибудь обсудить с солдатом, он, как правило, отгоняет Плишке. Насчет дыр Плишке, сделав, конечно, при этом глупо-усердное лицо, бойко все перевел, хотя из-за разбитой губы он малость шепелявит, с тех пор как его товарищи подправили ему физиономию. Переведя слова старшины, он добавил от себя. «Господин старшина,— добавил Плишке,— господин старшина изволят предполагать, что в этом холодильнике можно отыскать Снегурочку. Здесь есть не только заледенелые дыры, здесь почти вся земля покрыта льдом. Либо высоко стоят подпочвенные воды, либо бьют из-под земли ключи. Если, конечно, в этой богом проклятой степи вообще есть подпочвенные воды либо родники». Старшина стоит, словно сам себе полководец. И простирает руку вперед. Впереди вытянутый сглаженный гребень. Не выше свекольного бурта. На карте это обычно обозначается как высота или складки рельефа. Если летом здесь тепло и сыро, можно разводить свиней. Вонь никому не помешает, а свиньи нагуляют хорошие мяса́. Старшина не отгоняет Плишке. Даже разрешает ему подслушивать. Плишке перестал выскребать снег. Ну, теперь начнет важничать — только держись. Со мной он, видите ли, не разговаривает, точней сказать, разговаривает, когда я могу его слышать, но обиняком, а прямо ко мне не обращается. Хочет со мной поквитаться. В лагерях, мол, бывают несчастные случаи на производстве. И длинные руки меня везде достанут. Перед тем как выйти на задание, старшина сказал: «Кто попробует бежать, тот будет убит». Так это звучало в переводе Плишке.

Потом старшина поднял кверху большой палец, потом растопырил все пять и еще что-то добавил. Ну, ясно что: тогда всем вам несдобровать. Господин переводчик наговорил кучу всякого вздора. Мол, доверие за доверие! И тому подобное. Это чтоб русские нам доверяли?! Да покуда мы живы, не может и речи быть ни о каком доверии. Они заставляют нас работать — и баста. Давай, давай. У лошади можно кой-чему поучиться, даже если она носит кличку Арестант. Или именно потому. Лошадь хочет выжить в этой проклятой войне.

Одновременно Рёдер узнал, что на гребне невысокого, лежащего прямо перед ними холма сбор трупов будет закончен. Дальнейшее в изложении Плишке звучало следующим образом: километров за пятьдесят к северу от этой высотки, где в прошлом ноябре был прорван немецкий фронт, четыре противотанковых немецких орудия и два тяжелых пулемета с утра до полудня сдерживали натиск целого танкового полка русских. Орудийные расчеты сознательно пожертвовали собой, чтобы основная часть немцев смогла без потерь оторваться от противника и отойти на более удобные позиции.

Вот как все звучало в изложении Плишке. Рёдер узнал также, что старшина в составе приданного танковому полку батальона пехоты проделал это наступление с первого дня и до соединения их частей с частями Южного фронта. Теперь он шел по тому же пути, к тому же холму, но с командой военнопленных. И тут Рёдер понял, откуда старшине так точно известно, где стоит искать основательно, а где нет. Будь у этого русского крылья, он со своей способностью ориентироваться добирался бы осенью до Африки, до пирамид, а весной возвращался бы на родное подворье.

Ветер теперь был не такой сильный и не такой колючий, как утром. Повалил густой снег. Они поднялись на гребень холма. Ветер дул им навстречу, от него шинели и шапки становились тяжелыми, а глаза слепли. Русские танки тоже шли им навстречу. Чего стоит пустячная метель рядом с танками? Наши продержались здесь до полудня. Пусть и нынче они до полудня же обретут вечный покой. Эти слова Плишке взяли за живое и Рёдера. Спору нет, те, кого они с помощью ломов выковыривали из огневых позиций, из промерзшей земли, вновь стали для них близкими. Одного раздавили гусеницы танка. Такие им уже попадались. Но при виде этого, на холме, солдатик бросился прочь сломя голову. Его вырвало.

Рёдер шел вниз по склону. Лошадь и фуру они оставили у подножья высотки. Только к концу поисковой операции старшина указывал, где именно рыть могилу. Этот срок настал. Вдоль всего гребня холма они откопали девять человек. Сплошь молодые ребята. Это и сейчас видно. Один из них — обер-лейтенант. За снежными хлопьями не разглядишь ни лошадь, ни фуру. Рёдер слышал только, как заскрипели и снова смолкли колеса. Лошадь искала корм. На гребне холма старшина наверняка не прикажет взрывать яму. Могила на холме — это уже нечто вроде памятника. Вблизи деревни, которая должна лежать по ту сторону холма — ее отсюда нельзя видеть, но можно представить: разоренная, сгоревшая дотла, вымершая,— вблизи деревни он тоже не захочет. У русских здесь были свои потери, может, даже больше, чем у нас. Вот их могилы и будут за деревней. По порядку, одна подле другой. Вернутся когда-нибудь в эти края люди. Мало-мальски восстановив деревню, они разобьют возле нее красивое кладбище. Одним лежать там, другим — здесь. Значит, старшина отыщет подходящее местечко по эту сторону. Может, ему попадется приличная воронка. Воронка — она уже сама по себе углубление, когда есть воронка, не надо бурить в промерзшей земле такие глубокие шпуры для взрывчатки.

Наконец Рёдер увидел коня. Конь терпеливо ждал, дергая длинными зубами длинные травинки, твердые, как трехгранный напильник. Неподалеку Рёдер углядел что-то продолговатое, четырехугольное. Участок, размеченный колышками и клочьями немецкого палаточного брезента в зеленых, коричневых и желтых пятнах. Их всегда разбивают в каком-нибудь укрытии, чаще над вырытой чуть глубже, чем по колено, ямой, чтоб защитить от холода и осколков тех, кто не стоит в карауле. По ровности снежного покрова в пределах бывшей палатки Рёдер догадался, что палаточная яма до краев заполнена водой и замерзла. Значит, либо здесь случались оттепели, либо из-под земли бьют ключи. Но оттепелей за весь ноябрь не бывало ни разу. Господи боже, оттепель! Разве что холм хоть немного да защищает от мороза. Палатка была с южной стороны холма. Три дня назад, когда лошадь понесла, старшина велел круто повернуть к северу. Выскребать снег из дыр во льду! И проверять, что под ними.

Рёдер разыскал саперную лопатку и начал расчищать снежный покров. В лед вмерз чей-то труп. Под шершавой поверхностью льда он рисовался серой тенью за волнистым стеклом. Полевой лопаткой Рёдер до блеска расчистил лед над головой тени, словно распахнул подвальное оконце, позволявшее заглянуть внутрь. Яма была не глубокая, какое там до колен, и половины не будет. Где-то вблизи проскрипели колеса. Скрип удалялся. Снова все стихло. Русская лошадь не желает заглядывать в оконце. В такое оконце — не желает. Если Плишке не сочиняет, но ведь не мог же он сочинить все подряд, старшина с известным уважением говорил о солдатах, которые стояли здесь насмерть. И вызвались добровольно. Сейчас Рёдер был один, а когда он бывал один, он, бог весть почему, чувствовал себя свободным. До того свободным, что решил еще раз взглянуть в лицо мертвому немцу, о котором не без уважения говорил русский. Да, именно решил. Он расчистил участок над головой тени, он стер с него снег, как протирают мутное окно,— стер всем телом и полами длинной, широкой, распахнутой теперь шинели. Унтер-офицер, что лежал подо льдом, был, наверно, очень молоденький. Лет двадцати. Во льду покойники сохраняются дольше. Разложение начинается с губ. Потому что по губам раньше всего видишь, как кровь становится водой. Унтер-офицер лежит на спине, голову повернул в сторону. Будто спит и видит плохой сон. Такие лица молоденьких капралов ему знакомы. На них сливаются воедино гордость и безоглядная удаль. Наверняка был досрочно произведен за храбрость, проявленную в боях с противником. А этот, лежащий перед ним, судя по всему, не выдержал. Он еще сжимает в руке пистолет ноль восемь, системы парабеллум, который никогда не подводит. Другой рукой он вцепился в планку с пуговицами, разрывая воротник. Не выдержал. Собственным пистолетом... В виске неровная дыра с почерневшими краями. Точь-в-точь, как у нашего лейтенанта. А почему, собственно, застрелился наш лейтенант?

Он был счастливо женат. Моложе тридцати. Только потому, что мы трое опять вернулись под его командование, хотя нас всех перевели в другую часть? Идиотский приказ. Вернулись, ни у кого не спросясь, ровно через сутки. Как раз в день образования рейха, сказал лейтенант, когда мы явились. Помнится, кто-то сказал, что должен же у нас остаться хоть рейх.

В котле ко времени нашего возвращения творилось черт знает что. Люди погибали один за другим. Сперва лейтенант бодрился. Потом начал орать на нас. Потом смолк. Вечером поднял, ни с кем не чокаясь, стаканчик — в честь праздника. Да, надо полагать, в честь

праздника. Потом он вышел из землянки. Просто взял и вышел. А за дверью поставил точку. Не выдержал. И у него была тоже такая рана в виске. Волосы кругом опалены. Совсем как у этого. Только у этого волосы русые и густые, будто потемневшая соломенная крыша. А у лейтенанта были редкие, белокурые. И лежал он, широко раскрыв глаза, словно глядел сквозь тебя в другой мир. Ты же вообще ни на кого не глядишь, мой мальчик. Ты строптиво отвернулся. Никого больше не хочешь видеть. Никого и ничего. Ты демонстрируешь мне свою родинку под правым глазом. Под внешним углом глаза, примерно на палец ниже. Там, где кожа натягивается на скулах. Родинка величиной со спичечную головку. У твоей матери была родинка точно на том же месте, аккурат на том же. И такие же выпуклые ногти. На каждом ногте красивая лунка. У нас было десять красивых лунок. Когда ты родился, их стало двадцать. Целое богатство. Выйди же ко мне, мой мальчик. Не прячься от меня. Ну почему ты прячешься? Я давно тебя увидел. Ведь не я же послал тебя сюда. Я — нет, я не посылал. Я только искал тебя. Две недели, четырнадцать дней подряд. Четырнадцать тысяч лет пробивался сквозь лед и снег. Выйди же, мой мальчик. Встань, и мы пойдем домой. И не стыдись, что русские обрили меня наголо, волосы быстро отрастают.

Человек, стоявший на коленях, низко склонил голову над мертвым. Отче наш, иже еси на небесех, если только ты вообще существуешь. Поверь мне, отец небесный, мы взрастили его в любви, а когда его крестили, наш пастор Бальман сказал, что дитя, дарованное нам, да сохранится. Может, ты отринул его, о господи? Или мы сами это сделали? Или он сам? Укройся моей шинелью, сынок. На дворе стужа. На дворе лютая стужа. Ты слышишь, как трещат от мороза колеса нашей фуры? А им еще далеко тебя везти. Ты слышишь, как трещит дерево?

— Ройдер!

Это, должно быть, кричит старшина. Ты его не знаешь, сынок! Он не умеет правильно выговаривать наши имена. Но в остальном он человек неплохой. А мне надо подняться с колен.

Ведя лошадь под уздцы, старшина подошел к яме. Поглядел вниз, на мертвого. Долго глядел вниз на лицо мертвого. Поднял взгляд. Пытливо поглядел на мертвое лицо человека, который встал с колен.

— Фамилие? — спросил сержант, указывая на мертвого.

— Рёдер,— отвечал пленный.

Он ощупью сделал два шага к фуре. Снял с досок свой лом. Сегодня надо готовить яму на десятерых. Девять плюс один получится десять. А десятого еще надо выколоть изо льда. И Рёдер начал выкалывать. Если ты хочешь что-то сделать, делай быстро. Если ты хочешь умереть, не тяни. Старшина поднялся на фуру, открыл ящик, сбросил кирку и заступ. Потом он подошел к пленному, чуть засучил рукав шинели, указал на свои часы, ткнув пальцем в цифру один. А часы старшины показывали четверть двенадцатого.

Колеса снова заскрипели, и скрип затерялся где-то на вершине холма. Если бы Мария была жива и прошло какое-то время после этого дня, когда я похоронил мальчика, я бы сказал Марии: теперь, Мария, я знаю, что такое милосердие. Милосердие — это когда человек понимает твое горе. И помогает тебе. Не задавая вопросов. Как, например, этот русский оставил меня одного с мальчиком, совсем одного, в такую метель. Час и три четверти, чтобы я мог уложить мальчика в его собственную могилу, в его последнюю постель, это, Мария, и есть милосердие. Истинное. Мальчик и на свет появился как раз за один час и три четверти. В пять утра, ты ведь помнишь, в пять у тебя нача-

лись схватки, а без четверти семь ребенок издал первый крик. Я заметил время по кухонным часам. Они у нас всегда шли точно. Твою кровать мы еще раньше передвинули в кухню.

Погода была холодная, все замерзли, шел четвертый день октября. И тогда мы тоже были одни. Повитуха как раз накануне упала с велосипеда и сломала руку. Ты сказала, что младенца нужно искупать. И чтоб вода была не слишком горячей, но и не слишком холодной. Я налил горячей воды в деревянную ванночку. И налил холодной. И проверял локтем, пока вода не стала такой, как надо, не слишком горячей и не слишком холодной. А когда я взял его и положил на согнутую руку, ты все тревожилась, как бы он в ванночке не соскользнул с моей руки...

Когда Рёдер управился со своим делом, он пошел догонять колонну в том направлении, откуда доносились взрывы. Ему пришлось как следует поднажать, потому что он хотел вырыть глубокую могилу. Минут пятнадцать он брел вдоль подножия холма, и когда догнал своих, те как раз засыпали яму. Старшине Рёдер передал часы мальчика, подаренные помещиком к конфирмации. Дешевые часишки. Старшина коротко глянул на них и кинул в яму вместе с другими, утратившими цену часами. Все часы, которые им случалось найти, уже никуда не годились. Но три вещи Рёдер не сдал старшине: стопочку, авторучку и безотказный пистолет погибшего. Почему, спросите? Да потому, что, пока он рыл могилу, небо и земля и все мысли затеяли бешеный перепляс. Они плясали вокруг пустоты, вернее, вокруг занозы, засевшей в его теле, занозы, которую он, собственно, уже давно извлек и предал забвению. Пока он рыл могилу, ему вдруг захотелось любой ценой выяснить, истратил ли мальчик на себя последнюю пулю, как и подобает солдату. Пистолет Рёдер спрятал на теле, под лохмотьями, под ремнем. На это его толкнула безумная мысль носить пистолет на голом теле до наступления ночи, чтобы металл разогрелся, чтобы оттаял затвор и магазин. Вот тогда, и только тогда, он сможет увидеть собственными глазами. И после этого сможет в урочный час выложить правду-матку своему драгоценному братцу, этому блюдолизу, выложить всю правду как есть: нет, мой мальчик не сплоховал, он приберег для себя последнюю пулю, и еще он предъявит этому братцу последнее письмо мальчика: «Дорогой отец, мы по-прежнему торчим посередке, за нашими бронебойками, но стрелять не в кого. Нет подходящей дичи. Впрочем, дело пахнет переменой позиций. Возможно, нас перебросят на южный участок. Вот было бы здорово. Там, по крайней мере, что-то происходит. В данный момент я отсиживаю три дня строгого ареста. На особом положении. В баньке рядом с канцелярией. Мне здесь очень хорошо. Жратвы даже больше, чем обычно. Наш писарь собственноручно таскает мне еду. И не запирает дверь. Я могу погреться на солнышке. В октябре здесь еще очень тепло. На прошлой неделе у нас была грандиозная попойка. Нашего старикана произвели в майоры. Под конец он совсем упился и потребовал, чтоб я добыл ему лошадь. Он-де желает верхом объехать огневые позиции. А позиции все вынесены далеко вперед. И по ночам Иван чуть что сыплет трассирующими пулями, едва звякнешь лопаткой. Но старикан сверзился с лошади. И тогда я сделал то, что не удалось старику. Я, ефрейтор Рёдер. Честь батареи, как же, как же. Ну и чириканье пошло, когда я проскакал вдоль переднего окопа. На другой день, само собой, был подан рапорт. Три дня. Под строгим. А 4 декабря в день св. Варвары мне навесят огуречные кожурки — я стану унтер-офицером. В частности, и за то, что не кисну».

Это он тоже зачитает подлой собаке, драгоценному братцу. Когда придет срок. Все, что было нелепого в этом письме, и самую главную

нелепость — мальчик сделал это не на холме, а внизу, в палатке — Рёдер постарался вытеснить из своего сознания.

Когда в этот зимний день, мрачный, последний день, команда выполнила свое задание, она без проволочек начала отход в лагерь. Идти предстояло четыре дня. Нынче ночью, и никак не позже Рёдер собирался опробовать пистолет, а затем выбросить его ко всем чертям. Он, без сомнения, так и сделал бы, не вздумай старшина в конце того же дня проверить его на ношение оружия. «Тот же из военнопленных, кто присвоит какое-нибудь оружие и будет прятать его на теле либо где-нибудь еще, подлежит расстрелу на месте».

Без разговоров.

Но когда, в силу изложенных выше обстоятельств, старшина решил досмотреть ефрейтора Рёдера на недозволенное ношение оружия и когда вышло так, что приговоренный к расстрелу на месте Рёдер упал под выстрелами, произведенными с близкого расстояния, в погреб-землянку, родилась легенда и начала выпрядать свою пряжу вокруг того, что уже случилось, и того, что за этим последовало.

Почему старшина избрал именно тот путь, который вел мимо кирпичного домика? Маловероятно, чтобы молодой солдат в лестных словах отозвался о двух женщинах. Может, он испытывал по отношению к ним некоторые угрызения совести? Может, хотел что-то исправить? По замыслу команда должна была остановиться на привал возле домика. По дороге они собирали топливо. У опустелого, изрешеченного выстрелами фольварка, в часе ходьбы от домика, они нашли дрова, и обугленные, и нетронутые. Старшина не хотел приходить с пустыми руками. Так вроде и не принято. Возможно, старшина думал про себя, что встреча с острой на язык женщиной — если только не обязательно на ней жениться — оттачивает мужской ум. Когда он направился к домику, еще не видному, хотя метель заметно поутихла, лошадь опять забеспокоилась. Но на этот раз не понесла. Слишком много всякой всячины лежало на фуре. Все четверо пленных, перекинув через плечо веревочную лямку, тоже помогали ее тащить.

Женщина помоложе скупо поблагодарила, когда топливо было сгружено перед ее жильем. Старшина долго с ней толковал. Надо полагать, что своим соотечественникам она бы без долгих разговоров предоставила теплый ночлег. Но пускать к себе немцев она не желала, и старуха целиком ее поддерживала. А мальчик играл с молоденьким солдатом в военную игру. Они отошли подальше и принялись стрелять в цель; когда кто-нибудь из них попадал, мальчишка всякий раз кричал «ура!» своим тоненьким голоском.

Наконец, та, что помоложе, затеяла спор со старшиной. И лицо у нее было такое, будто она за себя не отвечает. Спор шел о лошади. Женщина хотела получить лошадь. Она считала, что у нее больше прав на лошадь. Если у них к весне не будет тягловой силы,— а откуда тут взяться тягловой силе? — они не смогут ничего посеять. А если ничего не сеять, им остается только умереть с голоду. Либо перебираться отсюда. Но куда? Здесь они у себя дома. Отсюда они уходить не желают. Отсюда их угоняли немцы. Как скотину. Кроме них, на фольварке никто не уцелел. Они уцелели, но потеряли ребенка. Девочку трех лет. А муж, отец девочки, погиб под Смоленском. Эти чертовы фашисты могут и без лошади дотащить фуру до лагеря. А старшина пусть доложит, что лошадь по дороге околела. Плишке шепотом переводил ее слова, а старшина задумался, молчал и только время от

времени покачивал головой. Все покачивал и не говорил ни слова. Тогда у женщины лопнуло терпение. Она рванулась к лошади и начала ее распрягать. Лошадь продолжала спокойно хрупать. Но тут старшина взорвался. Он рявкнул на женщину командирским тоном. Женщина даже головы не повернула. Тогда он двинулся к ней, спокойно, с достоинством, даже не ускорив шаг. И отделил женщину от лошади. Отодвинул. Не очень грубо, но очень решительно. Рука у женщины в этот день была подвязана старым черным платком. Но именно подвязанной рукой она отталкивала старшину. Может, у нее был просто ушиб. Или перетрудила руку. Потом она вдруг словно обезумела. Ладно, крикнула она, будь по-твоему, но тогда оставь мне одного из этих немецких жеребцов. Кормить я его буду. И следить за ним тоже. А потом я бы его с удовольствием выменяла на хорошую лошадь. Старшина снова погрузился в раздумья. Хотя на сей раз он не сидел на сене под навесом, а стоял внизу на собственных ногах. Тогда женщина снова решила действовать. На фуре все еще лежали упряжные веревки пленных. Женщина взяла одну из таких веревок. Четверо пленных с подчеркнутым равнодушием топтались возле погреба. Они увидели, как женщина, помахивая веревкой, приближается к ним. Ни один не поверил, что она в самом деле тронулась. Каждый думал про себя, что женщина только изображает помешанную. Пленные стали в кружок и лишь сдвинулись потесней, когда по их спинам загулял конец веревки. Трое даже ухмыльнулись. Один нет. Старшина хотел остановить женщину. Но тут женщина подняла руку на самого старшину. И он не стал вмешиваться, когда женщина схватила за шиворот того единственного, который не улыбнулся, словом, Рёдера, вытолкала его из круга и ударами веревки загнала в погреб. Бабушка стояла в дверях домика и истошно кричала. Из-за домика, где играл в войну мальчонка, снова донеслось пискливое «ура!». И лишь тогда старшина взревел. Вспугнутой ланью вылетела из погреба коза. Старшина уклонился от встречи с ней, за козой из погреба торопливо вышла женщина и заперла дверь снаружи. Молодой солдат услышал крик своего командира, прибежал и получил приказ препроводить женщину в дом. Но женщина пошла сама. Солдат по пятам следовал за ней, продев большой палец под ремень винтовки. Один бог знает, что при этом думал сын женщины.

Трое оставшихся пленных, безопасности ради, бросились к фуре. Молодой солдат, остановившийся под навесом, не спускал с них глаз. Он не понимал, что происходит. Зато он твердо знал, где враг. Рев старшины донесся теперь из погреба. «Давай, Ройдер!» — ревел старшина. Но Рёдер не появлялся. И вообще там все смолкло. Может, целую долгую минуту из погреба не доносилось ни звука. Лошадь обнюхивала козу. Коза кротко позволяла себя обнюхивать. Потом старшина заревел снова. «Фашист! — ревел он.— Пистолет! — ревел он.— Расстрелять!» — ревел он, старшина то есть.

Потом из погреба вышел Рёдер, шинель нараспашку, китель разорван, следом старшина, за спиной — автомат, в руках — находка. В дверном проеме старшина тяжело опустил руку на плечо Рёдера, повернул его к себе лицом, потом прошел мимо. Рёдер повиновался всему с безучастным видом. Когда старшина отошел на несколько шагов, сунул находку под ремень, снял с плеча автомат и Рёдер услышал металлическое звяканье, у него, должно быть, подогнулись колени, и он опустился одной ступенькой ниже. Старшина высоко прицелился и выстрелил. Рёдер тотчас рухнул. Чтобы удостовериться, а может, чтобы соблюсти предписание, старшина приблизился к входу в погреб и, держа автомат на уровне бедра, дал короткую очередь вниз. Женщины стояли в дверях дома. Старшина и к ним подошел еще раз. Так

же размеренно и спокойно. Младшей он сказал несколько слов, но что именно — никто не слышал. Даже бабушка — и та нет. Увидев приближающегося старшину, она затолкала внучонка в дом.

Отрывистая команда к отправлению. Рёдер никогда не бил жеребца. Теперь старшина нахлестывал его веревкой всю дорогу. В жеребца словно бес вселился. Солдат держался за слегу, пленные все лежали на дне. Старшина стоял. На степь уже спускались сумерки.

Вот как все было.

■

Рёдер лежал на редкой соломе мертвец мертвецом. Он и сам не знал, сколько времени пролежал в этом земляном погребе. Пахло козой, проросшим картофелем, брожением. Пахло старьем. Козы не было. Домашнюю скотину не держат рядом с покойником. То, что произошло на самом деле, находилось за границами его понимания. Сколько же он лежал! Чувство времени отступало под ударами воспоминаний. Все возвращалось с пронзительной отчетливостью, даже сверхотчетливостью. Все: предметы, люди, их жесты, слова — виделось ему в кромешной тьме неестественно большим и озвученным, как в кино. Нереальным было лишь то обстоятельство, что фильм о последних часах его жизни крутили то слишком быстро, то слишком медленно. И — что всего мучительней — он увидел себя самого: как он роет могилу, как взмах кирки вдруг ослабевает, ибо у могильщика мелькнула мысль, что мальчик не струсил, что он сражался и приберег для себя последнюю пулю. И как он сам бредет в земляной погреб, и как женщина его вовсе даже и не бьет. Он совсем медленно бредет вниз. Она следует за ним так же медленно. У нее недоброе выражение лица, будто им обоим предстоит выполнить в погребе недобрую работу. Потом он видит, как расстегивает на себе китель, достает из-под лохмотьев пистолет и протягивает его старшине на ладони. Мучительно медленно прокручивается лента. Но там, где старшина поднимает брови, где сжимает кулак, где замахивается кулаком ему в лицо, фильм останавливается. Старшина не бьет его в лицо. Кадры снова начинают мелькать, сменяя друг друга. Звук непомерно громкий — прямо рык: «Ты фашист, пистолет, расстрелять!» Первый залп грохочет как будильник с повторным звонком, который всегда стоял у них в спальне на жестяной тарелке, который всегда заставлял его подниматься, который теперь заставил его упасть. Второй залп — издали. И слова — издали, едва различимые слова: «Ты никс капут, ты работать, понимаешь...» Непонятный народ эти русские.

Было это на самом деле? Или не было? Одно из двух. Рёдер ощупывает голову, шевелит ногами и руками, сперва каждой по очереди, потом всеми сразу — так пловец делает упражнения на суше,— потом трижды сгибает колени и трижды дергает себя за мочку уха. Чтобы уж до конца удостовериться, он даже ощупал причинное место. Все при нем, все как положено. А глаза способны различить, что в погребе темным-темно, а снаружи — дверь не закрыта — чуть посветлее. Теперь он вдобавок ощутил голод. Но поскольку человек должен владеть собой, а не поддаваться своему голоду, словно животное, он не полез за перегородку, откуда пахло картофелем. Он поднялся по ступенькам погреба, воспринял как доброе предзнаменование, что ступенек оказалось семь, а поднявшись, обвел взглядом представшую перед ним действительность. Действительность пребывала такой же, какой он ее покинул, вот только за это время она облеклась в глубокую ночь. Домик с навесом и колодец с воротом. Снег тоже еще слегка мел. Из дома не проникало ни лучика света. Спят, наверно.

Должно быть, уже полночь. Он описал большую дугу вокруг домика. Ни лошади, ни фуры, ни бивачного огня. Команда ушла второпях. Мертвого немца полагалось взвалить на фуру, мертвую лошадь можно было бросить как есть.

Разум, оказывается, тоже его не покинул. Ладно, будь что будет, а пока нужно устроить ночную трапезу. Воскресший из мертвых снова ощупью спустился в свое укрытие. Когда он среди кромешной тьмы засунул руку в ларь и выискал себе отличную, увесистую и крепкую картофелину, у него одновременно мелькнула отличная, увесистая и крепкая мысль. Он подумал про Адама, и про яблоко, и про древо познания. Он хорошо знал эту старую легенду, до того хорошо, что мог даже припомнить, что изрек змей, который там присутствовал, а изрек он нечто весьма поучительное. И сказал змей: вы не умрете. Откроются глаза ваши, сказал он. Глаза у Рёдера и впрямь открылись. Он уже мог отличить тьму обыкновенную от тьмы непроглядной. Но он не мог разжать зубы. Его челюсти были словно спаяны. Беда не приходит одна. Кто не может раскрыть рот, тот не может и разговаривать. Разум, в наличии которого Рёдер только что убедился, подсказал ему, что это могут быть последствия пережитого смертельного страха. Ведь ему и в самом деле пришлось испытать смертельный страх. Страх этот сковал его разум на долгие часы. Но разум снова к нему вернулся. А разум — это самое уязвимое. Человеку нужен покой, чтобы все снова к нему вернулось. Рёдер лег. Ему вдруг стало очень жарко. Это хорошо, это расширяет сосуды. Затвор пистолета здесь бы тоже разработался. От тепла. Но мне это уже ни к чему. Когда благородные господа боятся лишиться чувств, они суют себе под нос флакончик одеколона. А у нашего брата только и есть что картофелина. Зато в пальцах у нашего брата достаточно силы, чтобы разломить пополам отличную, увесистую, крепкую картофелину. Запах у этого сорта так себе. Наверно, у русских вообще нет хороших сортов. Но даже из самых хороших ни один не сравнится с «Благодатью пашни». Голос все еще никак не вырвется из гортани. Сама гортань вибрирует и гудит. Можно ее использовать как камертон. Когда регент ударял по камертону, он тоже закрывал рот. Мария и Иосиф в вифлеемском хлеву. Не подкопаешься. Если бы Мария была женщиной из домика, если бы она нашла меня здесь — как вскоре найдет эта женщина меня, такого, как я есть, Мария упала бы замертво, доживи она до наших дней. А эта женщина? Когда станет светло, женщина забудет все дурное. И разум, наверно, к ней вернется.

Рёдер даже не заметил, как при этой мысли у него открылся рот. И, уже с открытым ртом, он понял, что контракт между человеком и рабочей лошадью человеческой породы, который без слов заключили они между собой — он и эта женщина, был заключен обеими сторонами в состоянии полуневменяемом. Пусть полуневменяемость каждого имела различные, вообще не сопоставимые причины, одна невменяемость не поглощала другую, скорее усиливала.

Когда станет светло, к женщине вернется здравый рассудок, он воскресит ее понятие о чести, ее гордость, ее боль. Она — солдатская вдова. Она не может держать пленного вместо лошади. Да и что скажут люди? Старшина доложит, что, согласно приказу, расстрелял одного военнопленного за ношение оружия. Когда же его спросят, закопал ли он расстрелянного, к тому же имея под рукой похоронную команду, он, не дрогнув ни одним мускулом лица, ответит, что передоверил эту грязную работу одной личности, которая своим поведением уронила достоинство русской женщины. А когда эта русская женщина меня увидит, когда станет светло, когда к ней вернется рассудок, не сможет же она уронить это самое достоинство еще больше.

Она должна будет меня расстрелять. Ей и вообще-то ничего не стоит нажать курок. Между прочим, старшина, надо думать, тоже был не в своем уме. Эта война не знает милосердия. Проявлять милосердие во время войны либо принимать его равносильно самоубийству. Я не могу умолять эту женщину проявить милосердие и позволить мне работать на нее вместо лошади. Всего лишь работать, как работает честная лошадь. Не надо смущать ее такой просьбой. У нее остался еще один ребенок. Но я все равно должен выдержать.

— Мам, ты не спишь? Мам, чего нам делать с фашистом? Ты сказала, что он, может, вовсе и не мертвый.

— Спроси у бабушки.

— Он мертвый, внучек, как же иначе, ты ведь сам видел, старшина два раза в него выстрелил. Завтра утром, когда станет светло, ты сможешь сосчитать гильзы. Он дважды мертвый, этот фашист. А то и трижды. Мы возьмем санки. Мы увезем его подальше. И пусть дикие собаки его хоронят. Еще до того, как станет светло.

— Мама, ты слышала? Еще до того, как станет светло.

— Слышала, слышала, что ты все повторяешь, как попугай. Я возьму свою винтовку. Мне без нее нельзя. А бабушка пусть расскажет тебе сказку про Ивана — крестьянского сына и злого Кащея.

Полночь все еще не наступила. Когда зимнее небо затянуто облаками, ночь начинается, минуя вечер. У кого был замутнен рассудок, тот теряет чувство времени. Рёдер набил картошкой мешочек для хлеба. Когда мешочек бывал пустой и обмякший, Рёдер носил его на ремне под шинелью. Для тех же случаев, когда у мешочка раздувались бока, вот как сейчас, Рёдер держал в запасе лямку от противогаза, чтобы носить мешочек через плечо. И понесет он его под шинелью, не поверх, а именно под, хотя полный мешочек поверх шинели носить куда сподручней. Но поверх шинели картошка по дороге замерзнет, а Рёдер — человек предусмотрительный. У кого впереди долгая дорога, тот должен обо всем подумать. О дорожном рационе, о самой дороге и о том, куда ведет эта дорога. Итак, куда же она ведет? Вот уж на этот счет сыну моего отца беспокоиться нечего. Была бы голова на плечах, найдется и дорога. А где есть дорога, там есть и пункт назначения. Возможно, они схватят меня посреди степи. Местные жители — чужака, и вдобавок крайне подозрительного чужака. Значит, коль скоро ты и без того подозрительный, не надо подозрительно себя вести. Надо позволить себя задержать, не пытаться спастись бегством, не оказывать сопротивления. Надо вести себя как человек, который пришел сдаваться. И не иметь при себе оружия, даже если и попадется какое-нибудь по дороге. Кто, будучи чужаком, в военное время не имеет при себе оружия, тот уже считай, что сдался. Тот все равно как враг без зубов. Или, скажем, как немецкий солдат, мимо которого прокатилось наступление русских и который с тех пор, словно отшельник, бродит по этой богом забытой степи. Звать меня Хазе.

Ах да, буквы на шинели. Они говорят другое. И наведены несмываемой краской. Мало ли что буквы. Нашел шинель в степи. На разбитом снарядами фольварке. Там был еще такой каменный домик, хорошо сохранившийся. Так он, по крайней мере, выглядел издали. Если захотите проверить, вы найдете там двух женщин, гражданских, и одного ребенка. И все трое подтвердят, что я сказал правду. Недалеко от их дома расстреляли одного военнопленного. За утайку оружия. Труп так и остался лежать.

Да, но плешь? С какой стати солдат, отбившийся от своей части, будет выстригать себе плешь, когда на дворе зима? Господи, да плешь выстригли наши санитары. Из-за вшей. А потом волосы так и не отросли. На голове-то все время была стальная каска. А пот, который вечно собирается под каской, он действует на корни волос, как ртуть. Человек с бородой и плешью всегда смахивает на придурка. А кто смахивает на придурка, да вдобавок говорит, как придурок, за такого всегда кто-нибудь заступится. Придурки не подвластны закону. А если не подвернется ни одна живая душа, чтобы меня заарестовать, всегда можно ненароком выйти на какого-нибудь часового, какую-нибудь комендатуру. Главное, я не Мартин Рёдер. Я Карл Рёдер. Я — мой брат, свинья эдакая. Пожалуй, самое подходящее для меня направление — это юго-восток. В сторону Сталинграда. Ох, и далек ты, обратный путь на родину, ох, до чего ж далек.

Как это пелось дальше в одной песне? Сгорбясь, евреи по свету бредут, сегодня там, а завтра тут. Один только раз люди живут, живут, пока не умрут... Вот как оно пелось... Сперва Польша, а потом Франция, Балканы и, наконец, Россия. А теперь ты и сам еврей, вечный жид. Ты уж не серчай на меня, Бромбергер, ты был неплохой человек. Бился-надрывался со своей лошадкой и своей тележкой. И все по деревням колесил, все по деревням, от Польши до Нижней Силезии. По скверным дорогам, летом и зимой. Правда, люди тебя не обижали, так ты ведь и сам в жизни мухи не обидел. Покуда человек жив, покуда не свихнулся окончательно, он меняется в лучшую сторону, вот как говорил Бромбергер. Ну, не шуми, Мартин! Дрозд смеется, умирая. А сейчас темней, чем я думал. Собственной руки не видать. Глаза ваши откроются, сказал змей. Откроются ли, нет ли, а палочку раздобыть не мешало бы. Всего бы лучше дубовый сук. И от собак хорошо. Можно пропороть ей шкуру, если набросится. Нет, без дубины он и шагу не сделает. Коли у кого голова не варит, пусть за нее ноги отдуваются. Перед домом, помнится, лежали дрова, которые мы им привезли. И среди них пара отличных плах. Прямо как коньковые брусья, нетесаные, прямые, не слишком тонкие, не слишком толстые, круглые и ухватистые.

Рёдер тем временем отошел уже на изрядное расстояние от дома. Теперь он повернул и пошел обратно. Дубина, которую он искал, единственная подходящая для него, никак не попадалась. Наконец, он остановил свой выбор на жердине, которая лежала в самом низу, а потому и достать ее удалось лишь с превеликим трудом. Была она длинная, как епископский посох, только потолще, хотя вполне ухватистая. Наш новоявленный странник, можно сказать, бодро уперся посохом в землю, сделал первый шаг, второй и только вознамерился сделать третий, как женщина ткнула его дулом ружья. в спину. Рёдер сразу понял, что это она, но понял также, что теперь и в самом деле пришел его последний час. Поднявшись на вторую ступень познания, Рёдер в сердцах обозвал себя болваном, который вздумал спокойно отбирать товар, будто на дровяном базаре перед лесничеством. И он приказал самому себе пройти свой последний путь с гордо поднятой головой и при этом думать только о Марии. Где однажды пролетела птица смерти, туда прилетят и еще несколько. Сперва Мария, потом мальчик... Для чего и ему тогда жить...

Итак, за домом.

Женщина толкала его перед собой дулом винтовки. Пока не затолкала за свой дом. Пока он не оказался лицом к стене. Женщина не проронила ни слова. Она и пришла беззвучно. Как нечистая со-

весть. Женщина отступила на два или на три шага. Вообще-то выстрел уже должен был прогреметь. Секунды утекали в вечность. Мария, Мария. Невозможно так много секунд думать о Марии всеми силами души. Рёдер покосился в сторону. Там стояли крестьянские сани, одноупряжные, с двойной оглоблей. Он их раньше даже и не заметил. Рёдер понял: она хочет узнать, сколько я вешу. Только зачем ей делать это здесь? Со всем моим тряпьем я как-никак потяну килограммов на шестьдесят. Не легкий груз для женщины. А дорога длинна Ей пришлось бы проделать изрядный путь с моим телом. Она не захочет, чтобы я лежал вблизи дома. Теперь мне все ясно. Старшина признался ей, что дарит мне помилование. Будь женщина уверена, что ее рабочая лошадь лежит мертвая в погребе, она непременно завопила бы со страху, увидев, как я роюсь в поленнице. Хотел бы я поглядеть на ту женщину, которая не завопит, увидев среди ночи покойника, отыскивающего себе посох. Но старуха и ребенок, поди, до сих пор не знают того, что знает она. Кстати, и поэтому тоже она не должна стрелять здесь, за домом. Это вызовет ненужные расспросы. Вот видишь, Мария, теперь она запрягает меня как лошадь. Ты уж прости ей, Мария. Зато наша семья опять соберется вся вместе.

Вот мы и отмахали этот изрядный кусок. Женщина первым делом оттолкнула немца примерно на пядь от оглобель, потом и вовсе вытолкала из упряжки. Дорога была долгая, и за всю дорогу женщина не проронила ни слова, лошадь не услышала ни одной команды. Только и было слышно, как скребут полозья по снегу. Да один раз прозвучал отдаленный рокот самолетных моторов, далеко и высоко над облаками. Направление — на юго-восток — пленному дозволили выбирать самостоятельно. Он ориентировался по ветру. Потому что ветер и остатки снежной крупы шли с севера. А в этих краях ветер долго дует в одном направлении.

Итак, Рёдер, освобожденный от сбруи, повернулся. Женщина уже прицелилась, упершись прикладом в бедро. Правая рука у нее, как и вчера, была на перевязи. Если бы старшина не предавался столько времени проклятым раздумьям, когда разговор зашел о лошади, все сложилось бы по-иному. Скверная привычка у русских — подолгу размышлять.

«Будь по-твоему, женщина».

Рёдер проговорил это на своем языке. Громко и отчетливо. Хотя в горле у него першило. Кто знает, не надумала ли женщина перед расстрелом запретить ему говорить по-немецки или вообще издавать какие-нибудь звуки. Во всяком случае, она яростным дискантом и без секунды промедления обрушила на него целый поток русских слов. Чаще других повторялись два: «давай!», во-первых, и «сатана», во-вторых. Тут и не захочешь да поймешь. Пошел прочь, сатана! Больше здесь не показывайся! Можешь есть снег, можешь глодать себя самого! Пошел прочь, сатана! Хотя она, вероятно, пустит и пулю вдогонку, когда сатана решится уйти прочь. Кто уходит, у того остается надежда. Последнее, самое последнее, чтоб ему провалиться, милосердие.

Рёдер напрягся. Хотел еще раз показать женщине, что он уже принял должную позу и готов встретить смерть, как подобает. Женщина не переставала что-то выкрикивать яростным дискантом. Сколько времени человек может стоять в позе?

— Расстрелять! — в отчаянии завопил Рёдер тоже по-русски.

И тогда женщина смолкла. Она стояла чуть сгорбясь. Из-за прижатой к бедру винтовки и поврежденной руки. А еще из-за того, что злость клонит человека к земле. Поэтому женщина смотрела на муж-

чину снизу вверх. В ночи и в горе у человека обостряется зрение. У нее было все то же недоброе лицо, что и днем, когда он по ступенькам спускался впереди нее в погреб. Рёдер узнал это выражение. Оно уже было ему знакомо. Резко мотнув головой, женщина дала ему понять, чтобы он убирался на все четыре стороны. И это было ее окончательное решение, потому что она швырнула винтовку в сани, сама встала между оглоблями, а пленного — свою распряженную лошадь — оставила посреди ночи и посреди степи. Рёдер еще некоторое время слышал, как шуршат полозья по снегу. Потом все стихло.

Разум явно отказывается мне служить. Я мог бы и раньше догадаться, что она не намерена меня убивать. Ведь картошку она у меня не отняла. Если поглядеть сзади, мешочек с картошкой отчетливо виден под шинелью. Ей трудно теперь придется, сани тяжело оттягивают постромки, особенно когда работаешь одной рукой. Но, понимаешь, Мария, я не имею права ей помогать. У нее остался один ребенок. А еще потому, что и сама она — неплохой человек. Ты мне вот что скажи, Мария, ты ведь лучше разбираешься в женщинах. Скажи, почему она заставила меня тащить пустые сани? Приказала? Или нет? Или я сам запрягся, по доброй воле? С чего я взял, что должен умереть в оглоблях? Хотела ли эта женщина, чтобы я умер, как умирают лошади? Помоги мне, Мария. Скажи, что мне думать. Я не хочу сдаться. Я не хочу быть лошадью, не хочу умирать. Не хочу жить, как лошадь. Я ведь не лошадь, я человек.

Беззвездная ночь, степное бездорожье. Рёдер собрался держать путь на юго-восток. Он сказал себе: если ветер, как я и предполагал, дует с севера, а мне надо на юго-восток, значит, ветер должен дуть мне сзади, искоса, в мочку левого уха. А там что бог даст! Время от времени Рёдер останавливался, снимал наушник и проверял свой курс по ветру. Отсутствие посоха очень его удручало. Он знал, что крепкая палка, палка — спутник и проводник, была бы ему очень кстати. Палка идет впереди человека, она говорит ему, куда можно ставить ногу, а куда нельзя. С палкой ты можешь даже плясать при виде опасности. Злобный собачий вой, вот уже сколько времени доносящийся спереди, еще раз подтвердил, как ему не хватает палки. Все наличное на что-нибудь да сгодится. Но тот, кто без дубинки выходит навстречу опасности, тому несдобровать. Рёдер надумал обойти опасность стороной. Отклонясь к юго-западу, он тотчас ощутил перемену ветра на своем правом ухе.

Все свои надежды он сейчас возлагал единственно на овин. Он напрягал глаза, чтобы не прозевать черную массу овина, который вчера, к своему великому удивлению, обнаружил поблизости от фольварка. Овин большой и высокий, как дом. Вот только лежал он в прямо противоположном направлении, и с каждым шагом Рёдер уходил от него все дальше и дальше. Наверно, лучше бы всего ему топать на восток. Чтобы ветер дул в лицо. И чтобы оставалась надежда на овин и на приют, который можно в нем обрести. Не бояться холода. И наконец, выспаться. Не сдаться — это, помимо всего прочего, означает сохранять спокойствие, даже если спасительная мысль слишком поздно осенит тебя. Но это отнюдь не означает, что ты можешь спокойно опуститься на снег и заснуть. Ибо такое спокойствие грозит обернуться вечным покоем. Нет, идеи должны приходить в голову своевременные, если только ты хочешь выстоять. Своевременные и хитроумные. Как это говаривал старик Бромбергер? «Покуда человек окончательно не свихнулся, он меняется в лучшую сторону». Впрочем, насколько я помню, он и еще кое-что к этому добавлял. Вот что добавлял старик

Бромбергер, Давид Бромбергер: «...меняется в лучшую сторону, хотя ему самому от этого не становится лучше». А Давид был достаточно хитроумный. И мысли у него всегда были своевременные. И всегда он колесил по разбитым дорогам из деревни в деревню. Зимой и летом. Даже если какая-то идея слишком поздно тебя осеняет, ты не должен поддаваться беспокойству. Ты не должен путать предпоследний шанс с последним. Овин возле изрешеченного пулями фольварка был бы для тебя не более как предпоследним шансом. А ты должен охватывать глазом все, раз ты хочешь выдержать.

Ночь длинна, как Страшный суд. Если когда-нибудь настанет день, я непременно его отпраздную. Когда рассветет, мы перекусим. Морковка, конечно, лучше бы, чем сырой картофель. Морковь полезна для глаз. А сырой картофель хорош против цинги. Тушеный картофель с морковью. На неделе Мария дважды его готовила. По четвергам — с говядиной, по понедельникам — без. Вот только зажигалки нет. А к завтраку картошка должна быть готова. Ну, Рёдер, придумай же что-нибудь.

Рёдер пальцами выудил из мешочка две картофелины. Взял в каждую руку по одной и снова сунул руки в рукавицы. До завтрака сырые картофелины хоть немного разогреются. Тот, кто хочет выжить, должен прежде всего заботиться о своем желудке.

Теперь прямо на юг, чтобы ветер дул в затылок. Вот если бы Плишке сбежал, он бы наверняка долго не продержался, потому что Плишке не владеет собой в смысле еды. Он что найдет, то и слопает, хоть замерзшее, хоть заплесневелое. Помяните мое слово, Плишке еще застрелится. Возможно, он больше смыслил в жизни, чем мы, бродяга, галицийский немец. Одни только австрийцы вообще знали, что это за Галиция такая. В мехах и шкурах Плишке тоже разбирался, как дипломированный скорняк. Каждый год шеф брал Плишке на ярмарки—закупать меха. Возил аж до Лейпцига, а в мирное время даже куда-то в глубь России. Плишке знал, как делают деньги. Только сам их никогда не имел. Теперь мы с ним квиты. Один раз он мог меня продать. И тогда не миновать бы мне тюрьмы и штрафбата. Но он только пригрозил: «Ой, Рёдер, подвинти гайку, не то угодишь под военно-полевой суд». Пригрозил, но не донес. Зато и потрошил меня потом, как рождественского гуся. Ты почему говоришь: спер? Я не спер, а взял у тебя, Рёдер. Ты, поганец этакий, разве не помнишь, что за тобой должок?

Мысли Рёдера побежали по кругу, но теперь в обратную сторону. За эту ночь он уже однажды поминал свои долги, долги, которые складываются из причастности и непричастности. Поминал, по вполне понятной причине считая, что идет в свой последний путь и по непонятной причине тащит за собой пустые санки. А случай с Плишке произошел почти год назад. Им велели доставить из Брянска молодое пополнение. Из Брянска. Свежую кровушку. Числом шестьдесят человек. Салажата еще пылали вдохновением и жаждой подвигов. Сопровождающий их офицер тоже был в России новичком. Он заставил их обоз, состоящий из трех грузовиков, ехать всю ночь напролет. Прямо и неуклонно — через брянские леса. Луна была красивая, как по заказу. И произошло то, о чем господин капитан и слушать не пожелал. Нападение партизан. Пятнадцать убитых. Хотя ничего не скажешь, господин капитан сражался как лев. Сам захватил трех партизан. Карательная группа. Добровольцы — шаг вперед! Салажата прямо дрались за эту честь. Уже занималось утро, когда карательная команда, одинаково чеканя шаг и с одинаковыми лицами, тронулась в путь. Рёдер и Плишке были в числе собравшихся по приказу зрителей. Когда трех захваченных партизан расстреляли, Рёдер сказал Плишке:

«А ты видел, как стояли русские?» Плишке притворился, будто не слышит. Но Рёдер не мог молчать о том, что видел.

Их малость познабливало, это так, и они смотрели поверх голов команды с таким выражением, словно хотели сказать: «Ну, стреляйте, чертовы выродки, стреляйте, гады». Так истолковал вслух их молчание Рёдер. Потому что это засело в нем как блуждающий осколок. Будь его сын среди этих салажат, он бы тоже непременно вызвался добровольцем. Он бы выскочил первым. Око за око, зуб за зуб. Так учили его. А если бы самого отца назначили в ту команду, тогда как? Он ведь не отказался бы выполнить приказ... Вот что пришло Рёдеру в голову, когда он тащил через ночь пустые сани, когда у него первый раз в жизни отвратительно заныл мускул, тот самый мускул, на котором подвешено сердце. Сам он такой же выродок, но выродок, который готов умереть, как и положено умирать на рассвете. Он почему-то накрепко вбил себе в голову, что это непременно произойдет на рассвете. И, проникшись столь твердым убеждением, он избрал себе чуждые образцы для подражания. Тех трех партизан. Но воспроизвести в точности их поведение он не сумел. Нервы под конец не выдержали. И он попросил о смерти как о благе. Будет ли это для него счастьем?

Описывая дугу вокруг воющей собаки, Рёдер не был в этом уверен. Вот холодные картофелины в погребе, из которых он две согревал сейчас в руках,— картофелины были счастьем. Счастье — это случайность. А за весь минувший день и за всю ночь ничто не было случайностью. Говорить здесь о случайности неуместно. Столько-то он теперь знал. Ему даже стало как-то неуютно от того, что он теперь так много знает. Но кто не хочет подвести черту, сказал он себе, тот должен разбираться и в тончайших оттенках. Наступит утро, и земля будет твоей. Вот станет светло, и земля будет дальше вращаться вокруг солнца вместе с тобой.

И когда он, подгоняемый северным ветром, изменил направление и склонил голову под бременем гнетущих мыслей, ему вдруг вспомнилось, что та женщина швырнула винтовку в сани, словно тяжелую ношу, просто взяла и швырнула. Хотя новые гнетущие мысли пригибали его голову к земле, былая простота неведения повелевала остановиться и громко вымолвить самое простое, что можно сказать при таких обстоятельствах: «Вот ведь как бывает!»

Он застыл с приоткрытым ртом, молитвенно прижав к груди рукавицы с картофелинами.

Когда надо было действовать, ты, Мария, всегда оказывалась малость смышленее, чем я. Вот и теперь ты наставила меня, сказала, что мне думать, теперь, когда от этого так много зависит. Итак, я должен думать о том, что женщина швырнула свою винтовку в сани. А из этого следует, что она не ждала от меня больше ни глупых, ни злых поступков. Ты видишь, Мария, как мало-помалу становится светло? В одном месте уже возникло слабое сияние. Когда станет светло, я съем свои картофелины. Если долго жевать сырую картошку, она делается словно пюре. Я голоден как волк. Но есть я буду очень медленно. Я должен бережно расходовать свои запасы. И свою силу тоже. Чтобы поесть, надо сесть к огню. Пойду навстречу свету. Ведь ночь еще не кончается, понимаешь, Мария? Это не рассвет, это костерок горит вдали. Горит на земле, отражается на небе. Правда, тут недолго и ошибиться. У костра сидят люди. Пожалуйста, пусть меня схватят. Беды не будет. Главное, врать как по-писаному. Порой, когда хочешь уцелеть, приходится говорить неправду.

Мария! Я сбился с пути! Я вижу фуру, я вижу лошадь. И палатку. Мне туда нельзя. Для них я мертв. Если я заявлюсь к ним без единой

царапины на теле, старшина пойдет под суд. А он хороший человек. Но поесть мне все равно надо.

Чтобы поесть, Рёдер не просто присел, а уселся на землю. Раньше, когда Мария или сын приносили ему завтрак в поле, то хлеб и что-нибудь еще всегда было завернуто в свежевыстиранный белый платок. Платок расстилали на меже, на нем ели. Разговоров за едой не вели. Рёдеру привиделся свежевыстиранный платок, когда он вдвое сложил полы шинели, поместил картофелины на снятые рукавицы, а сам опустился в снег. Снежный покров был тонкий и дырявый.

Он рискнул подойти к огню довольно близко, до того близко, что его скрывала только ночная тьма. Костер, палатка, фура, лошадь были удалены от него не больше, чем один телефонный столб от другого. Растирая челюстями первую картофелину в пенистую массу, он наслаждался благами, дарованными природой: разжевывание, неторопливое глотание, работа слюнных желез, поступление пищи в желудок и ко всему возможность видеть, оставаясь невидимым. Он видел, как солдатик вылезает из палатки и хлопочет у костра. Далекий собачий вой жутко раскатился в ночи. Солдат бросил в костер остатки топлива, и тут Рёдер догадался, который теперь час. До света оставалось часа два, не меньше. Стало быть, он не так уж и долго лежал без сознания в погребе. И, стало быть, не в полночь, а много раньше он искал себе посох.

Когда Рёдер перешел к поглощению второй картофелины, солдатик снова залез в палатку. И Рёдер подумал, что настала минута попрощаться с лошадью. Вот только он вдруг засомневался, подходящий ли он для этого человек. Вдруг почувствовал себя крысой. Крыса, она ведь тоже украдкой грызет картофель, бежит от огня и бежит от людей. Вот разве что крыса не может чувствовать себя такой несчастной и замученной, как наш брат. И нора, крысиная нора, у нее тоже есть. И — обычно — целая стая крысят. А коли нет в данную минуту, инстинкты сработают, нора вновь наполнится. И далеких путей в неведомое у нее не бывает, у крысы, стало быть. Даже если речь идет о бродячей крысе. У бродячих крыс тоже далекие пути, но крысы не задаются вопросом куда и почему. А уж про господа бога они и вовсе не думают. Низшие существа вообще ни о чем не думают. У них не бывает мыслей. А человек — создание высшей породы. Человек обязан думать. Таков его удел. Человек происходит не от Адама и Евы, но и не от обезьяны. Человек происходит от змея. Змей был первым мыслящим существом. Он сразу смекнул, что райская жизнь коротка. Вот почему господь прогневался и обратил его в существо низшей породы.

Но сказанное змеем было уже сказано. Мысль вырвалась на свободу. Что сказано, то сказано. Лошадь забеспокоилась возле фуры. Не иначе почуяла меня и картофель. Почуяла и думает, чего же Рёдер не идет. Лошадь — она высшей породы, она гораздо выше меня. Она думает, поэтому все ее поступки своевременны. Если б лошадь не умела думать, она бы и с ума не могла сходить, как сходят люди. А она может, на нее может накатить оглум. Такое нередко бывает у лошадей. Скажу тебе прямо, лошадь...

За едой не принято разговаривать. Человек дожевывал вторую картофелину и потому ничего еще не успел сказать лошади. За едой можно только готовиться к разговору. Потому что ум ничем не занят. Мысль вызревает в теле. Как дитя. Душа сидит в диафрагме. Лишь закончив свою ночную трапезу и снова натянув рукавицы, Рёдер заговорил с лошадью. Когда человек уходит, он должен попрощаться с лошадью. Лошадь — существо высшей породы. Лошадь — товарищ.

Настала подходящая минута. И сам Рёдер чувствовал себя теперь как подходящий человек в подходящую минуту.

Для начала я скажу тебе, лошадь, что называть я тебя буду лошадью. Арестант — это никакое не имя, Арестант — это временное прозвище, данное властями. Тебе бы зваться Голодухой. Либо Нюхалкой. Либо Глазастиком. Я так тебе скажу, лошадь, все зависит от Почему. Если ты не понимаешь Почему, ты не понимаешь и Потому, а если ты не понимаешь Потому, значит, ты во всем участвуешь, хоть и бессознательно. Тогда ты позволяешь измываться над собой, а сама думаешь, что так, мол, все и должно быть. Я тебе вот что расскажу, лошадь. Когда мы еще жили на барском дворе, я со своей Марией, к нам в людскую каждый вторник в восемь часов вечера, а зимой на полчаса раньше приходил проповедник. Он, проповедник этот, был из саксонских гернгутеров[1]. Уцелевших. Раньше, говорят, их было в Саксонии великое множество. Каждый вечер во вторник с восьми до девяти, а зимой с половины восьмого до половины девятого весь дворовый люд, братья и сестры во Христе, собирались вместе. Все равно форейтор ты или судомойка, дворецкий или горничная, старший батрак или младшая батрачка. А когда порой на проповедь заявлялись барин либо барыня собственной персоной, проповедник и к ним обращался точно так же, как и к нам. Это было очень приятно, скажу тебе прямо. Но проповедник говорил, будто человек не должен задавать вопрос «Почему?». А это было неправильно. Ведь с «Почему?» у существ высшей породы все и начинается. Даже у тебя, лошадь. Поэтому с тобой и можно разговаривать. Как ты думаешь, почему нужна лошадь той женщине, у которой ты ела сено? Потому что ей нужна лошадь. Если сено не ворошить, оно сгниет. Если не ворошить свою беду, она тебя одолеет. Собака, которая сейчас воет где-то вдали, она ведь тоже ничего не хочет, кроме как переворошить свою беду. Только она не знает как. Вот оттого-то она и воет, глупая собака. А мой мальчик, он ведь тоже всего лишь хотел переворошить свою беду, но не знал как. Да и со мной, лошадь, со мной ведь, по правде говоря, тоже так было, когда я взял себе его пистолет. Высшая порода должна отыскивать выход. Но как узнать, что кому нужно на самом деле? Вот в чем трудность, лошадь. Женщине, той нужна лошадь. И старшина прекрасно это понял. Понять понял, а тебя не отдал. Потому что война. Потому что во время войны не так-то просто безо всякого списать учтенную рабочую лошадь. Наш брат по сути тоже учтенная рабочая лошадь, все равно кто ты на войне — доброволец, военнообязанный или военнопленный. Вот только нашего брата легче списать в войну. Да и не только в войну. Старшину можно тоже причислить к нашей братии, как мне кажется. Ему эти фокусы не нравятся. Ему не так-то легко тебя списать. Тебя ли, меня ли. Но ведь он знал, что ради женщины необходимо списать лошадь. И я это знал. Что нам оставалось делать? Пойти на небольшую хитрость, некоторым образом перехитрить учетные листы. Только не думай, лошадь, что здесь был налицо сговор. Не сговор, лошадь, не сговор, а наитие. Коль скоро человек осознал, что нужно и почему, его высшая порода даст ему какой-нибудь совет. Но дело обстоит следующим образом: перехитрить учетный лист можно, перехитрить женщину и целый народ нельзя. Нельзя при данных обстоятельствах и данном характере. Когда чудо-лошадка выглянула из черной дыры, из погреба, женщина прогнала ее в холодную ночь. А винтовку забросила в сани. Если вдуматься, в этом поступке ничего хорошего нет. Можно отбросить винтовку. Можно от-

[1] Гернгутеры — члены религиозной секты, основанной в городе Гернгуте в XVIII веке. *(Прим. перев.)*

бросить страх, но ведь можно отбросить и выдержку, можно упасть духом. А зачем женщине падать духом? С какой стати? Лучше честно украсть, чем плохо схитрить. Ты меня понимаешь, лошадь? Старшина, тот бы понял. А сейчас самый благоприятный момент. Сейчас или никогда.

Идея с честными намерениями украсть лошадь возникла у Рёдера во время речи, обращенной к лошади. Внезапно. К концу речи. Он встал. Сейчас, минут через десять или, скажем, пятнадцать после того, как солдат подбросил дрова в костер и снова заполз в палатку, момент самый подходящий. Сейчас наверняка все спят крепким, глубоким сном. Только два пункта вызывают сомнения. Первое, что старшина не спит, а размышляет. Второе, что, если лошадь его учует, она с радости загромыхает ручкой от ведра. Поэтому Рёдер не направился прямиком к лошади и к костру. Для начала он ушел с наветренной стороны, описал еще половину дуги и подошел к биваку с запада. Идти, не производя шума, ему было нетрудно. Земля окаменела от мороза. И когда под ногами рассыпчатый, легкий снежок вдруг издавал скрип, Рёдер на мгновение замирал. Ближе к огню, между костром и фурой снег не скрипел. Лошадь он сперва угостил двумя картофелинами прямо из рук. Двумя — как и себя. После чего лошадь засунула морду ему под шинель. Пока все шло хорошо. Теплое дыхание лошади согревало ему лицо и шею — наверно, так чувствовал себя первый человек, когда господь вдохнул в него душу живую. Прежде чем отвязать намотанный на ось конец недоуздка, он выдернул проволочку, на которой висело ведро. Жестяное, оцинкованное ведро вполне может заменить исчезнувшую зажигалку. А зажигалка — вещь нужная. Он бросил в ведро немного горящих углей из бивачного костра, наполнив его примерно до половины. Теплое, божественное дыхание лошади подсказало эту затею с ведром. Без огня человек — не человек. Тем более когда стоит такая холодина.

Рёдер повел жеребца шагом на коротком поводке. Два одеяла, из которых вне всякого сомнения одно, а то и оба раздобыл Плишке, Рёдер тоже бы с превеликим удовольствием честно украл, как и лошадь. Но не надо злоупотреблять удачными идеями, не надо подбирать то, чего вообще никто не терял. Снова нырнув в ночную тьму, он ласково попросил жеребца, чтобы тот разрешил вскочить ему на спину и поскорее ускакать прочь. И еще чтобы жеребец не боялся горячего ведра. Он, Рёдер, проследит, чтобы горячая жесть не прикасалась к лошадиному боку. Тем более бок от ведра отделяют попона и торба с овсом. Лошадь поняла его так, что лучше и не надо. Позволила вскочить и сразу пошла легким галопом.

Рёдер пустил ее против ветра. Ему надо было возвращаться в северном направлении. Его план окончательно созрел. Когда рассветет, легче будет ориентироваться. Когда светло и не метет снег, в степи далеко видно. А хорошо видит тот, кто видит первым. Всадник увидит в степи далекий домик, который отыскивает. А люди в том домике его не увидят. Поскольку они его не ищут. При свете дня он хотел бы объехать вокруг домика, оставаясь все время примерно на одном от него расстоянии. Ему надо только отыскать овин возле разрушенного фольварка. Там можно будет вырыть в соломе дыру и вздремнуть часок-другой. Не до разгара дня, нет, от силы три-четыре часа. Потому что, когда они хватятся лошади, у старшины возникнут некоторые подозрения и он организует поиск. Поисковая группа сперва наведается в каменный домик и лишь потом в овин. Из такого овина можно соору-

дить временную конюшню. Достаточно подпереть ее кольями. Правда, Рёдер не думал, что старшина отрядит людей искать лошадь. Воруют нынче много, кто честным, кто нечестным путем. А находят мало. Если старшина — человек неглупый, он предпочтет обойти стороной и кирпичный домик, и соломенную скирду. Если запрягутся трое, фуру можно доставить в лагерь и без лошади. Словом, Рёдер не думал, что его станут искать. Но ведь человек может и ошибиться. А Рёдер хотел действовать наверняка. Он хотел вздремнуть часок-другой — тем временем испекутся картофелины, а лошадь подкормится сечкой — и уехать прочь от овина. К холму. Да, может быть, к холму. И только на следующую ночь он перегонит лошадь поближе к домику. А уж оттуда Обжора и сам найдет дорогу.

Он же тем временем найдет свою дорогу, тоже сам. К юго-востоку. У кого хватает смелости докопаться до Почему и продуманно сделать Необходимое, тот родился под счастливой звездой. А если и не под счастливой, тоже не беда.

Зажимая поводья в одной руке, а ведро с жаром — в другой, Рёдер поехал сквозь нескончаемо долгую ночь против ветра. Когда ведро начинало раскачиваться, за конем и всадником поднимался шлейф искр.

Солнце желтого сырного цвета прошло больше половины пути до зенита, когда всадник, наконец, завидел свою Мекку, куб овина. Судя по первой полосе рассвета и блеклой окраске солнца, ветер за ночь переменил направление с севера на северо-восток. Если двигаться против ветра, Рёдер должен был довольно точно выйти к кирпичному домику. Да и жеребца, который с рассветом учуял незримо веющий им в лицо дым очага, удавалось только при помощи мешка с сеном направить на предусмотренную Рёдером дугу вокруг хижины.

Подъезжая к овину, Рёдер увидел, что он сметан из кукурузной соломы. Вчера, в метель, он мог разглядеть лишь его очертания. Да ему никто и не позволил бы подходить ближе, чтобы досконально разглядеть его со всех четырех сторон.

Впрочем, солома, она и есть солома, когда человеку хочется несколько часов поспать, да при этом не хочется замерзнуть. Его приятно удивило то обстоятельство, что овин уже имел вход высотой с человеческий рост и что к этому входу была привалена дверь. Тонкий слой снега перед дверью был девственно чист и малость бугрился. Но приятное удивление тотчас обернулось жестоким разочарованием. Только он попытался отставить дверь в сторону, как за дверью залаяла собака и раздался хриплый мужской смех. Прежде чем дверь всей тяжестью обрушилась на его голову, он успел еще сообразить, что хозяин не слишком рад его приходу, и свет померк у него в глазах.

Довольно скоро он пришел в себя. Он лежал под дверью, а дверь лежала у него на груди и на животе. Где-то поблизости от своего лица он почувствовал зловонное собачье дыхание. Выбраться из-под двери Рёдер никак не мог. На ней стоял мужчина и по-прежнему хрипло смеялся. Когда мужчина перестал смеяться и слегка покачался на двери, Рёдер услышал, как рядом тихо шипит снег. Перед тем как взяться за дверь, Рёдер отставил ведро немного в сторону, и теперь горячее днище растапливало снег. Способность рассуждать вернулась вместе с сознанием. Рёдер увидел над собой человека в русской офицерской форме. Лет примерно от тридцати до сорока, без шинели и без фуражки. Очень грязная гимнастерка была у ворота расстегнута. Но сорочка под очень грязной гимнастеркой была очень чистая и с пестрой вышивкой. Сдвинув брови так, что между ними легла верти-

кальная складка, офицер словно бы задумчиво глядел на него сверху вниз. От удара дверью у Рёдера все еще гудело в голове. Но, памятуя о своем желании выдержать, Рёдер и в этой ситуации перво-наперво постарался воспринимать все с предельной точностью. Вес стоящего на нем он в общем-то выдерживал, потому что на легкие никогда не жаловался. Вот для того чтобы выдержать взгляд этого человека, понадобилось до предела напрячь волю. Человек был плохо выбрит, однако узкие, темные усики над верхней губой были тщательно подстрижены. Волосы гладко зачесаны, пробор где-то над самым ухом. По сути, этот хрипло смеющийся мучитель Рёдера был довольно красив. Глаза большие и темные, но взгляд колючий и недобрый. Тихое шипение ведра в снегу и колючий взгляд создали у Рёдера впечатление, будто рядом с ним шипит газовая горелка. Будто сам он лежит под прессом. И будто сейчас его будут продавать с торгов.

И вдруг все изменилось. Потому, быть может, что Рёдер вдруг услышал немецкие слова. Правда, их свыше надобности раскатывали по нёбу, но тем не менее это были вполне отчетливые немецкие слова и вполне безупречный немецкий язык.

— Тебя как зовут? Ты что, язык проглотил? Откуда ты идешь? Ты убежал из лагеря, скотина? Откуда у тебя ведро? Откуда лошадь?

Тут Рёдеру все-таки не хватило воздуха. Он захрипел. Ответить он в общем-то мог бы, но пока этот человек стоит на нем, Рёдер решил не отвечать. Он не позволит выдавливать из себя показания таким изощренным способом. Офицер — на нем были капитанские погоны и множество наград на зеленых и красных лентах — понял, почему ему не отвечают. Он слез с двери.

— Встать!

Рёдер повиновался.

— Меня зовут Карл Рёдер.

Началась игра между правдой и ложью. С этой минуты он стал собственным братом. В сложившихся обстоятельствах он ничего необычного не видел, хотя и представлял себе свое задержание несколько иначе. Главное, оно произошло чересчур рано. Лошадь еще не была доставлена по нужному адресу. А ему хотелось непременно пройти через соломенный овин. Как через игольное ушко в царствие небесное. Размеров дыры для прохода вполне хватило бы. И углубление внутри, как только что углядел Рёдер, было достаточно большим. Но пес, крупный косматый зверь, бросался на лошадь, не подпуская близко Обжора отошел на несколько шагов, хрупал кукурузной соломой, и вид у него при этом был прелукавый.

— Звание?

— Обер-ефрейтор.

— Пехота?

— По происхождению — легкая артиллерия.

Офицер снова рассмеялся, так же громко и хрипло.

— По происхождению? Никак твой старик переспал с пушкой? Кто же ты по происхождению, отвечай, болван!

Офицер и впрямь отлично изъяснялся по-немецки. Образованный человек.

— Сельскохозяйственный рабочий.

— А, вот это кстати. Да еще как кстати! Лично я ветеринар. Ну, валяй, обер-ефрейтор, сельский рабочий, погонщик волов Карл Рёдер, поприветствуй штабс-ветеринара как положено! Без головного убора! Вы что, после Сталинграда лишились последнего рассудка? Ну, давай действуй! Все начисто забыл? Немецкое приветствие отдается без го-

ловного убора. Рука на уровне глаз! Валяй! Выше руку! Хайль! Хайль! Ты что, не желаешь? Или не решаешься? Надо подсобить? Эт-то мы можем!

Офицер был высокий и сильный. Он поднял тяжелую деревянную дверь, словно она была из фанеры. Рёдер не знал, что офицер собирается делать с дверью. Еще раз поиграть в ту же игру? Дверь опустили в снег за его спиной. При первом ударе у Рёдера слетела шапка с головы, но он обнаружил это, лишь когда второй удар обрушился на его голову и спину. Он снова упал, теперь ничком. Но на этот раз плечам досталось больше, чем голове. Рёдер поднялся и встал, как прежде, спиной к своему истязателю.

— Еще разок тот же кавалер с той же дамой? Как это у вас говорится? Легкие подзатыльники благотворно сказываются на умственных способностях.

Очередной взмах дверью, новые удары по затылку. Рёдер решил не опускать голову. Он видел, что его мучитель действует лишь в полсилы. Хоть и видел, но выполнить свое решение не смог и несколько раз увернулся. Пес тоже надумал принять участие в развлечениях. Он набросился на Рёдера сбоку. Но тут дверь полетела в сторону, офицер схватил пса за косматый загривок, оторвал от Рёдера и поднял в воздух. Пес задергал лапами, задние шаркнули по земле.

— Ты-то чего расхрабрился, ублюдок! Тебе кто позволил совать свой нос в мои дела?

Удар кончиком сапога по ведру. Жар, угли, зола высыпались на снег. Ведро дребезжа откатилось в сторону. А туда, где лежали угли, грудью прижали пса. Пес не давался, но хозяин был сильней. Пес заскулил. Запахло паленой шерстью. А пока все это происходило, жеребец взял да и прошел ворота в царствие небесное и, уже стоя в глубине овина, заржал. Тотчас на его ржание громче и тоном выше откликнулась другая лошадь. Офицер отпустил пса.

— Твой жеребец занимается осквернением расы.

Пес на брюхе и груди подполз по снегу к своему господину. Господин с ним заговорил:

— Ты знаешь, у нашей барышни течка. И если этот болван жеребец исхитрится покрыть ее, нам придется его пристрелить. А ну, кусь, кусь!

Счастливый возвращенной благосклонностью хозяина, пес прыжками подскочил к жеребцу. Выйдя из овина, жеребец начал вертеться на месте и взбрыкивать передними и задними ногами. Пес хотел вцепиться ему в пах. Но тогда жеребец взбесился бы окончательно. Рёдер кинулся за ведром. Хотя в ведре уже ничего не было, он знал, что собака после пытки огнем все равно его боится. Но не он, Рёдер, был хозяин собаки, и та не унималась. Офицер с любопытством наблюдал эту сцену. Рёдер ткнул горячим дном ведра собаке в морду. И угодил в нос. Собака тотчас с визгом отбежала. Прошло немало времени, прежде чем жеребец перестал лягаться, становиться на дыбы и бить землю копытом. Когда он, наконец, успокоился, офицер сказал:

— Знаешь, обер-ефрейтор, ты мне нравишься. Ты любишь свою лошадь и ненавидишь своих врагов. А как звать твою лошадь, Карл Рёдер?

— Ее зовут Арестант, хотя это никакое не имя для лошади.

— Отлично. Каков хозяин, такова и скотина. Позаботься о своей лошади и будь моим гостем. Ты пришел очень кстати.

Сперва позаботиться о лошади. Потом хорошенько поразмыслить. «Я ему сказал: Арестант, хотя это никакое не имя для лошади». Он

же мне ответил: «Каков хозяин, такова и скотина». Гляди в оба, Карл Рёдер, ты явно имеешь дело с комиссаром.

В развалинах фольварка он нашел место, где можно было привязать жеребца. И где жеребец был надежно укрыт как от кобылы, так и от собаки. Собака теперь ходила по пятам за своим господином. В овине можно смело разместить четырех лошадей, двух слева, двух справа, и еще остается широкий проход посредине. Построено все очень основательно. Крыша, стены, опорные столбы — сплошь строевой лес. На войне не принято спрашивать, кто, когда, почему и зачем это выстроил. Выстроено — и все тут. Войдя в конюшню, Рёдер учуял запах лука. Офицер сидел на земле, на расстеленных попонах. Он не чистил луковицы, он растирал кожуру руками. Глаза Рёдера устремились туда, куда уже нацелился нос. Рядом с луковицами — хлеб и сало. Натюрморт с прозрачной бутылкой. От вида и запаха закружилась голова. Но офицер потребовал соблюдения приличий.

— Разве гость смотрит первым делом на угощенье? А ну, куда смотрит гость, переступив порог? Сперва он смотрит на хозяйку дома. Вот, полюбуйся. Какого происхождения эта лошадь? Стой! Ты должен угадать с первого взгляда. Пусть даже тебе ничего не видно, кроме хвоста. Итак, происхождение.

— Арабское.

— Как узнал?

— По репице. Очень мощная.

— Первый экзамен выдержан. Теперь второй: сколько лет кобыле? Эй, Леонка, тут один тип хочет заглянуть тебе в зубы, барышник один. Но смотри! Догадки в расчет не принимаются. Только факты и доказательства.

Чтобы заглянуть чистокровке в рот, нужна наука. Чистокровка сразу чувствует, кто эту науку прошел. Рёдер развернул лошадь, чтобы на нее падал свет. Дал ей обнюхать свои руки. Запах жеребца, кажется, не вызывает у нее отрицательных эмоций.

— Если судить по чашкам на зубах, господин ветврач, шесть уже есть, семи еще нет.

— Вздор! Погляди как следует на забелины.

Нет, комиссар, там, где дело идет о лошадях, такого, как Рёдер, с толку не собьешь. После шести лет у лошади чашки стираются на нижних резцах. После семи — на малых коренных. Это происходит в определенном порядке до одиннадцати лет. После одиннадцати определить возраст труднее. Тогда забелины на зубах исчезают окончательно. Тогда надо быть очень опытным лошадником. Вот Обжоре, к примеру, тринадцать, если судить по зубам. Но об этом он меня не спросит. Комиссары любят ездить на молодых лошадях.

— Правда моя, господин ветврач, от шести до семи.

— Второй экзамен выдержан. Третий. Если ты покупаешь лошадь, по каким приметам ты узнаешь молодой прикус, по каким сработавшийся?

— Если кто, к примеру, не может отличить природу от подделки, господин ветеринар, тому лучше катиться куда подальше. Верхом на тупом ноже. Хоть до Рима, коли ему хочется. Глупость надо облагать налогом, как говаривал Давид Бромбергер.

— Ну ладно, Рёдер. Экзамен сдан. Садись. Сперва мы с тобой поедим, потом отправимся в ближайшую комендатуру. А перед едой полагается что-нибудь выпить. Равно как и во время еды. Равно как и после нее. Вот за исключением этих трех случаев пить не положено. Итак, Карл Рёдер, за что мы выпьем?

— Если не побрезгуете, у меня есть стопочка.

— Оч-чень благородно. Но чтоб без уравниловки. Четвертушка — мне, восьмушка — тебе. Итак, за что же, Рёдер?

В премудрости тостов Рёдер разбирался куда хуже. Он, конечно, мог изречь: «За то, чтоб нам выдержать!» Но, по его мнению, это был не тост, а жизненный принцип. Такие вещи надо уметь различать. Большая разница даже в том, как ты выразишься, то ли «в утренних сумерках», то ли «когда светало». Правда, все тосты начинаются предлогом «за». Но как их примут, заранее предсказать трудно. За вашу специальность, господин ветврач? Нет, это чистый подхалимаж. Это не годится. Чтобы у наших детей шея была подлинней? Это обычно говорят в трактире. С чего у них вдруг станет длинная шея? Зачем? Почему? В трактире таких вопросов никто не задает. А я где? Рёдер вздрогнул и торопливо с облегчением сказал: «За жизнь!»

Он был доволен собой. Ему пришла в голову неплохая мысль. А главное — своевременная. Он был убежден, что достойно держал себя в обществе комиссара, который строит из себя образованного. Кроме того, у него и на самом деле было, по меньшей мере, две новых уважительных причины выпить за жизнь. Если бы Мария могла сейчас его видеть, она бы им гордилась. Но офицер скорчил почему-то кислую гримасу. Тост не мог ему не понравиться. Просто по лицу комиссара никогда не угадаешь правды.

— Как прикажешь понимать, Рёдер Карл, как понимать: за жизнь? Клоп ведь тоже радуется, что живет. Особенно когда укусит тебя и напьется твоей крови.

— Но я-то ведь не клоп, господин ветеринарный врач, я ведь человек.

— Ах, Рёдер Карл, ты, оказывается, человек?

Это одна из составных частей его тактики выматывания: он каждую минуту обращается ко мне по имени, так и чудится, будто я — это вовсе не я, а мой подлый братец.

— Давай лучше выпьем за ненависть. За ненависть человека, который действительно человек, за ненависть, которая поддерживает чистоту жизни. А впрочем, пей за что хочешь, это не приказ.

Изображает прямодушие. Держи ухо востро. Рёдер Карл!

— Ну ешь же! Налетай! Ты — мой гость. А мы — гостеприимный народ. В нашей стране ты получишь еще много уроков. И не таких приятных. Я очень на это надеюсь. Ты чего это подавился? Хлебом и правдой человек не должен давиться. Давай лучше расскажем друг другу что-нибудь. Побеседуем, так сказать, за едой. Пункт первый: кто ты? Пункт второй. Как ты, будучи военнопленным, оказался в этом сарае, да еще с лошадью, да еще совсем один посреди степи? По первому пункту я бы тоже хотел выступить. Рассказать тебе, кто я по происхождению? По происхождению и мало ли еще по чему. Да не торопись же ты. Кто торопится за едой, у того вырастают длинные уши.

— А у нас говорят: что у тебя в животе, того никто больше не отнимет.

— Но ведь то, что у тебя в животе, полагалось бы сперва заработать честным трудом. Не так ли?

— Хорошо говорить тому, у кого уже живот полный. Тоже истина, господин врач.

— Рёдер Карл! Скажи по чести и по совести, если только они у тебя еще остались, ты небось сейчас подумал: ну и отбрил же я его. Верно?

— Не стану спорить, господин ветврач.

— Вот видишь, человек словно раскрытая книга. Самое важное, как обычно, следует читать между строк. А теперь слушай внима-

тельно. Я расскажу тебе, кто я по происхождению и по всему прочему.

По происхождению: буржуазный элемент.

По месту и дате рождения: Одесса, одна тысяча девятьсот девятый.

По темпераменту: холерик.

По натуре: миролюбив. Физиономия не для оплеух, прошу заметить.

По 1922 (с 1919) — эмигрантский сынок в Вене.

По отношениям с советской властью: снова приглашен на родину.

По отношению ко мне родины: опять любовь, опять побои.

По отношению ко мне крестьян: отправлен в институт.

По отношению ко мне учителей: один экзамен за другим.

По мировоззрению: постепенно стал большевиком.

По профессии: тебе уже известно.

По репутации: специалист — почти светило.

По официальному положению: ответственный за коневодство в данном районе.

По конкретному заданию: чрезвычайный уполномоченный армии в освобожденных областях между Чиром и Доном. По лошадиной части.

Так что, Рёдер Карл, если ты сумел прочитать между строк, знай: по лошадиной части я здесь царь и бог над... над самим собой. Думается, я заслужил за этот рассказ еще одну четвертинку. А теперь давай рассказывай ты. Получишь за свой рассказ еще одну восьмушку. Но если ты собираешься меня обманывать, Рёдер Карл, можешь считать себя покойником.

Нет, это не ветврач, и не комиссар, и не образованный человек. Это дьявол во плоти. Такого можно перехитрить только правдой.

— Человек происходит от змеи, господин ветврач. Змей же сказал: вы не умрете и глаза ваши откроются. Итак, правда начинается с того, что звать меня Рёдер Мартин, а не Рёдер Карл. Рёдер Карл — так зовут моего родного братца. Но тот Рёдер Мартин, который сидит перед вами живой и невредимый, он, господин ветврач, по официальному положению все равно уже покойник. А как может человек, который по положению уже покойник, врать или, наоборот, говорить правду? Вот приедем в комендатуру, там мне покажут.

— Нет, когда мы приедем в комендатуру, тебе ничего не покажут. Просто объяснят. Но имей в виду, Рёдер Мартин! С этой минуты и впредь ты будешь иметь дело исключительно с советской властью.

И тут Мартин Рёдер без остатка выложил советской власти всю правду, которой он располагал. Покуда он ее выкладывал, где-то в закоулках мозга неудержимо вызревала мысль, что он со своей правдой совершает тройное предательство: по отношению к старшине, к той женщине и к себе самому. Он снова почувствовал себя как в земляном погребе, когда к нему возвратилось сознание. И ему привиделось, будто сидит он среди переоборудованного под конюшню овина, перед чертом в человеческом облике, сидит и говорит чистую правду, и хотя эта правда может перехитрить черта, но зато его самого она делает трижды предателем. Мартин Рёдер почувствовал, как холод растекается по жилам, это было не хладнокровие, нет, не хладнокровие, а ощущение холодеющей крови. Еще одно тонкое различие, и его надо усвоить тому, кто хочет выдержать, пусть даже уплатив за это ценой предательства. Такой холод исходит от черта. А тот, от кого исходит холод, слушает рассказ Рёдера, полузакрыв глаза. Но не пропускает ни единого слова и ни единым движением лица не выдает

своих мыслей. Сидит как идол. Рассказ о сыне и о пистолете он выслушивает равнодушно, как объявление в газете: «Между Лигницем и Сталинградом обнаружены автопокрышки». Или что-то в этом духе. Поступок старшины вызывает у него еле заметную, усталую улыбочку. Во всей истории его, по-видимому, интересует только одно: поведение женщины.

— Значит, женщина сказала старшине, что, если он ей не дает лошадь, она возьмет одного из этих немецких жеребцов?

— Так точно, господин ветврач. Так перевел нам Плишке.

— А ты, Рёдер Мартин, что ты думал, когда тебя гнали в погреб словно немецкого жеребца? Что ты при этом думал? Вот это всего важней между строками твоей довольно лживой, на мой взгляд, истории. Ты можешь ответить: не знаю, что я тогда думал. И это не обязательно будет очередная ложь, хотя что-нибудь ты наверняка думал. Значит, ты спустился в погреб более или менее добровольно. Не так ли, Рёдер Мартин?

— Да, именно так, господин ветврач. Добровольно.

— А почему? Почему, Рёдер Мартин? Из сострадания к этой женщине? Из христианской любви к ближнему? Или ты, быть может, подумал, что если эта женщина, которая очень даже недурна собой, что если эта женщина не получит четвероногую рабочую лошадь от властей, тогда ты предложишь ей свои услуги, чтобы делать вместе с ней зверя о двух спинах, а это тоже очень недурная работа. Или ты просто решил, что это самая подходящая возможность, отрекшись от собственного пола, таким путем смыться из лагеря? Ты, помнится, говорил, что ты не клоп, а человек. Вот и будь любезен, отвечай мне как человек, что ты думал в эту минуту. Надеюсь, ты это помнишь.

— Нет, не помню, господин ветврач. Я, собственно говоря, все время думал о Марии. Наедине с женщиной я был в погребе от силы несколько секунд. Может, столько, сколько нужно, чтобы выговорить слово «шапка», может, вдвое дольше. Я только одно забыл сказать. Эта женщина на меня вообще ни разу не взглянула. На мои руки — да! На мои ладони. Словно на руках есть ямки, как на зубах у лошади. И все же я не подумал, будто эта женщина смотрит коню в зубы, чтобы не купить старую клячу. Я все время думал только про Марию. Мария тоже не любила покупать кота в мешке. Даже если речь шла о постельных делах. Вот почему и мальчик у нас так рано родился. Она хотела проверить меня до свадьбы. Вовсе не потому, что она была чересчур охоча до мужчин. Когда я порой пытаюсь представить себе, какой же она была, моя Мария, я, грешный человек, думаю, что она была как святая дикарка. Она не легла бы в постель со слабаком, но и с похотливым козлом тоже бы не легла. Мне кажется, я все время думал только о Марии. Но на самом деле я, возможно, говорил себе: не будь идиотом, Рёдер, не упускай случай избавиться от лагеря. Может, я в эту минуту был наполовину сумасшедший. Или целиком. кто знает. Но я хочу выдержать. Я дал себе эту клятву, господин ветврач.

Рёдер собирался продолжать, но офицер остановил его. Откинулся на солому, устроил себе длительную передышку, предоставив Рёдеру терзаться сомнениями. Помолчав, офицер сам подхватил оборванную нить рассказа.

— Вообще-то говоря, я собирался переночевать в кирпичном доме. Как уже не раз ночевал. Женщина и ее свекровь охотно дают ночлег солдату, у которого есть удостоверение личности. И выставляют на стол все, что у них есть в доме и в погребе. Из-за метели я сбился с пути и вышел к дому очень поздно, уже после полуночи. Женщина открыла мне дверь. Несмотря на поздний час, она была одета, словно только что откуда-то вернулась. Она захлопнула дверь перед моим

носом. Без разговоров. Ну, подумал я, чтобы не навлечь на женщину дурную славу, советская власть спокойно может устроиться и под другой крышей. Эту конюшню я знал. Проведя здесь ночь, я, можно сказать, переночую в том зернышке, из которого вновь произрастет наше коневодство. Но знай я, что это за женщина, черта с два я пошел бы под другую крышу. А знай я, что ты, Рёдер Мартин, к этому причастен, я бы раздавил тебя дверью, словно клопа. Вы трое, старшина, женщина и ты сам, совершили преступление. Преступление против естественной человеческой ненависти. Против ненависти, которая сейчас единственно может поддержать чистоту жизни. За это вас всех следовало бы расстрелять. Всех троих. Женщина пожелала иметь раба. В древнем Риме, куда некоторые люди ездят верхом на тупом ноже, у рабов на невольничьем рынке ощупывали мускулатуру. Вот и она поглядела на твои лапы: годятся ли они для рабовладельческого хозяйства. А ты из-за собственной дурости сделался рабом. А старшина из-за собственной чувствительности — сводником. То, что женщина в конце концов тебя прогнала, потому что совесть ее замучила, только усугубляет преступление. Ведь даже шелудивого пса не выгоняют среди ночи в степь. А ты — пес, который позволил себя выгнать, который еще визжал от благодарности, который еще хотел пригнать женщине не доставшуюся ей раньше лошадь на предмет хозяйственного употребления. Чтоб тебя черт побрал, Рёдер! Перестань жрать мой хлеб.

И офицер носком сапога подтолкнул собаке хлеб, тот самый кусок хлеба, который Рёдер отложил в сторонку и хотел на закуску медленно и вдумчиво разжевать, как давеча две картофелины.

— Собирайся, Рёдер, пора доставить тебя куда следует. Бери своего коня, этого полутарпана, этого полусвятого полудикаря. Иди прямо. Ну сколько я там дал тебе выпить, что тебя качает, словно надравшегося улана? Четвертинку? Слабак ты, слабак!

Офицер избрал дорогу мимо домика. У него были там кое-какие дела. Собака носилась прыжками вокруг сильной, красивой кобылы. Чрезвычайный уполномоченный по вопросам коневодства между Чиром и Доном приказал Рёдеру сесть верхом на жеребца и держаться на подобающем для денщика расстоянии. Когда они верхом подъехали к домику, женщина колола дрова. Серебряной монетой, огромной, но истертой, катилось солнце сквозь мглу облаков.

Так сказать, у забора, будь при доме забор, офицер остановил свою лошадь, красивую и сильную кобылу. Он оставался в седле, Рёдер держался на предписанном расстоянии. Однако он слез со своего коня, с неоседланного жеребца, и взял его под уздцы. Он сделал это, чтобы легче совладать с жеребцом и еще потому, что не желал в подражание офицеру подъезжать к забору, оставаться в седле, глядеть, как работает женщина и при этом высокомерно молчать. Он, Мартин Рёдер, может быть, тоже не прочь поважничать, не прочь продемонстрировать мужское превосходство, но только не здесь и не сейчас. Для него все игры между мужчиной и женщиной, все светлые и все темные, были сыграны раз и навсегда.

Женщина взяла полуобуглившуюся толстую балку, которую собиралась расколоть с помощью клина и колуна, и положила ее поверх тонких поленьев. Господи, женщина, да поленья-то будут пружинить. Брось лучше эту балку на снег, снег пружинить не будет. Разве что тебе придется стать на колени. Да, да, придется на колени, если ты непременно хочешь управиться одна. Только почему ты хочешь одна? Почему не кликнешь на подмогу свекровь либо сына? Мальчик мог бы держать клин, пока клин не войдет в дерево. Конечно мог бы. Вот ты и правую руку вынула из перевязи. Ну да, я знаю, когда одна рука в повязке, человеку трудно сохранить равновесие. А левая плохо ра-

ботает колуном, нет настоящего удара. Ты привыкла правой. Вот и я также. Но чтобы два человека в один и тот же день оба повредили себе правую руку, этого почти никогда не случается. Знаешь, если тебе мешает повязка, сними ее и брось. Женщина, женщина, да как же ты разгорячилась. Прядь волос, которую ты смахиваешь со лба, то и дело падает обратно, потому что стала тяжелая от пота. Отдохни. Ступай в дом. Попей. Только не холодного. А этот тип пусть так и стоит у забора. Чего ему вообще здесь понадобилось? Ты только погляди на него! Так нельзя! Не позволяй ему так вести себя. Он, изволите ли видеть, выражает презрение. А какое у него право презирать? Тебя — никакого. Надо мной он сперва издевался, потом дал поесть, потом допытывал. Вот он какой. Вот какой. Ступай, наконец, в дом, женщина. Он ведь уже добился, чего хотел. Ты начала нервничать. Если ты войдешь в дом, он уедет со мной вместе. Он хоть и черт, но все-таки не зверь. Тогда вопрос для всех решен. Меня возвращают в лагерь. Я этого не боюсь, я так и сказал. И работать я умею. Ты же получишь лошадь. Она тебе нужна, и он ее тебе оставит, обжору, жеребца, красивую лошадку. Ступай домой, женщина. Ты уже сполна уплатила за конягу.

Резко взяв с места, кобыла вытянула шею. Резко остановясь, осела на задние ноги. Офицер еще раньше соскочил с седла. Женщине он перебросил поводья. Женщина их подхватила. Едва офицер галопом поскакал к ней, она сразу выпрямилась, словно только того и дожидалась, когда же он подъедет и даст ей подержать поводья. Всего лишь подержать поводья, чтобы ему спокойно пройти в дом и без помех перетолковать с ее свекровью. Про несамостоятельную женщину посторонний человек должен сперва поговорить с родителями, богоданными либо названными. И не затягивать разговор. По всей форме, что я тоже одобряю. Без околичностей. А женщина может тем временем высказать свое мнение лошади. Лошадь всегда с милой душой выслушает человека. Косматая собака скачет вокруг женщины и вокруг лошади. Когда собаки начинают думать, они теряют рассудок. Особенно когда они думают, будто должны выражать радость. У лошадей большая душа. Ты это ей так и скажи, женщина. Лошадь тебя поймет.

Офицер вскоре вышел и взял поводья из рук женщины. Пленному же он подал знак — кивнул в сторону навеса,— чтобы тот подождал его. Ведя лошадь под уздцы, офицер с женщиной двинулся в степь. Он шел как раз в том направлении, откуда примчался Рёдер перед тем, как для него начался наконец завершающий этап познания и постижения. И было это, когда жеребец-обжора вдруг понес. Жеребец и сегодня с разбором дергал сено из-под навеса. Рёдер присел на сено рядом с ним. Снова из погреба высунула голову коза, только на сей раз она сразу исчезла в своем хлеву. Сынишка, замурзанный белобрысый мальчонка, по-прежнему стоял в дверях с винтовкой. За ним захлопнули дверь, только на сей раз он толком не знал, как ему распорядиться со своей винтовкой, то ли охранять пленного немца, то ли не охранять. Глаза его теперь не горели желтым огнем. В них светилось любопытство. Он прислонил винтовку к стене на расстоянии вытянутой руки.

Господин офицер решил хорошенько пропесочить твою мамашу. Это тебе тоже не нравится, правда? Когда-нибудь ты станешь большой и сильный. Ты и сейчас крепкий паренек. Только малость бледноватый и худой. Не беда, это от долгой зимы. Летом ты станешь порумянее и раздашься в плечах. Для вас война уже кончилась. Ну и слава богу. Ты, я вижу, тоже любишь подразнить и посердить людей. Дурак ты дурак. Разве обязательно показывать мне мою жестяную коробку?

А что ты сделал с моим табаком? Сам небось выкурил? Самокрутки наделал? Твоя бабка все тебе позволяет, так ведь? Думаешь, я не вижу, что у тебя в кармане штанов лежит моя зажигалка? Эх, парень, парень, я ведь даже и не знаю, понадобится мне еще на этом свете зажигалка или не понадобится. Я вообще не знаю, чем кончится для меня вся эта история. Если б я мог еще что-нибудь раздарить... Но война ничего не раздаривает. Война только отнимает. У тебя и у меня.

Прошло не меньше часа, пока офицер с женщиной вернулись из степи. Что он ей говорил, что она говорила ему — об этом можно лишь строить догадки. Вопросы ветврача свидетельствовали о наличии определенного метода. Они проникали в суть вещей. Собственно говоря, каждый спрашивающий желал бы добраться до сути, чтобы узнать правду. Но лишь очень немногие до нее добираются. Потому что начинают буксовать на вопросе Как. Как, значит, им добраться до сути. И лишь очень немногие, такие, как, например, ветврач,— хотя в общем-то он тоже не зверь — знают, где она находится, эта суть вещей, и начинает расспросы с Что. Что ты хотел, что ты думал, когда... Я надеюсь, ты знаешь... От этого можно сойти с ума. А к женщине он, наверно, обратился с троекратным Что. Что ты хотела, что ты думала, когда пленный добровольно спустился перед тобой в погреб. Что ты хотела, что ты думала, когда разглядывала его руки? Что ты хотела, что ты думала, когда швырнула свою винтовку в сани, которые неизвестно зачем велела тащить в степь? Вот, наверно, какие вопросы задавал мучитель женщине... А женщина, наверно, тут же... Хотя, пожалуй, нет. Настоящая женщина никогда сразу не отрекается от себя. Ее даже правдой не припрешь к стенке. Как по глупости отрекается наш брат.

Когда офицер с женшиной вернулись, разговор между этими тремя людьми не завязался. Было только короткое распоряжение. А именно: «сам себе господин» приказал, чтобы специалист Рёдер Мартин в качестве военнопленного был использован на восстановлении фольварка как составной части также подлежащего восстановлению совхоза. До переселения пленного в совхоз, что на данном этапе не представляется возможным, уже проживающие здесь советские граждане обязуются обеспечить жилье, питание и охрану пленного, а также эффективное его использование на восстановительных работах. Лошадь же, являющаяся собственностью Советской Армии, убежавшая и пойманная в степи, должна быть возвращена по принадлежности.

Свои распоряжения офицер завершил престранным довеском:

— И будьте вы все прокляты до окончания войны.

Не сказав больше ни единого слова. он подпряг жеребца к кобыле и с этими непарными лошадьми ускакал в степь, сопровождаемый косматым псом.

У сваленных дров, почти на том же месте, где прошлой ночью женщина молча подталкивала мужчину дулом винтовки, стояли теперь они оба и глядели вслед уезжающему. Здоровой рукой женщина теребила пуговицу своего ватника. Хотела его застегнуть, но левой рукой у нее плохо получалось. С досады она оторвала пуговицу и теперь стискивала ее в кулаке, словно собралась, как в сказке, выжать воду из камня. Устремив неподвижный взгляд вдаль, женщина вдруг принялась выкрикивать что-то вдогонку всаднику. Какие-то непонятные слова. Она их растягивала, она их складывала из протяжных и резких звуков, в которых мешались жалоба и гнев. Какое у нее большое лицо. Вообще-то не только большое, но и мягкое, не будь этого крутого подбородка, блестящего лба и неподвижного

взгляда. Из всех слов женщины мужчина понял только одно, которое звучало так: война. Это слово она тоже исторгла из себя в протяжном крике. Порой особенно резким получалось начало слова, порой — конец. Мужчина уловил общий смысл: она желала холеру в бок то ли войне, то ли, заодно, и скачущему прочь лошадиному богу. Перестань, женщина, ни он тебя не услышит, ни война. Война заваривает для нас, маленьких людей, свое варево. Наше дело его расхлебывать. Не так, так эдак. Вот что хотел мужчина без помощи слов внушить женщине, повернувшись к ней лицом. Но женщина испугалась, словно он чем-то ей пригрозил, и торопливо ушла в дом.

Когда смолк вдали стук копыт, вокруг мужчины разбушевалась тишина. Небо над головой виделось Рёдеру как огромная перевернутая плевательница, местами выложенная перламутром. Его охватило желание тараканом-многоножкой уползти во тьму, подальше от света. Он знал, что женщина прокляла его, его, маленького Мартина Рёдера — батрака на господском дворе, батрака на войне, никогда не любившего и не желавшего ни войны, ни господ. Но кому ж тогда вести господские войны, если не мне, маленькому человеку? И как генералам развязывать войну, если не найдется никого для участия в ней?

С умолкающим стуком копыт, с воцарением этой страшной, полой тишины пришли ему в голову всякие мысли, которые никогда раньше не приходили. Сказать по правде, меня всю жизнь толкали, отталкивали, сталкивали, а я снова вставал, снова и снова. Почему я, собственно, вставал, снова и снова? Теперь я один, совсем один, лежу ничком. Мне тошно от войны. Женщине противно глядеть на меня. Лошади больше нет. Почему я должен снова вставать, если даже не знаю зачем? Почему? Он увидел топор рядом с коричневой, обугленной балкой. Вот если бы перед ним теперь возникла высшая справедливость с топором в руках, он без раздумий опустил бы голову на коричневую балку и в блаженном спокойствии ожидал бы удара сзади. Как и полагается дуракам из нашей братии. С Рёдером происходило то же, что происходит с нами всеми, когда мы видим огненный след, ведущий в кромешную тьму. Ему страстно захотелось обжечь ноги на этом огне.

Но топор он увидел не в руках некоей высшей справедливости. Он увидел топор в руках старой женщины. И не над Рёдеровой шеей был топор занесен. Напротив, она сунула топор ему в руки, чтобы он не отлынивал от работы, чтобы доколол все толстые поленья. Что до головы Рёдера, то на нее у старухи были другие виды. Когда он приставил клин к полену, она сбила немецкую форменную кепку у него с головы. А когда он невозмутимо продолжал работать, она все так же хмуро сунула ему другой головной убор — шапку из засаленного сукна и облезлого меха. Он взял шапку, надел, но она съехала ему на уши. Только если втрое сложить уши и засунуть их внутрь, шапка могла хоть кое-как удержаться у него на голове. А с его прежней старушка устроила прямо цирковое представление. Его кепку защитно-серого цвета она надела на длинный шест, а шест воткнула между поленьев. Шагах в трех от занятого работой пленного. Потом вызвала из дома мальчика. У мальчика было зареванное лицо и, как всегда, винтовка в руках. Старуха велела ему лечь на сено под навес. Отсюда, из положения лежа и без упора, он должен был попасть в кепку на шесте. Расстояние от силы десять метров. Каждый выстрел — прямое попадание. За каждое попадание — похвала. После каждого кепка начинала крутиться на шесте. Но Рёдер не отрывал глаз от своей работы. Тебе лучше всего не смотреть туда. Если ты будешь пялиться на мальчишку, мало ли что может взбрести ему в голову. Он может сделать то, чего недоделала мать. После пя-

того выстрела кепка совершила полный оборот вокруг своей оси. Целый магазин — на такую пустячную вещицу. Но старуха этим была довольна. Пустячная вещица была разодрана в клочья. Старуха сняла ее с шеста, а мальчик ударом ноги отфутболил в погреб. После этого мальчик некоторое время глядел, как работает пленный — так наблюдают за исправно работающей машиной,— затем отправился к матери, чтобы рассказать о своем подвиге.

Ах, мальчик, мальчик, расскажи лучше своей матери, что ты видел плохой сон, но во сне ничего не боялся. Дровосек перевел дух, чтобы поправить на голове новую шапку.

Но старуха никак от него не отставала. Шинель свою он не снял, а только расстегнул. Она указала на пряжку ремня. Там написано: с нами бог. Плевать, что там написано, прочесть это она все равно не может. Ко всему старуха еще и недоверчива. Она любопытствует, что это висит у него на ремне. Мешочек с неиспользованными картофелинами, к мешочку справа прикреплена фляга со стопочкой — это стопочка моего мальчика. Слева же — котелок. Старуха желает иметь все. Все, что висит на ремне. И самый ремень в придачу. Цапцарап, мадам. Прошу вас. Проживающие здесь советские граждане несут ответственность за специалиста Рёдера Мартина.

Через час с небольшим работа была завершена и дрова аккуратно сложены в поленницы. Он охотно распилил бы каждую дровину на метровые чурбаки, чтобы поленница имела более пристойный вид, но как прикажете пилить, когда под рукой нет пилы. И как курить, когда нет табака. Рёдер прямо изнывал от желания затянуться. Бумага для закрутки у него еще была. Надо же насладиться выполненной работой. Он сел на поленницу. Сел спиной к дому. С тех пор как старуха отобрала у него ремень и все, что на ремне висело, его, Рёдера, оставили в покое. Ни женщина, ни мальчик из дома не выглядывали. Хотя его не покидало ощущение, будто за ним все время наблюдают. Поэтому, собственно, он и сел на поленницу спиной к дому, разглядывая свои руки. Руки спокойно лежали на коленях. Он еще мог приказать своим рукам спокойно лежать на коленях, не елозить бессмысленно, не отрывать от кителя пуговицу, не стискивать ее в кулаке, словно коровий сосок. Не мог он только упереть локти в колени и опустить голову на ладони. Он и рад бы принять эту позу, но ушанка съезжала ему на глаза. А лихо сдвинуть ее на затылок он не захотел. Эта лихость не соответствовала его положению. Итак, он сидел выпрямясь, опустив руки на колени, изнывая от желания покурить и гадая, что будет дальше. И пока сидел, он понял, что снова рано или поздно поднимется с места. Чтобы по крайней мере не подавать молодой женщине дурных примеров. Она близка к тому, чтобы сдаться. Она боится себя самой. У этой шапки, пусть она и слишком велика, есть три достоинства. Первое — в ней тепло, второе — она не привлекает к себе внимания и третье — она не дает человеку повесить голову. Надо бы поладить с бабушкой. Бабушка тоже не хочет, чтобы женщина сдалась. Бабушка — хоть и простовата на вид — без сомнения, главная в этом доме.

Кстати, бабушка не заставила себя долго ждать. Она вышла из домика и поставила к его ногам рюкзак с брезентовыми лямками. Рюкзак был небольшой, хотя и больше, чем его мешочек для хлеба. И был набит до середины. Под серым брезентом угадывались очертания фляги и котелка. Рёдер поднял рюкзак, чтобы прикинуть его вес. Килограмма два. Старуха настойчиво совала ему под нос растопыренную пятерню. Она пыталась что-то ему втолковать, но он ее не понял. Принимая во внимание вес рюкзака, пять пальцев могли оз-

начать только пять дней. Провиант на пять дней. Еще более настойчиво старуха ткнула пальцем в сторону фольварка. Приютить его здесь, у себя, они не желали. Кстати, и в приказе лошадиного бога говорилось о восстановлении фольварка. К боковой стене домика был прислонен нужный инструмент. Топор, лопата и двуручная пила. Рёдер проверил исправность топора и пилы. Хороший инструмент — залог успеха. Результатами проверки Рёдер остался недоволен и знаками показал бабке, будто натачивает. Та его сразу поняла. В боковой стене была дверь, пониже и пауже, чем передняя. Дверь эта вела в отдельную каморку без окон. Некоторое время глаза Рёдера осваивались с полумраком. Одна половина каморки была завалена орудиями для полевых работ, другая — инструментом для кузнечных, слесарных и колесных. Несмотря на темноту, старуха превосходно ориентировалась в этом хаосе и знала, где что искать. Она опробовала разводной напильник, проведя по нему кончиками пальцев. Специалисту нужен был инструмент с одной насечкой, шлифованный, трехгранный. То, что в конце концов отобрала бабка, было уже на свету вторично опробовано специалистом на все перечисленные свойства и здесь одобрено. Словами и жестами он еще попросил клещи. Старуха, которая держалась как заправский завскладом, не дав ему договорить, сказала «нету!». А потом дала понять, что с помощью уже выданного ею трехгранного напильника пилу можно не только наточить, но и развести.

Рёдер открыл рюкзак, чтобы опустить туда столь универсальный напильник. Теперь, когда общение приняло деловой характер, Рёдер счел уместным в присутствии той, которая наполняла мешок, ознакомиться с его содержимым, не покупать, как говорится, кота в мешке. Старуха тоже сочла это вполне резонным. Более того, она даже заставила его все тщательно осмотреть. Какая это блаженная повседневность, когда человек, опуская напильник в мешок, может попутно глянуть, а чем же это его собираются кормить во время работы. Прежде всего Рёдер углядел свою красивую желтую табакерку. В табакерку был насыпан чай из трав. В сохранившейся обертке из-под сахара теперь лежала соль. А травяной чай, возможно, годится на закурку. На грех и из палки выстрелишь. В котелке стучали и брякали бобовые, горох, крупа. Три четверти котелка. Во фляжке плескалась загустевшая жидкость. Ему велели понюхать. Кислое козье молоко. В крышке котелка из него можно приготовить творог. Среди картошки и крошеной брюквы Рёдер обнаружил свою пряжку. Бог с нами и со всем миром. Когда он снова все уложил, старуха еще раз настойчиво потрясла у него перед глазами растопыренной пятерней. Ладно, бабушка, ладно, мне хватит. Только, может, добавите краюшку хлеба? Немного «кльеб»? «Нету хлеба».

Да, понятно, хлеба нет, она еще толковала что-то про кукурузу, он ничего не понял, но кивнул, будто все понимает. Старуха сердито повторила сказанное: кукуруза — маис, маис. Недоуменное выражение его лица показывало, что он так и не понял, какие надежды она пыталась ему внушить. Надежду на кукурузные лепешки. Рёдер повесил за спину рюкзак и пилу, взвалил на плечо топор и лопату. Настала пора отправляться в путь. Было бы лучше пройти позади домика. Но старуха его не отпустила. Велела подождать и принесла ему одеяло. Скатанное и перевязанное на обоих концах скатки. Чтобы перекинуть через плечо и наискось — через грудь, как носят русские солдаты на марше.

Теперь он больше не был похож на фашиста. Старуха внимательно его оглядела, как портной оглядывает клиента. И осталась чем-то недовольна. Тем не менее она потянула его за рукав, чтобы,

уходя, он прошел перед домиком. Ему не хотелось выполнять ее требование. Показаться на глаза мальчику, а тем паче молодой женщине в измененном обличье, с которым он не успел пока свыкнуться,— это как-то отдавало театральным представлением. Он заартачился. Ты, бабушка, лучше позаботься о своей невестке, чтобы та не упала духом. Поняла? Это я должен тебе сказать. Есть вещи, которые можно понять на любом языке. Их можно услышать, угадать по интонации. Старуха в ответ еще раз сунула ему под нос растопыренную пятерню, после чего ткнула указательным пальцем в землю. Стало быть, через пять дней ему надо явиться на это место. Какие там интонации, какие оттенки! Это собака понимает интонацию. А человеку подавай открытый текст.

Возле другого угла домика стояли молодая женщина с мальчиком. Человек смутился. Он не знал, то ли ему приподнять шапку над головой, то ли просто кивнуть, то ли пройти мимо, и все тут. Но женщина избавила его от колебаний, резко крикнув: «Стой!» И он остановился, повернувшись к женщине и к мальчику, но ни лопату, ни топор с плеча не снял. Женщина перевела взгляд на мальчика, словно чего-то от него ожидала. Мальчик упорно смотрел в землю. Мать его не уговаривала. Она ждала. Но мальчик вдруг убежал. И женщина его не окликнула. Она сунула руку в карман своего ватника и бросила мужчине, стоявшему в нескольких шагах от нее, какой-то предмет. Мужчина не мог его подхватить: у него были заняты руки. А будь даже руки свободны, он все равно от неожиданности не успел бы схватить трубочку — боковая стенка спичечного коробка, пять спичек к ней, и все обмотано ниткой. Пока мужчина поднимал трубочку да пока углядел воткнутую в нее иголку, женщина успела скрыться за углом. Хотела, значит, чтобы мальчик вернул мне зажигалку. А мальчик, наоборот, хочет оставить зажигалку у себя. Как свой трофей. Но она не стала его неволить, и это очень разумно с ее стороны. Детский ум легко смутить. Последствия могут длиться годами, и никто не будет знать, в чем причина. Когда наш мальчик пошел в школу, Мария должна была отдать ему свой старый велосипед. А она не отдала, побоялась, как бы с мальчиком чего не случилось и тогда мальчик вбил себе в голову, будто должен доказать, что с ним вообще ничего не может случиться. Доказывал-доказывал, и сам в это поверил. Поверил, что всегда и во всем может положиться на свою счастливую звезду. Это ошибочный вывод, мой мальчик. Ты успел и сам это понять. Ты не дурачком ушел из жизни. Полагаться можно только на то, что один человек нужен другому. Жаль лишь, это мало кто знает. Вот здешние женщины знают. А мальчик еще нет. И зуботычинами этому не научишь.

Человек снял ушанку, сунул трубочку в иссекшуюся подкладку, и получилось, что он все-таки приветствует женщину, обнажив голову.

Овин, набитый кукурузной соломой, служил обиталищем великому множеству мышей-полевок.

Едва Рёдер устроился на жилье, он услышал, как они возятся, грызут и пищат. Стены и потолок потрескивали, будто плетеные кресла, когда в холодной комнате затопят печь. В середине прохода Рёдер вырыл яму глубиной на полметра. Яма заменит ему очаг. Если поставить над ней ведро, утяжелить его камнями и прорыть дополнительный ход для воздуха, получится своего рода обогреватель для ног. Он чувствовал, как немеют у него ноги, едва он перестает ими двигать. Держи голову в холоде, а ноги в тепле — и будешь здоров. Пока он рыл яму, мыши занялись положенным на землю рюкзаком. Они посыпались из своих нор как термиты, рыжева-

тые, полосатые, длиннохвостые. Нет, это были не полевки, а, пожалуй, житники, о существовании которых он знал только понаслышке. Полевки и не нагнали бы на него страх, но эти были крупные и злобные, как молодые крысы. Они прыгали и карабкались друг на друга, чтобы добраться до рюкзачного брезента.

Рёдер видел, что наиболее активные грызуны уже залезли внутрь рюкзака. Он начал бессмысленно выкрикивать ругательства: чертово отродье, мразь поганая, нечисть проклятая. Он ворвался в их мерзостное копошение, угрожавшее его съестным припасам, ослепнув от ярости, он топтал мышей сапогами, колотил острием кирки. От мышиных трупов поднималась едкая вонь. Какая-то большая птица камнем упала с темного потолка. Большая пышноперая птица, она врубалась в скопище мышей, рвала на части, злобно шипела. Спаситель в беде — сова неясыть — боевая птица — Железный Густав. Мышиная рать бросилась врассыпную. Но тут еще одна большая птица с крючковатым носом, со стальными когтями, поросшими густым пером, обрушила на человека мощные удары широких крыльев. Хорошо хоть, что, пока человек метался в слепой ярости, шапка съехала ему на лоб и глаза. Не то неожиданная атака второй совы могла оставить его без глаз. Рёдер отбивался киркой. Ее длинный клюв из чистого железа обратил птицу в бегство. Но и человек последовал примеру птицы. Подцепив киркой рюкзак за лямки, он выскочил через низкий выход. Здесь его встретили яркие лучи угасающего дня, он сдвинул шапку сгибом руки и на мгновение словно ослеп. Из дыры в рюкзаке выпрыгнула мышь и шмыгнула назад, в овин, навстречу своей погибели. Совы на сене — крестьянину спасенье. Парочка сов уничтожит больше мышей, чем десять кошек. Уж лучше жить с совами, чем с волками. Затею с земляной печкой и с обогревателем для ног придется выкинуть из головы. А жаль. За фольварком лежит торф, самое малое несколько тонн. Но даже если сыпать в яму самый отборный уголь и подвести к ней воздуходувный канал и всю ночь поддерживать бездымный огонь, запах горящего торфа прогонит сов. Кто делает два шага вперед и один назад, тот далеко не уйдет. А на дорогу потратит вдвое больше времени. Как в системе блоков. Сила, помноженная на расстояние. Разум, помноженный на время. Времени у меня навалом, куда больше времени, чем силы и разума. Если я хочу выдержать, я должен помножить свою малую силу и малый разум на много-много времени. И если я хочу сблизиться со здешними людьми, я должен делать то же самое. Приучить к себе сов, сблизиться с людьми. Я хотел бы сказать ей, как меня зовут, я хотел бы узнать, как ее зовут. Пока только имя или, скажем, так: на первый случай имя. Один раз она мне привиделась, та женщина. Сегодня, когда я шел сюда. Правда, правда. Она шла мне навстречу. И тянула сани за перекинутую через плечо лямку. Я ее спрашиваю: какой ты груз везешь на санях? А она на меня смотрит, словно я сморозил бог весть какую глупость. Это мне так думалось по дороге сюда. И вдруг видение исчезло. Я видел только носки моих сапог. Левый, правый, левый, правый. И тогда я решил, что сапоги надо бы смазать. Не то они скоро развалятся прямо у меня на ногах. Когда одновременно думаешь о таких разных вещах, может лопнуть череп. Надо, чтобы все мысли сводились к чему-то одному. Они передрались, переругались, а потом в одну постель забрались. Это очень просто сводится к одному. И у меня с Марией тоже сводилось к одному. Поначалу. Недолго. Женщина такого долго не потерпит. Порой я спрашивал Марию: да что с тобой? Глупей вопроса и задать было нельзя. Не все в жизни незаменимо. С этой русской женщиной я мог бы кое-что обговорить. Дома, сказал

бы я, дома у меня есть домишко. Очень исправный. И все равно как мой собственный. Сдан мне сроком на девяносто девять лет. В Лигнице, в земельном суде, хранится договор. С садом, двумя моргенами пашни, ригой и хлевом. У мальчика была отдельная комната. Всюду электричество. Мы могли бы держать двух свиней. Одну — на мясо, другую — на продажу. А что до политики, так Мария тоже никогда не голосовала, как того хотели господа. И вдобавок после войны в Германии будет инфляция. При инфляции господа обычно меняются... Я отстрою себе в соломе такой закут. Такой спальный ящик. Из жердей. Либо из расколотых пополам досок. Чтобы доходил до потолка. Поставлю вертикальные стойки. Врытые в пол, закрепленные в потолке. Съемная дверь. Защита от сов. Защита от собак. В овине лежит старый собачий помет. А вокруг овина много собачьих следов. По меньшей мере трех собак.

Этой ночью Рёдер разбил бивак среди развалин фольварка. На другой день он выстроил, как было задумано, спальный ящик. Временное решение проблемы, потому что морозы вскорости лопнут. Шел конец февраля, значит, самое страшное было уже позади. Перед тем как начать в развалинах фольварка поиск необходимых стройматериалов, Рёдер внимательно все оглядел. Отыскивая то, что понадобится в первую очередь, он мысленно представлял себе и то, что будет строить в дальнейшем.

Конюшню для племенного коневодства на двести двадцать стойл и два просторных стойла, где смогут жеребиться кобылы. Уповать и строить. Это тоже необходимо, если хочешь выдержать. Стройматериала в России навалом. Кругом полно всякой всячины. Не говоря уже об остатках военного снаряжения. У русских материала сколько хочешь. А почему? Да потому, что им за него не платить. Бригадир выписывает на бумажке, сколько ему может понадобиться, так, на глазок. И государство дает сколько может. Чего-то больше, чем надо, чего-то — меньше. Они хотят покончить с нуждой! И это хорошо. Но если заодно покончить и с предприимчивостью, нужда снова постучится с черного входа. Тут наш лейтенант был прав. Когда мы еще были в наступлении, русским железнодорожникам поручили восстановить паровозное депо. У них было собственное начальство. И материала — сколько хочешь. Стальные балки, кирпич, жесть, строительный песок, гравий, оконные рамы. Только цемент выдавали по наряду. И выдавали достаточно. А все ни с места. На каждую скобу, которую им надо было выдернуть, железнодорожники требовали разрешение с подписью и печатью. Талон. Вот у ветврача предприимчивость сохранилась. И связи, судя по всему, тоже. Поэтому он и может форсировать строительство и коневодство. Многое удастся снова пустить в дело. От двух жилых домов еще остались печные трубы. От старой конюшни — каменные фундаменты. Правда, большой сарай для утвари открыт с трех сторон. Зато кирпичная стена с наветренной стороны прекрасно сохранилась. Только взорваны опорные столбы и крыша провалилась внутрь вместе со всеми стропилами. Доски в полпальца толщиной, шпунты, бревна трехметровой длины. Из них можно сколотить отличный строительный вагончик, пригодный и для зимы. Чтоб не пропала зря ни одна щепка, ни один гвоздь. У большого ветряного колеса, которое рухнуло на землю, взорваны только нижние рычаги. Лопасти можно будет приделать снова. Рычаги восстановить. Укоротив на три четверти метра. И коленчатый вал соответственно. Для слесаря — пустячная работа. Насосная установка, которая входит в устройство, сыщется, вероятно, на складе у бабушки.

За первый же день пребывания на фольварке, до предела заполненный строительством спального ящика, Рёдеру удалось во всех деталях продумать годовой план своей деятельности. Он привлек время на свою сторону. Он предпочел бы, если б мог, сделать простейшие наброски и чертежи. Его втайне занимала мысль о том, что эти чертежи можно опустить в почтовый ящик, чтобы почта установленным путем доставила их женщине из каменного домика. Что одобрено разумной женщиной, то, считай, наполовину сделано. Женщина думает, я для нее совсем чужой. О, она еще удивится. Все свои надежды Рёдер возлагал на пятый день. Сразу после полудня он соберется в путь. Пусть не обязательно в этот раз, пусть в следующий, пусть через следующий, но когда-нибудь не бабушка, а она выдаст ему наполненный рюкзак.

Но на пятый день перед дверью каменного домика его хмуро, почти враждебно встретила и проводила бабка. Ту, что помоложе, и ее сынишку он так и не увидел. Своим поведением бабка словно перечеркивала то, что было в прошлый раз. Когда он попросил у нее плотницкий молоток, она притворилась, будто не слышит. И жестами приказала убираться. И не велела снова явиться через пять дней. Рёдер покачал на руке наполненный рюкзак. Вес выделенного ему пайка значительно уменьшился. Он сдержанно поблагодарил. Бабушка пропустила мимо ушей горечь, прозвучавшую в его голосе. Полностью вернулся к ней слух, когда немец завел речь о санках. Если приколотить к саням ящик, на них можно будет за несколько ездок перевезти гору торфа. Большая часть торфяных брикетов, что лежали за фольварком, превратились в труху. Не задавая словами и руками встречных вопросов, старуха бросила в сани совковую лопату и канат-постромку с широкой кожаной петлей. Вид у нее был все такой же неприветливый, почти враждебный. Отойдя от домика на изрядное расстояние, человек оглянулся. Старуха все еще стояла у задней стены домика, запрятав руки в рукава своей куртки. Должно быть, смотрела ему вслед. Когда же он оглянулся, старуха тотчас нагнулась и сделала вид, будто поднимает что-то с земли, а может, там ничего и не было, и унесла это что-то в свой склад — а может, и ничего не унесла. Оставшуюся часть пути Рёдер усиленно разрабатывал, оправдывал и продумывал в деталях хоть и неблагодарный, но вполне справедливый замысел, а замысел был таков: взломать этот склад, чтобы обеспечить себя необходимым инструментом и материалом, коль скоро старуха не желает выдавать его добром.

Всего необходимей он считал сало, либо репное масло, либо керосин. Слабый огонек в бесконечные, непроглядные ночи.

Время, которое надлежало привлечь на свою сторону, чтобы выдержать, попеременно обращало к нему то дружеский, то враждебный лик. Время состояло из дня и ночи. Против враждебной ночи даже спальная клетка служила ненадежной защитой. Когда у мышей было хорошее настроение, они шмыгали между жердями клетки. А уж до чего у этого оголодавшего зверья в веселые минуты разыгрывался аппетит на мясо, на мочки его ушей к примеру,— слов нет. Чете сов он почтительно предоставил в полное распоряжение шест, прибитый к спальной клетке снаружи. Птицы не приняли его дар. Совы и вороны привыкли восседать на плече у богов — что им беглый и завшивевший конюх. Лохмотья, заменявшие Рёдеру белье, и все его волосы кишели вшами. Он кипятил свои лохмотья, он вылезал на скупое полуденное солнце и брал своих мучителей к ногтю. Но каждую ночь в его кожу въедались новые полчища вшей. Порой ему казалось, что еще минута — и он сойдет с ума от этого

мерзостного копошения на своем теле. Порой он начинал колотить себя кулаками, лишь бы не чесаться. Колотить не имело никакого смысла, но в расчесах вши множились, как комары в болоте. А на складе у старухи есть большой деревянный чан. Там можно бы принять сидячую ванну, очень горячую. И хорошенько вымыться ядровым мылом и керосином. А теперь, женщина, окати-ка меня ведром чистой воды.

Но страх прогнал женщину. Страх жить с немцем под одной крышей. Для местных это все равно что жить с какой-то нечистью. Будь у него возможность предложить серому псу, который из ночи в ночь совершает грабительские набеги на его овин, что-нибудь кроме мышей и добрых слов, пес мог бы стать ему верным другом. Лошадиного бога мыши не трогали, потому что у бога была собака. Парочка сов заменяет десять кошек. Хороший крысолов заменяет десять сов. А как ведет себя собака, которую хотят приручить одними добрыми словами? Она грызет прутья клетки и хочет добраться до тебя. Тебе нечем попотчевать ее кроме как топором. А это может дать собачью шкуру и собачий жир. Два отличных средства против ломоты в плечах и пояснице. На другую ночь Рёдер вынул из своей клетки дверь. Но, увидев, что дверь в человечью клетку открыта, трусливый пес немедля дал стрекача. За открытой дверью одиночка всегда чует засаду. Это только я думаю, что за открытой дверью меня кто-нибудь ждет. В тот раз, когда лошадь понесла, когда женщина встретила меня пулей, когда она прикладом затолкала меня под навес, дверь в ее дом была полуоткрыта. Случайно. Но за всей этой историей кроется не бессмысленная случайность. За ней кроется что-то другое. То, о чем я не рассказал лошадиному богу. Потому что не нашел еще подходящего слова. То, что можно почувствовать, а можно и не почувствовать. То, из-за чего рискуешь быть убитым на месте. Ведь она, эта женщина, поглядела не только на мои руки. Еще она заглянула мне в глаза. На одно мгновение.

Столько длится вспышка молнии. Или распахивается дверь под порывом ветра. Или говорят человеку: «Давай, заходи». А она убежала вместе с мальчиком. Поневоле спросишь: почему? Поневоле опустишь измерительный лот в темноту ночи. Но темнота эта не имеет дна. Чем больше ты вытравляешь бечевку, тем сильней колебания лота в глубине. Там есть подземные течения. И сверху тебе с ними не совладать. Лот пляшет, как недавно плясал взбесившийся топор между плечом и поленом. И если даже теперь, когда все словно обезумели, у тебя не возникло желания подвести черту, ты должен додуматься до самого главного, до чего вообще человек может додуматься в своей жизни. Тогда ты должен понять, кто же ты такой. Иначе взбесившийся лот утащит тебя за собой в глубину. Тогда ты должен перевернуться с живота на спину. Махнуть рукой и на мышей, и на вшей, и на сов, и на пса, спокойно лежать до тех пор, пока не перестанешь испытывать боль. Пока земля — торфяная труха, на которой ты лежишь, не примет тебя, как кленовое семечко. С той же готовностью. И тогда ты наконец поймешь, кто же ты такой. Ведь не кленовое же ты семечко, на самом-то деле. У тебя в голове есть мысли. Только мысли эти слабые. И становятся все слабей, потому что ты не можешь облечь их в слова, спокойно и отчетливо. Произнеси же те три слова, которые сидят у тебя в голове. Произнеси спокойно и отчетливо свою присказку. *Когда станет светло. Когда станет светло.* Завтра, при свете дня, все будет ясно.

Еще четыре раза Рёдер прошел по маршруту: разрушенный фольварк — каменный домик в степи и обратно. Еще четыре раза — между суетой дневных дел и долгими, черными ночами, когда он лежал на земле словно кленовое семечко — с тяжелой головой и расплющен-

ным телом. По мере того как набирал силу дневной свет, Рёдер начинал верить в свою присказку. И одновременно не доверять ей, ибо, подыскивая слова, по значению противоположные выражению «нелепый случай», он наткнулся на слово «провидение». О провидении неустанно талдычил фюрер. Но вера в провидение изрядно поколебалась, когда они сидели в котле. А когда он рыл могилу для своего мальчика, она и вовсе от него отлетела, хотя он не сразу об этом догадался.

Старуха с каждым разом все враждебней его принимала, все хуже слышала, все меньше говорила. Паек она выкладывала под навес — словно корм собаке. Она ни в грош не ставила его работу, его труды: вместительный устойчивый ящик, который он соорудил на крестьянских санях, фура торфа, которую он всякий раз привозил с собой. Возможно, она видела, как он день ото дня усыхает, как все глубже уходят его глаза в глазные впадины, как нос его малопомалу обращается в ястребиный клюв, как губы лишь с трудом прикрывают зубы. Возможно, она видела, как щетина бороды, пробиваясь между лишаями, постепенно укрывает все это. Возможно — но старуха закаменела. Теперь она не глядела ему вслед, когда он тащил прочь пустые сани, пробиваясь от одного снежного островка к другому. Из трубы больше не поднимался дымок. В домике погас огонь.

И вот он пятый раз возвращался к себе, в никем не охраняемый лагерь для военнопленных на одного человека, в свою самодельную клетку. На дворе был еще светлый день. Неподходящее время для излюбленной присказки. Плевать, подходящее или неподходящее. *Когда станет светло, женщина...* Произнеси это спокойно и отчетливо. Услышав и осознав собственные слова, он остановился. И переложил широкую кожаную петлю своих чудесных санок с одного плеча на другое.

В полуденные часы, занимаясь охотой на вшей, он мог наблюдать, как у него на глазах степная земля гигантскими струпьями пробивается сквозь снежную и ледяную кору. Звук падения каждой капли отдавался в его ушах как взрыв, разрушающий глыбу холода и тишины, которая тысячелетиями лежала между небом и землей. Он видел, как до полудня солнце пядь за пядью сбривало бороду инея, покрывавшего развалины стен. Словно гусеница из куколки, выползал он к полудню из своих оболочек. Снимал тяжелую шинель и китель, разматывал телефонный провод, придерживавший на его теле лохмотья и лоскуты, которые он называл бельем. Местом его полуденного пребывания был аккуратно сложенный, разделенный поперечными брусьями штабель досок — разобранная крыша сарая. Он бережно отделил от досок ломкий толь. Он хотел нарезать его на равные куски и использовать как дранку для своей хижины. Сидя на штабеле досок босиком, в одной рубахе и штанах и наслаждаясь первым солнечным теплом, он мечтал о том, чтобы сгонять домой и принести оттуда свои вещи. Шесть нижних сорочек грубой шерсти, две верхние сорочки, куртку, мягкие сапоги, жакет с рукавами, двое рабочих штанов и воскресный костюм. И еще он мечтал, как бы одолеть голод. Но голод был сильней и в два счета вытеснял мечты. Телу становилось теплей, и от этого оно еще более исступленно жаждало насыщения. К полудню дьявол голода особенно рьяно искушал его уничтожить пятидневный паек за один присест.

К полудню того дня, о котором предстоит поведать необычное, человек по привычке восседал на штабеле досок. И не сводил глаз с

тропинки, протоптанной им до колодца. На тропинке возникло нечто совершенно новое, лужица размером с суповую тарелку. Должно быть, под ней земля уже совсем мягкая. Человек взмахнул руками и обхватил колени. Так он пытался заглушить желание соскочить с досок, броситься к этой луже, зачерпнуть ладонями жидкую грязь и глотать, глотать грязевую кашу. Желание не проходило. И тогда он дал себе несколько секунд времени, чтобы по крайней мере оправдать его. Пока в тебе еще теплится жизнь, голод может напасть на тебя как венерическая болезнь. И тебе ничего не остается, как пожрать дьявола, имя которому голод, покуда он сам тебя не съел. Но если ты сник и сдался и лежишь, как тряпка, тогда ты позволяешь дьяволу голода вскочить на твой пустой живот, тогда ты пускаешь смерть в свой разинутый рот. И если человек склонился над миской земляной каши, но земли в ней было только на осадок, только чтобы облизать пальцы.

Человек снова вскарабкался на свой штабель. Упал животом на разостланную шинель. Забыл благое намерение никогда не ложиться ничком. Потому что в этом положении мысли оттягивают голову книзу. Голову и все, что к ней пристало. Во всяком случае, ему удалось повернуть голову, закрыть глаза и лечь на бок. Но заснуть он не мог, то ли потому, что стыдился своей слабости, то ли потому, что его пустой желудок все еще требовал земляной похлебки. Кровь бросилась ему в голову. Он услышал биение собственного сердца. Он услышал вполне отчетливо его резкие удары о резонансную доску. Потом сердце запрыгало галопом. В четыре копыта. Но даже если допустить, что сердце у него как у лошади, на четыре такта сердце все равно не барабанит. Он открыл глаза и увидел упряжку — лошадь и повозку — неподалеку от своего полуденного лежбища. Упряжка двигалась с севера, оттуда, где был холм, оттуда, где полагалось быть деревне, так и не увиденной за метелью, и держала курс на овин. Человек вскочил, замахал руками, закричал: «Эй! Сюда!» — как потерпевший кораблекрушение, которого на плоту носит по океану. Упряжка была уже довольно близко. Солнце не слепило. Оно стояло высоко над ним за его спиной. Поэтому он отчетливо видел все, что открывалось его взгляду. Видел в целом и в деталях. Лошадь и двух женщин в кибитке. Лошадь он мог бы даже окликнуть Обжора, Гляделка, Лошадушка, не мог вот он только назвать ее мало подходящим для лошади именем «Арестант».

Заслышав знакомый голос и знакомую кличку, лошадь непременно поставила бы уши торчком и помчалась бы к нему. Но даже и сейчас он не мог обидеть лошадь, даже и сейчас не мог крикнуть «Арестант». Слишком велика была его радость. К тому же он не знал, кто та женщина, которая стоя правит повозкой. Она была примерно на полголовы выше, чем женщина из домика. Она услышала его крик и на мгновение обратила к нему лицо. Оно показалось ему презрительным и злым. Другая женщина сидела в кибитке. Она стягивала руками концы платка под подбородком. Платок затенял ее лицо. Эта вторая женщина сидела неподвижно, скорчившись и оцепенев. Не была ли она женщиной из кирпичного домика? Не вернулась ли она назад, приведя лошадь? Выпросив ее у лошадиного бога? Для всей деревни, надо полагать. Чтобы остальные женщины не ворчали и заодно помогли ей прокормить пленного специалиста. Такая женщина обо всем подумает. А теперь она велела отвезти себя домой. В мою сторону и не глядит. Не хочет, чтоб о ней пошли сплетни, но хочет показать мне, что она вернулась. Если б не хотела, она бы выбрала другой путь из деревни к своему домику, либо покороче, либо подлиннее. Этот день принесет мне удачу! Я чувствую, что принесет.

Упряжка исчезла за овином. При том темпе, к которому принуждала лошадь погонщица, они должны были тотчас появиться снова. Едва они скрылись, человек подбросил в воздух свою ушанку. И действительно, лошадь и кибитка почти немедля вылетели из-за овина, но только не по направлению к домику. Нет, погонщица направляла жеребца обратно к холму. И в кибитке больше никого не было. Сидевшая там раньше женщина не могла слезть за такое короткое время, она могла только выпрыгнуть. Попросила, чтобы ей разрешили сказать пленному хоть одно слово. Слово это человек представил себе именно таким, каким любой голодный мужчина представляет себе слово женщины: «Я принесла тебе поесть». Это понятно на любом языке.

Итак, человек торопливо ныряет в сапоги и в китель, как молоденький спрыгивает со своего дощатого ложа, чтобы обменяться с женщиной словом, которое ее не испугает. Он идет быстро. Но не бежит. Он знает, женщина может испугаться, если он чересчур быстро подойдет к тому, что не есть ни случай, ни провидение.

Та деревянная дверь, с помощью которой лошадиный бог уже единожды сбивал его с ног, давил и проверял его на выносливость, приготовила ему нынче еще одно горькое разочарование. Дверь лежала на земле возле низкого входа в овин. А на двери, опустив голову и явно его поджидая, сидела незнакомая женщина. То ли молодая женщина, то ли девушка. Поди угадай. Не поднимая головы, незнакомка сказала мужчине, молча стоявшему перед ней:

— Меня зовут Тамара. Мне велено охранять тебя днем и ночью.

Незнакомка говорила по-немецки, но с таким старомодным выговором. Звуки, берущие за сердце. Когда мужчина не спеша подошел и молча остановился перед ней, она, как девушка, которую никто не приглашает на танцах, опустила глаза в землю. Но зато с берущей за сердце интонацией и без обиняков сказала, как ее зовут и в чем состоит ее задание. Взгляд она так и не подняла. Мужчина подумал, что она не делает этого лишь потому, что не хочет показать, какие черти прыгают у нее в глазах. Но от испытанного разочарования его недоверие все росло. Он не станет терпеливо ждать, что будет дальше. Здесь кое-кого хотят выставить дураком. Мужчине, немцу, фашисту здесь бросают приманку. Недурной наружности особу женского пола, круглосуточную охрану днем и ночью. Телохранительницу без ружья. В юбке, валенках, шерстяном платке, шерстяных чулках и с револьвером, засунутым за подвязку. Из-под юбки чуть видны икры. Красивые ноги, немецкая речь. А, черт подери! Сидит на сложенном одеяле. И пусть дурак думает что хочет. Рядом лежит узелок с бельем. Будто она только что с поезда. На коленях у нее плетеная корзинка. И все это так искусно укрыто скатеркой, что под ней сразу угадывается буханка хлеба. Будь у тебя катаракта, выжженные зрачки, будь ты вообще слеп, как сова, ты все равно увидел бы эту буханку в осязаемой близости. Продолговатое, коричневое, хрустящее чудо, килограмма на полтора по самым скромным подсчетам, манна небесная, крестьянский хлеб. Пусть дурень, от которого старуха прятала корзинку для хлеба, который с голодухи хлебает грязь, пусть он теперь исходит слюной от желания схватить ее за красивые ноги. Но тебе ничего не нужно, кроме хлеба, ничего больше, один кусок хлеба, полный рот хлеба. А она закричит, обзовет тебя паскудным кобелем и убежит с хлебом вместе. Убежит на своих, черт подери, красивых ногах. А где-нибудь за кустами небось притаилась та тощая и высокая. Она примчит к тебе на своей кибитке, огреет тебя хлыстом по губам, так что у тебя лопнут губы, как тогда у Плишке. Ох, лошадка, моя лошадка, как же нас с тобой обложили. Специалисту каюк. Вельмож-

ный барин изъявил желание возродить племенное коневодство. А сам что делает? Подбивает меня на всякое паскудство. Красивые ноги, немецкая речь, русский хлеб. Ах ты моя лошадка, моя обжора, единственная родная душа, сунь мне, как тогда, морду под шинель. Они хотят подвести меня под трибунал.

— Ты долго будешь меня разглядывать, как больную корову? — спросила незнакомая Тамара.

— Ты мне не нравишься,— ответствовал он,— но охрану себе не выбирают.

Тут она глянула на него, и он увидел, что лицо у нее все рябое от оспы.

— А почему я тебе не нравлюсь, шелудивый ты кобель?

— Ты мне кое-что напоминаешь.

— Что же именно?

— Колючую проволоку.

Ну, сейчас небу станет жарко, сейчас она вскочит и заверещит и с воплем унесется прочь. «Эта свинья, эта фашистская свинья! Он покусился на нашу честь!» Впрочем, что бы я ни сделал, конец был бы один и тот же. Уж лучше так, чем подлизываться и угодничать. Тем более когда живот у тебя набит хлебом, наспех проглоченным хлебом, даже и в лагерь вернуться не так страшно. Здешним бабам явно не нравится, что к ним сюда затесался немец.

— Ну, давай, Тамара, зови своего кучера. А я возьму шинель и рюкзак.

— А нож у тебя есть, немец?

— А кто ты такая?

Молчание.

Нож у него есть. Он ныряет в голенище сапога, но ничего оттуда не вытаскивает. Новая ловушка? Он грозил меня убить? Нож — улика? Железное лезвие, которое у него есть, острое и колючее. Он сам наточил и отшлифовал его, сам сделал из дверной скобы, единственной, которая оставалась на этой двери. Теперь на двери сидит рябая девушка. Она моложе, чем можно было подумать с первого взгляда. Но из этого не следует, что она добрей, чем можно было подумать с первого взгляда. Впрочем, не все ли равно. Повадился кувшин по воду ходить, или, другими словами, нож по хлеб — там ему и голову сломить, или, другими словами: лезвие. Кому приходят в голову такие заковыристые мысли, тот, можно считать, еще держится.

— Зачем тебе нож?

— Как это зачем, папаша? Хлеб резать, вот зачем. Но если тебе не хочется хлеба, можешь отрезать кусок от своей ноги. Хотя, по мне, хлеб лучше. Его посылает Ольга Петровна.

— А кто это, Ольга Петровна?

— Это твоя приемная мать, папаша!

— Да будет тебе с мамашами и с папашами, черт побери.

— Тогда садись.

Мужчина послушно садится на другой конец двери. Рот у него наполняется слюной и руки начинают дрожать. Девушка расстилает на досках между ним и собой кусок небеленого полотна и начинает резать хлеб. Четыре толстых куска. Горбушку она прячет за спиной.

— Левая или правая?

Мужчина хватает один кусок.

— У тебя зубы лучше.— У этой молодухи такие же запавшие щеки, как у него.— Сколько тебе лет, Тамара?

Девушка покраснела, потому что поняла его любезность по-своему. Горбушка одного веса с обычным куском насыщает в полтора раза больше. Таков опыт голодных.

— Итак, я уже сказала: она твоя приемная мать. Хотя годков ей для этого не хватает. Между прочим, как оно там у вас было? Не Ольга ли Петровна хотела однажды ночью взвалить твое тело на санки? А санки увезти в степь? Чтобы собаки доделали остальное? Но получилось не совсем так. Она, наверно, подумала — если приглядеться к тебе, я ее понимаю,— подумала: нет, грех, нельзя подсовывать такое бедным собакам.

Вот и вернулась бумерангом «колючая проволока». Да еще с процентами. Язык у нее подвешен что надо. А считать свои весны она никому не позволяет.

— Ты мне в дочери годишься.

Никто не торопится продолжать разговор. Когда рот полон, разговаривать трудно.

— Вот было бы горе,— говорит она через некоторое время. Ему остается только проглотить сказанное. Она явно глотает проворней.— Еще Ольга Петровна привезла бумажку. С большой круглой печатью соответствующего учреждения. И там написано, что в порядке исключения немецкий военнопленный по имени Мартин Рёдер выделяется в распоряжение совхоза имени Калинина, деревня Александровка, для использования его как специалиста по восстановлению племенного коневодства. Поручителями выступают военветврач Михалков и советская гражданка Кузнецова Ольга Петровна.

От этого приятного известия Рёдер сглатывает засевший в горле комок. Выходит, ветеринар и женщина, которую зовут Ольга, жизнью своей или, по крайней мере, своей репутацией за него поручились. Еще девушка говорит, что по заведенному обычаю выпивку ставит мужчина. Кстати, и у него самого пересохло в горле. Он принесет воды из колодца, чистой, холодной воды. Быстро принесет. Сию же минуту будет обратно. Видишь, Обжора, мой приемный отец, уже становится светло, дело уже проясняется...

Когда Рёдер вернулся с котелком, полным воды, на том месте, где раньше сидела девушка, никого не было. Он услышал, как она смеется в овине. А снаружи, на дощатой двери, смеялись мыши. Длиннохвостый сброд с визгом играл в чехарду и дрался за хлебные крошки. А эта дура еще смеется. Оба толстых ломтя, которые у них оставались, когда Рёдер уходил — мысль о том, как это будет вкусно, если запивать их чистой, холодной водой, окрыляла его,— теперь безвозвратно исчезли. Корзинка с остатками хлеба была спасена, на праздничной скатерти ее не было, не было также и узелка с бельем и одеяла. От злости и разочарования он даже мысленно не поблагодарил девушку. Подхватила корзинку будто сумочку. Ни одна девица не выйдет на прогулку без сумочки. Заслуги в этом никакой нет.

Рёдер положил конец застолью, иначе сказать, он рывком поставил дверь вертикально и перекинул ее на другую сторону. Мышья рать заметалась, заскользила, обратилась в бегство. Кто не успел своевременно встать на все четыре лапки, тот угодил под пресс. А давление на пресс осуществлял голодный всем своим весом, вернее, недовесом, к которому прибавились ярость и гнев. Тамара перестала смеяться. С узелком и корзиной она стояла перед входом в овин. Она видела, как беснуется мужчина, но вмешиваться не стала. Она дала ему отбушевать. На это ушло много времени, слишком много, еще и потому, что перед входом в овин стояла девушка, с корзинкой и узелком, и потому, что в глазах у нее плясали веселые чертики.

— Погибли все,— заявила она, когда он наконец спрыгнул с двери. Его ярость отбушевала. Его мужское тщеславие продолжало бурлить.

— Бросает хлеб перед дверью, хотя знает, что в доме никого нет.

— Я просто хотела осмотреть наше ложе. Нашу постель. Очень красивое сооружение.

Ей любо ходить по острию ножа.

— Повтори, что ты сказала!

— Чего тут повторять? Я только думаю, что если кто боится мышей и пленных фашистов, а деться ему некуда, тот должен хочешь не хочешь подкармливать малюток, чтобы дружить с ними.

Вот и выглянуло лошадиное копыто. Нечисть, разбойники, казни земные, немцы — все от фашистов.

— Пока ты ходил, вдруг появилась мышка. Потом еще одна, потом еще. Потом нагрянули целые мышиные полчища. И много до омерзения. И тут я испугалась. И пожертвовала мышам свой кусок хлеба. Свой, понимаешь! Бери! Это твой. Хлеб моих соотечественников. От себя оторвали. Ешь, а потом я буду плясать на тебе, как ты — на мышах.

Поди разберись в этих русских. Они разговаривают с тобой, как не по возрасту умные дети. Не встанешь на колени сам, они бросят тебя на обе лопатки. Как во французской борьбе.

— А если я предложу тебе половину моего куска?

— Смотря по тому, как ты это сделаешь.

— Дели сама, Тамара.

С этим предложением она согласилась. Она разломила кусок хлеба. Но всякий раз, когда кто-нибудь ломает хлеб руками, получаются два неравных куска. И всякий раз, когда женщина ломает хлеб для себя и для мужчины, она отдает мужчине больший кусок. Так говорится в календаре для крестьян. Неписаном — на всех языках. Так случилось и на этот раз. Он поднял котелок с чистой колодезной водой и подал ей.

— Чтоб тебе достался хороший муж. Который умеет больше, чем ты знаешь.

Она не торопилась выпить. Она про себя обдумывала тост, не сводя с мужчины пытливого взгляда.

— Не возражаю,— промолвила она наконец.— Такому всегда рады.

Лишь чувствуя на себе ее пытливый взгляд, он сообразил, что его тост носил двусмысленный характер. Что его можно понять как намек на постельные дела. Стоит ли ему из-за этого краснеть? Нет, Рёдер, держись как ни в чем не бывало. Она ответила между прочим, не ломаясь. Она и вообще не ломака. Просто она хотела его смутить. А куда она сунула свое одеяло? Наше ложе! Наша постель. Как ты там все красиво устроил! Ведь не расстелила же она поверх свое одеяло. Впрочем, сейчас посмотрим. Мужчина встал и подошел к двери. Так небрежно, между прочим, что она невольно умолкла.

— Совы,— объяснил он, словно ему надо было их накормить.— Под этой крышей проживает парочка сов.

— Да ну? Совы — мудрые птицы. Дай им тоже что-нибудь. Моя бабушка по матери...

Он наклонился перед входом. Отломил несколько крох от своего ломтя. Немного — и небольших. Для жертвоприношения — маловато, для собственного употребления — в самый раз. Итак, он святотатствовал во мраке совиного и мышиного храма. Ибо явился не затем, чтобы принести хлебную жертву. А затем, чтобы увидеть. И он увидел. Одеяло Тамары лежало на куче торфяной трухи — на его матраце. Не расстелено, покамест сложено. Но тем не менее. Оно лежало. «В» или «на» постели, вот в чем дело.

Ох, барышня, барышня, нет ничего тайного... Деревенские бабы приносят в жертву девушку, чтобы потом с полным основанием спро-

вадить меня подальше. Надо открыть ей глаза. Ей кажется, будто она командует, а на самом деле командуют ею. Все равно никто ей не поверит, когда она скажет: дорогие сестры, фашист меня даже и пальцем не тронул. Она малость дерзкая, эта Тамара. Я знаю, девушка, в войну дерзость чаще всего сама себя карает. Я должен ей это сказать. Я просто обязан. Перед самим собой. И перед той женщиной, перед Ольгой. И перед лошадиным богом. И перед старшиной. Рёдер снова вышел под открытое небо. Он не знал, с чего начать, как сказать то, что он просто обязан сказать девушке, себе самому и другим людям. Это было совсем не легко. Потому что у Тамары замерзли ноги и она прыгала перед овином в своих валенках, как прыгают при беге в мешках.

И, не переставая прыгать, она продолжала прерванную историю о своей бабушке со стороны матери:

— Моя бабушка была из немцев Поволжья. Их всех переселили в Среднюю Азию. Они все очень суеверные. Моя бабушка каждую субботу выставляла на сеновал мисочку пшенной каши для злых духов. А в понедельник утром шла проверить, что с мисочкой. И мисочка неизменно оказывалась пустой. Кошка и котятки все воскресенье ходили с пшенной бородой. А бабушка целую неделю ничего не боялась. Даже быка Фридерика и того не боялась. Истинная правда.

Когда у нее на щеках румянец, она делается просто хорошенькая. А когда она снимает свой бахромчатый платок, который сбился, пока она тут скакала, она кажется моложе. Большинство женщин, если повяжутся платком, выглядят старше.

— Меня, Тамара, ты можешь не бояться. Но было бы куда лучше, если бы ты вернулась в деревню до наступления ночи. Девушке или женщине из ваших нельзя оставаться ночью с немцем. Пойдет дурная слава. Так ли, иначе ли. Словом, уходи. Подумай о себе. Я никуда не денусь.

— Они и сами знают, что ты никуда не денешься. Они в этом почти уверены. Но именно поэтому я должна охранять тебя денно и нощно. Таково общее решение. Семнадцать голосов — за, один — против.

— Против, наверно, твой собственный?

— Я не имею права голоса. Больше не имею. В деревне снова восемнадцать женщин. Если считать Ольгу Петровну и ее свекровь. А со мной их было бы девятнадцать. Но Тамара у них не считается. Больше не считается. И ни одного старика, ни одного белобилетника, ни одного инвалида. Всего несколько мальчиков-подростков, а работать они должны, как взрослые мужчины. Единственный голос против — это Ольга Петровна.

Тяни, отец, тяни. Еще будет свет. Женщина, эта самая Ольга, не хочет меня уступать. Она не отрекается от того, что произошло. Потому что то был не случай. И не провидение. И не каприз. У-у, какой тонкий нюх у женщин в этой деревне. Они знают — как это выразилась Тамара? — они почти уверены. Так говорят, когда еще только предполагают. Скверная повадка у всех женщин, они любят с уверенностью высказывать свои предположения. А ведь все проще простого, дорогие мои женщины. Ольга хотела получить лошадь. Лошадь была ей необходима. Старшина не мог не отказать ей. Отказать тоже было необходимо. Тогда Ольга загнала в сарай немецкого военнопленного. Тот был согласен. И тут-то все и начинается: женщина была согласна с тем, что мужчина согласен. И больше ничего, понимаете, люди: ничего не было. А вы-то небось думаете, что по нынешним временам и этого много. Но ведь мерки всегда одни и те же — человеческие.

— Уходи, Тамара! Иди домой! Оставь мне только еще кусок хлеба.

— До чего ж ты тупой! Ты даже не замечаешь, как переоцениваешь себя и оскорбляешь меня. Я могу придержать свое сокровище. Если хочу. Я не обязана растратить его с тобой. Если не хочу. А кроме того, решение есть решение.

— Тогда я тебе вот что скажу: по ночам здесь просто ад. Ты еще наплачешься.

— Ольга сказала, чтобы я терпела тебя, как терпишь попутчика в поезде. Когда спишь в одном купе с посторонними мужчинами. Разговариваешь с ними, может быть, вместе ешь. Они тебе симпатичны либо не симпатичны. Будто едешь в командировку. Это сказала Ольга.

Рёдер зашел в овин и вынес оттуда Тамарино одеяло.

— Теперь мне пора на работу. Пойдем со мной. А одеяло там оставлять нельзя. Не то к ночи из него получится кружево.

Девушка не взяла у него одеяло, передала ему вдобавок свою корзину. Себе оставила только узелок с бельем.

— Инспекторский обход,— сказала она и добавила, что ей хочется посмотреть, много ли он наработал за четыре недели. Сколько выработал трудодней. Каждому по труду. Его замыслы привели ее в восторг. Однако при виде реально сделанного, при виде поддающегося обозрению и учету штабеля трехметровых досок она сморщила нос. Если пересчитать на хлеб, по теперешним ценам, триста граммов в день. От силы. Про себя он обозвал ее несмышленой зазнайкой, которая не имеет ни малейшего представления о том, чего это стоит — разобрать крышу большого амбара по всем правилам и притом без молотка, без кувалды, без клещей и тисков, чтоб вытаскивать гвозди. Только один топорик да лопата с обломанной ручкой. Но вслух он сказал то, что не раз слышал дома от фабричных рабочих либо от Марии:

— От сдельщины раньше сроку помрешь.

Эту тему Тамара не подхватила. Здесь она решала, о чем говорить, а о чем нет. По дороге он спросил ее, почему она у себя в деревне лишена голоса. Она вроде совершеннолетняя и, сколько он мог заметить, не из глупых. Но она и тут промолчала и только прибавила шагу. Должно быть, это как-то связано с ее бабушкой из немцев Поволжья. Боженьку русские выпроводили через парадную дверь, а черт тем временем прокрался через черный вход. И в настоящее время черт изъясняется по-немецки. Не беда, если у кого-нибудь в этой стране есть кой-какие грешки на совести. Но горе тому, у кого бабушка — немка. Как у этой девчонки. Вон она вышагивает что твой управляющий имением. Русским имением. Я должен работать? А я разве не работаю? И не пяль на меня свои зеленые глаза. От такого взгляда молоко скиснет. Перейдем лучше к стропилам. Может, ты, госпожа комендантша, научишь меня, как с негодным инструментом, не потеряв ни единой щепочки, разобрать твердые девятиметровые стропила, крепление жесткое, болты двойные. Ни единой щепочки! Эти стропила нужны нам как опорные столбы, как коньковые брусья для строительного вагончика, для отапливаемой сторожки. Шесть метров на три. Древесные отходы равны нулю. Используем сохранившиеся трубы и лишь наполовину рухнувшую печь. Да тут одна идея стоит трехсот граммов. Теперь, комендантша, ты видишь, с кем имеешь дело? Ты имеешь дело со всем немецким трудовым фронтом, с работником умственного и физического труда в одном лице. Что вы изволили сказать? Что доски нужны в деревне? Роскошно. Тогда мы и впредь будем

жить в мышином тереме, барышня и ее дурачок. Будем жить, сплетем из грязи и мышиных хвостов венок для непорочной невесты.

После сообщения, что все доски пойдут в деревню, мужчина не проронил больше ни слова. А она перешла на русский, исключительно на русский. Задачу, как разъединить стропила, не наделав при этом щепок, она взялась разрешить с помощью пилы. Везде, где дерево стыковалось с деревом, полагалось пилить. Он держал за свою ручку, она — за свою. Причем нельзя было сказать, что она работает вполсилы. Нет, она работала как следует. Просто надолго ее не хватит. Работать надо спокойно и ритмично — вжик-вжик, а не поросячьим галопом. Когда пошел третий час работы в предложенном ею темпе, а ее движения оставались такими же энергичными, и насчет перерыва она даже не заговаривала, и вообще с ним больше не заговаривала, ни по-русски, ни по-немецки, он вдруг сообразил, что опилки — это тоже своего рода щепки, а сообразив, про себя порадовался. Впрочем, выкладывать свой козырь он не стал, он его приберег. Лишь когда она скомандует «на сегодня хватит», как это звучит на русском языке, он выложит свой козырь. Он хлопнет ладонью по дереву, укажет пальцем вниз и скажет: «Между прочим, тоже щепки». Эта мысль прибавляла ему сил. К концу третьего часа он почувствовал, что ее движения становятся все слабей. Увидел, как она прикусила губу. Пожалел ее. Но коль скоро мужчина надумал связаться с женщиной — пусть даже не сам он, а за него надумали,— он должен уточнить с самого начала, кто у них будет головой. Не то в недалеком будущем быть ему в дураках. К концу четвертого часа, когда бледно-красное солнце висело над степью на высоте дерева и по небу разлилась предвечерняя игра красок, она сказала по-русски: «Конец». Пришел его великий час:

— Ну-ну, а что это у нас здесь такое?

— Щепки! Древесные щепки.

— Древесные опилки! — устало ответила она по-немецки. Козырь все-таки произвел впечатление. Во-первых, она опять сказала словечко по-немецки, во-вторых, она занялась ужином. Сходила по воду, развела костерок, принялась варить кашу из каких-то зерен, принесенных в корзинке. Так и должно быть. Мужчина еще некоторое время работает, прибирает рабочее место, готовит лучину, приносит ведро торфа, затем моет лицо и руки. Пока он успевает все это сделать, уже готов ужин. В мирное время перед этим надо еще задать корм скоту. Женщина доит коз. Женщина. Впрочем, эта девушка — свой парень. Вон достала что-то из корзинки. А я ей показал, где лежит остаток моей картошки и крупа. В печи, которую я, дайте срок, окружу засыпной сторожкой. Шесть метров на три. Впрочем, об этом мы еще поговорим. В настоящий момент комендатура созрела для переговоров.

Настроившись на отдых после трудов праведных, вернулся умытый мужчина. Он здорово себя надраил. И пришел голый по пояс. Девушка сидела на штабеле досок и черпала из его котелка. Черпала и черпала, а потом выскребла остатки.

— Из опилок,— сообщила девушка,— можно жарить первоклассные омлеты.

На досках сидела девушка, стояла корзинка с хлебом, лежало золотое вечернее солнце. Рядом с мужчиной стояло жестяное ведро. Полное колодезной воды. Чистой и холодной. От костра поднимался голубой дымок. Ну ладно же, как аукнется, так и откликнется. Он подхватил полное ведро за скрипучую ручку, решительным шагом направился к хитроумному, хранящему жар, вырытому в земле очагу. Размахнулся и вылил воду, замочив при этом худые сапоги. Вылил

всю, как есть, в красноватые уголья очага. Шипя от злости, пара и газа, вырвались из костра и устремились к цветущему вечернему небу духи мести. Обволокли, задушили молодую ведьму, которая сидит на подготовленном костре. Так ей и надо! Пусть кашляет. Жена да убоится мужа своего.

Подползли сумерки. Огонь погас. Голод выжигал внутренности мужчины. Он сидел на опрокинутом ведре, накинув шинель на плечи и повернувшись спиной к мертвому очагу и к проявлениям жизни на штабеле досок. На барабан свой сел герой, обдумывая бой. Шатер небес над головой затянут тьмой ночной. Фридрих, великий король после битвы под Лейтеном. Большие потери. Но сражение выиграно. Что выучено, то выучено. То не забыто по сей день. Бык в усадьбе ее бабушки по матери тоже назывался Фридерик. А бабушка целую неделю ни капельки не боялась быка. Ей придавала храбрости дочиста вылизанная мисочка на сеновале. Яблочко от яблони недалеко падает. Очаровательной внучке тоже придает храбрости вылизанный котелок. А теперь она ушла. Несколько минут назад. К колодцу. Помыть посуду. Корзинку с хлебом она оставила. Да разве можно быть такой коварной? Что удержит тебя от кражи, когда ты подыхаешь с голоду? Характер, характер тебя удержит. И еще волшебная палочка. Самокрутка. Из чая. Пять спичек подарила мне женщина. Три еще осталось. Женщина, Ольга значит. И женщина снова разожжет огонь. Завтра я встану пораньше. Я должен встать раньше, чем она. Спать я буду снаружи. Останусь здесь. Приготовлю постель. Даже с крышей над головой. Доброй вам ночи, мадам.

Девушка вернулась. Мужчина сидел в той же позе, в какой она его оставила. Курил. Не мог подавить кашель. Табак ни к черту. Холодные времена. Безоблачное небо. Мерцание звезд. Мороз упал на степь. Дрозд смеется, умирая. Она ставит котелок в их чулан. И корзинку с хлебом. Все как положено. Она говорит:

— С полуночи считаются новые сутки.— Это она намекает на хлеб. Это она хочет сказать: если тебя замучит голод, встань и подойди к холодной печке. В ней ты найдешь клад: триста граммов незаработанного хлеба.— Семья моей бабушки по матери носила красивую немецкую фамилию Ваккер. Работящие люди. Строй усердно свой домок, и тебе поможет бог. Мать моя удалась не в них. Она вышла замуж за Игнатьева. У Игнатьева в голове были одни только идеи. Интернационализм, деревенская коммуна, колхоз и тому подобное. И ради своих идей он не щадил себя. Как и моя мать. О них даже было в газетах. С фотографиями. А твои родители кто были?

Тишком да крадком — официальная часть. Анкетная. Эту стадию, почтеннейшая, я уже прошел. Еще до того, как попасть в команду. Со мной можно по-честному. Он не поворачивает головы, герой на барабане. Он говорит хриплым голосом бывалого вояки:

— А мои были барон и баронесса. Ходили в шелку и в золоте.

Тут девушка вздохнула: «Ах звезды-огонечки». Рехнулась она, что ли.

Ее звонкий командирский голосок доносился сверху. Наверно, она забралась на доски. Господи боже, этого еще не хватало. Она декламирует стихи. Пущено в ход последнее оружие, оружие искусства. Умереть можно со смеху!

Шептала девушка в тиши:
«Ах звезды-огонечки».
И прямо с неба их достал
Любимый среди ночки.

Проходят годы чередой.
Ах звезды-огоньки!
Порой приблизятся они,
Порой так далеки.

Публика, состоявшая из одного человека, продолжала демонстративно сидеть спиной к сцене. И слушала, опустив голову. Вообще-то ей хотелось разразиться хохотом. Мороз упал на степь. Дрозд умирает. Он слышал, как сходит со сцены искусственное искусство. Как спрыгивает девушка. Тут он превозмог себя. Себя и полковой барабан. Он встал, потянулся, обратил к специалистке по звездам невозмутимое, заросшее щетиной лицо с кислокапустным выражением. Волшебная сила поэзии.

— Вечерняя зо́ря,— сказала поэзия.

Он отвесил ей поклон, который перенял у старого барона.

— Доброй ночи, мадам.

Он сумел сказать это с полной невозмутимостью и потому увидел, что церемонное прощание ее смутило. Она сразу поняла: спать они будут поврозь. Лучшее место — даме. Она — в аду, он — на холоде.

— А мыши? — пролепетала она робко, едва слышно.

Реванш, полный реванш. Благодаря мышам. Кто бы мог подумать. Вот она стоит опустив глаза. Глупая девственница. Пожертвовала хвостатым духам толстый кусок свежего ржаного хлеба. Двести граммов. Не количество, дитя мое, не количество, а вера определяет ценность жертвы. Вера приносит блаженство, хлеб приносит сытость. Щепки, опилки, подложишь шафрана — пирог без изъяна.

— Я тебя отведу. Получишь от меня еще одеяло. С одним одеялом — там верная смерть.

— Ты, выходит, собираешься спать в такой холод под открытым небом?

Свободная вариация на тему: замерзший немец — хороший немец.

— Черт подери! У нас в деревне нет госпиталя. Если ты обморозишься, тебя придется отвезти в лагерный госпиталь. А дорога неблизкая. Даже если ты попадешь туда живым, людей заинтересуют твои бумажки. Редкая к нам птица залетела, скажут они. Редкие птицы всегда выглядят подозрительно. Впрочем, как пожелаешь. Желание для человека порой дороже царствия небесного.

Мужчина молчит. Проходит немало времени, пока внушенное недоверие выразит себя в молчании. Проходит еще больше времени, пока наконец отшумит глупость. И, наконец, проходит совсем много времени, порой вся жизнь, когда подает голос вера:

— Подожди, подожди минуточку, Тамара.

В спальной клетке девушка подложила себе под голову узелок с бельем. Взбила его словно пуховую подушку. Замоталась в два одеяла. Развернулась снова. Потребовала, чтобы он дал ей нож — дверную скобу, длинную, отточенную, заостренную. Он был слишком утомлен голодом, слишком освежен доверием, чтобы еще раз проявлять недоверие. Он не видел, как она воткнула нож между ним и собой в торфяную труху, а хоть бы и видел, ведь не может он лежать так неподвижно, чтобы даже ненароком не задеть символ пограничного столба. При самых светлых, дневных мыслях и то не может. Потрескивали стены их пещеры, били и хлопали совиные крылья, огненно-желтые глаза вспыхивали то здесь, то там. Девушка не двигалась. Он ловил ее дыхание. Порой она тихо вскрикивала. Может, во сне, а может, в бессонном страхе. Когда его начали терзать вши, стыд терзал еще

сильнее. Твари-бродяги, ползают с места на место. Они не признают пограничных столбов. Сон глумился над ним. Приходил, чтобы тотчас снова уйти. Во сне проплывали тени. Мария стояла наверху перед входом в земляной погреб. Сложив руки под передником. Когда Мария была в положении, она частенько так стояла посреди двора. Полчаса могла простоять. Была осень. Плыли к земле листья с липы. Плывут по пещере ночные совы. Ты бы сходила к Ольге, Мария, ты бы поговорила с ней... В эту ночь не произошло ничего нового. Все было как уже не раз бывало в эти пещерные ночи. Только чуть теплее с одного боку. Да еще снова пришла Мария. А ведь она долго не приходила.

И все же в эту ночь человек не мог утешаться своей дневной присказкой. На него разом навалилась головная боль и озноб. Он препирался с самим собой. Это кто там вякал днем: от сдельщины раньше сроку помрешь? И кто потом, когда начали пилить, поощрял дикую гонку? Да он же и поощрял. Куражился из чистого гонора. Кто хочет выдержать, тот обязан знать себе цену. Кто бахвалится: счас мы как вдарим, тот должен, замахиваясь молотом, не угодить по собственной голове. Если ты вспотел, надо для начала остыть. Но едва поблизости возникает юбка, ты мчишься как дурак к корыту, и сбрасываешь китель, и снимаешь рубашку, и льешь на себя ледяную воду, и отряхиваешься, как длинношерстная такса. Такой крепкий, такой настоящий мужчина, такая широкая грудь! И даже без полотенца — в эдакий-то холод! Только не проронить ни словечка! Только не спросить: у тебя, Тамара, случайно нет полотенца? Я потом его отстираю. Тамара работящая девушка. И опрятная. В ее узелке наверняка сыщется и полотенце. А на твои красоты она даже и не взглянула ни одного раза. Зато вот теперь ты дрожишь, как осиновый листочек. А работать кто за тебя будет? Мне надо бы выйти. Ну поднимайся! Поставь воду на огонь. Вскипяти себе чаю. Завари вересковый корень. У него, правда, вкус, как у камфоры, но помогает. Да еще бы горячую ножную ванну. Мария снова вернулась. Эта женщина, Ольга, говорит совершенно как Мария. С первым проблеском дня Рёдер встал, стараясь не разбудить девушку, осторожно укрыл ее ноги своим одеялом и тихонько вышел. Идя по твердой, заиндевевшей траве, он вспоминал утреннюю росу на летних лугах.

Девушка обнаружила его у очага. На свежесколоченной скамье. Он спал. В котелке выкипал чай. Она легко коснулась его плеча. Он подскочил спросонок и спросил, который час.

— Триста граммов,— ответила девушка.

На лбу у него выступили крупные капли холодного пота. Он нарезал свой хлеб на маленькие кубики. Вытачивая себе нож из дверной скобы, он оставил на нем петлю. А загнутый конец заменил ему рукоятку. Тамара сказала, что, если сточить петлю примерно до середины изгиба и сделать узкую, длинную зарубку под прямым углом к петле, нож можно будет использовать для вытаскивания гвоздей.

Идея вызвала у него одобрительное удивление. Девушка, а до такого додумалась.

Встречный вопрос о том, где прикажете взять тиски, хотя бы ручные, свидетельствовал, что с его стороны идея запатентована. Когда соберутся вместе два изобретательных ума, получается нечто вроде чехарды на двоих. То ты прыгаешь, то через тебя прыгают. Они притащили доску, положили ее на новую скамейку, засунули лезвие между доской и сиденьем. Она настояла на том, чтобы тот, кто меньше весит, работал напильником, а тот, кто больше, сидел на доске. Стало быть, вот откуда дул ветер! Вся замечательная идея сводилась к тому, чтобы мне, по крайней мере с утра, не надрываться.

Эта хрупкая девушка обвела его вокруг пальца. Но поскольку он прескверно себя чувствовал, ноги были как ватные и все тело покрыто холодным потом, он охотно заглотил приманку и взял на себя роль мастера-наставника.

Осторожненько, вверх-вниз, напильник прижимать подушечкой большого пальца. А что стало с твоим отцом? И с твоей матерью? Таких историй мне слышать не доводилось. У нас был Эрвин Сакс, единственный коммунист в имении, так он рассказывал не такие истории о советских порядках. В его историях крестьянам живется хорошо. Все дружно, рука об руку. Гигантские нивы, гигантские пастбища. Утром с гармошкой на работу. Сплошная механизация. Тамара говорит, что ее отец был здесь первым председателем колхоза. Что он был высокий, широкоплечий человек, добрый и с прекрасным голосом. Только петь ему не много пришлось. В тридцатом году его выдвинули делегатом на партсъезд. Он поехал в столицу вместе с одним из секретарей краевого комитета. Но до железнодорожной станции — три дня пути на лошадях — они так и не добрались. Были убиты по дороге. Обоим перерезали горло. Косой. Тамаре было тогда семь лет. В председатели начали прочить Тамарину мать. Она не хотела. Ее избрали. Потом она вошла во вкус. Скотоводство. Крупный рогатый скот, овцы. Кормовая база! Турнепс, картофель, клевер! Зерновые, следовательно, тоже. В каждом хозяйстве своя корова! Колхоз должен богатеть. По-моему, очень разумно. Но для личного хозяйства лучше всего обычная буренка, а не раскормленная рекордистка. Во всяком случае, тетя Марфа, папина сестра, и еще некоторые другие были не согласны с мамой. Это как так богатеть?! Капиталистические замашки! Нет, они желали выращивать масличные культуры, коноплю, джут! Господи боже мой! Джут растет в Индии! И у китайцев! Сперва сделать богатой всю родину и лишь потом думать про отдельный колхоз. А разница между себестоимостью и закупочной ценой роли не играет. Главное — накапливать передовой опыт. Передовой опыт не просто дорог, он драгоценен. Вот Ольга, та поддерживала маму. Потому что Ольгин муж отвечал за овцеводство в районе. И сама Ольга работала в овчарне на фольварке. А муж тети Марфы был в деревне партийным начальством. Он хотел найти средний путь. Потому что страсти разгорелись нешуточные. Как раз в то время, когда мамина звезда начала близиться к закату, Ольгин муж выстроил себе посреди степи каменный дом. Собирался впоследствии поставить рядом овчарню. Ввести электростригку. Ольга сказала: мы освободим место на фольварке. Мы не против новшеств. Но баранина и шерсть государству тоже нужны. Маму сместили. Она процарствовала неполных три года. Потом переехала с дочкой на фольварк. В бывший дом Ольги. От которого и по сей день стоит труба. И полуразвалившаяся печь. Все это будет потом восстановлено. Шесть метров на три. Спустя четыре года мама умерла. От горя и от воспаления легких. Тамаре было тогда четырнадцать. Ольга взяла бы девочку к себе, но тетя Марфа отправила ее учиться. На правах опекунши. В сельхозтехникум. Мальчик у нас тоже был не из глупых. И мы бы тоже куда как рады послать его в техникум. Будь у нас деньги. Это здесь обучение бесплатное. Что есть, то есть. Тетя Марфа была права... А кто ж это у нас легок на помине?..

Тетя Марфа явилась с лошадью и с телегой. Незадолго до полудня. И девушка отправила Рёдера с пилой к стропилам. Должно быть, хотела поговорить с глазу на глаз со своей теткой, с той самой высокой и худой женщиной, которая вчера доставила Тамару сюда. Рёдер увидел, что женщина эта вовсе не так уж и стара, хотя волосы у нее совсем седые. У штабеля досок она придержала лошадь. Жеребец

с неудовольствием обнюхивал дерево. Седая женщина была не слишком словоохотлива. Она не произнесла при встрече ни единого слова, не задала ни единого вопроса, а на девушку глядела без малейших признаков родственного или даже просто дружеского участия. Девушка же своенравно мотала головой. Тут и без слов понятно, о чем они там говорят. Но на лице главной командирши — ни следа чувств. Лишь шарит пытливым взглядом вокруг, и один взгляд задевает мужчину, впрочем, может, и не мужчину, а щепки на земле. Девушка заговорила. Она попеременно кивала то на трубу, то на полуразрушенную печь — основу будущей постройки. Хитра, чертовка, ничего не скажешь. Она показывает площадку три на три. Уж больно жадный взгляд устремила тетушка Марфа на штабель досок высотой в рост человека. Но даже несчастный загончик три на три представляется всемогущей тетке непомерной наглостью. А ведь это всего девять квадратных метров. Если вычесть площадь под печь, кровать, маленький столик, табуретку, умывальник. Тогда свободного места останется на полшага, не больше. Тут бедный специалист, натыкаясь на углы, лишится последнего рассудка. Поди сюда, моя лошадушка, мой старый друг. Брось дерево, тоже мне еда. У меня есть хлеб в кармане. Правда, немного. Сто граммов.

Рёдер видел, как лошадь забеспокоилась. Небось гадает, я это или не я. Нет шинели, сбивает с толку ушанка. Свист, тихий посвист сквозь зубы ставит все на свои места. Рёдер свистнул второй раз, и жеребец осторожно взял с места, и потащил за собой пустую таратайку, и шажком, шажком подошел к мужчине. Уж до чего ж ты смышленый, малыш. Если бы ты рванул, седая подняла бы страшный шум. А так она даже и не оглянулась. Тамара же крикнула, чтобы он покормил лошадь. В таратайке есть сено. И женщины направились к овину, племянница — на полшага поотстав от тетки. Ну и нравы! Да уж ладно, ладно, малыш. Трешься шеей о мое плечо. И обоим хорошо. Без любви нет и жизни. Да, а хлеб? Кусок тебе, кусок мне. Тебя Ольга привела, что ли? У Ольги тебе жилось бы лучше, чем у этой седой тетки. Ладно, не распускайся, брось свои фокусы. Раз ты мой питомец, не подведи меня. Вот только эти доски — они для тебя слишком тяжелая поклажа. Пойми меня правильно: я к ним прилепился сердцем. Ты пить не хочешь? А то похлебай еще разок из своего бывшего ведра. Ах, будь у меня моя старая кофейная чашка. Первосортный фаянс из Бунцлау. Наливаешь в нее кипяток, а язык не обжигаешь.

Седая привезла с собой официальные распоряжения. Как в письменном, так и в устном виде. Когда она вернулась с инспекторского обхода мышиной крепости — так же безмолвно и так же на полшага впереди,— она приказала выдать немцу то особое разрешение, которое выхлопотала для него Ольга Петровна. Печать была лилового цвета, как та, которую ставят на мясе. Девушка держалась чопорно и чинно, будто судебный исполнитель. В момент вручения седовласая тетя Марфа наконец-то заговорила. Краткими периодами. Ее голос звучал устало. В переводе Тамары короткие периоды удлинялись. Причем Тамарин голос поднимался до такой высоты и звонкости, словно она обращалась к глухому. Итак, во-первых, при утере документа виновный будет доставлен в комендатуру. Во-вторых, все трудовые действия, включая сюда добычу и использование стройматериала, могут совершаться лишь по распоряжению временного руководства. В-третьих, рабочий день во все дни недели, включая воскресенье, равняется восьми часам, а во время сева и соответственно уборки урожая — по обстоятельствам. В-четвертых, ежедневный паек в равной мере зависит как от трудовых заслуг, так и от хозяйственно-экономического положения деревни.

Рёдер не слышал ничего, кроме соловьиного щелкания. От недоверия и неприязни к седой тетке в груди у него все клокотало. Впрочем, он злился сейчас на всех женщин чохом! Суют нос в строительные дела. Как это здесь говорится: доверяй, но проверяй. Здесь у них бабье царство. А бабы — народ с размахом. Они задницей думают, а не головой. И ни за что не признаются, что ошиблись. За возможные упущения отвечает сильный пол. В-пятых, применение огнестрельного оружия, инструментов и физической силы, угрожающих жизни либо нравственности тех или иных личностей, влечет за собой высшую меру наказания. Все ясно. Параграф о нравственности. Прозрачный намек на то, что мне бы всего лучше оскопить себя самого. Немец не человек, тем более не мужчина. Немец — бестия, покрытая чешуей. Дракон. Изрыгает огонь, прячет силу в хвосте. С таким клеймом на лбу жить нельзя. Кто дерзнет поручиться за клейменого, тот и сам становится клейменым, но этого я не желаю, Ольга Петровна, хоть ты и знакома мне не больше, чем придорожный кустик, мимо которого едешь. Всего бы лучше... В-шестых, гражданке Игнатьевой поручается следить за строжайшим соблюдением перечисленных приказов и распоряжений и доносить временному руководству сельсовета о малейшем нарушении. По мне, так лучше испанка. И марш-марш в лазарет. Ну и редкая к нам птица залетела. Разрешите доложить, фрау доктор, у редкой птицы типун. И еще дифтерит.

Грузить доски! По максимуму! Смотри вторую заповедь. Явиться в деревню. Имея при себе пилу и топор. Тоже вторая заповедь. Молись и работай. Телега катится под гору. Тамара остается. Седая ведет лошадь, придерживая ее за голову. Помахивает длинными вожжами. А ты топай, словно за гробом. Тяни, папаша, тяни, пока не упадешь. Эх ты, предатель.

Деревня, которую Рёдер увидел впервые, оказалась довольно большой и вся была сожжена, разрушена, почти стерта с лица земли. За деревней тянулась длинная полоса вскопанной земли. И стоял обелиск. Дощатый. С красной звездой. Те шесть-семь хаток, которые еще сохранились, все лежали за пределами деревни. Окна были лишь в двух, остальные без окон. Сараи, наверно. Либо амбары. Либо баньки. Седая подвела мужчину, и коня, и телегу к одной из безоконных построек. Перед въездом в деревню она велела пленному положить пилу, топор и шапку — все слова говорились по-русски — на телегу. Он не стал делать вид, будто не понимает. Это была не первая разоренная деревня, в которую он вошел уже пленным. Но первая, где он не мог затеряться в серой массе пленных. Дети постарше кричали: «Фашист! Фашист!» Целились в него из палок, как из винтовки. Тра-та-та. Залп. Те, что поменьше, прятались за материнскую юбку. Он услышал пронзительный женский голос. Но не понял слов. Голос сорвался, перешел в рыдания. Рыдание бежало следом. Оно шло рядом. Требовало око за око. Око врага. Оно цеплялось за его рукав, как побирушка. Почему ты отнял у меня все? «Почему?» всегда должно быть адресовано кому-нибудь. Платок на голове. Половина лица. Мертвый глаз. Без ресниц. Без века. Сожженное лицо. Оно остается позади. Седая не оглядывается. Они подходят к строению без окон — без век. Бросает ему взятые у него вещи. Как водрузить на голову пудовую тяжесть шапки? Как ее носить?

В темном бревенчатом помещении стоит изможденная женщина, которая робко целует Марфу в щеку. Стоит корова, на мослы которой вместо гвоздя можно повесить шапку. Сидят три девочки, одна побольше, две поменьше. Сидят, робко прижавшись в уголке на грязной

соломе. Бидон из-под керосина и вставленные один в другой снарядные картузы заменяют печь и трубу. В углу, над детьми, на дощечке, воткнутой прямо в паз между бревнами, горит свеча. До чего ж ты богата, женщина. Трое детей, огонь в печи, тепло, свет, крыша, корова, а из моих досок будет вам пол и закут. Стало быть, комната, чулан, кухня, хлев. А ну, пустите меня поближе к детям. Прыг-скок, покидай уголок. Я не волк, а ты, мать, ты не старая коза. Не разевай рот, когда плачешь. Все на выгрузку! Когда настелю пол, извольте его натереть, а когда натрете — но не раньше,— можете обернуться. Перед вами будет трехэтажная кровать, снизу — для матери, в середине — для младших, наверху — для старшей сестры. Ну, чего хнычете? Это я просто говорю с вами по-немецки. Вы поглядите, в моих карманах лежат гвозди со шляпками. Если б вы только знали, чего они мне стоили! Тамара даже подсчитать не могла. А ведь Тамара — инженер.

Возможно, дети поняли слова «Тамара» и «инженер». Они начали таскать доски и брусья. Женщины, те уже давно занимались разгрузкой. Корова таращилась, чуть склонив голову набок. Мужчина поправил ушанку и начал работать как одержимый. Никто ему не объяснял, что надо делать. Седая Марфа уехала. Женщина и три девочки подсобляли, чем могли. Когда во время работы шапка съезжала ему на глаза, девочки прыскали. Само собой, мамаша, вокруг печки мы оставим свободное место. Страхкасса ничего не платит, если крестьянин сам виноват в пожаре. Ты хочешь подкинуть дров и поставить чайник? Подожди, я освобожу место. Эрвин Сакс был, наверно, прав, когда говорил, что русские любят работать сообща.

К ночи Рёдер выполнил свое задание и добровольно взятые на себя обязательства. В старом сарае появился кусок пола размерами для нормальной комнаты. И хотя пол был настлан без ватерпаса, выглядел он хоть куда. А в углу стояла трехэтажная кровать, и девочки выстилали ее сеном и детским визгом. Женщина пригласила его к столу. Столом и шкафом у них служил сундук, принадлежавший раньше немецкому офицеру. На сундуке стояло: «Капитан Кётч». И сверх того стояла миска каши с молоком. А вокруг стола — вращающиеся кресла, из толстого чурбака каждое. Женщина предложила ему скамеечку для дойки. А сама она будет есть потом. Потому что у нее всего четыре ложки. Потому что в миску очень мало налито. Там, где поселился голод, за столом всегда не хватает места для кого-нибудь. Когда миска наполовину опустела, человек встал из-за стола. Женщина поила корову. Он передал ей свою ложку. Она ополоснула ее в коровьем ведре. Давай я напою. Иди ешь. Женщина пошла и с тремя девочками дочистила миску. И еще раз в этот вечер Рёдер невольно вспомнил слова Эрвина Сакса. Жив ли он? Его жена была на похоронах Марии. Пришла в черном платье. Впрочем, на похороны все женщины ходят в черном. Неизвестность порой тяжелее всего.

Девочки резвились. Они кувыркались на барьере. Для целого закута досок не хватило. Но женщина и не хотела, чтоб был целый закут. Не то в комнате стало бы слишком темно. И корова чувствовала бы себя слишком одиноко. А из-за этого нервная корова сразу снижает удой. Пришлось ограничиться барьером. Поперечная доска, три четверти метра над землей. Узкий вход — для людей. Смотри только, женщина, чтобы коровий зад не оказался над барьером, чтоб дерьмо не падало в чистую горницу. Женщина засмеялась. Ей-богу, засмеялась. Слово «дерьмо» понимают все люди.

Женщина положила шинель на доски. Можешь спать здесь. Он этого ожидал. Снова провести ночь под нормальной крышей, возле теплой печки! Снова разуться на ночь. Помыть ноги перед тем, как

лечь. После полуночи, когда станет холодно, встать, подбросить в топку несколько полешек. И снова лечь.

Пока он мыл ноги, появилась седая Марфа. Все осмотрела. Выразила удовлетворение. Подивилась на трехэтажную кровать. Порадовалась вместе с детьми, которые уже все лежали на своих местах. Еще раз все осмотрела. Поняла смысл разостланной на досках шинели. Подняла шинель, бросила ее Рёдеру прямо под вымытые ноги. И мать девочек не заступилась за него ни единым словом. Мир полон черной неблагодарности. Мой топор, моя пила. Прощайте! Бестия уходит. Все-таки мой путь самый длинный. Ах, звезды-огоньки... Порой приблизятся они, порой так далеки. Дорога от деревни до фольварка шла прямиком через холм, незаметную высотку, где в свое время солдаты... где сын Рёдера ушел в никуда. Самый длинный путь Рёдера тоже вел в никуда. Ночь была темная. Сырой холодный воздух встретил его и легкий туман. Даже русская зима рано или поздно начинает истекать слезами. На холме пляшет блуждающий огонек. Цель ясна! Огонь! Когда он попадал в дорожные колеи, под его ногой хрустел тонкий ледок. Счастье будто стекло: раз — и вдребезги.

Тогда, в метель, с дороги ничего нельзя было разглядеть. Сегодня, идя в деревню за груженной досками фурой, он ворчал: плетешься, как за гробом. Когда они только ехали туда. Теперь, подойдя вплотную к холму, он вспомнил свою кощунственную воркотню и испугался. Да как же можно, потеряв несколько досок, забыть из-за этого про единственного сына? Испуг пронзил его, когда он искал то самое место. Оно должно быть где-то у подножья холма, на той стороне, что дальше от деревни. Он вовсе не рассчитывал найти его у самой дороги. На подходе к холму ему чудилось, будто он ищет свою команду и в своих поисках уходит от этого места все дальше и дальше. И вдруг он снова ощутил кожей ледяное прикосновение пистолета. И увидел: могила была в полном порядке. Ровный четырехугольник, обложенный мерзлыми комьями земли. Отмеченный в головах прямым березовым суком. Засохшее дерево, где вместо кроны — немецкая стальная каска. Каска висела косо, открывая свое нутро. Ему очень хотелось перевесить каску прямо, но Марфа безо всякого внимания прошагала мимо, и страх перед этой женщиной удержал его. Даже не страх, а просто ее присутствие.

Вниз с холма идти тяжелей. Слабое перемигивание звезд уходит выше в мировое пространство, черные тени на земле сгущаются. Человек угодил в водоворот. То место, словно водоворот, утягивало его на дно. И он остановился перед ним, обнажив голову. В руках — шапка, у ног — могила сына. Для нас, сынок, не сыщешь здесь ни единого цветочка. В этих хатах вымерла вся зелень. У нашей мамы что-нибудь всю зиму зеленело на подоконнике. Алоэ, герань, фикус. Плющ в подвешенном к оконному переплету горшке. Здесь нет окон, нет подоконников, нет места для зимних цветов. А даже где есть окна, все равно не хватает тепла. Люди и сами застыли в этой стуже. Придет весна, настанет лето, для нас лишь горе расцветет. Потому как в деревне было принято соответствующее решение. И единственный голос, поданный против, должен будет подчиниться общему решению. Дрозд смеется, умирая. Когда настанут холода. Давай держаться вместе, мой мальчик. Сорок лет — это в наше время более чем достаточно. Эвакуацией ведает сам господь бог.

Вот в облике дежурного офицера шагает он из казармы в казарму и покрикивает на людей: «Эй вы, сони, засони, вставайте». Только и есть у него радости. Для нашего брата больше ничего не припасено. И это нам уже давным-давно знакомо. Можешь не принуждать себя, боже милосердный. Подсоби мне самую малость. Нож торчит у меня

в голенище. Подтолкни меня на этом заветном месте. Тогда я и сам упаду ничком. Когда Радуга Франц закололся, потому что его двор пошел с молотка, он накануне напился в трактире и запел:

За голенищем нож живет,
И, всем на удивленье,
Он просит пить, так пусть попьет.
Окончим представленье.

Пел, а сам поглядывал на закопченные балки потолка. Когда Рёдер, как и положено человеку, принявшему такое решение, поднял взгляд к вершинам, от которых не ждал больше помощи, в глаза ему снова бросился блуждающий огонек на малой высотке. Теперь Рёдер смог дольше задержать на нем взгляд и понял, что огонек движется в определенном направлении, вниз по склону холма, к проезжей дороге.

Блуждающие огоньки и блуждающие духи обычно избегают проезжих дорог. Значит, навстречу тебе идет кто-то живой. Гляди в оба, замыкающий! Кто-то размахивает фонарем! Павшие постеснялись бы размахивать фонарем, вздумай они разгуливать после смерти.

Горящий фитиль выхватывает из темноты подол, подол бьется о голенища валенок. Быстрая походка, справная женщина. Но это не Ольга, это всего лишь Тамара. Совершает контрольный обход. Контролирует пунктуальность заблудших душ. Интересно, где она раздобыла фонарь? Божьи дары вроде с неба не падают. Все надо организовать собственными руками. Молодец девушка.

Тамара, его стража ночью и днем, осталась стоять посреди дороги как раз напротив того места. И свой приход, и появление божьего дара она не объяснила ни единым словом. Она просто подняла фонарь на уровень головы. Хочет ли она мне посветить? Или хочет указать путь домой? Рёдер покрыл голову и снова поднял с земли свой инструмент. В неверном свете фонаря непомерно разросся засохший березовый сук, раздался в стороны могильный венец — косо надетая каска. Только безрассудные смельчаки так лихо сдвигают каску на затылок. Они сами со смехом идут на смерть и других увлекают. До чего надо дойти, чтобы испытывать стыд за своего мертвого сына.

«От рождения,— сказал себе Рёдер,— мальчик был вовсе не из безрассудных смельчаков. Он бы тоже предпочел стать специалистом по сельскому хозяйству». Произнося вслух эти слова — и пусть Тамара думает все, что ей заблагорассудится,— он положил каску на прямоугольник, отмеченный земляными глыбами. Девушка двинулась в путь. Мужчина за ней последовал. Стараясь все время держаться на шаг сзади. Слабый свет фонаря очерчивал шаги обоих.

— Будет оттепель,— сказала девушка.

— Хорошее дело — такой фонарь,— сказал мужчина. Он надеялся узнать, где она раздобыла фонарь, и потому чуть сократил расстояние между ними.

— Одновременно было принято решение,— услышал он в ответ,— что немец не должен ночевать под одной крышей с нашими людьми. Принято единогласно.

Тут он снова приотстал на шаг. Даже больше чем на шаг. Девушка продолжала, чуть понизив голос:

— Это от Ольги Петровны. Плюс полбидона керосину. Один голос против. Голос свекрови, разумеется.

Слушая эти тихим шепотом произнесенные слова, он подошел к ней почти вплотную. Пускаться в подробные объяснения насчет той, которая в эти тяжелые времена безвозмездно отдает другому фонарь и полбидона керосину, девушка, судя по всему, не собиралась.

Мужчина же расценил ее молчание как несправедливость, эгоизм, каприз. И шел теперь, чуть не наступая ей на пятки. Лучший способ защиты — нападение. Оно же и лучший способ узнать больше, чем знаешь.

— Итак, под одной крышей с вашими людьми нельзя. Возникает вопрос: а ты, соседка, ты сама-то из каких людей?

Девушка зашагала быстрей. Казалось, последние слова ударили ее, будто хлыстом. Он решил поднажать. Раз противник дрогнул, поднажать стоит. Чтобы добиться ясности. И вдруг он услышал, что девушка всхлипывает, зажимая себе рот платком и ладонью. Не хочет, чтобы он слышал. В таких случаях под дверью не подслушивают. Не принято. Зря он назвал ее «соседкой». Она ведь рассказывала, что здешние люди ее сторонятся. Значит, по крайней мере я не должен ее обижать.

— Ты прости, Тамара.

— Все вы немцы свиньи, все до единого.

Ну не говорил ли я тебе, мой мальчик: нам надо держаться вместе. Холод стал сильней, вынести его человеку не под силу. И нечего ждать оттепели. Для нас ее больше не будет.

За голенищем торчит нож. Под шинелью на ремне висит топор, пила перекинута через плечо, лезвие и зубья. Бог, который создал железо, хотел, чтоб на земле не было рабов, а тем паче мужчин, которые среди ночи позволяют хрупкой девушке обзывать их свиньями. Пора показать, чего ты стоишь. Проявить достоинство. Все время соблюдать дистанцию. Не менять ее — ни на один шаг, ни на десять шагов. Пора уразуметь слова, которые много раз говорил нам наш лейтенант, когда мы сидели в котле: горе побежденным!

Итак, соблюдая дистанцию, Мартин Рёдер, военнопленный, сельскохозяйственный рабочий, бравый немецкий вояка, следовал за девушкой с фонарем, за своей соседкой и товаркой по несчастью. Шел упоенный и вдохновленный сладким, разбавленным отечественным вином самоуверенности. Степная ночь казалась безотрадной, как темная долина.

— Осторожней, болван! Ты что, хочешь ноги переломать?

Девушка остановилась и упрямо его поджидала. Когда, наконец, решившись сократить бесконечную дистанцию, он подошел на расстояние вытянутой руки, она подняла фонарь.

— Погляди на меня, немец, погляди внимательно. Можешь ли ты сказать, что я похожа на буржуазную дамочку? Что у меня холеная кожа? И заносчивое выражение на нарумяненном лице? Ты сказал, что мое лицо напоминает тебе колючую проволоку. Это ты честно сказал, подло, зато честно. Но ты ошибся. Нашим людям видней. Наши люди называют меня «немецкой дамой».

За оставшуюся часть пути строптивая девушка поведала все, что с ней приключилось в войну. Их деревню эвакуировали слишком поздно. Женщины и дети просто бежали кто куда. На третий день пути их обстреляли в чистом поле немецкие самолеты. Были раненые, были и убитые. Среди убитых — трехлетняя дочь Ольги Петровны. И вот когда поднялась паника, тетя Марфа одна сохранила ясную голову. У нее были тогда красивые черные волосы. Она велела тем, кто ранен либо выбился из сил, а также женщинам с маленькими детьми возвращаться назад, за линию фронта. И возложила на нее, Тамару, ответственность за возвращение. Тамара отказывалась, но ее даже слушать не стали. Во-первых, она говорила по-немецки, во-вторых, была дочерью Игнатьева.

В их деревне расположилась интендантская часть. На фольварке оборудовали авторемонтную мастерскую. Всего в деревню вер-

нулось девять женщин и двенадцать детей. И еще Тамара. Немцы разместили их в трех домах на краю деревни. Вернуться в собственный дом никому не позволили. Женщинам велели стирать белье, чистить картошку, носить тяжести. Кто не работал, все равно мог он работать или нет, тот не получал пайка. За воровство полагалась виселица. Тамара, как переводчица, подчинялась непосредственно коменданту, некоему капитану Кётчу. Это был бравый вояка из резервистов, владелец кукольной фабрики. Несмотря на протесты девушки, он освободил ее от работы и назначил надсмотрщицей и одновременно своей учительницей русского языка. У него был при себе учебник, где еще встречалось обращение «господин». И был приемник, похожий на кукольный шкаф. Приемник весь день играл в канцелярии — бывшем доме правления, а весь вечер до поздней ночи — в квартире капитана, бывшем доме тети Марфы. Там и снаружи, под навесом, шла пьянка и гульба. Когда господа упивались до чертиков, капитан ловил Москву, вызывал Тамару и приказывал ей переводить. Господа катались от хохота, слушая последние известия. Несколько раз капитан вызывал девушку к себе, когда был один. Чтобы вознаградить Тамару за уроки русского, он научил ее играть в шашки. Когда началось контрнаступление, деревня за три дня дважды переходила из рук в руки. При этом погибли четыре женщины и двое детей.

Из тех же, кто вернулся после освобождения — а это была примерно половина тех, кто покинул деревню,— остались лишь немногие. При малейшей возможности устроиться у родственников либо друзей в менее разоренных или вообще не разоренных областях люди уезжали. Тетя Марфа вернулась вся седая.

— Как вам жилось? — Тамара много для нас сделала! — Тамару не посылали работать.— Тамара дневала и ночевала у немецкого капитана.— Да, да, порой и ночевала.— Она говорит, капитан заставлял ее играть с ним в шашки.

В подвале под сгоревшим домом был обнаружен сундук капитана, а в нем шахматы, учебник русского языка, домашние туфли, запасная фуражка, французские духи и две пары шелковых дамских штанишек. Тетка с помощью кочерги извлекла шелковые улики, после чего зачитала по учебнику русского языка урок-приговор. Раздел «порядковые числительные»: «Сотая деревня. Семьдесят четвертая пленница. Восемьдесят шестая женщина. Тридцать седьмая девушка — молодая дама. Шестидесятое дерево — дуб»...

— После этого мне уже никто не верил. Даже Ольга и та во мне усомнилась. Еще немного — и они вздернули бы меня на ближайшем дереве. За недостаточные успехи в русском языке. Я понимаю наших людей. Не думай, немец, что ты можешь иметь с нами хоть что-то общее.

— А если бы ты могла от меня избавиться, все равно от живого или мертвого, это оправдало бы тебя в глазах твоих людей?

— Не знаю. И не стану пробовать. Хотя, скажу по совести, идея соблазнительная.

Этой ночью не ширяли под крышей совы. Им мешал свет фонаря. Зато полуодичавшая собака была рада свету из дома. И решила не подпускать к хозяевам непрошеных гостей, для чего заняла караульный пост возле спального ящика. Девушка прогнала собаку прочь, чтоб не напускала блох. Рёдер сперва усмотрел в этом намек на своих вшей. Потом — на свои мысли. Он снова подумал про великий вселенский холод, который стал сильней, чем может вынести человек. Но почему она в этот раз не потребовала у него нож? После злых признаний по дороге?

Собака убралась и неподалеку от овина завыла. В сыром воздухе собачий вой звучал глухо. Девушка уснула, но спала неспокойно, металась, и это доказывало, что она действительно спит. Мужчина встал еще раз, до предела прикрутил фитиль. Когда керосину всего полбидона, с ним надо обходиться бережно. Пузатое стекло фонаря раскалилось. Он положил руки на проволочное ограждение фонаря. Загляделся на огонек. Огонек был зубчатый, желто-красный. Словно первый гребешок у молодого петушка. Если бы девушка сейчас проснулась, она сразу бы подумала, что я высиживаю петушка, как наседка. А я ничего не высиживаю, я просто грею свои растрескавшиеся лапы. Мария не подпускала меня к себе, если у меня были холодные руки. Холодными руками даже тесто не замесишь, а уж ко мне в постель с такими руками — и думать не моги. Боженька, дорогой, дохни своим холодным дыханием на мои руки, не вводи меня в искушение, дорогой боженька.

Человек торопливо повесил фонарь на крюк, чтобы свет падал сверху. Он лег, стараясь лежать строго на спине, потому что эта поза расслабляет и позволяет забыть о многом. Он лежал и неотступно думал: когда-нибудь станет светло, и внушал себе, что с каждой минутой он становится все тяжелее. Но вместо того чувствовал, как с каждой минутой становится все легче, вообще теряет вес. В чем дело, почему одна рука холодная, другая — горячая? У него начинался самый настоящий озноб. Все силы он употребил на то, чтобы не разбудить спящую девушку, чтобы незаметно для нее справиться с этой напастью. Для него болезнь означает отправку в лагерь. Бабам из деревни это будет только на руку. Когда станет светло, я поднимусь и разожгу огонь.

Но раннее утро, равно как и позднее, Рёдер метался в жару. Его стоны и бред заставили девушку вскочить. Перво-наперво она побежала к колодцу. Для начала хорошо попробовать холодные примочки. На лоб — компрессы, вокруг икр — обмотки. Ольга в этом больше разбирается. Она уже вылечила не одного барашка.

Жар проложил свежие борозды в прошлое. Рёдер снова увидел себя в блиндаже, на склоне Мамаева кургана. Снова пережил прямое попадание. Бревна тройного настила разлетелись как перышки. Открылся красивый вид на Волгу. По воде заплясали фонтанчики. Весь склон усыпан красными ромашками. Луна-парк да и только. После всех чудес начинается атака. Парочки, парочки. Заткни свое поганое хайло, господин лейтенант. Все в укрытие. Воронка опрокидывается на нас. Как же нам выйти? Балка придавила ногу. Приходится пожертвовать сапогом. Эка важность! Мюллер и вовсе пожертвовал целой ногой. Фонарь погас. Взрывная волна все перевернула. Дверь блиндажа, господин лейтенант, дверь блиндажа открыта. Рёдер, сейчас к нам придут гости. Накрой стол для кофе. Слышишь, они поют. Я не могу вытащить ногу из этого дерьма. Терпение, мой друг. Спасение близко. Сейчас вниз по склону покатятся гранаты. Хорошо, ты привезла бинты, Тамара. Ты просто ангел. Ой, суп убежал! Все намокло. Господи, это ж надо! Граната закатилась вам под живот. Да оторвите же, наконец, задницу от земли. Не уходи, Тамара, я рано или поздно выберусь из этой давильни. Вот и лейтенант выбрался. И дым поредеет. Будет контратака, и нас отобьют. А сапог — тю-тю. Хорошо хоть, что у тебя есть бинты. В брюхе бурлит и клокочет. Потом остынет, ничего, потом остынет. Не делай, пожалуйста, такие испуганные глаза. Сорняк, он живучий...

Тамара, где ты, Тамара? Неужто она убежала за врачом? Идет весна, пора снимать кассу. Опять до этого дошло. Я уже лежал в больнице как раз об эту пору. В терапевтическом отделении, в пятой па-

лате. Мария тоже, помнится, устроила панику из-за ерундовой температуры. Придется вам недельки три полежать, господин Рёдер. Мое почтение, господин доктор, но только здесь меня и десять лошадей не удержат. Здесь пахнет мочой и покойниками. Пропишите мне лучше свежий воздух, господин доктор, свежий воздух, движение, разминку. Вот и Лазарь, помнится, тоже в два счета размялся. Взвалил постель себе на плечи и давай бог ноги. Тогда считайте, господин Рёдер, что вас вывели на свежий воздух. Только не забудьте по пути домой заглянуть в похоронное бюро заказать себе гроб. Эк разважничался. А Рёдер за разговором накинул куртку и через три дня снова чувствовал себя, как рыба в воде.

Он снял со лба компресс, он размотал обмотки с ног. Льняное полотенце, две половинки льняной дамской сорочки. Вот сумасшедшая баба; сама ведь признается, как соблазнительна для нее мысль избавиться от меня не мытьем, так катаньем. И тут же разрывает пополам свою последнюю рубашку — на компрессы для немца. Ох, если проведает добрая тетечка! Тамара приготовит завтрак. О, девушка, ты еще удивишься, бедный Лазарь натянул сапоги и встал, словно могучий дуб.

Но никакой Тамары нет, и вообще поблизости ни души. Лежит в сыром тумане заброшенная стройплощадка фольварка. Не зажжен огонь, не стоит на огне вода для чая, не оставлено никакой записки. Могучий дуб рухнул на скамейку возле очага. Видно, девушка очень торопилась. Побежала со всей скоростью, на какую только способны ее стройные ноги в толстых чулках. Прямиком побежала в деревню. Ура, тетечка! Немец горит в жару, немца надо в лазарет. Ведь вот как можно обмануться в человеке! Ну, давай возвращайся с дорогой тетечкой и с колымагой для доходяг. А я раскрою свой учебник. Существительные. Прилагательные. Немецкий пленный. Русская девушка. Разорванная девичья сорочка, не забудьте прихватить кочергу. Чтоб подцепить улики.

Жар заглушает голод. Но не жажду. Человек пошел к колодцу и выпил полный котелок ледяной воды. Большими глотками. Какая благодать, какая благодать. Все вы, немцы, свиньи. Ты права, девушка. Трижды проклятая война. Она пробуждает в человеке скотские мысли. Человек вернулся к очагу. Нащепал лучины. Смел золу. Лучина тлела, но вспыхивать отказывалась. У сырого дерева нынче гадкое настроение. Оттепель воздействует на психику.

Итак, начнем! Крепко в землю врыт... Как там дальше? Пусть со лба течет твой горячий пот. Блаженство тому, кто живет в дому. Каменные дома — они самые прочные. А доски пусть идут в деревню. Пусть себе. Я ж не жадина какой, я ж не вырываю у людей кусок изо рта. Я и сам себе пособить сумею. Шесть метров на три. И ни на пядь меньше. Камня здесь хватит. Глина недурно заменяет цемент. На холме почва сырая. Значит, глина есть. А может, и мел где-нибудь сыщется.

С помощью трехметровых досок человек выложил по прямой очертания своей хижины. По углам он прорыл в земле дыры. На толщину ладони почва уже оттаяла. Лишь забив в землю четыре пограничных столба, человек успокоился. Нет занятия прекраснее, чем прикидывать размеры своего будущего дома. Нет вида прекраснее, чем вид готового собственного дома. Мужчина забрался на полурухнувшую печь посередине огороженного участка, чтобы сверху полюбоваться на свое царство. Один из печных углов был в целости и сохранности. Покуда Рёдер стоял на лежанке и видел мысленным взором стол и скамью, кровать, и полку, и даже гвоздь на стене, чтоб вешать скамеечку для снимания сапог, у него вдруг потемнело в гла-

зах, он хотел было вытянуть вперед руки, как вытягивают слепцы, но не смог вытащить их из карманов шинели. Несмотря на теплую погоду, он все еще ходил в тяжелой шинели. Когда у человека небольшая простуда, достаточно не снимать куртку во время работы, и через три дня все пройдет. Словно скованный по рукам и ногам, он рухнул вниз с самой высокой башни своего царства. Камни засыпали участок.

Лишь час спустя явились люди, которые искали его и нашли. Девушка — Тамара, женщина — Ольга Петровна и ребенок, мальчик с винтовкой. Мужчина являл собой достойную жалости картину. Отчасти естественную, отчасти же престранную. Уже после падения, пытаясь как-то облегчить свою участь, он залез на одну из столь высоко им ценимых трехметровых досок, но чтобы уберечься от холода, уложил доску на два подвернувшихся ему кирпича. Теперь сам он лежал примерно на пядь приподнятый над землей, один кирпич лежал ближе к концу доски, под головой, другой — посредине, там, куда пришлись подколенные ямки лежащего. А все же вместе взятое — мужчина на доске и доска на низких каменных козлах — возвышалось подобно катафалку перед полуразвалившейся печкой посреди обмеренного домашнего гнезда. Словом, как уже говорилось, это была картина, достойная жалости, отчасти естественная, отчасти престранная. Смотря на чей взгляд.

Старый Давид Бромбергер, к примеру, доведись ему увидеть эту картину, возможно, сказал бы: Мартин, Мартин, что ты валяешься дурак-дураком перед печкой, будто подгорелый пряник на противне. Мария, та бы, к примеру, бранилась: Господи, тебя ни на минутку нельзя оставить одного. Тамара бранилась еще сердитее: Это что за фокусы! Взгромоздился на стол, как покойник, да еще важничает, как духовная особа, да еще пыхтит, как лошадь. А мальчик, ребенок с винтовкой, тоже ругался: Немец только притворяется. Ольга Петровна некоторое время молча стояла в нескольких шагах от него. Потом она подошла вплотную и сделала нечто неожиданное: она осторожно наступила ногой на свободный конец полупокойницкого катафалка (свободный — если не принимать во внимание лежащие тут же ноги противовеса). Пока один конец доски с мужчиной медленно поднимался кверху, а другой, со стоящей на нем женщиной, медленно опускался, независимо от того, с какой целью был затеян этот опыт, стало ясно, насколько истощен лежащий мужчина. Ведь женщина, со своей стороны, тоже возложила на весы лишь скудные военные килограммы. А мужчина, который оказался легче, ко всему еще был в тяжелой шинели. Достигнув вершины своего чудесного вознесения, немец на мгновение открыл голубые глаза. И снова на тысячную долю секунды встретились взгляды мужчины и женщины под знаком Весов, в созвездии благосклонности.

Девушка прикрикнула на него:

— Ты почему, дрянь такая, встал, хоть я тебе велела лежать?!

— Мне никто ничего не велел!

— Скажешь, я не говорила, что пойду к Ольге Петровне, что она уже не одного барашка вылечила.

Ольга Петровна осторожно сошла с весов. Голос Тамары звучал все так же свирепо:

— Кто это тебя так изукрасил?

— Никто. Я поскользнулся. Перед похоронным бюро. Мне не следовало смеяться. Вот почему я и поскользнулся.

Девушка перевела и добавила, что немец снова бредит. Женщина повернула лицо мужчины разбитой стороной кверху. Потом ощупала его руки, ноги, ребра, отыскивая переломы. Мальчик, наблюдавший это, мог бы подумать, что мать ищет, не спрятано ли где у немца ору-

жие. Как тогда. Он постукал обыскиваемого ложем приклада по наружным карманам кителя. И не безуспешно. Длинные гвозди! Но мать пропустила мимо ушей донесение сына. А гвозди, они всем нужны. И отвергнутые матерью трофеи тотчас перекочевали в карман мальчика. После чего он прислонил винтовку к печке. Его солдатская честь была жестоко уязвлена. Тамара отыскала тем временем ведро подле очага и принесла свежей воды. На скуле и над ухом у немца зияют настоящие раны. Мать протерла края ран какой-то льняной тряпкой. Когда мальчик увидел в глубине раны что-то белесое, он стиснул зубы. Он не видел, как залилась краской Тамара, когда мать, отжав тряпку, встряхнула ее и снова приложила к ране. Мать сказала, что порой удается сбить высокую температуру холодными ваннами. Тогда мальчик тоже вдруг покраснел, неизвестно почему. Должно быть, до немца как-то дошло, что́ с ним собираются делать. Он застонал. Тут уж Тамара включилась на полную громкость и по-русски закричала на ухо немцу, что они его, болвана, привяжут на веревку, словно телка, и три-четыре раза окунут в колодец, чтобы он прочухался. И тогда все будет в порядке. Тамара прокричала и еще что-то по-немецки. Возможно, то же самое. Но этот болван не понял даже того, что понимают дети. Маленькая сестричка давно бы все поняла, но ее убили немцы.

Барашка, который занемог, они, возможно, тоже на веревке опускают в холодную, как лед, воду. У русских все возможно. Я их знаю. Они в двадцатиградусный мороз ходят без перчаток. Ольга, Ольга, зачем ты вытираешь мне нос. Я сбежал из больницы. Я растянулся перед похоронным бюро. Ты только представь себе. И уж то-то я смеялся, то-то смеялся... Смех его звучал совершенно как плач.

У торфяного склада стояли сани. Женщина указала на них кивком головы. Девушка пошла за ними. Мать велела мальчику помочь Тамаре. Сама она встала и спросила по-русски: «Как дела?»

Мимоходом, как обычно спрашивают знакомых при встрече. «Госпиталь нет»,— взмолился мужчина. Дыхание у него было бурным и прерывистым. Женщина взяла мужчину за руку и принялась считать пульс.

Тамара с мрачным видом притащила за оглоблю сани, а мальчик тем временем обнаружил стальные устои ветряного колеса, вполне пригодные, чтобы на них карабкаться и лазать. К чему вся эта петрушка, к чему сани! Почему немец не может пройтись пешочком. Вот сегодня утром, когда ему даже велено было лежать, он все равно встал. Чтобы оборудовать для себя персональное кладбище. Именно возле печки. Когда-то это была Ольгина печка. Потом наша. Он изо всех сил старается, чтобы мы считали его своим. Но между нами нет больше ничего общего. Ни в жизни, ни в смерти. Он говорит, что был крестьянином. Нет, он хуже кулака. Он был кулацким прихвостнем. Когда ты говоришь, Ольга, что он человек, я могу только ответить, что люди бывают разные. Что у немцев люди все вымерли. Они могут умильно посмотреть на тебя, а думают при этом о колючей проволоке. И речи быть не может, чтобы Ольга взяла его к себе и изображала при нем сиделку. Ольга доверчивая женщина. Да и сердце у нее не каменное. На голубые глаза и простодушие она полетит, как бабочка на огонь. Я ведь вижу, что вижу. Если она заведет с ним шашни, тогда ей среди нас больше делать нечего. Тогда жди грозы. Вот, она уже и за ручку его взяла.

Тамара злобно дергала и тащила санки по раскисшей земле. Да она еще вдобавок головку ему завязывает. Чужой рубашкой, между прочим. Ах, ах, какое бескорыстие. Ничего, Ольга, ты погляди, кто к нам идет! Тетечка Марфа с лошадью и телегой, и с твоей свекровью,

и еще с кем-то. Значит, старуха сгоняла в деревню и подняла там тревогу. Ольга, вероятно, этого ожидала. Она преспокойно накладывает повязку. Быть беде, быть беде.

Вставай, немец! Эй, немец, вставай! Если ты сию же минуту не встанешь и не начнешь работать, мы тебя сдадим куда следует. Как приняли, так и сдадим. Давай сюда документики. Сейчас к нам пожалует тетя Марфа.

Тамара хотела просто сбросить больного с доски. Ольга не допустила такого варварского обхождения. Но угасающее сознание Рёдера сработало на пароль «Тетя Марфа». Он с мучительным трудом, шатаясь, встал, ощупал повязку, углядел на земле свою шапку, нагнулся за ней. В голове была многотонная тяжесть. Он сумел поднять шапку, надеть ее, закрыть повязку, но встать больше не смог и, тяжело дыша, остался на четвереньках. Мальчик уже засверкал пятками навстречу идущим. Забыв свою винтовку. Неизвестно почему женщина повесила винтовку себе за спину. Ишь ты, Ольга тоже умеет хитрить. Впрочем, мальчик уже начал что-то горячо рассказывать. Дети и глупцы говорят правду. Да от Марфы и без того ничего не укроется. Она способна отыскать иголку в стогу сена. Даже когда никакой иголки там нет. А уж тут будь здоров какая.

— Садись в сани, немец. Скажешь, что вчера переработал. И ничего не будет.

Немец со стоном вступил на предложенный ему золотой мосток. Девушка ему помогала. Когда мужчина уселся наконец в заднем углу саней, прилагая неимоверные усилия, чтобы не упасть, девушка сунула ему в руки кирку. Тем самым он получил якорь на тот случай, если сани захотят унести его вдаль. Прежде чем лошадь тронула с места, женщина на одно мгновение положила руку на плечо девушке. И посмотрела ей в лицо. Не дольше мгновения. Девушка ответила спокойным взглядом. Ну-с, что скажете, Ольга Петровна?

Рёдер увидел неподвижное колесо телеги. Увидел средоточие спиц, ступицу, железные ободья, железную ось, чеку в железной оси. Поскольку все это виделось ему вполне отчетливо, он рискнул поднять взгляд. И увидел валёк, и кольца, и крючья. Увидел путы и задние ноги лошади. Наконец-то они почистили лошадь скребницей. Внимательно разглядывая мелкие предметы, он хотел в этом разглядывании обрести силы, защититься от рослой седой женщины, которая наверняка стоит в передке телеги — хозяйка над жизнью и смертью, власть. Себя Рёдер чувствовал жалким и маленьким. Рабский страх придавливал его к земле. Оттого, что разбитая голова пылала жаром, он казался себе выплюнутой косточкой от вишни. Но, возможно, в первый раз в жизни осознал, что из выплюнутой косточки вполне может вырасти новое дерево. Это открытие потрясло его. Вот какие мысли кружились у него в мозгу, хотя выражены они, возможно, были другими словами.

Я должен встать. Я должен работать. Я должен суметь. Нет ничего невозможного, когда есть твердая воля. Наш мальчик, помнится, читал однажды такую историю. Про одного пирата, который прошел еще семь шагов. Семь шагов без головы. Голову ему только что отрубили на плахе. Ведь куры и петухи тоже способны перелетать без головы через забор. Я должен встать, должен работать. Человек встал. Седая сошла на землю. Его мучительные усилия она удостоила лишь холодным взглядом. Все нормально. Все в порядке. Две другие женщины тоже сошли на землю. Первая — свекровь Ольги. Тоже зубастая бабка. Вторая — изможденная женщина, у которой три девочки и тощая корова. Господи, она разворачивает фартук и достает из него глиня-

ный горшочек. Чтоб я взял. Поесть. Горшочек еще теплый. Тамара с готовностью переводит:

— Потому что дети очень радовались. И потому что каша-размазня очень хороша при высокой температуре.

Ольга перевесила винтовку. Это ведь не детская игрушка. Да и не женская. Ремень давит ей на грудь, она подсовывает под него палец. Мальчишка украл хлеб из кладовой. Женщины этого не видят. А я вижу. И он видит, что я вижу. Ничего, парень, я тебя не выдам. Считай, что я ничего не вижу.

Стоя есть неприлично. Твердая воля удерживает его на ногах ровно столько времени, сколько требуется, чтобы поблагодарить за внимание по всем правилам. Зря вы, мол, беспокоились. После чего он от радости и следуя все тем же правилам приличия, опускается на угол саней. К ячменной размазне дарительница принесла также деревянную ложку. На свете больше добрых людей, чем можно подумать.

Они принесли мне горшочек сладкой каши. Каша варится, бежит через край, и, чем ее больше есть, тем ее больше становится. Седая осматривает мою работу. Дверь чуток скрипит. Надо будет ее смазать. И оси тоже надо подмазать. А крепильные брусья можете смело грузить на сани. Все равно постройка завершена. Остальные доски вы со временем тоже получите. Нынче такие доски на вес золота. Вот так-то. «Тамара, скажи ей, что это была не каша, а мечта! Иди сюда, лошадка».

Лошадь взвилась на дыбы, когда он хотел взять ее под уздцы. Такая грубая хватка была ей непривычна. Криками «Балуй! Осади!» Рёдер оттеснил лошадь, так что задок саней ударился о доски. Женщины что-то между собой обсуждали. Говорила Ольга с седой. Ольга говорила, седая мотала головой. Молчала бы ты лучше, Ольга. Это ты ни одному человеку не сможешь объяснить. Это не случайность и не счастье, не провидение и не каприз, это нечто вроде медовой желчи, это то, чего никто не знает. Берегись, ты еще восстановишь против себя родного сына. Вот уже свекровь прижимает его к себе, словно мальчика необходимо оградить от родной матери. Лошадь, у тебя глаза стали будто сапожные гвоздики. Погоди-ка, у меня кое-что для тебя есть. Сегодня утром мне стало плохо. А отрезаны были два куска хлеба. Первый я отложил на потом, другой вообще спрятал. Не съел ни одного. Первый кусок нашел мальчик. Второй получишь ты. Мы с тобой никогда еще так не кутили.

Рёдер начал кормить вечно голодного обжору крошками. Надо было получше распределять, дорогой мой! Пока Рёдер силился вспомнить про себя этот приговор, температура второй раз за этот день дала свечку. И он рухнул наземь, к лошадиным ногам. Когда лошадь увидела, что человек упал, она выбрала мягкими губами остатки хлеба из его рук.

Ни одна из женщин не вскрикнула от страха, ни одна не подбежала, чтобы помочь человеку, потерявшему сознание. Подошла только Тамара. Да и то не спеша. И занялась упавшим так, словно то валялся среди дороги подгулявший кучер у ног своей лошади. Для начала она подняла голову лошади. Потом сделала то же самое с человеком. Видя, что это не помогает, она все так же не спеша принесла ведро. От брызг холодной воды больной хоть и не совсем пришел в себя, но во всяком случае застонал. Остальные женщины не вмешивались. Ольга сердилась. Больной — он всегда больной. А Тамара просто дура. Зачем она внушила ему такой смертельный страх перед Марфой? Просто дура. Спору нет, Марфа нетерпима, и озлоблена, и сурова, и непреклонна, но не зверь же она. Да, Марфа настоя-

ла, чтобы никто из нас не давал немцу приюта. Наши солдаты были бы счастливы, будь у них такая крыша над головой. И Марфа же настояла, чтобы ответственность за немца взвалили на Тамару. Она хочет дать Тамаре возможность загладить свою вину. Доказать, что Тамара виновата, не может никто. Думать, что виновата, могут все. Вероятно, и сама Тамара уже так думает. Ну ладно. Хочет оправдаться в глазах людей — ее дело. Только не надо так злиться, если по какой-нибудь причине у нее отнимут эту возможность. Она злится даже на высокую температуру. Она лезет вон из кожи, чтобы доказать, что разбирается в обстановке лучше других. Ее задание состоит в том, чтобы поладить с дьяволом. Но в глубине души она прекрасно понимает: ей достался никакой не дьявол, разве что дьяволенок. Впрочем, она даже себе самой не решается в этом признаться. И Марфе — нет. Вот мне — пожалуйста. Сперва признается, а потом не может простить себе самой, что призналась. Зато награду за признание, фонарь, она приняла из моих рук, сияя от радости. Ах, девочка, девочка, да не дергай же ты его так грубо. Не швыряй его на сани, словно падаль какую. Не попирай свою природу из страха. Из одного только страха сделать что-нибудь не так, как надо. Именно сейчас, в войну, такой страх стал для нас непозволительной роскошью.

Свекровь помчалась в деревню, к Марфе, и там вне себя, задыхаясь от возмущения, рассказала, что Ольга намерена взять к себе немца, которого вдруг скрутила жестокая лихорадка, взять, значит, и держать до тех пор, пока он не выздоровеет. Марфа же привыкла действовать без проволочек. И при этом, если выходит, соединять неприятное с полезным. Поставить на место зарвавшуюся Ольгу и заодно привезти досок. Словом, Марфа Ивановна действовала по принципу: сие надлежит делать и того не оставлять. Фура стояла вплотную к штабелю. Женщины грузили на нее доски. Девушка навалила на больного оба одеяла. Аккуратный немец даже сегодня утром не забыл упрятать свои одеяла от мышиных зубов. Женщины не глядели в его сторону. Мальчик исследовал лопасти ветряного колеса, прислоненного к уцелевшей стене склада. Под голову больного Тамара подложила свое собственное одеяло. Приказ тети Марфы гласил: трогать больного с места сейчас нельзя. Пусть отлеживается во временной конюшне, где фашисты расстреляли двух раненых радистов. Тамара пусть за ним ходит. Прокорм больного берет на себя деревня. Ольга Петровна в случае надобности даст консультации. Если только она не ошиблась, мы имеем дело с обыкновенным воспалением легких либо плевритом. Через две-три недели все пройдет. Фашисты — они живучие. Как кошки. Но Ольга Петровна все-таки не врач. И может быть, мы имеем дело с холерой или тифом. Нет, Марфа Ивановна, не может быть. При холере температура падает и пульс слабый. Кроме того, в марте, апреле и мае холерой не болеют. Тиф, правда, начинается с высокой температуры, но при тифе бывает рвота и понос. И сыпь на коже. И по глазам его тоже можно угадать. Ольга говорит очень уверенно, тетя Марфа еще увереннее: Посмотрим, посмотрим. Время покажет. А законы надо соблюдать. При подозрении на инфекционные заболевания больных помещают в изолятор. Чтоб никаких контактов. Кроме Тамары. Да и Тамара—только в случае крайней необходимости. Ясно тебе? Да, тетя Марфа. Если помрет, ну что ж, мы сделали, что могли. В деревне подтвердят. Если состояние ухудшится или он не сможет больше работать, отправим его в госпиталь. Только без лошади и без телеги. Лошадь нам и самим нужна для весеннего сева. Просто кто-нибудь сгоняет на своих двоих и попросит прислать за ним машину. Лучше всего, чтоб Ольга Петровна. Она у нас знает все ходы и выходы.

Кто «за», прошу...

«За» оказались три женщины из пяти, а именно Марфа, Ольгина свекровь и Тамара. Женщина, которая принесла больному горшочек размазни, сказала, что не может решить так, сразу, а Ольга Петровна сказала, что весь овин — это сплошной рассадник инфекции и что для грязного белья лучшая стирка — огонь.

— Принято тремя голосами против одного и при одном воздержавшемся.

Итак, Тамаре вдруг вернули право голоса. От радости у нее на глазах заблестели слезы. Свекровь что-то втолковывала мальчику.

Ребенок тоже «за», сказала она под конец.

Тамара перекинула постромку саней через оглоблю груженой фуры, и весь обоз двинулся по направлению к овину. Марфа вела лошадь под уздцы, свекровь шла рядом, а Тамара направляла сани. Ольга взяла за руку сына и вместе с ним замыкала шествие.

Ольга, Ольга, скажи им, чего мне не хватает. Мне не хватает слов, одного слова. Оно вертелось у меня на языке. Уже тогда. Ночью. В степи. На том месте, где ты должна была меня расстрелять. Но не смогла. Когда ты швырнула винтовку в сани. На том месте. Теперь, Ольга, оно снова вертится у меня на языке. То слово. Которого мне не хватает. У него вкус горького миндаля.

Обоз достиг цели. Но больного еще не сгрузили. Тетя Марфа сказала, что желает осмотреть изолятор. Инспекция, говорит свекровь Ольги. А Марфа говорит, что бывают госпитали, которые много хуже, чем этот овин, для людей, которые много лучше, чем этот немец. Ольга говорит, что здесь нужно все продезинфицировать. Керосином. Тетя Марфа говорит, что керосином и так воняет, мочи нет. И чтоб Тамара внесла туда немца. И устроила себе постель в другом конце. Свекровь Ольги говорит, что у нее есть тонкая проволочная сетка. Немного. Для тебя, девочка. Для меня, значит, проволока. Ольга держится позади. Зажигает фонарь. Очень трогательно.

— Ты проиграла, Ольга.

— Да, девочка, теперь будем выигрывать.

Когда женщины вышли из овина, мальчик сидел на лошади и что-то шептал в лошадиное ухо. Бабушка сняла его с лошади. Марфа вдруг заторопилась. Тамара отцепила сани от фуры. Лошадь натянула постромки. Колеса закряхтели, мальчик пустился отыскивать мать, подбежал к входу в овин, но она сама вышла ему навстречу, неся в руке фонарь. Коптил расточительно высокий язычок пламени. Но стекла на нем не было. Ольга решительно взяла мальчика за руку, потом обернулась и швырнула в темное отверстие горящий фонарь. А внутри она, должно быть, разлила керосин. Те самые полбидона. Потому что там сразу зашипел и взвился кверху огромный язык пламени. Ольга не оглянулась. Не спеша, усталой походкой она побрела к саням. Мальчик хотел вырвать свою руку из ее руки, хотел остановиться, поглядеть на огонь, быть может, закричать, он и то уже чуть не свернул себе шею. Но мать не выпустила его. Словно глядеть было ровным счетом не на что. Свекровь пронзительно завопила, сорвала с головы платок, замахала им, как кнутом. Сухая солома жадно притягивала огонь. Юркие язычки уже бежали по наружным стенам. Из крыши валил густой, белый дым. Свекровь явно собиралась отхлестать Ольгу своим платком. Но, подскочив к Ольге и увидев, как спокойно та стоит, как выпустила руку сына, как мальчик тем не менее цепляется за нее, старуха в отчаянии закрыла платком лицо.

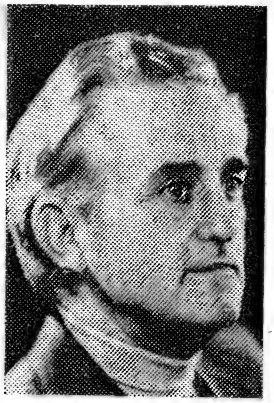
Прежде чем перекинуть через плечо лямку саней и со всей силой налечь на нее, Ольга вернула мальчику винтовку. Мальчик пошел за санями, которые тянула его мать. Семенил следом. Тамара стояла, будто окаменев, на том месте, где минутой раньше были сани. Тетя Марфа молчала и глядела на огонь. Из дыма вылетели две большие птицы и со зловещим криком унеслись прочь. Женщина из деревни несколько раз осенила себя крестом. «Птицы смерти»,— сказала Марфа. Итак, приговор был произнесен. Она передала Тамаре поводья. Девушка успела еще услышать, как тетя Марфа на прощанье сказала Ольгиной свекрови:

— Ты была с ними в сговоре. Уйди с глаз моих.

Человек на санях по-прежнему силился отчетливо различать взглядом предметы. Но перед ним расплывалось светлое лицо мальчика. За лицом — неподвижный вороненый ствол. И еще он видел следы засохших слез на светлом лице ребенка.

И снова соотнесение времен

В Волгограде, перед гостиницей на площади Павших Борцов, мы дожидались интуристского автобуса, чтобы ехать в аэропорт. Она пришла еще раз, та тихая, немолодая женщина, которая в дни нашего пребывания здесь показывала нам свой возрожденный город и места боев. Показывала со знанием дела и с любовью. Потому что лично участвовала во всем: санитаркой — в сражении, партработником — в восстановлении. А пришла она, по ее словам, потому, что забыла рассказать нам одну историю, которая может нас, как немцев, заинтересовать. Она знает одного немца, попавшего в плен под Сталинградом, который навсегда остался здесь. Сегодня он советский гражданин, работает по скотоводству, пользуется уважением, женат, имеет двух взрослых детей и живет в деревне неподалеку. В свое время он с командой военнопленных проходил через сожженную деревню. И там одна крестьянка — его теперешняя жена — вызволила его из команды под тем предлогом, что деревне нужна лошадь. Уж как ей это удалось — она вроде бы заставила всех пленных показывать ей свои руки — и что было потом, до конца войны, на этот счет все, кто должен быть в курсе, до сих пор хранят молчание. Человек, о котором идет речь, за все тридцать лет, что прошли после войны, ни разу не выразил желания повидать прежнюю родину, хотя он вполне мог бы позволить себе такое путешествие и наверняка получил бы визу. Вот что она и хотела рассказать нам, немцам. Она ручается, что все, рассказанное ею, чистая правда, но просит нас не пытаться узнать у нее имя либо адрес этого человека.



АНХЕЛЬ МАРИЯ ДЕ ЛЕРА

Продается человек

РОМАН

Перевод с испанского ВЕРОНИКИ СПАССКОЙ

Все проходит, и все остается,
но наша судьба — пройти,
пройти, пути пролагая,
пролагая по морю пути[1].

Антонио Мачадо

I

Парикмахер проводит грязной салфеткой по моим губам. Передо мной небольшое зеркало, и я смотрю на свое лицо так, словно увидел его впервые. Может быть, никогда я не вглядывался в себя так пристально. Наверное, никогда. Я нахожу, что я похудел. Скулы и нижняя челюсть резче проступают под натянутой кожей. Я замечаю несколько новых морщинок у глаз и в углах рта. И обнаруживаю на каждой из бровей по белому волоску; виски тоже посерели, кожа стала бледнее. А глаза? Я никогда не знал толком, какого они цвета, они меняются с освещением, от настроения и мыслей. Сейчас они ярко блестят и кажутся серыми. Одна женщина сказала мне как-то о моих глазах:

«Они всегда иные. Утром — одни, чистые и веселые, почти бесцветные; днем — другие, сердитые и отливают металлом; а по вечерам они темные, ласковые, горячие».

Конечно, так отзываться могут только женщины. Женщины — это знает всякий — понимают ход мужской мысли лишь тогда, когда мы охотимся за ними, добиваясь любви. В остальное же время мы, мужчины, им непонятны, нас следует бояться. Оттого они вечно притворяются и обманывают нас. Они знают, что вступать с мужчиной в спор опасно и бесполезно, поэтому они обволакивают, опутывают нас, льстят и в конце концов берут над нами верх. Им хорошо известна наша пустая спесь и ненадежность нашей отваги — порождения затаенного страха,— и они ждут, пользуясь первым проявлением слабости, чтобы завладеть нами. Этим и объясняется то, что начало нашей погибели — в женских объятиях. Я много думал над этим и пришел к заключению, что мы всегда погружены в мечты, а

© Angel M.ª de Lera, 1973.

[1] Перевод О. Савича.

они — никогда, хотя и стараются убедить нас, что живут нашими мечтами. И когда мы пробуждаемся от одной мечты, перед тем как забыться в другой, мы, бедные, оказываемся в положении пассажира, которого обчистили по дороге.

Но пока хватит об этом — слишком многое тут еще можно сказать,— и перейдем к делу. Мне исполнилось сорок лет. Говорят, что это лучший возраст для мужчины. Зрелость. Полдень. Пора, когда жизнь в человеке настаивается, словно сахар в спелой дыне или в кисти винограда. Так говорят. Поживем — увидим. Пока что мне сорок лет, и сегодня у меня большой день. Да, большой. И однако, мне не весело, потому что я видел плохой сон. А плохой сон очень часто предупреждает меня о том, что произойдет какая-нибудь неприятность. Иногда я могу припомнить только несколько обрывков из своего сна. Это словно клочки тумана, которые я не в силах соединить. В другие же разы, напротив, мне удается восстановить его полностью, как недавно увиденный фильм. Так или иначе, но я просыпаюсь с чувством тоски и тревоги и весь день живу в ожидании несчастья. Это точно дурной вкус во рту — не знаешь, откуда он взялся. И несчастье приходит неизбежно, малое или большое: ссора с другом, отвергнутая просьба, бесполезная встреча, неприятное письмо, неожиданный выговор, непредвиденное отсутствие, смерть или исчезновение любимого существа или внезапная катастрофа, которая разражается над твоей головой, как гроза.

Плохой сон, приснившийся мне сегодня, я помню прекрасно — ведь это старая история, которая таится в глубине моей памяти и время от времени овладевает воображением, когда я сплю. Всегда та же самая, всегда повторяющаяся вплоть до мельчайших подробностей, она всякий раз заново потрясает меня, как будто я не знал ее раньше с начала и до конца.

На дворе ночь, ночь нестерпимо жаркая, просто нечем дышать. Я сплю в одной комнате с моей сестрой Росой, она младше меня, хотя мне всего шесть лет. Внезапно меня будят мужские голоса и плач моей мамы. Я приподнимаюсь на постели и навостряю уши. Мой отец спрашивает:

— Куда вы меня ведете?

— Потом узнаешь,— отвечает чей-то голос, злобный, понукающий.— И нечего собирать вещички, они тебе не понадобятся. Мы управимся в два счета, сам увидишь.

— Не ходи,— рыдает мама.— Они тебя убьют.

— Убьют? Да нет же. За что им меня убивать, я ведь ничего не сделал. Всю свою жизнь я только работал — и больше ничего. Ты и сама прекрасно это знаешь. А кто сказал, что работать — это преступление?

— Поменьше рассуждай, и пошли,— сухо приказывает другой голос.

Мама испускает пронзительный крик.

— Замолчите, не то...

Наступает тишина, слышатся лишь сдавленные всхлипывания. Потом хлопает дверь, и наконец раздается конвульсивный плач мамы. Мне становится страшно, я с головой прячусь под простыню, дрожу и обливаюсь по́том, и, сам не зная почему, тоже начинаю плакать. Хочу заснуть и не могу. Открываю глаза и прислушиваюсь. В раскрытое окно льется пепельно-серебристый полусвет ночи, он сочится сквозь простыню и пугает меня. Рыдания стихают, и я принимаюсь думать об отце. Он сильный, уверенный, спокойный. Неторопливо ходит, неторопливо говорит. Никогда не сердится, не кричит и даже,

если бранит ребят, всегда улыбнется напоследок; дети любят его, а люди говорят, что он самый лучший учитель из всех, кто работал в здешней школе. Я думаю о нем, и мой страх постепенно проходит, веки тяжелеют, наливаются сном, но когда я готов вот-вот провалиться в дремоту, меня тормошит мама, она шепчет: «Тс-с-с» — и тут же говорит:

— Тише, не разбуди сестренку.

Мама поднимает меня, собирает мою одежду, ведет в свою спальню и там поспешно одевает.

— Где папа? — спрашиваю я.

Глаза у мамы распухли, она не глядит на меня, говоря:

— За ним приходили, а теперь мы пойдем его искать.

Одев, она выводит меня за дверь. Где-то в самом конце улицы тлеет тусклый, печальный фонарь. Дома стоят темные, все окна и двери закрыты. Только наши шаги сотрясают вязкую тишину ночи. Тени надвигаются и окутывают нас. Лишь в вышине, в немом и далеком небе, разливается звездный свет.

Мама, держа меня за руку, останавливается перед одной дверью. На ощупь находит дверной молоток, приподнимает и отпускает его. Стук зловеще отдается в пустоте сеней. Мы ждем, никто не отзывается, и мама стучит снова. Через несколько секунд мы слышим скрип окна над нашими головами и затем испуганный голос:

— Кто там?

— Это я, жена учителя,— отвечает мама.

— Ну и что вам надо в такое время?

Мы отходим от дверей и видим наверху, в окне, головы мужчины и женщины, совсем близко одна к другой.

— Сеньор Лу́сио,— говорит мама,— моего мужа забрали.

— За что? — спрашивает мужчина.— Что он сделал?

— Ни за что. Он ничего не сделал. Вы же его знаете.

Лицо женщины наклоняется ниже, она сурово говорит:

— Донья Росарио, теперь никто никого не знает. Зачем вы стучитесь к нам?

— Мы чужие здесь, а вы всегда были нашими лучшими друзьями.

— И напрасно,— говорит мужчина.

— Забудьте нас,— говорит женщина.— И поищите себе других друзей.

Бледные лица исчезают из черного прямоугольника, окно закрывается. И мы снова одни посреди улицы.

— Трусливые, неблагодарные твари! Они уже не помнят о том, как бегали к твоему отцу за помощью и советами!

Мама бормочет сквозь зубы злые слова и дергает меня за руку. Укрываясь в тени, мы доходим до площади и вступаем под колоннаду углового дома как раз в ту минуту, когда от дверей муниципалитета срывается с места грузовик. Темный, затянутый брезентом грузовик, появившийся в городке несколько дней назад. Окна муниципалитета открыты и освещены, мы видим, как за ними мелькают мужские фигуры. Мама прислоняется к стене. Я не понимаю, что происходит, но, услышав ее тихий плач, обхватываю ее руками, прижимаюсь к ней, дрожа от страха. Она проводит рукой по моей щеке и крепко притягивает к себе. И я тоже плачу. Плачу долго, наконец мама наклоняется и вытирает мне лицо своим платком. Она колеблется, но всего лишь несколько секунд. Потом снова берет меня за руку, и мы идем дальше, вдоль колонн. С площади мы сворачиваем на другую улицу, переходящую в шоссе, и идем той же дорогой, что и уехавший грузовик. Эта улица тоже пустая и молчаливая, двери и окна заперты, нигде не светится ни щели. Мы тихо скользим вдоль стен, где тени

гуще и плотнее. Время от времени от дверей на нас лает собака, ей отвечают другие, и по городку волнами перекатываются отрывистые собачьи голоса, то нарастая, то стихая.

На шоссе мне становится лучше. Тут нас порой омывает ленивый ветерок. Тени светлеют, разведенные серебряным сиянием звезд. Пахнет полем, свежеубранным хлебом, летней ночью. И тишина уже не такая мертвая и безнадежная, здесь она наполнена дрожью листьев, шелестом кустов.

Мы идем по меже, вдоль ряда могучих тополей. Их листья неясно мерцают, отражая звездный свет. Вдруг неподалеку гремят выстрелы. Несколько звучных выстрелов, громом разносящихся по полям. Несколько выстрелов, от которых мамины ногти впиваются в мою руку. Сколько их было? Не знаю. Я сразу же сбился со счета. Но мы останавливаемся глотнуть воздуха, от выстрелов у нас оборвалось дыхание. Потом пауза, словно вот-вот раздастся крик, но вместо него мы слышим лишь рокот заработавшего мотора. Тогда мама толкает меня и тянет за холм. Мы кидаемся на землю. Ждать приходится недолго. Грузовик с крытым кузовом едет на нас, распарывая ночь светом своих фар, поджигая на мгновение стволы тополей. Он проезжает мимо; мы дрожим и не дышим. Когда он достигает первых домов, мы выбираемся из убежища и продолжаем свой путь, почти бежим посередине усыпанного гравием шоссе, моргая от неосевшей пыли.

Странная это у нас прогулка — все вперед по дороге, в неизвестность, среди молчаливых призраков, которые пытаются обнять нас, но все же дают пройти. Моя рука сжимается в потной и холодной маминой ладони. Я слышу ее прерывистое, со всхлипами, дыхание и чувствую, как ее воля судорогой пробегает по моим жилам. Это не причиняет боли, но меня бросает в жар, словно я глотнул вина. И я таращу глаза как можно шире и смотрю на маму, чтобы убедиться, что не сплю.

Мы останавливаемся у какого-то гумна; на белесой земле смутно виднеются лежащие фигуры пятерых мужчин. Мама выпускает мою руку и бросается туда; добежав, она стоит в нерешительности, потом опускается на колени возле того, что лежит посередине, и оттуда знаком подзывает меня. Я подхожу, обмирая от страха, и слышу ее слова:

— Твоего отца убили, родной.

Но она больше не плачет. Она бережно покрывает его лицо своим платком и складывает руки поверх белой окровавленной рубашки. Затем она целует его в лоб и подталкивает меня, я наклоняюсь и чувствую, что он еще горячий, как будто живой, и молча продолжаю стоять на коленях рядом с мамой, оглушенный случившимся, а она вопрошает:

— За что, господи, за что?

Никто ей не отвечает. Но за стогами слышится нарастающий шорох, я оборачиваюсь и вижу тени испуганных женщин, они опасливо и робко приближаются к нам, и я инстинктивно хватаюсь за маму. Она не шевелится, словно ничего не чувствует.

В конце концов женщины разражаются рыданиями и стонами. Они бросаются на трупы. Целуют их, плачут, молятся, кричат. И тогда ночь сгущается вокруг, мне кажется, будто меня толкают в бездонную пропасть и я лечу, лечу вниз...

Так всегда кончается этот сон: я обрушиваюсь во мрак. И больше ничего, ни единой подробности. Мама никогда не хотела толковать

со мной об этом, как я ее ни просил, всегда отговариваясь одними и теми же словами:

— Не хочу, чтобы ты еще больше озлоблялся из-за меня, сынок.

Начиная со смерти отца, мои воспоминания становятся отрывочными. Это несвязные эпизоды, относящиеся к темным годам моего детства и отрочества. Я бы сказал, что это точно кадры фильма, который кто-то разрезал, как ему вздумалось, и теперь их нельзя подогнать друг к другу.

Однажды нас заставили уйти из дома, в котором мы жили, и мы поселились в заброшенной, полуразрушенной печи, стоявшей на окраине. Вспоминая о том времени, я вижу, как мама работала день и ночь — шила одежду для солдат, а сестричка Роса лежала в корыте, служившем ей постелью. Бедная девочка постепенно таяла от непрестанных болячек и поносов, и однажды утром ее унесли в гробике из некрашеных досок. Мама плакала, отгоняя мух от ее рта, носа и закрытых век. Мы с мамой остались вдвоем, всегда вместе, когда она бывала дома, потому что другие дети убегали от меня как от чумы и не принимали в свои игры.

Отсюда фильм перескакивает на мадридский вокзал Аточа — сюда одним зимним вечером приехали мы с мамой. Вокруг нас теснились люди, они спешили кто куда, толкались и огрызались. Тогда я увидел в первый раз, как к моей маме подошел мужчина и что-то шепнул ей на ухо. Мама вздрогнула от неожиданности, но тут же взяла себя в руки и, не отвечая, быстро шагнула в сторону. Мужчина не сдался сразу и сделал несколько шагов вслед за нами, бормоча:

— Как бы я хотел растрепать тебя, смуглянка.

В конце концов он отстал, и я спросил у мамы:

— Чего ему было нужно?

— Молчи, сынок,— ответила мама,— тебе это непонятно.

До той минуты мама была для меня существом, совершенно не похожим на всех остальных: не старая и не молодая, не толстая и не худая, не красивая и не уродливая, она была просто моей мамой, это значит — иногда тенью, а иногда ослепительным светом, заливавшим мир вокруг; приятным запахом и теплотой; голосом, прогонявшим страх, и руками, от прикосновения которых я таял. Закрыв глаза, я не мог бы сказать, какая она, какого цвета у нее глаза, какой нос и рот... И тем не менее она была для меня особенной, единственной. Мне не надо было видеть и слышать ее, чтобы сказать, дома она или нет, далеко от меня или близко, так же как чувствуешь, день сейчас или ночь, жарко или холодно. Но случай с этим незнакомым мужчиной заставил меня взглянуть на маму повнимательнее, рассмотреть ее внешность и сравнить с внешностью других женщин. Теперь она показалась мне, пожалуй, высокой и стройной; шла она легко и горделиво, хотя в каждой руке несла по узлу с бельем. Одета в черное, в траур. А ее очень темные волосы были собраны в большой узел на затылке, обнажая маленькие уши, из которых свисали черные стеклянные сережки. Она шагала, ни на кого не глядя, раздвигая толпу одним из узлов. Я шел то сбоку, то позади нее, в зависимости от того, редела или смыкалась толпа кругом, и нес котомку, в которой лежали кое-какие продукты и бутылка с водой.

— Мама!

— Что тебе? — И она посмотрела на меня.

Надо было быстро что-нибудь придумать, и я спросил:

— Еще далеко?

Дело в том, что на самом деле мне хотелось взглянуть на ее лицо, и я впервые увидел его в этот вечер. У нее было лицо молодой женщины, большие зеленовато-карие глаза, маленький нос, сочные губы,

стройная шея, матовая кожа. Тогда я не мог оценить, насколько она красива, но меня словно ослепило, и я как-то внутренне сжался. Она, наверное, заметила в моем лице что-то странное и сказала:

— Устал? Или страшно, что кругом столько народу? — И, улыбнувшись мне глазами и губами, добавила: — Еще немножко, и мы на месте. По-моему, дом твоего дяди совсем близко от вокзала.

Я молча шел за ней следом. Мы прошли под колоннадой большого дома и вскоре вышли прямо на площадь Аточа. Я ежился от холода в своей курточке. А вот мама, казалось, совсем не мерзла, хотя на ней была лишь тонкая кофта. На нас обрушился грохот трамваев и автомобилей, и снова повсюду торопились люди, мелькали незнакомые лица. Улицы терялись вдали, им не было конца, и я ощутил новый, неприятный запах, от которого меня мутило. Мне часто говорили, что Мадрид — очень красивый город, всегда веселый и праздничный, где все живут в свое удовольствие, но мое первое впечатление было совершенно обратным. Мадрид показался мне печальным, шумным, бестолковым, а главное — совсем чужим, непонятным. Что делать тут нам с мамой?

Когда мы проходили мимо таверны, конечно, побольше и получше, чем у нас в городке, маму окликнул какой-то толстяк, стоявший у дверей:

— Эй, красотка, вы очень торопитесь?

Мама продолжала идти вперед, словно ничего не слышала, но толстяк двинулся за нами, и мне стало страшно.

— Погоди, я же тебя не съем. Впрочем, если бы ты позволила...

Мы дошли до угла; мама встала как вкопанная, обернулась к дядьке и сказала:

— Не угодно ли вам немедленно оставить меня в покое? Неужели вы не видите, что ошиблись?

Толстяк оскорбительно усмехнулся, кривя темные губы, и потом сказал тоном, от которого мне стало ужасно больно:

— Да ты, дурочка, никак объявляешь войну...

Мне страстно захотелось в ту минуту быть таким же большим, как этот негодяй, чтобы осыпать его пощечинами, чтобы убить на месте, но все, что я сумел сделать,— это встать между ним и мамой, взглянуть ему в лицо, молча, потому что у меня тряслись губы, и затем разреветься. Удивленный моим поведением, толстяк растерялся, не зная, что сказать и как поступить, а мама, воспользовавшись его секундным замешательством, дернула меня за руку и зашагала дальше. Я видел бродячих торговок, извлекавших из потайных карманов и из-под юбок краюхи хлеба и другие таинственные вещи, женщин, широко улыбавшихся проходящим мужчинам, парочки, обнимавшиеся в темных углах, и толпы, штурмующие трамваи, но мы добрались до места уже безо всяких приключений, хотя маме пришлось два-три раза спросить дорогу. Наконец нам преградил путь привратник дома, где жил мой дядя Андрес. Это был сухопарый лысый старик с недовольным лицом.

— К кому вы идете? — спросил он.

Мама ответила, что мы приехали к дону Андресу Лорке, ее шурину, а моему единокровному дяде. Она почтительно объяснила это своим нежным, ясным голосом, но привратник досадливо поморщился.

— Ну, так вы явились поздно.

— Поздно? Но ведь еще даже ужинать не время...

Привратник пристально взглянул на маму и, покачав головой, сказал уже помягче:

— Мне очень жаль, но дон Андрес здесь больше не живет.

— Так он переехал? — допытывалась мама.

Старик колебался: казалось, ему было неприятно и тяжело объяснять нам, в чем дело.

— Видите ли, сеньора... Вы, наверное, знаете, что дон Андрес был убежденный правый, и, когда началась война, за ним тут же пришли и увели среди ночи. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Боже мой!

Мама выпустила узлы и, обессилев, прислонилась к стене, чтобы не упасть. Все ее планы, выпестованные в бессонные ночи последних месяцев, внезапно рассыпались в прах.

Привратник продолжал:

— Его супруга и дети съехали с квартиры несколько дней спустя. Они исчезли, ничего не сказав, словно вышли куда-то по делу, и больше я ничего не знаю об этой семье.

Но мама уже не слушала. Она стояла, закрыв глаза, бледная как воск.

— Нам надо уезжать отсюда, сынок. Этот городок — болото, и я не хочу, чтобы тебя сгубили здешняя ненависть и недоброхотство. Кроме того, работы все меньше и долго нам не продержаться. Я подумала, что лучше всего нам уехать в Мадрид, где живет твой дядя Андрес, брат твоего отца. Теперь ему, наверное, живется хорошо. Конечно, они не слишком-то ладили между собой из-за убеждений. Твой отец часто говорил, что его брат Андрес — заплесневелый карлист. Но разве это имеет какое-то значение после всего того, что случилось? Если бы я написала твоему дяде и письмо дошло, в чем я очень сомневаюсь, может статься, он извинился бы и отказал нам в помощи под каким-нибудь предлогом, потому что издали и на бумаге очень легко сказать «нет». Другое дело, если мы приедем сами и постучимся в его дверь... Неужто и тогда он отречется от родни и выбросит нас на улицу? Как по-твоему? Особенно тебя — ведь ты той же крови, носишь ту же фамилию, что и он. Я думаю, что политические идеи не должны влиять на совесть. Но вот самое трудное — получить пропуск. Я уже просила, но не знаю, когда мне его дадут. Мне не ответили ни да, ни нет, сказали, что там видно будет... Надо ждать. Пока же я продам то немногое, что у нас осталось, и так насобираю денег на билеты.

— Потом квартиру заняли несколько семей, эвакуированных из Эстремадуры, а сейчас в ней новый жилец, галисиец, и, если не ошибаюсь, один из нынешних заправил. Так что в квартиру вам нельзя.

Привратник говорил уже другим, теплым голосом и, казалось, сочувствовал нам. Мама тихо плакала, прикрыв глаза рукой, а я смотрел то на одного, то на другую, стараясь понять, что же произошло. Для меня все случившееся было неожиданностью, загадкой, сном.

— Мой отец, а твой дедушка, участвовал в Марокканской войне и впоследствии стал секретарем муниципалитета. Моя мать, а твоя бабушка, происходила из крестьянской семьи. Я не знала ее, потому что она ушла из этого мира, когда я вступила в него. До этого у нее умерло трое сыновей. Таким образом, меня воспитывали две старшие сестры: твой дедушка не захотел жениться снова.

Так рассказывала мне мама. Стояла осень, ночи были холодные. Мы спали, обнявшись, на полу возле огня. Мама уже продала матрасы, одеяла и даже часы моего отца — словом, все, что имело хоть какую-то ценность. Все знали, что она хорошая портниха, и ее еще приглашали работать в состоятельные дома, но с каждым днем все

реже, потому что жить становилось труднее. Больше всего я любил вечерние сумерки, когда возвращалась мама. Она всегда приносила мне что-нибудь из того, чем ее кормили,— самое лучшее, самое лакомое. Она мыла меня, подметала и прибирала наше жилище, а потом мы садились ужинать.

— Осталось уже недолго. Думаю, мы сможем уехать еще до рождества... Мои сестры повыходили замуж и ушли жить к мужьям. Одна из них, София, вышла замуж за коммивояжера, который постоянно ездил с места на место, и умерла в первых родах. Муж второй сестры, Исабели, собирал взносы за швейные машины фирмы «Зингер». Не знаю уж, что он сделал, но ему пришлось уехать в Америку, там у него родилось несколько детей и дела, по всей видимости, идут как нельзя лучше. У меня есть его адрес, и, как знать, может, в один прекрасный день, став взрослым, ты поедешь его навестить и останешься в тех местах, если тебе там понравится.

Однако чаще всего, вспоминая о прошлом, она рассказывала о последнем периоде своей жизни:

— Твой отец появился у нас как красное солнышко. Приехал новый учитель, и все девушки чего только не делали, чтобы он обратил на них внимание. Ему исполнилось тогда двадцать пять лет, но он казался старше — такой серьезный, внушительный. И надо же — как только это вышло, что он заметил меня. Однажды воскресным утром он зашел к нам домой, чтобы поговорить с отцом о школьных делах. Мне было уже двадцать лет, но я не думала о женихах, потому что отец, бедняжка, был такой больной, такой печальный, и мне не хотелось оставлять его одного. Но раз после мессы твой отец заговорил со мной... Почему я была так уверена, что он ждал именно меня, хотя раньше и словом с ним не перемолвилась? Он был такой положительный, такой надежный — настоящий мужчина, что все получилось совсем просто, словно мы знали друг друга всю жизнь. Мы обручились и поженились через год с небольшим. И поселились вместе с твоим дедушкой — ненадолго, к несчастью. Он как будто дожидался моего замужества, чтобы спокойно умереть. Даже тебя не успел увидеть. В нашем городке нам все разонравилось, и незадолго до твоего рождения мы перебрались сюда. В недобрый час, ах, в недобрый! Здесь родилась твоя сестричка Роса и... Твой отец был истинный мужчина. И одни, и другие хотели затянуть его к себе, но не могли с ним справиться, пока... Боже! Мне и сейчас еще кажется, что все это дурной сон. Он был из тех, что не продаются, что не становятся на колени. Это его собственные слова, он говорил их многим, и потому...

Наконец был получен пропуск, и в тот же вечер мы пошли на кладбище проститься с нашими мертвыми. Мы были одни. Издалека доносился звон овечьих бубенцов и лай пастушьих собак. Не было ни птиц, ни солнца. Северный ветер, лиловый, как облака, шевелил кипарисы и пронизывал нас насквозь. На могилах отца и сестры не было ничего — только земля, сорняки и два деревянных креста. Мы прочли «Отче наш», «Богородице, дево, радуйся» и «Хвала творцу», поцеловали землю, поросшую сорняками, и мама бросилась наземь, раскинув руки крестом, и долго, долго плакала. Я тоже плакал. Внутри у меня все сжималось от холода и печали. Мы ушли с кладбища уже в темноте и вернулись домой полями, чтобы ни с кем не встречаться.

— Мы вернемся сюда, вернемся, когда ты станешь взрослым, и положим красивые плиты, поставим мраморные кресты на их могилы. Вот увидишь, мы еще вернемся.

Все это было вчера. Но что же делать сейчас?

— Откуда вы приехали? — спросил привратник, подождав, пока мама немного успокоится.

— Из другой зоны,— ответил я.

Мои слова преобразили старика как по волшебству. Лоб его разгладился, он улыбнулся нам приветливой, почти угодливой улыбкой.

— Ну, раз так, то проходите ко мне. В этот час жильцы возвращаются домой, и им ни к чему видеть вас здесь.

И он наклонился и подхватил наши узлы, услужливо опередив маму, а затем шагнул в сторону, пропуская нас в свою каморку с застекленной дверью; там он пригласил нас присесть у столика, под которым стояла жаровня с углями.

— Ну, давайте подумаем, давайте подумаем...— сказал он потом, по-отечески глядя на маму.— У вас есть продовольственная карточка?

— Да, сеньор.— И мама достала ее.

— Очень хорошо, сеньора, очень хорошо. А теперь простите меня, но вы замужем или вдова?

— Я вдова.

— Ваш муж убит на фронте?

Мама, боясь, что я скажу правду, бросила на меня грозный, предостерегающий взгляд.

— Нет. Он умер от болезни,— ответила она, покраснев, дрожащим голосом.— Это было такое несчастье, можете себе представить.

Впервые я услышал, как моя мама сказала неправду; мне стало больно и грустно, и ее стыд обжег мне сердце.

— Я сочувствую вашему горю,— сказал привратник.

— Спасибо.

— Не за что.— И после короткой неловкой паузы он добавил: — В таком случае все решается просто. Я живу один, а в привратницкой две спаленки. Так что вы можете переночевать здесь и оставаться, сколько понадобится.

— Послушайте, но у меня только десять песет всех сбережений...— предупредила его мама.

Привратник выпрямился на стуле и торжественно произнес:

— Я вас об этом не спрашивал, сеньора. Сейчас важно найти выход на эту ночь. Завтра что бог даст, верно? Жильцы этого дома — порядочные люди, правых убеждений, и странно будет, если они не помогут вам немного, особенно узнав, что вы близкие родственники бедного дона Андреса, да покоится он в мире.

Так мы остались ночевать в маленькой комнатушке с окошечком, выходившим на задний двор, и спали на узкой кровати, но все-таки на кровати, ведь последние несколько месяцев мы спали на земле. И в эту ночь, когда мы остались одни, мама ничего мне не рассказывала.

II

Я смотрю на парикмахера, а он оглядывает меня, держа в руке бритву, тонкую опасную бритву, которой можно перерезать горло так, что человек и глазом не моргнет. Про такую бритву и вправду говорят, что она рассекает волос на лету.

— Ты что, нервничаешь? — спрашиваю я его.

— Я нервничаю?

Но я знаю, что это так. Мы с ним друзья уже несколько лет. Он уже жил здесь, когда я приехал, и был первым человеком, расположившим меня к себе. Именно тут, в парикмахерской, пока он брил меня, как сейчас, у нас завязался разговор, которому суждено было продлиться много, много дней — вплоть до этого часа.

— Думаешь остаться надолго? — спрашивает он, намыливая мне щеки.

— Как можно меньше, будь на то моя воля. Но поживем — увидим. Никогда не знаешь наперед, верно? — отвечаю я.

— Хорошо сказано. Чем меньше объяснений, тем лучше. А то иные строят планы, а потом... У жизни тоже есть свои правила, и с ними приходится считаться. Скажем, человек думает, что идет на север, и вдруг видит, что не сдвинулся с места или шел в обратную сторону,— рассуждает он.

Он был на десять лет старше меня, мирный, благоразумный человек, враг любых споров и стычек. Он прочел много книг, и было одно удовольствие слушать его рассказы — столько он знал. Он говорил нам о политиках, о воинах, об ученых и других знаменитых людях, и его истории походили на романы. Еще он читал нам стихи, и тогда глаза его светились особым светом, словно он был пьян, а голос становился иным, глубоким и волнующим. Правда, иногда он избегал общества и долго бродил один. В таких случаях к нему нельзя было подходить, потому что он сердился, следовало оставлять его в покое и ждать, пока он сам не присоединится к друзьям. Вот почему кое-кто говорил, что он тронутый, но это была неправда. Тронутый — какая чепуха. Я думаю, что ему просто надо было время от времени подумать о своем — кто знает о чем, освежить воспоминания — бог весть какие... Могу сказать, что он стал моим учителем, таким, какого раньше у меня не было никогда: он раскрыл мне глаза и показал правду жизни с таких сторон, о которых я прежде и не подозревал.

— Ну, раз ты не нервничаешь, тогда, значит, бритва у тебя как пила. Подправь-ка ее немного.

Викториано — так зовут парикмахера — берет ремешок и проводит по нему узкой стальной полосой, бормоча:

— Да от тебя самого искры сыплются, словно ты заряжен электричеством...

Мои глаза ищут в зеркале свое отражение, и я оказываюсь лицом к лицу с самим собой. Но кто я? Что за человек смотрит на меня? Быть может, существо из тех давних лет? И я вижу себя в парадной дома, где раньше жил мой дядя Андрес, обшарпанной, мрачной и печальной; я жду, чтобы мама кончила мыть лестницу. Неужели то был я — этот голодный мальчуган, еще оглушенный городской новизной?

Наш район, его длинные улицы, его таверны, гаражи, трамваи, жандармы, афиши кино, спекулянты, лотки с семечками подсолнуха и столько людей вокруг, вечное движение и суета — все это составляло для меня новый, невероятный мир, полный чудес и неожиданностей. Особенно притягивали меня дворы, где собирались поиграть ребятишки. Поначалу я только на несколько минут решался заглянуть в щели между досок или в дыры в заборах, чтобы узнать, как там развлекаются. Но постепенно я расхрабрился и стал проводить целые часы на своем наблюдательном посту, завидуя сверстникам, но не осмеливаясь перейти границу и ступить во двор: я боялся, что меня прогонят прочь или набросятся с кулаками. В этих столь заманчивых для меня дворах кучами громоздился мусор, земля была усеяна пустыми жестянками, разбитыми бутылками, обломками гнилых балок и покрыта толстым слоем грязи. Наконец однажды, когда я, как обычно, подсматривал за ребятами, меня вдруг окликнули сзади:

— Эй ты, ротозей!

Я в испуге обернулся и оказался лицом к лицу с двумя мальчишками чуть постарше меня, которые вызывающе оглядывали меня с головы до ног.

— Что это ты тут делаешь? — спросил один из них, угрожающе шагнув ко мне.

— Ничего,— ответил я, готовясь пуститься наутек.

— Значит, ничего, да? Гляди не вздумай врать, мы уже несколько дней следим за тобой. Ты вечно шныряешь здесь. Ты шпион. Это яснее ясного. А теперь говори, из какой ты шайки?

Я сказал им, что ничего не понимаю в шпионах и шайках, но, лишь узнав, что я совсем недавно живу в этом квартале, они убедились в моей невиновности и отменили уже определенное мне наказание: вымазать лицо глиной, замешанной на их моче. Подталкивая в спину, они подвели меня к тайному лазу: две полуоторванные доски раздвигались в стороны, а потом падали, закрывая дыру снаружи,— и заставили войти в их лагерь. Здесь допрос был продолжен. Вел его все тот же мальчишка:

— Ты за кого: за Мстителей или за Тигров?

Я пожал плечами, не зная, что говорить, и, наверное, выглядел таким потерянным, что он добавил:

— Мы Мстители, и этот двор — наша территория.

— Тогда я за Мстителей,— поспешно сказал я, чувствуя огромное облегчение.

— Хорошо. Я атаман, меня зовут Эваристо. А тебя?

— Энрике.

— Хочешь вступить в нашу шайку?

— Хочу,— ответил я без колебаний.

— Тогда ты должен дать клятву.

— Согласен.

— Твой номер десятый. Смотри не забудь.

— Будь спокоен, Эваристо.

Затем я дал клятву. По приказу атамана все встали по стойке «смирно», а я вслед за Эваристо повторял такие слова: «Клянусь быть верным моим товарищам, всегда подчиняться приказу, хранить в секрете наши действия и помогать товарищу, если ему грозит опасность». Далее Эваристо сообщил мне, что за предательство расплачиваются кровью, а за трусость — позором. Кровь означала, что на лбу предателя гвоздем выцарапывали крест, а позор заключался в том, что малодушному вешали на грудь плакат с надписью: «Я трус» — и водили по окрестным улицам.

Я согласился со всеми правилами и стал членом шайки Мстителей, состоявшей из десяти мальчишек, чьи отцы были убиты, или экспатриированы, или сидели в тюрьмах,— за исключением Томасина, отец которого был ночным сторожем на одной из центральных улиц.

Самыми интересными были утренние часы. Мы устраивали походы по ближайшим кварталам в поисках приключений и по пути собирали железо, жестянки, бутылки, тряпки и старую бумагу; все это мы складывали на нашем дворе, а потом продавали тряпичникам и старьевщикам. Так я узнал все окрестные улицы, переулки, тупики, площади, толкучки, а также дворы, где собирались другие шайки. Мы шагали по́ трое. Сталкиваясь с мальчишками из других ватаг, мы, самые младшие, шедшие в авангарде, должны были, согласно приказу, разведать, каковы силы неприятеля, и немедленно доложить Эваристо, замыкавшему наш отряд; в зависимости от его команды «Вперед!» или «Разбегись!» мы либо следовали первоначальному плану, либо бросались врассыпную. Иногда случались свирепые

стычки с вражескими группами, завязывалась драка, которая почти сразу, после обмена несколькими ударами, заканчивалась бегством тех и других из-за вмешательства прохожих.

Это были голодные времена. Чтобы хоть как-то наполнить желудок, люди ели кожуру апельсинов и бананов, картофельные очистки, капустные листья и все, что только можно было разжевать и проглотить. По карточкам выдавали круглые желтоватые хлебцы из кукурузной муки — говорили, будто она смешана с цементом, но это было чистой выдумкой, потому что цемента тогда было еще меньше, чем кукурузы. От истощения люди падали посреди улицы; другие вдруг начинали пухнуть, пухнуть, словно их надували, и внезапно молча умирали; третьи, напротив, таяли и сохли, превращаясь в скелеты, и словно сходили на нет; иные покрывались язвами и медленно гнили заживо; многие гибли от укуса зеленой вши. Мы, Мстители, как и другие шайки, открыли для себя доходный промысел в охоте на кошек, которых продавали потом по дуро[1] за штуку одному дельцу с площади Легаспи — говорили, что он делает из них колбасу. Надо всеми прочими желаниями преобладало одно — желание поесть, и надо всеми заботами — забота раздобыть съестное где бы то ни стало и любой ценой. Правда, несмотря на дразнящие витрины ресторанов, в которых тебе подавали все что душе угодно, никто не протестовал против их существования, против того, что на улицах встречались упитанные, сиявшие довольством прохожие и целые семьи. Самое большее, на что осмеливались голодные, это во всем винить войну да передавать друг другу слухи: «Вчера два поезда с пшеницей ушли во Францию», «Из Мériды каждый день вылетают в Германию самолеты, набитые свиными тушами». На стенах огромными буквами были начертаны лозунги: «Гибралтар — Испании!», «Во всем виновата Россия!»

Через несколько дней после того, как я примкнул к Мстителям, Эваристо задумал провести операцию на рынке Легаспи, где торговали фруктами и овощами. Мы явились туда в самые бойкие часы. Сквозь толпу пробирались носильщики с корзинами овощей, другие везли на тележках ящики с апельсинами и большие гроздья бананов, от одного вида которых у нас сосало под ложечкой. Покупатели и покупательницы, крича и не стесняясь в выражениях, спорили с перекупщиками о ценах, качестве и весе продуктов, а сами тем временем щупали и перебирали товар. Разругавшись насмерть, иные отходили прочь, но тут же возвращались и опять клали на весы те же фрукты и овощи. Самыми наглыми, самыми крикливыми и напористыми были женщины, их руки умели особенно ловко припрятать какой-нибудь пустяк, они особенно внимательно следили за торговцами и раскрывали их махинации с весами.

— Да это же одна гниль, видишь, видишь? — кричала какая-то тетка, раздирая пальцами помидор.

Ворюга, девка, скотина, недоделок, мать твоя шлюха, сволочь, проститутка и другие подобные слова, а то и еще похуже звучали со всех сторон, перемежаясь смехом, непристойными жестами и угрозами, и составляли обычный лексикон, используемый при заключении торговых сделок. Тем временем между лотками и горами товаров шныряли хищноглазые молодчики, которые с изумительным спокойствием и решимостью внезапно взваливали на спину корзину овощей или мешок картофеля и беспрепятственно растворялись в толпе. Повсюду, словно рои мошкары, кишели стайки ребятишек. Какой-то носильщик прикрикнул на ватагу маленьких мошенников и на ми-

[1] Дуро — пять песет. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

нуту спугнул их, но они, живо шмыгнув в разные стороны, тут же снова слетелись в другом месте, с дерзостью голодных воробьев. Иные торговцы, напротив, давали им корзину с обрезками репы, полусгнившую капусту, раздавленные апельсины и прочие отбросы, и мальчишки накидывались на добычу, будто на поднос с пирожными и сластями.

Пока я ошеломленно созерцал эту пеструю толпу торговцев, покупателей и воров, вернулся Эваристо, уходивший на разведку, и сказал нам:

— Видите вон того старика? — Он указал на худого седоголового носильщика, который медленными, усталыми шагами направлялся к штабелю ящиков с апельсинами.— Значит, как только он нагрузится и поравняется с нами — в атаку. Действуем по нашему плану. Кто боится, пусть скажет сейчас.

Никто не признался в трусости, и наш атаман продолжал:

— Пусть каждый прячет за пазуху сколько сможет — и врассыпную. Ясно?

Мы молча расстегнули куртки и рубашки, приготовив место для добычи, и принялись внимательно следить за движениями старика. Я дрожал всем телом; стало жарко и нестерпимо захотелось по маленькому. Я бросился бы наутек, но ноги меня не слушались, и я стоял неподвижно, оцепенев от чувства опасности. Бледные лица моих товарищей, их напряженные, скованные позы говорили о том, что им так же страшно, как мне, что им хочется удрать или разреветься. Даже наш атаман позеленел и поминутно сплевывал, без сомнения для того, чтобы скрыть беспокойство. Он был отважным и твердым мальчиком, энергичным и скорым на решения и, кроме того, обладал неисчерпаемой фантазией, чем очаровывал и покорял нас. У него всегда было что порассказать или предложить. Он думал и рассчитывал за всех. Его отец отбывал заключение в бургосской тюрьме, а мать, чтобы содержать семью, состоявшую из него и трех малышей, разъезжала по окрестным деревням и выменивала ткани, мыло домашнего изготовления и сигареты, свернутые из собранного по окуркам табака, на сыр, хлеб и колбасы, которые меняла в городе на черном рынке на другие вещи, а те, в свою очередь, снова на продукты — и так беспрерывно, извлекая из каждой операции небольшую прибыль.

Старик взвалил на плечи ящик с апельсинами и двинулся в ожидаемом направлении. Я считал его шаги и следил, как быстро сокращается расстояние между нами.

— Пора!— сказал Эваристо.

И мгновенно затеял драку с двумя дружками; один, словно бы спасаясь, бросился в сторону нашей жертвы и столкнулся с ней. Эваристо кинулся на приятеля, третий тут же прыгнул на них сверху. Продолжая разыгрывать драку, они втроем повалили старика. Ящик упал, плоды рассыпались по земле. Мы, все остальные, кинулись подбирать апельсины и совать их за рубашки. «Плуты, воры!» — кричал носильщик. Больше я ничего уже не видел и не слышал. Я помчался, огибая препятствия, выскочил с площади и полетел по улице, вдоль которой тянулись железнодорожные вагоны, пока не достиг условленного места у реки. Там уже стояли, отдуваясь, пятеро моих товарищей, гордясь своей ловкостью и быстротой. Постепенно подошли и остальные. Эваристо присоединился к нам последним. Он бежал, то и дело останавливаясь, чтобы посмотреть назад. Подбежав, он сказал:

— Порядок, ребята. За нами никто не гонится.

Потом мы сосчитали апельсины, и Эваристо поделил их между всеми поровну. Остался один лишний, и он раскрыл его, чтобы разделить дольки. Все мы молча следили за дележом и сразу же затем расселись, чтобы съесть свою часть. Мякоть лопалась во рту, горьковато-сладкий сок стекал по уголкам рта. Некоторые ели апельсины вместе с кожурой, откусывая кусок за куском, другие, очистив, прижимали их к лицу, всасывая сок и одновременно вдыхая их аромат. Вскоре мы насытились. Кто-то рыгнул, кто-то сказал:

— Ну, наелись до отвала.

— Давненько мне уже хотелось поесть апельсинов. Здорово мы это провернули.

Атаман шагнул ко мне и, хлопнув по плечу, сказал:

— Ну, парень, ты вел себя как настоящий Мститель.

Этот хлопок по плечу равнялся моему посвящению, а кража апельсинов стала боевым крещением. Второй подвиг я совершил несколько дней спустя. Я подступил к спекулянтке, торговавшей у входа в метро:

— Дайте мне один хлебец.

Женщина недоверчиво посмотрела на меня:

— А деньги у тебя есть?

— Смотрите.— И я, раскрыв кулак, показал ей монеты.

— Давай сюда,— сказала женщина.

— Сначала товар,— возразил я.

Спекулянтка сунула руку под юбку и, убедившись, что поблизости не было никого из полиции, вытащила на свет хлебец.

— Ну, давай же,— повторила она.

Я протянул к ней кулак с деньгами, но вместо того чтобы раскрыть его, другой рукой выхватил хлебец, отскочил в сторону и пустился бежать, пока она еще не успела меня схватить.

— Вор! Хулиган!— заорала она.

Мои приятели, ждавшие неподалеку, быстро окружили ее, преграждая дорогу.

— Что вам сделал этот бесстыдник, сеньора?— услышал я спокойный вопрос Эваристо.

Во всю прыть я пересек улицу, уворачиваясь от грузовиков и трамваев, и с противоположного тротуара наблюдал, как вокруг спекулянтки собирается выходящий из метро народ, а Мстители ускользают, воспользовавшись суматохой. Эваристо потом заметил:

— Сам видишь, парень, здесь надо держать ухо востро, не то надуют.

В послеобеденные часы мы собирались на дворе, чтобы предложить, обсудить и прорепетировать новые операции, а также чтобы пересчитать и рассортировать собранный утиль, главным образом бумагу, железо и стекло. Если набиралось достаточно, мы укладывали утиль в мешки и тащили его к нашим покупателям. После продажи Эваристо делил деньги на одиннадцать равных частей и раздавал нам. По общему уговору он оставлял себе две части. Когда день выдавался свободным, Эваристо собирал нас и проводил спортивные занятия: мы бегали, прыгали, гонялись друг за другом и боролись, чтобы не терять формы. Сумерки наступали рано, и двое из нас всегда оставались в карауле до тех пор, пока не запрут подъезды, чтобы стеречь наше добро от набегов соперничающих шаек. В первый раз, когда мне выпало быть сторожем, в ту самую минуту, когда мы уже собирались разойтись, я заметил, холодея от страха, как доски, прикрывавшие проход во двор, раздвинулись, пропуская мужчину и женщину. Я испугался, что они не только унесут наши сокровища, но и поколотят нас вдобавок. «Они уже здесь! Как же быть?» Растерян-

ный и напуганный, я посмотрел на своего товарища, но тот казался спокойным. Он сделал мне знак молчать и тихо следовать за ним. Бесшумно проскользнув вдоль ограды, мы вылезли со двора, а пара оккупантов тем временем укрылась за горой мусора. На улице мой товарищ сказал:

— Все в порядке. Это сестра Томасина, она практикует в этом районе.

Практикует? Как это практикует? До сего времени я слышал, что так говорят только об адвокатах, о врачах...

— Слушай, ты, что это за практика? — спросил я.

Тогда мальчик придержал меня за руку и, окинув презрительным взглядом, спросил:

— Ты что — идиот или смеешься надо мной?

Я ответил, что я не идиот и не думаю над ним смеяться, но просто мне непонятно, что он имеет в виду, говоря «практикует».

— Да это же и младенцу ясно,— отозвался он и, чуть помолчав, продолжал:— И когда только ты станешь человеком, деревня? Ну, пошли...

По дороге он пояснил:

— Сестра Томасина клеит дядек на улице, ведет во двор и занимается с ними свинством, а за это вытягивает деньгу. Сестра Томасина шлюха, дошло?

Конечно, я кивнул головой, потому что мне было стыдно признаваться в своем невежестве, но его объяснения я так и не понял. Слово «шлюха» я слышал много раз, но всегда в ссорах или как оскорбление, однако его истинное значение было мне неизвестно. Вечером, когда мы с мамой были одни, я спросил у нее:

— Мама, что такое шлюха?

Мы стояли на кухне. Мама вздрогнула.

— Послушай, что ты говоришь? Что это за слово? Чтобы я его больше от тебя не слышала!— ответила она строго.

Я понял, что она сердится, и мне стало больно, ведь на этот раз я ничем не провинился. Я отошел от нее, опустив голову, и собирался было выйти с кухни, когда она остановила меня:

— Иди сюда.

Ее голос снова был ласковым, вкрадчивым. Она повторила:

— Подойди сюда, Энрикито.

Мне не нравилось, когда она называла меня Энрикито, я ведь уже был не маленький, но сейчас она словно приласкала меня. Все же я не пошевелился; тогда она подошла ко мне и, очень бережно сжав мои щеки ладонями, заставила поднять голову. Она посмотрела мне в глаза, как будто стремясь заглянуть в душу, и сказала:

— Все равно ты когда-нибудь узнаешь, так уж лучше я скажу тебе сама.— Она помолчала и продолжила:— Шлюхи — это женщины, которые позволяют мужчинам делать с ними то, что кобели делают с сучками, понимаешь? — Я тоже смотрел на нее, не отводя глаз и не моргая, и она добавила:— И за деньги. Это женщины, которые продаются.

Это было обжигающее, почти страшное откровение, которое глубоко взволновало меня.

— Ты понял?

— Значит, замужние женщины... они ведь не шлюхи, правда?

— Нет, сынок. Замужние женщины — матери.

Я опустил глаза и молча кивнул, и в эту ночь, засыпая, я представлял себе, как сестра Томасина и ее спутник занимаются собачьей любовью в нашем дворе.

Маленькими ребятишками мы у нас в городке закидывали кам-

нями слитых собак, а однажды на моих глазах мальчишка постарше изо всех сил колотил палкой по соединявшему их узлу. Никогда я не видывал ничего ужаснее. Животные извивались и визжали так душераздирающе, что я не мог этого вынести и в отчаянии заткнул себе уши и закрыл глаза. К счастью, шум привлек какую-то женщину, и ей удалось угрозами прогнать палача и положить конец мучениям животных. С того дня я больше не пугал собак в этих обстоятельствах, но с интересом следил за ними, пытаясь понять механизм их слияния. Я знал, что после этого сучки становятся щенными,— но как? Отчего? Я так и не смог этого уяснить и, хотя загадка интриговала и возбуждала меня, не решался ни у кого попросить разъяснений.

Мы остались жить у привратника, сеньора Эладио. Мама убирала привратницкую, подметала и мыла лестницу и подъезд, и у нее еще оставалось время, чтобы выполнять разные работы в квартирах жильцов. По утрам, пока она занималась этими делами, сеньор Эладио наблюдал за подъездом из своей каморки, но после обеда он уходил в соседнюю таверну поболтать с приятелями и поиграть в мус [1], и тогда мама выполняла обязанности привратницы. «С тех пор как умерла моя Паки, жизнь мне опостылела»,— говаривал он. Из двух его детей сын пропал без вести в Марокко, а дочь вышла замуж за механика, который потом оказался красным и увез жену сперва в Барселону, а когда националисты заняли Каталонию — во Францию. Ее тоже звали Пакита, и через некоторое время он стал получать от нее письма из Тулузы, в которых она сообщала семейные новости и обещала вскоре вернуться в Мадрид — всякий раз будущим летом,— чтобы показать ему внуков. Сеньор Эладио всегда заканчивал свои рассказы одними и теми же словами: «Больше мне ее не видать. Я уже слишком стар, а этот режим переживет и не таких, как я». И он скорбно покачивал головой.

Самым видным жильцом в доме был дон Сатурио, галисиец, занимавший квартиру моего дяди Андреса: толстый, важный, самодовольный и ужасно деловой. Он хвастался своими связями и осведомленностью и всякий раз, проходя через парадную, громогласно приветствовал того, кто сидел в привратницкой, с фамильярной снисходительностью хозяина или подходил к дону Эладио, говоря:

— Ну что, читали сегодняшнюю сводку? Тут и думать нечего, победа нам опять обеспечена, немцев никому не одолеть.

Его благополучие росло на глазах у всех, выставлялось им напоказ. К нему в квартиру везли окорока, ящики с фруктами, самую лучшую рыбу, он сам, его жена донья Херарда, тощая женщина с водянистыми глазами и испорченными зубами, и их дети — двое мальчиков и девочка, все трое младше меня — часто щеголяли в новых нарядах, в новых пальто и туфлях; после них в воздухе долго висел запах одеколона. У них была служанка, приходившаяся донье Херарде чем-то вроде племянницы, худенькая девушка, увядшая от непрерывной работы, разумеется безо всякого жалованья, а моя мама стирала белье за объедки с их стола. Дон Сатурио, по всей видимости, работал в государственном банке, который называл «мой банк», но, кроме того, у него были и другие дела — «мои дела», говорил он, хотя никто в точности не знал, с чем они связаны. Мне он был неприятен, потому что на улице даже не глядел на меня, а встречая в парадной, на глазах у мамы, весело трепал по голове и восклицал:

— Что за толковое лицо у вашего мальчика, Росарио! Если бы им занялся кто-нибудь влиятельный, вроде меня, он сумел бы далеко

[1] Мус — карточная игра.

нойти. У меня верный глаз, и я могу с одного взгляда сказать, на что способны люди. Интуиция никогда меня не обманывала.

И, мурлыкая веселенький мотив, он шел к лифту — если лифт работал — или вверх по лестнице, громко крича:

— Херарда! Херарда!

Однажды вечером я застал маму одну, в слезах. Я испуганно стоял перед ней, не зная, что сказать. Мне сразу же подумалось, что кто-нибудь наболтал ей о моих уличных похождениях. «Ваш сын водится с бандой хулиганов. Ваш сын пройдоха и воришка. Пусть-ка он вам расскажет, чем занимается на площади Легаспи». Но нет. Мама отняла руки от лица и сообщила:

— Приходили полицейские и увели дона Эладио.

Боже мой! Я похолодел.

— За что?

— Они мне не сказали.

Какое преступление можно было приписать этому молчаливому старику, не способному обидеть и мухи? Он был мне словно родной дедушка. А может, это из-за меня? От внезапного подозрения у меня перехватило горло, я задохнулся.

— Я поднялась сказать об этом дону Сатурио и попросить, чтобы он сделал что-нибудь для бедного старика, ведь у него такие связи, но он не захотел вмешиваться в это дело. И он сказал мне...— она запнулась,— он сказал мне, будто давно уже чуял, что сеньор Эладио замаскированный красный. «Поди знай, Росарио, а вдруг это именно он выдал милиции вашего родственника»...

— Сеньор Эладио выдал моего дядю?

Слова вырвались у меня непроизвольно, будто взрыв, сметающий мои опасения.

— Я тоже в это не верю, но люди так плохо думают друг о друге, что поделаешь.

Тогда меня осенило другое подозрение. А что, если сам дон Сатурио виноват в аресте старика? А если так, то зачем это ему было нужно?

— Вот мы и снова остались с тобой одни и не знаем, когда он выйдет из тюрьмы, если вообще выйдет.

— Что же нам теперь делать, мама?

Мама пожала плечами.

— Пока что тихо сидеть здесь. Дон Сатурио сказал, что поговорит с управляющим и сделает все возможное, чтобы я осталась привратницей. В конце концов твой дядя, по его словам, был мучеником за правое дело.

Обещание дона Сатурио было в нашем положении единственной надеждой. И тем не менее совершенно необъяснимо почему, но мне было неприятно слышать о нем, никакой радости оно мне не доставило. Наоборот, мне стало не по себе.

— Это было бы нашим спасением,— добавила мама.— И таким образом мы могли бы отплатить услугой за услугу сеньору Эладио, если он когда-нибудь вернется.

На следующее утро я рассказал моим приятелям о несчастье, приключившемся с сеньором Эладио. Некоторые уже все знали, а прочие выслушали меня — к моему большому удивлению — без малейшего интереса, как будто речь шла о чем-то неважном, обыденном и скучном, хотя он всем был знаком и я много говорил о нем и о том, как благородно он отнесся к маме и ко мне. Никто не огорчился, и единственное, что я услышал в ответ, было:

— Не волнуйся, малый. Сегодня на свободе лишь тот, кого еще разыскивают.

Мы направлялись к площади Аточа. Было печальное, холодное утро, улицы под дождем выглядели еще более жалкими, чем обычно. Дождь смывал с домов копоть и пыль, и по тротуарам растекалось жирноватое месиво, а стекла витрин покрылись грязными подтеками. Там и сям голодные дети рылись в помойных ведрах, разыскивая фруктовую кожуру и объедки; женщины с сумками терпеливо стояли в очередях у продовольственных лавок, перед угольными складами, булочными и молочными, безразличные к дождю и холоду, промокшие до костей, с изможденными лицами, невидящими глазами; серые мужчины, одетые в разрозненные полувоенные, полугражданские обноски, бесцельно шатались по тротуарам, нерешительные, жадные, всегда настороже; проползали ободранные, скрипучие трамваи с тусклыми стеклами, допотопные такси с чихающими моторами, чиненные и перечиненные тысячу раз, дребезжащие грузовики, зловонные фургоны ассенизаторов, запряженные скелетоподобными мулами. В сером воздухе пахло гнилью, тлеющим углем, отработанными газами, сыростью, мочой; множество нераспознаваемых звуков сливалось в оглушительную какофонию.

Мы укрылись на станции метро. Там воздух был жаркий и вязкий, насыщенный запахами человеческой скученности. Спекулянтки, продавщицы сигарет и других нужных мелочей, тоже укрывшиеся здесь, толклись у туннелей, мешая входу и выходу. Поезда, набитые до отказа, выбрасывали на перроны беспорядочные толпы пассажиров, которым приходилось локтями прокладывать себе путь среди потока встречных, безоглядно рвущихся на штурм вагонов. Люди отпихивали друг друга, отовсюду неслась брань; особенно ругались женщины, чувствуя, как их сжимают, щиплют, ощупывают и мнут. Полы пальто, зонты и сумки застревали позади, между стиснутыми телами, надо было дергать, тянуть и освобождать их, и отскакивали пуговицы, лопались пакеты, трещала одежда; а между тем ловкие руки открывали кошельки, вырезали бумажники, обшаривали карманы. «Где моя карточка, продуктовую карточку стащили!» «Меня обокрали!» Но кто здесь вор? «Тискай свою мать, бесстыдник!» Но кто нахал? В конце концов двери вагонов непреклонно захлопывались, атакующая толпа замирала, а из сомкнувшихся челюстей торчали руки и ноги, которые еще дрыгались, когда поезд, пронзительно свистя, трогался со станции и уходил в черноту, чтобы, быть может, через минуту встать посреди туннеля из-за отсутствия тока.

Сгрудившись в уголке и наслаждаясь теплом, мы ждали, не предложит ли нам атаман какое-нибудь дело, но Эваристо молчал, и только когда Томасин посетовал на нашу бездеятельность, он сказал:

— Нет, мы не будем торчать здесь все утро как ротозеи, но надо подождать, пока дождь поутихнет, не то вымокнем до нитки.

Снова наступило молчание, и внезапно Эваристо обратился ко мне:

— Слушай, Энрике, а что случилось с твоим отцом?

— Его убили,— ответил я не удержавшись и тут же пожалел, что не соврал.

— Где?

— В другой зоне.

— Ага. А твоего дядю — в этой?

— Да.

— Так кто же ты тогда: красный или фашист?

Остальные молчали и с большим вниманием следили за быстрым диалогом; я подумал, что эта тема, наверное, не раз обсуждалась ими. Я не знал, что ответить, но тут вмешался Томасин:

— Да разве ты не видишь, балда, что он ни то ни се?

Я пожал плечами, а Эваристо больше не настаивал.

В это утро мы не ходили на площадь Легаспи, ограничившись сбором железного лома и бумаги.

Прошла зима, и наступил июнь. Голод свирепствовал по-прежнему, но теперь легче стало находить съестное, и мы повеселели. Мы делали набеги на другие районы, где нас не знали и поэтому действовать было проще. В одну из таких экскурсий мы реквизировали целого поросенка и затем продали его торговцу колбасами с площади Легаспи. Правда, нам пришлось удирать сломя голову и защищаться камнями, потому что проклятый поросенок хрюкал так злобно, что переполошил своих хозяев, старьевщиков, которые были способны измолотить нас до полусмерти, если бы мы попались им в лапы. Мы таскали цыплят и яйца в чужих дворах и даже осмелились вскочить на ходу в кузов проходившего грузовика и сбросить оттуда немало дынь и арбузов, а остальные бежали следом и складывали их в мешок — мы видели, что так работали другие ловкачи, постарше. Но все это происходило уже летом. Как замечательно было бродить по предместьям целое утро, а когда солнце начинало припекать, бултыхаться в реке и бегать голышом по лужам и илу! Мы смеялись над собственной наготой, боролись друг с другом... Спорили и бились об заклад о том, кто дольше других просидит под водой, или кто самый быстрый, или у кого наиболее развиты мужские атрибуты. Иногда мы обмазывали тело глиной и пробегали по ближайшим улицам; встречные девушки смеялись, женщины бранились, мужчины пытались нас догнать. «Безобразники, ни стыда, ни совести!» Но скандал радовал нас, как успех, мы всегда возвращались целые и невредимые, с криками и смехом, обезумевшие от радости — бессмысленной, нелепой и бурной. А если надвигалась гроза? Воздух тяжелел, распирал нам грудь; он становился весомым, плотным, сладковатым, в нем густо пахло листьями и рекой, казалось, его можно было хватать руками. Когда гроза, наконец, разражалась, мы выбегали на открытое место, скидывали рубахи и подставляли голову и грудь под потоки воды, радостно глотали дождевые струи, а над нами сверкали молнии и небо раскалывалось на части. О, эти летние дни, золотистые, неспешные, восхитительные! Сколько фруктов, чтобы набить наши ненасытные утробы! Сколько смеха, сколько игр и шалостей! Весь мир принадлежал нам. Жизнь была великолепна. И мы чувствовали себя легкими, свободными, отважными, всемогущими. «Отчего не всегда стоит лето?» — спрашивал я себя. В один из таких дней нам встретилась похоронная процессия.

— Как это только можно умирать летом?— подумал я вслух.

— Нет, ты смотри, что он говорит, как будто в жару не бывает болезней.

— Да запросто — подхватят болезнь зимой, а подыхают летом, вот и все.

Но я не переставал удивляться. В этом было какое-то противоречие, которое я тогда не умел понять. Я думал, что если бы всегда стояло лето, жизнь замерла бы в самый лучший свой миг, и мы были бы счастливы, не боясь ни голода, ни холода, словно птицы, или бабочки, или эти туземцы с островов Тихого океана, которых мы видели в кино,— они только и делали, что распевали сладкозвучные мелодии да танцевали под звон маленьких гитар. Поздно вечером я возвращался домой, спотыкаясь от усталости, глаза у меня слипались. Я вытянулся и загорел до черноты. «Фу, сынок, ты стал совсем цыганенком». Мама заставляла меня мыться перед сном мылом и мочалкой и не раз говорила:

— Ты вечно бродишь бог знает где, точно у тебя нет дома, это не годится. Пользуйся, пользуйся, пока есть время; пройдет лето, и жизнь твоя переменится.

В ту пору я сделал для себя два открытия. Я выкурил первую сигарету и обнаружил кино. Сигарета была свернута из табака, собранного по окуркам, и вызвала у меня кашель и тошноту. От кино у меня тоже закружилась голова. Конечно, в первый раз я почти ничего не понял, но это было словно чудо, я видел сцены, людей и места, которые знал раньше — неведомо когда и где, а потом позабыл. Какие женщины! Они не могли быть настоящими, из мяса и костей, и, однако, смеялись, разговаривали, целовались, плакали... И мужчины тоже. Конечно, они, как везде, делились на хороших и плохих, но и мужчины и женщины были совсем не такие, каких встречаешь на улицах. Зажегся свет, и мне захотелось плакать. Как прекрасно было все, что я видел и слышал! Эваристо потянул меня за локоть.

— Ну как, разобрался, что к чему, парень?

Я был настолько растерян, что не ответил.

— Ты еще не знаешь, в чем здесь фокус...— И пока мы выбирались из зала, он объяснял:— Вот смотри... Тот, кто у них коммивояжер, никакой не коммивояжер, а мужик, который хочет улестить ту цыпу, и он не продает ей ожередье, а дарит. А ее брат — вовсе не брат, а муж. А гостиница, куда идут коммивояжер и дамочка, никакая не гостиница, а дом свиданий. Тут заварушка между шлюхами и потаскунами, парень. Для нас это переделывают, чтобы мы ничего не поняли, точно мы идиоты или грудные дети. Ясно?

Я повторил свои опыты с курением еще и еще раз, пока не победил естественное отвращение и не приучил к табаку легкие и желудок. И я пристрастился к кино. Понемногу я научился отделять зерно от плевела и различать, что происходит на самом деле, а что понарошке; Эваристо больше не приходилось объяснять мне фильмы. Я ходил в кино, когда только мог, иногда один, потому что там я бывал счастлив, как нигде. Гасили свет, зажигался экран, и перед моими глазами возникал иной мир, чище и прекраснее реального. И я становился главным героем фильма. Это я скакал на лошади, водил автомобили, преследовал злодея, боролся с ним и побеждал, целовал этих удивительных женщин, был миллионером, генералом, ковбоем, шерифом, пиратом... В зале фильмы демонстрировались без перерыва, я смотрел каждый по два раза и мог бы сидеть так до бесконечности. Кино стало для меня словно второй половиной жизни, которую я не смог прожить, как раз тем, чего мне не хватало. Кроме того, в кино я познакомился с голубоглазой Марибель, но это случилось несколько лет спустя...

И снова пришла зима, с ее продавщицами каштанов, вихрями желтых листьев и ознобом. Много говорили о войне: Роммель, Монтгомери, Сталинград... И впервые заговорили о янки: о том, что у них много денег, но они не умеют воевать; о том, одолеют ли их японцы... И о русских: о том, что они выдохлись, что эта их русская душа совсем их измотала, что немцы выкинут их из Европы... Во всех газетах и журналах, которые я мельком видел в киосках, красовались портреты Гитлера с его усиками и поднятой рукой. Этот тип никогда мне не нравился, слишком уж надутый, слишком щеголеватый, и я попал в точку, потому что кроме всего прочего он оказался еще и сумасшедшим и убийцей. Голод не отступал и мучил, как всегда. Все продавалось и покупалось, не было ничего и было все. По карточкам выдавали на неделю четверть литра растительного масла и горсточку риса, поэтому абсолютно все обращались к спекулянтам. Спекулировали везде — на улице, у входа в метро, в тавернах, перед кинотеат-

рами, но это были мелкие рыбешки. Короли черного рынка совершали сделки в конторах и в своих квартирах. Люди знали: в такой-то квартире такого-то дома продают ткани, обувь, лекарства, а в такой-то — ветчину, сыр, табак.

— Могу предложить автомобильные шины.

— У меня есть фунты стерлингов.

— Не желаете ли нейлоновые чулки, американские, без обмана?

— Вас интересуют импортные шарикоподшипники, из Швеции?

— У моего знакомого есть партия сахара на продажу и португальский кофе.

Все это вполголоса, как будто по секрету, но известно всем и каждому. Поезда уходили с вокзалов, увозя мелких контрабандистов, которые отправлялись по деревням, доверху набив сумки вещами на обмен, и возвращались с теми же пассажирами. они катили налегке, точно беспечные туристы, у въезда в город сбросив своим сообщникам сумки с колбасами, гороховой мукой, картофелем, бататом, растительным маслом и шпиком. Жульничество и изворотливость стали специальностью испанцев.

Дон Сатурио был единственным в доме, кто продолжал преуспевать. Он даже сумел купить, из третьих или четвертых рук, автомобиль, итальянскую малолитражку, сделанную на века. Он подкатил к дому, отчаянно сигналя, и с тех пор каждое утро и каждый вечер мы были свидетелями его отъездов и возвращений: он неизменно переговаривался с женой и детьми, стоя на мостовой, а те глазели на него с балкона. Это был настоящий спектакль.

— Ради бога, не спеши, Сатурио.

— Счастливо, папа!

— Машина работает как часы, а горючего берет меньше, чем зажигалка. В воскресенье я повезу вас всех в Сеговию, посмотрите, какой у нее ход.

Тем временем он протирал ветровое стекло, драил никелированные ободки, пинал ногой шины, гладил машину по бокам и, наконец, ухватившись за ручку дверцы, поднимал глаза к своим домашним, а те восторженно кричали и аплодировали ему.

Мама была уже полноправной привратницей и владелицей каморки, и дон Сатурио всякий раз, когда кто-нибудь мог его слышать, не упускал случая похвалиться своими заслугами:

— Видите, Росарио, как все устраивается? Видите, я всегда выполняю свои обещания! А не видите — так посмотрите хорошенько, Росарио.

Со своей стороны, я очень скоро понял, что дон Сатурио останавливается поболтать с мамой чаще, чем следовало бы, и это открытие встревожило и огорчило меня; с тех пор я старался всегда бывать дома в часы, когда он имел обыкновение уходить или возвращаться. Я притворялся рассеянным, но не упускал его из виду и замечал, что мое присутствие ему неприятно, хотя он и улыбался кривой улыбкой.

— Ах, этот мальчуган!.. Не пора ли нам набросить на него узду, а, Росарио?

Все же иногда я отвлекался и опаздывал, занятый своими делами. Однажды, когда это случилось, мама позвала меня в спальню и очень таинственно, словно опасаясь, что кто-нибудь нас подслушает, достала из самой глубины бельевого ящика кусочки тоненького картона и показала мне.

— Вот погляди, что оставил мне дон Сатурио.

Это были карточки на полный табачный паек.

— Он просит, чтобы я их продала,— продолжала мама,— по сто пятьдесят песет за штуку. За каждую проданную карточку дон Сатурио обещал мне пять дуро. Мне было неловко отказать ему, но я не гожусь для таких вещей.— Уже отвернувшись, чтобы положить их на место, она добавила: — Еще он сказал, что карточки достает один его друг, а он только вроде бы ему помогает.

— Какая разница, мама,— поспешно сказал я, задерживая ее руку,— чьи это карточки, дона Сатурио или его друга. Продажу я беру на себя.

— Ты? — Она удивленно посмотрела на меня.— Но, сынок, что бы сказал твой отец?

— Был бы мой отец жив, все бы шло по-другому, но, к несчастью, он умер.

Моя самоуверенность и бойкость смутили ее еще сильнее, но она не уступала, пока, наконец, мне в голову не пришел решающий довод:

— Ты же должна каждую неделю носить еду дону Эладио? А что ты будешь ему носить, если у тебя нет денег?

— Я делаю для него все что могу, ты прекрасно это знаешь, потому что нет греха чернее неблагодарности.

— Вот это я и говорю.

Я нанес удар по одному из ее уязвимых мест, и сопротивление было сломлено. Все же она еще возразила напоследок:

— А если тебя поймают?

— Если меня поймают... я скажу, что нашел их на улице, или в каком-нибудь дворе, или кто-то выронил их из машины,— выдумывал я.— Да и в самом деле, что они могут мне сделать?

И она согласилась, хоть и с крайней неохотой. «Значит, вот что надо было дону Сатурио?» От этой мысли у меня словно гора с плеч свалилась, теперь руки у меня развязаны.

Разумеется, карточки я принес Мстителям. Поначалу это показалось всем беспроигрышным делом, но когда мы перешли к конкретному плану операции, посыпались скептические замечания:

— А кому мы их станем продавать? Вот так просто подойдем на улице к какому-нибудь типу и спросим: «Хотите купить табачную карточку?» Он может подумать, что мы ее украли или собираемся его надуть, да и вообще может оказаться шпиком, трусом или сволочью; скажет поначалу: да, надо сперва посмотреть, настоящая ли она, а потом сунет в карман — только мы ее и видели.

Каждый высказывал свое мнение, но ни один не мог предложить приемлемый план; наконец заговорил Эваристо:

— Это лучшее из всех дел, какие нам перепадали, неужто мы упустим его из трусости, как слюнтяи. Надо просто взяться с правильного конца, вот и все. Так что... Давайте мне и смотрите...

В тот же день, у нас на глазах, он вошел в табачную лавочку один, а все мы, волнуясь и холодея от страха, ждали его поблизости; через некоторое время, показавшееся нам бесконечным, он появился в дверях, довольный донельзя.

— Все прошло как по маслу,— кинул он нам на ходу.— Идемте.

Мы примчались в наш двор, и там он в немногих словах рассказал, как все произошло.

Он отозвал продавца в сторону и предложил купить у него табачную карточку, которую нашел на улице. Лавочник скривился, но потом, убедившись, что этих слов не слышал никто из клиентов, которых обслуживала его дочь, захотел ее посмотреть. Эваристо показал карточку, не выпуская ее из рук, и так как лавочник все еще

колебался, наш атаман разорвал ее пополам и протянул ему половину.

— Как делают в кино с банкнотами, помните?

Повертев ее так и этак, лавочник решил, что она настоящая.

«И сколько ты за нее хочешь?»

Но Эваристо сделал вид, что не слышит.

«У меня есть еще».

«Сколько?»

«Много».

Жадность лавочника ускорила заключение сделки.

«И почем?»

«В розницу — по двести пятьдесят песет. Оптом — по двести».

«Беру двадцать штук».

«Сегодня я могу продать вам только пять. Завтра принесу остальные».

«Идет».

«Но только из рук в руки».

«Хорошо, хорошо, из рук в руки».

Он спросил, когда получит карточки.

«Если деньги у вас здесь, то прямо сейчас».

«Погоди, когда останемся одни».

И сделка произошла так, как велит неписаный закон: одна рука протягивает товар, другая берет деньги.

— А вот и купюры.— И он показал нам толстую пачку.

Только за месяц мы продали больше трехсот табачных карточек в лавочки, в бары, чистильщикам сапог. Мы купались в деньгах, но дни роскоши скоро миновали — как и все хорошее на свете. Все кончилось в тот вечер, когда я, вернувшись домой, услышал внутри, на кухне, голос дона Сатурио, тряхнувший меня, как электрический разряд. Я застыл на месте, не решаясь шевельнуться, но мамин голос подтолкнул меня, и я неслышно приблизился к двери. Мама говорила:

— Вы женатый человек, дон Сатурио, это невозможно.

— Не зови меня дон Сатурио. Говори просто Сатурио.

— Все равно. Это невозможно.

— А я виноват, что женат на бледной немочи? Ты вдова и ничем не связана, и, если б захотела, мы смогли бы понять друг друга и быть счастливы. Кроме того, у тебя есть сын. Хватит уже ему болтаться по улицам, как беспризорнику.

Вот гад! Называет маму на «ты» и, чтобы добиться своего, еще приплетает меня!

— Я уже сказала вам, что нет. Оставьте меня.

— Об этом и не заикайся. Будь что будет, но я не успокоюсь, пока тебя не заполучу. Думаешь, я идиот?

— Я ничего не думаю, дон Сатурио. Я честная женщина и прошу вас выйти отсюда и оставить меня в покое.

Голос мамы был мягким, вкрадчивым, в нем слышались усталость и мука.

— Я совсем голову потерял, Росарио, и это ты виновата. Конечно, дон Сатурио хороший, когда дает тебе есть в своем доме, когда добивается для тебя места, когда предлагает тебе заработать несколько песет, но когда он просит, чтобы ты отнеслась к нему с пониманием, тогда дон Сатурио — женатый человек, а ты — честная женщина и недотрога, да? А почему я делал все это для тебя, как ты думаешь? Или тебе еще мало и ты хочешь денег в придачу?

— Вы ошибаетесь, я не из таких, я не продаюсь,— проговорила мама, разрыдавшись.

— Ах, нет? Да ты еще хуже, если хочешь знать. Ты из тех, что сначала распалят человека, а потом...

Но я не дал ему докончить. Я распахнул дверь и, ворвавшись на кухню, одним прыжком встал рядом с мамой. Мое появление привело его в замешательство. Мы молча, с безграничной ненавистью глядели друг на друга. Наконец дон Сатурио громко сказал:

— Ну что ж, прекрасно.— И саркастически улыбнулся.— Я отлично знаю, за что убили твоего мужа: за то, что он был красный. И ты такая же. Но теперь мой ход, и посмотрим, куда ты денешься со своей гордостью, когда потеряешь место и очутишься на улице.

— А вы очутитесь в тюрьме или еще где-нибудь похуже! — крикнул я.

Он хотел было засмеяться, но у него вырвалось лишь что-то вроде кашля, и он ушел разъяренный, хлопая всеми дверьми.

— У нас есть свидетели! — крикнул я ему вслед.

С этого дня дон Сатурио больше не пытался приставать к маме, и в этот же день кончилось мое детство.

III

Викториано смотрит на меня улыбаясь и закрывает бритву. Викториано — спокойный и серьезный, когда-то он был алькальдом в своем городке.

— *Чтобы понять людей, нет ничего лучше, как стать алькальдом. Принимая алькальдский жезл, думаешь, что наконец-то пришло время наладить жизнь в городке. Все ясно, и ты знаешь — или тебе кажется, будто ты знаешь: перед тобой только один путь и дважды два — всегда четыре. Одни смотрят на тебя с недоброжелательством, другие, напротив, похлопывают по спине, и это кажется тебе в порядке вещей, ведь на всех не угодишь; но стоит только захотеть кое-что исправить — и начинается... Понимаешь, враги хотят перерезать тебе глотку, а друзья — воспользоваться тобой, чтобы перерезать глотку другим. Чего ни коснись — тут же оказывается, что ты разворошил осиное гнездо.*

«Осторожнее, не вмешивайся в это, не то крепко насолишь губернатору».

Секретарь говорит, что бумаги поставщика, который ворует цемент на строительстве бойни, в полном порядке или что у этого поставщика рука в Мадриде.

«Да неужто ты собираешься подложить свинью бедняге Пако, нашему Толстяку, ведь ему, чтобы прокормиться, волей-неволей приходится урывать по крохе то здесь, то там? А он еще пошел на войну добровольцем. Почему бы тебе не прижать костлявого Марселино?»

«Костлявый Марселино тоже ушел добровольцем на войну».

«Да, Викториано, но он из другой компании, а как только пришел его черед заседать в совете, так он не растерялся и тут же отвел себе воду от общего водопровода — безо всякого разрешения и за счет муниципалитета».

Ты хочешь исправить беззаконие с помощью друзей, ставя их в пример, чтобы укрепить свой авторитет и использовать его потом в борьбе с противником. Но это невозможно. Кто-то завладел общественными землями; кто-то затеял ненужное строительство для того, чтобы один советник продавал кирпич, другой поставлял трубы, третий использовал свои грузовики, четвертый погасил взносы за экска-

ватор, купленный специально с этой целью, а пятый пристроил управляющим своего зятя; кредит, отпущенный на библиотеку, пошел на то, чтобы сделать плохое футбольное поле на земле, принадлежавшей приятелю бывшего алькальда, которая не стоила ни гроша; недавно построенный дом доктора рушится, и доктор грозит уехать, если дом не отремонтируют; на улицах установили только десять фонарей из пятидесяти, которым следовало уже гореть, а кроме того, гидроэлектростанция прекращает подачу энергии, когда ей заблагорассудится, безо всяких предупреждений и не извиняясь; служащих набрано вдвое больше, чем требуется, и все они вместе делают половину того, что надо; сметы муниципалитета едва хватает на то, чтобы платить проценты по прежним займам, и приходится делать новые долги, потому что налоги собирают, чтобы платить служащим, а служащие существуют для того, чтобы собирать налоги; владельцы лавок стонут, что не могут платить такие подати; субботняя ярмарка приводит в отчаяние местных лавочников: они требуют, чтобы с бродячих торговцев брали более высокие налоги, а те протестуют против дискриминационных действий местный властей, которые закрывают глаза на дела одних и притесняют других; Паскуаль, владелец кинотеатра, мечет громы и молнии в адрес священника, который крутит фильмы в приходе безо всяких отчислений, а священник обвиняет Паскуаля в том, что тот разрешает детям смотреть картины для взрослых, публика же недовольна, потому что фильмы так режут, что понять в них ничего невозможно; одна из улиц упирается в скотный двор дона Хусто, и теперь он хочет построить над ним четырехэтажный дом; муниципальные школы — настоящая жаровня летом и холодильник зимой, половина стекол в них перебита, в уборные невозможно войти, скамьи и столы изрезаны ножами и исколоты шилами, стены облупились, крыши дырявые и протекают насквозь; когда идет дождь, улицы превращаются в болота (за исключением тех отрезков, где живут люди, когда-либо заседавшие в городском совете) и становятся скопищем пыли, когда сухо, причем все они упираются в свалки; короче говоря, скапливается тысяча проблем, решить которые легче легкого, но на деле они неразрешимы. И все жители требуют от тебя, алькальда, чтобы ты решил их, но за счет других, за счет соседа.

«Нет, нет, Викториано, этим тебе заниматься не надо».

«Так зачем, спрашивается, я стал алькальдом?»

«Но, видишь ли, нужно действовать очень осмотрительно».

«Осмотрительно? Да стоит мне только сделать шаг, как я уже наступаю на чью-то мозоль...»

И я сказал себе: «Викториано, твое дело — стричь и брить». Но губернатор и слышать не хотел о моей отставке:

«Кого же я теперь назначу там алькальдом? Пожалуйста, назови мне подходящее имя, и я тебя освобожу».

«Назначьте дона Хоакина, он — опытный агроном, человек добросовестный, и его деловые интересы лежат за пределами городка».

«Нет уж, уволь. Я знаю, что он человек справедливый, но он с противоположного тротуара. Эта кандидатура не годится».

И мне пришлось заболеть, чтобы меня освободили и назначили дона Хусто, который уже был алькальдом, и первое, что тот сделал,— это поручил самому себе построить четырехэтажный дом над скотным двором, перегораживавшим улицу.

— Теперь ты доволен, а?

— Доволен.— Я провожу ладонью по щекам и подбородку и добавляю: — Но еще немного царапает.

— А я сейчас пройдусь еще разок.

— Ага.

Он снова берется за кисточку и намыливает мне щеки, и я чувствую, как у меня щекочет в ноздрях, и изо всех сил стараюсь не чихнуть — как тогда, бывало, когда я отпускал молотый перец в «Колониальных товарах Уреньи», потому что я вначале работал мальчиком на посылках, а потом продавцом в продуктовой лавке, которая называлась «Колониальные товары Уреньи», собственность сеньора Пла́сидо Уреньи. Через несколько месяцев после инцидента с доном Сатурио, в тот день, когда мне исполнилось четырнадцать лет, мама сказала, что пора мне изменить свою жизнь. «Хватит тебе бегать по улицам. Надо подумать, как стать взрослым». По правде говоря, мне уже немножко поднадоело быть шпаной. Инстинкт предупреждал меня, что в один прекрасный день мы, Мстители, на чем-нибудь споткнемся и кончим плохо. Эваристо, Томасину и еще некоторым мальчишкам уже перевалило за пятнадцать, и их начинало занимать другое: девочки, семейные нужды, необходимость научиться какому-нибудь ремеслу на будущее. Сам Эваристо сказал нам, что его отец должен со дня на день выйти из тюрьмы и, делать нечего, придется ему стиснуть зубы и поступить учеником в механическую мастерскую. Он хотел стать шофером грузовика. «Сколько всего узнаешь и повидаешь за рулем, развозя товары из города в город. А потом, при этом можно спокойно спекулировать и основательно подзаработать». Через несколько дней Эваристо явился в наш лагерь вместе с отцом. То был худой, больной с виду человек; довоенный костюм висел на плечах, как на вешалке. Он внимательно оглядел нас всех, спросил, как каждого зовут и кому сколько лет. Потом он заговорил о проигранной войне. «Кто-то должен же расплачиваться — вот я и стал одним из тех, кто платит за других, хотя мне самому не в чем раскаиваться. Но такова уж жизнь. Я вышел из тюрьмы, а другие не выйдут никогда. Это вопрос удачи. Самое главное теперь — смотреть вперед, в завтра, а завтра — это вы. Поэтому вы должны быть мужчинами и продолжать наше дело. Но вы пропадете и никогда не станете настоящими мужчинами, если не измените своего поведения. Первое условие для того, чтобы бороться, добиваться справедливости,— это быть правым, а чтобы быть правым, надо сперва стать честным». Он дал нам еще много советов. Думаю, мы не поняли всего, что хотел сказать нам этот человек, но после его ухода мы приуныли и заскучали. К тому же на следующее утро Эваристо вдруг не явился к месту сбора на площади Аточа и только перед самым вечером мы увидели его в большом, не по росту, комбинезоне, с черными от смазки руками. «С утра и до этих пор я подметал мастерскую и протирал детали». То был его первый рабочий день.

После ухода Эваристо шайка утратила центр гравитации. Томасин попытался заменить атамана, но из этого ничего не вышло, и, рассердившись на товарищей, которые, как он считал, недооценили его, он тоже дезертировал. Мы, оставшиеся, потеряли всякий интерес к своим занятиям, не знали, что нам делать, и постепенно скука и безразличие стали подтачивать наш боевой дух. Шайка понемногу распадалась. Вот почему мне не стоило большого труда пойти навстречу желаниям мамы. Она раздобыла мне несколько книг у одного из соседей, где она стирала — дон Адольфо был профессором академии с улицы Аточа,— и по утрам я занимался один, в привратницкой, наблюдая за подъездом, чтобы в дом не забрел какой-нибудь чужак, выполняя поручения жильцов и отвечая на их вопросы, а тем временем мама убирала лестницу, что полагалось ей по должности, или работала у кого-нибудь в квартире. После обеда она спрашивала у меня урок и помогала разобраться в том, чего я не мог понять в

одиночку. Мама учила меня грамматике, географии и арифметике и заставляла писать диктанты. Мы вместе решали задачи, а когда она видела, что я больше не могу, она давала мне перекусить и отпускала немного погулять.

Продуктов по-прежнему не хватало, спекуляция превратилась в хроническую болезнь, но время от времени с помощью картофеля и бобов удавалось устраивать короткие передышки в голодухе. Надписи на стенах, гласившие: «Гибралтар — Испании!» и «На Москву!», выцвели и размазались, и уже куда менее звучно произносились слова «автаркия», «новый европейский порядок», «империи»... Газеты, которые я листал в киосках, продолжали говорить о войне: бомбежки, сражения в России, эластичная оборона, секретное оружие... И, конечно, все радовались колотушкам, достававшимся солдатам Муссолини. Теперь, проходя с кем-нибудь через парадную, дон Сатурио уже не превозносил немцев так, как прежде. «Надо признать, что русские сражаются, как тигры, да и англичане — крепкий орешек». Его мнение об американцах тоже изменилось. «Они делают танки и самолеты, как сосиски, и у них одних больше кораблей, чем у всех остальных в мире, вместе взятых. Они проглотят Италию в два счета».

Грустно мне было теперь бродить в одиночку. Вид площади Аточа, так поражавший меня в первое время, теперь нагонял тоску. Я чувствовал себя затерянным среди многолюдной, суетливой толпы. В самом деле, казалось, будто мужчины и женщины лезут из щелей брусчатки, словно грибы. С каждым днем все больше, все больше народа. Откуда он берется? По одежде и говору легко было заключить, что это нашествие деревни. И чего только они едут сюда? Они шли табунами, всегда увешанные котомками и пакетами, таращась по сторонам, недоверчивые и угрюмые, но неудержимые, точно каменная лавина, сорвавшаяся с горы. Я не мог понять, кто они такие, но однажды Эваристо, которого я как-то вечером пошел повидать после работы, сказал мне:

— Это лачужники, приятель.

Бывший атаман Мстителей показался мне выше, а главное, гораздо старше, чем был в действительности. Он встретил меня дружелюбно, но несколько отчужденно и каждую секунду подчеркивал свое огромное надо мной превосходство.

— Лачужники? Что это такое?

— Дезертиры от плуга, они явились в Мадрид, думая, что здесь манна с неба сыплется; деревня, приятель. Деваться им некуда, они оседают на окраинах, и там каждая семья строит себе лачугу, чтобы иметь крышу над головой. Для нас они просто бич, потому что берутся за любую работу и согласны на гроши. Вот так-то.

— А почему они уезжают из деревни?

— Да ведь там они помирают с голоду. Конечно, поначалу им и здесь приходится не сладко, но уж не знаю как, а вскоре они что-нибудь да находят.

Потом Эваристо спросил меня о наших прежних товарищах, а когда я ответил, что почти ни с кем не встречаюсь, сурово заметил:

— Я их тоже не вижу. Делать нечего, надо работать, парень, если хочешь быть мужчиной на все сто, как говорит мой отец.— Потом он спросил: — А тебе нравится механика?

— По-моему, нравится.

— Ну, так если ты когда-нибудь захочешь начать... Здесь у нас много работы, и уж лучше взять тебя, чем какого-нибудь лачужника...

Он спешил мыться и расстался со мной, а я так и продолжал стоять посреди двора.

Конечно, мне нравилась механика, но у мамы были насчет меня другие планы.

— Вот мой мальчик, сеньор Пласидо. Грамотный и считать умеет.

Хозяин осмотрел меня с головы до ног. У него были выпученные глаза, длинный нос, алчные губы и убегающий назад лоб. Лет ему было около сорока. В белом халате, на шее черный галстук.

— В «Колониальных товарах Уреньи» не лентяйничают, мальчик.— И его глаза стрельнули в мою сторону, чуть не задев мое лицо.

— Хорошо,— сказал я.

— И только за чаевые и обед.— Его улыбка показалась мне насмешливой гримасой.

— Не беспокойтесь, сеньор Пласидо. Я одного хочу: чтобы мой сын был на месте и учился работать,— сказала мама.

— Это мне нравится,— одобрил Уренья.— Хорошо сказано. И учтите: я принимаю его лишь в память об его отце и чтобы оказать вам услугу, если бы не это... Сейчас не время брать на себя лишние обязательства.

И так меня продали в первый раз.

— Ну как, хорошо?— спрашивает Викториано, проводя бритвой по щеке.

Ах, да, Викториано. У него на все есть объяснение.

— *Видишь ли, Энрике, жизнь — это ярмарка, на которой все продают и покупают и все можно продать и купить. Даже люди продают и покупают друг друга, и очень немногим удается избежать этой участи.*

Глаза его туманятся: собственные слова ранят его душу, конечно, в них мало приятного, но для него это такая же огромная и горькая истина, как смерть.

— *Я уселся на камешек у дороги. Идти дальше я не хочу, знаю, что там нет ничего нового. И вот я смотрю, как люди проходят мимо, как они лезут из кожи вон и сбивают друг друга с ног, чтобы самим оказаться впереди и прибежать как можно скорее — в никуда. Это спектакль, от которого я смеюсь и плачу зараз. И все же бывают минуты, когда коллективное безумие заражает меня, и я начинаю сомневаться. Может, это я ошибаюсь? Но сомнения скоро рассеиваются, и я продолжаю сидеть и могу лишь жалеть тех, кто бежит и спешит понапрасну.*

— Очень хорошо, Викториано. Теперь не колется,— отвечаю я.

В первый день работы в «Колониальных товарах Уреньи» мне не пришлось ничего разносить, но в тот же вечер, заперев дверь на задвижку, сеньор Пласидо преподал мне первый урок торговли:

— Сейчас ты увидишь, как надо готовить пайки сахара. В эту неделю норма сто двадцать пять граммов на карточку. Ну так вот...

И сеньор Пласидо принялся развешивать порции по сто граммов вместе с бумагой.

— Только сто граммов, ясно?

— Да, сеньор.

— Ну так продолжай.

Когда я закончил, он показал мне, как сворачивать пакетики, и пока мы занимались этим делом, объяснил, в чем суть метода:

— Это не воровство, мальчик. Это просто вычитание. На нем строится капиталистическая система. Вычитают все, начиная с государства: «Вычесть не сумеешь — не разбогатеешь», запомни. Тебе понятно? Так надо делать со всем, что взвешивается и отмеряется: оливковым маслом, бататом, чечевицей... Ясно?

— Да, сеньор.

— Умение вычитать — основа торговли.— И последовали примеры: — Молоко и вино разбавляют водой, щепки и уголь тоже сырые; хлеб весит меньше, чем ему полагается, а уж о консервах и говорить нечего...— Он взял банку сардин в масле и показал мне.— Ну-ка прочти, что здесь написано: «Вес приблизительно двести пятьдесят граммов». Как тебе нравится? А это попросту означает, что фабрикант вычел отсюда свое. И таким образом, если мы не будем вычитать наше, знаешь, кем мы станем? Банкротами, вот кем, и очень скоро.

Значит, все фокусы-покусы продавцов, покупателей и воришек на рынке Легаспи — это нормальное явление? И я сказал себе: «Энрике, не теряйся, и вычитай все, что можешь, но только для себя».

Начиная со следующего дня я каждое утро разносил по домам заказы, затянутый в ненавистный форменный передник, на плече плетеная корзина с пакетами, в руке обрывок оберточной бумаги, на котором кратко нацарапаны адреса и некоторые дополнительные указания; перед уходом — неизменное напутствие: «Только за наличные, Энрике. Никаких там «я рассчитаюсь завтра». Пускай хоть плачут. Хоть умоляют тебя на коленях».

После обеда сеньор Пласидо заставлял меня подметать лавку и заднюю комнату, наполнять опустевшие ящики и выкладывать товары; а вечерами я готовил заказы на следующий день. Домой я возвращался без сил, мечтая только об одном: упасть на кровать и заснуть.

Обычно мне приходилось подниматься в квартиры по лестнице, потому что привратники не разрешали пользоваться лифтом. Любой, кто открывал мне дверь, тут же кричал, не здороваясь:

— Это мальчик из лавки!

В каждой квартире я оставлял по нескольку пакетов. Только одним нашим клиентам, сеньорам де Портильо, я раз в неделю относил корзину целиком. К тому же я любил этих клиентов больше всех и ходил туда с удовольствием. Меня встречали служанки, две хорошенькие девушки, которые сразу же принимались щипать меня, дергать за уши и даже осыпать бурными поцелуями. Я входил на кухню с черного хода, и девушки тут же делали мне славный бутерброд из большой краюхи хлеба с толстым ломтем поджаренного шпика посередине; я ел, а они тем временем разбирали заказы.

— Ну и ловкач же дядюшка Пласидо,— говорила кухарка, прикидывая на руке один из пакетов, и обе смеялись.

— Он наш земляк, тоже из Риохи, ты не знал?

Я покачал головой, потому что рот у меня был как раз занят шпиком, и девушка добавила:

— Видишь, он уж и тени своей не доверяет.

— Да и как ему доверять после того, что с ним случилось?

И слово за слово я узнал, что сеньор Пласидо сидел в памплонской крепости Сан-Кристобаль как красный. Заключенные организовали побег, но он предпочел остаться, и за это после войны его отпус-

тили на свободу. Тогда он продал оставшийся у него виноградник — продуктовую лавку, наследство отца, он уже потерял — и с деньгами, которые ему удалось наскрести, приехал в Мадрид, а здесь купил другую лавку, брошенную бежавшим за границу хозяином.

Девушки, обе пышненькие и ладные, постоянно сновали полуодетые. Кухарка Агустина частенько встречала меня в одной нижней юбке и, разгуливая взад-вперед, роясь в шкафах, демонстрировала мне полуголую грудь и еле прикрытые бедра. Она и тискала меня больше другой.

— Было бы тебе годка на три-четыре побольше, парнишка...— говорила она, прижимая меня к груди.— Ух, а крепенький-то он какой!

— Потише, дурочка, ты же его попортишь,— смеясь, останавливала ее вторая, Асунсьон.

В тесных объятиях Агустины, ощущая душный запах ее пружинистого тела, я чуть не терял сознание, но все же готов был стоять так без конца, позабыв о времени.

— Брось, пускай он лучше сейчас пообомнется, а то вырастет теленком-несмысленышем,— отвечала кухарка.

Девушки неизменно давали мне песету на чай, и из-за этого, а также из-за того, другого, я всегда с нетерпением ждал пятницы, чтобы повидать их снова. Это они, здоровушки из Риохи, приучили меня смотреть на женские груди и ноги.

Из других домов мне нравилось ходить к донье Кармен, вдове губернатора времен монархии. Наверное, квартира у нее была очень большая, потому что в прихожей я всегда натыкался на ватагу ребят, которые гоняли в футбол, ездили на трехколесном велосипеде, играли в войну или дрались по-настоящему. Обычно открывала мне сама донья Кармен, седовласая сеньора, одетая в черное; ее все еще красивое лицо сияло простодушием и добротой. Разговаривала она приветливым голосом и встречала меня очень ласково.

— Проходи, проходи, сынок,— говорила она, касаясь моей щеки своей маленькой белой рукой.

Потом она пропускала меня вперед, и я шел по длинному коридору с облупленными, запачканными стенами в сопровождении толпы детей. Время от времени донья Кармен стучала на ходу в ту или иную дверь костяшками пальцев и громко объявляла: «Принесли заказы из лавки, донья Пепита, или донья Энкарнасьон, или донья Пруден». Наконец мы попадали на кухню, огромную, ободранную, грязную, вонючую, загроможденную шкафами. Стоило мне опустить плетеную корзину на один из мраморных столов, как ребятишки набрасывались на пакеты; они жадно все ощупывали, обнюхивали и даже умудрялись вонзать зубы в продукты, так что мне стоило большого труда защищать товары от их нетерпеливых рук. Потом появлялись жилички, всегда в дурном настроении, каждая с ключом от своего шкафа, и начиналась раздача; эта процедура совершалась по установившемуся порядку. Каждая по очереди перечисляла заказанное, и я вручал ей тот или иной пакет, пока не вырастали три отдельные кучки. Конечно, жилички часто путались и ошибались, между ними возникали страстные и едкие споры, а ребята перебивали матерей своими криками:

— Плитка шоколада.

— Ой, мама, как здорово, дай мне дольку!

— Вы должны мне три дольки, донья Энкарнасьон.

— А вы мне чашку масла, донья Пруден.

— Эй, ты, а нам принесли сосиски!

— А нам колбасу, так что заткнись!

— Сам ты заткнись!

— Тихо! Заставьте же их замолчать!

— А вы не забыли, донья Пепита, что я одолжила вам четыре ложки сахара?

— Так то было на прошлой неделе.

— Вот наглость! И уже второй раз вы выкидываете этот номер.

— Врете!

— Но, донья Пепита, донья Энкарнасьон, крутом же дети!

— А вы чего здесь торчите, донья Кармен?

— Я хозяйка этого дома.

— Какого дома?

— Как какого, да этого самого, где вы живете с моего разрешения.

— Только потому, что я позволяю вам тянуть из меня жилы; ведь я плачу за одну комнату вдвое больше того, что вы платите управляющему.

— И этого еще мало, ведь я терплю ваше общество.

— А-а, вот и губернаторша запела.

— Замолчите, пожалуйста, донья Пепита.

— Не могу, извините меня, донья Энкарнасьон, но чтобы я молча смотрела, как пыжится донья Кармен?! Ее муж был губернатором при короле, ну и что такого? Старая рухлядь — и больше ничего.

— Это мой муж рухлядь, упокой господи его душу?

И донья Кармен принималась плакать. А донья Пепита проклинала тот час, когда ей взбрело в голову снять комнату в доме монархиста. Донья Пруден уговаривала донью Пепиту, а донья Энкарнасьон кричала:

— Сеньоры, мы ведем себя как на рынке! Никто из нас не виноват, что четырем семьям приходится жить в одной квартире.

Иногда в разгар спора женщины принимались корить донью Энкарнасьон за то, что ее муж пристроился на работу по блату, а она в свою очередь немедленно накидывалась на остальных:

— По блату? Да мой муж прошел всю войну! А вот где был ваш, донья Пепита, когда мы проливали кровь под Брунете?[1] Конечно, в тылу, в Сарагосе, интендантом. А ваш, донья Пруден? В Мадриде, с красными. Теперь-то страсть как удобно и выгодно говорить, будто он собирал сведения для националистов. Надо еще посмотреть, для кого он шпионил!

Иногда сеньоры пытались удержаться в рамках приличия и отводили душу на малышах, а те, спасаясь от щипков и оплеух, стайкой уносились в прихожую. Но, несмотря на все это, я с удовольствием раздавал продукты и старался растянуть это занятие подольше, чтобы встретиться на лестнице с девочкой в красном берете, когда та возвращалась из школы. Она была примерно моего возраста, может чуть постарше или чуть помладше. Мы никогда не сказали друг другу ни слова, но от ее глаз и улыбки меня вдруг захлестывала волна света и тепла, и я преображался. Судьба не всякий раз дарила мне мимолетную встречу с девочкой, но надежда увидеть ее заставляла меня забывать об этих фуриях и их перебранках и даже о тяжести корзины с заказами.

Донья Кармен провожала меня до дверей и по пути, давая несколько мелких монет, изливала душу:

— Теперь уже нет настоящих сеньор, сынок. Приходится как-то жить, а не то неужели я пустила бы в свой дом подобных мещанок. Но покойник не оставил мне ничего, кроме имени и этой квартиры. Наверное, ад набит уже до отказа, вот дьявол и выдумал общие квартиры, чтобы наказывать христиан, да простит меня господь.

Остальные клиенты были еще беднее, в большинстве случаев они

[1] Летом 1937 года возле селения Брунете под Мадридом армией Народного фронта была предпринята наступательная операция.

тоже снимали чужие углы, и все вели отчаянную борьбу с тяжелейшими условиями жизни. У этих людей была лишь одна забота: как бы выжить; неуверенные в завтрашнем дне, они безостановочно метались между страхом и гневом. В эти дни я начал понимать, сколько костров ненависти пылает в людских сердцах, какая сумеречная печаль таится под блеском улыбок, сколько неудач и разочарований скрывается за резкими жестами и вызывающими манерами, какая неудовлетворенность, досада, протест кипят под личиной покорности и конформизма, и нет почти никого, кто не чувствовал бы себя непонятым и скованным по рукам и ногам.

Семья сеньора Пласидо состояла из сеньоры Эулохии и двоих детей: Маноло и Эуфросины. Сын учился на адвоката, а двадцатилетняя дочка собиралась замуж за техника Федерико. Сеньора Эулохия редко появлялась в лавке. То была расплывшаяся, грудастая и смирная женщина с влажным взглядом и сюсюкающим голоском; ее волосы вечно выбивались из рассыпающегося узла, а на верхней губе, покрытой темным пушком, блестели капельки пота; она умела говорить лишь о том, что́ стряпали и ка́к отмечали приходские праздники в их деревне. Эуфросина внешне очень походила на отца, хоть его черты и смягчались в ней молодостью и женственностью, у нее была молочно-белая кожа и торчащие груди. Она помогала нам только в самые оживленные часы, получая с покупателей деньги. Перед тем как подбить итог, она впивалась в глаза клиентов пристальным взглядом и затем произносила сумму очень громко, чтобы услышал отец. Сеньор Пласидо, способный обслуживать, не сбиваясь, нескольких покупателей зараз, говорил «верно», и лишь тогда она клала деньги в ящик и отпускала клиента. Мне очень нравилась Эуфросина. И якобы затем, чтобы привести в порядок полки под прилавком или поднять то, что я заранее уронил, я присаживался или становился на колени и пробегал взглядом по ногам девушки, насколько позволяло платье. Мои глаза словно щекотали ее, потому что она вдруг поворачивала голову и спрашивала:

— Что ты там разглядываешь, головастик?

Но она не сердилась. Напротив, ей как будто льстило мое восхищение, и она иногда не сразу замечала меня или раздвигала ноги чуть пошире, отчего у меня темнело в глазах и даже перехватывало дыхание. И так я сидел под прилавком, свернув голову набок и млея, пока меня не приводил в чувство голос сеньора Пласидо:

— Эй, мальчик!

А Маноло был очень похож на свою мать, толстый, флегматичный, с ленивым взглядом коровьих глаз. Занимался он мало и неохотно. Сеньор Пласидо постоянно тормошил его, корил и поучал:

— Чтобы жить безбедно, в нашей стране есть только два средства: торговля или диплом. Здесь ценится звание, было бы тебе известно. И коли тебе не нравится торговля, приобрети диплом, другого выхода нет. Диплом или нищета, тебе ясно? А какой диплом может быть лучше адвокатского? Ведь у законников столько, столько возможностей.

Мальчик не отвечал, характер у него был кроткий, но он ничуть не исправлялся, потому что, подобно всем спокойным людям, он был упрям как осел. «И тебе не стыдно, оболтус, смотреть, как все мы в этом доме работаем не покладая рук, а ты один живешь и в ус не дуешь, словно какой-нибудь барчук-бездельник? Ты что себе вообразил, забыл, кто ты есть? Дождешься, что в один прекрасный день я отправлю тебя работать на стройку, чтобы ты узнал, почем фунт лиха».

Однажды после такого нагоняя Маноло, сдерживая слезы, наконец заговорил:

— Отец, но мне просто не нравится учиться.

— А-а, так вот оно что! Ну, раз тебе не по вкусу ни лавка, ни книги, может, ты скажешь мне, в конце концов, что же тебе нравится и кем ты хочешь быть? Ну, давай говори. По крайней мере, мы хоть узнаем.

Впервые в жизни Маноло собрался с духом и высказал свое желание:

— Мне бы хотелось плавать по морям. Я бы хотел стать моряком.

— Плавать по морям? Стать моряком? — Сеньор Пласидо чуть не лопнул от возмущения.— Всю жизнь шляться туда-сюда, словно какой-нибудь бездомный бродяга? И ты думаешь, идиот, что так можно разбогатеть? Чтобы я никогда больше об этом не слышал, ясно? Ступай и берись за книги. Не учишься? Хорошо. Станешь взрослым, очутишься без гроша в кармане, тогда возьмешься за ум, бездельник.

Меня он тоже наставлял вечерами перед моим уходом, если только не сидел в задней комнате с друзьями за бутылкой вина:

— Ты еще молокосос, мальчик, но пора и тебе учиться трезво смотреть на жизнь. Не думай, что с тобой всегда будут обращаться так хорошо, без придирок, как у нас в доме. Готовься. Будешь зевать, так с тебя последнюю рубашку снимут. Тебя станут эксплуатировать и пить твою кровь, если ты не встряхнешься и сам не научишься использовать других в собственных целях. Либо молот, либо наковальня — иного выбора нет. Не забывай, мы живем в капиталистическом обществе, а это значит, что здесь правят деньги. Только богач может позволить себе делать все, что ему угодно, и посылать к чертовой матери любого, будь тот хоть семи пядей во лбу. Только богач покупает, ясно? Только он может ставить условия.

На обед он давал мне бутерброд с кильками, точнее, с килькой или с анчоусами и отправлял домой без ужина — так было условлено,— но я следовал его же девизу: «Вычесть не сумеешь — не разбогатеешь» — и тянул там и сям все, что мне хотелось и что попадалось под руку: маслины, сыр, сардины в масле, перец, обрезки ветчины... Поначалу я вычитал тайком, украдкой, но постепенно наглел и, наконец, стал тащить съестное чуть ли не у всех на глазах. Однажды сеньора Эулохия, войдя в заднюю комнату, застигла меня за вычитанием и ничего не сказала, но позвала мужа. Я знал, о чем пойдет речь, и пристроился так, чтобы слышать их разговор.

— Ты знаешь, стоит тебе зазеваться, и мальчишка тащит в рот все, что успевает схватить. Уж лучше бы ты давал ему ужинать, так я считаю. Выходило бы дешевле.

— И для этого ты меня позвала? — ответил ей сеньор Пласидо.— Ты думаешь, я слепой или не знаю, что делаю? Давай я ему ужинать, Энрике вел бы себя так же и обходился бы нам вдвое дороже. Понятно?

Однажды утром не успели мы открыть лавку, как примчался один из друзей сеньора Пласидо, которого я уже знал в лицо: они иногда шептались с моим хозяином в задней комнате. Его распирала какая-то новость — вот-вот сорвется с языка.

— Где твой начальник? — спросил он меня захлебываясь.

Я позвал сеньора Пласидо, и едва тот появился на пороге, как приятель выпалил, уже не в силах сдержаться:

— Муссолини скинули!

Мой хозяин стал белее собственного халата, его точно паралич разбил.

— Что ты говоришь! — пробормотал он.

Друг продолжал сыпать словами:

— Король приказал его арестовать, и сейчас он в тюрьме. Он дал схватить себя, как ягненок, даже не вякнул, а ведь он был из тех, кто

вертит миром, как хочет. Хозяином Италии стал Бадольо, и, кажется, дело идет к тому, что они перекинутся на сторону демократий. Ну и шелуха же эти итальяшки, ну и шелуха!

Но мой хозяин все еще не мог прийти в себя.

— Кто тебе сказал? — спросил он не веря.

— Да Би-би-си же, друг, Би-би-си! Кто еще? Я слышал своими ушами.

Тогда сеньор Пласидо побагровел, как помидор, глаза его чуть не скатились до кончика носа. Мне даже стало немного страшно на него смотреть, казалось, его хватит кондрашка.

— Это правда, что ты слышал сам?

— Сам, конечно, сам, приятель.

Внезапно сеньор Пласидо одним прыжком перенесся через прилавок. Они обнялись.

— Это лучшее, что я слышал в своей жизни! Надо это отметить.

— Вечером, Пласидо. Сейчас мне пора на работу.

— Пусть эти сволочи подождут. Пошли выпьем по рюмочке.

Они прошли в заднюю комнату, напевая «Гимн Риего», смеясь, обезумев от радости.

— Больше я ничего не знаю, Пласидо, больше ничего.

— Это начало конца.

— К чертям дерьмовый фашизм!

— Отольются им теперь наши слезы.

Подошли женщины, держа в одной руке карточки, в другой — черные клеенчатые сумки.

— Что, сегодня здесь не торгуют?

— Сеньор Пласидо,— сказал я, входя в заднюю комнату. Мой хозяин наливал коньяк в два стакана.— Уже идут покупатели...

Патрон прожег меня горящими глазами, как будто, подумал я, перед ним появился закованный в цепи дуче.

— Энрике!

Мне стало не по себе.

— Слушаю.

— Подойди. Выпей-ка и ты.— И он заставил меня глотнуть из его стакана.

Я выпил зажмурившись. Поперхнулся. Почувствовал, как мне обожгло пищевод и желудок, и услышал слова сеньора Пласидо:

— Ничего. Мальчик тоже из наших.

— Будет кто-нибудь отпускать? — кричали женщины.

Вечером, пока я развешивал пайки сахара и чечевицы, мой хозяин и трое его друзей праздновали в задней комнате падение Муссолини, и с этих пор их вечерние встречи участились. Они читали и обсуждали информационные бюллетени английского и американского посольств и изрекали оптимистические прогнозы на будущее. Так я узнал о высадке союзников в Нормандии: «Самолеты закрывали солнце» — «Ты представляешь, что делается, когда столько военных кораблей стреляют разом?» — «Они стерли их в порошок»; о покушении на Гитлера: «И подумать только, что эта сволочь все-таки уцелела...»; и о его конце: «А правда ли, что он в последний момент пустил себе пулю в лоб? Может, так говорят, чтобы его спасти?» — «Если бы русские схватили его живьем, они уж выставили бы его на Красной площади в клетке, как хищника, всем напоказ».— «Так что же ты думаешь?» — «Только то, что фашизму пришел конец. Тебе этого мало?»

Между тем продукты еще выдавались по карточкам, хотя голодали меньше, поскольку налаживалась спекуляция. Появились газометры, болеро Мачина и исторические фильмы Хуана де Ордуньи; трамваи и поезда метро останавливались на полпути из-за нехватки

электроэнергии; часто прекращали подачу воды; машины еле-еле, чихая моторами, преодолевали пасео де-лас-Делисиас; лифты с людьми застревали между этажами; было упразднено римское приветствие, и постепенно спадала лихорадка парадов и маршей; разрывались в клочья партийные билеты, менялся цвет рубашек, и ходили слухи о возвращении к прошлому; поговаривали о «союзниках», о «советской угрозе», о партизанах; глаза моей мамы становились все печальнее, ноги ее пухли, и она скорбела, что мы все еще не в состоянии вернуться и исполнить свой долг перед нашими покойниками, лежащими в безымянных могилах; сеньор Эладио умирал в тюрьме, а мама не успела пересказать ему последнее письмо его дочери, в котором та сообщала, что теперь уж наверняка вот-вот приедет в Мадрид. «Бедный сеньор Эладио. Умереть накануне смены режима и перед самым возвращением дочери»; а дон Сатурио становился все благополучней и довольней день ото дня и уже решительно объявил себя сторонником демократий: «Я всегда был либералом. Это у меня в крови. Английский парламент — самое совершенное политическое учреждение, какое только знала История. Что такое человек без свободы?»

В один из вечеров собравшиеся в задней комнате «Колониальных товаров Уреньи» просто утопали в блаженстве:

— Так решено в Потсдаме.

— Все летит к чертям. Это вопрос нескольких дней.

— Нет зерна.

— Нет бензина.

— Нет электричества.

— Мы на краю пропасти. Маленький толчок и...

— А если нам дадут короля...

И я вздрогнул от категоричного, хриплого и нетрезвого выкрика моего хозяина:

— Какой еще к дьяволу король! Нам нужен только дон Диего! Да здравствует дон Диего Мартинес Баррио! [1]

(Окончание следует)

■

[1] Диего Мартинес Баррио (1883—1962) — испанский политик, президент кортесов в 1936 году; был президентом Испанской республики в изгнании.

РИЧАРД УИЛБЕР

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

«Ясновидящий» (1976) — шестая книга стихов Ричарда Уилбера, шестая за три с половиной десятилетия творческой работы. Уилбер очень требователен к себе; годами он шлифует не то что отдельное стихотворение — даже фрагмент стихотворения, добиваясь высокой простоты и ясности, которые заметно выделяют этого мастера среди других американских поэтов нашего времени.

Это неспокойное время гармонизировано в стихах Уилбера безукоризненной логикой художественной мысли и выверенностью каждого образа. Однако Уилбера никак не отнести к приверженцам «чистой» поэзии, которой безразличны тревоги и заботы текущей жизни. Его стихи по-своему очень глубоко отразили конфликт поэта с бездуховной американской повседневностью, коллизию «окружающей жизни и творческого сознания», ставшею одной из его тем. В творчестве Уилбера никогда не было попыток «абстрагироваться» от окружающего, отдавшись стихии формального эксперимента или герметизма. Не разделяет он и распространенного в США убеждения, будто тягостная атмосфера современной американской жизни сделала невозможным искусство, которое воплощало бы целостный и многомерный образ природы, мира, человека.

Если для многих поэтов его поколения программным принципом был уход от повседневной действительности в область вечных проблем бытия, Уилбер отважился на встречное движение. И в его стихах много раз возникает мотив преодоления трудностей, которые встают перед поэтом, осознавшим всю сложность — и всю необходимость — своей причастности к будничному миру «одноэтажной» Америки, и отталкивающему, и неизбежно притягивающему его воображение.

Уже в первых книгах определилась его поэтика, которая, по свидетельству самого Уилбера, основывается на «сложных переживаниях, противоборствующих идеях, несочетающихся образах». Законченный образец такой поэтики — стихотворение «Четвертое июля», которое читатель найдет в этой подборке. Четвертого июля отмечается День независимости США (4 июля 1776 г. Конгресс принял Декларацию независимости), четвертое июля 1863 г.— дата капитуляции Виксберга, явившейся переломным моментом в Гражданской войне, в итоге которой было ликвидировано рабство негров; а ровно за год до этого, в 1862 году, оксфордский математик Доджсон, известный всему миру под именем Льюиса Кэрролла, рассказал Алисе первую свою сказку о стране чудес. Как будто совершенно случайные совпадения, решительно не согласующиеся ассоциации, но между тем рождается единый образ причудливо движущейся истории, в которой сталкиваются величие человеческих устремлений и драматизм бытия, взрываемого войнами, а мечта испытывается в «проверочном отделенье фактов», выходя из этого испытания, может быть, и не такой романтичной, как прежде, но укрепленной реальным опытом и получившей новое оправдание и смысл.

Стихи Уилбер стал писать еще студентом, но осознал поэзию как свое призвание только в годы войны. Впоследствии Уилбер скажет, что серьезное творчество невозможно до той поры, пока художник на собственном опыте не убедится в том, насколько велика «угроза Хаоса», скрывающаяся в противоречиях истории и тайниках души самого человека,— «прикоснется к Хаосу», чтобы научиться противостоять ему. Книга, которая принесла Уилберу широкую известность, называлась «Вещи этого мира» (1956). В этом заглавии суть поэтического видения Уилбера и его творческой задачи: воплотить мир в его реальном облике конкретно до осязаемости и с предельной чест-

© Richard Wilbur, 1976.

ностью, не поддаваясь ни утешительным иллюзиям, ни отчаянию. Вспоминая встречу с поэтессой Сильвией Плат[1], покончившей с собой, Уилбер назовет ее стихи «прекрасными и несправедливыми» — потому что при всей своей искренности Плат воспринимала мир только как муку и боль, трагически замыкаясь в непроницаемых стенах индивидуального опыта. А Уилбер неизменно стремится шагнуть за «горизонт одного».

Почему «Ясновидящий»? Потому, что художник наделен «шестым чувством», незаменимой способностью «ясновидения» общественных и частных судеб. Порой безмерно тяжела эта ноша «ясновидения», но он не может и не вправе освободиться от нее, пока «шестое чувство» не покинет его и, следовательно, он не перестанет быть поэтом. Он «узурпирован миром» — и для Уилбера здесь не трагедия, а необходимость. Сознание поэта подобно комнате в дешевой гостинице где-то у дороги — тонкие стенки подрагивают от грохота тяжелых составов и грузовиков, и точно так же подрагивают «стенки» вечно бессонной души художника, воспринимая «стоны, жалобы и нервный спазм страны».

В лирике Уилбера все время чувствуется этот пульс времени, этот «нервный спазм». Подобно Роберту Фросту, чей творческий склад ему особенно близок, Уилбер ищет за очевидными приметами сегодняшних американских коллизий глубину, даже вечность их духовного содержания. Быть может, это и лишает его поэзию зримой актуальности. Но зато создается дистанция, позволяющая трезво взглянуть на нынешнюю сумятицу побуждений и настроений, не поддаваясь растерянности.

Порою в стихах Уилбера торжествует прозрачность, даже искусная наивность восприятия бытия, вдруг обнаруживающего множество стертых для невнимательного глаза красок и форм. Порой на смену прозрачности приходит ассоциативная сложность и виртуозность: мысль разветвляется, образ наращивает новые и новые слои смысла, вызывая аналогию с искусством барокко.

Неизменной остается тональность — сдержанно драматическая, чуть ироничная и вместе с тем жизнеутверждающая. По своей сути это оптимистическая лирика, для которой неисчерпаема красота жизни, и творческая сила поэзии, и великая мудрость природы: расти, тянуться к свету, залечивать раны — «созреть, растрескаться и устоять». Открыто заявленная в «Черной березе», эта тональность присуща и многим другим стихам, определяющим творческий облик Ричарда Уилбера.

Есть у него стихотворение об этрусских поэтах, умевших находить предельно точные соответствия «мира и духа» и воплощать эти соответствия чеканными строками, которые четки, словно тропа через заснеженное поле. Тропа, которую проложили потому, что она была необходима, не думая о том, растопит ли ее весна и останутся ли зримые следы труда. Так относится к творчеству и сам поэт.

А. ЗВЕРЕВ

Снег в апреле

Бывает, зимы медлят
С уходом, белый тлен
Нас хлещет, землю солит,
Как Карфаген.

Но этот тихий, чистый
Слепящий хоровод
Похож не на прощанье,
А на приход.

Снежинки не сгибают
Ракитник у реки,
Но сеются сквозь сучья,
Как лепестки,

Или, взмывая к небу,
Мешают свет и тень,
Как вяз под ветром в яркий
Июльский день.

[1] Стихи Сильвии Плат см. в «ИЛ» № 1, 1974.

Мне кажется, что снегу
Тогда лишь будет край,
Когда поляны кашкой
Покроет май,

Что в воздухе простывшем витает молочай.

Писательница

У себя, на корме дома,
В разбросанном свете ломящихся в окна лип
Моя дочь пишет рассказ.

Я медлю на трапе, слушаю
Сквозь закрытую дверь, как пишущая машинка
Грохочет якорной цепью.

Подросток, а все же ноша
Ее жизни уже тяжелый, опасный груз:
Счастливого ей плавания!

Но теперь медлит она,
Точно спорит с банальным моим пожеланием.
В разрастающейся тишине

Весь дом как будто задумался,
И вновь она разражается сбивчивым стуком
Машинки, и вновь умолкает.

Помню, шальная синица
Два года назад застряла в ее комнате;
Мы боялись ее напугать,

Прокрались, подняли раму
И сквозь щель в двери отчаянный час следили,
Как яркая, гладкая, дикая

Птица билась о стекла
Закрытых окон и падала, как перчатка,
На́ пол или на стол,

И, нахохленная, в крови,
Собиралась с силами. Как мы вздохнули,
Когда она вдруг уверенно

Вспорхнула со спинки стула
И вылетела в окно, открытое над порогом вселенной.
Я забываю, милая,

Что это всегда вопрос
Жизни и смерти. Желаю тебе того же,
Чего всегда, но сильнее.

Коттедж-стрит, 1953

На фоне пестрой ширмы Энда Уорд
Приподняла китайский чайник с чаем:
— Вам, знаю, крепкий. Вам — наоборот.
С лимоном? С молоком? — Мы отвечаем.

Мы — вспугнутая миссис Плат и дочь,
Глядящая в пространство мимо чашки,
Жена и я, обязанный помочь.
Как тянется визит постыдно-тяжкий!

Мой долг — хвалить словесность и печать,
Плести про жизнь поэтов небылицы,
Чтоб Сильвию у края удержать:
Она хотела с жизнью распроститься.

Я как слабак-спасатель на песке,
Волной отброшен и уже не нужен,
Гляжу, как, захлебнувшись вдалеке,
Глядит пловчиха парою жемчужин.

Велик ее отказ, велик попрек.
А мы твердим любезно и некстати
Слова о жизни в летний файф-о-клок,
Который сам замешан на закате.

И Эдна Уорд через пятнадцать лет,
Когда ей будет чуть не девяносто,
На скорбь и слезы наложив запрет,
Подаст нам руку благодатно-просто

И Сильвию переживет — ведь той
Дано всего лет десять кропотливых,
Чтоб научиться и пробить отбой
В стихах прекрасных и несправедливых.

Четвертое июля

1

В тот день оксфордский лексикограф Лиддел
До Годстоу прокатиться по реке
Своим трем дочкам разрешенье выдал,
И мистер Доджсон[1], провожатый, чаю
Им налил в ивняке,
В тени, и сам, по капельке глотая,
Нарассказал того,
Чего ни сам, ни целый свет не видел;
Фантазий золотое естество
Привычку слов и чисел отвергало,
А Темза лишь струилась и моргала.

[1] Льюис Кэрролл впервые рассказал об Алисе в стране чудес 4 июля 1862 г.

2

От них на запад, в Мемфисе, где зной
Пошибче над рекой куда пошире,
Грант, непреклонный, точно ток речной,
Закрывшись от помощников, дымил
Над картой в штаб-квартире
И Виксберга судьбу определил:
Мятежники в ловушке,
Им через год оплачивать с лихвой
Провал десанта, брошенные пушки,
Им выходить от голода и вшей
К кривому дубу за кольцо траншей [1].

3

Нет, солнце не понятье, но светило.
Что, если б смесью чайного дымка
И грантовых сигар его затмило?
Что мир всегда от хаоса спасало?
Чье слово нас пока
Спасает от паденья и развала?
Ах, весел шелест крон
Лишь там, где всё, что рощи населило,
Раздельно и не ведает имен,
Где плакала в тени Алиса, ибо
Той тени не могла сказать спасибо.

4

При том отнюдь блаженства не вкусил
Линней в апоплексическом ударе,
Когда, теснимый тьмою, упустил
Сладчайшую латынь земных начал,
Камней, растений, тварей —
Он их кустистой мыслью обнимал
И вдруг забыл названья
И собственное имя позабыл.
Итак, хвала тому живому знанью,
Что, запросто зайдя на огонек,
Приносит нам веселье и намек...

5

Но слава и Копернику, который,
Постигнув солнце, шар пустил земной
Вращаться и, на выводы не скорый,
Вернулся в мир квадрантов и абстрактов,
Рискнув войти с мечтой
В проверочное отделенье фактов;

[1] Крепость Виксберг сдалась генералу Гранту 4 июля 1863 г. Капитуляция была подписана у кривого дуба, который впоследствии растащили по щепочкам на сувениры.

Америке — виват
За спячку, пробужденье, бойню, споры
На целый век, чтоб мы, усвоив взгляд,
Что негры тоже люди, вдруг вернули
Смысл сказанному в этот день июля.

Черная береза

Березу по коре узнать непросто,
Так глубоко растрескалась береста,
Так потемнела, что глядит в мороз
Сплошным скопленьем пятен и полос.

Не ствол в мечтах рисуется упрямо,
Но мозаичная колонна храма,
И Ара Цели или Латеран
От старости скорбят в снегу полян.

Но не мудри и душу не печаль ты —
Все эти раны, борозды и смальты
Не внутренний упадок старины,
Они извне на ствол привнесены.

Тут каждый год приходит обновленье,
Прирост кольца, обхвата расширенье,
Тут все искусство, смысл и благодать —
Созреть, растрескаться и устоять.

5 апреля 1974

В тумане лес, овраг в снегу —
Но что случилось на лугу?
Казалось, больше не мертва
К земле примерзшая трава,
Но как под ветром в летний зной
Гуляет медленной волной.
Что значит эта зыбь земли?
Быть может, мы уже зашли
Так далеко, что сам закон
Природы кем-то отменен?
Потусторонний, как кошмар,
Над лугом извивался пар,
Знакомую смущая глушь.
Восставший из стоячих луж
И льдистой, снежной их каймы.
Он означал конец зимы
И уходивший ввысь мороз —
Так ум, привыкший жить всерьез,
Смущеньем вдруг смягчит черты.
Здесь будут, я сказал, цветы.

КРИСТЕР ЧИЛЬМАН

Милейший принц

РОМАН

Перевод со шведского Л. ГОРЛИНОЙ

Да, с Майлзом трудно. Я только что поговорил с ним. Он совершенно невозмутим. Спокоен, холоден, сосредоточен. Много из него не вытянешь. Он без обиняков признает, что прикарманил три миллиона, но как он это сделал, объяснять не желает. Весьма туманно и с ноткой презрения, которое раздражает меня, хотя мне ясно, что это — заслон самозащиты, Майлз проронил: «Липовые нововведения». Липовые нововведения! Это еще что такое? Майлз молчит. Никто не знает, куда делись деньги. «Это мое личное дело, и оно никого не касается»,— говорит он. В один прекрасный день он явился к своему шефу и сообщил, что похитил три миллиона. Никто не поверил. Майлзу *пришлось доказывать* это с помощью ревизии. Вот как ловко он это провернул. Я пытался серьезно поговорить с ним, но не встретил понимания с его стороны.

— Ты сам знаешь, что на свете нет ничего легче, чем делать деньги,— сказал он.

Я был вынужден возразить ему в порядке самозащиты.

— Но еще легче украсть их, если, конечно, пользуешься доверием руководства фирмы. А я им пользуюсь,— невозмутимо добавил он.

Эти слова глубоко потрясли меня. Я сам не слишком придерживаюсь так называемых принципов. Я не единожды, скажем так, был не слишком разборчив в деловых методах. Но существует известное понятие чести, известные правила, которые для меня безусловны и попрать которые я решительно не могу. Основное из этих правил: никогда не обманывать оказанного тебе доверия. Не говоря уже о том, чтобы сознательно использовать это доверие в своих корыстных интересах. Мне больно, и я не в состоянии постичь, как мой собственный сын мог оказаться повинным в такой неслыханной низости.

Продолжать разговор стало невозможно. Я был слишком возмущен. Бранить его я тоже не мог. Это было бы бессмысленно. Отчасти потому, что слишком много деталей этого дела были еще неясны, но в основном потому, что он не стал бы терпеть никаких нравоучений. Он просто прервал бы их со свойственной ему надменной ледяной властностью — и в лице и во взгляде.

Окончание. Начало см. в № 9.

Майлз недавно был назначен коммерческим директором одного крупного концерна, название которого я не вправе здесь сообщать. С главным управляющим этого концерна меня уже много лет связывают дружеские отношения, что отнюдь не упрощает дела. К тому же он член правления моей фирмы. Только так Майлзу могло быть обеспечено успешное начало деловой карьеры сразу после того, как он — в рекордный срок — закончил учение. К званию кандидата юриспруденции он прибавил звание кандидата экономики, занимаясь в свободное время в первые годы службы в концерне. Прошло всего пять или шесть лет с тех пор, как я устроил его в этот концерн. Имелось в виду, что в один прекрасный день он займет там руководящий пост. И вот, пожалуйста! Когда все это раскрылось, мой добрый приятель, разумеется, немедленно связался со мной. Он был так же озадачен, так же сбит с толку и возмущен, как и я. Для нас это была необъяснимая загадка.

Слухи, о которых Хелен так любезно поставила меня в известность, разумеется, не имеют под собой никакой почвы. Все это чистая выдумка. Моя фирма вовсе не находится на грани банкротства. Хотя и верно, что за последний год мы пережили некоторые трудности. Но мой уход не имеет к этому никакого отношения. Я просто-напросто устал. Вернее, не устал. Ни капельки не устал. Но, как я уже говорил, сделал свое дело. Я стоял за штурвалом больше двух десятилетий, а это немалый срок. Пришло время передать его в более молодые руки, уступить место молодежи, предоставить ей возможность проявить себя. Так же как и я получил ее когда-то и с умом ею воспользовался (как выражаются в семействе фон Бладов). Я полностью доверяю Рейно Л. Конечно, он принадлежит к другому поколению. Это один из тех молодых карьеристов делового мира, у которых, без сомнения, есть свои странности, каждое утро с шести до семи он пробегает не меньше пяти километров и предпочитает играть в мяч, вместо того чтобы подольше посидеть за обедом. Не стану отрицать, мы не во всем согласны относительно того, как следует руководить фирмой. Но в целом, я убежден, никто не способен лучше его заменить меня и повести фирму к дальнейшему процветанию. Преуспевающий, энергичный, почтительный. Я думаю, этого достаточно, чтобы показать, насколько далеки от правды те бессовестные и идиотские сплетни, которые передала мне Хелен.

Вообще-то мне следует рассказать и о Торбьёрне. Ведь теперь он живет со мной. У него собственная комната, свой ключ и всякое такое. Только почему он так редко моет голову? Я не понял письма Ванессы. Оно какое-то бессвязное. Она отсутствует уже больше трех месяцев.

Я долго размышлял над одним местом в ее письме. Она рассказывает, что была в соборе святого Павла и испытала там почти мистическое чувство религиозно-музыкального свойства; благодаря этим обстоятельствам свет воспоминаний упал на нашу первую встречу в финском посольстве в Лондоне. Она описывает все чрезвычайно красочно. Но только ее рассказ не совсем совпадает с тем, что помню я.

Сперва она пишет о своем отвращении к бесчисленным толпам равнодушных туристов, ежедневно профанирующих и оскверняющих эту прежде такую прекрасную и величественную религиозную святыню. Сотни и тысячи маленьких и больших групп, точно стадо овец, толкутся под монументальными сводами во главе с гидами, которые громко строчат свой тупой и бессмысленный, назубок выученный текст на английском, немецком, французском, итальянском, а реже и на таких экзотических языках, как датский или финский. Пожилые американки в полном боевом гриме, благоухающие коктейлями, аромат которых вырывается у них изо рта подобно ядовитым парам, из-

дают дурацкие возгласы, означающие удивление или восторг... В кильватере движутся их мужья с аппаратом на животе, большие, жирные, волосатые, обезьяноподобные, сонные и равнодушные. Молодые девушки с туристскими брошюрками в руках снуют вокруг, разглядывая все с пустым, вошедшим в привычку любопытством, а бородатые длинноволосые немецкие юноши в потертых куртках и с рюкзаком за спиной делают энергичные попытки проникнуть в самое сердце сенсации — Whispering Gallery [1], не заплатив пятидесяти центов, которые берут там за вход. Шум не смолкает, шаркают о каменные плиты кощунственные подошвы, кто-то визгливо хихикает, неожиданно прокатывается взрыв идиотского хохота, самодовольные громкие полупьяные голоса отпускают глупые замечания по поводу гробниц или художественного воспроизведения библейских сюжетов, а то и просто обсуждают виденное накануне в ночном клубе.

Это коммерческое, целенаправленное осквернение святого места, с которым связана ее юность, множество незабываемых эстетических и духовных переживаний произвели на нее очень тяжелое впечатление. Она была возмущена до глубины души. И хотя она всегда считала, что безразлична к религии, ею вдруг овладело сильное, почти непреодолимое желание обратиться к кому-нибудь из служителей собора (кто бы они ни были — священники, монахи, дьяконы) и умолять их вымести, выгнать эти орды равнодушных, себялюбивых людишек, которые снуют здесь как крысы, не испытывая никакого уважения к святости храма, не понимая его безмолвного призыва к благоговению и преклонению. Она хотела молить их, чтобы они решительно изгнали их, как когда-то Иисус выгнал торгующих из храма. Или в этом случае, наоборот, именно священники и есть торгующие?

Молоденькой девушкой она брала в Лондоне уроки музыки, это было зимой в середине пятидесятых годов,— тогда она часто проводила свободное время в соборе святого Павла. Отдыхала после утомительных музыкальных упражнений. Там, в тишине под серыми куполами, она предавалась размышлениям, копила силы и обретала душевный покой. Собор святого Павла был ее прибежищем в минуты уныния и неверия в себя, местом, где она могла вновь обрести душевное равновесие, взглянуть со стороны на себя и на свою работу. Она полюбила этот храм, этот шедевр архитектуры сэра Кристофера Рена, его совершенную, одухотворенную красоту, настраивающую чувства на возвышенный лад,— монументальный и в то же время простой, суровый, почти аскетический, такой непохожий на перегруженный хвастливой, навязчивой вычурностью собор святого Петра в Риме. Она почти физически ощущала мысль о вечности, выраженную гениальной архитектоникой и планировкой, гигантскими каменными колоннами, устремленными ввысь, к недоступному источнику небесного света,— вознесенная над всем постижимым, как объясненным, так и необъясненным, пылинка материализовавшейся бесконечности.

Здесь она бродила, чаще всего одна, и ей не мешали ни туристы, ни молящиеся. Она заходила в маленькие боковые приделы, рассматривала пышные королевские гробницы, знакомилась с историческими памятниками, фресками и живописью, замирала в задумчивости перед бюстами столпов английской литературы — Теннисона, Байрона, сэра Вальтера Скотта, Китса и Шелли. Она слышала взмахи крыльев истории. Чувствовала, как дух бессмертных поэтов касается и ее. Разумеется, это были всего лишь экзальтированные переживания наивной, мечтательной девочки. Но тем не менее они были незабываемы. Од-

[1] Галерея шёпотов *(англ.)*.

нажды в дождливый, пасмурный полдень на страстной неделе она неожиданно услыхала пение ангелов.

Может, это давнее воспоминание о воображаемом ангельском пении подспудно хранилось в сокровищнице ее памяти? Во всяком случае, нечто похожее случилось с ней и теперь, двадцать лет спустя. Только с той разницей, что вместо чувства смиренного самоотречения сначала пришло негодование и бессильный гнев из-за того, что это святое и совершенно беззащитное здание так бессовестно унижено и используется в основном для низменных целей, служа пошлым, корыстным, во всех смыслах мелочным интересам барыша. Ничего не видя от слез, бесцельно бродила она среди колонн, натыкаясь на играющих детей, теснимая чужестранцами, в ушах у нее звучали монотонные объяснения гидов, похожие на ритуальное песнопение идолопоклонников. Ее охватила паника. Хотелось закричать. Наброситься на священника и разорвать в клочья его облачение. И вот тогда в соборе святого Павла ей во второй раз послышались голоса ангелов, исполнявших вступление к «Страстям по Матфею». Они доносились совершенно отчетливо. Она не могла бы сказать с уверенностью, была ли это слуховая галлюцинация или просто человеческое пение. Ведь не ангелы же на самом деле. Но паника ее разом улеглась.

В тишине храма, в том состоянии меланхолии или гармонической печали, под нереальный хор ангельских голосов, когда она чувствовала себя почти оторванной от времени, в ее памяти постепенно возник мой образ — я был бесконечно растроган и счастлив, читая эти строки,— в том самом костюме, в том обличье, в каком она впервые увидела меня на приеме в финском посольстве в Лондоне несколько лет назад. И, добавляет она, должно быть, это случилось только потому, что *я тогда долго, с детской непосредственностью и горячностью, с каким-то особенным трогательным проникновением говорил о «Страстях по Матфею»!*

О «Страстях по Матфею»? *Я?* Это одно из мест в ее письме, которых я не понимаю. Да знал ли я вообще в те времена «Страсти по Матфею»? То есть, безусловно, знал. Но относился к ним очень сдержанно, предвзято, скорее отрицательно. Вот Якоб имел обыкновение к месту и не к месту болтать о «Страстях по Матфею». И этого было вполне достаточно, чтобы вызвать у меня неприязнь к музыкальному произведению, величие которого — в этом я убежден — уже значительно позже меня научила понимать сама Ванесса. Каким образом я мог во время нашей первой встречи говорить о них «с детской непосредственностью и горячностью»? В финском посольстве в Лондоне? Правда, страстей тогда было больше чем достаточно. Но не по Матфею. И отнюдь не баховских. Тогда меня больше всего волновала смерть Розы. Я говорил тогда о своей дочери.

Или Ванесса права и память совсем изменила мне? В таком случае это грозный симптом старости. Я старею? А может, Ванесса во время последнего, столь потрясшего ее посещения собора святого Павла бессознательно спутала меня, мой образ, мои слова с теми занудными, но тем не менее восторженными высказываниями о «Страстях по Матфею», которые она когда-нибудь, но уже после знакомства со мной, слышала от Якоба? В таком случае интересно было бы знать, как, собственно, она относится к Якобу? Каковы их истинные отношения? Глупости! Что могла Ванесса найти в этом засушенном, старом чурбане? А если и нашла? Есть к кому ревновать! Безумство!

Но с другой стороны, если подумать. Какую роль в моей жизни играл этот не слишком удачливый чудак-живописец, этот сумасбродный и восторженный хранитель семейных традиций? Почему он без

конца по самым разным поводам вмешивается в мою жизнь? Почему обладает притягательной силой для многих членов моей большой и постоянно растущей семьи? Например, для Торбьёрна. Да, Торбьёрн.

Вчера в одиннадцать вечера я вернулся домой после важного совещания с некоторыми высокопоставленными лицами — я имею в виду действительно очень высокопоставленных и влиятельных людей в нашей стране. Мы обсуждали политическое положение, энергетический кризис, события в Чили — прежде всего события в Чили, по некоторым соображениям имеющие большое значение как раз для той отрасли промышленности, которую представляет моя фирма. Я застал Торбьёрна в столовой, он сидел там, закрыв лицо руками.

Перед ним стоял пластмассовый стакан, которым он пользуется, когда чистит зубы, и бутылка вина, взятая из моего шкафа. Вино, разумеется, не дешевое. Это была бутылка «Шато Тальбо» сорок пятого года, наполовину уже опорожненная. Торбьёрн не похож на моих остальных детей, даже внешне. Не похож на своих сестер и братьев, как родных, так и единокровных. Он рыжий, и все его лицо усеяно веснушками. Даже толстые, как бы обрубленные пальцы и те покрыты веснушками. Майлз же — темноволосый, Роза тоже была брюнеткой. А родные сестры Торбьёрна — Анна и Карола — наоборот, блондинки. Маленький Ханс, или Ханну, такой белокурый, что его можно назвать чуть ли не альбиносом.

Но Торбьёрн рыжий. Красный во всех отношениях. Он отпустил волосы, как большинство молодых людей его возраста. Моет он их очень редко, они висят у него по плечам сальными, неопрятными космами. Он не придает никакого значения гигиене и вообще производит очень нечистоплотное впечатление. Ногтей он не стрижет — они всегда обведены траурной каймой. От него неизменно то слабо, а то и сильно воняет потом и винным перегаром. Мне это очень неприятно. Выглядит он омерзительно. Он мне противен, хотя я стараюсь подавить свои чувства и сдержать отвращение.

— Ты мог бы, по крайней мере, брать вино подешевле,— сказал я, не в силах скрыть раздражение.

— Тебе-то, черт побери, не все ли равно, выпью я за твой счет на шесть или на шестьдесят марок,— пробурчал он.

— «Шато Тальбо» — слишком хорошее вино, чтобы его хлестали из пластмассового стакана.

— Фу, черт!

Тон его был по-прежнему равнодушный, но голову он в конце концов поднял.

И тогда я увидел, что он плачет.

Что делают с почти взрослыми сыновьями, которые плачут, сидя за обеденным столом, и пьют дорогое вино из пластмассовых стаканов? Как их утешают? Да и нужно ли их вообще утешать? Я был обескуражен и сбит с толку. Смущен, а от этого, естественно, пришел в еще большее раздражение.

— Торбьёрн! — Я положил руку ему на плечо.— О чем ты плачешь?

Он резко, всем телом обернулся ко мне, вцепился обеими руками в мой рукав и уткнулся лицом в мое плечо. Теперь он плакал в голос, не сдерживаясь, громко всхлипывая, почти воя. Я не знал, что делать. Положение было крайне мучительное. Но я сообразил, что он, должно быть, сильно пьян и что эта бутылка «Тальбо», наверно, третья или четвертая у него сегодня.

— Альенде убит! — воскликнул он.

Совершенно верно, военный переворот в Чили произошел несколько месяцев тому назад. Бурная реакция Торбьёрна показалась мне несколько запоздалой. Но я все равно не знал, что ему сказать.

— Ты понимаешь? Понимаешь, Альенде убит! — повторил, закричал он.

Что следует отвечать в таких случаях? Да? Да, я все понимаю?

Только потом я сообразил, что ему тогда уже было известно что-то, о чем я еще даже не подозревал. О Майлзе. Что он просто был осведомлен лучше меня, потому что был к Майлзу ближе, чем я. Наверно, он в тот день утром виделся с Майлзом, и Майлз сказал ему что-то, или только намекнул, или просто держал себя так, что Торбьёрн кое-что заподозрил и, пораскинув мозгами, как бы увидел будущее. Но, разумеется, он отказывался верить страшным предчувствиям. Отказывался признать логическое развитие жизни в этой ее последней, уже необратимой стадии, ибо логика была хоть и очевидна, но слишком жестока и непостижима.

Альенде убит! Если бы я лучше знал Торбьёрна, если бы мой сын не был мне противен в своей несдержанности, может, я и понял бы все, проявил бы проницательность, а значит, и сумел бы вставить палку в колесо судьбы. Помешать? К чему эти досужие домыслы. Человек предполагает, а бог располагает. Торбьёрн плакал из-за мирового зла, которое для него ясно и определенно воплотилось в убийстве Альенде потому, что он так устроен, так чувствует, такой человек. И еще потому, что был пьян. Но напился-то он не из-за мирового зла. Обязан ли я был все это понять?

Он пьет слишком много. Майлз всегда был очень осторожен с крепкими напитками, а может, просто умел пить — я, во всяком случае, никогда не видел его пьяным. Торбьёрн же, как правило, пьет с одной определенной целью — надраться. На него нельзя положиться, и поступки его трудно предвидеть, но я не думаю, что он бездарен. Майлз всегда был лучшим в классе, а Торбьёрн учился очень неровно. Аттестат зрелости он получил только со второго захода. Но поступить в университет он отказывается. Похоже, что ему вообще не хочется чего-либо добиться в жизни. Он, видимо, пытается стать свободным художником. Пописывает стишки, занимается живописью и тому подобное. И с наглым упрямством, явно в пику мне, бегает к Якобу, чтобы обрести у него вдохновение, чтобы получить ценные указания и советы у Великого Первопроходца и Маэстро. Все это кажется мне несерьезным и, должен признаться, весьма меня огорчает. Большую часть времени Торбьёрн проводит в каком-то подозрительном артистическом кафе, которое сейчас в большой моде, в обществе единомышленников и собратьев по несчастью, наивных преобразователей мира и неудачников в искусстве. Я был там один раз. Как-то вечером он позвонил домой мертвецки пьяный и очень нагло попросил меня приехать и выкупить его, потому что у него нет денег заплатить по счету. Ужасное место. Ужасные приятели. Но что я мог поделать? Пришлось покорно заплатить. И к тому же еще угостить их всех, как того потребовала эта дерзкая бородатая компания.

— Зачем ты общаешься с этими отвратительными людьми? — спросил я Торбьёрна.

— Это мои единственные друзья,— ответил он.

Что тут поделаешь?

Я не понимаю, зачем он поселился у меня, если не считать, разумеется, того простого объяснения, что он не ладит с Гюннель. Дело не в деньгах — вопрос о деньгах в моей семье решен раз и навсегда. Тор-

бьёрн не любит меня и ясно дает мне это понять, его пренебрежение часто очень меня обижает. Разве отец не имеет права обижаться на своего ребенка, так же как ребенок обижается на отца? Я изо всех сил стараюсь угодить Торбьёрну, предоставляю ему свободу и независимость, которых он так жаждет и в которых, очевидно, нуждается. Другими словами, я пытаюсь дать ему то, в чем, судя по всему, ему отказывала Гюннель, навязывая свою затянувшуюся материнскую опеку. Однако угодить ему чрезвычайно трудно, в этом я должен признаться. Он создал себе мой образ, в котором я не узнаю себя и который совершенно не соответствует действительности. Я отнюдь не тот невоспитанный невежда, не тот дубина приказчик, усевшийся в директорское кресло, за которого он меня принимает. Это какое-то недоразумение. Жаль только, что его вполне устраивает это недоразумение. Мы не знаем друг друга. У нас никогда не было случая познакомиться поближе. Возможно, я тоже имею о нем превратное представление.

Ему было всего девять или десять лет, когда я ушел от Гюннель и наш брак распался. Что он может помнить о том времени, когда мы жили вместе? Раннее детство — разве мы тогда знали друг друга? Он рос с няней. Я был занят работой, много разъезжал, часто бывал на званых обедах и благотворительных балах вместе с Гюннель. Сказать по правде, он редко видел своего отца. Его представление обо мне, должно быть, основано главным образом на сведениях, полученных из вторых рук, на том, что он слышал или что ему было внушено уже после нашего развода. На лживых россказнях Гюннель, на ее извращенных баснях о нашем браке, исполненных непостижимой злобы и ненависти, на ее сознательном стремлении очернить меня в глазах наших детей. Если в каком-то смысле можно сказать, что во время нашего брака она была доброй феей, то после развода превратилась в злобную фурию. Последствия видны на Торбьёрне. Мы с ним никак не можем договориться. Хотя он прочно обосновался в моем доме и, судя по всему, намерен здесь остаться. Порой у меня возникает неприятное чувство, что он живет здесь прежде всего из какого-то нездорового желания помучить меня.

Однажды, с месяц тому назад, он явился домой в четыре часа утра и тут же заблевал ковер в прихожей. Он отказался — или просто был в таком состоянии, что не мог,— убрать за собой. Пришлось мне выполнять эту отвратительную грязную работу, а он, шатаясь и цепляясь за стену, почти засыпая, скорее бессознательно, чем сознательно, смотрел, как я это делаю. И несмотря на жалкое состояние, в котором он находился, по его отекшему, пьяному, отвратительному лицу бродила явно презрительная усмешка. Мною овладело почти непреодолимое желание ударить его. Но я этому не поддался. Что меня сдержало? Чувство вины, которое я всегда ощущал в себе? Скрытые и подавляемые, однако неизменно терзающие меня угрызения совести?

Гюннель — очень властная женщина. Можно сказать, что у нее было обостренное чувство собственного гнезда, «места обитания», выражаясь языком современных модных антропологических и биологических исследований. Семья была гнездом Гюннель. Дом был ее гнездом. И подобно псу, который кропит клумбы, чтобы таким образом обозначить участок, где он считает себя хозяином, Гюннель правила так, что сразу было видно, кто главный в доме. Таких женщин называют идеальными женами. Можно смело сказать, что у нее была непреодолимая потребность держать в руках все нити взаимоотношений в семье, даже если они не касались ее непосредственно. Если я забавлялся с дочками, она тут же присоединялась к нам, чтобы принять участие в наших играх. И нам сразу становилось уже не так весело. А если я беседовал с Торбьёрном, она вмешивалась в наш разговор,

опровергала мои слова или заявляла, что я мелю чепуху и что она все знает гораздо лучше меня. Она была вездесущей. В нашем доме она на все бросала длинную тень.

Женившись на Гюннель, я, разумеется, поднялся рангом выше. Род Линдерманнов не очень отличается от рода фон Бладов: они также богаты, влиятельны и буржуазны до мозга костей. Но со стороны Гюннель такой брак не был мезальянсом. Ибо если я мог считаться «перспективным» зятем Ханнеса Каапола, то оставался не менее «перспективным» и в качестве целеустремленного, многообещающего, честолюбивого молодого мужа Гюннель Линдерманн.

Было бы ложью утверждать, что я был совершенно неотесанным типом, когда мы поженились. Конечно, я знал, как пользуются ножом и вилкой. Ханнес Каапола научил меня, как следует вести себя с людьми, хотя, возможно, это и не касалось всех тонкостей буржуазных ритуалов. Однако не исключено, что я немного кокетничал перед Гюннель своей «невоспитанностью». Иногда из-за врожденной неуверенности, но чаще только для того, чтобы подразнить ее. Она же принимала мое кокетство за чистую монету. Она почитала долгом своей жизни счистить с меня наиболее бросавшуюся в глаза вульгарность и отполировать до буржуазного блеска мой изначально грязноватый пролетарский фасад.

Чему же я у нее научился? Сейчас мне не приходит в голову ничего, кроме одной ходячей в наших кругах остроты: «Хм»,— сказал граф на ломаном португальском языке, единственном языке, которым он владел хорошо». Неоценимым вкладом в светскую беседу считались шутки над диалектальными словечками или языковыми ошибками «простонародья».

На третий или четвертый год нашего брака что-то вторглось в наши отношения. Гюннель вдруг стала как-то равнодушна и даже холодна, и я безудержно, со свежими силами предался так называемой супружеской неверности, которую раньше разрешал себе лишь изредка, зажмурившись и скрепя сердце. В конце концов Гюннель, конечно, не могла не заметить, что происходит. Отказ от супружеских радостей Гюннель компенсировала рвением на домашнем и педагогическом поприщах. Она окончательно утвердилась в роли фру Блаад. Ее мировоззрение исключало какие-либо радикальные изменения в условиях жизни. Поэтому, когда появилась Лаура и я попросил у Гюннель развода, для нее это было как гром среди ясного неба.

Очень быстро ей удалось почти полностью изолировать меня от детей. Она добивалась от суда решения, по которому я вообще не имел права видеться с ними, поскольку я скверный, безнравственный человек, моральный урод, не годящийся для роли отца и воспитателя. Злоба ее была безгранична. К счастью, суд не мог удовлетворить столь нелепое требование. Однако ей все равно удалось добиться своего благодаря разным козням. Она ежедневно, исподволь, по капле отравляла ядом невинные и беззащитные души детей, и вскоре дети не захотели больше со мной встречаться. У них появилось отвращение ко мне. Гюннель — очень сильная личность и умеет пользоваться своей властью над людьми как хочет. С кем ее можно сравнить? С леди Макбет? Матерью Гамлета? Прошли годы, прежде чем моя связь с детьми снова наладилась, да и то лишь с Торбьёрном.

Он сказал, что не мог больше выносить мещанские предрассудки Гюннель, ее реакционные политические взгляды, властные, не допускающие возражения манеры, нытье, приставания, высокомерие. Поэтому он вернулся к своему отцу... после стольких лет. Похоже, что и девочки тоже пытаются вырваться из круга материнского влияния. Но

не знаю куда. Во всяком случае, не ко мне. Такова жизнь. Ничто в ней не вечно. Все беспрерывно изменяется. То к лучшему, то к худшему. Не знаю, как мне относиться к Торбьёрну. Что с ним делать? Это своего рода испытание. И неведомый мне доселе жизненный опыт. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах. Разумеется, я по-своему даже люблю его, все-таки это мой сын. Если бы в его жизни была четко намечена хотя бы одна линия, насколько проще было бы тогда жить с ним под одной крышей. Жить вместе.

Вообще-то я сейчас собирался дословно привести странную кляузу Якоба, которую он адресовал канцлеру юстиции. Но когда я прочел последние страницы, я призадумался и понял, что надо еще кое-что добавить и кое-что разъяснить. Мне показалось, что все звучит фальшиво, неискренне и искажает факты.

Я вовсе не испытываю сентиментальной отцовской любви к Торбьёрну. И отнюдь не нашпигован долготерпением. Уж если говорить правду, он раздражает меня до исступления, и мне хотелось бы, чтобы он убрался куда-нибудь подальше. Но я, как могу, сохраняю видимость добрых отношений. Будет ли так продолжаться после того, как Ванесса вернется домой,— не знаю. Сомневаюсь. Дело не в отсутствии помещения. Я уже писал, что у меня достаточно места: шесть комнат общей площадью в 194 кв. м, чтобы быть точным. Нам с Ванессой столько не нужно. Но когда здесь Торбьёрн, этого мало, и не сказать об этом — значит солгать. При его небрежности и расхлябанности он занимает слишком много места. Повсюду оставляет за собой следы, заполняет сразу всю квартиру своим унынием, бездельем, грязью и запахом перегара. Долго я не смогу этого выдержать. Такова истина.

Теперь о Гюннель. Как я мог быть таким бессовестным и сознательно исказить образ этой замечательной во многих отношениях женщины? Правда, лоск доброго буржуазного воспитания удивительно быстро сошел с нее, когда она поняла, что я не отступлю и буду добиваться развода. Гюннель озверела — я не могу охарактеризовать иначе происшедшие в ней перемены,— вот так же звереет и буржуазия как класс, когда возникает реальная угроза ее политической власти; мы наблюдали это во время нашей гражданской войны в 1918 году и совсем недавно, во время военного переворота в Чили. Но это еще не причина называть ее макбетовской ведьмой.

Гюннель любила меня и не желала расставаться со мной, она не могла примириться с тем, что я разлюбил ее и хочу жениться на Лауре. Мне понятна ее горькая и бурная реакция. После десяти счастливых нет. А может, непонятна? Не знаю. Словом, я стою перед тем же клубком запутанных и неразрешимых проблем, с которыми столкнулся, когда собрался писать о своем детстве и о родителях. Я никогда не знал своих родителей. Ничего не знал про них. И не могу сказать о них ничего определенного. Именно это сдерживало и парализовывало меня. То же самое и в отношении Гюннель. Я не могу сказать про нее ничего определенного, я никогда не знал ее. Я никого не знаю.

Нет! Я никогда не признаюсь в поражении! Но я буду продолжать! Ложь или правда — какая разница. Меня грязно оклеветали, обвинили в преступлении, которого я не совершал. Имею же я право, черт побери, как всякий человек, защитить себя. В свободной стране. Эта писанина Якоба! Уж ее-то, во всяком случае, сочинил не я. Это, во всяком случае, документ. Якоб! Он пишет от своего имени. Его я в любом случае не могу ни подправить, ни отредактировать. Вот его кляуза:

Господин Канцлер юстиции!

Поскольку в отношении меня была совершена («в отношении — совершена»! Как убого он выражается! Будь я проклят, но он владеет слогом так же плохо, как кистью.— *Д. Б.*) явная несправедливость и поскольку мое обращение в полицию было встречено лишь пожатием плеч и презрительной усмешкой, я осмеливаюсь писать Вам и просить Вас проявить внимание к делу, которое с общей, поверхностной точки зрения может показаться пустяковым, но которое для меня и для всей моей семьи, напротив, имеет колоссальное значение.

Дело касается бесценного фамильного архива семей фон Бладов, Бладов и Лехтисуон-Лехтиненов, который примерно три месяца тому назад еще находился у меня в руках, а также человека по имени Дональд Блаад (или Блад), который со свойственной ему наглостью и с применением силы присвоил себе или, вернее, украл важные материалы из этого, как уже было сказано, принадлежащего мне фамильного архива. Всякие попытки с моей стороны просить по-хорошему этого Блаада (или Блада), чтобы он вернул украденное, до сих пор отклонялись с самым оскорбительным бесстыдством и высокомерием (они, эти бесстыдство и высокомерие, замечу в скобках, не являются сюрпризом для тех, кому известен подлый и интриганский характер личности, о которой идет речь).

Человеку, занимающему Ваш пост и обладающему Вашими знаниями, нет нужды более подробно объяснять или напоминать о том замечательном вкладе, который за долгое время был сделан представителями вышеупомянутых семей или их боковых ответвлений ко благу нашего общего Отечества. На государственном, политическом, экономическом, научном и литературном поприще — повсюду вы встретите имена фон Бладов, Бладов и Лехтисуон-Лехтиненов; все эти люди, без исключения, отличались незаурядным умом, энергией, инициативой, безупречностью и чувством справедливости. О чем Вам, господин Канцлер юстиции, наверняка так же хорошо известно, как и мне, нижеподписавшемуся, позднему, возможно недостойному, но исполненному пиетета потомку этого рода. Учитывая все эти обстоятельства, Вам, безусловно, должно быть так же ясно, как и мне, что может произойти непоправимая катастрофа, когда частные документы, касающиеся жизни и деятельности выдающихся людей, попадают в чужие руки и могут быть использованы для низменных целей, не имеющих никакого отношения ни к традициям, ни к исторической правде.

Поэтому я обращаюсь к Вам, господин Канцлер юстиции, как к высшему стражу закона в этой стране и прошу Вас, чтобы Вы с помощью Вашей юридической и личной власти принудили вышеупомянутого Дональда Блаада (или Блада) вернуть истинному законному владельцу, то есть нижеподписавшемуся, все документы, которые он присвоил себе самым бесчестным и коварным образом.

Совершенно очевидно, что у этого человека черные цели. Он намерен злоупотребить сведениями, которые можно почерпнуть из писем, дневниковых записей и других документов как личного, так и официального характера, чтобы извратить историческую правду, приспособить и подогнать ее сообразно своей примитивной, но самодовольной и мстительной натуре. Я лично потратил полжизни, чтобы разобрать, каталогизировать и привести в порядок эти бумаги, дабы наконец, на пороге старости, при-

нять на себя колоссальную и ответственную задачу по составлению истории моего рода, создать правдивую, исполненную уважения картину, показывающую центральную роль, которую отдельные его представители играли в политическом, экономическом и научном развитии нашей страны. Совершенно очевидно, что подобная семейная хроника, опирающаяся на уникальные источники и изложенная с любовью и верностью как исторической правде, так и самой теме, будет иметь значение, далеко выходящее за рамки узкосемейных интересов, возможно, пристрастных мнений.

Всей этой огромной и важной работе, которую я взял на себя отнюдь не потому, что переоцениваю свои возможности или преувеличиваю свои литературные данные,— напротив, я с болью признаю, что мне их не хватает,— а только из чувства долга и страстного, но почтительного желания хоть как-то отплатить за счастье и неоценимые преимущества, которые я получил и которыми располагал, родившись в семье с такими великолепными и обязывающими традициями,— всей этой огромной и важной работе грозит теперь гибель из-за преступных действий одной-единственной низкой и жестокой личности. Я умоляю о справедливости, ибо, как явствует из вышеизложенного, на карту поставлено гораздо больше, нежели только моя личная честь и престиж.

Желая подчеркнуть всю серьезность этого дела и одновременно осветить его некоторые неприятные и щепетильные аспекты, я почтительнейше прошу разрешить мне занять Ваше время и внимание рассказом об упомянутом выше господине Дональде Блааде (или Бладе), о его происхождении, семейных обстоятельствах и характере.

Дональд Блаад (или Блад) — обманщик. Нравственность его, мягко говоря, сомнительна, он отличается беспринципностью и крайне склонен к разного рода извращениям. Это человек, которому не знакомы угрызения совести, сострадание или любовь к ближнему, человек без совести и чести. Может показаться, что это звучит чересчур сурово даже для отрицательной характеристики, но я, если мне будет дозволено так выразиться, знаю этого молодца как облупленного. Я знаком с Дональдом Блаадом (или Бладом) скоро уже тридцать лет. Наша первая встреча произошла осенью 1944 года, он только что демобилизовался после войны и находился в плачевном состоянии, испытывая трудности материального, психического и в особенности морального свойства. Он посетил меня и умолял о поддержке и помощи под предлогом, мягко говоря, деликатных семейных обстоятельств, подлинность которых он и поныне не может доказать более или менее удовлетворительным образом.

Как я уже сказал — и это факт настолько общеизвестный, что не требует особых подтверждений,— я принадлежу к роду, представители которого по мужской линии всегда и без исключения отличались безупречной и высокой нравственностью. Между тем этот Дональд Б., чья фамилия должна писаться просто Блад, нагло утверждает, что он является сыном моего «кузена», о существовании которого в нашей семье никто не имел понятия. Его фантастическая история в общих чертах сводится к тому, что его дед, сперва мелкий, а позже крупный фермер Карл или Калле Блад (собственно, Хямялайнен), был внебрачным сыном моего деда, известного в политической и экономической

жизни нашей страны сенатора коммерции советника Карла-Юхана фон Блада.

Бесстыдство этого заявления под стать самонадеянности, с какой оно было сделано. Само собой разумеется, я ни при каких обстоятельствах не могу поверить этой на редкость беспардонной выдумке. У Карла-Юхана фон Блада, безусловно, не было внебрачных детей. Его характер, высокие нравственные принципы, идеалы, образ жизни находятся в резком противоречии с поступками, которые могли бы привести к последствиям столь непредвиденного и рокового свойства. Записи в церковных книгах не содержат доказательств, подтверждающих заявление Дональда Блада, это я, достоверности ради, проверил самолично. Действительно, там значится, что некая Креета Хямялайнен, ткачиха суконной фабрики, 12 апреля года 1864 родила мальчика, получившего при крещении имя Калле (позже измененное на Карл), но *отец ребенка неизвестен.*

И вообще не существует сколько-нибудь авторитетных юридических документов или каких-либо правдоподобных фактов, которые бы подтверждали достоверность рассказа или семейной легенды этого Дональда Блаада, вернее, Блада. Дональд Блад — лжец. Сходство фамилий — чистая случайность, которой он, в соответствии с присущей его натуре хитростью, умеет очень ловко пользоваться. Точно так же чистая случайность, что Брюнольф Блад, то есть отец Дональда Блада и сын Калле Блада, большую часть своей жизни проработал дворником в доме № 76 по улице Скарпскюттегатан в Гельсингфорсе; этот дом построен в 1896 году профессором Маттиасом-Петером Бладом, именуемым с 1906 года Матти Лехтисуон-Лехтиненом, и таким образом находится в собственности семейства Лехтисуон-Лехтинен.

Повторяю еще раз: Дональд Блаад (или Блад) — лжец. Несмотря на то, что мне всегда это было ясно и что я отчетливо понял это еще во время нашей первой, навязанной мне встречи, я, принимая во внимание его жалкое положение и плачевное состояние, не мог не оказать ему скромной материальной помощи и моральной поддержки. В интересах истины, а также чтобы объяснить и прояснить все обстоятельства, должен признаться, что я, как это ни парадоксально, испытывал к нему своеобразную симпатию: несмотря на всю свою невоспитанность, неотесанность и циничное нахальство, он не лишен определенного грубоватого шарма. Он не глуп. Напротив, Дональд Блаад (или Блад) весьма умен, что показала его последующая карьера или, вернее, невиданный взлет. Но его ум всегда сочетался с беспримерным эгоизмом и нравственной безответственностью и, к сожалению, очень редко использовался в добрых или полезных обществу целях. Мне достаточно напомнить о пользующихся печальной известностью или, вернее, скандальных происшествиях, связанных с его пресловутым назначением на пост министра обороны в правительстве Ванне лет десять назад. Это назначение, которое так быстро обернулось позором для нашей страны, явилось своего рода кульминационным пунктом его карьеры и разоблачило его как мастера интриги и грандиозного самоблагодетеля («самоблагодетеля»! Якоб, Якоб, какого стилистического блеска ты достиг! — *Д. Б.),* использовавшего высокие политические связи, а также более или менее сомнительные экономические контакты.

Наверно, было бы преувеличением утверждать, что между нами одно время существовали чистые дружеские отношения.

Но, как уже говорилось, нельзя отрицать определенной привязанности к нему с моей стороны. Очевидно, правильнее всего назвать чувство, которое я в начале нашего знакомства испытывал к Д. Бладу, своеобразным желанием оказать ему отеческое покровительство. Его, одинокого и беспомощного, выбросило в этот мир, и я, взрослый человек, обладающий жизненным опытом, энергией, а также средствами, не мог отказать ему в поддержке. Как горько раскаялся я потом в доверии, которым я так щедро одарил его. Но довольно об этом. Я должен винить только себя и не в моих обычаях предаваться столь бессмысленным и эгоцентричным жалобам.

Дональд Блаад (или Блад) — паразит на теле общества. Его единственная любовь или страсть касается денег и самого суетного, самого преходящего в мире — тех материальных благ, которые этот мир предлагает человеку. Он без малейших угрызений совести разбил три семьи. Верность — неизвестное ему понятие. Легкомысленным связям, которым он с неудержимым и эгоистичным рвением отдает большую часть своего времени, несть числа. Пятерых детей и еще, по крайней мере одного, внебрачного ребенка он хладнокровно бросил, трусливо отказавшись от своей ответственности как отец и воспитатель. Единственные качества, которые по силе могут равняться его жажде денег,— это его интриганство и тщеславие. Вот тут-то мы, наконец, и подошли к самому главному. Каковы истинные намерения, побудившие его совершить кражу фамильного архива фон Бладов? И как могло случиться, что полиция (об этом уже упоминалось), несмотря на мои неоднократные и настойчивые обращения, отказалась заняться этим явным и серьезным преступлением? Уж не продажна ли полиция в нашей стране?

Я убежден, что Дональд Блаад (или Блад) своим коварным и злодейским ограблением преследовал двойную цель. Во-первых, он, движимый безграничным тщеславием и комплексом социальной неполноценности, намерен воспользоваться всеми имеющимися в фамильном архиве документами и заметками и попытаться по возможности убедительнее доказать, вопреки всему, что черное — это белое, то есть что в его жилах де-факто течет кровь фон Бладов и что он, даже с юридической точки зрения, представляет собой самостоятельную, отличную от других ветвь на нашем родовом древе. Во-вторых, он намерен написать историю нашего рода, показав ее в кривом зеркале, намерен насмеяться над благородным родом фон Бладов и его буржуазными и офинляндившимися ответвлениями, намерен исказить, извратить нашу историю, оболгать нас, побуждаемый к этому жаждой мести, своей социальной озлобленностью, своим комплексом социальной неполноценности, этим, с моей точки зрения, совершенным балластом, который присущ не только ему, но и многим другим, поднявшимся в наши дни из низов общества. Короче говоря, его цель — совершить насилие над историей, умалить возвышенные и значительные исторические факты, а также, прибегнув к фальсификации, унизить и очернить беззащитных, действительно достойных всяческого уважения исторических деятелей. Этого нельзя допускать, и повторяю: при создавшихся обстоятельствах только Вы, господин Канцлер юстиции, в силах помешать этому.

Стремясь подчеркнуть всю серьезность моей жалобы по поводу столь мерзкого и возмутительного преступления, я хочу напомнить о коммунистическом прошлом Дональда Блада, ны-

не Блаада, что крайне отягощает все дело. В ранний период своей жизни он был активным членом коммунистической партии Финляндии. Через свою первую жену, члена парламента Синикку Каапола, он был тесно связан с влиятельными кругами вышеозначенной партии. Нет никаких фактических доказательств того, что эти связи оборвались с прекращением данного брака больше двадцати лет тому назад или когда Блаад (Блад), по-видимому, прежде всего из оппортунистических соображений, вышел из партии (примерно тогда же, когда развелся с первой женой).

Иными словами, я спрашиваю: разве нет достаточных оснований подозревать Дональда Блаада (или Блада) в политической неблагонадежности, являющейся следствием его скрытых коммунистических симпатий и двойной игры? Правда, если учесть нынешнее легальное положение коммунистической партии, это обвинение не имеет никаких юридических оснований, но тем не менее каждого ортодоксально мыслящего гражданина нашей страны оно должно навести на определенные размышления в плане общественной морали. Есть риск, что фамильный архив Бладов в руках такого человека может дать повод к произвольным толкованиям исторической действительности, или можно сказать иначе: явится для вышеупомянутой партии так называемым взрывчатым материалом.

Д. Блаад (или Блад) обеспечил себе надежные связи с властями и чрезвычайно влиятельными лицами в нашей стране — это Вам, господин Канцлер юстиции, известно так же хорошо, как и мне. Неужели в западном свободном мире при помощи подобных связей можно оказывать давление на полицию, как это было в данном случае, то есть столь откровенно и возмутительно попирать закон и право? Я умоляю Вас о вмешательстве. Во имя справедливости и западной демократии я требую основательного, беспристрастного, глубокого и незамедлительного расследования этого дела.

Гельсингфорс, 21.9.1973.
Барон Якоб фон Блад,
художник-портретист.

Это беспрецедентное, маниакальное, по-своему очень оскорбительное, но, собственно, скорее трагикомическое послание снабжено дополнением, весьма красноречиво иллюстрирующим популярность, которой я пользуюсь в этом семействе. «Приложение I» — написано в левом верхнем углу, затем следует залп:

«Мы, нижеподписавшиеся члены упомянутых семей, тщательно ознакомившись с письмом художника Якоба фон Блада, хотим заявить, что в основном разделяем взгляды и мнения нашего родственника в отношении упомянутой личности, директора фирмы Дональда Блаада (или Блада), и что мы, опираясь на личный опыт, можем подтвердить правильность изложенных в его письме фактов. Кроме того, мы хотим довести до Вашего сведения, господин Канцлер юстиции, что от всего сердца поддерживаем нашего родственника Якоба фон Блада в его решительном требовании возбудить основательное и беспристрастное судебное расследование этого дела, касающегося всех нас так близко. Мы, безусловно, разделяем его надежды на то, что вышеупомянутая часть нашего бесценного фамильного архива, до сих пор столь благоговейно хранившаяся Якобом фон Бладом, незамедлительно будет возвращена наиболее целесообразным

для данного случая способом его законному владельцу или хранителю, которым в данном случае является одно и то же лицо, а именно: наш родственник художник Якоб фон Блад».

Хельсинки, 28.9 1973.

Мартти Лехтисуон-Лехтинен,
професор em[1]
Каарло Лехтисуон-Лехтинен,
директор банка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зрелость

Был двенадцатый час, когда он позвонил мне. Второй раз на этой неделе. Он попросил меня прийти к нему. Мне оставалось только отправиться в путь, хотя я был уже в халате и шлепанцах. Прогулка займет самое большее двадцать минут. Раньше он, во всяком случае, не ждет меня. Он знает, что я пойду пешком. Ради моциона.

Так продолжается много лет. Что это — приказ, которому я подчиняюсь? Или я лишь исполняю требования, предъявляемые мне дружбой, пусть несколько и необычной? Меня назначили министром обороны по его инициативе. После моей отставки прошел целый год, прежде чем он возобновил со мной отношения. Тем не менее я до сих пор теряюсь в догадках относительно истинной причины моего назначения. Неужели он действительно считал, что я обладаю качествами, необходимыми для политика на высоком уровне? Одна догадка, словно прозрение, все время мелькает у меня в голове: а не был ли это своего рода practical joke[2] высшего класса? Смелый способ указать мне мое место? Проучить меня? Может, я стал слишком фамильярным, слишком властным, слишком навязчивым и слишком сообразительным? Возможна ли игра на таком уровне, на котором решается судьба народа и нации? Смотря какая игра. Но что бы за этим ни крылось, в тот раз он оказал мне доверие, которое я... Ладно, которое я обманул.

Тем не менее сейчас я опять в милости. Мы с ним оба из простых, начали с одной и той же скромной отправной точки. Это, правда, характерно для многих. Возможно, тут все дело в любознательности. В самом отношении к жизни. В стремлении выбиться в люди. В ненасытном аппетите к жизни. «Ты единственный, кому я теперь могу говорить глупости»,— говорит он. Наверно, это так и есть. Но почему именно я? Однажды, много лет назад, мы с ним беседовали о личных слабостях. «Какое у тебя слабое место? — спросил я.— Есть ли у тебя вообще слабое место?» Он долго, не отвечая, смотрел на меня. Это был долгий строгий взгляд. Потом вышел из комнаты и возвратился с мятой вырезкой из газеты, которую бросил передо мной на стол. Пока я читал, он стоял, отвернувшись и заложив руки за спину. Это было короткое, лаконичное, без даты сообщение о гибели тридцатилетнего инженера в автомобильной катастрофе где-то в центральной части страны. Имя было мне неизвестно, и я уже не помню его. «Это мой сын»,— сказал он, по-прежнему не оборачиваясь ко мне. Я так и не понял, какое отношение это имело к личной слабости, не понимаю и теперь. Но это было дове-

[1] Профессор emeritus *(лат.)* — профессор, получающий пенсию за особые заслуги.
[2] Шутка, розыгрыш *(англ.)*.

рие. Он оказал мне личное доверие. Может, он хотел сказать, что доверие — это слабость?

Олли сам открыл мне. Он был одет по-домашнему — в пижаме и халате, однако на шее у него красовался белый шелковый шарф, словно дань приличию или стремлению подчеркнуть свое достоинство, как любят делать метрдотели всех рангов.

— Господи, ты, кажется, уже лег? — Я лицемерил.

— У меня небольшой жар, бронхит,— равнодушно ответил он и кашлянул.

— Как ужасно, что мы не даем тебе покоя даже ночью, мне очень жаль.

— У каждого своя работа,— ответил он с каким-то скрытым намеком, которого я не понял. Действительно он так думал или только шутил?

Он принял у меня из рук пальто и шляпу и понес их наверх. Расположившись в библиотеке, он слушал «Ленинградскую симфонию» Шостаковича. Медленное нарастание. Бесконечный марш. Упорство и несгибаемость. Непобедимость. Когда я вошел, он выключил музыку.

— Я не могу спать,— сказал он.

— Я тоже.

Он притворился, что не заметил звучавшей в моем тоне иронии.

— Шостакович развивает решительность так же, как шахматы — остроту мышления, это своего рода велостанок для тренажа, впрочем, я совсем забыл: ведь ты не играешь в шахматы.

— Да, но зато слушаю музыку.

— Сегодня мы начнем с игры в вопросы и ответы. Кто, например, сказал такие бессмертные слова: «Сова Минервы вылетает лишь с наступлением сумерек»?

— Не знаю.

— Я так и думал, уровень образованности среди частных предпринимателей нашей страны, как известно, очень низок. Но я немного помогу тебе. «Если философия пишет серым по серому, значит, форма жизни состарилась и серым по серому ее не омолодишь»,— говорится в том же отрывке. Вот я и облегчил тебе задачу. Так кто же сказал эти слова?

— Не имею представления.

— Гегель, конечно. Три ноль в мою пользу. Теперь совсем легкий вопрос. Один из величайших в мировой истории знатоков человеческой натуры сказал: «Тот, кто хочет описать страну, должен выйти на равнину, чтобы обозреть гору, и подняться на гору, чтобы обозреть равнину, точно так же нужно быть князем, чтобы понимать народ, и простым человеком, чтобы понимать князей». Кому принадлежат эти мудрые слова? Можно сказать, что ответ я подал тебе на блюдечке.

— О господи, да не знаю, я не силен в цитатах. Может, Мао?

— Опять ошибка. Князья... не догадываешься? Кто же мог сказать это, кроме Макиавелли? Шесть ноль в мою пользу. Макиавелли значит для меня больше всех остальных мыслителей, вместе взятых, он совершенно свободен от предрассудков, от иллюзий, до Маркса и Ленина он во всех отношениях лучше многих понимал природу человека... «Главную роль в мире играет плебс. Умные люди, которые встречаются очень редко, добиваются своего, только когда плебс попадает в безвыходное положение»,— недурно сказано, правда, если под плебсом подразумевается вообще народ... Или: «То, что добывается с чужой помощью, становится прочной победой». Подумать только, ведь шестнадцатый век! Ну ладно, если хочешь сделать еще одну попытку,

давай перейдем к музыке. Помнишь вступление к «Маршу охотников» Сибелиуса! Таа-таа-тааа-таа...

— Ну?

— У кого из великих классиков наш Сиббан украл эту тему? Просто взял и украл?

— Это я должен знать. У Листа? Нет? У Чайковского?

— Мимо! У Баха из «Страстей по Матфею», первая теноровая ария из второй части, та, которая начинается: «Geduld, Geduld, wenn mich falsche Zungen stechen» [1], вступительный аккомпанемент. Ты и в самом деле страшно невежествен, я победил тебя со счетом девять ноль. Позор! Я вправе спросить, что сталось бы с этим народом, если бы ты находился на моем месте... В молодости я мог не спать целую ночь, слушая «Страсти по Матфею», особенно когда мне предстояло принять какое-нибудь важное политическое решение. При последних звуках заключительного хора я уже точно знал, каково должно быть это решение, и с утра начинал действовать. Бах был своего рода катализатором в политической жизни всей страны. Ты небось даже не подозревал, что я так хорошо знаю Баха? Что касается Баха, я любого заткну за пояс! Наверно, я кажусь тебе слишком экзальтированным?

— Да, немного.

— Не дерзи, впрочем, ты всегда был дерзким. Если ты внимательно слушаешь «Страсти по Матфею», ты кое-что заметишь... Весь вечер я размышлял об одной вещи. Твоя очаровательная нынешняя подруга жизни сказала мне однажды, что в «Страстях по Матфею» есть все, в них рассказано все о человеке, о его жизни и природе. Я старый воспитанный человек, и я не хотел спорить с ней в тот раз, но... но это очень странная мысль — откуда она могла ее взять?..

— У Якоба. Совершенно точно — у Якоба...

— Якоб. Якоб? Какой еще Якоб? А, это тот, который написал на тебя жалобу, да, прекрасную характеристику дает он тебе в ней, знаешь, я велел размножить ее и собираюсь отправить восьми министрам, четырнадцати горным советникам и двадцати трем начальникам отделов. Тяжелые времена приближаются для великих пройдох в известной области, власти предержащие не могут допускать все, что угодно, не приняв контрмер... так на чем же я остановился?

— Ванесса... ты хотел что-то сказать про Ванессу...

— Совершенно верно. Ты знал, что к шестидесяти годам я стал убежденным марксистом? Знал?

— Не знал, но предполагал... чувствовал...

— Предполагал? Великолепно. Кое-что ты, конечно, должен был предполагать... На одном ловкачестве далеко не уедешь... Так вот, теперь, в старости, когда я... да, когда я думаю о положении в мире, я имею в виду всю эту гигантскую оргию перепроизводства товаров, которые, собственно, с начала и до конца являются не чем иным, как отходами, то есть излишками в полном смысле этого слова и которые марксизм... все это черным по белому написано у Маркса, ты следишь за моими словами?

— Пытаюсь.

— Да, понимаю, ведь мы говорили о музыке, по-моему, музыка иногда гораздо нагляднее, чем слова, изображает историческую эпоху, передает дух времени, человеческую жизнь, то есть нагляднее, чем плохие слова. Хорошие слова, разумеется, незаменимы, если необходимо объяснить конкретный исторический процесс, вот как у Маркса... или у Макиавелли... или у Мандзони, ха-ха-ха, разве не гениально с моей стороны присоединить сюда и Мандзони? Я просто помешан на

[1] «Терпение, терпение, когда тебя колют языки фальши» *(нем.)*.

великих мастерах симфонии девятнадцатого века, на золотом веке романтизма, на Брамсе, Чайковском, Дворжаке, Цезаре Франке, Сибелиусе и Малере. Говори что угодно, пусть мой музыкальный вкус неразвит, поверхностен, вульгарен, расплывчат и легкомыслен, но в них что-то есть... У тебя сонный вид, в состоянии ты следить за моей мыслью?

— Разумеется, это чертовски интересно.

— Хитришь, чертов торговец! Но все-таки как могла твоя очаровательная нынешняя подруга жизни, виртуозная пианистка и вообще, заявить так категорически, что в «Страстях по Матфею» есть все, они говорят обо всем, когда на самом деле... Знаешь, ни один писатель во всей мировой истории не мог сделать меня более убежденным оптимистом в отношении цивилизации, чем Маркс. И вдруг является она, твоя очаровательная нынешняя подруга жизни, и заявляет, что Бах... в восемнадцатом веке эта христианская проповедь...

— Может, Ванесса хотела сказать не так буквально?

— Почему? Но только ничто не может содержать всего. Главное в том, как слушать. Или переживать. Всегда нужно уметь различать, дифференцировать, как говорится в культурных кругах, отделять одно от другого, понимать, что есть что и что есть ничто... «Страсти по Матфею» — исчерпывающее объяснение жизни? Не знаю, как можно было додуматься до такого вздора! Ведь «Страсти по Матфею», напротив, охватывают как раз только одну сторону... жизни, но зато охватывают ее в совершенстве, с этим я охотно соглашусь. Поражение человека — вот о чем они говорят, о качественной неполноценности и ограниченности человеческого рода. «Страсти по Матфею» — это семьдесят восемь совершенных вариаций на тему чистой, ничем не замутненной печали и смиренной покорности — покорности как неизбежной составной части человеческой судьбы, но зато какая это трагедия, какая удивительная, непревзойденная трагедия, затмевающая даже «Короля Лира»... как трагедию... Ты понимаешь, что я хочу сказать? Вообще ты хоть что-нибудь понимаешь?

— По-моему, я начинаю догадываться, куда ты клонишь.

— Начинаешь догадываться, это хорошо, догадка — это лучше, чем ничего. Трагедия человеческой жизни, «Король Лир» — это великая трагедия и «Фауст» — тоже, но никто не посмеет отрицать, что Бах — величайший драматург мировой истории, если принять во внимание, что написать трагедию — это наглядно что-то изобразить, как, например, в «Страстях по Матфею».

Он помолчал несколько мгновений, прикрыв глаза, потом продолжал задумчиво:

— Все это очень странно, в высшей степени странно... Возвышенное великолепие индивидуализма, ошеломляющее явление великого гения, непостижимые движения сердца, переживания, борьба и боль одинокой человеческой души с небывалым размахом представляются в виде музыкального спектакля, разыгрываемого в похожем на дворец здании перед празднично одетой публикой,— спектакля, в котором участвуют литавры, барабаны, пятнадцать духовых инструментов, пятьдесят скрипок, музыканты во фраках, и все это ради одной-единственной цели... Нет, это слишком глупо, так упрощать нельзя, выдающаяся художественная натура Брамса могла быть сколько угодно и странной, и чувствительной, и страстной, но всему же есть предел, должно быть какое-то более достоверное объяснение, речь идет не только о борьбе одинокой души, в первую очередь не о ней, а об исторической эпохе, о духе времени, великие романтические симфонии рассказывают о времени величия буржуазии, о триумфальном победном шествии средних слоев общества, о безусловном наступлении ка-

питалистического общественного порядка во всем мире. Вспомни о триумфальных поездках Малера по США, о его стимулирующей, зажигательно-тенденциозной позитивистской программной музыке, вспомни Вторую симфонию Сибелиуса, ее заключительную часть. «Все идет хорошо, все идет отлично, мы выстоим, мы выстоим» — говорит финал. А третья симфония Брамса — это ликующее шествие в четвертой части, так и слышится победный марш регулярных войск, шагающих по кровавым полям сражений в колониальных странах во имя святого капитализма, святость которого никогда не ставится под сомнение... Эта красота, эта музыкальная возвышенность, эстетическая значительность были просто необходимы, грандиозное динамическое общественное развитие требовало своего грандиозного художественного обрамления и толкования. Эта музыка была необходима как своего рода моральный противовес, своей красотой и благозвучием она как бы примиряла с теми ужасами, которые в то время происходили в мире: эксплуатация и угнетение рабочих, массовые убийства в колониях... В этих симфониях говорится о средних слоях общества, о буржуазии, это эстетика жадности, философия комфорта, поднятые до категории искусства, поэтому я и люблю их такой неизъяснимой любовью. Нельзя отказаться от самого себя, но нужно уметь видеть свою фальшь и свои декоративные побрякушки... Буржуа девятнадцатого века был наивен, он не разгадал этого, и музыкальные гении девятнадцатого века тоже были наивны, они думали, что борьба и бури происходят в их одиноких душах, и исповедовались в своих симфониях, но я не наивен, я понимаю, в чем все дело. Это политическая пропаганда. Ты шокирован, я вижу, что ты шокирован, в душе каждого торговца живет частичка эстета, необходимая для равновесия и успеха, признайся, признайся! Торговец ничего так не боится, как разоблачения.

— Признаюсь, я удивлен, и мне трудно в это верить.

— А я глубоко потрясен, порой я бываю совершенно разбитым, подавленным, впадаю в апатию от отчаяния: куда мы идем, что станет с людьми? Можешь ты мне это сказать? Нет, не можешь, а вот Маркс мог, поэтому я на старости лет и стал марксистом, снова и снова Маркс возвращает мне веру в человека, в социальную сущность человека и смысл жизни, хотя... время, в которое мы живем,— это трясина позора, оргия недостойных человека поступков, причем откровенная оргия, это-то и ужасно, теперь нет даже фальши, которую можно было бы разоблачить, люди в открытую пытают друг друга, как, например, в Чили и в Греции, открыто проституируют, как в поп-арте и еженедельной прессе. Как бы там ни было, но во времена своего величия буржуазия пыталась создать моральный противовес в виде возвышенного искусства. Тогда еще понимали ценность человека, не были еще настолько наглы, чтобы объявлять ценностью обыкновенное дерьмо. А что такое искусство сегодня, скажи? Это полупорнографическая и глупая серийная продукция издательства «Вильямс»! Образованный буржуа превратился в глупую болтливую обезьяну. Господи, каким одиноким я стал на старости лет, все мои давние друзья, все, если они еще живы, сидят и ведут невообразимо нудные и бесполезные дискуссии о том, кто, собственно, выиграл вторую мировую войну и кто невольно был в нее втянут, они так и остались в этой второй мировой войне, их заветная мечта — доказать когда-нибудь, что Красная Армия не проявила храбрости, они все еще полагают, будто западная культура, так называемая западная культура, это нечто, чем можно гордиться, но ею нельзя гордиться, и я бесконечно одинок, сознавая это... Солнце никогда не взойдет на западе, оно взойдет на востоке, с востока всегда шел свет, не надо упрощать, все не так просто, наоборот,

страшно запутано, и распутать трудно, но если ты хочешь увидеть хотя бы искру надежды — надо смотреть туда, если хочешь найти хоть каплю потерянной, утраченной цельности человека — надо ехать туда. Социализм... для нас это звучит сурово, нас пугают уравниловкой и чрезмерной централизацией власти... Но век живи, век учись... как я, например... Неужели ты не видишь, что в этой суровости — единственная надежда для будущего, какую можно найти в наше время... А уравниловка — это лишь буржуазное бранное словцо, означающее равенство. Что же касается централизации власти... а разве, черт побери, можно обойтись без сильной власти?.. Природу нельзя преодолеть, подавляя и эксплуатируя, ее можно преодолеть, лишь признав ее силу и превосходство, это обязательное условие, поставленное самой природой, если выражаться высокопарным слогом... Все ошибаются, а мудрость — она пылала в Лондоне еще сто пятьдесят лет тому назад...

Ступай домой, Дональд, я страшно устал, ты окончательно вымотал меня своей бесконечной болтовней, я хочу немного послушать Баха перед тем, как лечь... ступай, Дональд, ступай... завтра я намерен распустить парламент...

Мне оставалось только уйти. Через несколько дней он снова позвонит. По дороге домой я думал о его словах, о свете с востока и об одиноком пламени в Лондоне. Не всегда легко понять...

В моем кабинете, где я пишу в это утро, сидя за своим ореховым письменным столом, в левом окне забрезжил серовато-синий рассвет над Эренсвэрдспаркен, над портом Гресвик, над доками и силуэтами подъемных кранов в мощных голубых лучах прожекторов. Зажженная настольная лампа стоит слева от машинки. Сегодня я проснулся в пять утра. А за столом сижу с половины седьмого. Торбьёрн дома не ночевал. Я не видел его со вчерашнего завтрака. Тогда он выглядел ужасно, глаза красные, отекшие, изо рта дурно пахнет. Ксерокопии лежат слева от меня, под лампой, на них падает свет. Гладкая, чуть липкая бумага, собственно, и не бумага, а какая-то твердая, спрессованная масса, разглаженная и тонко раскатанная, которая зовется бумагой только по привычке и предназначена, чтобы запечатлевать грозные, роковые или непостижимые письмена. Я ничего не крал. Но действительно большая часть этого так называемого «фамильного архива» находится в настоящее время в моем кабинете.

Прямо передо мной у стены стоит невысокая книжная полка, главным образом с экономической и политической литературой. Когда я отрываю взгляд от пишущей машинки, он с утомительным постоянством падает на два фолианта в кожаных переплетах с золотым тиснением на красных корешках — «Хутора и поместные усадьбы Финляндии». Зачем я приобрел эти дорогостоящие книги? Что это — жертва на алтарь тщеславия? Чтобы в минуту праздных мечтаний, помимо моей воли, чудом, сквозь маленький с красным коньком домик Нюгорда на плотной глянцевитой бумаге проступил вдруг желтый или розовый ампирный фасад с колоннадой и верандами под гербом фон Бладов (работа Энгеля, стр. 135)? Предмет хвастовства? Виноград для вынырнувшей из низшего класса лисицы? Сознательно я, во всяком случае, никогда не видел себя в роли солидного, самоуверенного, крупного помещика и землевладельца. Подумаешь, Нюгорд. С тех пор прошло уже столько лет. Хвастать нечем.

А вокруг «Хуторов и поместных усадеб» — мемуары политиков, хроники предприятий. Книги, которые чаще всего абсолютно никому не нужны. Их мало кто читает и еще меньше помнят, они никому не доставляют радости. В них нет основополагающей идеи или общего

смысла, пишутся они ради собственного прославления, и потому все неприятное из них выброшено, а приятное — преувеличено. Это книги для коллег, для посвященных, для владельцев акций, для людей привилегированных, для капиталистов. То есть для меня? А «его крайне компрометирующее коммунистическое прошлое»? Когда прекратилась моя связь с этим прошлым? Когда я возобновил ее? И возобновил ли? Да была ли у меня вообще хоть какая-нибудь связь с этим прошлым? Опять меня мучает сомнение. Ужасное сомнение. Сомнение в самом себе. Отвратительный запах перагара изо рта у Торбьёрна. «Альенде убит!» Сегодня ночью мне приснился странный сон.

Я снова учился в школе — это мне часто снится. И, как во всех прежних снах, я был не ребенком школьного возраста, но взрослым человеком, таким, как сейчас. Была весна или осень, мы играли в лапту во дворе Норсенской школы у подножия Обсерваторской горы, где начинается улица Фабиансгатан, на которой стоят кирпичные казармы и Гвардейский манеж. Шелестели липы. Подошла моя очередь бить. «Подавала» подкидывает мяч. Я изо всей силы бью лаптой, но попадаю не по мячу, а по голове «подавале». Он падает на землю с раскроенным черепом, кровь заливает ему лицо и шею. Песок темнеет от крови. Мгновенно сообразив, что́ произошло, я с быстротой молнии убегаю. Я не собираюсь отвечать за последствия того, что на деле является всего лишь ужасной, роковой ошибкой. «Подавалу» увозят в больницу, он при смерти. Я ухожу в подполье. Вина падает на преподавателя гимнастики как на ответственное лицо, его обвиняют в служебной халатности. Он растерян, в отчаянии. Он разыскивает меня и пытается уговорить, буквально умоляет, чтобы я явился в полицию, объяснил, что́ произошло, и признался если не в своей вине, то хотя бы в своем участии в этом трагическом происшествии. Я отказываюсь. Я хладнокровен, нагл и бессердечен. Ведь у меня появилась реальная возможность спасти свою шкуру. Обвинение предъявлено преподавателю гимнастики. Без малейших угрызений совести я перекладываю всю вину на него. Он убит горем. Рыдает. Падает на колени, унижается, плачет, умоляет. Но я непреклонен. Мое сердце холодно как камень. «Подавала» умирает. Преподавателя гимнастики осуждают за непреднамеренное убийство и сажают за решетку. А я свободен. Мне весело, я доволен тем, что все так счастливо окончилось для меня. В конце сна ярко сверкает солнце. Я вместе со своей женой, одной из них, но с какой именно — неясно, еду на автобусе в аэропорт и сажусь в самолет, который должен доставить нас на юг, где мы намерены провести отпуск на берегу Средиземного моря под палящим солнцем Африки или среди древних выветренных скал Сицилии.

Торбьёрн вернулся домой только к обеду. Похоже, что трезвый. Он ночевал у Якоба. Они заговорились об искусстве и засиделись до рассвета (со мной, разумеется, так заговориться нельзя). В конце концов он лег спать у Якоба на диване. Так, по крайней мере, он говорит. Он не забыл рассказать мне, что Якоб совсем недавно закончил портрет горного советника Линдерманна, то есть отца Гюннель, моего бывшего тестя. Так в конечном счете сходятся нити, круг замыкается. У Торбьёрна было торжествующее и в то же время злорадное выражение лица, когда он сообщил мне об этом, я не мог взять в толк отчего. А почему бы Якобу и не написать портрет старика Линдерманна? Непонятно. И глупо, просто ненужно. К чему намекать, что эта работа должна иметь ко мне какое-то отношение. Дед Торбьёрна. Призрак давно прошедшего и нынче уже совершенно безразличного мне периода в моей жизни. Я хочу сказать, что теперь меня уже ничто не связывает с этим периодом. Почему же этот мальчишка всегда так упорно напоминает мне о моих ошибках, недостатках, промахах? Почему

он ведет себя так, словно имеет право играть роль судьи в моей жизни? Да еще не прямо, а с каким-то фальшивым коварством?

Мой ореховый письменный стол слишком помпезен, с этим я должен согласиться, конечно, он старинный, но не из наследства фон Бладов. В спальне у Хелен стоит старый китайский шкафчик, который привез домой из Кантона один из предков буржуазной ветви, служивший в конце восемнадцатого века суперкарго в Ост-Индской компании. Почему же, черт побери, у меня не может быть орехового письменного стола? Шкафчик Хелен покрыт перламутровой инкрустацией в виде драконов, листьев и замысловатого орнамента. У моего письменного стола ножки вырезаны наподобие львиных лап, потайные замки и двойное дно. Естественно, тот факт, что ксерокопия, снятая с жалобы Якоба, находится сейчас у меня, по-своему подтверждает, что его обвинения отчасти справедливы. По крайней мере, его слова о моих «связях». Но прежде всего это свидетельствует о том, что обвинения Якоба оказались неубедительными и что в высших инстанциях к ним отнеслись соответственно. То есть как к чепухе. Якоб не в своем уме, и это признано всеми.

Он сам намекает в конце своего послания, что у меня очень сильные связи, о которых наверняка должно быть известно канцлеру юстиции. Но это не секрет и даже не секрет Полишинеля. Я уже пытался выше рассказать о дружеских отношениях, о которых иногда мимоходом упоминает пресса и которые время от времени становятся предметом более или менее скандальных комментариев в еженедельниках. То, что канцлер юстиции при таких обстоятельствах переслал жалобу Якоба этой «моей связи», является всего лишь жестом самой обычной вежливости и внимания. Если бы все жалобы всех безумцев принимались в нашей стране всерьез, правосудие за две недели полетело бы к черту. Соответственно действует и полиция.

Правда, меня посетил чрезвычайно вежливый и обходительный комиссар полиции, который несколько смущенно и с многочисленными извинениями изложил мне цель своего визита. Я объяснил ему, как обстоит дело, то есть что мы с Якобом близкие друзья с конца сороковых годов, что в последнее время он несколько выбит из равновесия, что я, возможно, проявил некоторую бестактность, подвергнув его одному небольшому глупому розыгрышу, когда был у него в гостях, что недоразумение, вероятно, возникло именно тогда, но, как бы там ни было, он передал мне бумаги по обоюдной договоренности, я дал ему расписку в получении этих документов (теперь он это отрицает) и, разумеется, намерен вернуть ему все документы обычным порядком, когда они больше не будут мне нужны. После чего комиссар поблагодарил меня за полученные сведения, в достоверности которых, на его взгляд, не было причин сомневаться, извинился за вторжение, раскланялся, пожал мне руку и удалился отнюдь не для того, чтобы вскоре посетить меня вновь. Вот, собственно, как обстоит дело.

Хелен позвонила мне около одиннадцати. Если я поворачиваю голову вправо, мой взгляд прежде всего скользит по полу, покрытому настоящим персидским ковром, которому уже больше ста лет. Потом он упирается в высокий солидный стеллаж, занимающий почти всю правую стену. Там стоит художественная литература. Первыми книгами, которые я приобрел, были «Детство» и «Мои университеты» Горького. Они по-прежнему стоят у меня на третьей полке сверху, в финском переводе, я купил их, когда еще был женат на Синикке, то есть целую вечность тому назад. А вот «Фому Гордеева» я так и не смог осилить.

Гюннель считала, что каждый образованный человек непременно должен прочесть «Рассказы фельдшера» Топелиуса, но я не мог взять

в толк, каким образом эта наивная стряпня в течение нескольких поколений могла быть бестселлером. Гюннель вздыхала и говорила, что я неисправимо некультурен, она считала, что этот смешной шведскоязычный финский классик кажется мне неинтересным, так как у меня нет естественной связи с национальной (я бы сказал, буржуазной) традицией, для которой «Рассказы фельдшера» являются краеугольным камнем. А вот «Войну и мир» графа Толстого я проштудировал весьма внимательно. Нельзя сказать, что у меня от восторга пылали уши, но пользу от этой книги я определенно получил, хотя бесконечные вставки по-французски были для меня порой почти непреодолимой трудностью. Потом я отводил душу, читая роман «Огнем и мечом, написанный польским Топелиусом—господином Сенкевичем,— кажется, так правильно произносится его фамилия. Впрочем, исторические романы никогда особенно не привлекали меня. Романтические мечты о прошлом, которое нам почти неизвестно и которое наверняка было отнюдь не таким, каким нам пытаются представить его эти наивные писатели.

Но это входило в «образовательную программу» Гюннель. В ее тщеславную буржуазную программу воспитания, которой я так покорно подчинился. Ведь я любил Гюннель. Она научила меня также, в какую сторону нужно наклонять тарелку, когда ешь суп. Хотя, конечно, лучше вообще ее не наклонять. Как самым изысканным образом подносить ложку к губам, чтобы влить в себя несколько капель супа, причем беззвучно. Как, делая глоток из хрустальной рюмки, не оставлять на краю жирного следа от губ. Короче говоря, научила всей этой ортодоксальной буржуазной обеденной литургии. И растолковала, что́ считается смертным грехом. Смертным грехом, например, считается отрыжка — за столом или вообще в чьем-либо присутствии. Я так и не отучился от этой привычки. Люблю иногда рыгнуть. Уж если на то пошло, возможно, именно эта привычка была главной причиной нашего развода. Гюннель принимала это слишком близко к сердцу. Как могу я, высокопоставленный директор фирмы, владелец семикомнатной дорогой квартиры в Лёвё и всякое такое, рыгать после обеда, точно самый обыкновенный мужик. Милая, милая Гюннель. Где те времена, когда я учился в твоей школе этике и должен был постигнуть все нормы поведения, обычаи и стать настоящим барином, чтобы меня можно было показывать в высших кругах? Шведо-финское высшее общество. Сливки финского высшего света, куда я когда-то так серьезно и страстно стремился попасть. Мишура. Наваждение сгинуло, оно не могло длиться долго.

На этот раз Хелен полностью разоблачила себя. У нее рыльце в пушку. Лживая старая ведьма. До чего же я терпеть ее не могу. Полметра Томаса Манна. Собственно, это книги Лауры. Она не пожелала забрать их, когда мы расстались, она вообще не пожелала ничего забирать, даже бюстгальтеры и трусики оставила — своеобразный обиженный и в то же время насмешливый протест против девчушки Элины. Когда выехала Лаура, ко мне въехала Элина. Она даже хотела было воспользоваться всем этим бельем и не разрешила мне выбросить его в мусоропровод, но в конце концов сдалась, потому что вещи ей не подошли. Она была шире в бедрах, чем Лаура, и грудь у нее тоже была больше.

То, чего Гюннель пыталась добиться «Рассказами фельдшера», Лаура хотела добиться с помощью Томаса Манна. Она любила читать мне вслух по вечерам «Будденброков». По-немецки. Тогда мы еще любили друг друга. Я прерывал ее на каждом втором предложении, чтобы она объяснила мне непонятное слово. Я не очень силен в немецком. А это ужасное немецкое построение фразы! Наконец, это стало ее так

раздражать, что она вообще бросила читать мне вслух, мы купили «Будденброков» в шведском переводе, и каждый уже сам дочитал книгу до конца. Вернее, дочитал я, потому что она знала роман наизусть еще с ученических времен. Но тогда мы уже не так сильно любили друг друга. «Auf der linken Seite sind alle Nerven zu kurz» [1], — обычно несколько свысока цитировала Лаура, намекая на сходство Якоба с Кристианом Будденброком. Она считала Якоба несносным брюзгой. «Смерть в Венеции» я вообще-то прочел по-немецки. Auf Deutsch. Только чтобы подразнить Якоба, который обожает эту вещь и читал ее восемнадцать раз. Но по-настоящему сильное впечатление произвел на меня «Доктор Фаустус». Мне понадобилось шесть месяцев, чтобы дочитать до конца. Я был потрясен (снобистско-интеллигентское словечко). Но, как ни странно, я уже совершенно не помню этой вещи, хотя читал ее всего несколько лет назад. Помню, что в конце какая-то женщина стреляла из револьвера по трамваю. И еще: что они в детстве рассматривали цветные иллюстрации с изображением зверей, растений, бабочек и птиц в энциклопедии Брокгауза. Дома, у отца или у дедушки. Но кто — они? Этого я не помню. Может, именно этот рассказ о цветных иллюстрациях и потряс меня больше всего. Магия описаний Томаса Манна. Как символ незыблемости буржуазных основ в истории развития человечества, представляющей собою естественную часть истории общего биологического развития. Ничем не омраченное, обеспеченное детство. Естественное приобщение к знаниям. Европейская буржуазность как высшая точка и завершение процесса создания земли. До чего же это не похоже на мое серое, убогое детство. И до чего волнующе похоже на все, о чем я втайне мечтал и чего так долго и ревностно добивался. С безграничным вниманием читал я «Доктора Фаустуса». И с таким же безграничным вниманием слушал—правда, несколько позже—Струнный квартет Бартока. Его напряженность, скрытая грозная, почти физическая непреложность. Этот Пятый струнный квартет написан в 1934 году. Нацизм. Крах западных идеалов. До убийства Альенде еще более тридцати лет, и тем не менее он предупреждает о повторении. Как и Шостакович в Седьмой. Голод. Воля к жизни. Ленинград. Точно так же. Гордиев узел. Словно целый век говорил со мной на таинственном языке, которого я не знал, однако понимал каким-то загадочным образом, понимал скрытой, далекой, полузабытой, благоприобретенной и в то же время совершенно органичной и естественной частицей себя, своей личности. Как доктор Фаустус.

Телефон стоит справа на моем огромном помпезном ореховом письменном столе. Он светло-зеленый и гармонирует с зеленым стеклянным абажуром настольной лампы. Я раздобыл этот старинный абажур, вернее, целиком всю лампу, потому что, на мой взгляд, такая лампа соответствует общему стилю. Когда Хелен звонит, я протягиваю правую руку и снимаю трубку, но поскольку я лучше слышу левым ухом, я перекладываю трубку в левую руку, отчего спиральный провод натягивается и мнет вставленную в машинку бумагу. Я злюсь, мне приходится изменить положение и слегка наклониться вперед, поэтому я уже изрядно зол (на Хелен), когда она начинает свои иеремиады. Она невыносима.

Кстати, этот ореховый письменный стол я приобрел не в Финляндии и, разумеется, не получил в наследство. Я нашел его на аукционе Сотби в Лондоне всего год назад. Когда решил заняться сочинительством. Мне казалось, что для моей новой деятельности необходимо новое достойное обрамление. Он обошелся мне всего в тысячу четыреста

[1] «С левой стороны у него все нервы укорочены» (*нем.*).

фунтов, включая перевозку. Мне чертовски нравится бывать у Сотби. Уже на лестнице, покрытой мягким дорогим ковром, меня невольно охватывает острое чувство собственной значимости, таинственной избранности, обеспеченной всевозможными буржуазными заслугами, неподдельное, пьянящее классовое чувство, пронизанное превосходством, самодовольством и солидными традициями. Это чувство присуще всем выскочкам, но какая разница — ведь здесь мы все равны, зовут ли меня Орсини, Дуглас-Хьюм, Бернадотт, Тейлор, Шнайдер или Блаад. Деньги перешагивают через видимые и невидимые границы. Чеки и банкноты не имеют ни происхождения, ни родины. Тщеславная жадность — вот наш общий знаменатель. Он неизменен и постоянен так же, как математически неумолима правильность того, что дважды два — четыре.

Господи, как я люблю Сотби! Этот аукцион — где продаются старинные, причудливые, драгоценные, бессмысленно обретшие денежное выражение и нелепейшим образом связанные с барышом, призрачно сверкающие антикварные вещи — притягивает меня всякий раз, как я приезжаю в Лондон, с той же страстной и непреодолимой силой, как бордели и публичные дома, эти храмы эротических удовольствий. У Сотби я хожу и разыгрываю некую роль, подобно всей толпе посетителей, хотя многие из них, в противоположность мне, в этом деле профессионалы. Сам я настоящий профан. Рассеянно тронув кончиком башмака старинный ковер, я задумчиво качаю головой и перехожу к следующей вещи. Поднимаю стулья и долго сосредоточенно рассматриваю их донца (разумеется, ничего не понимая при этом). Быстро, привычно перебираю стоящие у стен картины — Мантенья, Ван Дейк, Ван Эйк. Нежно и осторожно провожу рукой по древним дубовым (или ореховым) столешницам, по черному и красному дереву. Открываю маленькие таинственные восточные шкафчики и придирчиво разглядываю их изнутри — слоновая кость, сандаловое дерево, розовое дерево, золото, серебро, нефрит, порфир, Мейсен и Розенталь. И т. д. Возвышенная и завидная роль знатока. Снуют рабочие в грязных серых халатах. Аккуратные молодые люди в обязательных темных костюмах и скромных галстуках бродят с важными минами и важными документами, время от времени они останавливаются, чтобы корректно и деловито поговорить о какой-нибудь безделице с какой-нибудь американкой, заведомо богатой наследницей с живописными мешками под глазами на вообще-то малосодержательном лице.

Я всегда избегал азартных игр. Азартная игра — занятие для дураков. Можно ли рисковать деньгами, заработанными в поте лица своего, не имея на то ни малейшего разумного мотива, лишь для того, чтобы пощекотать себе нервы, сладострастно замирая перед решением слепого случая. Это всего лишь капиталистическая жажда наживы, преображенная в метафизическое ожидание чуда и божественного исполнения желаний. Чистое безумие. Но перед аукционом у Сотби я не могу устоять.

У Хелен очень неприятный голос, жалобный, плаксивый, как и подобает вечной переносчице роковых вестей и страшных предсказаний. К счастью, она не совсем такая, она слишком банальна и скучна для столь драматичной роли. Хелен вечно в заботах. Чем-то руководит, что-то устраивает, кому-то звонит. И все улаживает наилучшим образом. Вполне возможно, что именно она довела Якоба до безумия. Она звонит ему не реже раза в день и спрашивает, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь. Заботливая сестра. Якоб огрызается с такой яростью, что брызжет на стены слюной. Странные отношения.

Хелен сварлива и мстительна, и объясняется это, конечно, отчасти

тем, что ей до смерти скучно жить в браке с этим неисправимым занудой Мартти, профессором ем.

Сейчас по телефону Хелен заводит со мной разговор о каком-то старом трюмо, которое стояло в отчем доме, где прошло ее детство, и теперь, бог весть когда, каким-то таинственным образом исчезло, так вот, не знаю ли я...

— Почему ты звонишь мне, чтобы спросить о старом фонбладовском трюмо? — говорю я, даже не пытаясь скрыть раздражение (телефонный провод и смятая бумага в машинке).

— Но, Дональд, дорогой, не надо опять давать волю своему комплексу, что касается меня, я всегда считала тебя полноправным членом нашего семейства, ты же знаешь.

(Неужели, милая Хелен? Это для меня большая неожиданность. Полноправный член семейства и всякое такое, подумать только, черт побери!)

— Дональд? Ты меня слышишь, Дональд? Я говорю серьезно.

— Да, слышу, слышу. (Но не забывай, что тут не Армия спасения, чертова ведьма.)

— Вот и прекрасно.

— При чем тут «напрасно»? Не понимаю.

— Дональд! Я *прошу* тебя...

— Прости, пожалуйста, я весь внимание, клянусь тебе.

— Речь идет о Якобе. Нервы у него в ужасном состоянии, я уверена, он просто болен, главная причина... Ну ты сам прекрасно понимаешь, что́ я хочу сказать...

— Главная причина в том, что была разграблена его сокровищница?

— Мне кажется, что тебе следовало бы выражаться несколько более... как бы это сказать... сдержанно, что ли...

— Я ничего не крал.

— Возможно, возможно...

— Но, господи, ведь мы уже разговаривали об этом, разговаривали и с полицией, и с канцлером юстиции, и... Дело это высосано из пальца — огромный мыльный пузырь, неужели ты не понимаешь?

— Среди порядочных людей или среди родственников принято проявлять немножко больше внимания друг к другу, Дональд, от тебя требуется всего лишь капля деликатности и такта, это не слишком много, ведь тебе известно, как он уязвим и чувствителен.

— Я толстокожий, Хелен.

— Нет, ничего подобного.

— Да, да, я толстокожий, я подлец и карьерист, но я, черт побери, вырос не в теплице, как Якоб...

— Дом, где мы росли, не был тепли...

— Нет, был, а я в жизни прошел суровую школу задворков и привык полагаться на крепкие локти...

— Дональд!

— Что, Хелен?

— Ты сидишь на бочке с порохом.

— Господи Иисусе, а я-то считал, что сижу за своим письменным столом.

— *Дональд!*

Ее голос поднимается до фальцета. Теперь она в любую минуту может расплакаться, если я не сдержу себя и не «проявлю немножко внимания».

— Ты думаешь, что архив содержит взрывчатые материалы?

— Это мое дело, что́ я думаю.

— Ты думаешь, что, сам того не понимая, я располагаю бумагами, кого-то компрометирующими, и теперь ты, Якоб и все высокое семейство в целом жаждет, чтобы его незапятнанная репутация была спасена любой ценой...

— Если я говорю, что на бочке с порохом сидишь ты, то я имею в виду именно тебя!

— Согласен, если сижу я — значит, это я, такие вещи доступны даже необразованному выскочке.

— С тобой нельзя разговаривать, ты невозможен.

— А что, Якоб страдает?

— Да, Якоб страдает. И страдает из-за тебя. И твоих фокусов. Почему ты не можешь... Ведь Якоб практически вытащил тебя из наво...

— Сердечно благодарю.

— Ты мог бы, по крайней мере, поговорить с ним, я имею в виду... поговорить по-хорошему.... как со старым другом. Есть вещи, о которых нужно и можно договориться... если бы ты проявил немного доброй воли...

— Да я вовсе не против, но ведь начал все это не я. И теперь не мне, а кому-то другому следует сделать первый шаг. Не я ведь писал канцлеру юстиции. А что касается бумаг, так он получит их в целости и сохранности, как только они будут мне не нужны, это я говорил ему тысячу раз...

— Может, говорил, а может, и нет.

— Вот именно.

И тут она неожиданно переходит к истинной цели своего звонка и выпаливает:

— Но Майлз — ведь он пошел и заявил на себя в полицию. Ведь я все время предупреждала, что он...

— Врешь!

Я кричу. Я застигнут врасплох. Нет, не мог он совершить столь безрассудный поступок. Боже милостивый! Мне остается только бросить трубку. А она как раз ждала, жаждала и надеялась, что я это сделаю. Вот оно, ужасное и блестящее подтверждение, что она не ошиблась в своих коварных подозрениях. Чертова ведьма!

Мой первый порыв — немедленно позвонить Майлзу. В следующее мгновение — уже другая реакция. Я не могу звонить ему ни при каких обстоятельствах. Меня приводит в ужас одна эта мысль. Я просто-напросто боюсь его. Что я могу ему сказать? Что должен был бы сказать? Есть вопрос, задать который невозможно. Только один вопрос. Но он невозможен, немыслим. Я вспомнил сдержанность, холодный, враждебный, почти ненавидящий взгляд Майлза во время нашей последней встречи. Нет, о Майлзе нечего и думать. То есть о Майлзе как раз и следует думать, непременно следует, но думать о нем, а не говорить с ним. Кроме того, остается еще крохотная возможность, что Хелен, вопреки всему, осведомлена лучше, чем я, и что Майлз действительно поступил, как она сказала, а стало быть, уже задержан и сидит в кутузке, хотя я и убежден, что она просто трепалась, сознательно, с расчетом налгать мне. Эта мысль невыносима. Мне нужно с кем-нибудь поговорить. Посоветоваться. С кем-нибудь надежным. Почему в эту тяжелую минуту рядом со мной нет Ванессы? Она могла бы помочь мне. Я хочу сказать, что ей я мог бы довериться полностью. Ванесса! Ванесса! Един-

ственный человек в мире, с которым я теперь могу разговаривать. Кому могу довериться. Открыть самое сокровенное.

Мне очень захотелось позвонить ей в Лондон, но я тут же отказался от этой мысли. У нее хватает своих забот и огорчений. К тому же, может, ее сейчас и нет в отеле. Скорее всего — нет. Такого просчета я не выдержу. А деньги? Ведь частный получасовой разговор стоит бешеных денег. Разумеется, я в состоянии позволить себе такую роскошь, но все-таки. Нет, Ванесса отпадает. Но кто же тогда? Кто-нибудь из моих предыдущих жен? Синикка? Гюннель? Лаура? Элина? Синикка — родная мать Майлза, разве не было бы самым естественным поговорить именно с ней? Но она, наверно, сидит на очередном заседании, и ей нельзя мешать. Или занята в какой-нибудь комиссии. Лаура? В Южной Африке, Эфиопии или еще бог знает где. Элина? Чересчур молода и эгоистична. Ей почти столько же лет, сколько и Майлзу. Не поймет. Рейно Л.? Какое отношение имеет Рейно Л. к моим личным затруднениям? Он пользуется моим доверием, этого я отрицать не стану. Но совсем в другом плане. Я бы только поставил его в ложное положение, смутил его. С другой стороны, если вдуматься, он в известной степени причастен к этому делу. Хотя и не подозревает об этом. Нет, нет, только не Рейно Л. Но я должен позвонить хоть кому-нибудь. Кому же? Неужели во всем мире у меня нет ни одного настоящего друга? Гюннель?

Немыслимо. Гюннель ни разу в жизни не проявила ни капли доброты, да и вообще никаких чувств ни к Майлзу, ни к Розе. Никогда не заботилась о них, хотя это были мои дети, моя плоть и кровь,— я не помню ни одного такого случая. В то же время я понимаю, что не имею права так говорить. Ни с одной из моих жен я не обошелся столь несправедливо, как с Гюннель. Бедная Гюннель. Она не испытывала ненависти к Майлзу и Розе — она их боялась. Они принадлежали к той части моей жизни, куда ей не было доступа. И она не знала истинных размеров этой части. Не знала, насколько эта часть жизни была для меня существенна, насколько угрожала ей и нашему браку. Гюннель — с ее воспитанием, ее деньгами, ее традициями, ее блистательным общественным положением — в глубине души была очень робкой. Трусливой и неуверенной в себе.

Я вдруг вспомнил, какое мягкое было у нее туше, когда она играла «Детские сцены» Шумана. Какой сложный сплав нежности и решительности. Милая Гюннель, как злобно я обошелся с ней только потому, что вовремя не разобрался в этом, разберись я вовремя, может, наш брак и сохранился бы... Господи, о чем это я болтаю... прогрессирующий старческий склероз, сентиментальная рассеянность. Майлз!

Сейчас надо думать о Майлзе. Якоб! Если бы я, несмотря ни на что, мог связаться с Якобом, поговорить «как со старым другом», если пользоваться лексикой Хелен... Ведь мы все-таки знакомы уже почти тридцать лет, ведь мы... Неужели друзья? А все наши разногласия? Конечно, черт побери, у нас были разногласия. Но подспудно, несмотря ни на что... мы все-таки друзья. К тому же «кровь — не вода», как говорит Хелен. А, плевать на все! Сейчас я позвоню ему! Нет, звонить нельзя. Он просто бросит трубку, как бросил только что я. Я положу архив в его старый чемодан, возьму с собой, позвоню к нему в дверь, и со всей этой глупой историей будет покончено раз и навсегда. Другими словами, много шуму из ничего? Пустые хлопоты? Дональд Блаад, опомнись, никак ты и в самом деле наложил в штаны! Возьми себя в руки! Не верну я никаких бумаг, пока они мне нужны. Пока не употреблю их так, как задумал. Fan

anamma![1] А что я скажу канцлеру юстиции, если он позвонит? Что избил Якоба? Что угрожал сжечь весь архив целиком? Что... Сейчас же пойду к Якобу, протяну ему свою честную руку в знак примирения и от души попрошу его простить меня. Вот это я сделаю. Потому что мне нужно с кем-нибудь поговорить, иначе я спячу. А с кем же еще и говорить, если не с Якобом, который столько раз прежде... С моим другом и покровителем... С моим, можно сказать, старым приемным отцом...

Я знаю Якоба как облупленного, нет, конечно, я преувеличиваю, но все-таки я знаю его неплохо, очень хорошо, даже слишком, для того, чтобы понимать, что он, собственно, собой представляет, чтобы быть в состоянии говорить о нем не только пошлости, дерзости и банальности. Он слишком близок мне — в противоположность моим детям, которые слишком далеки. Разумеется, он немного тронутый. А почему бы ему не быть тронутым? Большинство людей ненормальные. Я сам тоже, наверное, не совсем нормальный. И Рейно Л. ненормальный, если взялся руководить стоящей на краю банкротства фирмой. Банкротство? Откуда это известно? Ничего подобного. Напротив. Рейно Л. просто принял на себя руководство. Вот я — ненормальный, это верно. Все удачливые дельцы ненормальны... Потом — рано или поздно,— когда удача изменяет им... Каждый предприниматель не чужд богемы, и чем больше ему сопутствует удача, тем это очевиднее... Генри Форд и Сальвадор Дали, фантазия — вот что объединяет предпринимателя и художника. Нужно уметь продумать, рассчитать эффект, правильно скомпоновать, найти логику в противоречивом, синтезировать несоединимое самым правдоподобным и выгодным образом. Та и другая профессия основаны на импровизации и требуют неиссякаемых импровизаторских способностей.

С другой стороны, очевидна и разница. Посвятив столько времени писательскому ремеслу, я очень хорошо ее вижу. Фантазия предпринимателя абстрактна. Она сосредоточена на количествах, перемножает количество на количество, воздвигает из них гору, и чем больше, выше, необъятнее эта гора — тем лучше. Фантазия количества. А фантазия художника — это фантазия действия, воссоздающая фантазия, готовая постоянно изменять свое направление, чуткая, как стрелка компаса в магнитном поле, она все делает наглядным и живым, даже то, что кажется непостижимым. И прежде всего то, что кажется непостижимым. Обязательное и общее для предпринимателя и художника условие — верность логике. Надо уметь разглядеть логику в неопределенном, в еще несуществующем, соединить тривиальное и очевидное с невероятным и неправдоподобным, управлять видением, экономическим или человеческим, с помощью беспристрастного и объективного анализа, переходящего в логически убедительный синтез, максимально выгодный, максимально наглядный.

В обоих случаях наиболее важный вопрос — это вопрос о проникновении в психологию человека. Надо знать не только свои силы и чужие слабости, но и уметь распознать притворство, уметь предугадать, какую реакцию вызовут у людей определенные комбинации. А если знание человеческой психологии отсутствует, если оно изменяет... если видение бледнеет... А Якоб, у него есть видение? Как выглядит видение консерватора? Как поток в канализационной трубе? Или изобилие у Сотби? А мое видение? Кто я такой? Эквилибрист, работающий без сетки под самым куполом и пока еще не знающий, в каком именно цирке он разобьется насмерть. Писатели и

[1] Финское ругательство.

предприниматели одинаково ясновидящи и одинаково знают заранее свой смертный приговор. Из-за отсутствия способностей. Из-за недостатка фантазии.

Я никогда не сдамся.

Мечта Якоба. О чем мечтает Якоб? А я о чем мечтаю? Мечтаю ли я... чтобы Майлз... чтобы Майлз не... Нет, нет, мне не о чем мечтать, все мои мечты уже сбылись, такой уж я неисправимый хвастун. Но Якоб. Мечты Якоба. «Практически это он вытащил тебя из навоза», *меня* из навоза! Неужели? Из какого же это навоза? Каким образом? У меня, естественно, не было денег, этого нельзя отрицать, но — из навоза?.. Ну нет, напротив, он из кожи лез, чтобы унизить меня своим классовым высокомерием... А деньги? В 1957 году Якоб дал мне взаймы пять старых миллионов, в том же году я... С тех пор он их и в глаза не видел. Деньги, деньги, и в 1946 году, когда я женился, и в 1950-м, и в 1953-м, и... А все его благожелательность, липучая, неутомимая благожелательность, несмотря на то, что я всегда... Даже с помощью «Смерти в Венеции» я посмеялся над ним, и все равно незыблемая верность с его стороны, постоянное предательство — с моей. Его мечта.

Предательство? Почему предательство? Какое предательство, если я никогда не просил его ни о чем, напротив, он всегда, год за годом, настаивал, ни капли не заботясь о том, что я... «Если у тебя случатся затруднения, приходи не раздумывая...» Так обстояло дело или... Но всегда была благожелательность, его непоколебимая, невыносимая, липучая благожелательность. Что, скажите на милость, такого в этой «Смерти в Венеции», что могло так очаровать его? Мечта об искусстве? Мечта о красоте? Гибель? Загнивание? Вонючее разложение целой культуры, с которой он неразрывно связан, символически показанное в разрушающейся Венеции? Якоб. Кто такой Якоб? В нем есть что-то, чего я никогда не мог понять, какая-то загадочность. Кто он? О чем думает? Как он чувствует? И что чувствует. Жизнь Якоба — что она представляет собой, его жизнь?

В чем заключается жизнь консервативного человека? В том, чтобы проливать слезы по ушедшему, уходящему и тому, что непременно уйдет? Видеть угрозу и опасность там, где другие видят только естественные изменения? Всегда бояться, постоянно быть начеку, хоть и считая себя очень смелым, не понимать, что эта вымученная, искусственная смелость на деле не что иное, как скрытый страх? Чего же так боится консервативный человек? Что у него все отнимут. Он хочет, чтобы жизнь оставалась неизменной, но жизнь не может не меняться, напротив, она вечно и непрерывно меняется. Он полагает, что изменения опасны, но, разумеется, это не так, то есть они, конечно, опасны, но не больше, чем опасна сама жизнь. Большинство людей приспосабливается к изменчивости жизни, и в соответствии с этим люди созревают как личности. Другие связывают с этой изменчивостью свое предназначение в жизни, хотят влиять на жизнь и определять ее направление. Консервативный человек ищет опасность в этих изменениях, для него изменение — это и есть всякого рода опасности, но опасности большей частью нереальные, они — плод его воображения, они — как бы сон. Его жизнь — дурной сон. Жизнь консерватора — дурной сон.

Такова жизнь Якоба? Дурной сон? Страх, что он лишится всего? Дрожит при одном слове «социализм». И он не одинок в своем страхе. У него много собратьев, дрожащих с ним в унисон. Якоб — образованный человек, но социализм, по его мнению,— это варварство. Сон Якоба? Нет, это его жизнь!

Уже сама его деятельность предполагает консервативное миро-

понимание, окостенелое представление о жизни. Борьба Якоба с материей — а он боролся с ней при помощи своей кисти — когда-то была иной, он не боялся рукопашной схватки с любой формой действительности, и как скульптор и как живописец он работал в той же манере, что Хуан Гриз, Брак, Бранкузи, Ганс Арп, но это было слишком рано для нашей страны, фатально рано — ведь это было так давно, очень давно, Якоба осмеяли, попрали и обдали презрением. Он озлобился, пал духом. И начал писать портреты, а можно ли представить себе более консервативное занятие? Убить мгновение, чтобы обессмертить его. Задержать бег времени, парализовать выражение какой-то личности на определенной фазе ее пути к смерти, дабы таким образом обеспечить ей вечную жизнь, сохранить для потомства убогий отблеск того беспредельного, находящегося в непрерывном движении и непостижимой взаимосвязи, что присуще каждому человеку. Писать портрет — это все равно что персонифицировать саму идею консерватизма, ее слабость, ее беспомощность, ее бессмысленность, безграничный, бесполезный страх перед уничтожением через изменение.

А не говорю ли я о веревке в доме повешенного? Писать книги или портреты — какая между этим разница? По крайней мере, применительно ко мне и Якобу. Разве это не одно и то же бесплодное желание запечатлеть незапечатлимое — человеческий образ? Разве не тем же самым занимаюсь сейчас и я, пытаясь написать автопортрет, словесный автопортрет, вдохновленный по сути дела тем же страхом перед смертью и уничтожением, тем же страхом перед непреложностью непредусмотренных изменений, разве это не та же паническая беспомощная попытка противостоять страшной, неподкупной, неотвратимой угрозе тлена? Не знаю. Откуда мне знать? Нет. Да.

Чего мне бояться, смерти? Я ее не боюсь... Мне еще нет и пятидесяти. Я здоров и силен. Мое тело функционирует почти так же безупречно, как раньше, не считая... не считая... а мозг работает все лучше и лучше. Вероятно, впереди у меня еще лет тридцать. Даже больше. Десятки лет здоровой, активной, полноценной жизни. Мне нечего бояться. Бояться? А я и не боюсь ничего, черт возьми, ничего не боюсь. Жизнь прекрасна. *Прекрасна.*

Я решил идти, я иду, надеваю пальто, шляпу и иду. Бедный Якоб. Конечно, он консервативен, но он добрый, добрый, бесконечно добрый человек, его единственный недостаток в том, что он всегда был неудачником, в этом — трагедия его жизни. Сплошные неудачи, против которых он был совершенно беспомощен, от которых никак не мог защититься. Например, его брак с этой Сильвией, первой и единственной женщиной в его жизни, он женился на ней сам еще такой молодой, такой неопытный, такой доверчивый... Да, с тех пор прошло уже почти сорок лет. И как она обманывала его, эта лживая потаскуха! Чуть ли не наутро после первой брачной ночи она уже стала посматривать на сторону, эта красотка, уже пустилась искать удовольствий, чтобы приправить свой благородный, возвышенный и, прости господи, такой скучный интеллигентный брак каплей обычной, простой, здоровой, крестьянской эротики. До чего глупо и неуместно должна была чувствовать себя эта Сильвия, дочь мелкого мануфактурщика, в этом ритуальном танце, в котором фонбладовские журавли проделывали свои заученные аристократические па! Какая она была? На самом деле? Такая, как я? Такая же нежеланная, но менее целеустремленная, более слабая? Или, наоборот, более сильная, настолько бескомпромиссная, что быстро раскусила весь этот вздор и поняла: ей этого не выдержать! И плюнула

на все со свойственной ей решительностью и бесстыдством? Это известно одному богу, ибо она давно погребена под горой злословия, сквозь которую невозможно пробиться.

Одиннадцать месяцев длился брак Якоба, а потом с треском, грохотом и тотальной мобилизацией юридических, моральных и эмоциональных сил всей семьи состоялся бракоразводный процесс, так что в конце концов от старого (то есть молодого) Якоба, прежде такого жизнерадостного, полного надежд и планов на будущее, мало что осталось. Сильвия же в ходе этого процесса превратилась в настоящее чудовище, несмываемое пятно на ранее столь чистом и незапятнанном гербе фон Бладов. Все это я узнал от Хелен, ибо события эти произошли задолго до того, как я вступил в сие почтенное семейное сообщество.

Но Якоб продолжал заниматься живописью, почему-то всегда опережая свое время, то есть время по финскому счету, но ни в коей мере не европейское. Он писал, как Мондриан и как Вазарели — в ту пору, когда Вазарели был в моде. Он забраковал Эдельфельта и осмеял Вяйнё Аалтонена и со всеми испортил отношения, он стал писать толстые колбасы за десять лет до того, как они решительно вытеснили из мировой живописи ее любимый сюжет — обнаженное женское тело. И в этом не было ничего консервативного, напротив,— это было весьма прогрессивно и радикально. Разочарования, полное отсутствие признания и понимания — вот что превратило Якоба в консерватора. А теперь уже поздно. Теперь он, озлобленный и угрюмый, малюет дурацкие портреты горных советников, епископов и профессоров. Заказы так и текут к нему, он богатеет и богатеет, а все потому, что сам из хорошего общества, воспитанный человек, художник, с которым можно вести пристойную беседу, не в пример этим смутьянам и алкоголикам в замшевых куртках, которые, как это ни тревожно, задают нынче тон в мире искусства.

Якоб был и есть продукт определенных обстоятельств — так же, как и любой из нас, черт побери.

Но иметь с ним дело, с этим Якушей (как ласково звала его в детстве Хелен), не так-то просто, это бесспорно. Он герметически замкнулся в своей буржуазности — пламенный энтузиаст классового самосознания, стыдливо сглаживающий острые углы,— в этой своей почти слепой зависимости от бессмысленных социальных ритуалов и предрассудков, которые, как правило, уже давно потеряли всякую связь с действительностью. Умение вести себя за столом важнее, например, активного интереса к голодающему миру. Ведь один человек все равно ничего тут не может сделать. Ничего, к сожалению, абсолютно ничего. Но есть с ножа — oh, mon Dieu, quelle horreur! [1]

Таков Якоб. Это кладезь определений для «воспитанного человека». Воспитанный человек не лезет вперед, но терпеливо ждет своей очереди. Воспитанный человек мужественно терпит физическую боль, не жалуется вслух. Есть столь же много определений, отрицающих воспитанность человека, определений для невоспитанного человека. Одно из них звучит так: «Невоспитанный человек — тот, что курит в уборной, бросает окурки в унитаз и не спускает за собой воду». И т. д. И т. п. Все это смешно. Он просто сумасшедший. Совершенно сумасшедший. А его загадочные восторги по поводу «Смерти в Венеции», как будто он, несмотря ни на что, знал: когда-нибудь все погибнет, предчувствовал эту гибель и даже больше — сознавал тайную гнилость, которая неумолимо разрушает изнутри все буржуазное великолепие, видел эту чуму, это духовное падение,

[1] Боже мой, какой ужас! *(франц.)*.

это увядание, умирание творческих способностей западного человека...

Нет, я заставлю его! Его лояльность — чисто буржуазная лояльность, ограниченная семьей, родом, в лучшем случае чуть-чуть выходящая за эти рамки. Для меня это выгодно. Семья священна, встать на защиту семьи, на защиту родственника, попавшего в беду,— дело чести для такого человека, как Якоб, и неважно, в каком проступке, преступлении или беззаконии обвиняют родственника, он будет защищать его вопреки здравому смыслу, фактам и клятвенным показаниям свидетелей. Таков Якоб, и я этим воспользуюсь, ибо хотя меня самого, невзирая на бесконечно лживые заверения Хелен, они так и не признали, Майлза они — во всяком случае Якоб и Хелен — признали без колебаний, если не за что иное, так за его личные достоинства. Дело касается моего сына, его чести и к тому же в немалой степени и моей собственной чести...

Я буду драться за своего сына как лев, я сломлю сопротивление Якоба, заставлю его действовать вопреки личным антипатиям, зависти и наивному комплексу неполноценности, как неоднократно заставлял в прошлом, я приподниму его за волосы до своего уровня или кулаками пригну ему голову до моего уровня, он мне сейчас необходим. Якоб мне необходим! Я иду к Якобу! Я позвоню к нему в дверь, ворвусь к нему, утоплю его в словах, заставлю его стать на мою сторону, заставлю употребить все влияние, предпринять что-то решительное, что повернет все в выгодном направлении. Даже если я буду вынужден прибегнуть к насилию... А если он не согласится, я его убью. Якоб, безумец, друг мой, моя единственная опора в этом мире! Ты опять необходим мне, Якоб, и ты опять придешь мне на помощь, как приходил всегда, давай забудем старые ссоры, сделанного не воротишь и не переделаешь, Якоб, тридцатилетняя дружба, подумай об этом, тридцать лет — это долгий срок, Хелен права, годы что-нибудь да значат, они обязывают, дружба, которая длится так долго, не ржавеет. Я иду к Якобу...

Мне кажется, что в данную минуту он лучше, чем я, поладит с кем нужно...

Он не хочет впускать меня. Увидев, кто пришел, он пытается захлопнуть дверь у меня перед носом. Я успеваю просунуть в щель ногу:

— Якоб, ради бога, мне надо поговорить с тобой, это страшно важно, речь идет о Майлзе...

Он прерывает меня, его голубые, водянистые глаза сверкают в дверном проеме точно глаза борова.

— Я буду говорить с Майлзом, а не с тобой.

Я плечом отжимаю дверь, чтобы можно было протиснуться, но он всей тяжестью своего огромного тела давит с противоположной стороны, и я понимаю, что мне трудно будет взять силой это первое препятствие. Некоторое время мы стоим, навалившись на дверь, каждый со своей стороны.

— Якоб, впусти меня.

— Иди к черту.

— Я принес бумаги, они в чемодане, он стоит рядом со мной.

— Врешь.

— Конечно, вру. Я всегда вру, всю жизнь я только и делаю, что вру, первый врун в мире, вся моя жизнь — одно сплошное вранье.

— Перестань молоть чепуху, Дональд, тебе больше никто не верит.

Я продолжаю давить с наружной стороны двери, он — с внутренней. В конце концов это становится смешно, но ничего другого мне не остается.

Я стою на узорном мраморном полу просторной лестничной площадки этого благопристойного старинного патрицианского дома и чувствую, как солидная буржуазность целого века шелестит в прохладной полутьме. Тут на лестнице неожиданно появляется пожилая дама, медленно, вперевалку она поднимается прямо на меня, дыша, как паровоз. В каждой руке у нее по тяжелой белой хлорвиниловой сумке, она смотрит на меня, на ее розовом, морщинистом, чуть одутловатом лице выражение не то изумления, не то неприязни. Ростом она невелика, но размеров солидных. И шуба из норки. Поднявшись на площадку, она останавливается и грозно глядит на меня. От ее свистящего дыхания на меня веет мягким слабым запахом портвейна.

— Якоб, это ты? — строго спрашивает она.

— Конечно,— отвечает он.

— Что здесь происходит? Если надо, я позвоню в полицию.

— Нет, нет, Хиллеви, все в порядке, не беспокойся. Это очередная шутка моего кузена.

В голосе его звучит и стыд и раздражение.

— Ты уверен, что тебе не потребуется помощь?

— Конечно, совершенно уверен.

— Может, все-таки позвать дворника?

— Нет, дорогая, не обращай внимания, можешь спокойно идти домой,— говорит он почти умоляюще, одновременно отпуская дверь так неожиданно, что я чуть не падаю в переднюю. Я вижу, как он машет ей руками и отрицательно мотает своей большой кудлатой головой. А потом захлопывает дверь у меня за спиной.

— Тебе опять повезло, чертов обманщик,— в ярости рычит он.

Я снимаю шляпу, пальто и быстро прохожу в гостиную, большую залу, заставленную мебелью, полученной в наследство: тут — густавианский стиль, там — модерн, а дальше — ампир и бидермейер, тяжелые темные картины в золоченых рамах висят на стенах. Я сразу опускаюсь в огромное шелковое кресло. Якоб даже не сказал мне «садись». Он слишком взволнован.

— Я не могу тебе помочь и не стал бы, даже если бы мог.

— Что ты имеешь в виду?

— Весь вопрос в том, что имеешь в виду ты. Я сейчас же заявлю на тебя в полицию за нарушение неприкосновенности жилища. Убирайся отсюда, нам не о чем говорить.

— Якоб, ради старой дружбы...

— Хватит уже про старую дружбу, Дональд, это тебе не поможет.

— Ну, Якоб, ведь речь идет не обо мне, а о Майлзе, мне нужно с кем-нибудь посоветоваться, и уж если на то пошло, ты единственный человек, на которого я могу положиться, единственный, кто знает Майлза достаточно хорошо...

— Я отказываюсь...

— От чего?

— Я не позволю впутывать меня в ваши с Майлзом грязные аферы.

— А я думал, что ты друг Майлза,— сказал я с печалью в голосе.

— Майлза — да, но не твой. А теперь уходи, Дональд, не то, боюсь, случится что-нибудь страшное.

— Хелен утверждает, что Майлз заявил на себя в полицию. Тебе об этом известно хоть что-нибудь? Это правда?

Его лицо выражает сомнение. Некоторое время он молчит. Наконец-то мне удалось заинтересовать его.

— При чем тут Хелен, что она может знать об этом!

— Я тоже так думаю.

— А почему бы тебе не спросить у нее? Или у самого Майлза? — тотчас выпаливает он.

— Не могу, Якке, как раз этого я сделать и не могу. Они оба как воды в рот набрали, не доверяют мне... Когда я спрашиваю, никто мне не отвечает.

Это звучит жалобно. Я прекрасно понимаю, как жалобно и фальшиво звучат эти слова. Но только я произнес их, отчасти по расчету, отчасти, чтобы подольститься, как они непостижимым образом становятся искренними — ведь все действительно так и есть, и меня захлестывает жалость к себе, неожиданная и несвойственная мне при моем самодовольстве.

— Что посеешь, то и пожнешь.

— Якоб... прости меня... я должен с кем-нибудь поговорить... Якоб... я конченый человек... как ты не понимаешь?..

Не в силах замолчать, да и не желая этого, хотя я прекрасно слышу, как фальшиво и смешно звучат мои слова, я почему-то вдруг опускаюсь перед ним на колени и умоляющим жестом протягиваю руки, и никакие силы не могут удержать меня, как бы противно и унизительно это ни было. Я притворяюсь и знаю, что играю роль, но импульс, как всегда, непобедим, а кроме того, у меня где-то в глубине сознания тлеет искорка настоящего страха и непритворной потребности поделиться. Непривычное, страшное и необъяснимое чувство. Даже Якоб смешался, заметив это.

— Фу, черт, не надо, Дональд, не надо, вставай, вставай, говорят тебе! — кричит он; видно, что ему все это очень неприятно, он нетерпеливо машет своими красными мясистыми руками.

Потом хватает меня под локти и пытается поднять. Я же не разрешаю поднять себя.

— Что это, черт подери, на тебя нашло, взрослый мужик!

Он тянет меня за рукава. Голос у него сдавленный и напряженный.

— Якоб, ты должен поговорить с Майлзом, сейчас же, немедленно, ты единственный, кто это может, ты моя единственная надежда, если он уже заявил на себя в полицию... тогда...

— Что тогда?

— Тогда мне конец!

— Я так и знал, ты печешься о самом себе, а вовсе не о Майлзе, проклятый удав! — неожиданно орет он, опускает руки и отворачивается.

Я медленно поднимаюсь на ноги. Мне кажется, будто я наконец сбросил с себя колдовские чары.

— Что ты, собственно, вбил себе в голову, Якке? — говорю я, пытаясь придать голосу беспечную, ироничную интонацию.

— Я не обязан тебе отчетом, к тому же ты и сам все прекрасно понимаешь.

— Ты небось думаешь, что главный мошенник — это я, что папочка вынудил своего примерного малютку стибрить миллиончик, чтобы навести порядок в своих грязных аферах, так, да?

— Вот именно, ты абсолютно прав. Меня только удивляет, что ты так скромно говоришь о миллионе, мне казалось, что речь идет о трех.

— Черт его знает, может, и о восьми, если получше разобраться.

— И теперь ты хочешь разнюхать, как обстоят дела, чтобы иметь возможность принять свои меры?

Я подхожу к нему, хватаю его за лацканы пиджака и смотрю прямо в глаза.

— Якоб! *Если* Майлз пошел и заявил на себя, он за эту сумму получит минимум шесть лет и *никто*, кроме него, не будет иметь из-за этого никаких неприятностей, во всяком случае, не я, если, разумеется, не считать горя и позора; но если он не заявил на себя, то есть если Хелен, как мы оба полагаем, наболтала все это сдуру, тогда все закончится тихо и пристойно. Майлза на два-три года переведут во Франкфурт, или в Цюрих, или в Иоганнесбург, он вернет деньги, несколько раз извинится и скажет, что действовал в состоянии, к примеру, минутного умопомрачения, и вопрос будет исчерпан, ни одна живая душа никогда не узнает об этом, если не считать, конечно, тех, кого уже успели поставить в известность. Тебе это ясно? Ясно, что ты *должен* позвонить Майлзу? Сейчас же. Немедленно. Потому что мне он почему-то не доверяет... как раз теперь, но тебе он верит, тебя он послушается, он всегда тебя слушался. Вспомни, Якоб. Ты единственный, кто может заставить его образумиться, ведь это так, или я не прав? А, Якоб?

Он стоит неподвижно и тяжело дышит мне в лицо, его свиные глазки, обрамленные красноватыми мешками, неуверенно бегают. Изо рта у него дурно пахнет, и я пытаюсь не дышать. Наконец он беззвучно произносит:

— Где мои бумаги?

Я отпускаю его лацкан, толкаю обеими руками в грудь и подхожу к окну. Заложив руки за спину, смотрю на машины, выстроившиеся вдоль тротуара.

— И ты еще говоришь об эгоизме?

— Я позвоню, как только ты вернешь мне бумаги.

— Вымогатель.

— Научишься с годами... от своих так называемых «родственников».

— Какое все-таки идиотское послание ты состряпал канцлеру юстиции!

Я надеялся, что он опешит, узнав, что мне все известно. Но он невозмутим. Напротив, он высокомерно смеется.

— Ах это, ну, это я пошутил, сочинил, чтобы тебе было над чем поломать голову,— презрительно говорит он.

Но его презрительный смех звучит принужденно, а голос — резко. Что он, блефует? Вздумал дурачить меня?

— Неужели? А я-то думал, что ломать над этим голову должен канцлер юстиции.

— И ошибся.

Я чувствую, как у меня перехватывает горло, кровь стучит в висках. Неужели Якоб перехитрил меня?

— Не пытайся внушить мне, что ты такой ловкач.

— У меня свои связи, Дональд, не только у тебя есть связи... Мне даже странно, почему ты не прибегнешь к своим связям, когда речь идет о Майлзе: ведь тебе это так легко, отправился бы прямым ходом к...

— Да, да, конечно, но пойми, что в данном случае это не очень желательно.

Он продолжает ходить, посмеивается самоуверенно, но в то же время и принужденно. Неужели блефует? Конечно, блефует. А если нет?

— Я того и добивался, чтобы ты как можно скорее прочел мое послание, и настоятельно просил его — я имею в виду канцлера юстиции — довести это послание до твоего сведения наиболее... наиболее

лестным для тебя образом. Вижу, что все сработало отлично, как теперь говорят.

На этот раз ему действительно удалось перехитрить меня, мне вдруг становится совершенно ясно, что меня перехитрил этот недотепа. Конечно: ведь Якоб писал портрет канцлера юстиции. Вот и связь. Я чувствую, что краснею. Мне стыдно. Я глубоко унижен. Я в бешенстве. Это ловушка.

— А что касается твоих старых заплесневелых бумажек, можешь быть уверен, что ты их больше никогда не увидишь! — ору я.

— Тогда я не буду звонить Майлзу,— говорит он спокойно.

— К черту Майлза, к черту всю эту проклятую кашу, не воображай, что можешь обращаться со мной, как тебе вздумается!

— Я же тебе сказал, что это была небольшая шутка. Где твое чувство юмора? А, Дональд?

— Катись к чертовой матери!

— Ну хорошо, Дональд, я тебе вот что предлагаю. Ты подписываешь документ, в котором обязуешься вернуть мне архив в течение, предположим, недели, начиная с сегодняшнего дня, и как только эта бумага будет подписана, я немедленно подхожу к телефону и набираю номер Майлза. Разве это не деловое предложение? Безупречный и корректный договор мужчины с мужчиной.

— К чертям собачьим!

— Но свой архив я в любом случае получу, даже если мне придется пойти для этого на убийство. Я отравлю тебя,— уточняет он, ибо совсем недавно имел случай убедиться, что в отношениях со мной ему нечего рассчитывать на свои физические силы.

Как раз в это мгновение я начинаю соображать... А нет ли там чего-то, что выпало из поля моего зрения? Нет ли в этом ворохе безобидных и обычных дневников, писем, старых счетов, описей имущества и т. п., которые я в тот драматический вечер засунул в чемодан и унес домой, нет ли там случайно ускользнувших от моего внимания каких-нибудь документов действительно щекотливого или чреватого последствиями характера? Может быть, даже вещественного доказательства моей принадлежности к этому роду, например, какого-нибудь подписанного и датированного письма? Или чего-нибудь еще более драматического, вернее компрометирующего, что не имеет ко мне никакого отношения и связано с совершенно другими темными и до сих пор тщательно хранившимися в тайне событиями истории рода фон Бладов. Растрата? Подкуп? Извращения? Сумасшествие? Убийство? Среди всех этих сенаторов, генералов, профессоров, коммерции советников? Преступники? Невероятно. В таком случае я действительно... Бочка с порохом, о которой говорила Хелен! Какой, собственно, порох имела она в виду, если не считать каверзных обвинений, относившихся лично ко мне? А канцлер юстиции? Шутка? Нет, не совсем. Такой серьезный человек, как Якоб, прирожденный рыцарь буржуазного этикета, не станет передавать шутливые послания человеку, занимающему пост канцлера юстиции, какие бы фамильярные отношения ни связывали его с этим высокопоставленным господином. Нет, собака зарыта именно в той кипе бумаг, а я до сих пор не сообразил этого. Чудеса? Или, наоборот, как раз сообразил, сообразил, несмотря ни на что. Удивительно.

— Не понимаю, из-за чего ты шумишь, Якоб, у тебя есть моя расписка, и, кроме того, я дал тебе честное слово, что все будет возвращено, когда придет время.

— Ты не давал мне никакой расписки.

— Нет, давал, но в тот вечер ты был так пьян, что забыл про нее, она, очевидно, затерялась в твоем беспорядке.

— Я не был пьян, и ты это прекрасно знаешь. Но ты меня избил, унизил, я находился в состоянии шока, был почти без сознания, и все из-за тебя. Ты вел себя как настоящий гангстер, ты ударил меня по лицу, ну что ж, уже не в первый раз, я понимаю: твои пролетарские манеры, мне следовало бы привыкнуть к ним за долгие годы...

— Не надо так преувеличивать.

— Потом ты сунул зажженную свечу в шкаф, где лежал архив, и, заломив мне руки за спину, заставил меня смотреть, как начала... начала дымиться связка писем... это... это было низко, омерзительно, таких вещей не прощают, Дональд, какой-то детский садизм, я никогда не подумал бы, что взрослый человек способен на такое, но ты...

— Да, признаюсь, наверно, я вел себя немного по-детски.

— По-детски. Непростительно, повторяю тебе, непростительно, как бы ты потом ни оправдывал себя тем, что был пьян, потому что пьян был ты, а не я...

— Ничего подобного, ты прекрасно знаешь, что я никогда не бываю пьяным, я очень воздержан насчет спиртного.

— Тем более непростительно в таком случае.

— Но, дорогой друг...

— Давай, пожалуйста, без «дорогих», раз и навсегда: я тебе не дорогой, не брат, не кузен и даже не троюродный брат.

— Неужели?

— Что ты имеешь в виду?

— Ничего.

— Не пытайся уверить меня в том, чего никогда не было, даже для твоей наглости должны быть пределы, и я не потерплю...

— Что ты хочешь сказать, Якоб?

— Ничего.

— Ну вот и великолепно, как говорит Хелен, пусть не «дорогой». Это была шутка, признаюсь, она была не совсем удачной, но все-таки это только шутка, ведь ты и сам не дурак пошутить, Якоб, где твое чувство юмора? Давай считать, что мы квиты, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов.

— Господи, какой невыносимый тип!

Он должен дать мне неделю. Мне нужно время, чтобы снять ксерокопии с каждого письма, дневника, с каждой странички, с каждого клочка бумаги, которые я засунул тогда в его проклятый старый чемодан. Почему бы не дать ему расписку? Почему бы не согласиться на его предложение? Он позвонит Майлзу. Все уладится. Возможно, уладится. Вот и прекрасно (как обычно говорит Хелен).

— Давай сюда бумагу и ручку: неделя, считая с сегодняшнего дня, я подписываю, и ты звонишь Майлзу. О'кей?

Но теперь он начинает колебаться. Боится поступить опрометчиво. Со своей маниакальной подозрительностью он вдруг чует что-то неладное. Ерзает на стуле, жует воздух, делает несколько судорожных глотков, задумчиво чешет щеку, шею. Мясистая рука, покрытая веснушками, чуть-чуть дрожит.

— Что тебе, собственно говоря, надо? Ответь мне честно, Дональд, что тебе надо?

— Прежде всего я хочу вытащить Майлза из этой проклятой истории, такую простую вещь должен понять даже ты.

— А может, Майлз просто-напросто пошутил?

— Майлз совершенно добровольно признался, что прикарманил три миллиона финских марок. Тебе это кажется шуткой?

— Нет, не кажется. Хотя не исключено, что и в этом можно найти нечто комичное.

— Давай лучше не будем искать. Мне совсем не смешно, что моя старшая дочь умерла от наркотиков, а моего старшего сына посадят в тюрьму за крупное хищение. Ничего себе шуточки, от таких шуточек и помереть недолго...

— Прости, пожалуйста, я забыл, что и Роза...

— Ты спрашиваешь, зачем мне архив Бладов? Да ни за чем, я уже тысячу раз говорил тебе об этом, просто я стал немного интересоваться историей... Можно ли изучить историю Финляндии, не познакомившись с историей рода фон Бладов-Бладов-Лехтисуон-Аехтиненов-Блаадов?

— Врешь.

— Конечно. Я всегда вру.

— Не обижайся, Дональд, я знаю — это твое самое больное место, но что касается твоего происхождения... Ведь это же факт, что тебе до сих пор так и не удалось представить достаточно убедительных доказательств...

Я разражаюсь смехом. Хохочу от души.

— Ты и в самом деле думаешь, будто у меня до сих пор потеют ладони при мысли о моем «нечистом» происхождении? Вот уж убогая фантазия!

— Не совсем, Дональд. Ведь именно это с тобой всегда и происходит. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Ты всегда искал доказательств, а тут вдруг почувствовал, что уже не молод, что уже вступил в тот возраст, когда человеку хочется иметь к чему-то отношение, знать свои корни. Ты просто в отчаянии, Дональд, ты хочешь раздобыть доказательства, чего бы это ни стоило. Разве не так? Или я не прав? Будь честным.

— Катись к чертям со своими идиотскими квазипсихологическими умозаключениями.

— Могу в очередной раз заверить тебя: ты не найдешь даже намека на такое доказательство среди тех бумаг, что ты украл у меня.

— Я ничего не крал, не смей употреблять это проклятое слово...

— Ага! Смотрите, как он болезненно реагирует! Значит, я прав, Дональд, я прав!

— Нет. Не прав. Плевать я хотел на корни. Всегда плевал и буду плевать. Но чтобы раз и навсегда покончить с этим недоразумением, открою тебе, что я — так же, как и ты,— стал заниматься сочинительством или, если говорить яснее, начал писать мемуары... без каких-либо претензий... просто, чтобы убить время теперь, когда...

— И на кой черт тебе понадобился наш фамильный архив для твоих мемуаров?

— Не прикидывайся, Якоб.

Некоторое время он сидит молча. Потом достает сигару из коробки, стоящей на столике красного дерева, возле которого мы сидим, и аккуратно обрезает ее. В комнате начинает клубиться и благоухать дым. Через некоторое время он говорит почти беззвучно:

— Другими словами, ты совершенно сознательно намерен очернить меня. Иногда у меня возникает сильное и неприятное чувство, что непостижимым образом вся твоя жизнь направлена лишь на то, чтобы изобрести новый способ унизить меня, словно ты одержим непреодолимым и болезненным желанием причинить мне зло при первом удобном случае, втоптать меня в грязь или, по твоему собственному изысканному выражению, вытереть об меня ноги. Я этого не понимаю, Дональд, действительно не понимаю, после всего, что мы вместе пережили, начиная с сороковых годов... после всего, что я, несмотря ни на что... и ни на что не рассчитывая... сделал для тебя за

все эти годы. Значит, не я, а ты будешь писать историю рода фон Бладов?

— Этого я никогда не говорил.

— Но хочешь именно этого?

— Нет.

— Только собственные скромные мемуары... без всяких претензий?

— Не знаю... у меня такое чувство, будто... у меня все выскальзывает из рук...

Некоторое время мы сидим молча и смотрим друг другу в глаза, очень серьезно. Он энергично пускает к потолку кольца дыма, чуть позвякивает огромная хрустальная люстра. По стенам в золоченых рамах висят предки и смотрят на нас строго, неодобрительно, выжидающе — нет, совершенно равнодушно.

— Ты всегда ревновал Майлза ко мне, потому что со мной он был откровеннее, чем с тобой.

— Чушь...

— Я помню, как ты примчался сюда и стал обвинять меня во всяких мерзостях только потому, что Майлз приходил ко мне...

— Ему было шестнадцать, ты угощал его водкой, он забросил занятия.

— Напротив, он приходил ко мне, чтобы пополнять свои знания, чтобы узнать то, чего не изучают в школе, поговорить об искусстве, о литературе, об истории человеческой культуры.

— И ты это использовал.

— Но не так, как ты себе представляешь. Я был счастлив. Одинокий человек не может не испытывать радости, когда молодежь искренне выказывает интерес... и привязанность.

— Ты воспользовался его неопытностью, вбил ему в голову квазифилософские, аморальные, извращенные представления, и в конце концов он совершенно перестал соображать, что правильно и что неправильно.

— И это говорит отец, который год за годом даже не вспоминал о существовании своих детей, занятый всякими темными делишками и любовными похождениями.

— Ты активно пытался настроить его против меня, ты оклеветал меня перед моим сыном.

— Это ложь.

— Я никогда не занимался темными делишками, я предприниматель другого толка.

— Об этом и будет говориться в мемуарах? Что ты — «предприниматель другого толка»?

— А вот ты, наоборот, принадлежишь к тому наивному полуинтеллигентному типу людей, которые видят махинации и нечестные сделки повсюду, а особенно там, где непохожие на них люди успешно осуществляют свои дела. Делать деньги — еще не преступление.

— Об этом и будет говориться в твоих мемуарах?

— Нет, в них будет говориться о том, как человек начинает с пустыми руками, такими пустыми, какими только бывают руки, в которых ничего нет, а через двадцать лет становится настолько богатым, настолько богатым... что может позволить себе роскошь отказаться почти от всего...

— И прежде всего от своих детей. Ты, наверно, собираешься рассказать, как лишил своих братьев их доли наследства, завладел усадьбой, а со временем стал директором одной малопочтенной фирмы? Звучит заманчиво, если, конечно, ты подробно и откровенно опишешь

экспансию крупного акционерного общества, в высшей степени заманчиво...

— Нет, не опишу.

— Почему же?

— А потому, что дела — это дела, и когда они закончены, то закончены.

— Будь добр, оставь в покое моих предков, мой род отличается абсолютно честным и безупречным прошлым.

— Я никогда с этим не спорил.

— И у моего деда не было внебрачных детей.

Тут я расхохотался.

— Нет, Якоб, такая задача тебе не по плечу.

— Какая задача?

— Написать историю своего рода. Ты слишком уважительно, слишком почтительно и смиренно относишься к тому, что называется наследием фон Бладов, а традиции обязывают. Твоя исходная точка — поклонение и слепое восхищение, но истину, то есть действительность, нельзя постичь с помощью поклонения. Я уверен, что ты великолепно мог бы написать hommage [1] роду фон Бладов, но ты никогда не напишешь его истории.

Его взгляд становится отсутствующим. Он молчит. На скулах начинают ходить желваки.

— А ты не напишешь ничего, кроме грязной и низкой клеветы.

— Тот, кто боготворит, часто принимает правду за низкую клевету.

— Когда слово «правда» произносишь ты, в комнате начинает дурно пахнуть.

— А когда — ты, исчезает все человеческое и комната превращается в заоблачный град, где ангелы гнусавят аллилуйю и у всех твоих родичей над макушками светятся нимбы.

— Значит, это правда?

— Что правда?

— Что ты одержим злым духом и во что бы то ни стало решил удовлетворить свое столь же низкое, сколь и страстное желание опорочить мой род, выставить его на посмешище перед всем миром, оговорить, оклеветать, оболгать, умалить его достоинства и белое назвать черным.

На противоположной стене, отдаленной от нас множеством квадратных метров, висит громадное ампирное зеркало в строгой золоченой раме с белым эмалевым орнаментом наверху. Я различаю в нем свое лицо, оно кажется неестественно красным, а лоб слишком высоким из-за того, что в последние годы край волос быстро ползет вверх, щеки опали и внизу у подбородка начали собираться складки. Но морщин под глазами, у висков или бегущих от носа к уголкам губ я не вижу. Вообще все как будто в тумане: мои глаза, мое зрение начинает слабеть... надо подумать об очках...

— И все-таки, Якоб, несмотря ни на что, я истинный Блад, ты сам непрестанно напоминал мне, как важно, чтобы я проникся этой мыслью... Почему же теперь ты предполагаешь у меня такие стремления: ведь у нас, напротив, должны быть общие интересы — создать похвальное слово, памятник... если я вообще... Но я и не собираюсь, какое дело до традиций человеку, находящемуся в моем положении, меня интересует взаимосвязь, цепь причин и следствий, основные линии, образы отдельных людей и то, как эти образы, каждый по-своему, сочетаются друг с другом, как они все вместе образуют еди-

[1] Хвалу *(франц.)*.

ное целое, картина этого целого, социальная структура, видимая глазу, удивительная конструкция из человеческих жизней. Я хочу выяснить принцип, по которому меняется общество, время, выяснить, какая энергия движет жизнью, показать время в образе человеческой жизни... не только отдельные поступки, но именно изменения, социально обусловленные притяжения и отталкивания, показать человека как социальное явление, как органическое звено в цепи социальных событий...

— Земельный спекулянт и большой шутник в роли философа.

— Пожалуй, если ты предпочитаешь выражаться таким образом.

— Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему ты удалился от дел, Дональд. Ты начал сдавать, начал рассуждать о мировых проблемах, увидел, наконец, что все-таки прав был дядюшка Якоб: деньги в жизни — не самое главное. Годы берут свое. Бессонница. Разве я не прав? Все труднее становится спать по ночам, сердце стучит, крохотное сомнение уже грызет закаленное, но порядком изношенное сердце Дональда Блаада, а большего и не требуется, чтобы человек вдруг потерял вкус ко всем этим прелестям... я имею в виду дела... Ты еще по-прежнему хорохоришься, но признайся, что почва заколебалась у тебя под ногами...

— Может, ты все-таки сосредоточишься настолько, чтобы позвонить Майлзу?

Он притворяется, что не слышит.

— Твоя беда в том, что у тебя слишком живое воображение.

— А твоя — в том, что ты такой сухарь.

— Прошлое — все равно, что улетевшая птица, былое — это сон, а настоящее — ужасно и нереально.

— Звони же, звони Майлзу, братец Якоб.

Он не слышит.

— Я хороший портретист.

— Да, да, этого никто не отрицает, правда, немного суховат и лишен воображения, но ведь им это и нравится.

— Живого человека, который позирует тебе каждый день, можно познать, можно, по крайней мере, думать, что ты постиг его душу, его личность и передаешь их в выражении его лица, в позе, в жесте, в цвете...

— Да, да.

— Но покойники.

— Якоб, ради бога.

— Покойники — совсем другое дело. Ты располагаешь только их письмами и дневниками, только немыми поступками, больше тебе не на что опереться. Ты знаешь, что каждый человек играет какую-то определенную роль в своих письмах и столь же определенную, хотя, может, и совершенно противоположную,— в своих дневниках. Но какие именно это роли, тебе неизвестно, ты не можешь постичь разницы между ними, потому что никогда не узнаешь лично каждого человека.

— Да, да, я понимаю.

— Дональд, я не могу сделать этого, не могу добиться контакта с ними, они ускользают у меня из рук. Все, что я вижу,— это лишь множество отдельных несоизмеримых событий, поступков, «деяний», черт характера, человеческих фигур, лишенных глубины и жизни, однозначных, утративших свою внутреннюю гармонию и связь друг с другом. Я их не понимаю. Мне кажется, будто я стою в пустой, холодной, стерильной комнате и смотрю через матовое стекло на толпу теней, силуэтов, которые беспорядочно толкутся или стоят неподвижно за этим стеклом. Они не говорят со мной человеческими голосами,

история закрыта для меня, или я закрыт для истории — ты понимаешь?

— Конечно, понимаю.

— Я не могу этого сделать, а ты не должен.

— Почему не должен?

— Я уже объяснил тебе. Я запрещаю! У тебя слишком живое воображение, ты лжец, непростительно отдать беззащитных покойников во власть такого лжеца, как ты.

— Сам ты не можешь найти правду, потому что не знаешь, где ее искать, а мне не разрешаешь даже попробовать, так как боишься, что я учиню над ней насилие.

— Я был уверен, что справлюсь с этим делом, видел в этом свою миссию, временами мне даже казалось, что они мне поручили ее...

— Кто — они?

— Покойники.

— О господи.

— Последние годы я прямо-таки жил их жизнью... общался с ними ежедневно... через письма... Но я не чувствую их доверия, а так нельзя. Я думал, что невидимая пуповина соединяет прошлое и настоящее, их и меня, но теперь я замечаю... она отсохла...

— Ты потерпел неудачу с прошлым, потому что не доверяешь настоящему. Может, и со мной дело обстоит так же, то есть наоборот: я терплю поражение в настоящем, потому что не имел доверия к прошлому.

— Сегодняшний мир подл.

— А мне кажется подлым вчерашний. Подлым, жестоким и несправедливым.

— Люди все-таки обладали достоинством, у них была гордость, стремление к цели, чувство возвышенного...

— И угнетение, и эксплуатация, и нужда, и бедность без границ.

— А к чему стремятся люди сегодняшнего мира? Какая у них цель? Автомобили и бабы.

— Они стремятся к тому, к чему стремились всегда,— к поддержанию жизни.

Он показывает рукой на комнату, на мебель, на картины, на дорогие безделушки.

— Вот мои корни, вот мой мир, Дональд, другого у меня нет, и если у меня отнимут это... А это у меня отнимут, если они добьются того, чего хотят.

— Кто — они?

— Политики... социалисты... ты.

— Но, Якоб, какой же это социализм!

— Они хотят уничтожить прошлое — и не только мое, не только мой мир, они хотят уничтожить целые эпохи.

Я не отвечаю. Какой смысл отвечать ему?

— И тогда не останется ничего. Ни для меня, ни для других порядочных людей, только низменная охота за...

— Автомобилями и бабами?

— Вот именно.

Я начинаю понимать, что пришел напрасно, но у меня даже нет сил встать и уйти. Якоб заразил меня своим настроением. Мысль о Майлзе ноет во мне, как глубокий подкожный нарыв, слишком глубокий, чтобы он мог прорваться, не причинив сильной боли. Когда Якоб снова начинает говорить, голос его звучит тихо и устало:

— Я плохо сплю, мне теперь почти каждую ночь снятся кошмары.

— Я тоже, я вообще не могу спать.

— Я знаю.

— Да, конечно.

— Ночь за ночью мне только и снится что война и смерть, и когда я в конце концов просыпаюсь, мне так страшно, как не бывало с самого детства, я кричу от страха. Это ужасно.

Я не отвечаю ему: я думаю о своих кошмарах, о своем страхе, о своих криках.

— Один раз мне приснился жуткий сон, будто опять идет война. Я призван, сражаюсь среди партизан или в гражданской обороне, у меня есть ружье, большое, нелепое, бесформенное — наверно, такими ружьями пользовались при Наполеоне. Я в жизни не держал в руках настоящего ружья, не стрелял и вообще даже не служил в армии, но мне не было противно, скорее наоборот, я испытывал какое-то радостное предвкушение. Мы сражались против англичан, в Финляндию вторглись англичане, и я ненавидел англичан, во сне конечно, глупость какая-то, мы находились в окруженном городе и должны были прорваться через неприятельское кольцо, но почему-то я... радовался, мы крались вдоль стен домов, выскакивали из-за угла, стреляли и снова спешили под укрытие дома, и мне не было страшно или противно, пожалуй, даже забавно, меня охватило какое-то низменное возбуждение. Мы стреляли в англичан, убивали людей, и вдруг кто-то рядом со мной сказал спокойно и скорее весело, чем серьезно: «Это еще только цветочки», словно предстояло длительное кровавое... и приятное истребление людей, которому не видно конца. Как может сниться такое? Ведь это моральная безответственность, если человек вроде меня, не имеющий никакого военного опыта, видит такой сон. Что это означает? Когда я проснулся, я весь дрожал от стыда и отвращения.

— Зачем ты все это мне рассказываешь? Сны интересны только тому, кто их видит.

— Потому что мой сон показался мне предвестием, предупреждением — грозным, роковым, но не совсем понятным. Словно я был уже на пути куда-то... Не понимая... что туда идти нельзя. Или не я, а кто-то другой... все человечество...

— Но, Якоб, это же сон! Мы живем не в средние века, есть же пределы, которые люди не должны преступать в своей естественной склонности к суеверию.

— Я не суеверен, просто должен был рассказать, что я чувствую.

— О господи, Якоб, перестань молоть чепуху, возьми себя в руки и позвони наконец Майлзу, ведь только это важно, и ты обещал, Якоб, очнись!

Он совершенно не в себе. Погасшая сигара крепко зажата между жирными веснушчатыми пальцами правой руки, которой он опирается о колено. Взгляд устремлен на серый столбик пепла. Он болен. Или скрывает что-то от меня, как и все остальные. Знает что-то, неведомое только мне, что-то ужасное, роковое, о чем считает своим долгом молчать. Передо мной. И долг этот так тяжел, что он почти не в силах нести его. Он заразил меня своими неврастеническими предчувствиями. Я совсем пал духом. Он не будет звонить Майлзу. Несмотря ни на что, мне придется сделать это самому.

Но я этого не делаю. Не могу. Что-то огромное, могучее и непонятное мешает мне.

Когда я возвращаюсь домой, во всей квартире витает слабый запах алкоголя. Я понимаю, что он опять пьет. Мне это не по душе. И конечно, вызывает раздражение. Ранний вечер, я хожу по квартире

и зажигаю повсюду лампы. Его комната расположена отдельно от остальных, вход в нее прямо из холла. Не постучав, я открываю дверь, но там темно, его нет.

Я зажигаю верхний свет. Кровать не прибрана. Над изголовьем прикреплена громадных размеров фотография Пабло Неруды. На торцовой стене слева плакат: Ленин в черной меховой ушанке, во весь рост, выступает с речью. Вокруг плаката прикреплены всевозможные лозунги и вырезки из газет, но расстояние от двери слишком велико, чтобы я мог прочесть их. Я вспоминаю, что не заходил в эту комнату с тех пор, как он переехал ко мне,— вот уже с месяц. Застоявшийся, спертый воздух кажется серым от наслоений табачного дыма. На письменном столе среди океана книг и бумаг, валяющихся в ужасающем беспорядке,— пепельница, полная окурков. Я роюсь в книгах и читаю названия: «Социалистический человек», «Государство и революция», «Основы марксизма-ленинизма» — толстенный том больше семисот страниц. Кроме этих книг несколько сборников стихов, журналы по искусству, политические прокламации и цветные порнографические открытки. Очевидно, он еще не решил окончательно, идти ли ему по пути социализма или предпочесть капитализм. Если он выберет социализм, порнографические открытки исчезнут.

Меня охватывает чувство отвращения, смешанное со стыдом.

Я быстро выхожу из комнаты и закрываю за собой дверь. Теперь, во всяком случае, мне совершенно ясно, почему он не хотел жить у Гюннель. Она, разумеется, не могла примириться ни с его склонностью к алкоголизму, ни с его политическими симпатиями. А я смогу? Конечно, смогу. Должен. Насколько было бы проще, если бы Торбьёрн был сыном Синикки, а Майлз сыном Гюннель. Гораздо проще и даже естественнее.

Я нахожу его в своем кабинете. Он зажег зеленую настольную лампу и стоит, склонившись над письменным столом, с полупустой бутылкой в руке. Когда я вхожу, он медленно оборачивается. Потом подносит бутылку ко рту движением настолько демонстративно медленным и нетвердым, что я почти уверен: он притворяется, разыгрывает более пьяного, чем есть на самом деле, лишь бы позлить меня. Это ему удается. Я мгновенно выхожу из себя, с трудом сдерживаюсь. Он не спешит. Делает два-три больших глотка, кадык его ходит вверх и вниз. Все время он не спускает с меня глаз, серьезных, испытующих. Или испуганных? Неуверенных? Ожидающих? Как только ему становится ясно, что его жалкая игра не дает никаких результатов, губы его растягиваются в широкой улыбке. Прежде всего это, конечно, бесстыдная улыбка, но в ней—я отчетливо вижу—можно различить робкую, испуганную искру любопытства, проснувшегося интереса, какой-то невольной, боязливой, но явной симпатии. Если, как сказал бы Рэймонд Чэндлер, которого я недавно перечитал бог знает в который раз: «Если вообще можно так много прочесть в одной-единственной улыбке».

— Что это за чушь ты тут пишешь? — говорит он слегка заплетающимся языком.

— Я был бы тебе очень признателен, если бы ты впредь не рылся в моих бумагах, когда меня нет дома.

— Прости, прости, прости, прости, пожалуйста, прости! Но не можешь ли ты все-таки объяснить, что это такое? Пытаешься писать мемуары или просто сочиняешь, что бог на душу положит, чтобы убить время?

— Да.

— Что — да?

— Ты не имеешь никакого права входить сюда и рыться.

Я глубоко возмущен. И стесняюсь, как ребенок, или, честно говоря, просто боюсь его критики.

— Это правда, что ты был министром обороны? Я этого не помню. Почему теперь никто не говорит об этом?

— Потому что я оскандалился.

— Как — оскандалился?

Он продолжает улыбаться своей широкой загадочной улыбкой. Вдруг я понимаю, что он сможет это оценить. Наконец-то нашелся хоть один живой человек, который сумеет оценить все, что я успел сделать за то короткое время, пока на мне лежала высшая ответственность за оборону страны. На моем лице тоже появляется улыбка. Самодовольная, примирительная.

— Я обходил почетный караул вместе с главнокомандующим шведской армией и во время исполнения национального гимна не снял шляпы и не вынул рук из карманов.

Он усмехается, нельзя сказать чтоб восторженно, скорее рассеянно. Похоже, что он даже не понимает, насколько грубо я нарушил этикет, какую совершил непозволительную дипломатическую оплошность. Я чувствую, что моя улыбка гаснет, не успев появиться. Я разочарован.

— А еще во время дебатов по бюджету я предложил сократить расходы на оборону на двадцать процентов. Нельзя сказать, чтобы это имело успех.

Тут он взрывается. Он просто воет от смеха. Сгибается пополам. Бьет себя по коленям, расплескивая по ковру вино из бутылки, которую все еще держит в руке. Это безусловный успех, Торбьёрн доходит чуть не до истерического состояния.

— Правда, неужели правда? — кричит он.— О господи, я и не знал, что у меня такой клевый папаша... Как это правые не прикончили тебя?

— А потом четвертого июня я произнес речь на празднике в честь Дня национальной обороны, в которой заявил, что единственный способ обеспечить прочный мир во всем мире — это упразднить военные силы, или силы обороны, как они лживо называются, и поскольку кто-то должен подать пример, то почему бы нам не сделать этого первыми. Никаких аплодисментов — лишь два или три майора негромко, насколько им позволяло воспитание, засвистели.

Он стал икать от восторга.

— Какого черта... какого черта тогда... они сделали тебя министром обороны?

— Ты сам знаешь, как люди становятся министрами. Я не хуже всех остальных. Если профессор ядерной физики может быть министром путей сообщения, почему бы директору фирмы не стать министром обороны? К тому же я ветеран войны и всякое такое.

— И был коммунистом, этого я тоже раньше не знал — почему ты сам никогда ничего не рассказывал?

— Как тебе известно, у меня не было для этого особых возможностей.

— Мама никогда не говорила, что ты был коммунистом. Она знала об этом?

— Я не был коммунистом, когда женился на маме.

— Ты женился на больших деньгах.

— Да.

— Только ради них?

— Мы с мамой очень любили друг друга, когда поженились.

— И ты вышел из партии, чтобы с чистой совестью выдрючиваться в высшем обществе.

— Наверно, тебе говорят именно так.

— Ты предатель.

— Наверно, и так тоже можно сказать.

— Наплевал на свое происхождение и примкнул к эксплуататорам? Тебе никогда не приходило в голову, что ты гнусно предал свой класс?

— Смотря что считать гнусностью, я всю жизнь работал, не щадя сил. Пытался подходить к любой ситуации с практической точки зрения, в рамках того порядка, который учредил не я.

— Твоим единственным идеалом были деньги, да? Положение? Максимальная выгода для себя?

— Конечно.

— Гнусный эгоист, гнусный предатель.

— Не надо забывать, что́ я сделал, будучи министром обороны. Это была не только оплошность или некомпетентность, в этом был и искренний протест. Классово обусловленный протест, возможно, не лишенный самолюбования и шутовства, однако все-таки неподдельный отблеск того, что когда-то было глубоко и честно разделяемым политическим идеалом.

— Но ты не сохранил верности этому идеалу, ты изменил, ты...

— Я ненавидел войну все годы, что был на фронте. Многие мои однолетки совсем иначе относились к войне, они считали убийство исполненным смысла. Во всяком случае, офицеры верили, что борются за что-то ценное, за отечество, за принадлежащее им буржуазное отечество. А мне за что было бороться? Их отечество мне не принадлежало, я прекрасно понимал это, хотя и не мог бы выразить словами; в имении их святого отечества я был всего лишь батраком, и даже там, на фронте, моя истинная задача заключалась в том, чтобы служить отечеству в качестве батрака. Я не убил ни одного русского, клянусь тебе...

— А не русского?

— Ни одного, это точно. Стреляя, я всегда целился в макушки деревьев.

— А вдруг бы там кто-нибудь оказался? Финн, например?

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего.

Он пьет опять, приставил бутылку к губам и глотает с такой жадностью, что вино бежит у него по подбородку. И улыбается снова, так же безвольно и широко, как прежде, но на этот раз абсолютно однозначно — злобно. Он хочет что-то сказать, но я опережаю его.

— Ты пьешь слишком много,— строго говорю я.

— Я пью слишком много.

— Твоя комната напоминает свинарник.

— Моя комната напоминает свинарник.

— Ты живешь паразитом и плохо кончишь, если вовремя не возьмешь себя в руки.

— Я живу паразитом у моего так называемого папы, и я никогда не стану таким богатым, как он, потому что, в противоположность ему, я плевать хотел и на почет, и на деньги.

— Дерзок ты не в меру, вот что.

— А ты не обращай на меня внимания, потому что я все равно буду делать только то, что хочу.

— Это я уже заметил.

— Я не собираюсь становиться ни врачом, ни дельцом, ни юрис-

том, ни журналистом, ни капиталистом, ни баптистом, ни расистом, ни пианистом, ни министром обороны, я собираюсь стать художником, потому что это единственное честное ремесло, которое еще осталось на свете.

— Тебе известно что-нибудь о Майлзе? — вдруг резко спрашиваю я.

Он начинает смеяться — пронзительно, глупо, но где-то в самой глубине этого дурацкого смеха таится беспредельное отчаяние.

— Майлз! — кричит он.— Майлз рисует и стирает... рисует и стирает...

— Что это значит?

— Нет, он подчищает... Майлз подчищает, он стирает все... tout fini [1] — трет, трет, трет ластиком и никак не может стереть твою мерзкую...

— Господи, Торбьёрн, возьми себя в руки, не кричи, соседи решат, что ты сошел с ума... или что я...

Он делает большой глоток, вино выплескивается ему на лицо. Он меняет тему разговора, голос у него становится пронзительный, высокий, неприятный:

— Мама рассказывала, какой ты был, когда вы поженились. Невоспитанный, некультурный, ты говорил «тож» вместо «тоже», «портьер» вместо «портье». А когда ты начал зарабатывать много денег, ты совсем помешался на прислуге: у вас было три горничных, я тоже их помню, но тебе и этого было мало, тебе потребовался еще слуга-негр и камердинер-англичанин. А на приемах, когда ты входил в раж, то начинал рассказывать всякие истории и через каждое слово вставлял «oh meiner liebes Gott»[2], — мама очень страдала из-за этого...

Неожиданно, как и много раз в жизни, не успев опомниться, я пускаю в ход кулак, я бью прямо в его веснушчатое, ухмыляющееся лицо, бью не особенно сильно, но и не слабо.

Он отлетает на несколько шагов и замирает. Его глаза медленно расширяются, наконец, они становятся такими большими, что заполняют все лицо. Взгляд неподвижен, но необыкновенно выразителен, красноречив, как будто обращается ко мне на вполне членораздельном языке. Сперва в нем только беспредельное изумление. Потом страх. Потом ненависть. Торбьёрн медленно поднимает бутылку над головой, вино льется ему на волосы, стекает по вискам на щеки, течет по шее, по плечам. Инстинктивно я прикрываю рукой лицо и пригибаюсь. Но он бросает бутылку не в меня, он швыряет ее в другую сторону, в угол, где она разбивается, забрызгав пол и стену последними красными каплями вина.

Без единого слова он покидает комнату, проходит так близко от меня, что наши руки касаются друг друга, и громко хлопает дверью. Я стою там, где стоял, и чувствую, как меня окутывает тишина и одиночество. Я совершил что-то жестокое, недопустимое, что, к стыду своему, хотел сделать уже давно. Я ударил своего сына.

Позже, по прошествии вечности, я понимаю, что дал в морду самому себе, что поколения взаимно заменяют друг друга, что я ненавидел в Торбьёрне свои собственные недостатки. Узнал тягостную картину своей беспутной, нечистой, бесцельной молодости, возродившейся в облике этого полупьяного опустившегося человека. Самое неприятное в Торбьёрне то, что это моя плоть и кровь, продолжение моей жизни, в чем он неповинен, в чем виноват я сам.

---

[1] Все кончено *(франц.)*.

[2] О господи *(искаж. нем.)*.

К сожалению, в этот роковой вечер мне пришлось нанести еще один удар. Вскоре раздался звонок в дверь, и когда я открыл, там стоял Якоб.

— Прости, что я так вторгаюсь,— вежливо говорит он.

— Пожалуйста, входи.

— Может, я помешал...

— Нет, нет, напротив, я как раз только что дрался со своим сыном, он пытался убить меня бутылкой каберне. Но это все пустяки, входи, дорогой кузен, входи, тебе здесь всегда рады.

— Что за страсти ты рассказываешь? Про какого сына ты говоришь?

— Про того, который живет со мной. Про кого же еще, как не про твоего друга и протеже, честолюбивого и гениального во всех отношениях Торбьёрна.

В начале этого вечера, когда я покинул его, вид у Якоба был рассеянный, почти отсутствующий, а теперь он, напротив, почему-то страшно взволнован, голова у него дрожит.

— Я не собирался мешать тебе, это не входило в мои намерения, но я счел своим долгом прийти лично, весь вечер я пытался дозвониться к тебе, никто не отвечал. Может, ты отключил телефон? Я пришел сказать тебе, что не дозвонился до Майлза, звонил много раз, но он не отвечает. Сегодня телефон не отвечает ни у кого. А что случилось... что случилось с Торбьёрном?

— Это наши семейные дела, ничего особенного.

— Ничего особенного, а отчего ж тогда?..

— Нет, нет, не бойся, это временные неприятности.

— Есть еще одна вещь, которую, на мой взгляд, в связи с твоими мемуарами тебе было бы небезынтересно узнать. Только это нелегко... Даже не знаю, как и подступиться, я имею в виду, чтобы... чтобы не возникло никаких лишних недоразумений...

Ссутулившись, он стоит посреди холла со шляпой в руке, на нем элегантное пальто с меховым воротником. Он страшно смущен, растерян, по-своему трогателен.

— Да раздевайся же, заходи, выпей коньячку. Нельзя разговаривать, стоя в прихожей.

— Спасибо, спасибо, только не думаю... Видишь ли, мое дело...

— Да-да, обещаю, что не буду злоупотреблять историческими фактами, мною будет руководить только истина.

— Я не это имел в виду.

— Позволь, я помогу тебе раздеться. У меня есть великолепный коньяк.

— Нет, нет, ты не понимаешь. Где Торбьёрн?

— Спит с похмелья.

— Ага, у него сейчас сложные взаимоотношения с крепкими напитками. Дональд, нам надо с тобой договориться.

— Конечно, мы и договоримся. Если я правильно тебя понимаю, ты, очевидно, хочешь сказать, что страничка прошлого подобна старинному сосуду, наполненному темными тайнами, остатками того, что некогда было человеческой жизнью, но безвозвратно отравлено временем, двусмысленно деформировано зубом времени.

— Ты очень поэтично настроен.

— Тренируюсь, как видишь. Пытаюсь выражаться так, как выражаются настоящие писатели,— несколько манерно, напыщенно и всякое такое.

— Среди тех документов, которые ты у меня забрал, есть, возможно, и такие, которые могут быть истолкованы превратно... не в пользу того, кого они касаются. Но я пришел не за этим.

— Обещаю, что и заслуги и слабости будут распределяться справедливо, хотя в общем-то меня интересует не это. Впрочем, как ты сам понимаешь, твой дед, по крайней мере, должен в той или иной форме фигурировать...

— Дональд, милый...

— Я опишу его без пиетета, но и чернить не стану.

— Люди того времени были намного ярче, они обладали душой, им были присущи чувства, глубина, которые... Современные люди превратились в живые кассовые аппараты. Не очень-то интересно...

— Напротив, может быть страшно интересно.

— С другой стороны, ясно, что крупные состояния всегда создавались не совсем чистыми руками, это я понимаю. Ты, наверно, считаешь меня ужасно наивным...

— Очень давно, во время нашей второй встречи, ты показывал мне семейный альбом и рассказывал, что кто-то из наших предков — забыл, кто именно,— убил однажды ночью дюжину волков, что он отправился в Уругвай, чтобы превратить его в шведскую колонию, должен был стать королем Сан-Сальвадора, и еще всякую всячину, а ведь все это ложь. И вот теперь ты приходишь и обвиняешь меня...

— О господи, это была всего лишь шутка. Я хотел произвести на тебя впечатление.

— Нет, просто ты был моложе и иначе смотрел на действительность, знал цену художественному преувеличению, которое оживляет человеческий характер.

— Ты хочешь сказать — принижает и извращает все значительное и возвышенное, что есть в каждой личности.

— Якоб, ты должен быть более снисходителен к энергичному и разносторонне одаренному, хотя, может, и несколько невоспитанному человеку из простонародья, которому, в противоположность тебе, пришлось проделать длинный и трудный путь.

— Ты чертовски самодоволен и самоуверен к тому же.

— А ты для художника на удивление мелочен и лишен воображения.

— Гюннель была другого мнения.

— Гюннель — может быть, вы одного поля ягода.

— Не спорю.

Он произносит это важно и многозначительно, я инстинктивно настораживаюсь.

— То же классовое чванство, то же тщеславие, та же искривленная перспектива,— продолжаю я.

— Вот именно, очень много общего.

В уголках рта у него медленно проступает улыбка, не дружелюбная, а торжествующая, напоминающая...

— Что ты, собственно, хочешь этим сказать?

Его улыбка становится широкой, презрительной, открыто бесстыдной и очень знакомой.

— Мы с Гюннель много лет состояли в связи.

— Ч-что? — выдавливаю я наконец.— Что... что?

— Вскоре после рождения вашей старшей дочери Анны...

И тут наконец-то до меня все доходит, жгучей молнией поражает сознание, а он продолжает улыбаться своей широкой, торжествующей, презрительной, победоносной и невыносимо знакомой улыбкой.

Что мне остается делать, как не бить? И я бью наотмашь по его оскалившейся роже. Он вскрикивает, наклоняется вперед, прижимает руки к лицу и стонет. Между пальцами его просачивается кровь.

— Чертова семейка,— вырывается у меня.

Мне хочется ударить его еще раз и в то же время не менее сильно хочется наклониться к нему, обнять за плечи, утешить и попросить прощения. Но тут из своей комнаты прибегает Торбьёрн, привлеченный шумом и криком Якоба. Я не вижу его, только слышу его голос.

— Он не может не драться, вот идиот,— говорит Торбьёрн с упреком, говорит тоном возмущенного взрослого человека.

— Чертов идиот!

Торбьёрн подходит к Якобу, берет его руки и осторожно отводит их от лица.

— Больно? Он и меня только что ударил,— говорит он, в его голосе тревога, дружеская забота, чувство товарищества и нежность.

— Чепуха. Прошло уже двадцать лет, а он до сих пор ведет себя как хулиган, дворниково отродье,— шипит Якоб.

Торбьёрн медленно поворачивается и пристально смотрит мне в глаза. Его глаза налиты кровью, он пьян. Но совершенно спокоен, каким бывает человек в момент катастрофы. Он говорит тихо, почти шепчет:

— Запомни этот день. Дональдов День.

Если бы хоть у него на губах играла бесстыдная усмешка, если бы он вообще улыбался, а не выглядел таким испуганным, если бы он употребил слово «связь»! Но ведь ничего этого не было, все это я придумал в то мгновение, чтобы иметь предлог ударить, а потом, записывая всю сцену, повторил, чтобы оправдать себя. «Хулиган»,— сказал он. Конечно, я хулиган.

На самом деле он тогда сказал про Гюннель: «Мы очень тепло относились друг к другу». Но большего и не требовалось, чтобы я потерял самообладание. Этого было вполне достаточно, чтобы я осознал то, что на самом деле понял уже давно и хранил в темном уголке души, где растут ядовитые подозрения. Только упрямо отказывался признать, ибо это уязвляло мое мужское самолюбие. Что теперь будет с Торбьёрном? Почему все так получилось? Почему он сын Якоба? Что мне теперь делать? Отказать ему от дома? Попросить переехать к родному отцу? Принять свои меры? Отомстить за позор? Нет, ничего этого я делать не буду, все останется по-старому. Жизнь и так достаточно тяжела.

К чему вообще ворошить воспоминания, если они вдруг оказываются совсем не такими, как ты думал? Если отдельные воспоминания, которые ты считал достоверными, вдруг просто исчезли, объявили о собственном банкротстве, а действительность, казавшаяся когда-то незыблемой, растаяла, подобно туману на утреннем солнце, и предстала в совершенно новом и незнакомом обличье? Какая вообще-то разница — я имею в виду в смысле надежности и достоверности — между моими собственными воспоминаниями и записками тех, кого уже нет в живых, предшественников, покойников? Все эти воспоминания имеют под собой одинаково ненадежную почву, одинаково коварные топи, одинаково непроницаемая черная тень скрывает все истинное и существенное. Я так же недостаточно и поверхностно знаю самого себя, как знал и своего отца, и деда, и прадеда. Ну и закончи на этом, конец, точка!

Рыться в собственных воспоминаниях! В моем возрасте! Словно пытаешься оправдаться в неудаче, в которой не хочешь признаться, о которой не хочешь даже говорить. Оправдания, извинения! Оправдательное слово! Человек лжет, чтобы оправдать себя. Записки лжеца! Мои воспоминания — что значат воспоминания о прошлом, если настоящее непрерывно подкидывает воспоминания все более тяжелые, все

более горькие. Чего стоит прошлое, если настоящее так безжалостно присутствует в жизни человека, безжалостно требуя напряжения всех сил, всего внимания, на какое только он способен.

Я не могу писать об этом. Но должен. И когда я начинаю писать, мне кажется, будто пишу уже не я, а кто-то другой, мой заместитель, потому что сам я выгорел дотла. Я имею в виду следующий день. Полдень. Назавтра после Дональдова Дня.

Майлз умер. Он покончил с собой.

Роза умерла. Майлз умер. Двое моих детей умерли не своей смертью. Третий вообще вдруг оказался не моим. Синикка потеряла обоих своих детей. Наших детей. Почему... нет, я не спрашиваю почему, перед лицом смерти «почему» — самое бессмысленное слово.

Было одиннадцать часов. Двенадцать минут двенадцатого. Торбьёрн еще не показывался. Спал тяжелым сном с похмелья. Я после вчерашнего пребывал в какой-то тревоге. Чувствовал себя смущенным, виноватым, униженным — по разным причинам. Вдруг звонит телефон. Это Ханнеле, подруга Майлза, с которой он живет, вернее, жил. Она говорит: «Дональд, приезжай сейчас же, Майлз покончил с собой».

Дальше я действую бессознательно. Не чувствую ничего, кроме холода, то есть не испытываю никаких чувств. Может, потому, что в глубине души я давно ждал этого известия, был подготовлен к нему. Лицо Ванессы с ее теплой улыбкой на мгновение всплывает в моей памяти и исчезает. Я иду к Торбьёрну и бужу его. Он не желает просыпаться. Но мне все-таки удается разбудить его, и я в самых осторожных выражениях, какие только могу найти, объясняю ему, что случилось. Он нисколько не удивлен, не испуган. Но разражается слезами. Я глажу его по голове, но не могу придумать никаких слов. У меня нет слов для утешения. К его растрепанным сальным волосам противно прикасаться. Я говорю ему, что Ханнеле там одна и я должен сейчас же ехать к ней. Он говорит, что хочет поехать со мной, и просит подождать, пока оденется, я отвечаю, что не могу ждать и что он может приехать чуть позже, когда оденется.

Майлз живет — вернее, жил — в трехкомнатной квартире в Хагалюнде. Езды туда минут десять. Раньше у меня был «мерседес», но теперь я перешел на «сааб»: у меня скидка на машины отечественного производства. Ханнеле открывает мне дверь. Она бледна как смерть, но вообще-то спокойна и сдержанна. Я снимаю пальто. Пугающая тишина. Мы оба молчим. Я чувствую, как у меня по спине начинают бегать мурашки. От напряжения, от своеобразного животного нежелания делать то, что мне в ближайшие минуты предстоит. Увидеть. Пережить.

— Он в ванной,— говорит она тихо.

И ведет меня туда. Дверь закрыта. Она открывает ее. Ей не приходится зажигать свет — он не погашен, его никто не гасил. Майлз лежит в ванне голый, безжизненный и как-то непостижимо уменьшившийся, съежившийся. Белая, вернее, сероватая, желто-серая кожа. Серые губы, рот приоткрыт, словно в попытке улыбнуться, но скорбно, безрадостно. Глаза широко раскрыты, пусты словно ракушки, без взгляда. Он лежит, вернее, полулежит, но не так, как принято в ванне, голова его прислонена к тому краю ванны, где находится кран. На запястьях и с левой стороны шеи, обращенной наружу, блестят большие надрезы. С левой внутренней стороны бедра тоже зияет рана. Он перерезал себе вены по крайней мере в четырех местах. На полу, на краю ванны и на теле Майлза видны пятна крови, но их немного. Даже умирая, он остался внимательным, опрятным и добрым, он лег так, чтобы вода из крана смыла поток крови, бившей из вскрытой вены на шее, одновременно он поливал себя из мягкого шланга, протянутого

в ванну из биде, он держит этот шланг в руках, зажатых между коленями. Вода уже не течет. Ханнеле завернула кран. Кровь из ран тоже не бежит. Майлз уже пуст, выполоскан начисто. Колени чуть-чуть согнуты и раздвинуты, насколько позволяют размеры ванны. Между колен на белой эмали виден скальпель, хирургический инструмент, приобретенный, очевидно, специально для этой цели. Руки Майлза кажутся очень тонкими, почти прозрачными.

Меня начинает мутить, я закрываю лицо руками и отворачиваюсь. По-прежнему тихо, как в могиле. Потом я чувствую на плече руку Ханнеле. Она выводит меня из ванной.

Мы в гостиной. Проходит немного времени. Я стою посреди комнаты и смотрю на картину, не видя ее, это гравюра какого-то латиноамериканского художника, имени его я не помню. Она изображает гнев народа. Ханнеле стоит в нескольких шагах от меня, стоит неподвижно, глядя в землю. Она ждет, что я буду действовать, проявлю инициативу, возьму руководство в свои сильные, решительные, отцовские руки, но она преисполнена терпения и внимания, дает мне время прийти в себя после шока. Минуты шумят в комнате, как ветер в облетевших деревьях. Секунды тикают у меня в висках.

— Ты позвонила Синикке? — спрашиваю я наконец.

— Да, но не застала, она уже уехала в парламент.

— Мы позвоним туда через несколько минут.

— Хорошо.

— А кому-нибудь еще? Я хочу сказать... врачу...

— Нет.

— Я сейчас вызову «скорую»...

— Нет! — Она кричит и делает резкое движение рукой, чтобы остановить меня.

— Почему?

— Оставь его... оставь его в покое... еще немножко... он... дай ему время исчезнуть.

Я не совсем понимаю, что она хочет сказать.

— В таких случаях принято сообщать и в полицию,— говорю я, помедлив.

— Подожди, Дони, милый, еще не сейчас,— тихо, умоляюще говорит она.

Она подходит ко мне так близко, что я чувствую запах ее волос, кладет руки мне на плечи. Стискивает их. Крепко-крепко. Физическое прикосновение всегда было для нее самым естественным, это часть ее языка. Она называет меня «Дони», чтобы подчеркнуть наше равенство, несмотря на разницу в возрасте. Это трогает меня.

— Ему было так тяжело... дай ему время умереть окончательно,— говорит она тихо.

Я соглашаюсь подождать полчаса, понимая, что это пассивное ожидание будет для меня тяжелым испытанием. Мысль о теле, лежащем в ванной, не покинет меня ни на минуту, но с другой стороны — отказать ей у меня нет причин, кроме чисто условных и формальных.

— Ханнеле, тут скрыто много такого, чего я не понимаю, помоги мне. Почему... нет, нет, я имею в виду не это, а... деньги.

— Этого я не могу тебе сказать.

— Но ты знаешь?

— У нас не было тайн друг от друга. Нет ничего, что Майлз делал бы... или не делал... о чем я бы не знала.

— Он избегал меня последние недели, и я понятия не имею почему. У меня было такое чувство, будто он... будто он вдруг вознена-

видел меня. Почему он возненавидел меня, Ханнеле, ведь я не сделал ему ничего плохого?

Во всяком случае сознательно.

— Мне казалось, что у нас с ним в последний год были такие хорошие отношения, он мог бы довериться мне... в конце концов это несправедливо...

— Да, да, я тебя понимаю. А сейчас идем, не будем оставлять его одного в эти последние мгновения.

Она берет меня за руку и ведет обратно в ванную.

Я вздрагиваю от отвращения, мне неприятно, но я понимаю, что на деле она потрясена очень сильно, только вида не подает. Я послушно следую за ней в ванную.

И вот мы снова стоим в тесной ванной и смотрим на это безжизненное обнаженное тело. Словно молясь или поклоняясь ему. За те минуты, что мы отсутствовали, с ним что-то произошло, но я не совсем понимаю, что именно. Он словно бы стал еще меньше, Майлз, неподвижный, мертвый Майлз.

Какое красивое было у него лицо, как смерть его обезобразила.

— Кажется, надо...— говорю я неуверенно, наклоняюсь и закрываю ему глаза. Я мешкаю. Первый раз в жизни я совершаю этот ритуал, запечатываю смерть. У меня это получается не так быстро и ловко, как у старух в фильмах или в книгах. Руки дрожат. Меня тошнит от прикосновения к холодной, пластмассовой коже, и я не могу сдержать рыданий.

— Он разрывался между двумя классами и не мог больше выносить это двойное классовое предательство. А я люблю его. Вот я и позволила... В спальне на тумбочке лежит письмо, но оно адресовано не тебе, а Торбьёрну.

Вдруг я вспоминаю: тоже смерть, но безжизненность другого рода, тоже немота, но другое безмолвие. В Лондоне три года назад... темная паника Розы... Как непохоже это обдуманное, даже с эстетической точки зрения, самоуничтожение...

— Она написала Синикке письмо настолько бессмысленное, что... но между строк сквозил панический ужас. Мы не знали, где она. На письме стоял лондонский штемпель. Я вылетел туда первым же самолетом.

— Кто — она?

— Роза.

— Ни у него, ни у нее не было воли к жизни. Никакой воли к жизни.

— Она была такая любящая девочка, невероятно преданная, ласковая. А потом... У нее не ладилось в школе... она была удивительно пассивная девочка... робкая... Как будто у нее что-то отсутствовало. Какое-то важное для жизни качество...

— Майлз тоже не хотел жить. Он говорил, что ему следовало родиться сто лет назад. Говорил, что ему хотелось бы быть «мы», но умеет он быть только «я». Сто лет назад быть только «я» было еще допустимо с нравственной точки зрения, но теперь...

— Потом она исчезла. Несколько месяцев мы ничего не знали.

— У него все шло от ума. За всеми его поступками всегда крылась какая-нибудь теория... даже за самыми будничными делами...

— Гэйвуд-стрит.

— Что это?

— Место, где я нашел ее... где она умерла. В лачуге на улице под названием Гэйвуд-стрит... двое суток я как безумный искал ее по всему Лондону. Ведомства, власти, притоны наркоманов... Господи, чего только я не насмотрелся за эти дни!

— Чтобы брат и сестра были так непохожи и тем не менее...

— Она лежала на куче старых тюфяков, одеял, консервных банок, бутылок, ампул и всевозможного хлама. Вонь там была ужасающая, по-моему, они и естественную нужду справляли в комнате. Там было еще несколько человек, все в большей или меньшей степени под действием наркотиков. Я не мог узнать ее, мне пришлось спросить, которая из них она. Они апатично показали в угол, она лежала там на неописуемо грязном тюфяке. Господи, до чего же она была худа, кожа да кости, лицо синее, я сразу даже не узнал ее. Она не дышала. Я взял ее на руки и понес, она почти ничего не весила, я несколько раз позвал ее по имени, но она не отвечала, вообще никак не реагировала, возможно, она уже была мертва. В паническом страхе я прошел по улице, может, полкилометра, а может, и несколько километров. Мне хотелось остановить полицейскую машину или такси, я шел и все время кричал то «Роза», то «такси», то «полиция», но никого не было, в таких кварталах в это время суток, то есть поздно вечером, никого не бывает, это бедные кварталы, мрачные, безрадостные, где живут люди, всецело занятые работой. Большая часть этих кварталов теперь снесена, их сменили высокие конторские здания, промышленные предприятия и сложные транспортные развязки, но тогда, господи, какое там царило запустение. Наконец, я случайно вышел прямо к больнице, она называлась больница Всех Святых, представляешь — Гэйвуд-стрит [1] и больница Всех Святых. Сперва ее не хотели принимать, все упиралось в какие-то формальности... Я кричал, чертыхался, наконец они разрешили положить ее на носилки и увезли. Мне казалось, что они увезли не мою ношу, а частицу моего тела, положили на носилки мои легкие, или печень, или сердце... А потом не стало ничего — тихо, пусто и во всем белом свете ни одной живой души, кроме меня... и моей любви и Розы, которой уже не существовало. Все было слишком поздно, а через целую вечность пришел врач; заметив, что я иностранец, он стал вежлив и сказал, что, к сожалению, она умерла, к сожалению, она умерла! Я думал, что такого мне никогда больше не придется переживать... Ханнеле, что за страшное проклятье тяготеет надо мной, если мои дети один за другим...

— Никто не сказал, что это твоя вина.

— И все-таки моя, родители всегда виноваты.

— Если бы это была твоя вина или вообще чья-нибудь, он никогда бы этого не сделал, Майлз не такой...

— Но почему же тогда, Ханнеле, почему? Если бы он вернул хотя бы часть денег, никто бы не стал поднимать шум, и он знал об этом. Мы вполне определенно обещали ему это, вы уехали бы на несколько лет во Франкфурт или в Цюрих, в курсе дела были бы лишь немногие, репутация осталась бы безупречной. Мы приложили все силы к тому, чтобы убедить его, но...

— Я же тебе сказала: одно не имеет отношения к другому, Майлз покончил... покончил с собой, потому что не мог больше жить в мире, который настолько не соответствует его представлению о том, каким должен быть мир.

Жутко было слышать ее спокойный деловитый голос.

— У нас у всех есть свои идеалы, это ясно, но покончить с собой только потому... Нет, я не понимаю, я просто не верю.

— Не веришь, не понимаешь? Никто не понимает, Дони... кроме меня.

Мне решительно не нравился ее голос, в котором не звучало ни

[1] Улица Веселого Леса *(англ.)*.

волнения, ни горя — только самоуверенность. Страшная мысль поразила меня:

— Ты знала, что он хочет это сделать?

— Конечно.

— Он говорил тебе об этом? Ты могла помешать ему... почему, почему ты...

— Я люблю его. Любила.

— Любила и позволила ему умереть!

— Конечно! Ведь его жизнь принадлежит не мне. Мое счастье — не его счастье. Дони, я хочу сказать тебе одну вещь, прежде чем тут начнется столпотворение. Это не объяснение, просто один весьма важный факт: ты скоро станешь дедушкой. Я беременна.

У меня все поплыло перед глазами, и мне пришлось опереться о стену. Я чувствовал себя столетним стариком, дряхлым, бессильным, на грани слабоумия. Второй раз за эти полчаса она бережно обняла меня за плечи и вывела из ванной.

И все это время он лежал там, рядом с нами, неподвижный, безжизненный, как будто слушал, не слыша, и подтверждал все, не показывая виду.

Потом квартира вдруг наполняется людьми, которые с многозначительными, сосредоточенными лицами толкутся, натыкаясь друг на друга. Здесь и Синикка, и Торбьёрн, и Якоб, и Хелен. Двое полицейских ходят и задают вопросы. «Скорая помощь» занята своим делом в ванной. Все это кажется нереальным.

Я взял себя в руки и позвонил в разные места, некоторое время был энергичным и активным, но теперь это прошло, и я чувствую себя совершенно измученным.

Торбьёрн плачет. Он единственный плачет, слезы текут у него по щекам. Он стоит в углу, держа в руке запечатанное письмо сводного брата или не брата вообще, он похож на Якоба и выглядит душераздирающе одиноким и безутешным. Я смотрю на него, как на картину, далекую, недостижимую, словно из другого мира.

Якоб беспокойно топчется по комнате и что-то бормочет себе под нос. Вытирает лицо белым носовым платком. Слезы или пот?

— Почему ты не сядешь, Якоб? — говорю я.

Он останавливается и поднимает на меня глаза. Губы дрожат. Он выглядит старым и усталым, до меня вдруг доходит, что он уже старик.

— Почему он не пришел ко мне? Ведь я мог бы ему помочь, мы бы с ним вместе все исправили, как исправляли много раз. Почему он не позволил мне помочь ему...

— Я пытался заставить тебя помочь ему, но уговорить тебя было трудно.

— Да, да, ты... Но Майлз не пришел.

— Ты всем помогаешь и никому не помог, Якоб.

Ханнеле бросается к нам.

— Не вздумайте здесь ссориться.

Она берет меня за руку и тащит в кабинет Майлза.

— Идем, я тебе что-то покажу.

Это картина, на ней изображены люди — необозримый людской поток. Люди без лиц, без индивидуальностей, без каких-либо особых примет, но все они устремлены к одной цели, невидимой зрителю. На картине они изображены сверху, так сказать — с точки зрения господа бога или общественного сознания. Человек как стадное животное, все изображено в грязно-коричневых тонах, но вместе с тем это не стадо буйволов, не пчелиный рой, не стая волков, не муравьиная куча, это люди действуют сообща, много людей, действующих сообща,

они не толкают, не пихают и не топчут друг друга, чтобы выскочить вперед. Куда же они стремятся? Вот именно — куда? Ведь у них нет цели. Неприятная картина. Неприятная пророческая картина.

— Теперь понимаешь? Он больше не хотел в этом участвовать. Он часто говорил, что эта картина висит тут как напоминание о полной бессмысленности капиталистической конкуренции...

Я чувствую на плече чью-то руку и оборачиваюсь. Это Синикка. Ее лицо не выражает ничего, сухие глаза вопросительно смотрят на меня.

— Больше у меня уже нет детей,— говорит она тихо и всхлипывает, так что вместо слова «детей» получается лишь нечленораздельный писк.

Потом она берет себя в руки, делает над собой усилие. Я не знаю, что сказать ей.

— Наверно, это я виновата, Дональд? Я проглядела своих детей, лишила их той защиты...

— Не думай так, Синикка, мы оба виноваты, но мы жили, как умели... и такое могло бы случиться, даже если бы мы... Взгляни на эту картину. Это не коммунизм, пожирающий своих детей, нет, это капитализм, пожирающий детей коммунизма.

— Не будем обвинять друг друга, ладно?

— Да, не будем обвинять друг друга,— шепчу я.

Я обнимаю ее, и она прижимается лицом к моей шее. Я чувствую, как ее спина содрогается от рыданий. Ее тело потеряло свою упругость. Волосы поседели. Стареющая женщина. Как же это так получилось? Неужели прошло столько времени? А как я сам выгляжу? Седой? Да, немного.

И вдруг, пока я держу ее в объятиях, а она поливает слезами мою шею и воротник рубашки,— она, Синикка, моя первая жена, мать моих старших детей, мать моих мертвых детей, пробужденное прошлое или материализовавшееся старое, стертое воспоминание,— пока я стою так, обняв ее, одна мысль невольно возникает в моем сознании. Мысль о том, что я сдамся, наконец-то сдамся, перестану притворяться молодым, сильным, независимым, непобедимым, неуязвимым. Я стар. Старый, заурядный, потасканный, очень усталый и убитый горем человек.

— Дональд, дорогой, сделай же хоть что-нибудь! Выставь наконец отсюда этих полицейских, нечего им больше торчать тут и что-то вынюхивать! — кричит Хелен высоким плаксивым голосом.

— Они выполняют свой служебный долг — закончат и уйдут,— отвечаю я через плечо.

Потом наклоняюсь к Синикке, зарываюсь лицом в ее седые волосы, крепко прижимаю ее к себе и шепчу:

— Зато у тебя будет внук. Ты скоро станешь бабушкой, Ханнеле ждет ребенка.

Но Синикка продолжает дрожать. Теперь дрожим мы оба. Гремит цепь жизни, цепь поколений. Но одного звена уже не хватает.

Торбьёрн не хотел давать мне письмо Майлза.

— По-моему, тебе не стоит его читать,— сказал он.

В его манере держаться появилось что-то самоуверенное и надменно покровительственное, это было непривычно и странно. Я попытался убедить его, что будет только правильно и справедливо, если я тоже прочту это письмо, хотя оно адресовано и не мне: все-таки я отец Майлза. Но напрасно. Он был непреклонен. Говорил, что это только все усложнит.

Наконец, когда похороны, этот тягостный, утомительный и грустный спектакль, миновали и жизнь стала возвращаться в обычную колею, создалось настолько неловкое и, с отцовской точки зрения, унизительное положение, что я решил действовать самостоятельно. Однажды темным и мрачным январским утром — Торбьёрн ушел, сказав, что вернется только к обеду,— я отправился в его комнату, чтобы найти письмо, куда бы он его ни спрятал. Ванесса репетировала Рахманинова, адажио, на своем «Бехштейне», стоявшем в гостиной. Я позвонил ей в Лондон вечером того же дня, когда умер Майлз, и на следующее утро она была уже в Финляндии. Рождество мы встретили втроем, вместе с Торбьёрном. Он отказался встречать рождество дома с матерью и сестрами, несмотря на нажим со стороны Гюннель, а может, именно из-за него.

Его комната изменилась до неузнаваемости. Пустые бутылки исчезли, кровать застелена, на письменном столе порядок и вытерта пыль. Я обыскал все ящики, не испытывая особого стыда или угрызения совести. Но не нашел там ничего интересного. Я тщательно прочесал всю комнату, заглядывал под матрас, за книги, на полки, искал в шкафу среди одежды. Ничего. В конце концов я все-таки нашел письмо Майлза. Оно было засунуто в книгу. Я так и предполагал, надо было только догадаться, в какую именно,— у него много книг. Но я предположил — и не ошибся,— что тайник должен иметь непременно какое-нибудь символическое значение. Стихи Неруды? Нет. «Степной волк»? Нет. Че Гевара? Конечно нет, это была романтическая волна, которой они теперь побаиваются. «Капитал»? Тоже нет. Да и был ли у Майлза когда-нибудь настоящий интерес к социализму? Скорее у него были эстетические интересы. Художественная литература? Достоевский? Но ни в «Братьях Карамазовых», ни в «Идиоте» письма тоже не было. И в Томасе Вулфе, и в Воннегуте, и в Сэлинджере. Оно лежало в Грамши. Я так никогда и не одолел его работ, уж слишком они теоретические. Но Торбьёрн! А Майлз?

Это был первый сюрприз. Но не последний. Письмо было длинное, на двадцати страницах. Я вернулся в свой кабинет, сел за стол и начал читать. Ванесса все репетировала Рахманинова. Когда я дочитал письмо до конца, я пожалел, что не послушался Торбьёрна и прочел его. Оно изменило всю мою жизнь.

ПИСЬМО МАЙЛЗА

Не думай, что это будет сентиментальное прощальное послание. Тебе такое не нужно, да и у меня нет желания его писать. Но есть какие-то вещи, которые я должен высказать тебе, отчасти потому, что чувствую за тебя определенную ответственность — и как брат, и как человек вообще, а отчасти потому, что хочу избежать ненужных недоразумений. Я мог бы адресовать это письмо кому угодно, но поскольку ты все-таки мой брат и поскольку у нас, как мне кажется, за последний год установились добрые и откровенные отношения, я выбираю в свои поверенные тебя.

Во-первых, я хочу, чтобы ты знал, что мной движет не отчаяние. Я делаю это не по той банальной причине, что не вижу другого выхода, напротив, мне совершенно ясно, что почти всегда существует много выходов. Я вовсе не считаю, что самоубийство хорошее или хотя бы приемлемое решение какой бы то ни было из проблем, которые жизнь ставит перед людьми нашего социального круга. Я лишаю себя жизни не потому, что мне кажется, будто это нужно и правильно. Мое самоубийство не имеет никакого отношения к понятиям добра и

зла. Я лишаю себя жизни не потому, что вижу в этом необходимость или неизбежность. Это не имеет никакого отношения ни к необходимости, ни к неизбежности. Наверно, можно сказать, что самоубийство — своего рода протест против жизненной ситуации, которая сложилась скорее силою обстоятельств, чем по моей воле. Но и это было бы поверхностно и слишком театрально. Мое самоубийство должно рассматриваться как поступок среди прочих поступков, просто это мой последний поступок. Так я думаю, и мне хочется, чтобы ты думал так же. Ханне знает обо всем и одобряет мое решение. У нас нет разногласий по этому вопросу, ведь мы с ней в высшей степени похожи во всем, кроме одного: у нее воля к жизни гораздо сильнее, чем у меня. Я хочу, чтобы и ты тоже одобрил то, что я сделаю на исходе этой ночи, одобрил бы не сентиментально и бездумно только потому, что таково мое «последнее желание», но сознательно и разумно, прочитав все, что я написал.

Пожалуйста, не впадай в заблуждение, решив, будто мое самоубийство находится в прямой причинной зависимости от того факта, что мне, благодаря одной (весьма изящной) финансовой операции, удалось высвободить три миллиона финских марок из капитала фирмы для другой, более высокой цели. Одно совершенно не объясняет другого, хотя не могу отрицать, что между этими фактами существует внутренняя логическая связь. Не думай также, что я присвоил эти три миллиона, чтобы удовлетворить какие-то свои личные материальные потребности или те тривиальные буржуазные желания, которые во многих трагических случаях являются мощной движущей силой, заставляющей кассиршу или главного бухгалтера банка, акционерного общества и т. п. поддаться искушению и украсть. Я тоже украл или присвоил, это верно, но вся сумма целиком переведена на счет одного банка в Цюрихе и будет находиться там, пока не пробьет час. В моем банковском сейфе лежит запечатанный конверт с подробной инструкцией о том, как получить эти деньги и на что их следует употребить. Дальше я еще напишу об этом и дам конкретные указания — в другом запечатанном конверте, приложенном к этому письму.

А сейчас я хочу кое-что рассказать тебе о себе, чтобы объяснить, в какое положение я попал, чтобы тебе стали понятнее все мои действия,— ведь близкие всегда воспринимают самоубийство как страшное, из ряда вон выходящее событие, хотя я уверен, что большинство людей в разные периоды своей жизни были более или менее склонны покончить с собой.

Я долго пребывал в убеждении, что у нас с тобой разные матери, но один отец. Позже, когда я стал взрослым, или почти взрослым, когда папа женился в третий раз, на Лауре, я начал общаться с твоей семьей, и дружеские чувства, которые мы с твоей матерью питали друг к другу, привели к истинному доверию: она рассказала мне однажды, что ты — сын Якоба. Я пишу тебе об этом, так как знаю, что это для тебя не новость. Вы поразительно похожи друг на друга, хотя постороннему ваше сходство не сразу бросается в глаза. Тем больше у меня оснований называть тебя братом и испытывать к тебе братские чувства. Чисто биологическое родство имеет в таком случае второстепенное значение. Эдип не знал, что его жена одновременно приходится ему и матерью, и не испытывал к ней никаких сыновних чувств. Я любил тебя как брата, ибо думал, что ты мой брат, хотя с биологической точки зрения это не так. Главное — само чувство, а не то, какие у него предпосылки, ложные или истинные, мнимые или настоящие.

В нашей жизни много парадоксального и противоречивого. Тебе, например, была ненавистна среда, где я, напротив, чувствовал себя,

как дома. Если углубиться в психологию, можно сказать, что я повсюду искал мать, даже будучи уже в том возрасте, когда большинство нормальных людей давно не чувствуют потребности в матери. Дело в том, что Синикка из-за своей постоянной занятости и своего характера не соответствовала моим представлениям о матери, материнской заботе и материнской любви. С другой стороны, легко заметить, что я по-своему искал отца, что я, может, и несколько коварным образом шел по следам папы Дональда. Как маленькая тень или как растущая тень. Мое настоящее знакомство с твоей семьей совершилось тогда, когда он вас бросил. Папа ушел, а я пришел, но только как старший брат и приемный сын, потому что был еще недостаточно взрослым, чтобы смочь или посметь заменить его на его же манер. То, что Гюннель не стала моей любовницей (как это называют),— только случайность, или, вернее, опять же следствие маневров папы Дональда. Ибо когда все кончилось у них с Лаурой, потому что она ему надоела или он надоел ей, я уже достиг нужного возраста. Когда она вернулась из Южной Африки после короткого и неудачного эпизода с инженером, мы с ней вступили в связь, которая длилась, пока я не встретил Ханнеле. По этой причине я знаю о папе много такого, о чем он даже и не подозревает. Нынче осенью в Цюрихе я встретил Ванессу и поехал с нею в Париж, где она давала концерты. Мы прониклись горячей симпатией друг к другу, и, наверно, я был с ней откровеннее, чем следовало, и рассказал то, чего ей лучше было бы не знать. Разве не странно, что я так или иначе влюбляюсь почти во всех папиных жен? (Если хочешь, можешь поразмышлять и на эту тему.)

Иногда мне кажется, что я родился бесчувственным или обстоятельства моей жизни были таковы, что нормальные чувства так и не проросли во мне. Ханнеле — единственное существо в мире, про которое я могу сказать, что я его люблю, любил. Хотя и тут речь идет отнюдь не о животворной или жизнерадостной любви, которая могла бы помешать мне сделать то, что я решил сделать,— покончить с собой. Я не могу сердиться, во мне нет агрессивности, я имею в виду — в личном плане. Ты знаешь, что я славлюсь своей вежливостью и обходительностью. Это не естественная любовь к людям или дружелюбие, но в то же время и не маска. Мне это заменяет обычные, простые, человеческие чувства. Я мог бы стать великолепным дипломатом (и когда-то действительно подумывал о дипломатической карьере).

В детстве мне иногда бывало страшно. Я не боялся привидений или темноты — подобных ужасов не существовало в мире Синикки. В детстве меня, к счастью, не приучили бояться чего-то сверхъестественного. Но иногда меня пугала пропасть — грозное несоответствие между моим детским несовершенством и воображаемым или само собой разумеющимся совершенством взрослых. В двенадцать лет я понял, что ошибаюсь или что взрослые обманули меня. С двенадцати лет и до сегодняшнего дня я не могу припомнить ни одного раза, когда бы я испытал страх, ужас. Ни перед физической или душевной болью, ни перед внешней опасностью, унижением или личными неудачами. А дело было так.

Это случилось в ноябре, мне было двенадцать лет, дул очень сильный ветер, и какой-то человек упал в воду с причала в Хавсхамне. Он уже погрузился в воду, видно его не было, но на причале стояло человек двадцать, и мужчины и женщины — они смотрели на место происшествия растерянные, не смея или не решаясь спасти утопающего. Только взволнованно галдели. Я снял пальто, башмаки, спросил, в каком примерно месте он должен находиться, и прыгнул в воду; я

мгновенно нашел его и вытащил на причал. Взрослые восхищались, но по-прежнему растерянно толклись на причале, не зная, что предпринять. Я начал делать ему искусственное дыхание и попросил их вызвать «скорую помощь». *Они мне повиновались.* Когда, наконец, почти одновременно прибыли и «скорая помощь» и полиция, я просто взял и ушел. Никто не обратил на это внимания. Как будто все было в порядке вещей. Я отнесся к этому не как к «героическому подвигу», а как к самому обычному поступку. Даже Синикке не рассказал того, что случилось. Но с тех пор я уже больше ничего не боялся. А мне тогда было только двенадцать лет. Я не гордился собой. Я вообще никогда не гордился собой. Но и не презирал себя. У меня не было чувства собственной неполноценности. Не было никаких чувств.

Не думай, что в моем рассказе таится какой-то упрек моим родителям. Я не виню их в разводе. Или в смерти моей сестры Розы. И не виню их в том, что ни у кого из них почти не было времени, чтобы заниматься мной. Что касается вещей и денег, родители всегда были очень щедры ко мне. Они всегда, с самого раннего детства, относились ко мне как к равному, то есть видели во мне человека. Они всегда признавали за мной право на собственное мнение и не пытались мешать мне поступать по-своему. За все это я им искренне благодарен, и я был бы несправедлив, если бы не испытывал к ним обоим самого глубокого и искреннего уважения. Я восхищаюсь блестящей политической деятельностью Синикки, горжусь ее многолетней работой в партии и в парламенте, очень ценю Дональда за упорство и настойчивость, которые помогли ему, начав с нуля, занять теперешнее положение. Парадоксальное и противоречивое во мне объясняется, возможно, тем, что я рожден правильными родителями в неправильном браке или, наоборот, в правильном браке, но не теми родителями, так или иначе — комбинация неудачна.

Эта осень была тяжелой и мучительной. Осень Чили. Осень буржуазной реакции, вернее, буржуазного варварства. В эти дни я много раз втолковывал тебе и теперь повторяю в последний раз: Торбьёрн, никогда не забывай убитого Альенде. Никогда не забывай его! И помни о нем не как о герое или отдельной личности, а как о символе угнетенных, которые, несмотря на опыт всей истории, снова и снова совершают одну и ту же ошибку, пытаясь бороться под чистыми знаменами только затем, чтобы пасть жертвой наемных убийц или быть растерзанными буржуазией — правящим классом, прибегающим к любым хитростям, лишь бы защитить и укрепить свою власть, свое сверхвеличие и ту свободу, которая позволяет им господствовать над людьми и которую они называют демократией. Навсегда сохрани в памяти образ убитого Альенде, его старое окровавленное, изрешеченное пулями тело с солдатским шлемом на голове и автоматом в руке. Этот образ поможет тебе помнить, о чем, собственно, идет речь: о борьбе за право жить достойной человека жизнью. Эта борьба охватывает теперь весь мир, а корнями она уходит в далекое прошлое. Ее непримиримость непрерывно возрастает вместе с жестокостью, варварством и тупостью власть имущих, а также несокрушимым упорством, с каким более слабая, порабощенная сторона отстаивает веру в человеческое достоинство, в будущее, свободное от голода и угнетения. В этой борьбе более слабые снова и снова проигрывают, гибнут или получают смертельные раны, и отнюдь не всегда из-за своей слабости, то есть из-за материального и физического превосходства врага, но из-за своей неизлечимой доверчивости, своей недопустимой веры в абстракции, пущенные в ход господствующим классом, хотя сам он пренебрегает ими и втаптывает их в грязь. Это мифы об абстрактной справедливости, доброте, человеч-

ности, о необходимости «следовать правилам игры» в войне общественных классов.

Буржуазия всегда попирает справедливость, если чувствует серьезную угрозу своему положению.

Буржуазия всегда нарушает правила игры, если чувствует серьезную угрозу своему положению.

Буржуазия относится по-человечески только к своим братьям по классу.

Буржуазия без всяких угрызений совести прибегает к любой бесчеловечности и жестокости, если чувствует серьезную угрозу своему положению.

Буржуазия не держит слова, если чувствует серьезную угрозу своему положению.

Честное слово буржуазии не стоит ломаного гроша.

Государство буржуазного благоденствия строится только на принципиальном воровстве, последовательном обмане и холодном расчете.

Никогда не доверяй буржуазии!

Никогда не верь сладким речам буржуазии.

Исходи всегда из того, что буржуазия лжет, ибо ее единственная цель в жизни и ее единственный интерес — это удовлетворение жажды наживы и жажды наслаждений.

Только когда рабочий класс поймет, что буржуазия, не колеблясь, прибегает к грязному оружию, а бороться эффективно с этим грязным оружием можно лишь таким же грязным оружием,— только тогда будет достигнут успех и победа в той борьбе, которая ведется между общественными классами непрерывно, непримиримо и немилосердно. Когда рабочие будут вооружены, а их руководители изживут свою доверчивость и наивность — только тогда станет возможна победа.

Будь активным! Приобретай знания! Будь смелым! Верь, но не будь доверчивым! Торбьёрн, я завещаю тебе нерушимую веру в дело и конечную победу коммунизма. Только это я и могу дать тебе, но это самое ценное, что у меня есть. Ведь, в сущности, это и есть чувство реальности, истинное знание людей, способность сопоставлять факты и постигать внутреннюю логику человеческой истории. В сущности, мы все могли бы родиться с этой верой. Но, к сожалению, это не так. Коммунизм — это мир, о котором всегда мечтали люди, мир, где царит солидарность, правит любовь, где нет ни угнетения, ни нужды. Где право на человеческое достоинство, пищу, крышу над головой и осмысленную работу принадлежит всем, а не только привилегированному меньшинству. А в мире, где большинство толчется вслепую, единственный зрячий непременно будет объявлен сумасшедшим, монстром, смертельной угрозой. Как некогда Маркс. Потому что в том мире слепота естественна и обычна, а способность видеть составляет исключение. Но даже если исключение должно подтверждать правило, в этом исключении нет ничего, что показывало бы, а тем более доказывало, что это правило верно и ему надо следовать. Исключение не подтверждает правила, точно так же, как правило не говорит ничего существенного об исключении.

Если бы я мог сказать тебе, что устал и разочаровался. Но я не могу. Я не устал, а полон сил и жизни. Просто я уже сделал свое дело и больше ничего не могу сделать. *Не могу.* Чего стоит человеческая жизнь? Три миллиона — достаточная ли это цена за человеческую жизнь? В Южной Америке человеческая жизнь не стоит ни гроша.

В моей жизни есть непреодолимое противоречие, которое я не

смогу разрешить. Если бы я по своей натуре был солдатом, я бы остался жить. Но я не солдат. Я сделал свое дело и выхожу из игры. Мой вклад — три миллиона. Согласись, что в этом есть что-то парадоксальное, какая-то ирония судьбы: ведь я рожден родителями, которые верили в коммунизм, а моя мать осталась верна ему на всю жизнь. Детство и отрочество я провел с нею, жил с нею под одним кровом. Но когда я вырос, из меня получился образцовый буржуа, я жил, думал и действовал как буржуа, капиталист, пока мне наконец не открылось все грязное безумство буржуазии, и тогда я превратился в змею на ее груди. Или, вернее, я поступил как сорока, украл серебряную ложечку, то есть принес так же много или так же мало вреда. Торбьёрн, возьми на себя роль змеи, подстрекай потихоньку других к тому же, станьте армией змей, продвигайтесь вперед с помощью хитрости, лжи и обмана, нарушайте обещания и предавайте, ибо врага можно победить только таким образом, в открытой борьбе сила всегда будет на его стороне. Проникайте в армию — это самое важное, проникайте в промышленность и в финансовый мир, откажитесь от знамен, лозунгов и победных кликов, вспомни, как ведет себя тигр: он молчит. А клоун представляется. Надо быть и тигром и клоуном одновременно. Шумят только бумажные тигры.

Синикка, очевидно, не сомневалась, что я автоматически пойду по ее стопам, стану одним из них по той простой причине, что она уже с ними. Но она забыла, что даже коммунизм в нашем капиталистическом обществе, и прежде всего коммунизм, требует активного изучения, чтобы его можно было понять, принять и сделать целью своей жизни, формой жизни. Я, как собака в лаборатории Павлова, реагировал положительно на самые приятные импульсы, формировался соответственно самым ярким вариантам поощрения. Прежде всего это касалось школьных отметок. В школе у меня всегда были хорошие, блестящие отметки. Я был силен во всех предметах, даже в пении и гимнастике. Синикка никогда не забывала похвалить меня за успехи в школе. Когда я показывал ей свои отметки, она хвалила меня, и в течение долгого времени это было почти единственным активным выражением одобрения с ее стороны. Таким образом, я постепенно утвердился в мысли, что школа — это самое главное: ведь все, связанное со школой, приносило мне наиболее сильное и спонтанное поощрение и одобрение. Но в школе меня учили не коммунистическим добродетелям, а в высшей степени буржуазным. Я был рожден и задуман как социалистический коллективист, но вырос буржуазным индивидуалистом. Может, это и есть главная причина того, что теперь я вынужден уйти из жизни. Пассивность Синикки, ее бездумная халатность во всем, что касалось моего коммунистического воспитания, в сочетании с влиянием школы, а позже Якоба и Гюннель, влиянием всей среды превратили меня в нечто, не предусмотренное заранее, в конкурентоспособного буржуазного индивидуалиста вместо коммуниста, обладающего чувством солидарности, вместо «индейца», то есть человека от природы равнодушного к личной собственности и личной эгоистически понятой выгоде.

На Земле еще не поздно. Не поздно для человека. Даже рано. Я верю в лучшее будущее, в иное будущее. Я верю в победу коммунизма. Я верю, что на Земле настанет время, когда миллионы и миллионы людей, которых сейчас угнетают и мучают чуть не до смерти, будут жить, не зная голода и страданий. Но эта жизнь никогда не явится результатом социал-демократических танцев на буржуазных розах. Дорога к лучшему миру прокладывается с помощью насилия и проходит через море человеческой крови. Ибо так угодно господствующему классу. Так постановили буржуазные варвары. Добро-

вольно они никогда ни с кем не поделятся. А в этом я не могу принимать участия. Я не солдат. Я вырос представителем буржуазии, но солдатом буржуазии я никогда не буду. Лучше я лишу себя жизни.

Ты сам вырос в буржуазной среде. Ты живешь как буржуа. Повсюду ты встречаешься с буржуазной любезностью, с буржуазной «терпимостью». Не позволяй обмануть себя, буржуазия терпима и любезна только до тех пор, пока не чувствует никакой угрозы. Когда ей что-то угрожает, она превращается в скопище диких зверей. Или даже не в животных, следующих законам природы, а во что-то жестокое, страшное, неживотное, низменное. Весь этот благоденствующий капиталистический мир, в котором тебе придется жить, превращается в низменных подонков — алчных, жестоких, бесчувственных и умственно отсталых. Окружающий капиталистический мир будет беспрерывно влиять на тебя, разрушая твою личность; об этом влиянии забыла Синикка при ее идеализме и занятости, а меж тем ему постоянно подвергались ее собственные дети.

Сегодня Чили — та страна, в которой господствуют низменные человеческие отбросы. Пытки — низменны. Бросать в тюрьмы, убивать, морить голодом ради денег и власти — тоже низменно. Но ведь низменна и эротическая эксплуатация неимущих в коммерческих интересах. Копенгаген, Стокгольм, а теперь уже и Гельсингфорс превращаются в огромные бордели, где все низменное легализируется во имя священной социал-демократической «смешанной» экономики. Секс как предмет купли и продажи — не новость в мировой истории. Но эротика в ее официальных легализованных крупным капиталом отвратительных формах — это новое, типично буржуазное явление, выражающее низменность буржуазного порядка. В своих курьезных воспоминаниях, о которых ты говорил, папа Дональд хвастается своими связями с проститутками, тем, что он давал им много денег и как искренне они «любили» его за эту хорошую мзду, признается, что ему казался интересным заранее оплаченный, показанный на сцене половой акт, демонстрируемый людьми, которым в этом буржуазном ростовщическом мире нечего продать для поддержания жизни, кроме своего тела. Я не хочу критиковать своего отца, потому что он никогда сознательно не причинил мне зла, но должен признаться, что я его не понимаю.

Смотри не ошибись, думая, будто Чили — какое-то исключение. Или вообще Латинская Америка. Не верь, что все дело в расе или в «национальном характере». Буржуазия превращается в скопище варваров в любом месте, если чувствует угрозу своему положению. Не забывай Германию. Или Финляндию 1918 года. В Сантьяго бразильские полицейские обучают методам пытки чилийских «блюстителей порядка». Но кто учил бразильцев? Пентагон. На два убийства, совершенных красногвардейцами в 1918 году, банды белых убийц отвечали двумя сотнями убийств в лагерях для пленных или во время чисток среди населения, после того как в мае немецкие оккупанты обеспечили Маннергейму победу. Кровожадность и зверство — отличительные черты буржуазии независимо от языка, расы и географического положения. В концлагере для женщин в Хеннале летом 1918 года продуктовые посылки, отправленные лояльными родственниками, оставшимися на свободе, редко доходили до изголодавшихся заключенных. Обычно все продуктовые посылки конфисковались по приказу лагерного начальства. Тебе, конечно, известно, сколько людей погибло от голода и болезней в этих страшных заведениях, учрежденных во имя мести в нашем славном белом отечестве? Больше двенадцати тысяч умерло там всего за несколько месяцев. В одной, дошедшей до адресата посылке была колбаса, и эта узница тут же

начала жадно глотать ее. Однако из-за длительного голодания ее желудок не мог удержать пищу, пищеварение не работало, ее стало рвать непереваренными кусками колбасы там же, на площадке, где она получила посылку. Другие узницы, тоже умиравшие от голода, увидели это, бросились к ее ногам, дрались из-за каждого непереваренного куска, словно животные, вот именно, словно животные. Но это не было низменно, это было всего лишь страшным выражением крайнего человеческого голода. Недостойная картина человеческого унижения, которому буржуазные варвары подвергали людей, чтобы удовлетворить свою жажду мести. Никогда не забывай этой картины. И помни, что сам по себе голод не может быть низменным, как и все, что делается во имя воли к жизни или воли к самосохранению. Но заставлять людей голодать — низменно. Безучастно смотреть, как люди голодают, и не помогать им — низменно.

Если на то пошло, наверно, и самоубийство должно считаться низменным в том мире, где столько людей, жаждущих жить, умирают насильственной смертью?

Когда дело касается жестокости правящих классов, никакой вымысел не может затмить действительность. Всегда верь левым, которые стоят на стороне угнетенных и разоблачают несправедливость. Никогда не верь правым, поскольку они защищают только себя и могут оперировать только ложью и отговорками. По мере развития общества представители господствующих классов становятся все более жестокими, и жестокость их возрастает вместе с повышением ценности принадлежащей им собственности, ценности капитала, который надо защищать. Таким образом, буржуазия более жестока, чем была аристократия. А так называемый «примитивный» народ, преследуемый и униженный, презираемый и почти уже истребленный — индейцы,— вовсе не был жесток. Конечно, у индейцев были ритуальные насилия или убийства, которые могут показаться жестокостью человеку, несведущему в их ритуалах, но индейцы никогда не были жестоки ради жестокости или ради личной выгоды, как буржуазия. А благородному искусству снимать скальпы они научились, между прочим, у испанцев.

Материальный прогресс еще не означает социального прогресса. Техническое развитие и развитие человеческой личности — разные вещи. Человек, стоящий у холодильника, отличается от человека, стоящего у подножия дерева, главным образом тем, что его жестокость и равнодушие к страданиям ближних неизмеримо выросли. Его мучат угрызения совести, но они не мешают ему заниматься всем этим. Его жестокость и равнодушие тем выгоднее для него, чем больше ценность того, что он защищает. Если ты сразу не различаешь этого, то главным образом потому, что в наш век даль перспективы чрезвычайно углубилась, связи усложнились и стали более непроницаемыми.

Мы живем во времена дегенерирующей буржуазии, и мне надоело быть ее представителем. Я не могу больше быть буржуазным интеллигентом, «интеллектуалом-гуманистом». С месяц назад я шел по Саломонсгатан в Гельсингфорсе. Смеркалось, на улице было много народу, температура была около нуля, под ногами хлюпала снежная жижа, дул пронизывающий ветер. Проходя мимо бензоколонки, я увидел человека, он лежал у стены, спал или был без сознания, больной или вдрызг пьяный, в лохмотьях, видны были голые, красные, обветренные руки, голова лежала в маленькой луже. Он не двигался — возможно, он уже умер. Мимо проходило много людей, но никому не было до него дела. Это обычная для Гельсингфорса картина: отверженные, выбывшие из игры люди умирают прямо на улице, а обыватели идут мимо, не обращая на них внимания. Мне уже случалось

видеть такое. Но этот случай я запомнил по особой причине. Я понимал, что нужно что-то сделать, принять какие-то меры, вызвать полицию или «скорую помощь». Но не сделал этого. Просто прошел мимо, как и все остальные. И даже про себя отметил, что прошел мимо, как и все остальные. Отметил, что это нехорошо, непростительно, что это проявление все того же буржуазного равнодушия, в котором я обвиняю других. Но даже и тогда я не обернулся. Даже и тогда не испытал ни волнения, ни сострадания, ни потребности что-то предпринять. Только равнодушие. Моя совесть была столь же неподвижной и окаменелой, как и тело того полу- или полностью замерзшего человека, который лежал на улице. Вот насколько далеки друг от друга теория и практика гуманизма, теория и практика обветшалой буржуазной солидарности.

Остается добавить совсем немного. Из всего сказанного уже должно явствовать, почему я считаю самоубийство логической неизбежностью. Деньги, как я уже сказал, находятся в Цюрихе, а более подробные сведения о том, как их получить и на что их надо употребить, ты найдешь, когда вскроешь запечатанный маленький конверт, который приложен к этому письму. Кроме того, я излагаю там в общих чертах, как я действовал. Разумеется, я не мог проделать такую операцию совсем один, только благодаря неограниченному доверию, которое оказывала мне фирма, как я в приступе гордости, а также из предосторожности заявил папе. Разумеется, это хищение очень скоро раскрылось бы, самое вероятное, при следующей же ежемесячной ревизии. Я решил, что мне выгоднее самому заявить на себя — не столько из честности, сколько ради ясности и простоты. Отчасти все это было проделано под настроение, как своего рода радикальный протест, но главным образом по другим, более серьезным причинам, которые ты, конечно, понимаешь, и потому мне нет нужды приводить их. Что касается использования денег, я хочу, чтобы тебе уже сейчас было ясно, что все они, целиком и полностью, предназначены на приобретение оружия и боеприпасов, то есть как помощь в вооружении народной армии. Более подробно об этом — в маленьком конверте.

Есть еще одна вещь, которая мучит меня, потому что я не могу решить, должен ли я сообщить ее тебе или нет. Это касается моего родного, а твоего псевдоотца, нашего неповторимого и неутомимого Дональда Блаада. Вопрос не в том, как ты сам к этому отнесешься, но могу ли я быть уверен, что ты никогда не расскажешь ему того, что я собираюсь открыть тебе? Впрочем, дело решенное, я не сомневаюсь, что на тебя можно положиться. Итак, мы оба знаем, что Дональд — самовлюбленный бахвал, которому далеко не все так легко удается, как он сам себя уверяет, однако кое-что ему удалось куда больше, чем он мог даже мечтать. Это звучит загадочно, но очень скоро я открою тебе эту загадку. Отчасти это имеет отношение к Якобу, отчасти — к Лауре и отчасти — ко мне самому.

Что касается Якоба, все ограничивается рассуждениями в психологическом плане. Разве не трагикомично, не смехотворно, просто непостижимо, что Дональд так и не понял истинного смысла их отношений, этой нерасторжимой и обоюдной, в высшей степени обоюдной, их зависимости друг от друга? Дональд находится в роли вечного благодарного должника Якоба и пытается избавиться от этой роли тем ожесточеннее, чем острее чувствует свой долг. Отсюда их постоянные ссоры, ребяческие стычки, в которых на самом деле извращенно выражается своеобразная тайная любовь, любовь-ненависть. Якоб — отец Дональда в гораздо большей степени, чем твой, он «сделал» Дональда, помог ему обрести чувство собственного досто-

инства и веры в себя тогда, когда Дональд больше всего в этом нуждался. Для Дональда Якоб — бог, приходящий на помощь в трудную минуту. Вот этого-то он и не может Якобу простить. Все мы в большей или меньшей степени зависели от Якоба. А ты, как самый младший, наверное, зависишь еще и сейчас. Якоб — ось, вокруг которой началось вращение нашей взрослой жизни. Сперва жизни Дональда, потом Майлза и, наконец, Торбьёрна. А это, в свою очередь, оказалось возможным лишь потому, что Якоб амбивалентен в своих чувствах. Якоба влечет к молодым людям, к юношам. Мы оба все это знали и, смею верить, оба проявили в этом вопросе надлежащий такт. Мы благодарно пользовались его великодушием и в то же время деликатно сохраняли надлежащую дистанцию. Разве не так? Разве с тобой было иначе? Хотя мне совершенно ясно, что твое положение в этом случае должно было быть намного сложнее, чем мое. Да и Якоб, наверно, испытывал к тебе чувство гораздо более сложное, болезненное и противоречивое, чем ко мне. Только один Дональд был слеп и потому, пользуясь Якобом, втаптывал его в грязь жестоко и унизительно, что для Якоба порой бывало невыносимо тяжело. Если ты еще в состоянии переваривать психологизм, то я сказал бы, что на самом деле ты — плод несчастной любви Якоба к Дональду. Его отношения с Гюннель были не чем иным, как суррогатом других отношений, которые, как он понимал, никогда не осуществятся. Таким образом ты и был зачат. И в этом нет ничего странного. Просто история повторяется, хотя и в новых одеждах, поэтому ее так трудно узнать. Вспомни, что Дональд большую часть жизни потратил на то, чтобы выяснить правду о своем происхождении!

Одно качество, безусловно, делает честь моему отцу — это его неподдельный пацифизм. Ему было плохо на войне, и он всегда это подчеркивает. Он открыто признается в своем страхе. Но и тут есть несколько парадоксов, которых он в своей самовлюбленности, эгоцентричности и в своем странном варианте «слепой прозорливости», к счастью, так и не понял. Первый касается его министерской деятельности. Когда он в своем безграничном тщеславии принял этот пост, хотя ему с самого начала должно было быть ясно, что он на нем оскандалится. Однако он внушил себе, что это назначение явилось результатом его собственных усилий, ловких политических интриг и высоких связей, которые за все эти годы он, безусловно, сумел завести. Разумеется, он был лишь пешкой в большой игре политических партий и, разумеется, так и было задумано, чтобы он потерпел неудачу. Пусть это было «служебное» правительство, и Дональд считался независимым, но и в «служебных» правительствах тоже были политические группировки, и они были ареной борьбы политических партий. Он с треском провалился, но как всегда, несмотря ни на что, вышел сухим из воды, потому что ему было чуждо обшепринятое понятие о чести и то, что подразумевается под чувством тона и такта. Когда он понял, что пост министра ему не по плечу, он поступил не так, как поступил бы на его месте любой другой человек, который удалился бы, поджав хвост, но храня бюрократическую серьезность и оскорбленное достоинство, изображая из себя жертву коварных политических интриг. Вместо этого он предпочел отбиваться, начал непонятный и хитроумный розыгрыш, поскольку сама игра все равно была проиграна. Стал кривляться и паясничать. Это позволило ему оставить с носом своих политических противников, вызвать смуту в правительстве и одержать хотя бы частичную победу. Признайся, что такое поведение по-своему великолепно. У него есть энтузиазм. Он на свой лад мечтатель и фантаст, занудой его никак не назовешь.

Мы оба знаем, как он любит хвастать, что за всю войну «не убил

ни одного русского». Но по странной иронии судьбы после заключения мира он фактически убил одного финского офицера. Мы знаем, что вскоре после демобилизации в каком-то подъезде на Егаргатан он зверски избил некоего лейтенанта, сперва нагрубив ему и нарушив правила армейской дисциплины. Но Дональд не знает, что этот лейтенант через несколько дней скончался от нанесенных ему увечий. Откуда мне это известно? Мне рассказала Лаура. Этот лейтенант оказался ее старшим братом. Мир тесен. А некоторые женщины страшно чувствительны. Любовь сглаживает многое. Но ты можешь представить себе ее шок, когда она вдруг узнала, кто именно давным-давно совершил бессмысленное и садистское убийство ее любимого брата. В общем-то это разоблачение, хотя и случайное, положило конец их браку. Лаура не могла оставаться женой убийцы своего брата. Со своей стороны, я раскаиваюсь, что несколько недель назад в Париже в минуту откровенности рассказал об этом Ванессе. На нее это очень сильно подействовало. Она сказала, что это меняет ее представление о Дональде. А у меня нет никаких оснований вредить ему.

Папа верит, надеется или мечтает, что я прикарманил эти три миллиона, чтобы при удобном случае вложить их в его фирму и таким образом залатать дыру, возникшую из-за его длительной небрежности. Хорошо, если ты лишишь его этой иллюзии — пусть стоит на твердой почве и пусть у него будет меньше причин для беспокойства. Как он представлял себе все на практике, я не понимаю, только знаю, что в последнее время он проявил лихорадочную активность, чтобы как можно дольше не привлекать к случившемуся полицию. Он всерьез думал, что я мог так далеко зайти в своей сыновней преданности. Невероятно! С другой стороны, для меня навсегда останется загадкой, почему последние два года он так плохо вел свои дела. Ведь вообще-то он очень опытный бизнесмен. Я всегда восхищался его манерой держаться во время торговых переговоров. Из добродушного, потягивающего грог рассказчика анекдотов он мгновенно превращался в твердого, как камень, торговца, оперировавшего самыми беззастенчивыми вымыслами и самыми фантастическими сведениями. Он игрок по натуре. Может, только настоящим игрокам и везет в бизнесе. Но в чем бы ни была причина, остается фактом, что в последнее время он держался на волоске, хотя и владеет контрольным пакетом акций, и что в конце концов правление предложило ему выйти в отставку, то есть почетное отступление. Но в этом он никогда не признается даже самому себе.

Я пишу долго и очень устал. Через несколько часов меня уже не будет. Хотелось бы, по крайней мере, сказать, что эта мысль ужасает меня. Но я не могу так сказать. Умереть — значит всего лишь вернуться. Настолько все просто и недраматично. Веришь ли ты в бога? В последний месяц я начал верить в бога индейцев. Это бог-марксист, он говорит, что земля общая и что природа не принадлежит никому, а умершие возвращаются в нее, то есть просто возвращаются туда, откуда пришли. Если бог есть, умереть — значит вернуться. И если человек воспринимает смерть как возвращение — значит, бог есть. Все очень просто. И не более того. Я не верю в загробную жизнь. Маркс, естественно, не был богом. Он лишь сумел объяснить очевидное, то, о чем наши братья-индейцы догадывались уже давно. Что земля общая и что природа и ее дары принадлежат не отдельным людям, а всем вместе. Так есть и так должно быть, если человек хочет остаться человеком в мире людей. Бремя белого человека — его слепота, породившая и его жадность, и его страх. Торбьёрн, брат мой, будь зрячим среди слепых! Действуй как зрячий. Людям еще не поздно начать жизнь на Земле людей.

Ведь сейчас еще только предыстория человечества.

■

Я сплю. Я просыпаюсь. Мне приснился кошмар, который вот уже две-три недели снится мне каждую ночь. Я пытаюсь поднять руку, чтобы зажечь бра у изголовья кровати, но рука мне не повинуется. Я не могу шевельнуть рукой, вообще не могу пошевелиться. Я парализован, во сне у меня случился удар. Я лежу на правом боку — лицом к окну и спиной к комнате. Меня охватывает смертельный страх, и я громко зову Ванессу, которая спит в соседней комнате. Но язык у меня тоже отнялся, я не могу кричать, у меня вырывается лишь жалкий писк. Она, конечно, меня не слышит. Но зато слышит кто-то другой. В комнате кто-то есть, в темноте, у меня за спиной, какой-то злоумышленник беззвучно приближается к кровати с намерением убить меня. Почему-то я считаю, что ко мне приближается длинный охотничий нож. Я делаю усилие, чтобы обернуться, но мне это не удается. Кричу изо всех сил, но голосовые связки издают только скрип. И в ту минуту, когда неизвестный враг уже стоит у края кровати, сковывавшая меня неподвижность исчезает, я наконец поднимаю руку и зажигаю лампу. Слава богу, это только сон. Но какой неприятный, думаю я, оглядывая безмолвный порядок — старую, знакомую мебель и все предметы в моей старой, такой знакомой спальне.

И вдруг все повторяется! Ты видел сон, говорю я себе, но теперь ты проснулся, и тебя разбивает паралич. И верно, я лежу, не в силах пошевелиться, и знаю, что не сплю, потому что вижу свою знакомую комнату, пытаюсь громко кричать, но могу выдавить из себя лишь писк. А в это время дверь отворяется и входит таинственный враг со своим длинным страшным ножом. Моя голова повернута так, что я не могу следить, как он идет через комнату. Но я знаю, что он приближается. Он уже рядом со мной, так близко, что острие ножа касается моего левого плеча. Неожиданно ко мне возвращается голос, и я кричу изо всех сил, и вот уже Ванесса здесь, сидит на краю кровати, обнимая меня за плечи, и я просыпаюсь во второй раз, наконец-то просыпаюсь по-настоящему.

Я чувствую себя несчастным. Прошу ее лечь рядом со мной, но она отказывается. Говорит, что до утра еще далеко и нам обоим надо спать. Я не хочу, чтобы она уходила, и начинаю рассказывать свой сон. Она слушает некоторое время вежливо, но без всякого интереса, потом прерывает меня.

— Тебе надо записаться на прием к психиатру,— равнодушно говорит она.

Она изменилась. Нет прежнего тепла и заботливости. Она ведет себя так, будто мы женаты уже пятнадцать лет. Со мной она обращается дружелюбно, вежливо-равнодушно, как с человеком, с которым давно живут вместе, но которого больше не любят. Это приводит меня в отчаяние, я пытаюсь не замечать этого и продолжаю говорить:

— Мне стали сниться ужасные сны, знаешь, прошлой ночью мне приснилось, будто я в Стокгольме стою напротив отеля «Шератон» и вижу, как один молодой, чуть под хмельком, финский эмигрант встречает пожилую даму с маленькой...

— Может, ты все-таки попытаешься заснуть, Дональд, ведь сейчас ночь, а у меня с утра много работы.

— Нет, нет, я не могу спать, позволь, я расскажу тебе свой сон, так вот, этот финн встречает шведскую бабу с маленькой шавкой на поводке и на ломаном шведском спрашивает, который час или что-то в этом роде, она тут же начинает высокомерно оскорблять его, как обычно ведут себя глупые шведы по отношению к финнам, смешное чванство шведской посредственности...

— Дональд...

— И вот я, послушав некоторое время ее оскорбления, спешу на выручку к моему бедному, беспомощному, пьяному соотечественнику, но накидываюсь не на бабу, а на ее шавку, маленького хорошенького мопса. Я с такой силой прижимаю его к мостовой, что у него хрустят кости и он пищит, дама в возмущении пытается ударить меня зонтиком, но я грубо отталкиваю ее и наношу собаке удар каратэ — ломаю ей позвоночник ребром ладони, короче говоря, я убиваю собачку этой старой дамы и просыпаюсь в смертельном страхе...

— Не надо так горячиться, Дональд, попробуй заснуть.

— Я не могу спать, Ванесса, сыграй мне что-нибудь, поиграй хоть немножко, а потом мы ляжем.

— Играть сейчас, среди ночи?

— Вот именно, среди ночи, ну, пожалуйста, я очень прошу тебя.

— А что скажут соседи?

— Плевать я хотел на них, я у себя дома, а кроме того, я богаче, чем они все, вместе взятые.

— Неужели?

— О'кей, о'кей, пусть я и не богаче, плевать мне на это, идем.

Я вылезаю из кровати, беру ее за руку и тащу в гостиную. На ней лишь одна почти прозрачная ночная рубашка, сквозь нее видны линии ее красивого тела. На мне полосатая пижама.

Я открываю рояль, и меня охватывает какое-то странное щекочущее нетерпение. Кружится голова.

— Играй Рахманинова, эту лебединую песнь буржуазной России, играй же, играй, а я буду исполнять партию оркестра.

Неохотно она садится к роялю и берет первый вступительный аккорд Концерта для фортепьяно, с которым примерно через два месяца должна выступать в Варшаве вместе с ленинградским оркестром, а я в нужное мгновение имитирую скрипки, вернее, пародирую их голосом, постепенно доводя его до полной силы—оркестр звучит на полную мощность,— я чувствую огромную радость и возбуждение от того, что мой голос звучит во всю силу, ведь только что во сне я думал, что навеки лишился его. Мне кажется, что я могу поехать вместе с ней, чтобы своими голосовыми связками и своей сногсшибательной музыкальностью заменить всю Ленинградскую филармонию,— сейчас эта задача мне по плечу.

— Плюй на непосредственность, не вживайся в эту музыку. Ване-е-ес-са-а-а, игра-ай по теории Брехта, соблюдай дистанцию, как тебя учил Рихтер, нельзя принимать всерьез старого брюзгу, тоскующего по буржуазному прошлому, а то он будет смешон... как Солженицын... — пою я.

Она смеется, вполне оценив мое выступление.

— Или ты не слы-ы-ышишь, как он опла-ки-вает утраченные привилегии и старые шелковые драпиро-о-овки, он плачет, что революция отняла все: и прекрасное и ценно-о-ое, что осталось лишь это по-ошлое, ску-учное равенство...

Она смеется все более и более неудержимо. Наконец, берет несколько громких аккордов — пам-пам-пам — и хохоча падает на клавиши, разметав в беспорядке волосы от басов до дискантов.

— Я не могу работать с таким непослушным оркестром.

— А разве я не прав, разве он не это пытается высказать? По-моему, у него очень понятный музыкальный язык, я великолепно понимаю его, хотя и не разделяю его взглядов. Это взгляды Якоба. Рахманинов — собрат Якоба.

— Так нельзя толковать музыку.

— А мне можно. Сыграй тогда что-нибудь другое. Шуберта, что ли. Я помолчу. Теперь я понимаю только музыку, слова так трудно по-

нять. Жить, умереть, прожить жизнь достойно — нет, я ничего не понимаю! Или нет, не играй, мы поставим что-нибудь великое — Брамса или Малера, теперь я могу разговаривать только с композиторами, слова, буквы и всякое такое — это слишком сложно для меня. Давай заведем Брамса, нет, Малера, Брамс образцовый буржуа, он верил в победу, величие и прочность буржуазии, этот Брамс.

— Кто? Майлз?

— Нет, не Майлз, а Брамс, черт побери, слушай, что тебе говорят! Прости, пожалуйста, Ванесса, тебе не кажется, что где-то должны быть такие существа, которые понимают друг друга и общаются между собой исключительно посредством музыки? Например, А исполняет скрипичную сонату, Б отвечает ему фортепьянной, так они играют и разговаривают, пока не является В со своей симфонией, и тут они признают, что он прав, именно так все и должно быть. Струнный квартет — это и есть разговор между...

— Что ты хочешь поставить?

— Седьмую симфонию Малера.

Я ставлю Малера и перевожу звук на полную мощность, в динамиках слышится грохот и скрежет. Она закрывает рояль и садится на тахту, у меня такое чувство, будто меня лихорадит. Некоторое время мы сидим молча и слушаем. Потом я начинаю кричать:

— Слушай, слушай, вот это место, слышишь, как он издевается над Брамсом! Разве ты не слышишь, что это первая часть Третьей симфонии Брамса, он просто спер у Брамса главную тему, перемесил ее, углубил и выставил на посмешище своего великого предшественника...

— Да, да, конечно,— только и говорит она.

— Слушай, слушай, вот здесь разоблачается наивный буржуазный идеализм великого Брамса, его ортодоксальное однозначное восприятие красоты. Как Малер саркастичен, ведь он разбивает вдребезги целое мировоззрение, образ целого мира и показывает, насколько сложнее жизнь, насколько в ней больше противоречий, чем было принято считать во времена величия буржуазии. Это тоже лебединая песнь буржуазии, только на другой лад.

— Если ты пытаешься найти в симфониях Малера политический смысл, то ты решительно ошибаешься, в этом я могу тебя заверить. Малер верил в абсолютную красоту, мало кто носил на себе больший отпечаток буржуазности, чем Малер... с его социальным происхождением.

— Нет, нет, я имею в виду совсем другое. Великие композиторы описывают дух своего века или полемизируют с ним, они объясняют дух времени гораздо лучше, чем слова, то есть, чем плохие слова. Сами того не сознавая. В этом-то их и величие. Почему, ты думаешь, только наше поколение смогло по заслугам оценить Малера, понять его? Да потому, что он намного опередил свое время... сам того не понимая, конечно. Он предвещает крах представлений о надежности буржуазного мира, его едкая, горькая сатира направлена против всего торжествующего и цельного... У Брамса, Мендельсона и Цезаря Франка... хотя в то же время он является органической частицей того же самого века и того же духа времени. Вспомни Баха! За сто лет до Маркса! Я хочу сказать, что все уже сказано... нам надо только понять... «Страсти по Матфею»...

— Дональд, успокойся!

— Все, все уже есть в «Страстях по Матфею»... или скажем так: половина всего, точно половина, ни больше, ни меньше, ты однажды сказала... но всего нет... нигде...

Я всхлипываю. Она поднимается с тахты, подходит ко мне и берет меня за руку.

— Дональд, может, нам все-таки лучше лечь, тебе вредно так волноваться.

— Но разве ты не слышишь, как он издевается над Брамсом? — кричу я.

— Конечно, слышу, Дональд, милый, я слышу...

В это время в дверях возникает Торбьёрн. На нем тоже только пижама, он босиком.

— Что за чертовщину вы тут развели... среди ночи? — говорит он сонным голосом.

— Слушаем музыку, решаем мировые проблемы,— отвечаю я.

— И вам непременно надо решать их так громко, чтобы другие не могли спать?

— Это важные вещи, и они касаются всех,— говорю я.

— О'кей, так к чему же вы пришли? — спрашивает он и разваливается в кресле.

Решительным движением Ванесса выключает музыку.

— А теперь мы все ляжем спать,— говорит она.

— Нет, не ляжем, пусть Торбьёрн немного выпьет, он любит,— говорю я и подхожу к бару.

— Спасибо, не хочу,— отвечает он.

— Ага, значит, мое спиртное тебя больше не устраивает?

— Дональд, возьми себя в руки,— говорит Ванесса.

— Папа?..

Я медленно оборачиваюсь и смотрю на него. Это вырвалось у него не случайно, он произнес это с определенным намерением. Чтобы успокоить меня? Как Ванесса? Или чтобы подчеркнуть свою лояльность, в которой, как ему известно, я имею право сомневаться,— осторожный шаг к попытке снова установить контакт?.. Я чувствую, что не вынесу этого. Мы не можем смотреть друг другу в глаза.

— Теперь мы поставим Сибелиуса, я научу вас слушать Сибелиуса по-новому.

— Ты прочел письмо, да?

Мне не остается ничего иного, как возобновить прерванную войну:

— Да, прости, пожалуйста, мне не следовало этого делать, но ведь я не знал, что в нем написано.

— Это не играет никакой роли, письмо обращено к человечеству, он сам говорит об этом вначале. Я хотел сделать, как тебе лучше...

— А как ты узнал, что я прочел его?

— Это видно по тебе.

— Покорно благодарю.

— И кроме того, я для проверки запечатал Грамши волосинкой.

— Настоящий Джеймс Бонд,— говорит Ванесса.

— А почему именно Грамши, Торбьёрн?

— Потому что мысли Грамши конструктивны. Он сидит в тюрьме и тем не менее одной ногой находится в будущем, Муссолини «обезвредил» его, но он понимает в политике больше, чем пятьдесят маленьких Муссолини, вместе взятых. Он видит разницу между «есть» и «должно быть», в политике «есть» — это исходная точка средних, посредственных политиканов, «должно быть» — реалистическая альтернатива. Статичного «есть» не существует, все пребывает в движении, поэтому... мечта, эта несбыточная мечта, «должна быть» единственной реалистической основой прогрессивной политики... если ты понимаешь, что я имею в виду.

— Я никогда не понимал Грамши.

— Только потому, что ты слишком привязан к настоящему.

— «Маленького конверта»... я, к счастью, не нашел.

Он пожимает плечами.

— Я тоже... к сожалению.

— Что-о? Но ведь он пишет черным по белому...

— Должно быть, он почему-то потерял самообладание, не успел довести все до конца... там было всего несколько слов, но разобрать их невозможно.

— Врешь?

— Если хочешь услышать абсолютно честный ответ, лучше мне вообще промолчать.

— Я так и думал.

— Банковский сейф пуст.

— Как — пуст? А деньги? Где же деньги?

— Gone. Gone with the wind [1].

— Господи боже мой!

— Он оказался не в состоянии довести дело до конца.

— У меня голова идет кругом! Но ведь где-то эти деньги должны находиться?

— Конечно, наверное где-нибудь в Швейцарии, но этого мы никогда не узнаем.

— А мне хотелось узнать хотя бы, как он это провернул.

— Я знаю.

— Что знаешь?

— Как он это провернул.

— Ну еще бы, ты знаешь, как он это провернул, но не откроешь эту тайну своему старому па...

— Бедный Дональд.

— Бедный Дональд, бедный Дональд! Можешь не трудиться и не хитрить, ты меня ненавидишь. С тех пор как ты вернулась из Лондона, ты была холодней, чем сама Снежная королева, и я прекрасно знаю почему. Это все из-за того, что случилось в Париже, и не будь он сейчас мертв, я бы... Точно знаю, что ты презираешь меня, и знаю, что ты хочешь меня бросить, потому что тебе противно жить с убийцей...

— Признаюсь, это был шок.

— Вот видишь, видишь, ты хочешь уйти от меня, у такого, как я, все летит кувырком...

— Дональд, ведь ты знаешь, что по истечении срока давности преступление не влечет за собой наказания, что очень старые... проступки уже давно... забыты или... прощены... иди сюда, Дональд.

Она протягивает ко мне руки, откинувшись назад так, что ночная рубашка натягивается на груди.

— Идем,— шепчет она.

Но я упрям и горд, я по-прежнему стою у бара и наливаю себе виски.

Торбьёрн сидит или полулежит в кресле, небрежно раскинув ноги, голые пятки упираются в ковер. Я отмечаю, что ноги у него чистые. Он сидит и из-под приспущенных век наблюдает за Ванессой. И я вдруг понимаю, что он уже не мальчишка, а молодой мужчина.

Она чувствует его взгляд и спохватывается, что на ней почти ничего нет, он сидит в двух метрах от нее и смотрит на ее соски. Она смеется.

— Может, мне лучше надеть пеньюар?

— Пожалуйста, не беспокойся, можешь вообще раздеться догола. Кажется, все мои жены проделывали это перед моими сыновьями, так что не стесняйся, можно вообще заняться групповым сексом, чтобы скоротать время...

[1] Унесло. Унесло ветром (парафраз названия популярного романа американской писательницы Маргарет Митчелл).

— В другой раз,— говорит Торбьёрн.

— Ты спала с ним в Париже, скажешь — нет? Признайся! Ему непременно нужно было переспать со всеми моими женами, сперва с одной, потом с другой.

— Не будь смешным, Дональд. А если я и спала с ним в Париже? Какое это имеет значение? В нашем возрасте?

— Да, да, ради бога, конечно, это не имеет никакого значения в нашем возрасте, я просто спросил. Ты свободная и самостоятельная женщина.

— Безусловно.

Я выпиваю виски. Это немного успокаивает. Некоторое время мы все молчим. Первым нарушает молчание Торбьёрн:

— Он подставил ножку действительности, как бывает, когда запрудят реку и пустят воду по новому руслу. Для этого требуется изрядная конструктивная фантазия.

— Вот уж воистину так. Три миллиона растаяли в воздухе, словно дым. Ничего себе фантазия!

— Я думаю, что одним из его намерений было показать, как мало стоят деньги, то есть насколько абстрактна и оторвана от жизни вся философия денег, когда речь идет о достаточно крупной сумме. Деньги чего-то стоят только для людей, получающих нищенское жалованье.

— Произошла катастрофа, настоящая катастрофа. Ты не имеешь ни малейшего понятия об экономических законах жизни...

— Пока что никто даже не заикался ни о какой катастрофе.

— Ты ничего не понимаешь. Покрыть исчезновение такой суммы практически невозможно, нужно, чтобы прошли годы...

— А я думаю, что это скорее похоже на ограбление банка на Нормальмстор в Стокгольме. «Для нас это не потеря,— сказал тогда директор Шведского государственного банка,— мы просто напечатаем новые бумажки...» И у нас будет то же самое, не золотые же слитки в самом деле...

— Как он это сделал, Торбьёрн? Неужели ты не можешь сказать, как он это сделал?

— Это был заем, выданный дочерней фирме где-то в Южной Америке, или перечисление капитала, точно не знаю. Несколько фальшивых чеков и...

— Ты меня обманываешь, тебе самому ничего не известно.

— Может быть, и так.

— Ты вообще ничего не знаешь.

— Может, и не знаю. Ничего, кроме того, что Майлз имел в виду под словами «определенное движение сопротивления в определенной стране».

— Какая же это страна?

— Финляндия.

И вдруг у меня снова начинается головокружение. В глазах темнеет, мне приходится опереться о стенку.

— Господи, он, наверно, был не в своем уме...— слышу я слова Ванессы, они звучат далеко, очень далеко. И вдруг ее испуганный вскрик:

— Дональд! Что с тобой?

Они вскакивают, подбегают ко мне, подхватывают под руки и подводят к тахте. Ноги не слушаются меня. Я упал? Они подняли меня? Они разговаривают надо мной, будто я лежу без сознания.

— У него уже несколько раз были такие приступы, это сердце, он страшно измотался...— говорит Ванесса.

— Так вот почему он оставил фирму, значит, его все-таки не выгнали, как думал Майлз...

— Тс-с, не надо об этом говорить, а то вдруг он... Возьми подушку

и положи ему под голову, а ноги — на подлокотник. Вот так. Дональд, милый, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо,— бормочу я.

— Вооруженная революция в Финляндии! Торбьёрн, ну признайся же, что это... если это и не безумие, то, во всяком случае, какая-то дикая наивность,— слышу я слова Ванессы.

— Конечно,— слышу я ответ Торбьёрна.

Мне дают что-то в стакане. Я глотаю, вкус отвратительный, у меня начинается кашель, но постепенно мне становится лучше. Появляется желание говорить. Голос хриплый и слабый:

— У меня были такие честолюбивые замыслы, я хотел обнаружить внутреннюю связь, показать неумолимую внутреннюю логику всей истории человечества... И что из этого получилось—блин комом, я ничего не понимал... самовлюбленный бахвал... да, да, самовлюбленный бахвал, смертельно больной к тому же, фу, черт...

— Ты не смертельно больной, тебе просто надо отдохнуть. Каждый живет своим разумом, все знать невозможно. Пусть ты и не слишком хорошо разбираешься в людях, Дональд, но у тебя все-таки, несмотря ни на что, доброе сердце...

— А ты хочешь бросить меня? Бросай, бросай, я не стою твоей любви. Доброе сердце, значит, у меня доброе сердце, больное...

— Я не собираюсь бросать тебя.

— Прекрасно, она не собирается меня бросать, она пожертвует собой...

— Когда я прочел письмо Майлза, когда я оправился от шока, горя и всего этого ужаса... я понял... со мной что-то случилось...

— Майлз знал о женщинах в сто раз больше, чем он,— шепчет она.

— В известном смысле я потерял власть над фирмой.

— Это было похоже на какой-то внутренний удар, словно во мне произошло землетрясение или словно поток моих чувств запрудили и пустили по новому руслу... Я так зависел от Майлза, и вдруг этой зависимости не стало...

— Я сомневался... Уж если на то пошло, может, я всего лишь самый обычный мелкий торговец...

— Мне было бы намного легче, если бы ты проявил ко мне интерес и как к человеку, а не только...

— Но все дело в том, что международная конкуренция стала очень жестокой, намного более жестокой, чем она была, когда мы с Эмилем только начинали... А главное, я их уже не знал... Они все вдруг оказались на двадцать лет моложе, все предприниматели оказались на двадцать лет моложе меня, я перестал понимать их, не знал, о чем они думают, как рассуждают, я просто сидел там и смотрел в их poker faces и не имел ни малейшего понятия о том, что скрывается за этими лицами... Новое поколение... проклятое новое поколение... они не употребляли даже коньяк к кофе...

— Тебе ничего не надо от женщины, лишь бы она была тебе нянькой... и подстилкой... неужели ты не понимаешь, как это трудно... как ты затрудняешь мне...

— Я люблю, когда ты играешь. Ванесса, я не могу любить тебя иначе, чем люблю. А люблю музыку, в первый раз...

— Словно я прыгнул далеко вперед, поднялся над действительностью и увидел, в чем он был прав, а в чем ошибался...

— В первый раз, когда я услышал музыку, было лето, я был тогда совсем маленький, я стоял во дворе, в каменном колодце, из открытого

[1] Каменные лица *(англ.)*.

окна со светлыми шторами, развевающимися по ветру, слышались звуки фортепьяно, я слушал, помню, что я слушал, долго-долго я стоял неподвижно и слушал, и если бы у меня были слова, я сказал бы себе, что, по-моему, это красиво. Музыка доносилась из господского дома, какая-нибудь из этих проклятых господских жен сидела там одна и играла, странно, что я до сих пор помню... как будто помню мелодию, позже я узнал, что это было — одна из сонат Бетховена.

— Он был по рукам и ногам связан схемой, слишком строгой и слишком узкой для каких бы то ни было вариаций, для различных возможностей, он это понимал и хотел освободиться, но не мог освободиться иначе, чем... с помощью этого деструктивного метода, потому что он был политическим ублюдком, так же как и ты, и я сам. Все мы политические ублюдки из-за нашей исходной позиции, нашего происхождения. Для нас социализм никогда не будет кровным делом. Это лишь моральный долг, теоретическая необходимость...

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— А «море человеческой крови», о котором он пишет, Торбьёрн, неужели действительно вы так думаете, действительно так должно быть?

— Нет. Нет, нет, ничего не должно, ни в коем случае не должно, это одна из возможностей, одна из вероятностей, но Майлзу, в его воображении, она стала представляться единственной...

— Я устал, я хочу спать.

— Идемте ляжем.

— В мире сейчас господствует деструктивный пессимизм, я буду бороться с ним. Человечеством владеют ужас и пассивность, они очень опасны, опаснее всего остального... На самом деле буржуазное общество как социальная альтернатива уже давно оказалось несостоятельным. Это труп, распространяющий свой яд. Весь вопрос в том, как его похоронить...

— Я прочел эти проклятые бумаги Якоба, и знаете, что я там обнаружил, да, да, я обнаружил там и любовь, и дружбу, и заботу о людях, и тревогу, и страх, и радость, и гармонию, и измену, и финансовые махинации, и супружескую неверность, и предательство, и ложь, и горе, и даже убийство. Тогда, как и теперь, точно как теперь... Мир не изменился...

— Мир изменяется все время, а если не изменяется, то я заставлю его измениться...

— Но надеюсь, не сегодня ночью...

— Неужели вы не замечаете, что мы пассивно позволяем готовить себя к бессмысленному насилию, к нужде, к бедам, в которых нет необходимости? Эта отвратительная атмосфера всеобщей гибели... Я должен помешать этому и помешаю. Любыми средствами...

— Любыми средствами? «Тайными» средствами Майлза? Или моими?

— Какими угодно, любыми... в том числе и твоей терпимостью, и твоим наследством.

— Ладно, тогда покойной ночи. Милейший принц.

— Покойной ночи. Но помни: мы начнем завтра утром, рано утром.

— Уже слишком поздно.

— Нет, рано. Я знаю, что еще рано.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ КРИСТЕРА ЧИЛЬМАНА

Это финский роман, переведенный со шведского. Для непосвященных следует дать справку: государственные языки нашей доброй соседки Финляндии — финский и шведский. Так исторически сложилось: и финская литература создается на этих языках, и даже союзов писателей в Финляндии — два.

Итак, Кристер Чильман, впервые представляемый нашему читателю,— финский писатель, пишущий на шведском языке. Не только фон, но и все события и перипетии, в том числе и противоречия между увядшей шведской аристократией и энергичной финской буржуазией,— все это финское, и можно сказать, что Кристер Чильман зорким взглядом разглядел и точной рукой написал картину современного финского общества. Однако, будучи национальным, роман как бы проецируется на весь западный мир, и образ главного героя, выписанный во всех подробностях финского быта, может быть рассматриваем нами как характерная фигура современного капиталистического общества. Это же относится и к семье богача Дональда Блаада, вернее, к его многочисленным семьям, сменявшим одна другую.

Литература, и в прошлом и сегодня, знает жанр романа-исповеди — более разоблачительный, чем очистительный. И Дональд Блаад не склонен к покаянию. Он ни в чем не раскаивается. По воле автора, а также по законам общества, в котором герой вырос и пребывает, даже и в горе его не покидает самодовольство и он готов любоваться проявлением своей подлости. Даже когда приходит чувство, возникает волнение, герой продолжает подсматривать за самим собой и едва ли не восторгаться.

Кто же такой Дональд Блаад?

Сын дворника в большом доходном доме, принадлежащем древнему и знаменитому роду, к которому, как выясняется при развитии фабулы романа, он имел и некоторое родственное отношение благодаря любовным шалостям аристократических предков, Дональд Блаад прежде всего — капиталист, разбогатевший благодаря темным махинациям своего брата, приехавшего из Америки; богач, живущий по звериным законам общества наживы. Дональд Блаад циничен и вместе с тем сентиментален, жесток и мягок, глуп и умен, решителен и безволен, труслив и храбр. Не так-то просто разобраться в его сути. Писатель легко переходит от несколько рационального, спокойного и ироничного рассказа в третьем лице к прямой исповеди своего героя. Мемуары негодяя — так можно было бы назвать эту книгу.

Современный делец разоблачает себя безжалостно и чванливо. Макиавеллизм XX века выражен им в несколько обновленной программе: «Я стараюсь безукоризненно, насколько возможно, придерживаться правил игры, записанных в тайной книге сильных мира сего. Иными словами, я лгал и обманывал всегда, когда считал, что мне это выгодно». Дональд Блаад считал вопрос о нравственности и безнравственности вопросом вообще неприемлемым, а для себя — и вовсе. Обе эти категории его не интересуют — он бизнесмен. Стремление к наживе для него — все. Но он еще и — как бы на втором плане, не имеющем прямого отношения к выгоде,— убийца, развратник, пошляк и политический ренегат.

Доброволец, вернувшийся в 1944 году с русского фронта, в начале своего жизненного пути он обнаруживает черты «потерянного поколения», но, в отличие от героев Ремарка, быстро и неожиданно, сразу же после совершения бессмысленного и гнусного убийства, после пьяных дебошей и унылого разврата, находит себя... в рядах коммунистической партии. Это не идейный шаг, а открытое приспособленчество: ситуация была такая, что можно было предположить — коммунисты победят. («Чей черед, тот и берет»,— говорит друг героя Эмиль, жестокий и хитрый делец.)

Пребывание в партии было недолгим. Не в коммунистах разочаровывается Блаад, а в самом себе как коммунисте, и даже это разочарование — предмет его гордости: «Я был типичным сыном своего времени. Мне не трудно было свернуть с пути равенства и справедливости на путь барыша и выгоды». Не будем спорить с Блаадом, утверждая, что он был не столько сыном своего времени, сколько сыном своего общества. Это и так понятно.

Став ренегатом, герой романа оказывается — тоже ненадолго — министром обороны. Эта страница в романе написана бегло: бизнесмен на государственном посту оскандалился, его прогнали прочь. Но это — лишь обстоятельства: и на посту министра, и на посту директора и владельца фирмы герой остается активным подлецом, возведшим беспринципность в принцип...

Этот принцип пронизывает все существо и всю жизнь Дональда Блаада. История его женитьб и связей с женщинами никак не может быть названа историей любви. Но герой романа почитает все неестественное для себя естественным, безнравственность и пошлость — нормой. Даже любовь принимает у Блаада форму ненависти — к матери, к женам, к любовницам, к собственным и не собственным детям.

В этом произведении, написанном в умеренно-традиционной манере, есть, однако, элементы политического романа с длинными монологами персонажей на социальные темы и признаки детектива с похищением фамильных документов, шантажом, убийствами и самоубийствами, мошеннической финансовой операцией и т. д.

Дочь героя Роза погибает в лондонских трущобах наркоманов, сын Майлз перерезает себе вены; к тому же, как выясняется, он — любовник очередной молодой жены героя... Еще один сын оказывается вовсе и не сыном. Аристократический кузен Якоб — хранитель достоинства и истории рода — тоже обманщик. Убитый вернувшимся с фронта Блаадом лейтенант, как выясняется,— старший брат одной из его жен...

Вот какой семейный узел предлагается читателю, вот какую династию изображает Кристер Чильман в своем романе. Мы не знаем точно, чем занимается фирма

Блааде, но в царстве выгоды и наживы он не гнушается ничем, даже — в момент финансовых затруднений — выпуском порнографических фильмов.

Что касается детей героя, то они хотя и не отягощены родственными чувствами, но являются верными сыновьями семьи и общества, их взрастившего.

Прошедший через бурные пороги левого радикализма, захватившего широкие слои молодежи во второй половине нашего века, наследник и надежда отца — Майлз путем хитроумных махинаций крадет три миллиона. Эта история проходит через весь роман и завершается самоубийством. В оставленном сумбурном письме молодой бизнесмен сообщает Торбьёрну, что три миллиона он не присвоил, а экспроприировал «на революцию». В письме говорится, что деньги лежат в швейцарском банке, брату поручено их получить по прилагаемому чеку и использовать согласно завещанию. Но чека в конверте не оказывается, и это обстоятельство придает законченность всей истории и авантюристической натуре Майлза, единственного из сыновей, способного «повести фирму к дальнейшему процветанию».

Не вызывает симпатий и второй радикально настроенный член этого семейства — Торбьёрн. От него постоянно несет перегаром, и его слезы по поводу гибели Сальвадора Альенде — не более чем сентиментальность алкоголика, а фотографии Неруды и плакат с портретом Ленина на стене — всего лишь декоративное оформление холостяцкой комнаты.

Есть в романе и отдельная от сюжета, но, как говорится, работающая на него глава — беседа с неким появляющимся и исчезающим другом.

Это долгий и сложный разговор о политике, воспринимаемый через музыку, несколько дидактическая попытка дать характеристику эпохи, развернутый взгляд на историю Финляндии и современное капиталистическое общество. Написанный, как мне кажется, не без влияния Чернышевского и Герцена, этот философский и политический разговор звучит как авторское кредо и, вырываясь за рамки сюжета романа, становится еще одним осуждением Дональда Блааде.

Некоторое сгущение красок, допускаемое Чильманом, может насторожить читателя: а не наградил ли с избытком автор всеми пороками капиталистического общества своего героя и его семейство? Ведь в стольких романах и повестях, выходящих на Западе, преобладает тенденция если не восхваления, то усталого признания равно достоинств и язв современной жизни как незыблемого, исторически сложившегося порядка, при котором сосуществуют богатство и нищета, подлость и честность, разврат и любовь, блеск и грязь, убийство и зачатие.

Автор немало страниц уделяет рассказу о сыновьях Дональда Блааде. Они, казалось бы, пошли не в отца, их захлестывает новая волна — они впадают в радикализм, рассуждают о революции, ищут себе кумиров среди ее героев.

Интереснейшее исследование современных нравов!

Но Кристер Чильман не обольщается и умело передает читателю свои сомнения: способны ли эти рефлектирующие, морально и психологически шаткие (если не неуравновешенные) молодые люди действительно перестроить мир? Или революция для них — лишь смутное увлечение, то успокаивающий, то возбуждающий наркотик?

Казалось бы, они ищут новые пути. А по существу они повторяют судьбу своего отца, на определенном историческом переломе даже оказавшегося ненадолго в рядах коммунистической партии.

Увы, если Дональд Блааде разочаровывается в своих потомках как наследниках своих прав и капиталов, то и читатель не верит, что этим молодым людям хочется и удастся преобразовать общество.

Я считаю, что роман Кристера Чильмана выделяется своей пристрастностью, а сгущение красок в данном случае — вполне оправданный прием. Достоверность мемуаров Дональда Блааде не подлежит сомнению, а отсутствие ханжеских оправданий лишь подчеркивает правдивость этой книги.

Пожалуй, исторически неточной является одна запись в мемуарах растленного Блааде, и о ней нельзя не упомянуть. Вернувшийся после выхода Финляндии из войны и демобилизованный солдат финской армии говорит, что советские солдаты с суровыми лицами патрулируют город. (Речь идет о Хельсинки, который автор назвал по-шведски Гельсингфорсом.) То, что лица советских солдат представляются отвоевавшемуся «добровольцу» суровыми — естественно. А вот насчет патрулирования города — это не соответствует действительности. В Хельсинки никогда не было советской комендатуры, никакие наши патрули не могли появляться в финской столице. Видимо, перепуганный солдат принял за патруль моряков с наших кораблей или солдат из гарнизона острова Порккала-Удд, проездом оказавшихся в городе.

Полагаю, что советскому читателю роман Кристера Чильмана будет интересен — он поднимает важные проблемы современного Запада, написан сильно и умно и беспощадно вскрывает язвы буржуазного общества.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

Критика

Е. КНИПОВИЧ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА

Заметки о творчестве Германа Канта

Одна из характерных черт Германа Канта как художника и публициста — приверженность к многостороннему анализу семантики слова или понятия. Так, вступительную часть доклада своего на VIII съезде писателей ГДР он начал с попытки установить точный смысл и подлинное содержание понятия, которое, по его мнению, слишком часто поминают всуе.

И если бы мне пришлось быть переводчиком этого доклада, я сознательно отступила бы от поверхностной точности русских аналогов понятия «Geschichtebewußtsein», таких, как «понимание истории», «проникновение в историю», «осознание своего места в истории», и заменила бы их горьковским понятием «исторической сознательности», потому что именно об этом шла речь в преамбуле доклада Канта, именно это определяет для него позицию художника в идеологических битвах нынешнего дня.

Поток времени включает в себя прошлое, настоящее и будущее. И Герман Кант остро ощущает, что границы тут могут быть только условными. Опять-таки стремясь через многостороннее уточнение дойти до сути, он во вступительной части доклада говорил о том, как сложна во времени жизнь республики немецких рабочих и крестьян. Какова дата рождения ГДР? — спрашивает Кант. Ноль-ноль часов 7 октября 1949-го? Или 12 часов того же дня? Или время начала заседания, то есть 10 часов утра? Или конец заседания, то есть примерно 18 часов 30 минут? Или то мгновение, когда было объявлено, что республика уже существует? События истории, справедливо утверждал докладчик, обгоняют не только свое воплощение в жизнь, но и само обнародование фактов их существования. Думаю, что ту же мысль, то же ощущение времени передал Маяковский в поэме «Хорошо!», говоря о дне 25 октября 1917 года.

Если утром этого дня

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив,—

то уже вечером после победы

Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

Социализм еще надо было построить. Впереди еще лежали годы и десятилетия титанического труда и суровых боев. И все-таки Маяковский был прав. В день 25 октября 1917 года миллионы людей начали жить при социализме.

Я вспомнила о мыслях Горького и Маяковского по поводу самой сущности времени, истории, потому что в преамбуле доклада Канта на VIII съезде писателей ГДР я почувствовала братское единодушие оратора с классиками литературы Страны Советов. Также диалектично подошел Герман Кант в докладе и к вопросу о рождении литературы Германской Демократической Республики: «Разрешите мне сказать, что литература ГДР, дорогие коллеги, началась не со Штриттматтера и Брезана, Макса Вальтера Шульца и Кристы Вольф или Нолля и Нойча. Она началась с Брехта и Бехера, с Бределя, с Анны Зегерс и Цвейга, с нашего Людвига Ренна, Вольфа и Вайнерта, Хермлина, Вайскопфа, Кубы, Мархвицы, Готше, Узе, Фюрнберга, Шаррера, Эриха Арендта».

Все это справедливо, но у читателя, размышляющего об истоках литературы ГДР,

невольно возникает желание отойти еще на несколько шагов назад и определить взаимоотношения литературы ГДР не только с такими произведениями, как роман Анны Зегерс «Седьмой крест», значение которого блестяще раскрыл в своем докладе Кант, но и с «Юностью» и «Зрелостью Генриха IV» Генриха Манна или «Воспитанием под Верденом» Арнольда Цвейга. А там — еще несколько шагов в глубь времен, и станет ясно, что литература ГДР по праву ведет свою родословную от всего великого, что создал гений немецкого народа не за один век. Речь не о том, чтобы рассматривать творчество любого художника наших дней в контексте такого масштаба, просто надо помнить об этом контексте, а также о том, что портрет каждого художника — в какой-то степени портрет групповой, что герои его существуют в окружении других и по-другому изображенных героев.

Герман Кант — автор не только трех романов, но и рассказов, талантливый критик и оратор-диалектик на встречах дома и за рубежом, человек разносторонних знаний и интересов. Но в групповом портрете литературы ГДР он занимает место именно как автор трех романов. В двух из них герои представляют ту часть военного поколения Германии, которая вступила в гитлеровский вермахт очень юной, в последний период войны, хотя еще и не по тотальной мобилизации. У третьего героя своего военного опыта нет, но есть опыт времени фашизма и войны.

В двух романах «Актовый зал» (1965) и «Выходные данные» (1974)[1] повествование идет не от первого лица. Роман «Местопребывание»[2] — это «Ich-Roman»[3], где круг событий определен участием в них героя, а уровнем сознания героя определено восприятие этих событий. Сходство возраста героев с возрастом автора, совпадение некоторых реалий биографии (короткий опыт солдата вермахта в самом конце войны, плен, учеба на рабфаке, карьера журналиста) дали повод говорить об автобиографичности романов и героев Канта. Думаю, что все не так просто. Несомненно, все три героя автобиографичны, но лишь в том смысле, какой заключен в знаменитом изречении Флобера: «Мадам Бовари — это я». За всеми тремя героями стоит их создатель и, кроме того, стоит то знание изнутри реальности материала, которое не следует отождествлять с личным опытом автора. В одной из бесед, опубликованной в советской печати, Герман Кант говорил о второстепенном, подчиненном значении личного опыта писателя для его творческих целей. В доказательство он приводил автора «Будденброков», который по молодости лет не обладал сколько-нибудь значительным жизненным опытом и несмотря на это создал книгу, заключавшую в себе обобщенный опыт эпохи. Но жизненный опыт заменило Томасу Манну нечто более существенное для его «святого ремесла» — цепкая память, острота взгляда художника, которые с самого детства помогали ему познать изнутри ту реальность, материал, которые послужили основанием для обобщения большого масштаба. Думаю, что так обстояло дело и в творчестве самого Германа Канта. Любопытно, что романы других писателей ГДР, которые немного или значительно старше Германа Канта (от Штриттматтера до Фюмана и Макса Вальтера Шульца), и более автобиографичны, и более тесно примыкают к традиции романа воспитания, жизнь которой в литературе богата событиями и в наши дни.

В сущности, два первых романа Канта «Актовый зал» и «Выходные данные» довольно слабо связаны с этой традицией.

В первом из них, остром и блестящем, речь шла о том, что в начальный период жизни ГДР сознание того или иного гражданина государства рабочих и крестьян могло отставать в своем развитии от огромных социально-экономических сдвигов, определявших бытие всего общества в целом. И это вело порой к трудностям и конфликтам в личных и неличных отношениях, ломало человеческие судьбы.

Эпиграф к этому роману был взят у Генриха Гейне и гласил: «День нынешний есть результат вчерашнего. Следует уяснить себе, чего желал тот, если хочешь понять, чего желает этот». Это соотношение вчерашнего и сегодняшнего дня и определяет события жизни главного героя романа Роберта Исваля. Роберт, человек 1925 года рождения, был призван в вермахт не в первый год войны, а к ее концу. Он воевал очень недолго (где и как — об этом в романе речи нет), попал в плен в Польше (об этом мы тоже получаем сведения более чем скудные), учился там в антифашистской школе и, возвратившись на родину, работал электротехником, поступил на рабфак, затем в университет и избрал себе карьеру журналиста. Уже в этом первом из трех романов проявились особые черты блестящего дарования Канта-повествователя. Непринужденность интонации, умение вплести сюжет в густую сеть фактов, отражающих всю сложность времени, по-своему понятую автором. Этот образ времени—идет ли речь о вчера или сегодня — воссоздан в романе не только через судьбы главных героев и их ближайших спутников. Сосед в купе поезда или за столиком в пивной, повествуя о своей судьбе или об одном событии своей жизни, существенно расширяет ту картину времени, какую рисует «Актовый зал».

Когда вышел в свет этот роман, мне довелось в печати сказать о том, что у «вчерашнего дня» в романе нет, в сущности, своего «вчерашнего дня», что связь как прекрасного, так и уродливого в жизни и в судьбах героев с недавним и давним прошлым страны и народа так глубоко спрятана в подтекст, что ее порою ощутить очень трудно. Светлый мир восемнадцати- двадцатипятилетних комсомольцев-рабфаковцев, кре-

[1] Опубликованы в «ИЛ» № 1—3, 1968 и № 3—5, 1974 г.

[2] В русском переводе публикуется в журнале «Новый мир» под названием «Остановка в пути».

[3] «Ich-Roman» *(нем.)* — роман, повествование в котором идет от первого лица.

стьян, рабочих, ремесленников воссоздан в романе с большой любовью и зрелым мастерством — да, жизнь впроголодь, холодные комнаты общежития, но и непрерывное ощущение счастья, вера в свою революционную правду, дружбу — товарищество, бескорыстие, высокая принципиальность.

Однако, и об этом со всей прямотой говорит художник, порой молодые и честные порывы «преломлялись» некоторыми руководителями в сторону догматизма и лицемерия, и слишком часто острые вопросы, поставленные молодежью, в лучшем случае оставались без ответа. В условиях расколотой страны все это могло обернуться трагически как в личной, так и в общественной жизни. Но мне кажется, что если бы в романе у 1949 года («первое время» действия) был свой вчерашний день, то, вероятно, яснее стали бы корни и бюрократически-догматической регламентации в общественной работе и в учебе, и причины малой стойкости хороших ребят в сопротивлении бюрократическому злу. И вероятно, если бы автор не спрятал от нас историю двадцати четырех лет жизни Роберта Исваля, понятнее бы стало, как он мог совершить предательство по отношению к ближайшему другу Герду Трулезанду. Во «втором» времени, в нынешнем дне, то есть в 60-е годы, Роберт Исваль, предпринимая «путешествие в прошлое», узнает о том, что его преступление было бессмысленным и даже, в сущности, не было преступлением, так как предательство не смогло повлиять на счастливое, хотя и несколько неожиданное решение судьбы Герда. Таким образом, преступление это было совершено не против друга, а против себя самого, и ограбил Роберт Исваль не Герда Трулезанда, а себя.

Успех романа «Актовый зал» был вполне понятным и вполне заслуженным, и объяснялся он не только смелостью и остротой постановки чрезвычайно актуальных вопросов, но и резким своеобразием творческой манеры автора.

Когда выходит в свет второй роман писателя, первое произведение которого привлекло внимание читателя и вызвало споры в печати, критики нередко начинают попрекать художника его первой книгой, утверждая, что он-де повторяется, что творческая манера, творческие принципы не приобрели в новой книге сколько-нибудь значительного развития. Упреки такого рода, на мой взгляд чрезвычайно несправедливые, можно было обнаружить в некоторых откликах на роман Канта «Выходные данные». На деле же в «Выходных данных» более полно раскрылись основные черты дарования Канта, глубина исторической сознательности художника, тот историзм в обрисовке характера и судеб героев, которые еще только намечались в его первом романе.

В «Актовом зале» светлый мир «молодых» существовал как бы вне связи с носителями великих революционных традиций народа, с теми, кто руководил строительством нового. И единственный, пожалуй, представитель революционного авангарда, который живо и убедительно обрисован в романе,—секретарь райкома Хайдук всего лишь точно определял причины, из-за которых в переходный период ломалась та или другая человеческая судьба. Иначе обстоит дело в «Актовом зале». В нем живет и делает историю целый ряд тех, в ком и в годы фашизма жило «неуязвимое и стойкое нечто», о котором говорила Анна Зегерс.

Реалистическая литература всех времен и всех стран мира, в том числе и литература социалистического реализма нашей страны, обладала и обладает умением говорить о дорогом, близком не просто с уважением и любовью, но и с улыбкой. Шолохов позволяет это себе не только, скажем, в отношении героев второго плана, но и в отношении Семена Давыдова и Макара Нагульнова. И Фадеев в «Разгроме» улыбается не только человеческим слабостям Морозки, но и чертам человеческого несовершенства в таких высокоположительных героях, как Левинсон или Бакланов. С сыновней любовью и уважением, но и с сыновней улыбкой написаны в романе Канта портреты старой гвардии германских коммунистов, таких как Иоганна Мюнцер, Возница Майер, Фриц Андерман. И их участие в формировании характера главного героя Давида Грота, конечно же, было решающим. «Выходным данным», так же как и «Актовому залу», предпослан эпиграф из Генриха Гейне: «Сейчас самое главное — современность, и характер заданной ею темы определяет все, что будет написано в дальнейшем». И действительно, «Выходные данные» — это современная история, главный ее герой Давид Грот, человек, который родился в республике (Веймарской), был подростком при диктатуре (фашистской) и сейчас живет в социалистическом государстве, это современный герой, более того, положительный герой, несмотря на все свои несовершенства.

Некоторые общие соображения о новом герое в литературе ГДР Кант высказал в своем докладе на VIII съезде писателей. «Нигде, как мне кажется, с такой радостью не делают открытий с тем, чтобы скоропалительно забыть о них,— говорил докладчик.— Окруженные целым сонмом героев, вошедших в литературный пантеон, наши друзья, редакторы и доктора филологических наук, исследователи и дотошные авторы читательских писем неустанно восклицают: «Где же новый герой?» Встречный вопрос неизбежен: «А старого-то вы уже использовали до конца?»

Думаю, что право на звание литературного долгожителя завоевал себе и Давид Грот, и жена его Фран, и, конечно, Иоганна Мюнцер по прозвищу Пентесилея. Нет, старая коммунистка в очках и синих чулках отнюдь не похожа на прекрасную царицу амазонок, с такой страстью воспетую Генрихом Клейстом. Но полувосторженное и полунасмешливое прозвище это она получила за воинственную непримиримость к любому

Е. КНИПОВИЧ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА

проявлению социального зла, трусости, лицемерия, бюрократизма, за действенное чувство ответственности в отношении общей работы и каждой человеческой судьбы. И если Давид Грот в сравнительно короткий срок поднялся в редакции большого иллюстрированного издания от должности курьера до должности главного редактора, то это прежде всего дело и заслуга Пентесилеи — сурового, педантичного, резкого и умного ваятеля человеческой судьбы и человеческого характера.

Создавая образ современного героя, Герман Кант чуть облегчил себе задачу. Давид Грот по возрасту не был и не мог быть солдатом гитлеровского вермахта, участником несправедливой войны. И в родном доме в сознании родителей, особенно отца, жило то «неуязвимое и стойкое нечто», влияние которого оградило ребенка и подростка от фашистской заразы. Отец защищал это «великое нечто» не путем прямого бунта или подпольной работы, но он, невзирая на последствия, отказывался совершить или санкционировать предательство или убийство, что и стоило ему жизни. Разгул фашизма в родном городке героя, подлость, злоба, безнаказанное убийство — все это нарисовано в романе, я бы сказала, с холодной яростью, без патетики, но с той ледяной точностью, которая дает особо острое звучание простой, казалось бы, констатации чудовищного факта. Давид, сын «неблагонадежного» отца, к тому же покончившего с собой при компрометирующих с точки зрения фашизма обстоятельствах, естественно, прошел сквозь годы учебы в фашистской школе как отщепенец и объект для издевательств. Поэтому вопрос о преодолении прошлого для него в новой действительности не вставал. Из этого не следует, что найти свое место и свою линию поведения в этой действительности было для героя легко и просто. Социализм вообще строить непросто, а применять бесспорные великие выводы теории к практическим действиям в пестрой действительности первых лет свободы было весьма сложно.

Об этой сложности, порой принимающей трагикомические формы, говорит и ряд вставных новелл, и некоторые эпизоды в жизни героев романа. Так, например, очень любопытна и поучительна история «грехопадения» дедушки Киста. Типичный пенсионер-«тыбик» («дедушка, ты бы узнал», «ты бы пошел», «ты бы достал»), добрый и покладистый, вступает на стезю беззакония, купив бутылочку сливок для невестки, которой неохота стоять в очереди. Затем он выполняет поручение (достать пластмассовую детскую ванночку) милой докторши, которая лечит семью. Просьб и поручений от родных, знакомых, соседей становится все больше. И дедушка Кист вынужден взять себе в подмогу знакомых стариков-пенсионеров. Со временем весь отряд начинает получать скромное вознаграждение за услуги. Параллельно расширяется и ассортимент тех предметов, на которые поступают заявки. Постепенно начинает идти речь о дефиците (чулки без шва, телевизор новой марки), и в результате дедушка Кист, как нарушитель планового снабжения в торговле, организатор спекуляций, оказывается на скамье подсудимых.

Трагикомический оттенок носит и ссора Давида Грота с его любимой, приведшая к двухлетней разлуке. Франциска, или Фран, талантливый и азартный фоторепортер, столь же бескомпромиссна в быту, как и в работе. Давид Грот, купивший обручальные кольца в одном из западных секторов, тем самым стал, с ее точки зрения, так сказать, причастным капитализму. И выбросив приобретенные греховным путем кольца, она расстается с любимым. Новая встреча, а за ней прочный союз на всю жизнь произойдет в час испытания и выбора в июньский день 1953 года. И здесь Давид Грот осознает всю прочность связи с любимой, осознает свою кровную нерушимую связь с партией и судьбой народа. Без патетики, не чувствуя себя героем, он знает, что он гражданин ГДР и член партии—«этой силы частица». И хотя он не ведал «трудностей преодоления гор», которые выпали на долю ветеранов партии, он за двадцать лет участия в построении нового общества хорошо узнал все трудности «преодоления равнин», всю сложность повседневной кропотливой работы, и это накрепко спаяло его судьбу с судьбами народа, дало ему точный ориентир в час выбора.

К июньскому дню Герман Кант сумел вернуться так, чтобы лишний раз остро и наглядно показать народность партии и рабоче-крестьянской власти. Наш читатель, несомненно, отмечает для себя и то высокое уважение, с каким воссозданы в романе образы представителей Советской Армии. И здесь дело не обходится без авторской улыбки, но великодушие, ум, справедливость всех бойцов армии освободителей, от майора Спиридонова до усатого старшины, раскрыты в ключе той братской дружбы, которая уже три десятилетия связывает народы СССР и ГДР.

Роман «Выходные данные» начинается словами Давида Грота: «Да не хочу я быть министром!» И Герман Кант кое-где в тексте возвращается к вопросу о том, что Давиду предлагают занять высокий пост. Но я бы сказала, что внутренней необходимости этой темы для всего произведения в целом читатель не ощущает. И согласится или не согласится редактор «Берлинер иллюстрирте» на лестное предложение — в характере его, в общем звучании романа и тот и другой исход ничего не изменит.

После опубликования «Выходных данных» на страницах журнала «Иностранная литература» было отмечено, что ни один персонаж, с кем имел дело Давид Грот до освобождения страны от гитлеризма, не встречается в дальнейшем на его пути... «Связь времен», таким образом, и в этой книге остается в известном смысле слова «уязвимым местом»[1]. Замечание это справедливо лишь в той мере, в какой оно указывает на, так сказать, «скачкообразное», а не «плавное»

[1] См. «ИЛ» № 5, 1974. П. Топер. Судьба поколения.

развитие характера героя. Но основной причиной этого, как мне думается, стала именно та внутренняя и внешняя непричастность героя фашистской заразе, какую автор подарил ему вполне сознательно.

Иначе обстоит дело с героем третьего романа Канта «Местопребывание». Этому роману предпослан эпиграф уже не из Гейне, а из Брехта. На клапанах суперобложки «Местопребывания» запечатлено нечто вроде коротенького интервью с автором. Один из вопросов этого воображаемого интервью гласит: «И «Актовому залу» и «Выходным данным» вы предпослали в качестве эпиграфа слова Гейне. На этот раз эпиграфом служит стихотворение Брехта. Что это — прощание с Гейне?» Ответ: «Брехт — это не прощание с Гейне». Слова автора вполне справедливы, о чем, в частности, свидетельствует и сам эпиграф:

Так формируется человек — когда говорит «да», когда говорит «нет».
Когда он бьет, когда бьют его,
Когда он присоединяется к тем,
Когда он присоединяется к этим.
Так формируется человек, так он изменяет себя,
Так является нам его образ,
Когда он с нами схож и когда несхож.

(Перев. Е. Витковского)

Вопрос: «Можно ли назвать ваш новый роман книгой о войне?».

«Нет,— отвечает Кант,— это немецкий роман воспитания».

Эпитет «немецкий» очень многозначителен. Ни авторам, ни критике не приходило в голову так обозначать идейно-художественную специфику романа Эрвина Штриттматтера «Чудодей» или «Еврейский автомобиль» Франца Фюмана, «Мы не пыль на ветру» Макса Вальтера Шульца или «Приключения Вернера Хольта» Дитера Нолля. А ведь все эти романы, несомненно, были романами воспитания, и притом немецкими и даже очень немецкими (если говорить о «Чудодее», например), и все они были отмечены чертами не только критики фашистского зла, но и гейневски-брехтовской критики добра, отвлеченного, книжного, чья действенность не проверена суровым опытом жизни и истории.

Эпитет, каким определил Кант специфику романа, отзывает горечью, как и отношение автора к герою, от лица которого ведется рассказ. Марк Нибур, восемнадцатилетний наборщик, попавший в польский плен зимой 1944—1945 годов после четырехнедельного пребывания в вермахте, вызывает у автора романа смешанное чувство сострадания и легкой брезгливости. Сострадания — прежде всего потому, что путь инфантильного «незнайки» в войне, плену, тюрьме (куда он попал по недоразумению) — это «путь всякой плоти», путь унижения, боли, крестный путь.

Думаю, что не случайно в лагере для военнопленных Марка Нибура прозвали Иисус-младенец — после того, как он чуть не задохся в промерзлых яслях, куда залез, чтобы переночевать в относительном покое. И не случайно уже в варшавской тюрьме в сочельник в одиночную камеру Марка являются три волхва, три царя — Каспар, Мельхиор, Балтазар. Правда, это всего лишь три тюремных надзирателя, и принесли они новому Иисусу не золото, ладан и смирну. Но селедка, картошка, хлеб вместо ежевечернего хлёбова из кислой капусты — это, конечно, царские дары. Целый ряд других эпизодов в биографии Марка Нибура возвращают нас к биографии Иисуса Христа. Напоминают о том, что перед нами человек, се человек — ecce homo. И надо быть большим мастером, чтобы, ведя рассказ от лица героя, вместе с тем суметь показать всю сложность своего авторского отношения к этому герою, свое раздражение тем, что, как гласит эпиграф к роману, он одновременно похожий и не похожий на нас. «Похожий», потому что не только незнайка-юноша Марк Нибур, проживая в фашистском рейхе, утешал себя тем, что людоеды бывают в Африке, но они невозможны в Ганновере, что если и есть какие-нибудь перегибы в отношении евреев или красных, то ведь своими-то глазами мы этого не видели, а сами мы никого мучить и убивать не способны.

Настоящие уроки истории Марк Нибур начинает получать уже в плену, и тут раскрывается его непохожесть на тех сверстников, о которых повествовали другие писатели ГДР. Существует научная гипотеза (о степени ее научности я судить не берусь), которая очень занимала М. Горького. В вопросительной форме он излагает ее в одной из своих статей и также в форме вопроса вкладывает ее в уста одного из героев «Жизни Клима Самгина». Сущность этой гипотезы заключается в том, что живая тварь, живая плоть прозрела от боли. Червь, впервые выползший из первородного ила, до тех пор тыкался «чувствилищем» в разные предметы, пока от боли, как самозащита, у него не прорезался глаз.

Вот эту способность «видеть» Марк Нибур, не в пример другим героям литературы ГДР, приобрел в весьма ограниченной степени, хотя уроки были весьма жестокими и, как это бывает в жизни, учили его не только доброжелатели, но и враги.

Так, именно от врагов в тюремной камере он получил ряд полезных сведений, узнал, например, что такое пролетарий и что такое военный преступник.

Во второй половине «интервью» Герману Канту задают вопрос о том, что возникло в его сознании сначала: тема романа или эпиграф к нему? Ответ гласит, что всему предшествовал отрывок из дневников Кафки: «Надо изворачиваться с помощью фокусов, если не получается с прекрасной прямой жизнью». Как боковая тема такое «фокусничанье», несомненно, присутствует в романе. Марк Нибур — в роли инициатора повального идиотского увлечения кроссвордами в лагере для военнопленных, он же организатор подробного изложения старых

Е. КНИПОВИЧ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА

развлекательных фильмов, он же — в самоощущении — клоун, эксцентрик, шут — все это попытки уйти от выводов, от необходимости думать, решать, отвечать, что безжалостно и объективно отмечено в романе.

Тема романа — ответственность, сложность ответственности человека перед историей, сложность взаимоотношений человеческой воли и обстоятельств. Марк Нибур неповинен в том преступлении, за которое он попал в тюрьму, перешел из разряда военнопленных в разряд военных преступников. Он не бывал в Люблине, не убивал дочери той польской женщины, которая якобы опознала его, когда военнопленных вели по улицам Варшавы. Но в минуты просветления, отвлекаясь от фокусов и пассивного самооправдания, он понимает, что все-таки, вопреки фактам, он отвечает за все совершенные фашизмом убийства, за судьбу или возможную судьбу тех, с кем его сводили обстоятельства. И без конца возвращаясь к урокам, которые ему давала жизнь (в том числе и к урокам довоенным), он временами не очень уверенно, но все же готов сделать правильные, хотя и общие выводы о преступности пассивного соучастия. И как некий символ двойственности героя возникает в тюремных главах та эсэсовская пятнистая маскировочная куртка, которую дали Нибуру, заключенному в ледяную одиночку, чтобы он не замерз. Эта куртка чуть не навлекла на него большие беды, когда он временно был переведен в камеру обычных польских уголовников. Однако с этими ребятами ему удалось договориться, убедить их, что он всего лишь рядовой солдат вермахта, а не эсэсовец. Для спокойствия, вернувшись в свою камеру он выворачивает куртку на левую сторону, где нет узора. Но в камере реальных, находящихся под следствием военных преступников, куда он попал, руки соседей снова приводят одежду в обычный эсэсовский вид.

Очень своеобразен ракурс, под которым дан в романе фашизм а также и силы, строящие новую, народную Польшу. Ведь действие происходит на очень узком плацдарме, главным образом в лагере для военнопленных и в тюрьме. Военные преступники — палачи польского народа — находятся за решеткой, а поляки — это тюремная администрация и следственные власти. Генералов, полковников, чинов эсэсовской верхушки мы видим так сказать, не в действии, а в разговорах, воспоминаниях, анализе причин приведших к краху тысячелетнего рейха. Разговоры свидетельствуют о злобе, взаимной недоброжелательности, воспоминания (хотя от наиболее кровавых они, естественно, воздерживаются) — отвратительны, анализ событий, прогнозы на будущее — убоги и нелепы, и вся банда этих тюремных стратегов способна вызвать скорее брезгливое презрение чем гнев и ярость.

Брехт говорит о том, что главари фашизма были не великими преступниками, а лишь свершителями великих преступлений. Но в самом скептически-презрительном изображении «свершителей» должна присутствовать память о том, что преступления-то были великими. Эту память Герман Кант вынес за пределы тюрьмы. Как некий трагический мемориал — памятник злодейства и героизма — стоят в романе руины Варшавы, щебень и пепел варшавского гетто, пропитанные кровью, призраки стертых с лица земли городов и сел. И эта тень, лежащая на камере военных преступников, не укрупняет их, но не дает забыть о масштабах зла, содеянного ими.

Не менее отчетливо видна тень трагического мемориала и на образах поляков, граждан новой, народной Польши. Нет, и здесь Герман Кант ничего не смягчает, не прячет реальных сложностей и противоречий. Народ страны, подвергшейся разбойничьему нападению, разграбленной и залитой кровью мирных жителей, естественно, относится к пленным вражеским солдатам сурово и враждебно. Но именно представители народов, наиболее пострадавших от фашистского нашествия, помогают «незнайке» Нибуру не только выжить «в местопребывании», но и снять с себя тяжкое обвинение. Советский военный врач, молоденькая докторша-еврейка, не дает пленному немцу стать калекой, вылечивает его обмороженные, гниющие ноги. Польский врач в тюрьме не менее тщательно лечит его сломанную руку. И свидетельствуют в пользу Нибура не немцы, которых опрашивают следственные власти, а по собственной инициативе поляки — заключенные из камеры уголовников, женщины, с которыми военнопленный работал по разгрузке ящиков с деталями машин. И оказывается, что «усталый лейтенант», который ведет следствие по делу Нибура, суровый и недоверчивый в общении, кропотливо собрал десятки документальных доказательств того, что подследственный действительно говорит правду и не повинен в том преступлении, в котором его обвиняют. Так без чувствительности и патетики Герман Кант утверждает великую правду и нравственную силу тех законов, по которым живет общество, строящее новую жизнь.

«Местопребывание» — суровая книга, книга-предупреждение. Я слышала в одном из выступлений Леонида Леонова слова: «Сейчас ошибаться нельзя это смертельное занятие». Думаю, что он прав, так же как и Герман Кант, который через возвращение к прошлому Германии ставит в глобальном масштабе вопрос о необходимости думать, решать, выбирать, вопрос о личной ответственности каждого из наших современников не только за свои слова и дела, не только за свою судьбу, но и за судьбу своей страны и народа, за общий исход «битвы нынешнего дня». И может быть, этой глобальной всеобщностью замысла объясняется то, что читателю трудно решить, где, в какой стране, в какой из двух республик — ГДР или ФРГ начнется после «местопребывания» путь Марка Нибура. Но роман-предупреждение, более суровый и более сложный, чем предыдущие произведения Германа Канта, лишний раз свидетельствует о том, что в идеологических боях наших дней автор стоит на переднем крае.

◆

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

КРИЗИСНЫЕ СЕМИДЕСЯТЫЕ?

Беседа в редакции: «Основные тенденции в современной литературе Англии и США»

Чем знаменательны семидесятые годы для развития общественной и эстетической мысли Англии и США? Есть ли основания у ряда зарубежных критиков утверждать, что культура и, в частности, литература этих стран переживают кризис? Они мотивируют свое утверждение тем, что сегодня вряд ли назовешь то или иное доминирующее направление, под знаком которого развивается литература стран в целом. К примеру, в Англии конец пятидесятых громко заявил о себе книгами «сердитых молодых людей», а в шестидесятые заметным явлением стал социальный роман. Волна молодежных (прежде всего студенческих) бунтов 60-х годов сопровождалась поисками новых форм творческого самовыражения, шли бурные дискуссии о «посткультуре» и «контркультуре». В Соединенных Штатах к «левому взрыву» добавились массовое движение против войны во Вьетнаме, грозно накалившиеся расовые конфликты; в литературе это был период политизации — ключевые проблемы действительности обрели четкую проекцию в произведениях искусства. А прошедшее десятилетие — каковы его потери и приобретения?..

В беседе, которая состоялась в редакции «Иностранной литературы», мы попросили принять участие советских критиков, специалистов по литературам Англии и США — Н. Анастасьева, Г. Анджапаридзе, Е. Гениеву, А. Зверева, Г. Злобина, И. Левидову, А. Мулярчика, А. Саруханян, Д. Урнова. Предмет разговора — основные тенденции упомянутых литератур в 70-е годы.

Открывая встречу, заместитель главного редактора журнала К. Чугунов сказал: «Задача нашего журнала — помочь читателю составить достаточно обширное и полное представление о современном литературном процессе за рубежом, в частности — в Англии и США. Практика показывает, что квалифицированный и глубокий литературно-критический обзор полезен в эстетическом и познавательном плане. Мы надеемся, что собравшиеся сегодня у нас в редакции специалисты-зарубежники поделятся своими наблюдениями, а заодно обсудят правомерность анализа истории литературы в рамках одного десятилетия. Не секрет, что размежевание литературы по такому принципу порой нас стесняет: многие общественно-политические и культурные явления вовсе не укладываются в столь механические «ритмы». Может быть, следует сообразовывать нашу градацию с самой жизнью?»

1

Д. Урнов. Исчезновение отчетливых ориентиров в английской литературной жизни — вот причина, по которой, я думаю, мы стали реже собираться за «круглым столом» для того, чтобы обсудить проблемы литературы Англии. Говорю это как участник прежних собеседований — десяти-пятнадцатилетней давности. Тогда ориентиры обрисовывались четче. К примеру, появились «сердитые молодые люди», и мы обсуждали книги «сердитых молодых людей», а в связи с ними весь текущий процесс. Ориентир мог быть не точным, вообще проблема могла быть по значению своему завышена, просто надуманна, но все-таки ориентир был, и каждый, сверяясь по нему, судил в меру своей собственной осведомленности и проницательности о литературном процессе в Англии в целом.

Почему же ориентиры вдруг исчезли? Думаю, они не исчезли вовсе, но стали трудноразличимыми для нас, так сказать людей со стороны. Литература Англии стала более «домашней», сосредоточенной на проблемах сугубо внутренних, национальных, да и вообще эта страна озабочена сейчас проблемой самосохранения, своей «самости», если можно так выразиться.

«Эта старая страна» — под таким демонстративным заголовком опубликовал в се-

редине 60-х годов роман Дж. Б. Пристли. Сам по себе писатель старый, «живой классик», принадлежащий уже прошлому, пусть недавнему прошлому, но все-таки прошлому, он тем не менее сохраняет профессиональную хватку в умении почувствовать современные проблемы. Так, еще в конце 40-х годов Пристли говорил о том, что, по его мнению, экспансия американизма представляет для Англии гораздо более серьезную угрозу, чем «наступление коммунизма». «Наши дети все сплошь станут американцами»,— как бы согласился с ним первый из «сердитых молодых людей» Джимми Портер, герой пьесы Осборна «Оглянись во гневе», давшей начало и название всему молодежному бунту. Роман «Эта старая страна» по-своему стал перспективным. Оказалось, что это и есть та дорога, по которой пойдет новое писательское поколение, представленное такими именами, как, например, Мэлвин Брэгг, автор хорошо у нас известных романов «За городской стеной» и «Где-то в Англии». «Свой дом в Англии» или даже просто «Дом в Англии» — так буквально переводится название этой книги. В ней действительно развивается та же тема — поиски внутренних ресурсов для того, чтобы англичане могли остаться англичанами, Англия — Англией.

Ресурсы внутренние — по необходимости, исторической необходимости, в силу которой других ресурсов у этой «старой страны» и не осталось. Помню, в середине 50-х годов, когда были мы еще студентами, приезжает к нам в Московский университет делегация наших сверстников из Кембриджа. Подошли к карте. «Какая маленькая»,— кто-то из нас сказал, указав на Англию. «Да, — последовал ответ, — такая маленькая». Ответ горделивый, означавший: «Маленькая да удаленькая». В каждой очередной английской книжке мне теперь слышатся те же слова, а интонация другая, без заносчивости: «Такая маленькая...»

Англия опять стала островом, только островом,— и осознание этого составляет пафос, скорбно тревожный пафос современной английской литературы. Конечно, попрежнему англичане встречаются по всему миру и на всех континентах звучит английская речь. Но вот в романе Дорис Лессинг «Лето перед закатом» типичная англичанка работает за океаном синхронной переводчицей, всего лишь переводчицей. Новейшая «дочь Альбиона» — обслуживающий персонал. Это — детали, но мы же понимаем, что это — литература, это сознательный отбор именно таких деталей, которые бы отражали крупные процессы.

Настоящее не только определяется прошлым, но и само определяет прошлое, отношение к прошлому, как сказал скончавшийся в середине 60-х годов поэт и критик Т. С. Элиот. И, конечно, по отношению к прошлому, к своему наследию, по тому выбору, который осуществляют сейчас английские писатели и читатели, обращаясь к своей классике, можно судить об их настроениях — самых актуальных. На первый план выходят не то чтобы величины второстепенные, а именно «домашние», подлежащие прежде внутреннему употреблению. Джейн Остин, Энтони Троллоп... Джейн Остин — современница Вальтера Скотта и Байрона, Троллоп — Диккенса и Теккерея. Те, великие, нам не просто известны, они нашли у нас, как и во всем мире, величайшее признание. «Странно, что мир плохо знает собственно английских писателей»,— это еще в прошлом веке было одним из английских критиков сказано. Вот и представьте, что «собственно английские писатели» выдвигаются на первый план, и со стороны это действительно выглядит странно, по крайней мере непривычно. Мы не сразу ориентируемся и в проблемах, поднимаемых этими писателями, сугубо английскими.

Этот интерес к «домашнему» наследию характеризует и направленность творчества самих английских писателей сегодня. С большой старательностью пишут они свой быт, как бы вновь и вновь в него всматриваясь, стараясь убедиться в его дальнейшей жизнеспособности или нежизнеспособности.

В прошлом году в Лондоне в Национальном театре довелось мне увидеть прямо на первом прогоне пьесу Ричарда Хейра «Изобилие». То же название можно перевести и как «Всего много». Но это — было много. А что осталось? Удивительные люди, эти англичане, хотелось, глядя на сцену Национального театра, повторить чеховскую реплику. А что же там происходило, на сцене? Самоуничижение. Растирали сами себя в пыль, в прах да еще сверху поплевывали. Зал надрывался от злорадного хохота. «Что же вы делаете?!» — у меня как-то невольно вырвалось. «А это,— последовал ответ,— мы можем позволить себе сами, но другим — никогда!»

Что ж, это еще вопрос: могут или не могут? Скажем так: стараются не позволить. Но все это, безусловно, отражает глубоко кризисное состояние страны. А литература? Литература, понятно, не находится в прямой зависимости от обстоятельств. Она даже может, что называется, «просперировать», преуспевать на несчастьях. Чем хуже, тем лучше — для литературы, ибо нет более благодатного материала для искусства, чем страдание. Но дело в том, что страдания — разные, и есть та мера духовного разброда, распада, которая плодотворным для искусства материалом быть уже не может. А мне кажется, в современной английской литературе, как, впрочем, и во всей западной литературе, то и дело возникает ситуация гомеопатическая: лечат подобное подобным: скуку — скукой, измельчание — постановкой мелких проблем. Так, книга Сьюзен Хилл «Весеннее время года» — типичная современная «молодежная» книга — типична и в этом отношении: мелко ни о чем. Но у Сьюзен Хилл, по крайней мере, сама по себе книга небольшая, а то ведь появляются и пухлые фолианты, в которых чувствуется только одно — усилие хотя бы отыскать проблему, достойную усилий. Усилие подчас безрезультатное. А

книга вышла, и мы ее читаем, пытаемся читать...

Г. Анджапаридзе. Мы часто и справедливо констатируем кризисные явления в английской литературе, характерные, если взглянуть шире, вообще для всех литератур развитых капиталистических стран, как бы упуская из виду, что такие явления далеко не могут исчерпать литературную ситуацию в любой стране.

Ленинское учение о двух культурах говорит об этом со всей очевидностью: наряду с культурой господствующей, буржуазной в недрах капиталистического общества всегда зреют ростки культуры прогрессивной, демократической.

Бытует мнение, прозвучавшее в той или иной мере и у Дмитрия Михайловича Урнова, что английская литература, обладающая многовековой богатейшей реалистической традицией, сегодня поражена кризисом. Вся? Целиком? Конечно же нет. Такого просто быть не может. За кризисными чертами властно проступают черты здоровой, полнокровной реалистической литературы, всерьез озабоченной ущербным состоянием британского общества, ибо политический и социальный кризис вовсе не предполагает неминуемо аналогичное состояние литературы и искусства — история мировой культуры знает тому немало примеров.

Но как возникает подобная точка зрения? В силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, одним из главных источников информации для советского исследователя-зарубежника является буржуазная литературная пресса, которая, естественно, избирательна и нередко предпочитает не замечать книги с ярко выраженной социально-критической тенденцией. Многие серьезные английские литературоведы достаточно скептически расценивают суждения людей, занимающихся текущим рецензированием, и отказывают им в добросовестности и объективности. О вкусовщине и групповщине, принятой в среде английских критиков, прямо пишет Джек Сазерленд в книге «Художественная литература и ее производство». Таким образом, наш критик, не склонный целиком доверять английской прессе, оказывается в очень нелегком положении — в Англии выходит несколько сотен романов в год. Ясно, что человеческие возможности ограничены — все не прочтешь — и предпочтение, естественно, получают известные имена либо писатели, затрагивающие интересующие данного критика проблемы. Если к тому же принять во внимание, что критиков, постоянно следящих за текущей литературой, просто мало и они физически не способны хотя бы бегло ознакомиться с выходящей продукцией в полном объеме, то очевидно, что наша точка зрения на литературный процесс в Англии все же не исчерпывающая.

Достижения советской критики в изучении современной английской литературы общеизвестны и общепризнаны. Мы вроде бы довольно много знаем, пишем книги, статьи, предисловия, рецензии. Немало издается у нас и произведений современных английских авторов. Английские писатели, критики и издатели удивляются тому, как много нами делается, и все же у меня нет, казалось бы, законного чувства удовлетворения.

Боюсь, что мы часто упускаем, не замечаем многое интересное и важное. В этом убеждает собственная практика. Несколько лет назад мне в руки, по существу случайно, попался первый роман молодого писателя Гордона Паркера «Темное утро», повествующий о жизни и борьбе английских шахтеров в XIX веке. Книга привлекла своей социальностью, глубиной и масштабностью характеров, свежестью и сочностью языка. Она увидела свет в издательстве «Прогресс» на языке оригинала. Паркер недавно выпустил новый роман о коррупции в городском управлении в наши дни. Это — одаренный, молодой, на мой взгляд многообещающий, прозаик. Думается, советский читатель познакомится с его будущими книгами. Велик ли был элемент случайности при первой встрече Паркера с советскими читателями? К сожалению, очень. И еще одна удачная случайность. Уже почти десять лет назад отрецензировал я роман тогда еще малоизвестного, молодого прозаика Мелвина Брэгга, писателя, ищущего корни современного городского человека. Сегодня Брэгг — один из самых популярных и читаемых в Англии прозаиков; три его романа известны советскому читателю. Его последнее произведение «Осенние маневры» — свидетельство неуклонного роста автора: современная политическая ситуация в Англии теснейшим образом переплетается с судьбами большинства героев книги, отражая тенденцию, думается, все определеннее проявляющую себя в западном романе,— его политизацию.

Но есть, увы, примеры противоположного рода. Несколько лет назад советские критики (я в том числе) и издательства не проявили должного внимания к роману Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Из-за этого знакомство с превосходным английским писателем-психологом и блистательным стилистом состоялось только в 1979 году, когда «Иностранная литература» опубликовала его «Башню из черного дерева».

Думается, пришло время переходить, так сказать, к «фронтальному» изучению зарубежной литературы. Тем более что предмет для изучения имеется. За последние десятилетия авангардистская литература в Англии, никогда, кстати, не занимавшая особенно прочных позиций, по существу окончательно иссякла. Все большее и большее число современных романистов разных поколений и идейных ориентаций обращается к значительной социальной проблематике. Помимо книг уже названных писателей и романа Дэвида Стори «Сэвилл» — он недавно появился в русском переводе — можно привести немало других примеров. Трезвое переосмысление итогов так называемой «молодежной революции» делает в

своем романе «Человек истории» Малькольм Брэдбери. Деятельность многонациональных корпораций, преследующих свои интересы и цели в ущерб нуждам простого народа, разоблачает в романе «Битва за Манод» Рэймонд Уильямс. Не скудеет и плодотворная сатирическая традиция. С острополитической сатирой выступила недавно Мюриэл Спарк: ее «Аббатиса Кревская» — злая издевка над «уотергейтским делом». Своеобразную форму осмеяния и отрицания бесчеловечности современной капиталистической цивилизации нашли Берил Бейнбридж и Кийт Уотерхауз, последний роман которого «Чиновничья жизнь» бичует английский бюрократизм. Особый интерес и значение имеет, думается, сегодня творчество Тома Шарпа, и его сатирические романы дают объемную картину пороков английского общества. Его книги — это большая литература. Одним словом, уверен, что, говоря о кризисных явлениях на Западе, мы должны искать в любой национальной литературе то, что им противостоит. Найти подобные произведения в современной английской литературе, на мой взгляд, не так уж и трудно.

Е. Гениева. Дмитрий Михайлович Урнов считает, что английская литература сегодняшнего дня отражает кризисное состояние страны. Несомненно. Но вряд ли из этого следует, что литература Великобритании последних лет тоже переживает упадок. Как не раз показывала история, политический, экономический и общественный кризис страны не предполагает с непреложностью императива кризис культуры. Мне представляется, что в сегодняшней литературе Англии идет мощный процесс — глубоко осознанное возвращение к национальным истокам, с одной стороны, и стремление к максимальной активизации национального потенциала культуры страны — с другой. В этом убеждает появление целого ряда книг.

На мой взгляд, качественные изменения наметились где-то в начале 70-х годов. Само присуждение премии «Букер» в 1976 году роману Дэвида Стори «Сэвилл» было достаточно симптоматичным. Даже по своему, так сказать, внешнему виду (это — книга в пятьсот с лишним страниц) он резко отличается от компактных, «удобных» книг, к которым привыкли в послевоенной Англии. Не менее удивительно, что «Сэвилл», где с эпической неторопливостью, свойственной викторианскому роману, описывается жизненная судьба Колина Сэвилла, персонажа, обладающего многими биографическими чертами писателя, стал бестселлером. Иными словами, книгу не только объявили «литературной победительницей» года — читатель, который в своих вкусах нередко расходится с мнением критики, заговорил о ней. «Сэвилл» положил начало тогда, в 1976 году, не ясно угадываемому процессу, заявившему о себе со всей определенностью в 1977 году, когда Джон Фаулз опубликовал еще более «толстый» роман «Дэниэл Мартин» — в семьсот семь страниц. «Сэвилл» и «Даниэл Мартин» — произведения, безусловно, разные, но в проблемном, теоретическом отношении обнаруживающие глубокое внутреннее сходство. Вроде бы случайное совпадение: тот и другой романы названы именами главных героев — а ведь это в традиции, восходящей к Диккенсу и Теккерею, часто выносивших имена своих героев в заглавие. И в «Сэвилле», и в «Даниэле Мартине» ставятся важные социальные, общественные, этические и философские вопросы бытия человека. У Фаулза интерес к ним столь велик, что роман местами превращается в откровенно проблемное, публицистически-дискурсивное произведение. Пожалуй, сама направленность этих двух книг позволяет усомниться, насколько справедлива мысль о кризисном характере современного английского романа, утратившего, как считает ряд критиков, свой социальный акцент.

О перестройке сил свидетельствует и несомненный рост некоторых писателей, например, Маргарет Дрэббл, до недавнего времени известной прежде всего интересом к сугубо женской проблематике. В качественно ином ключе решен ее последний роман «Ледяной век». Читатели журнала знают о нем по рецензии Инны Михайловны Левидовой «Картина для рамы». Книга, многие моменты которой заставляют серьезно поспорить с автором по масштабу отраженной в ней действительности, по глубине осмысления современной Великобритании, не только вывела сегодня Маргарет Дрэббл в первые ряды, но служит подтверждением тому, что английский роман последних лет значительно расширил свой социальный диапазон.

Об этом же свидетельствует и сатирический роман. Достаточно привести в качестве примера книги Тома Шарпа, о котором уже говорил Георгий Андреевич Анджапаридзе. Один из последних романов Шарпа «Великий поиск», резко критикующий «общество вседозволенности», обнаруживает несомненную связь с прозой Теккерея. Еще одно имя, весьма достойное внимания,— Берил Бейнбридж. Бейнбридж вошла в литературу в 50-е годы как автор нравоописательных романов, в которых на автобиографическом материале пристально, с холодно-язвительной иронией изображались быт и нравы английского среднего класса. А в своей последней книге «Молодой Адольф», получившей большую прессу и в Англии, и в США, автор резко и решительно переступает границы нравоописательного романа. Книга посвящена молодости Гитлера — сама по себе тема требовала от Бейнбридж отчетливо выраженной социальной и политической позиции. Творчество этой писательницы — явление яркое и самобытное, и, по-моему, следует познакомить нашего читателя с ним более подробно.

Дмитрий Михайлович говорил, что по сравнению с 50-ми годами в английской литературе конца 70-х годов нет различимых для нас, так сказать людей со стороны, ориентиров. Я согласна: тех определенных литературных группировок, направлений,

на которые в ту пору без труда «делилась» английская литература, в сегодняшней Англии нет. Одни писатели, начинавшие в те годы, превратились в живых классиков — Грэхем Грин, Уильям Голдинг, Энгус Уилсон, Айрис Мердок; другие «отошли от дел». Однако на смену выраженным тенденциям пришли другие, думается, не менее выраженные, которые мы просто в силу инерции пока еще не научились распознавать. Литература «новых левых» для последнего десятилетия — тенденция не менее значимая, чем в свое время литература «сердитых молодых людей». Но, к сожалению, творчество писателей, например Малькольма Брэдбери, в немалой степени посвященное проблематике молодежного движения, не нашло в наших переводах и публикациях должного отражения.

Та же инерция заставляет нас «крутиться» в обойме известных имен. Мы пристально следим за творчеством Айрис Мердок, Чарльза Перси Сноу, Памелы Хэнсфорд Джонсон. Но литература страны постоянно обновляется и потому требует и от нас нового взгляда. В этой связи еще раз хочется обратиться к Малькольму Брэдбери. Он не только романист. Ему принадлежат рассказы, нравоописательные этюды, пародии, сатирические наброски. Это видный критик и литературовед, автор книг о творчестве Ивлина Во и Мюриэл Спарк. Безусловный интерес представляют его статьи, в которых он осмысляет судьбу английской прозы XX века. Критик тонкий, знающий и весьма проницательный, Малькольм Брэдбери уже не раз обращал внимание и читателей, и специалистов на своеобразие развития реалистического искусства в стране, давшего в 10—20-е годы века сильную модернистскую литературу. Его размышления об угасании модернизма в послевоенной английской прозе были бы, несомненно, интересны и нашему читателю.

Брэдбери считает, и, на мой взгляд, справедливо, что английская проза последнего десятилетия проявляет все больший интерес к документализму. А ведь это тоже тенденция — и важная.

В анализе и оценке литературного процесса не должно быть косности, привычности взгляда. В самом деле, «сердитые молодые люди» —это общественный и литературный ориентир 50—60-х годов. Но если внимательно вглядеться в культурную панораму сегодняшнего дня, мы увидим в ней, к немалому нашему удивлению, несомненный интерес к творчеству «сердитых молодых людей». Не может быть простой случайностью и необъяснимым совпадением переиздание в Англии классики литературы «сердитых» «Спеши вниз» Джона Уэйна — книги, которая вышла с новым предисловием самого автора. По телевидению идет постановка «Пути наверх» Джона Брейна. И, наконец, на сцене театра «Янг Вик» — снова пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе».

Что это — лишь желание оглянуться, приметы эпохи ретро? А по-моему, возрождение интереса к творчеству «сердитых» — еще одно подтверждение мысли о насыщенности социальной проблематикой литературы последних лет. Английский философский, психологический, нравоописательный роман приобретает новые качества, находится в движении, самом активном становлении. Да и вообще, разве можно говорить о кризисе художественного слова?..

А. Саруханян. Я совершенно согласна — рассуждать о тупике, в который зашла современная английская литература, нет оснований. Называвшиеся здесь имена прозаиков — бесспорное свидетельство того, что Англия не обеднела талантами. Более того, думается, что тот круг имен, который сегодня с большой очевидностью очертился, позволяет говорить не только о существовании ярких художественных индивидуальностей, но и об определенной тенденции. «Сэвилл» Дэвида Стори, «Даниэл Мартин» Джона Фаулза, «Ледяной век» Маргарет Дрэббл — романы, появившиеся на протяжении всего лишь двух лет, стали событием в литературе и в творчестве этих писателей.

В произведениях Фаулза и Дрэббл показана Англия, как бы заново переживающая процесс национального самосознания, которое приходит с пониманием того, что Британская империя с никогда не заходящим солнцем ушла в мифическое прошлое, что Англия — очень маленькая страна и что быть англичанином — совсем не то, что быть британцем, этому надо учиться. Наблюдение Дмитрия Михайловича Урнова о поисках внутренних ресурсов «небританцами» весьма точное.

Одно из главных качеств, особенно отличающее эти книги и позволяющее говорить о них как об этапных произведениях, состоит в соотнесении судьбы человека, поколения, нации. Проблема общая и частная рассматривается в общенациональном масштабе и рамках семейной истории. В умении сочленить их проявляется дар художника, который рассуждает об истории своей страны и видит ее отпечаток в истории своего героя.

Это соотнесение, выражающее глубокие раздумья авторов, воплощается по-разному. В ходе самого действия, в самых широких рассуждениях и самых частных сравнениях, порой олицетворениях. Так, у героя Фаулза, «как у самой Британии, появилось острое чувство относительности того, что считалось прежде абсолютом». Герой Дрэббл — «дитя погибшей империи». Ее же героиня смотрит в окно поезда, и линии, перерезающие холмы, ощущаются ею как морщины на собственном лице. Это, конечно, частные примеры, но из них видно, что такую остроту переживания английская литература давно не выражала.

Переживания, глубоко осознанного. В «Даниэле Мартине» Фаулз показывает, как в сознании поколения Мартина преломилось состояние, характерное для всего английского общества, «переход от нации

пустоголовых патриотов в конгломерат индивидуальностей, стремящихся познать самих себя». Состояние кризиса он определяет как болезненный разрыв между эпохами, когда старое умирает, а новое еще не родилось. Между эпохами, разделенными, будто глубокой пропастью, второй мировой войной, годы которой по значительности пережитого приравниваются писателем к столетиям.

В связи с этим обращает на себя внимание еще одна небезынтересная черта современной английской литературы. Англия, как известно, не дала яркого романа о второй мировой войне, который можно было бы сравнить, скажем, с американским. Но все названные писатели в произведениях, написанных во второй половине 70-х годов, постоянно к ней обращаются. В определенном смысле война составляет фон их произведений, по словам Фаулза, точку отсчета. Из романа в роман проходит мотив «детей войны». И сами писатели, и их герои родились немного раньше, война стала временем их детства. Эти годы — важный рубеж для страны, после него распад Британской империи пошел полным ходом. Но художественное его осознание в истории страны приходит именно в 70-е годы, что еще раз убеждает: перед нами романы, осмысляющие судьбу поколения, судьбу страны. Таких произведений в английской литературе давно не было. Не потому ли укрепление позиций реалистического романа представляет собой заметное явление в литературной жизни сегодняшней Англии?

Связанные с этим изменения затронули и поэтику романа. При всей стойкости реалистической традиции в Англии авангардистская «мода» в 60-е годы захватила и ее литературную жизнь. Само понятие «реализм» выступало синонимом консервативности, эксперимент связывался исключительно с неоавангардизмом. В 70-е годы положение меняется. Происходит и реабилитация терминологии реалистической эстетики. По словам Брэдбери, «реализм и повествование снова заняли свое прочное место в художественной литературе». И еще одно свидетельство. Писатель и критик Дэвид Кот противопоставлял реалистический роман Стори авангардистским произведениям, которые «не выдерживают проверки практикой: в лаборатории они взрываются, во время пробных полетов перед настоящей аудиторией разваливаются на части».

Изменения в поэтике романа особенно четко обозначались у тех же, уже названных писателей. Обычно, как бы существенно ни эволюционировал художник — а измениться может очень многое, будь то тема, проблема, позиция,— ритм повествования, интонация в значительной степени остаются неизменными, писательский почерк узнается довольно легко. Так вот, новые романы Фаулза, Стори, Дрэббл написаны в ином по сравнению с их предыдущими произведениями ритме. Потребность в связной картине мира, в осмыслении действительности реализуется в спокойном повествовании, соответствующем обычному течению жизни, когда есть время вглядеться во все подробности, из которых она складывается. Но это спокойное повествование передает ощущение внутреннего напряжения. Описание быта у Стори достигает такой степени сгущенности, что он превращается в бытие, составляет основу жизни, фундамент, на котором выстраивается характер героя, раскрывается его внутренний мир. Писатель так подробно, с такой достоверностью описывает внешнюю жизнь своего героя, что внутренняя его жизнь раскрывается как бы сама собой, при полном игнорировании привычной техники психологического письма,— происходит естественное узнавание человека, которого видишь перед собой изо дня в день. В другой манере, но с не меньшей основательностью выписана история героев Фаулза и Дрэббл. Не случайно все эти книги велики по объему. Они длинны, но не растянуты.

В интересе к национальной реалистической традиции, который продолжает расти, также проявляется определенная закономерность. Конечно, художественное наследие прошлого не воспринимается современными писателями как нечто единое. Каждый из них находит своего «кумира». Однако будь то Джейн Остин или Арнольд Беннет — современных прозаиков привлекает естественность, непритязательность их письма, очерченность характера, подробное изображение среды, то есть прежде всего то, что называется самым простым, но еще недавно вызывавшим пренебрежение, словом — жизненность.

И. Левидова. Я была рада услышать во многих выступлениях темпераментную и аргументированную «защиту» современной английской прозы. Разделяю и убежденность в том, что тезис о кризисном ее состоянии не подкреплен фактами,— книги, названные здесь, свидетельствуют об этом весьма красноречиво. Мне кажется неточным наблюдение Дмитрия Михайловича Урнова, если я поняла его верно, о якобы намечающемся сейчас разделении английского романа на так называемый «домашний» — традиция Джейн Остин — и «масштабный» — традиция Вальтера Скотта. Вызывает сомнения и сама историко-литературная параллель: тематические различия вовсе не означали «разномасштабности» этих классиков, да и контрастности их писательских интересов — Остин по-своему исследовала важные социально-психологические аспекты жизни своего общества, а Скотт любовно и тщательно в своих исторических романах рисовал быт, нравы, этический кодекс старой Англии и Шотландии. Что же касается сегодняшней литературной ситуации, то подобное деление выглядит весьма искусственным. Поглощенность «домом», бытом, перипетиями семейных, личных взаимоотношений всегда была присуща английским прозаикам. Но именно сейчас, как никогда, явствен жгучий интерес наиболее ярких и серьезных писателей — имена их сегодня уже не раз

назывались — к большим, насущным проблемам, которыми живет, волнуется, болеет Англия сегодняшнего дня. Одни — как Дрэббл или Фаулз в последнем своем романе — пытаются подойти к этим проблемам, так сказать, «широкоформатно», другие замыкают себя в более тесные тематические рамки, но суть дела не меняется.

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент, касающийся самого метода современной английской прозы, ее структуры и поэтики. Английская критика этим вопросом занимается довольно активно. Давно известно, что реалистическая, а по терминологии иных зарубежных литературоведов — натуралистическая, основа романа в Англии очень прочна, но это вовсе не значит, что роман остается неизменным. Традиционная основа все время вступает во взаимодействие с «бродильными элементами» континентального романа — в том числе американского и латиноамериканского, впитывает в себя новые соки. Это процесс, который стоит исследовать, внимательно и объективно рассмотреть и его издержки, и его положительные стороны.

Н. Анастасьев. Говоря о литературе, лучше, наверное, избегать излишне обязывающих слов: подъем, кризис и т. д. Не робостью это диктуется, но трезвым пониманием того, что реальное творческое состояние времени всегда богаче и сложнее жестких определений.

К примеру, сколько энтузиазма вызвал в свое время английский «рабочий роман» и с каким недоумением пришлось вскоре наблюдать его исчезновение с литературной сцены. Сейчас видно, что энтузиазм был чрезмерным, а кратковременность вспышки — напротив, закономерной. Литература вновь обратилась к прочно, казалось бы, забытым пластам действительности, жизненным типам — прекрасно. Но эпический, по своему существу, замысел так и не осуществился: изображение быта рабочих кварталов, даже в лучших книгах, редко становилось полнокровной и широкой картиной времени. А ведь в этом, при всех пережитых потрясениях, остается смысл и назначение романа.

С другой стороны, принято, например, считать, что послевоенные годы были для американской литературы периодом упадка. В целом как будто верно; в частности же через три года после окончания войны появляются «Нагие и мертвые» Нормана Мейлера, а через шесть — «Отныне и во веки веков» Джеймса Джонса — книги, не только оставшиеся лучшими в творчестве их авторов, но и вошедшие в мировую реалистическую прозу.

2

А. Зверев. И все же перелистайте наудачу выбранный номер литературного журнала — английского или американского,— и почти непременно встретится слово «кризис». Оно стало настолько обычным, проходным, как будто дело идет о вещах само собой разумеющихся. Понятно, для желчности комментаторов есть свои основания. Литературные всходы десятилетия, предшествовавшего 70-м годам, были куда обильнее. Нынешнее разочарование отчасти тем и вызвано, что лишь очень немногие из одаренных дебютантов той поры оправдали надежды, которые с ними связывали.

К примеру, кто теперь вспоминает о Харпер Ли? А ведь она создала одну из лучших книг 60-х — «Убить пересмешника» — и замолчала, словно бы литература осталась случайным эпизодом в ее биографии. Кто, перечисляя наиболее заметных американских прозаиков наших дней, назовет среди них Роберта Стоуна, начинавшего в 1967 году своеобразным и значительным романом «В зеркалах»? Восемь лет прошло, прежде чем появилась следующая книга писателя — «Штрафное отделение», встревожившая критику грубым натурализмом и заданной, схематичной картиной повседневной жизни, в которой Стоун не замечал ничего, кроме извращенности и насилия. И вновь он исчез из литературы, внушая беспокойство за судьбу своего таланта.

Есть причины, думается, для тревоги и за будущее Джойс Кэрол Оутс. У нас ее знают по «Саду радостей земных», принесшему Оутс известность тринадцать лет назад. С того времени ее библиография пополнялась, росла непрерывно. Были удачи — «Их жизни», «Сделай со мной, что захочешь». Но в последнее время для Оутс стали характерны известная надуманность конфликтов и какой-то болезненный интерес к «темной стороне» сознания — именно так назвала она недавний сборник своих рассказов.

Вот и получается, что молодая поросль 60-х годов не принесла ожидаемых свершений. Исключения слишком уж редки — Джозеф Хеллер и Джон Гарднер. Можно добавить еще два-три имени, сути дела это не меняет. Преемственность, смена поколений — процессы, для литературы всегда сложные. На Западе в последнее десятилетие они протекали медленно, затрудненно, а в американской и английской литературе происходили особенно тяжело, создав впечатление кризиса и застоя.

Не чувствовалось нового художественного качества, хотя совсем иной стала действительность. Оглядываясь на литературную хронику идущих к концу 70-х, отчетливо видишь, что самыми значительными эстетическими завоеваниями были книги, принадлежащие перу крупнейших современных мастеров и не изменяющих ни своим творческим интересам, ни привычным для них коллизиям и героям. При всех различиях между такими книгами, при всей их спорности литературными вершинами десятилетия были «Приди в зеленый дол» Роберта Пенна Уоррена и «Фальконер» Джона Чивера, «Кролик исцеляется» Джона Апдайка и «Побудка» рано ушедшего Джеймса Джонса, «Если бы Бийл-стрит могла заговорить» Джеймса Болдуина и «Огонь на Луне» Нормана Мейлера, романы Хеллера, Гарднера.

Конечно, можно оспорить этот выбор — он по неизбежности субъективен, как всякая критическая оценка. Но, думается, взамен тоже будут названы имена тех, у кого за плечами долгая творческая жизнь,— к примеру, Ирвина Шоу и Гора Видала. И едва ли — те имена, которые вспыхнули на литературном небосклоне в 60-е годы. Скажем, Филипа Рота.

Отчего не сумело удержаться на набранной высоте писательское поколение 60-х? Здесь сказалось действие многих факторов, в том числе связанных не с литературой, а с коммерцией, усиленно насаждаемой в литературе и искалечившей не одно дарование. Но главным было все же другое. Резко переменились «декорации» на арене общественной жизни, настало время для углубленного осмысления реальности вместо попыток ее сиюминутного радикального изменения, а литература не была к этому готова. В 60-е по оба берега Атлантики кипели бунтарские настроения молодых, а в Америке к «левому взрыву» добавлялись массовое движение против войны во Вьетнаме и грозно накалившиеся расовые конфликты. В литературе это был период политизации и вторжения в область чистой идеологии или беспримесной культурологии, социологии, философии. Ключевые проблемы действительности казались легко опознаваемыми и однозначно разрешимыми в ходе тех многочисленных «революций» — студенческой, негритянской и т. п.,— которые остались самой яркой приметой эпохи.

Когда «революции» исчерпали себя, а их противоречия предстали как непреодолимые, для писателей, сформировавшихся в атмосфере готовящегося или уже происходящего «левого взрыва», началась полоса пересмотров, самокритики, трудных поисков новой духовной и творческой ориентации. Почти всех их так или иначе коснулось стремление непредвзято оценить идейное наследие 60-х, и характерно, что книгой, по сути открывшей новое десятилетие, явилась «Диалоги с Солнечным» Джона Гарднера, где такая задача решается наиболее последовательно, серьезно и глубоко.

Но за развенчанием недавних идеалов должен был последовать пафос объективного исследования изменившейся действительности и попытка отыскать в ней ценности истинные и непреходящие. А для многих, даже для большинства писателей 60-х годов, то время словно и не завершилось: с хронологической дистанции им ясна наивность тех или иных устремлений, преобладавших в дни их литературной юности, однако им недостает гражданской и творческой зрелости, чтобы признать ушедшее ушедшим. И крах тогдашних общественных и духовных движений, замешанных на левацком экстремизме, им кажется чуть ли не свидетельством обреченности всяких усилий внести разумность и человечность в жестокий хаос бытия, преодолеть антигуманность и отчужденность, господствующие в буржуазном мире.

На такой почве пускают пышный цвет далеко не новые идеи бессмыслицы жизни и усиливаются нигилистические тенденции — пример Филипа Рота, чьи последние книги представляют собой причудливую смесь мизантропии, отчаяния и цинизма, в этом смысле очень показателен. Оттого и разговоры о кризисе так настойчивы, а оценки сегодняшней литературы в Америке — как правило, так резки.

Но они чересчур поспешны и далеко не полностью справедливы. Простого перечня значительных произведений, увидевших свет в «кризисные» 70-е годы, достаточно, чтобы поставить под сомнение саму мысль о кризисе. Впрочем, дело не в количественных показателях. Важнее сама серьезность и ответственность, с какой литература стремится выявить реальный ход вещей в сегодняшней будничности, когда нет самоочевидных примет господствующего общественного настроя: ни баррикад в негритянских предместьях, ни антивоенных митингов, ни многотысячных толп неряшливо одетых юнцов на фестивалях поп-музыки,— и тем не менее на глубине происходят существенные сдвиги сознания, все более критичного по отношению к ценностям и нормам буржуазного общества и таким его фетишам, как потребительское благоденствие, или технический прогресс, или простор для индивидуальной инициативы.

Примечателен и важен сам поворот литературы к повседневности, к социальной конкретности, к обычной жизни обыкновенных людей — пожалуй, это наиболее ясно определившаяся особенность всего уходящего десятилетия. Не нужно думать, будто в прозу тем самым возвращается фактографизм и ослабевает масштабность и острота конфликтов, отличавшие романы 60-х. Как раз наоборот: роман все дальше отступает от принципов жизнеподобия, стремясь сочетать документальную точность картины с философской обобщенностью ее смысла и очень широко используя идею двуплановости повествования. Для него теперь вполне привычны миф, соседствующий с бытовыми эпизодами, гротеск, разрывающий плотную вязь подчеркнуто достоверных зарисовок текущего, параллелизм несоприкасающихся линий действия, чудесное рядом с житейским, невероятное рядом с заурядным.

Стараясь передать живую жизнь во всем богатстве ее красок и оттенков, роман усилиями своих лучших мастеров вместе с тем поднимает будничное на уровень сложнейших проблем современности, и этой цели подчинено все его построение — сегодня еще во многих случаях экспериментальное, но порой уже приносящее значительные творческие результаты.

Причем не только в книгах признанных мастеров. Последние годы были не так богаты интересными дебютами, как прежде, и все же несколько писателей, начинавших в 70-е, заслуженно привлекли к себе внимание. Я бы выделил двух американцев — Роберта Пэрсига и Джоан Дидион.

Роман Пэрсига «Дзэн и искусство ухода за мотоциклами» по композиции отчасти напоминает «Кентавра» Апдайка. В центре действия тут тоже отец и сын-подросток, а

второй план образован богатыми мифологическими реминисценциями. Это книга большой философской емкости, в ней спорят о разных типах сознания — практицистском и надутилитарном, «классическом» и «романтическом» — и о важнейших путях духовной жизни всего XX столетия. И в то же время в ней множество отзвуков американской жизни самого последнего времени, прямых прикосновений к самым злободневным социальным проблемам. Для Дидион такие проблемы — первоматерия романа, и, пожалуй, ее «Молитвенник» содержит один из наиболее впечатляющих «моментальных снимков» американской действительности нашего времени, захватывая в силовое поле повествования и коллизии политического характера, актуальные для всего сегодняшнего мира.

С некоторыми идеями обоих писателей нельзя не вступить в полемику, да и как художественное целое их книги пока еще достаточно уязвимы, но в значительности творческой самобытности им не откажешь. Как и некоторым другим американским прозаикам, выступившим в 70-е годы,— Джону Ирвингу, Мэри Гордон, Энн Тайлер, Энн Бити. Не так уж бедно для одного десятилетия!

А сколько появилось за эти годы талантливых негритянских прозаиков — и Элис Уокер, и Милдред Тэйлор, и Эрнест Гейнс, и, конечно, Тони Моррисон, чья «Песнь Соломонова», по собственному признанию автора написанная под влиянием Гарсиа Маркеса и других латиноамериканских «магических» реалистов, обозначила совершенно новое направление в романе, исследующем всегда мучительную для США расовую проблематику. Со времен Ричарда Райта и молодого Болдуина не найти книги, которая так глубоко затронула бы коренные черты самосознания черной Америки, ее особый духовный склад, ее неповторимый эмоциональный мир. Да и в целом негритянский роман последних лет совсем не похож на книги 60-х годов, в которых господствовала политика, а творчество нередко подменялось лобовой пропагандой лозунгов левацкого свойства. Мы еще не осознали всей значительности этой перемены.

А. Мулярчик. Тут только что было высказано мнение, что послевоенный период в литературе США принято считать временем упадка. Да, такая точка зрения довольно долго — примерно до середины 60-х годов — держалась в нашем литературоведении, но ее давно уже пора сдать в архив. И дело тут не в большем или меньшем количестве исключений, опровергающих подобную «паниндную» оценку, а в том, что послевоенный этап, длящийся вот уже тридцать четыре года,— это неоспоримая и своеобразная историко-литературная реальность с новыми жанрами и прозаическими формами, а самое главное — с иным, во многом отличным от межвоенного, мироощущением.

Социально-критические традиции предыдущего двадцатилетия в их «первозданном» виде не увяли после 1945 года. Их можно ощутить в упомянутых романах Мейлера и Джонса и позднее — в отдельных произведениях Оутс, Суодоса, Леонгарда Гарднера, Рота, Уикера. Но в целом «литературная материя» американских книг, конечно же, выглядит несколько другой — в ней заметно больше иронии, глубинного психологического анализа, зашифрованности и метафоричности, а иногда и наоборот — обнаженности художественного приема. Что касается высших достижений — то они тоже были и есть, хотя о творчестве некоторых авторов лучше судить по совокупности того, что ими сделано.

И все-таки, чтобы не заходить слишком далеко назад, чем не шедевры «Корабль дураков» Портер и «День восьмой» Уайлдера, «Уловка-22» Хеллера и «Бойня номер пять» Воннегута?! Разве не представляет большой эстетической ценности проза Чивера, Маламуда, романы Стайрона, публицистика Мейлера и Болдуина?! А разве не говорят о поисках новых средств выразительности такие произведения, как «Кентавр» Апдайка, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Баха или «Городская жизнь» Бартельма? Принципиальная граница между реализмом и модернизмом, разумеется, никуда не исчезла, но авангардистский эксперимент во многом обогатил послевоенную американскую прозу. Это относится к эстетическим импульсам, исходившим от книг Набокова, Пинчона, Барта.

Но мы условились вести речь о 70-х, и этот разговор вполне своевременен — не за горами новое десятилетие. В строго историческом смысле облик нынешней литературной эпохи, думается, еще не сложился: слишком мало времени прошло с тех пор, как всевозможные бунтарские движения сотрясали Америку, а задетая за живое «большая литература» раз за разом, с большим или меньшим успехом приноравливалась к быстро менявшейся действительности.

Литература последних шести-семи лет в США чрезвычайно многопланова и, я бы сказал, «чересполосна». Но в целом, думается, нет основания говорить ни о кризисе (по примеру Англии), ни о резком подъеме, связанном с обретением нового, более высокого качества. И вместе с тем многие явления обнадеживают, свидетельствуя об отменной жизнеспособности американской — и прежде всего реалистической — прозы.

Взять хотя бы «угрозу» литературе со стороны «нового журнализма», о чем только и говорилось в США в начале десятилетия. Дерзкая атака со стороны Тома Вульфа и его коллег по «Эсквайру» давно захлебнулась, но это не значит, что столкновение двух эстетических пластов не высекло благотворной искры. Влияние документализма глубоко проникло в жанр романа — напомню о «Бэрре» Видала и о «Рэгтайме» Доктороу. Сами же «новые журналисты», похоже, больше не настаивают на догматической верности прежним канонам. Давно уже ничего не слышно о Гее Тализе, который вознамерился было с фактами в руках описать «физиологию частной жизни» Нью-Йорка; с

каждой новой книгой все ближе эволюционирует к форме романа Джимми Бреслин. А из Джоан Дидион просто получилась неплохая писательница: ее «Молитвенник» импонирует мне не только остротой социальной проблематики, открывающей своеобразные стороны американской реальности, но и живым, эластичным стилем, остроумием, афористичностью.

Семидесятые годы в Америке практически сняли с повестки дня проблему «кризиса романа». Экономические неурядицы коснулись там многих отраслей, но не книготорговли и не издательского дела. И что симптоматично: соотношение между раскупаемой беллетристикой и «прочей» литературой сперва стабилизировалось, а теперь постепенно меняется в пользу художественной прозы. Конечно, среди бестселлеров, как всегда, много макулатуры, но становится правилом, что почти каждое незаурядное произведение находит своего — и довольно широкого — читателя. К примеру, за минувшие месяцы текущего года в списках самых ходких книг побывали и закрепились последние произведения Апдайка, Чивера, Маламуда, Хеллера, Стайрона. Достаточно было критике расхвалить — без особых, на мой взгляд, оснований — роман дебютантки Мэри Гордон «Последний долг», как эта книга тоже стала одним из «боевиков» издательского сезона.

Но дело, разумеется, не в количестве проданных экземпляров, а в актуальности содержания и художественном уровне самих произведений. И тут я не могу разделить чувства пессимизма, которое, как мне кажется, иногда объясняется лишь инерцией сложившихся представлений. Так, по традиции мы именуем 50-е годы «веком конформизма», хотя именно в это время были написаны лучшие вещи Сэлинджера и Капоте, дебютировали Стайрон, Маламуд, Болдуин и Апдайк, опубликовал «Невидимку» Эллисон. С другой стороны, в середине 60-х годов реалистическая проза резко сдала свои позиции, а на передний план выдвинулась модернистская школа «черного юмора» — тем не менее мы подчас говорим в подчеркнуто оптимистических выражениях о едином литературном фоне «критического десятилетия» американской истории.

Сейчас в американской литературе положение более сложное. Ряд писателей действительно находится на распутье (Мейлер) или с каждой новой книгой мало что прибавляет к уже сказанному (Оутс, Рот). Однако каждый год и выдвигает незнакомые прежде имена, и радует по крайней мере одним-двумя произведениями, которым, по-видимому, суждено надолго закрепиться в культурной памяти нации. В качестве таких бесспорных вех назову «Что-то случилось» Хеллера, «Радуга земного притяжения» Пинчона, «Фальконера» Чивера. Интересную литературу породило движение неофеминизма, возник своеобразный жанр романа-обозрения (Пол Теру и др.), открылись новые таланты среди черных американцев и представителей других национальных меньшинств. Впрочем, каждая из обозначенных тем заслуживает специального подробного рассмотрения.

Если кто и деградировал за последнее время, то это былые «классики» «массовой беллетристики» — Роббинс, Урис, Левин, Маклин. Я не хотел бы полностью причислять к этой категории Артура Хейли — как-никак у нас недавно были переизданы его «Аэропорт» и «Отель», но в 70-е годы ценность его книг — как в познавательном, так и в социально-критическом отношении — прогрессирующе оскудевает. Уже в «Менялах» Хейли озабочен не столько интригой или занимательной информацией, сколько укреплением престижа своих героев из числа теперешних «мистеров твистеров». В недавней «Перегрузке» писатель идет еще дальше, провозглашая крупные монополии единственными спасителями Америки и западного мира от «энергетического кризиса».

О «массовой литературе» в США можно было бы говорить отдельно — там в этой необъятной сфере происходит немало любопытного. К тому же эта ветвь книжной продукции особенно активно используется в целях внешнеидеологической экспансии. Сейчас, к примеру, резко трансформировался «политический роман». С легкой руки Алена Друри, автора «Вспомни о Ниневии, вспомни о Тире» и «Обещания радости», он обратился к самым злободневным международным проблемам, трактуя их отнюдь не в духе разрядки и взаимополезного сотрудничества. Помимо профессиональных беллетристов к этому жанру все чаще прикладывают руки отставные правительственные чиновники и пережидающие неблагоприятную конъюнктуру политиканы. Интерес к такого рода литературе в США после поражения во Вьетнаме и Уотергейта колоссальный; это, кстати, несколько корректирует тезис об усилении среди американцев настроений аполитичности и эскепизма.

В области же «большой прозы» я бы выделил два проблемных идейно-художественных «узла»: один в начале, другой в середине десятилетия. Многих писателей привлекло к себе «молодежное движение» и связанная с ней «контркультура» — радикальные перемены в моде, стиле поведения, художественных поисках, жизненной философии. У нас печатались такие книги, как «Вечер в Византии» Ирвина Шоу, «Убийцы» Элиа Казана, но наиболее глубокое прочтение эта тема получила в «Диалогах с Солнечным» Джона Гарднера — жаль только, что роман чересчур растянут и оттого художественно бесформенный.

Другую группу произведений объединил интерес к американской истории, хотя идеологические цели тут преследовались разные. Одни писатели (тот же Джон Гарднер в «Октябрьском свете») искали в прошлом Америки корни ее демократических традиций, а вот в трактовке Джеймса Миченера, автора романов «Сентенниел» и «Чесапик», опыт столетий лишь освящал незыблемость норм буржуазного общежития. Так, в дискуссии о характере истории США, подогревавшейся приближением, а затем и празднованием 200-летия страны, обнажились две

основные противоборствующие грани духовной культуры американской нации.

Тем же противостоянием двух систем ценностей отмечена и литературная ситуация конца десятилетия. Дух американского радикализма жив в мемуарных книгах Лилиан Хеллман и Кэтрин Энн Портер, в романе Роберта Кувера «Публичное сожжение Этель и Юлиуса Розенбергов». На пути использования «молодежной» и «негритянской» проблематики для демократического обновления американского общества указывают в своих романах Джон Херси («Ореховая дверь») и Тони Моррисон («Песнь Соломонова»). С другой стороны, идеями конформизма проникнут новейший военный роман Германа Вука «Война и память», а также недавний бестселлер Морриса Уэста «Протей».

Литературная карта современной Америки по-прежнему очень пестра, и для того чтобы по ней ориентироваться, как раз подходит жанр обзорной статьи, который, думается, и надо сохранить на страницах «Иностранной литературы».

Н. Анастасьев. Джон Гарднер, бесспорно, наиболее яркая фигура в новом поколении американских писателей, оценил итоги минувших двух литературных десятилетий сокрушительно: «моральное поражение». Это, нечего говорить, крайность. На мой взгляд, в литературе США сейчас происходят или, скажу осторожнее, намечаются плодотворные творческие сдвиги. Популярность, конечно, далеко не всегда бесспорный показатель художественной высоты, но надо признать, что широкий читательский интерес, скажем к романам Апдайка, Чивера, не говоря уж о прозе Воннегута, был обеспечен их реальной творческой стоимостью.

В то же время в высказывании Гарднера есть и «момент истины». Писатели 60—70-х годов с большой силой показали нравственную катастрофу «потребительского» общества, утрату духовных ценностей. Но при этом в их книгах, хороших, порой незаурядных книгах, не выразилась с достаточной определенностью моральная альтернатива общепринятому способу повседневного существования. Отчего это произошло? Наверное, причина в известной узости взгляда на жизнь. Прекрасно изображались примелькавшиеся типы: «белые воротнички», сонные обыватели, потом — бунтующая молодежь. Но не различала литература ту трудовую Америку, что сохранилась со своими устоями, моралью, традициями и в самых неблагоприятных общественных условиях. Писатели словно молчаливо согласились с тезисом, столь шумно заявлявшимся, о ее «одномерности». Это нравственное заблуждение имело грустный результат в художественной практике: детали виделись четко, жизненная перспектива неуловимо расплывалась. Опять-таки — не хватало широты эпического дыхания.

Его-то и набирает сейчас, мне кажется, новейшая американская проза. В этом смысле выдающееся явление — «Октябрьский свет» уже упомянутого Джона Гарднера, книга, продуктивно возрождающая лучшие традиции американской классики XX века, от Андерсона до Стейнбека, автора «Гроздьев гнева». «Иностранная литература» уже откликнулась на этот роман Гарднера содержательной рецензией Георгия Павловича Злобина, в которой точно выявлено значение романа в текущей американской прозе. Потому не буду повторяться. Добавлю, что писатель-реалист в поисках идеала — а ради того и написана книга — не впадает в прекраснодушие. Любовь к жизни, столь мощно выраженная в романе,— не любование жизнью. В облике своего героя, старого фермера, Гарднер угадывает не только нравственное достоинство, крепость народного характера — видит и то, что крепость эта порой может обернуться самодовольством, а моральная высота — пуританским ханжеством, сила — презрением к слабости и т. д.

Не надо проявлять чрезмерный оптимизм. Во-первых, нетрудно заметить, что усилившаяся тяга к эпичности немедленно породила моду на эпичность — в обширном слое массовой беллетристики. В значительном количестве появляются книги, принадлежащие порой известным авторам, где под видом объемного социального анализа прославляется американский образ жизни.

Главное же состоит в том, что и настоящие писатели, вырабатывая новое, более широкое художественное видение мира, сталкиваются с немалыми творческими трудностями. Тот же Гарднер на пути к «Октябрьскому свету» прошел через опыт «романа-пасторали» («Никелевая гора»), где эпическая задача решается словно бы поверх разворачивающейся, во всех своих противоречиях, действительности сегодняшней Америки. Прав Александр Сергеевич Мулярчик, хорошую книгу, «Песнь Соломонова», написала Тони Моррисон — только и ей не всегда удается достичь художественной гармонии в изображении бытия, к чему она столь откровенно стремится, и — быта.

Таким образом, повторяю, по-моему, не надо искать замыкающих формул художественного процесса — полезнее вглядываться в движение живой литературы, стараясь понять ее во всей неурезанной полноте.

Г. Злобин. Очень трудно ответить на вопрос: что происходит в американской литературе. Но начинать нужно с другого вопроса: что происходит в Америке.

Здесь высказано мнение: нет основания выделять в особый период то или иное десятилетие. Конечно, периодизация текущих событий — вообще занятие малопродуктивное. Что сегодня кажется важным и значительным, завтра, послезавтра может потерять актуальность. Существует и преемственность, переход одних явлений в другие. И все же 60-е годы в США имели свое лицо: взрыв гражданского самосознания. Правда, 60-е кончились не календарно. Новая обстановка сложилась после Вьетнама и Уотергейта где-то в 1973—1974 годах.

Мне кажется, что в то десятилетие американцы пережили столько сколько им не пришлось пережить даже в годы второй ми-

ровой войны. В массе своей они ее не заметили — разве что бытовые неудобства — исключая, конечно, непосредственных участников войны. Поэтому-то «мирная» и сравнительно благополучная Америка предстает совсем другой, чужой страной героям Джеймса Джонса, возвращающимся с позиций. Я имею в виду последний роман писателя «Только позови...» — пока я предпочитаю именно так переводить его название, а не «Побудка».

Где-то далеко от дома, за морями и океанами сражались и умирали. Это чувство личной непричастности сказалось на американском военном романе. Даже лучшие писатели редко ставят вопрос о смысле и целях войны. В их романах нет антифашистского пафоса, которым пронизаны литературы европейские — не говоря уже о советской.

Конечно, есть исключения, и выдающиеся. Я имею в виду только что выпущенный роман Стайрона «Зофья сделала выбор» — честную, горячую книгу, направленную против фашизма и расовой нетерпимости.

Впрочем, я отвлекся.

Итак, если 1963—1974-е — это взрыв, то после — период неустойчивого социального равновесия. Подчеркиваю: неустойчивого.

Очень многие американские наблюдатели считают, что семидесятые не менее жаркие. Тому много причин: энергетический кризис, кризис городов, нехватка рабочих мест, инфляция, налоги, дороговизна. Цены за последнее десятилетие подскочили вдвое и выше. Все это непосредственно касается каждого. Жить стало неуютно. С другой стороны, люди устали от эксцессов 60-х годов, тянутся к покою. Сужу об этом и по личным впечатлениям.

Все это, как в фокусе, собирается в кризисе доверия к американским общественным институтам.

В политическом отношении идет перегруппировка демократических сил, поиски новой тактики и рядом — активизация правых «ястребов», непрошеных радетелей о чужих делах.

Настроения неопределенности, безвременья, выжидания — они проникли и в литературу. «Что-то случилось» — констатировал Хеллер. В самой поэтике романа — бесконечная повторяемость обыденности и неспособности проникнуть в корни: что же все-таки случилось? Во многих романах доминирует воспроизведение внешнего слоя действительности, унылость письма — несмотря на высокий профессионализм — натуралистичность. Мне кажется, что в целом мы несколько переоцениваем текущую американскую прозу, видим там то, чего нет или не является главным.

Николай Аркадьевич Анастасьев говорил о растущей эпизации романа, о стремлении к многогранному и широкому по времени захвату. Это верно — посмотрите на поток семейных повествований, фамильных саг — «За стенами спальни» Ларри Войвуди, «Земная оболочка» Рейнольдса Прайса, «Выражение любви» Шерли Энн Грау... Но верно с поправкой: эпизация, как ни странно, идет рука об руку с ослаблением социальности, историзма, хотя есть и исключения. Называлось имя Джона Гарднера. Это удивительный писатель. Если он пойдет в направлении «Октябрьского света», то вырастет в очень крупную фигуру. Мне лично давно не доводилось читать ничего равного по пластике, нравственной устремленности и степени историчности.

В романе Тони Моррисон «Песнь Соломонова» Пилат рассуждает: «Ты думаешь, есть только один черный цвет? Как бы не так...» Да, в негритянской литературе сейчас многоцветие. Романистка буквально покоряет тебя волшебным языком, красочностью легенды — об этом правильно говорил Зверев. Настолько покоряет, что с трудом осознаешь принципиальную недостаточность историзма у Моррисон. 1931—1963-й — тридцать лет «схвачены» романом, и каких лет! А на его страницах — миф, предание, приникание к почве и корням. За террористической деятельностью «семидневников», конечно же, не увидишь глубоко положительного содержания движения черных за гражданские права. И еще — эта психосексуальная озабоченность героев, хотя и в ослабленном виде, — сколько мы уже об этом читали!

Романистка настойчиво проводит идею неприятия насилия, самоценности человеческой жизни. Она пишет об этом вдохновенно. И тут же другая нота: давайте излечимся от насилия внутрирасового. В романе нет ни одного белого персонажа.

3

А. Зверев. Сколько бы ни толковать о кризисе, американская и английская литературы остаются среди наиболее богатых и многообразных литератур мира, и не может удивить особое внимание, которым они пользуются у наших читателей. «Иностранная литература» сделала очень много для их объективного и аналитического освещения, в том числе и выступлениями по отделу критики. За редкими исключениями, все значительные современные зарубежные писатели начинали свой путь к нашей аудитории со страниц журнала, печатавшего их книги и посвящавшего их творчеству свои материалы.

Но вот на что хочется обратить особое внимание. За последнее время поток переводной прозы становился у нас все полноводнее и быстро росло число их читателей. Каждая переведенная книга в какой-то степени превращается в факт нашей культуры и нашей духовной жизни. Мне кажется, мы не всегда учитываем важность этого явления. В отделе критики журнала преобладают статьи, информирующие читателей о явлениях, пока им незнакомых, обзоры книг, которых они не знают, а ведь живой интерес представляют прежде всего произведения, уже вошедшие в наш обиход, тем более ставшие своего рода сенсацией (далеко не во всех случаях — обоснованно).

Наверное, поэтому критику в журнале — это показывает и непосредственное наблюдение — читают меньше, чем хотелось бы. И жаль. Будь по-иному, поубавилась бы атмосфера пустой сенсационности, сопутству-

ющая сегодня целому ряду посредственных книг, и глубже стало бы понимание произведений, заслуживающих широкой известности. Грустно видеть, что наряду с Уайлдером или Воннегутом наши читатели искренне полагают, что не меньше как откровением мировой литературы являются «Аэропорт» Хейли, «Дочь профессора» Рида или «Письма незнакомке» Моруа.

И. Левидова. Хотелось бы, в порядке реплики, поспорить с одним положением — и предложением — Алексея Матвеевича Зверева. Вернее, возразить против некоторой категоричности его взгляда. Я имею в виду мнение, что журнал «Иностранная литература» должен в первую очередь и главным образом освещать и комментировать творчество тех писателей, произведения которых появлялись на его страницах. Алексей Матвеевич мотивирует свою мысль тем, что зачастую приходится сталкиваться со «странными» и заведомо неверными толкованиями произведений, появившихся в переводе, даже тех, что были снабжены послесловиями или рецензировались у нас.

Мне представляется прежде всего не слишком перспективной, да и по существу сомнительной тенденция к формированию какого-то единого или единообразного читательского восприятия литературы, придания ему зафиксированной «правильности». Единообразия мнений здесь быть не может, как не бывает его в интерпретациях и оценках, предлагаемых критиками-профессионалами. Разумеется, о произведениях, появляющихся в переводах, надо писать, а порой и спорить, но в данном случае «Иностранная литература» вовсе не должна монополизировать этот род критической деятельности. А вот в той роли, которую издавна призван играть именно этот журнал — первооткрывателя, лоцмана и капитана, ведущего корабль по морю современной зарубежной литературы,— заменить его не может никто. Все другие органы печати и научные издания рассчитаны на более узкую и специально подготовленную читательскую аудиторию. Кто же, как не «Иностранная литература», может на высоком профессиональном уровне систематически информировать достаточно широкий круг читателей, пусть и уступающий по численности контингенту читателей отдела беллетристики, которые стремятся быть в курсе современного мирового литературного процесса?

Е. Гениева. На мой взгляд, важен жанр обзорной критической статьи, которая бы знакомила нашего читателя с новыми явлениями и именами. В этом случае можно было бы избежать косности, о которой я говорила раньше.

Удачным мне видится и жанр статьи-«портрета» Примером может быть статья Левидовой об Айрис Мердок, опубликованная в прошлом году в «Иностранной литературе». Такой жанр дает возможность глубже познакомить читателя с писателем, который известен у нас, это — своеобразное и нужное «подведение итогов».

Очень важно обращаться к ранее напечатанному, тем публикациям, которые вызвали полемику или многие читательские отклики. Вообще хотелось бы, чтобы иногда страницы журнала «Иностранная литература» были в большей мере открыты для спора, в котором могли бы столкнуться мнения не только литературоведов, но и читателей.

И крайне желательно, чтобы в таком важном и читаемом отделе, как «Издано за рубежом», появлялось больше откликов на вышедшие в стране книги, которые являются своеобразными приметами времени. Когда мы медлим по тем или иным причинам, получается, что писать, увы, уже не о ком. Так случилось с Полем Скоттом, творчество которого — самобытное, отразившее важный момент в истории современной Англии: отношения с Индией,— осталось нашему читателю неизвестным. В 1977 году он умер.

Сейчас в Англии одно из самых популярных и обсуждаемых серьезными критиками имен — имя Барбары Пим. Писательница стопроцентно английская — книги ее сразу же вызывают в памяти романы Джейн Остин,— Барбара Пим заслужила высокую похвалу такого строгого критика, как поэт Филип Ларкин. Он считает, что ее творчество — яркая страница в современном английском романе. Думаю, что к таким компетентным мнениям в тех случаях, когда выбираются писатели, с которыми мы намерены знакомить наших читателей, надо прислушиваться.

А. Мулярчик. Вообще же, как мне представляется, предисловия и послесловия к переводам делают свое дело. Выступая недавно в Горьком и Вильнюсе с лекциями о современной англоязычной литературе, я был свидетелем таких высказываний: «С интересом начал читать «Башню из черного дерева» Фаулза, но примерно на середине стали одолевать вопросы и сомнения. Заглянул в конец, в послесловие, кое с чем не согласился, но понял, что книга заслуживает внимания, а ее «нетрадиционность» — составная часть самой современности, с которой нельзя не считаться».

Г. Анджапаридзе. Зверев ратует за развернутую статью-комментарий, сопровождающую публикацию того или иного произведения. Важность подобного критического жанра трудно переоценить. Однако подобный подход односторонен и неизбежно сузит представление многомиллионных читательских масс о том, каков реальный литературный процесс в стране. Факт публикации того или иного произведения вовсе не должен означать присуждения ему «знака качества» — критика должна быть объективной, а у нас подобные публикации нередко носят откровенно рекламный характер. Кроме того, журнальная площадь ограничена — более двух-трех английских романов в год «Иностранная литература» не печатает. Где же выход? Он в том, чтобы чаще печатать тематические обзоры по итогам года, пяти- и десятилетия. Это позволит заинтересованным читателям составить себе представление, своего рода моментальную фотографию

того, что в настоящий момент происходит в литературе.

Г. Злобин. А я целиком присоединяюсь к Звереву: главное дело критика-зарубежника — литература, которая переводится на русский язык, та, которая есть факт и фактор нашей литературной жизни.

Г. Анджапаридзе. Не обязательно в этом журнале...

Г. Злобин. Не обязательно. Но и в этом. И в первую очередь это касается того, что печатается в «Иностранной литературе». Необходимость самоанализа, так сказать. Верно отмечали — почему не писали в журнале о Хейли? Много писали в других местах? Но как... Странно было читать одного маститого прозаика: ирония по поводу «счастливчика Хейли» обернулась любованием. Феномен читательского увлечения Артуром Хейли — явление не литературное, а социальное. Да и издатели так спешили навстречу, будто ничего ближе хейлевской прозы у нас и нет. Кстати, эволюция этого писателя — тоже знак времени. Его «Перегрузку» можно вполне прочитать как иносказание определенного толка.

А. Зверев. С Маркесом надо разобраться, вот где живая жизнь.

Г. Злобин. С Маркесом в известном смысле проще, чем с Хейли, его проблемы не очень затрагивают широкого читателя. Хейли тем не менее — феномен литературы. А что появляется в периферийных журналах?

С какой-то даже ностальгией вспоминаю, как лет пятнадцать—двадцать назад печатались статьи типа «Что и как мы переводим, публикуем?». Иные были наивны, упрощали положение в зарубежных литературах. Но свое полезное дело они делали и помогали самой критике осознать свое назначение.

Когда я говорю о первостепенности внимания к книгам, которые публикуются по-русски, то эта проблема тесно связана с нами самими. Не завышаем ли мы иногда оценки произведениям, не спешим ли их вынести? Как, например, получилось с Джойс Кэрол Оутс. Помнится, один исследователь до того увлекся предметом, что написал: будущность американской прозы зависит от того, как будет развиваться Оутс. Теперь мы видим, к чему она пришла.

А. Мулярчик. По-моему, ни жизненный, ни творческий путь Оутс еще не окончен, и было бы опрометчиво разочаровываться в недавних любимцах только потому, что появились некоторые, к сожалению обоснованные, причины для неудовольствия. Оутс всего только сорок лет — золотой возраст для серьезного писателя,— и она не собирается на покой. Правда, в последнее время ее эстетические декларации расходятся с творческой практикой. Я тоже не в восторге от «Чайлдуолда» и от «Сына утра», но не стоит забывать о гражданской позиции Оутс, о поддержке ею социально-критических традиций американской прозы. Все это вполне для нее органично (вспомним еще раз о «Саде радостей земных», который переведен у нас на русский и на другие языки), и я верю, что если только Оутс перестанет торопиться, она еще скажет свое новое слово в американской литературе.

Г. Злобин. «Чайлдуолд» — не знаю, как перевести название — кризисная книга в самом прямом и точном смысле. Жизнь предстает в ней как однородный, нерасчлененный поток, перемешивающий и уравнивающий все и вся. Словом, натурализм — настолько в чистом виде, насколько он может быть таковым в конкретной художественной системе.

Я призываю всех нас к внимательному и разборчивому чтению, без спешки и суеты. Чтобы не проходить мимо спорных вещей. Чтобы не выдавать желаемое за действительное. Читаешь иного критика — откуда он это взял? Нет этого в книге, все вымышлено. Я понимаю: в каждом из нас живет естественное стремление утвердить «своего» автора. Но, право же, истина дороже.

К вопросу о понятиях и категориях. Я внимательно прочитал работу Института мировой литературы «Современный революционный процесс и прогрессивная литература», но так и не уяснил вполне, что такое «прогрессивная литература». Прочитал книгу «Американская литература и общественно-политическая борьба» — и тоже не понял. Как-то уж очень расширительно толкуется это понятие.

Забавная история приключается с термином «модернизм». Судя по дискуссии, прошедшей несколько лет назад на страницах «Вопросов литературы», модернизм улетучился. Вернее, не совсем. То он живет лишь как выдумка буржуазных эстетиков, то есть в теориях, а не на практике. То поглощается «массовой культурой». То переходит в некое иное качество. Но модернизм ведь не пугало и не ярлык. Это определенное кризисное мироощущение, оно владеет частью художников на Западе и требует конкретно-исторического анализа.

В этом смысле книга Урновых «Движение во времени» многое дает в верной перспективе. Она показывает именно творческую, эстетическую несостоятельность модернизма. Причем в его классических, так сказать, образцах. Подробнее об этом предмете я попытался высказаться в другом месте. Модернистское умонастроение живуче и в американской прозе, и на это тоже не надо закрывать глаза. Абсурдная реальность не непременно должна выливаться в абсурдистскую прозу.

А. Саруханян. Какой же быть журнальной статье? Вряд ли можно да и нужно давать точные рецепты. Ведь главное — попытаться определить происходящие в литературе явления или хотя бы наметить существенные тенденции.

◆

АМРИТА ПРИТАМ

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Перевод с панджаби и вступление И. СЕРЕБРЯКОВА

«Я верю в труд». Именно эти слова, такие емкие и значительные, сделала эпиграфом к одному из своих сборников стихов Амрита Притам, индийская поэтесса, пишущая на панджаби [1]. И эти слова могли бы стать эпиграфом ко всему ее творчеству, к тому многотрудному пути, который был начат более сорока лет назад скромным сборником семнадцатилетней поэтессы «Волны амриты».

Амрита — живая вода, напиток бессмертия в древнейшей индийской мифологии. Именно амрита была предметом жестокого спора между индийскими богами и титанами, который нашел отражение во многих произведениях искусства и литературы. Дав дочери такое имя, родители, может быть, и не предполагали, что в известной мере предскажут ее судьбу.

Со времени появления первого поэтического сборника Амриты Притам были опубликованы сотни ее стихотворений, рассказы, повести, романы и научные труды.

Недавно Амрита выпустила две книги. Одна — своеобразная антология ее поэзии, в которую отобраны лучшие, наиболее яркие стихи, организованные в два раздела: «Я и ты» и «Я и Мир». Другая — «Свидетельство оплаты» — автобиография. И обе они — как бы отчет поэтессы перед своим народом. Отчет искренний и полный требовательности к себе.

Буржуазные социологи очень часто квалифицируют современную Индию как общество, опутанное цепями косных традиций, существующих из века в век и непреодолимых. При этом они предпочитают не замечать традиций свободолюбия, жизнеутверждения, вольномыслия, поиска вполне земного социального идеала, а они тоже сильны в индийском обществе. Современное индийское общество динамично, оно стремится избавиться от изживших себя традиций, сохранить и развить традиции жизнеспособные, ведущие вперед, и Амрита Притам отражает эти тенденции в ярких образах, преломляя опыт народа и страны через свой, личный опыт. Она выступает против попыток местных и заокеанских демагогов и политиканов навязать ее родине худшие порождения «свободного мира», против конфессионализма [2] и «массовой культуры».

Когда она написала:

Я стою
Между Ньютоном и Калидасой,—

то здесь не было противопоставления великого ученого одной страны великому поэту другой, а было осознание необходимости синтеза достижений мировой цивилизации. В условиях Индии это особенно актуально. Ведь одной из характерных черт политики

[1] Лирические стихи Амриты Притам из книги «Черная роза» были опубликованы в «ИЛ» № 1, 1968.

[2] Конфессионализм — использование реакцией религиозных верований в политических целях. Его истоки восходят к колониальным временам, когда британские колонизаторы намеренно разжигали противоречия между религиозными общинами индусов и мусульман. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

британского колониализма была искусственная изоляция Индии от достижений науки и культуры всего мира. И сегодня, в ходе социальных и экономических преобразований, народы независимой Индии все острее ощущают необходимость приобщиться к мировой цивилизации, преодолеть национальную ограниченность, которую настойчиво пытаются культивировать шовинистические круги. Амрита Притам, прекрасно знающая и заботливо собирающая произведения народного творчества, обращается к темам мирового — культурного и политического — звучания. До 1947 года, то есть до освобождения Индии, она пишет о пенджабской молодежи, о природе, о нравах и обычаях Пенджаба. А далее все чаще и непреодолимее входит в ее творчество судьба человеческой личности в ее связи с судьбами человечества. Поиски решения вопросов, стоящих перед Индией, которые соответствовали бы ее гуманистическому идеалу, приковывают внимание поэтессы к жизни стран, где реализуются социалистические идеи, и прежде всего к Советскому Союзу. Поездка в 1961 году по нашей стране, знакомство с социалистической культурой республик Средней Азии и Закавказья раскрыли перед ней горизонты реального гуманизма. С этого времени на страницах ее книг и созданного ею вместе с художником Имрозом журнала «Нагмани» постоянно появляются переводы стихов, принадлежащих поэтам социалистических стран,— и прежде всего произведений жизнеутверждающих, противостоящих тем пессимистическим и ностальгическим настроениям, которые порой свойственны и творчеству самой Амриты, как и современной индийской поэзии в целом.

Темы борьбы за счастье народа, за свободу его и независимость сделали поэтессу сопричастной великому движению современности за мир, против войны и привели ее на Московский конгресс мира. Здесь, в ноябре 1973 года, она создала стихотворение «Падает снег» — непосредственный, высокопоэтичный, взволнованный отклик на события тех дней: речь Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева, встреча с Патрисией Альенде, с героями национально-освободительной борьбы.

Ее лирика проникнута героическими мотивами. И тот, кто знает Индию, понимает, насколько созвучно это характеру индийской женщины. Быть может, во всем этом и кроется секрет ее поэзии, столь любимой и в Индии, и за ее пределами. Она, кажется, единственная из индийских поэтесс, произведения которой переведены едва ли не на три десятка языков мира, в том числе на русский, болгарский, сербо-хорватский, английский, немецкий и другие.

Амрита Притам непрестанно учится. «Для писателя никакое знание не является абсолютным, никакое достижение не может быть последним. Чаша знания никогда не может быть полна!» — говорит она.

По справедливому замечанию пенджабского критика Б. С. Гояла, «Амрита верит не только в труд, она верит и в ценность литературы как средства социального протеста».

Ничто не может поколебать Амриту в уверенности, что силы тьмы, угрожающие миру на нашей планете, потерпят поражение. В этом, собственно, и состоит пафос ее поэзии — в утверждении возможности человека разорвать оковы зла. Об этом вдохновенно писала она в стихотворении «Хо Ши Мину». И об этом же говорится в прекрасной ее поэме «Тайна сердец»:

И сколько бы полчища Тьмы ни бились,
Я твердо верю: Свет победит!

(Перевод С. Северцева)

Мы предлагаем вниманию читателя фрагменты из автобиографической книги Амриты Притам «Свидетельство оплаты».

Воскрешая время

Существуют семена, которые, будучи однажды оплодотворены, прорастают и, не пуская ни листьев, ни ветвей, остаются жить в почве, какие бы яростные бури ни проносились над ними, какой бы иссушающей ни была засуха. Их просто нельзя отделить от почвы. То же и со стремлением к чему-то возвышенному, с почитанием Слова[1], верой в него. Эти семена укоренились во мне еще на заре жизни, но вместе с тем вера в бога, эта вера была разрушена...

Одно семя я посеяла сама, другое — мой Отец. Упади на пол страница из книги, он подобрал бы ее с благоговейным трепетом. Наступи я на нее, он бы пришел в ярость. Именно поэтому так глубоко коренится во мне уважение к написанному Слову — и вместе с тем ко всем, кто держал в руке перо, начертавшее Слово. Именно так привыкла я смотреть на Бхаи Сахиба Кахана Сингха[1], друга Отца. Когда он вступал в наш дом, все становилось благостным...

[1] В понятие Слово для пенджабцев включается прежде всего философское и поэтическое наследие сикхизма; оно имеет и более широкое значение общеиндийского культурного наследия, творческой деятельности вообще.

[1] Кахан Сингх (1861—1937) — выдающийся пенджабский просветитель, создатель первой пенджабской энциклопедии «Маханкош», изданной в 1930 году.

К тому времени, когда я стала взрослой, мне привили высочайшее уважение к моим современникам. Правда, печальный опыт общения с некоторыми из них заставляет удивляться тому, как это благоговение перед Словом и Пером не улетучилось давным-давно. Временами я сомневаюсь в том, действительно ли моими современниками являются лишь те, с кем я общалась. Возможно, за пределами моего времени и пространства есть много людей, которые, как, например, греческий писатель Казандзакис, заботливо взращивают древо любви к Слову и Перу. Что же дивиться тому, что оно все еще зелено?

Июль, тридцать первое, год 1930

Мне только-только исполнилось одиннадцать, когда внезапно заболела Мать. Не прошло и недели, как у ее ложа собрались друзья и родственники с бледными, вытянувшимися лицами.

...«Молись богу, может, он смилуется... Молитва ребенка никогда не бывает напрасной...»— сказала мне подруга матери.

Мои ноги словно приросли к месту, где я стояла. С самых ранних дней я была обучена искусству дисциплинированного сосредоточения мысли. Я закрыла глаза и сложила руки для очень простой молитвы: «Не дай Матери умереть!»

Мать, казалось, спокойно переносила свою болезнь, никто не слышал от нее даже стона, но сейчас вдруг все забеспокоились. «Что с ними? Почему они так встревожены? — спрашивала я себя.— Ведь с маминой болезнью уже покончено... Ведь я же умоляла бога... Бог прислушается к тому, о чем его просят дети...»

Но мама уже лежала в величественном спокойствии. Внезапно я осознала, что это конец. Кругом все плакали, одни — молча, другие — причитая. Я взорвалась, охваченная страшным гневом: «Ни о ком бог не заботится, даже о детях...»

С того самого дня я отказалась от молитв и самоуглубления, которым были отданы годы. Отец этого не одобрил и строго со мной говорил, но я неистовствовала в своем сопротивлении:

— Нет никакого бога.

— Не смей так говорить.

— Почему же?

— Бог накажет тебя за это...

— Пусть! Но как Он накажет, если Его нет?

— Откуда ты можешь знать?

— Если бы Он был, то услышал бы меня.

— Что ты говорила Ему?

— Я молила: не дай Матери умереть!

— Разве ты видела Его? Его нельзя видеть...

— Но Он же может слышать? Он ведь не глухой?

И каждый день во время молитвы Отец решительно стоял на своем, а я, не менее решительно,— на своем. Не в силах справиться со своим гневом, он, случалось, хватал меня за плечи и пытался принудить сесть для молитвы, приказывал: «Закрой глаза! Сосредоточься на мысли о Нем хотя бы десять минут!»

Когда я уже не могла сопротивляться отцовской власти, я садилась скрестив ноги и закрывала глаза. Но признание физического поражения только заставляло меня еще больше внутренне кипеть. «Вот закрыла я глаза, ну и что? Что Он может мне сделать, если я сосредоточусь мыслью на Нем? Я ничего не хочу иметь общего с богом, который не услышал меня. Я отказываюсь даже подумать о том, каким мог бы быть Его облик. Лучше вместо этого я буду думать о Раджане[1] Он болтает со мной в моих снах; он слушает мои песни; он так забавно меня изображает... Да... я сосредоточусь на мысли о Раджане!»

Многие годы я предавалась дорогим мне мечтам и летом и зимой. Это стало для меня непременным ритуалом.

Я представляла себе громадный мрачный замок, а себя — его маленькой пленницей в высокой башне. Вооруженная стража стояла у его стен. Напрасно я искала дверь, которую могла бы открыть. Я металась в плотно окутывавшем меня мраке, но могучие, сложенные из камня стены не рассыпались в песок и не таяли, как туман. Беспомощная, в отчаянии я пыталась взлететь, взмахивала и взмахивала руками, словно крыльями, пока не падала бездыханной на камень пола. И вот тогда... тогда я начинала ощущать, как медленно, осторожно ноги отрываются от камня... Все дальше и дальше, и вот я уже выше бойниц и башен, в бескрайнем голубом небе!.. Бесстрашно лечу над бесконечными просторами распростершейся внизу земли... стража мечется, размахивая оружием, но не может ни догнать меня, ни тем более поймать.

И еще один мираж, живший долгие годы во мне: я спасаюсь от толпы преследователей. Погоня длится и длится, и толпа уже, кажется, настигает, моя тревога растет, и я бегу быстрей и быстрей, пока не оказываюсь на берегу реки. Преследователи торжествуют: «Ей никуда не деться! Впереди река!» И я, не видя иного пути, спокойно шагаю в воду.

Река обретает какую-то странную плотность и дает опору моим ногам. Ледяная прозрачность воды оказывается много лучше, чем твердая земля,— здесь я могла не бояться ушибов и ссадин. Преследователи вынуждены остановиться. Никто из них не рискует войти в воду. Они толпятся на берегу, грозно хмурясь, бранясь и размахивая кулаками...

---

[1] Друг детства Амриты Притам.

В соответствии с индуизмом каждый человек должен пройти через четыре стадии жизни — четыре ашрамы[1]. Я не претендую на то, что много об этом знаю,— лишь знаю, что в потоке моей жизни можно различить четыре периода.

В первом из них я, подобно бодхисаттве[2], сидела, взирая на все с удивлением,— и по какой-то причине, необъяснимой для меня самой, мгновения странным образом обретали длительность.

Во время второго я стала необычайно проницательной — это была энергия молодости, атакующей бастионы социальных традиций. Ненависть и гнев сверкали во мне, словно драгоценный камень нагмани[3] на голове змеи.

Третий отмечен доблестью разрушать настоящее, предавая его забвению, и строить новое будущее, бесстрашно перетасовывать сны, словно карты, перед тем, как их раздать... уметь проигрывать доблестно, снова тасовать карты и снова сдавать их в надежде на улыбку удачи.

Четвертый — принес мне ощущение одиночества.

Когда президент Вьетнама Хо Ши Мин приезжал в Дели, я виделась с ним. Он поцеловал меня в лоб и сказал: «Мы оба воюем против ложных ценностей, не так ли? Вы — своим пером, я — своим мечом». Впечатление от его личности было столь неизгладимо, что я написала стихотворение «Хо Ши Мину»[4],— оно было опубликовано в газете «Нян зан» 9 мая 1958 года, а позднее включено в программу песен народов мира, которую я тогда составила для «Радио Дели». Хо Ши Мину был посвящен и подготовленный мною сборник народных песен. И вскоре после его выхода в марте 1961 года он откликнулся телеграммой: «Шлю свое дружеское восхищение и самые добрые пожелания!»

...Мои советские друзья вытащили меня из трясины одиночества и смятения, которые я в то время тщетно пыталась преодолеть. В марте 1961 года пришло приглашение от Союза писателей СССР, а вместе с ним и письмо от прославленной поэтессы Зульфии, которая звала к себе в гости в Ташкент.

23 апреля я прилетела в Ташкент. Блестки некоторых пережитых там чудесных мгновений рассыпаны в дневнике, который я вела. Сердце Зульфии, словно чаша с вином, переполнено льющейся через край любовью...

Перелистываю лежащие передо мной книги. На обложке одной из книг портрет девушки, которая, казалось, вот-вот заплачет. Я чувствую, как ее слезы падают мне на колени. И тогда говорю: «Не знаю, почему так бывает, Зульфия, но слезы на глазах одной женщины всегда вызывают сочувствие у другой, в какой бы стране она ни жила. А когда понимаешь причину, вызвавшую слезы, связи крепнут, не так ли?» Зульфия переводит беседу в русло образов: «Для меня Амрита и Зульфия всего лишь два имени одной и той же женщины». И читает стихи поэтесс прошлого века — Надиры и Махджуны...

Жители Ферганы рассказывают, что, если всю годовую продукцию имеющихся здесь шелкомотальных фабрик обратить в одну нить, она дотянулась бы до Луны. Директора этих фабрик — женщины, они показали мне свои предприятия, а потом подарили прекрасный отрез шелка и спросили, что бы я хотела сказать работницам ко дню Первого мая — празднику, имеющему такое значение для рабочих всего мира. Вот мое пожелание:

Пряди свой шелк, о красавица долины!
Пусть Первомай принесет тебе исполнение желаний.

Май, двадцать пятое, год 1961

Чувствую себя потерянной в аэропорту Софии. Но вдруг кто-то окликает меня и протягивает цветы. «Вы — Амрита?»

Здесь, в Болгарии, я поклонилась памяти национального вождя Георгия Димитрова. Когда фашисты в 1933 году бросили его в тюрьму, писатели мира выступили в его защиту. Среди них был и крупнейший писатель Франции Ромен Роллан. Они вместе боролись за свободу от фашистского порабощения.

Май, двадцать седьмое

...Я посетила исторические места — дома, в которых жили Иван Вазов и Никола Вапцаров, знаменитые болгарские писатели. Мне довелось перевести несколько стихотворений Вапцарова на панджаби, и в его музее я нашла свою книжку с этими переводами. Некоторые из его строк, звеневшие в моих ушах, пока я их переводила, живо вспомнились здесь:

Вера в груди моей
сталью покрыта,
и для нее бронебойные средства
еще не открыты!
Еще не открыты!

(Перевод Б. Слуцкого)

Он написал эти строки незадолго до того, как в 1942 году был убит фашиста-

[1] Согласно индуистской ортодоксии жизнь индуса, принадлежащего к высшим кастам, подразделяется на четыре ашрамы — четыре ступени: брахмачарья — ученичество, когда он овладевает священным знанием; грихастхья — когда он создает семью и производит потомство; ванапрастхья — уход в лес с целью предаться размышлению, священным обрядам и т. п., подготавливая себя к последней стадии — санньясе, освобождению от каких-либо обязанностей перед обществом и людьми.

[2] Бодхисаттва — преодолевший все земные страсти и постигший высшую истину учения Будды.

[3] По поверьям индийцев у змеи на голове скрыт волшебный камень, исполняющий все желания.

[4] А. Притам. Тайны сердец. Алма-Ата, «Жазушы», 1977, стр. 145.

ми. Благоговейно прикасаюсь к его столу, к ручке, чашке, другим его вещам, и слезы набегают на глаза.

В ста шестидесяти километрах от Софии стою в деревенской церкви, где в 1876 году множество мужчин, женщин и детей укрылись от турецких орд, здесь я увидела колодец, вырытый осажденными. Стены церкви пробиты пулями так же, как у нас в Пенджабе, на Джалианвале Багх [1].

Осмотрела типографию в Пловдиве, где борцы за свободу печатали свои листовки и газеты. Видела цепи, которыми они приковывали себя, но можно ли приковать Время? Оно продолжало течь.

Проезжая через Калофер, изумлялась тянувшейся на многие километры веренице людей с цветами в руках, шедших, чтобы поклониться памяти героев.

Второе июня

День Христо Ботева... Горячо любимый народом поэт поцеловал дочь, которой шел всего двадцатый день, взял ружье и ушел защищать родину. Ему исполнилось 27 лет, когда он и его товарищи по оружию погибли,— в последний момент они пели песню, написанную им. Вечером перевела одно из стихотворений Ботева.

Июнь, тринадцатое

Весь день льет дождь. Даже выглянуть невозможно. Осталась в номере и погрузилась в чтение романа Ивана Вазова «Под игом». Меня поразило имя героини — Радха. Местами попадалась еще более индианизированная форма: Радхика. За ужином я в шутку спросила своего переводчика: «Как случилось, что Радха оказалась болгаркой? Ведь Кришна был индийцем... может быть, она пробежала от Болгарии до Индии, чтобы там встретиться с ним?»[2].

Сентябрь, двадцать седьмое

Московский университет вечером сверкает, словно какое-то сказочное творение. От смотровой площадки вижу реку, опоясывающую город. Незабываемы и прекрасны огни, отражающиеся в потоке воды... А на самом высоком холме около Тбилиси высится фигура женщины с мечом в одной руке и чашей с вином в другой: меч — для защиты от врагов, чаша с вином — друзьям! Видела здесь храм, выстроенный еще в VI веке, а в XVIII — превращенный в тюрьму.

На юбилей Руставели съехались писатели со всех концов света. Выступавшие на заседании говорили о том, что может сделать писатель для улучшения жизни человека. Всех взволновали слова Те Лан Виена, поэта из Вьетнама: «Сегодня наша поэзия плывет по рекам крови... сегодня она воспевает боевое оружие ради того, чтобы настал день, когда она сможет бросать на воду цветы. Наши солдаты, идя в бой, прячут в карманах стихи, которые мы пишем, и страстно надеются, что эти стихи уцелеют... Если мы сможем спасти стихи, есть уверенность, что сумеем спасти человечество».

Он подошел ко мне и сел рядом: «Вы из Индии? Вас зовут Амрита?» Заметив мое изумление, пояснил: «Когда я собирался в дорогу, наш видный поэт Суан Зиеу сказал мне: «Если прилетит туда поэтесса из Индии, это непременно будет Амрита. Передай ей от меня привет».

Мольба рвется у меня из сердца: «О, хоть бы все стихи в мире слились в одну грандиозную поэму! Разве не встала бы она на защиту Вьетнама?»

Октябрь, второе

Брожу по хранилищу древних рукописей в Ереване, столице Армении. Странники по воле судьбы, некоторые армяне писали на тамильском языке, когда им пришлось во время скитаний осесть в Южной Индии.

Видела церковь, высеченную в XIII веке прямо в теле горы. Каменная лестница, извиваясь, терялась в темноте. Взволнованная, запинаясь, спросила: «Могу ли и я подняться по лестнице?» Какая-то магическая, влекущая к себе сила заставляла меня стремиться туда. И невольно смутившись, я сама себе ответила: «Нет, наверно, нельзя!» При виде того, как некоторые люди благоговейно целовали алтарь, подумала, что не следовало бы мне ступать в это священное место. Но мне сказали: «Вот там, направо, есть ниша, где древние летописцы зажигали лампаду и, по мере того как текло Время, писали его историю. Вы можете пройти туда, сесть и писать так долго, как вам захочется».

Английский поэт задал мне в Тбилиси вопрос: «Не возникает ли у вас иногда невольное чувство родства с каким-нибудь народом нашей планеты?»

«Не совсем так,— ответила я,— я чувствую родство с героями некоторых книг». Но церковь в Ереване околдовала меня; близкими кажутся не только герои книг, но и иные уголки в других странах.

Октябрь, восьмое, год 1966

Двухсоткилометровая дорога от Москвы — словно сплошная галерея из расцвеченных арок. Я слыхала о чудесной русской осени, и вот она — передо мной, во

---

[1] Джалианвала Багх — площадь в г. Амритсаре, где 13 апреля 1919 года английский генерал Дайер учинил кровавую расправу над участниками мирного двадцатитысячного митинга. За десять минут было убито свыше тысячи человек. В 1961 году на этой площади установлен величественный памятник героям национально-освободительного движения.

[2] Радха — имя возлюбленной Кришны, бога-пастуха, одного из популярных героев индийского фольклора.

всей своей красе, с пурпурными и золотисто-коричневыми листьями, которые ветер срывает с деревьев. Белые стволы берез на фоне листвы кажутся выкованными из серебра.

Ясная Поляна, дом Толстого, в котором он написал «Войну и мир». В его спальне на стене висит белая рубаха. От волнения опираюсь о стену рукой, порыв ветра врывается в окно, и рукав рубахи нежно касается меня. Уж не в 1910 ли я году?.. На мгновение стрелки часов ринулись вспять, и вот уже не 1966 год, а 1910-й, и смотрите, смотрите... сам Толстой стоит рядом, в той самой рубахе!

Придя в себя, осмотрелась. Ни единой души кругом. Только на стене, слева от меня, висит белая рубаха.

Август, тридцать первое, год 1967

Неподалеку от Крагуеваца, в ста километрах от Белграда,— зеленый простор. В его разрыве вижу два белых крыла шириной метров в восемнадцать, распростершихся над землей. 21 октября 1941 года нацисты окружили местную школу и расстреляли тут всех детей и учителя. Каменные крылья — символ трагедии трехсот погибших. А потом и все население городка — семь тысяч человек — пало жертвами нацистов. Каменные изваяния мужчины и женщины высятся над семью тысячами могил. Я стою потрясенная...

Ноябрь, десятое — шестнадцатое, год 1972

Судьба каждой страны видится мне поэмой, всякий раз особенной, некоторые строки ее высечены в золоте, другие — обагрены кровью героев, павших от пуль захватчиков, иные — вечно остаются юными... может случиться и так, что страна похожа на неоконченную поэму... Италия, например, показалась мне и законченной, завершенной поэмой, и незавершенной. Повсюду видишь здесь мраморные статуи. Они словно растут из самой земли. Это строки поэмы, коснувшись камня, превращаются в статуи — они, словно семена, упавшие в землю; их заботливо выхаживали руки Микеланджело и других мастеров. Одна глава этой поэмы, называющейся Италией, написана кровью: она весьма пространна и повествует о том, как тысячи рабов, подобных Спартаку, вели смертельные игры друг с другом. Есть в ней главы бледные — смертельно-бледные от страха перед стенами Ватикана, за которыми царит папа римский; Италия — страна сложной судьбы. Многие главы этой страны-поэмы пышно цветут, подобно окружающей природе, а есть, конечно, те, которые хотели бы изгнать из памяти, как был изгнан из родного города Данте, творец «Божественной комедии». Есть и такие, которых турист никогда не узнает,— они улыбаются такой же загадочной улыбкой, как и Мона Лиза Леонардо.

Путешествие длиной в пятьсот лет

В от другое мгновение — все в улыбках, оно — из самого начала года 1969-го. Чуть-чуть позже полуночи зазвонил телефон — это меня вызывал по международному телефону сын, учившийся тогда в университете города Барода (штат Гуджарат). В ответ на все мои письма он сообщал по телефону: «Мама, у меня все хорошо. Здоровье в порядке!»

Этот, такой долгожданный звонок буквально пронзил меня. Когда зазвонил телефон, я, откинув одеяло, ничем не прикрывшись, ринулась к аппарату. И мне было тепло — плоть растаяла, слилась воедино с духом, заставила пылать огнем мою бедную, нагую душу.

Словно молния сквозь тьму, сверкнула мысль: если я, самая обыкновенная женщина, могу быть так потрясена звуком голоса моего сына, то что должна была испытать Трипта, мать великого Гуру Нанака, пока носила сына под сердцем?

В этом году как раз должно было праздноваться пятисотлетие со дня рождения Гуру. Я только что отказалась от предложения издателей написать большую поэму о нем. Испытай я подобное потрясение раньше, возможно, я и не стала бы отказываться. Но именно оно, озарение, вызванное голосом моего сына, заставило меня совершить странствие через пять мрачных столетий в те времена, когда жила достойная женщина, родившая миру Гуру Нанака. В глубине мрака еле-еле теплились дни и ночи. Все это время я буквально жила так, как говорят греки: «из любого дерева можно сделать крест»,— и написала поэму «Благовещение» [1], в которой каждому из девяти месяцев, пока вызревал младенец, соответствовали девять снов Трипты.

Но стоило только ей, этой поэме, появиться, как на меня обрушился со стороны пенджабских журналистов — и довольно многих — ливень нападок. Они требовали от правительства штата Пенджаб наложить на мою поэму запрет. Один из писателей, обозвав меня «червем любви», оспаривал мое право вообще обращаться к такой возвышенной теме. Другие предпочитали отмалчиваться и предоставили своему чувству ответственности спокойно спать.

Я не отчаивалась, поскольку творческий подъем, испытанный мной за время работы над поэмой, дал мне и радость, и силы выдержать эти атаки. Хотя я и знала, каких могущественных врагов обрела, но была уверена, что выстою.

---

[1] В русском переводе «Девять месяцев». А. Притам. Тайны сердец. Алма-Ата, «Жазушы», 1977, стр. 67—79.

Семена правды

Намвар Сингх[1], критик, пишущий на языке хинди, произнес знаменательную речь в 1972 году, когда ему вручали премию Литературной Академии. Характеризуя задачи критики, Намвар Сингх сказал, что, прежде чем украшать дом, нужно сначала вычистить углы от паутины и хлама.

Так оно и должно быть. И все же, после некоторых размышлений, я пришла к выводу, что думать так не совсем верно. Кто способен со стороны оценить значение или напряженность момента, пережитого кем-то другим? Если литература в каком-то смысле дом, то он должен содержаться в порядке, быть избавленным от пыли. Но в ходе уборки не нужно подгребать мусор к дверям соседа.

В июне 1972 года я встретилась с Кулвантом Сингхом Вирхом[2]... Показала ему новый рассказ «Побег ака»[3]...

Я объяснила, что выбрала это растение как символ горькой правды и именно он доминирует во всей книге.

— Должно быть,— говорил он,— ты видела само растение... но знаешь ли, как оно попадает в землю?

— Знаю лишь, что никто и никогда его не сеял, но ты найдешь его где угодно.

— Ты видела, как от него летит пух? — Я утвердительно кивнула.— Ну так в каждой пушинке скрыто крохотное крылатое семечко. Оно, куда бы ни полетело и где бы ни упало, тут же и прорастает.

— Чудно! Совсем как правда, не так ли? Никто ее не сажает, и, однако, у нее есть крылья. Куда бы она ни полетела и куда бы ни упала, она растет...

На следующий день почта доставила очередной номер журнала «Советская литература», посвященный индийской литературе в Советском Союзе. Статья поэтессы Риммы Казаковой о сборнике моих стихов, изданном на русском языке, завершилась следующими строками: «Она не может не разделить с другим самое сокровенное и горестное, и уже поэтому она — наставник, товарищ по оружию.

Горячий пепел горя, выгоревшего и ставшего силой, щедро протянут советским читателям нежными, но твердыми руками замечательной женщины из далекого Пенджаба. Она может быть уверена, что тысячи и тысячи рук протянуты к ней».

Как же так вышло, что я не увидела Римму? Ведь четыре раза я была в Москве. Но как бы то ни было, в это мгновение я почувствовала, что наши руки встретились... Никто никогда не знает, в какой уголок земли залетят крылатые семена растения ак...

Лишь в сказках бывают крылышки фей, но ныне на этой доброй земле воочию увидела, что семена человеческого сочувствия обретают крылья, находят благодатную почву, пускают корни и побеги.

...Какая-то непонятная сила толкает героя моего рассказа «Побег ака» на железнодорожную станцию каждый день, как только начинает смеркаться, в надежде встретить погибшую сестру. Он всматривается в лица пассажиров, вагон за вагоном, пока наконец еще более сильное побуждение не заставляет его сесть в один из поездов, проходящих через его деревню. Холодно. На нем нет ничего теплого. Скорчившись, он сидит всю зимнюю ночь, ему удается вздремнуть, но резкий толчок поезда будит его. И тут он с удивлением обнаруживает, что сидевший рядом с ним старик укрыл его одеялом.

Вот этот неожиданный поворот сюжета напомнил о том, что случилось однажды со мной. Я ехала ночным поездом из Румынии в Болгарию. На мне — всего лишь легкое пальтецо, которое, конечно же, не могло защитить от пронизывающего холода. Не помню уже точно когда, но я почувствовала тепло, погрузившее меня в глубокий сон. Проснувшись утром, я увидела, что это сидевший в моем купе болгарин укрыл меня своим пальто.

Не знаю, умышленно ли я включила эту ситуацию в свой рассказ. Но меня не оставляет ощущение, что теплота той ночи жила во мне, ожидая своего часа.

[1] Намвар Сингх — современный индийский прогрессивный критик, активный участник афро-азиатских встреч писателей.

[2] Кулвант Сингх Вирх — один из крупнейших современных пенджабских прозаиков. Его книга «Бремя земли» вышла в издательстве «Прогресс» в 1974 году, а рассказы были опубликованы в «ИЛ» в № 11, 1971.

[3] Ак — растение, сок которого используется в медицине. Отличается высокой жизнестойкостью.

Феникс вновь и вновь воскресает. Одна ночь.

Однажды перед сном я читала «Махабхарату», и мне приснилось, что мне на колени опустился голубь. Преследовавший его ястреб потребовал, чтобы я отогнала беззащитного голубя. Чем яростней налетал ястреб, тем сильней прижимался ко мне голубь, пока наконец ястреб не потребовал куска моей плоти, равной по весу голубю. Не раздумывая, я согласилась. Но вот беда — голубь становился все тяжелее и тяжелее... пока мне наконец не пришлось отдать всю себя, свою жизнь целиком. И тогда меня озарило — голубь олицетворял собой Перо и то решительное сопротивление, которое я оказывала силам, пытавшимся вырвать его из моих рук[1].

[1] «Махабхарата» — великий национальный эпос индийцев. Сон, рассказанный Амритой Притам и приобретший для нее символическое значение, навеян легендой о царе Шиби, спасшем голубя ценой своей плоти.

◆

Заметки на полях

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПАРКИНСОНА»

Двадцать лет назад «Иностранная литература» познакомила советского читателя с ироническими и парадоксальными наблюдениями английского историка и социолога Сирила Норткота Паркинсона, изложенными им в книге «Закон Паркинсона» — произведении, завоевавшем широкое признание скорее в качестве талантливого памфлета на английскую бюрократию, нежели социологической работы. Однако изящество литературной формы лишь способствовало усвоению сути открытого «закона», утверждавшего торжество посредственности.

В мартовском номере английского журнала «Букс энд букмен» за этот год Паркинсон поделился своим новым парадоксальным «открытием». На этот раз в области массовой культуры:

«В недавнем прошлом романисты и драматурги имели обыкновение мечтать о том дне, когда их творение появится на экране. Книга, по которой снимался фильм, становилась фильмом, снятым по книге. И книга, и фильм умножали взаимную популярность, а вместе с ней — славу и доходы автора. Иногда случалось, что при экранизации пьеса значительно выигрывала, как, без сомнения, произошло, например, с шекспировской «Бурей», словно созданной для экрана.

Однако сегодня мы наблюдаем прямо противоположную ситуацию. Сообразительный автор пишет сценарий для кино или телевизионного сериала, а затем он же или кто-то другой завершает работу публикацией книги, в основе которой лежит то, что уже появилось на экране. Реклама, которую создает телевидение, настолько широка, что совершенно немыслимо упустить случай и признаться, что книги, по которой все это было создано, никогда не существовало... Если раньше искали книгу, которая могла бы обеспечить популярность экранизации, теперь популярность на экране создает книгу. Подобный оборот дела привел к тому, что сегодня Би-би-си сама издает книги, используя выгоды ею же обеспеченного успеха И в результате может появиться книга с прекрасными фотоиллюстрациями, что, без сомнения, сделает ее весьма привлекательной».

Как видим, Паркинсон обнаружил обратную последовательность во взаимоотношениях слова и визуального образа: не текст требует иллюстративного материала, а яркий материал, предназначенный для зрительного восприятия, нуждается в словесном комментарии. Он рассуждает так:

«Главным недостатком этой обратной последовательности является то обстоятельство, что написанная в спешке книга может получиться плохой. Ведь исходный сценарий был предназначен не для читателя, а для зрителя. И на деле такая книга — все тот же сценарий, у автора которого не было времени на доработку Его основная задача состоит в том, чтобы книга встала на полки до того, как зритель успеет забыть экранизированный вариант».

В подтверждение своих рассуждений Паркинсон приводит изданную Би-би-си книгу Кристофера Рэллинга «Путешествие Чарльза Дарвина». Ее автор, ни в коей мере не претендуя на создание биографии Дарвина, отобрал и скомпоновал для иллюстрации

сюжета предшествовавшего сценария и представленных в книге фотографий отрывки из автобиографических заметок Чарльза Дарвина. По мнению Паркинсона, «книга имеет все недостатки, диктуемые ее происхождением, но у нее есть и достоинства, которыми она обязана тому же источнику,— прекрасные фотографии и великолепный образец парусного брига, задерживающий внимание читателя на обложке книги».

Бурный расцвет средств массовой информации, приведший к проявлению противоречивых тенденций перераспределения и специализации обработки информации внутри массовой культуры в целом, привлек в последнее десятилетие внимание многих видных социологов, высказавших ряд парадоксальных на первый взгляд суждений. Как известно, одним из самых мрачных и нашумевших было заявление канадского социолога Маршалла Маклюэна, провозгласившего грядущую гегемонию визуального образа и предрекшего близкую смерть «галактике Гутенберга».

Жизнь показала, что печатное слово с честью выдержало натиск визуальных средств информации. Прежде всего это обнаружилось в публицистике, той области «галактики», которая всегда стояла между традиционной газетной журналистикой и художественной литературой. Здесь стремительно расцвели фотожурнализм и «новый журнализм». Первый был предельным проявлением взрыва визуальных средств информации (книги превратились в фотоальбомы), второй — максимально приблизился к художественной литературе. Эти явления как бы воплотили полярные тенденции публицистического «поля». Но вскоре за взрывами фотожурнализма и «нового журнализма» последовали синтетические работы, соединившие мастерство камеры и слова: Джеймс Болдуин и Ричард Аведон выпустили альбом об Америке (1964) [1]; Норман Мейлер на материале фотовыставки, обошедшей весь мир, создал книгу о Мэрилин Монро (1970); на основе рисунков времен второй мировой войны Джеймс Джонс написал книгу «II WW» [2] (1975). Нельзя не упомянуть в этой связи и эссе Тома Вулфа «Раскрашенное слово» (1975) [3], убедительно вскрывшего обнаруженный им парадокс: абстрактная живопись была бы немыслима без широкой рекламы, созданной ей критическим словом, раскрашенной тенью которого она по существу и была. Таким образом, «последовательность Паркинсона» как бы замыкает «круг», очерченный словом за истекшие полтора десятилетия.

Примечательно, что в рецензии на книгу Рэллинга о Дарвине, сравнительно заурядный образец его обратной последовательности, Паркинсон высказывает и другие интересные мысли. Вторая часть его статьи касается текстуального компонента книги Рэллинга, то есть использованных им заметок Чарльза Дарвина. И рассуждения Паркинсона выявляют тенденции, характерные для современных форм самовыражения в слове:

> «Заметки Ч. Дарвина отличаются необыкновенной привлекательностью по крайней мере в двух аспектах — они относятся еще к тому раннему периоду расцвета науки, когда она не отличалась современной специализацией. Дарвина принято называть натуралистом. И он действительно одинаково живо интересовался ботаникой и зоологией, насекомыми и камнями. Он с энтузиазмом писал об окружавшем его пейзаже и о привычках и особенностях людей, с которыми ему доводилось встречаться».

Паркинсон с восхищением цитирует рассуждения Дарвина о пейзаже, погоде, аргентинской революции, доктрине равенства людей, социализме. «Дарвин,— заключает Паркинсон доказательство своего первого тезиса,— интересовался всем».

> «Во-вторых, Дарвин мастерски владел словом, что придает его запискам стилистический блеск и силу образной выразительности. Преподавателям словесности кафедр наших многочисленных и не обойденных славой университетов язык представляется чем-то, создаваемым драматургами, романистами и поэтами, которые уже получили академическое признание. Как будто на нем никогда не писали такие персонажи, как королева Елизавета или сэр Фрэнсис Дрейк. Представить же себе, что этим языком пользовались ученые, им еще трудней.
>
> А меж тем отрывки из произведений Дарвина или, например, Гексли дают достойную пищу для размышлений на эту тему».

И здесь, словно сочтя очевидными напрашивающиеся из его слов выводы, Паркинсон, как бы увлекшись яркой личностью Дарвина, делает неожиданное отступление: «Дарвин писал прекрасно, но, думается, многие откажут ему в искусстве литературного критика». И он цитирует следующее суждение Дарвина:

> «Романы, будучи плодом воображения, хоть и не очень высокого сорта, на протяжении многих лет служили мне прекрасным средством отдыха и развлечения, и часто я благословлял всех романистов. Огромное число романов было прочитано мне вслух. И все мало-мальски хорошие мне нравились — при условии, что они кончались счастливо; я полагаю, на этот счет должен быть принят закон. По-моему, роман не может быть признан первоклассным, если он не содержит

[1] См. «ИЛ» № 8, 1979.
[2] "II World War" —вторая мировая война.
[3] См. «ИЛ» № 6, 1976.

персонажа, который способен вызывать сильную любовь; а если это хорошенькая женщина — тем лучше».

Паркинсон готов согласиться, что, «если вообще существуют критерии оценки литературных произведений», они могут быть иными и более удачными, хоть сам он считает, что «существующие сегодня критерии, без сомнения, гораздо хуже».

Это отступление от темы по сути является психологическим приемом Паркинсона: он умышленно избирает предмет, в котором Дарвин, очевидно, некомпетентен, и цитирует его сугубо субъективное мнение на эту тему. Тем самым Паркинсон подчеркивает, что ему импонирует именно яркая индивидуальность оценок Чарльза Дарвина, то, что его личность открыто и талантливо утверждается в суждениях на любую из избранных автором тем.

Таким образом, Паркинсон на этом частном примере показывает две характерные черты современной массовой культуры — специализацию научного знания, делающую его практически недоступным широкому читателю, и упадок самой формы изложения информации, исчезновение той индивидуальной окраски и выразительности, которые в свое время снискали славу Декарту, Бэкону, Вольтеру и выделили эссеистику в самостоятельный жанр изящной словесности.

Паркинсон пишет о нивелировке формы продукта культуры как ведущей тенденции современного ее рынка и с сожалением вспоминает более достойное прошлое. Однако заметим, что наряду с этой определяющей тенденцией сегодня четко наметилась и противоположная ей — возрастание личного начала и повышение художественного уровня продукта культуры, что диктуется суровыми условиями сбыта. Потребностью в повышении качества, информативности продукта культуры обусловлена и та новая и неожиданная последовательность, о которой Паркинсон говорит в первой части своей статьи. Именно она породила синтетические формы, более полно отвечающие современным техническим возможностям и обусловленному ими стремлению расширить сферу восприятия информации.

Эта последовательность находит свое выражение в сравнительно немногочисленных, но тем более ярких явлениях культуры. Таких, как перечисленные выше синтетические работы, соединившие таланты мастеров разных областей культуры, или американский «новый журнализм». Непосредственное отношение к затронутому кругу проблем имеет и фигура самого Паркинсона, серьезного историка и социолога, излагающего свои мысли в привлекательной для широкого читателя форме, пробующего свое перо в жанре приключенческого исторического романа и способного обнаружить новые «обратные», на первый взгляд, последовательности в различных областях — социологии, истории, литературе. Паркинсон напоминает об уменьшении доступности специального знания, в то время как его собственная творческая деятельность отвечает уже обнаруженной социологами потребности современной культуры — потребности в «переводчиках» специальной информации на общедоступный язык широкой аудитории. Причем «переводчиках» талантливых, умеющих не только видеть аналогии и закономерности в разных областях современного знания, но выявлять их в привлекательной для неспециалиста форме. Вспомним в этой связи, например, А. Азимова, А. Кларка, Д. Данина, Н. Эйдельмана, Д. Вулли, К. В. Керама, чьи книги о прошлом и настоящем помогают увидеть очертания будущего.

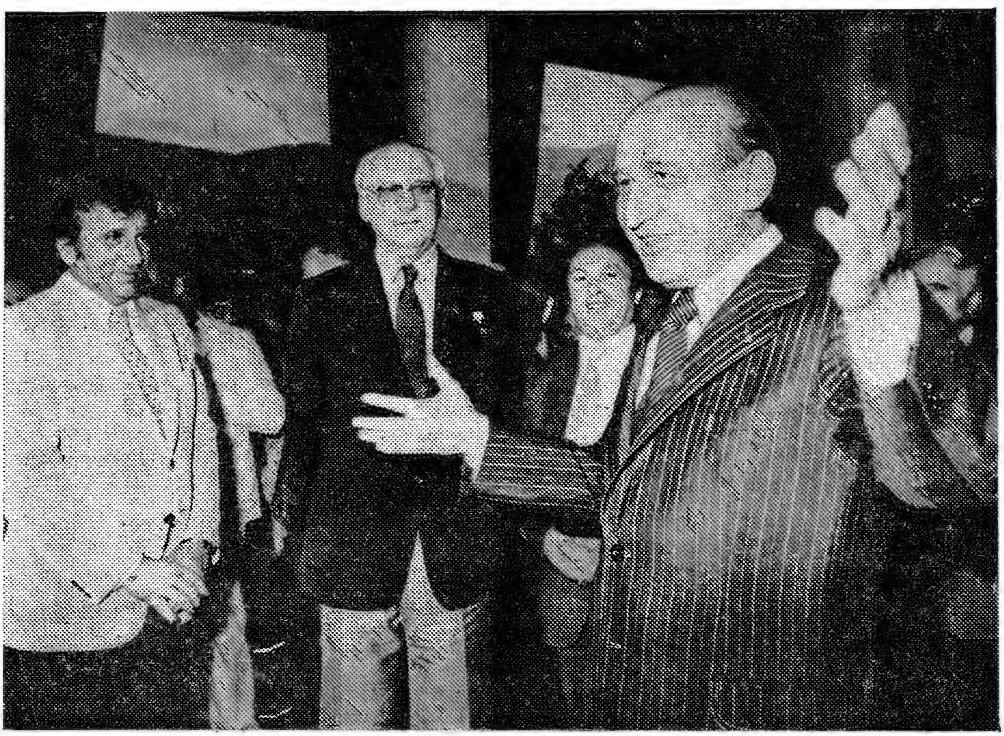
Т. Р.

◆

Публицистика

СОФИЯ-79: МИР — НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ



Тодор Живков беседует с участниками встречи (справа налево: Тодор Живков, Иосиф Нонешвили, Сергей Михалков, Любомир Левчев).

Текст приветственного обращения, опубликованного в еженедельнике «Литературен фронт»

Тодор Живков

Дорогие товарищи!

Уважаемые дамы и господа!

Дорогие гости!

От имени Государственного совета Народной Республики Болгарии и от своего имени сердечно приветствую вас, талантливых и вдохновляемых самыми светлыми человеческими идеалами творцов художественного слова Европы, США, Канады, которые вновь собрались в столице Народной Республики Болгарии Софии на писательскую встречу, посвященную самой благородной и важной сегодня цели — сохранению и укреплению мира во всем мире.

Даже самый факт проведения вашей встречи превращает ее в важное международное культурное событие современности. Это бесспорно, потому что писатели воистину являются совестью своего народа и своего времени и их мысли и деяния приобретают большой общественный и символический смысл.

Ровно два года назад здесь состоялся всемирный форум писателей под девизом: «Мир — надежда планеты!», который получил чрезвычайно широкий и благоприятный общественный отзвук. Сегодня мир более всего нуждается в этой надежде. Вопрос о мире сегодня — это вопрос о существовании человеческой цивилизации или о ее гибели. А история нас учит, что мир нельзя защитить раз и навсегда, что это должны делать все каждый день и каждый миг.

Поэтому ваша новая встреча — не только воспоминание о предыдущей и напоминание о ее замечательном успехе, она может и должна превратиться в новый, первостепенной важности вклад в дело мира во всем мире.

Как известно, 1979 год объявлен Международным годом ребенка. Слова «мир», «дети» и «будущее» неразделимы. Ребенок — самый реальный символ будущего человечества. Обеспечить прочный мир для детей, для талантов и творцов будущего — разве может быть цель более возвышенная, чем эта! В нашей стране общество мобилизует и направляет все свои силы на создание реальных условий для раскрытия и реализации способностей и талантов каждой отдельной личности, всего подрастающего поколения.

Зрелому социалистическому обществу, которое мы строим, необходимы всесторонне и гармонично развитые личности. Этим гуманным идеям посвящается и международная детская ассамблея «Знамя мира», которая состоится в нашей стране.

История наслоила глубокие пласты недоверия между народами; люди разных стран все еще недостаточно знают друг друга, очень часто их еще разделяют взаимные предрассудки. Возможности художественной литературы в сфере познания и сближения людей, их сплочения в борьбе за свободу и социальный прогресс, в развитии общения и взаимопонимания безграничны, потому что магия слова, осененного высокими идеалами, неотразима.

Человечество развивается, используя выстраданный опыт предыдущих поколений. В этом мы видим большую и благородную прометеевскую миссию и деятелей искусства, и писателей, переносящих искру человеческого духа из прошлого в будущее.

С уважением к вашему делу еще раз от всего сердца желаю плодотворной работы софийской писательской встрече, а вам — здоровья и новых творческих успехов во имя мира, на благо ваших народов и всего человечества.

Ваш ТОДОР ЖИВКОВ,
Председатель Государственного совета Народной Республики Болгарии.
7 июня 1979 года.

Людмила Живкова,

Председатель Комитета по культуре НРБ

Из текста речи при установлении мемориальной доски, посвященной Первой софийской встрече [1]

Товарищи!

Дамы и господа!

Мы, люди сегодняшнего дня, живем в динамичную эпоху. В эпоху, отмеченную ускоренным пульсом перемен, открытий, обновления, собирающую воедино ритм тысяч, миллионов пробужденных сердец, ритм борьбы, надежд, стремлений и труда. Перед нашими глазами проходят страны и народы, вставшие на путь прогресса. Если мы хотим понять характер тенденций, явлений и процессов, которые называем современностью, мы должны знать, что невозможно идти к будущему, не стремясь к нему, не чувствуя в этом душевной необходимости, которая превращает исполненные мужества замыслы в новые образы силы и красоты.

В Софии, столице, самое имя которой обозначает Мудрость, два года тому назад состоялась международная встреча писателей, собравшая выдающихся художников слова со всех концов света. Целью, которая привлекла столько ярких творцов с различным идейным и творческим кредо, идеей, объединившей гражданские и творческие устремления и помыслы писателей, был мир. Это слово — вечный символ единства и неделимости человечества, несущее в себе истину о жизни, подразумевающее принципы сотрудничества и творчества, сегодня является фокусом человеческих надежд, мобилизует и объединяет усилия миллионов людей. Встреча, закономерно вызвавшая широкий взволнованный отклик международной общественности, была названа исторической. Насущная общечеловеческая, высокогуманная цель ее не только оставила прочный след в сознании ее участников, в жизни культурной общественности мира, но прочно включила это событие в цепь причинно-следственных закономерностей, ведущих к торжеству истины и света.

Наша страна гордится тем, что выступила в роли хозяина и практического организатора этого важного международного культурного события. Культурная общественность и весь болгарский народ оценили мужественный голос совести писателей, их высокую ответственность перед историей и будущим, глубокий гуманизм и демократизм этого писательского форума.

Новая встреча писателей в Софии — желанный и радостный факт. Мы счастливы снова приветствовать вас словами «Добре дошли!» в нашей стране — Народной Республике Болгарии, стране, которая за свою 1300-летнюю историю была не только точкой пересечения военных походов и варварских нашествий, но и центром культур и цивилизаций, средоточием высочайших достижений человеческого духа, зрелых идей и целеустремленных начинаний. Сегодня мы прекрасно понимаем, что народы и культуры не изолированы. Во всех концах планеты создавались, создаются и будут создаваться культурные и духовные ценности, будут рождаться высокие мечты и стремления и герои-огненосцы, носители силы и сознания необходимости общечеловеческой солидарности, без которой невозможно построить здесь, на земле, мир более прекрасный и справедливый, в котором всем людям дана возможность развиваться, непрерывно совершенствоваться. Необходимость сотрудничества и общения между культурами и народами — веление нашего времени, обусловленное поступательным движением истории, более высоким уровнем человеческого сознания. И мы рады, что София снова гостеприимно и доброжелательно встречает стольких достойных писателей Европы, США и Канады, своим творчеством доказавших, что могут быть названы совестью времени.

Мы верим, что пламя новой софийской встречи осветит и поможет глубоко осмыслить эти прекрасные идеалы. Желаем вам успеха, сотрудничества и творческого единомыслия во имя нашего общего будущего. ■

[1] Речи печатаются с небольшими сокращениями по текстам, опубликованным болгарским еженедельником «Литературен фронт» 7 и 14 июня 1979 г.

Рафаэль Альберти

ИСПАНИЯ

Друзья!

В Испании в 1937 году, несмотря на жесточайшие бомбардировки врагов мира, свободы и культуры, лучшие писатели сумели собраться, чтобы возвысить свой голос в защиту испанского народа в войне, которая длилась больше 32 месяцев и завершилась поражением революции, погрузив страну в долгую ночь фашизма. Сегодня здесь, на европейском Востоке в мирной Софии, в это прекрасное летнее утро мы встретились, имея возможность вновь выразить поддержку испанскому народу, вступившему, хотя и не без трудностей, на путь, ведущий к свету и демократии. Но главное, что нас собрало здесь,— идея превратить Вторую международную встречу писателей в символ борьбы, солидарности и поддержки измученного человечества, которое чувствует угрозу над миром, которое видит, как огонь подбирается к его единственному утешению — расцветшей ветви надежды. И так как эта писательская встреча проводится в Международный год ребенка, давайте сделаем так, чтобы дети (а думаю я сейчас прежде всего о детях, погибших в Испании, в годы страшной второй мировой войны, во Вьетнаме и во многих других точках планеты) нашли в нашем единстве, в наших устремлениях, в нашем действенном слове самую надежную опору, самую твердую гарантию своего свободного и спокойного существования.

Мы, писатели из разных стран, собравшиеся здесь, всегда должны помнить благородные идеи, составляющие понятие «дух Хельсинки», всегда должны быть знаменосцами мира, настоящими посланцами мира, справедливости и свободы для всех людей. И пусть такое прекрасное слово, как «надежда», никогда не окажется похожим на голубя с опущенными крыльями, пусть оно живет, свободно паря, отзываясь во всех людских сердцах на планете.

Я бы хотел закончить свое выступление стихотворением, написанным мною давно, но актуальным и сегодня, потому что в нем говорится о единстве, мире и гармонии, хотя оно и посвящено разъединенным в то время испанцам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОКЛЯТОЙ ТЕНИ

Как будет трудно, мать, твоим сыновьям
к тебе вернуться!.. Столь ожесточились
мы сердцем, что твоей любви, поверь,
не стоим мы: ведь нас с тобою тень
проклятая сегодня разделяет,
невидимо вонзаясь в грудь твою,
в твое стесненное тоскою сердце,
не ведающим жалости, смертельным
ударом топора.
Нет рук у нас, чтобы тебя обнять,—
да, да, нет их — когтями пальцы стали,
не жаль им родниковых глаз твоих,
сочащихся незримыми слезами...

И нету губ, а зубы, как рога,
чьи острия подпилены, не могут
почувствовать ни губ твоих, ни щек...

Вслед за несчастьями настал черед
ночей безглазых и слепых рассветов,
когда наш каждый день кончался
смертью...
И то, чего быть не должно на свете,
то, что для нас всегда не здесь, а где-то,
там, далеко, в плену чужих границ,
бледнеющих от ужаса,— случилось.

Но не помысли и на краткий миг,
что все забыто и забвенья штиль
утишит волн неистовый разбег,
их ярое родео... Нет, они
петлею сдавят берега твои,
и ты восстанешь, кровью изойдя...

Приблизься к нам, о мать, и протяни
прекраснейшую ветвь твою, что скрыта
от нас до времени.
Мы за нее все вместе
ухватимся и заалеем
диковинными сладкими плодами.

Очищены от горькой кожуры,
от ядовитых косточек свободны,
они тебе откроют, мать, в тот день
сердца тобой прощенных сыновей[1]

(Перевод И. Чежеговой)

[1] Рафаэль Альберти. «Избранное». Москва, «Художественная литература», 1977, стр. 294.

Пантелей Зарев

БОЛГАРИЯ

Уважаемые дамы и господа!

Товарищи!

Всего лишь два года назад в этом зале прозвучали слова солидарности, продиктованные нашей писательской совестью. Всех нас тогда волновали проблемы войны и мира, будущего людей — проблемы, неразрывно связанные друг с другом в общечеловеческой истории. Эти выступления напомнили о том, как часто за последние десятилетия наш мир оказывался в опасности быть ввергнутым в новую мировую войну, из которой земля вышла бы обезображенной и искалеченной. Какие бы ни существовали между нами различия — политические или философские, социальные или религиозные,— нас всех волновала эта важнейшая проблема, и в течение трех дней мы вели разговор о писателе и о мире, о духе Хельсинки и о долге деятелей культуры. Мы все помнили о том, что в Хельсинки было отражено естественное стремление народов к сотрудничеству, и мы, писатели, собрались, чтобы продемонстрировать это стремление здесь, в Софии.

На земле по-прежнему неспокойно, и мы понимаем, что уцелеть возможно, лишь опираясь на силу разума и духовное прозрение, и что литература — память человечества — должна нести в себе мечту о совершенстве — мечту о будущем. Именно идеи гуманизма и мира, способные выстоять в противоборстве политических, философских, социальных и религиозных взглядов, и послужили причиной нашей новой встречи.

Можно сказать, что каждое время, каждая эпоха порождает свой тип творцов истории и культуры. Для современного писателя характерно чувство ответственности за судьбу человечества. Как бы резко порой ни расходились наши мировоззрения, истинно большого писателя сегодня не может не волновать такой злободневный вопрос, как сохранение мира, он не может не быть связанным всем своим существом, своей совестью и своими убеждениями с этой самой насущной проблемой современности. Мы собрались здесь, чтобы еще раз продемонстрировать наше единство, чтобы высказаться искренне, сообразно нашим принципам. Люди нуждаются в доверии и согласии, ибо лишь сотрудничество способно предотвратить развязывание разрушительной войны.

Великие художники слова внимательно всматривались не только в настоящее, но и в будущее. Они всегда в той или иной степени отдавали дань тому, что мы условно называем «гуманным утопизмом», то есть мечте о лучшей жизни, о создании идеального общества. В наши дни эта мечта заключает в себе важную задачу — уберечь человечество от уничтожения. Эта обязанность и определяет меру ответственности писателя в нашу эпоху, придает духовную силу творцу, возвышает его мысли и чувства. Любое отклонение от этой великой ответственности нанесло бы непоправимый вред гуманистическому предназначению писателя, сделало бы его творчество менее эффективным. Речь в данном случае идет не о системе взглядов, не о философии вообще, а о нравственной позиции, которая вытекает из любви к человеку, из уважения к мировой культуре, к наследию наших предшественников-писателей, позиции, зиждущейся на желании сохранить создаваемые сегодня духовные ценности.

Долг и ответственность писателя возрастают в сегодняшнем мире, полном тревоги за завтрашний день, и в силу того факта, что судьба человечества никогда до сих пор не была столь уязвима. Войны прошлых столетий выглядят детскими играми в сравнении с современной войной. Даже Толстой в своей эпопее «Война и мир» рассматривает военные конфликты как некую часть жизни, как особый тип человеческого бытия со своими законами, своей моралью и своей психологической предопределенностью, хотя при этом резко их осуждает. Орудия современной войны по самой сути безнравственны. Убийство с помощью водородной и нейтронной бомбы настолько автоматично, технически совершенно и неуправляемо, что все рыцарские добродетели, выработанные во времена прошлых сражений, оказываются сегодня непригодными. Благородство, личный и национальный героизм, чувство уважения к врагу, милосердие к гражданскому населению, отвращение к насилию, единство в страдании современ-

ные средства ведения войны превращают в «нравственные экспонаты», ставшие достоянием музеев военной истории. Современные армии настолько перенасыщены орудиями умерщвления, что отдельная личность теряет свою реальную ценность. Третья мировая война оказалась бы страшной формой тотального истребления, апокалипсическим взрывом, за которым последовало бы медленное умирание среди всеобщего безмолвия. В этом смысле мы называем свою писательскую деятельность «мессианской». Сама сущность словотворчества подразумевает сближение, причастность; если мы говорим — нас услышат.

Каждый настоящий писатель входит в большую литературу со своим личным миром. Не без основания мы говорим о мире Достоевского и Диккенса, о мире Шолохова, Томаса Манна и Фолкнера, но, к сожалению, реальный всеобъемлющий мир, находящийся под угрозой,— этот мир один, и он вмещает в себя всю культуру.

На настоящей встрече мы вспомним темы прежних бесед и продолжим, хотя и в меньшем составе, нашу полезную дискуссию о писателе и мире, о нашей ответственности перед человечеством и его будущим. И наше слово сегодня будет иметь особый смысл, ибо оно прозвучит в год, объявленный Организацией Объединенных Наций Годом ребенка. Весь мир обращает свой взор на детей, лелея в глубине души надежду на сохранение спокойствия на нашей планете и устранение тех фобий, которые порождает в детских сердцах мрачная тень войны.

Уважаемые друзья!

Дети и мир — нет ничего более хрупкого в нашем сложном, разделенном мире. Они — залог главной ценности, объединяющей человечество, его будущего. Будущее — это дети и мир, и оно — в наших руках, в руках взрослых.

Так давайте постараемся, чтобы добрая фея, сеющая разумное и прекрасное, освободила мысли и чувства детей от страха и наполнила их души радостью и надеждой.

В августе здесь, в Софии, состоится Международная детская ассамблея под патронажем ЮНЕСКО. Это будет встреча детей всех стран мира, одаренных в различных областях литературы и искусства. Сюда съедутся дети-писатели и дети-художники, музыканты и композиторы; они будут соревноваться, желая осчастливить людей новым видением мира, новым словом о человеке и о себе. Для нас это будет праздник весеннего Ренессанса, самого молодого искусства и самой молодой литературы. Я думаю, что мы в своих выступлениях свяжем тему мира с размышлениями о надеждах и тревогах юных художников. Гуманизм писателя обязывает нас думать о правах ребенка, как это делали Марк Твен, или Достоевский, или Толстой. Мы обязаны направлять воображение ребенка, ибо на нас лежит ответственность за то, с чем войдут в литературу сегодняшние юные творцы.

Разумеется, нас волнуют и многие другие проблемы социального и нравственного характера, включая проблемы охраны экологической среды, бессистемной эксплуатации природных богатств, а также социальных условий, порождающих рост преступности. Тревожит нас и такая проблема, как проповеди в защиту войны, сеющие ненависть и вражду.

На первой софийской встрече прозвучали справедливые слова о том, что плохой мир таит в себе войну, что война может вестись внутри одного народа, что ее проявлением может оказаться слепой инстинкт насилия, равнодушие к человеку и отчуждение, отсутствие перспективы, что война — это не только истребление всего живого, но и умерщвление человеческой совести. И это правда.

Ставка войны — превосходство одной стороны. Мир — это равенство. Мир — это терпимость, и не будет утопией, если мы скажем, что мир должен стать естественным состоянием человечества, победившего биологический инстинкт, что он — процесс созидания и высшая духовность. Наука овладевает природой и защищает людей от внешнего натиска окружающей среды, а целью художественной литературы всегда была защита человека от человека, нас от самих нас.

Преград, разъединяющих людей на земле, неисчислимое множество, а то, что их объединяет, содержится в хрупком и великом слове — надежда. Человеческое безумие выносливо. Однако многие из вас преодолели огромные расстояния, чтобы подтвердить выносливость человеческого разума. Вы принесли с собой доверие и оптимизм, за что я благодарю вас.

Дорогие друзья, уважаемые гости!

Позвольте мне, как хозяину встречи, пожелать вам от имени моих болгарских коллег и болгарской культурной общественности приятного пребывания в нашей стране. Мы будем счастливы, если вы увидите и узнаете все, что вас интересует, если вы ознакомитесь с памятниками нашей древней родины, окрыленной сегодня благородными идеалами превращения жизни человека в творчески осмысленную и красивую. Мы, болгарские литераторы, испытываем чувство удовлетворения оттого, что вновь принимаем вас, всемирно известных писателей, творцов великих национальных литератур, писателей, которые переводились у нас и которых искренне любят болгарские читатели. Пусть наши беседы укрепят ту прекрасную атмосферу, которая возникла во время первой встречи и воспоминание о которой мы увековечиваем открытием мемориальной доски возле этого исторического зала, где перед всем миром были продемонстрированы помыслы и воля творцов современной литературы. Давайте же пожелаем успехов нашей сегодняшней встрече, ставящей перед собой такие благородные цели.

II. ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Сергей Михалков

СССР

Уважаемые коллеги! Друзья!

Мне выпала большая честь передать вам личный привет и наилучшие пожелания Генерального Секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева, который желает участникам Международной писательской встречи в Софии успеха в работе на благо дела мира на Земле.

С радостью передаю вам — участникам и гостям международного форума писателей в Софии — горячий привет и от советских писателей, их самые искренние пожелания успешного проведения этой встречи.

Почему писатели Страны Советов придают софийской встрече большое и важное значение? Да потому, что мы видим в литературе могучую силу, которая способна воздействовать на миллионы и миллионы людей, формировать общественное представление о добре и зле, о правде и лжи, о счастье, о мире.

Наверное, никакие самые «умные» кибернетические машины не в состоянии определить, как дорого стоит, какое высокое место в общей сумме достижений человеческой цивилизации занимает страстное, убежденное писательское слово! А если так, то легко представить, сколь высока и ответственна сегодня роль писателя на нашей планете — на планете, которая вступила в период острого противоборства двух сил. Здравый смысл, вера в будущее человечества — против безумия, страсти к уничтожению жизни на земле. Мир — против войны. И другого выбора нет. В какие словеса, в какие одежды ни ряди эту проблему, все равно никому не уйти от вопросов — чья возьмет, что одолеет?

И в этой связи взаимопонимание писателей приобретает первостепенное значение. Советские писатели выступают за то, чтобы на земле остался лишь один-единственный вид оружия — писательское перо! При всем различии наших творческих методов, стилей, почерков перо настоящего писателя, считающего своей главной жизненной задачей нравственное возвышение человека, не может не звать к миру, к разрядке международной напряженности, к духу дружбы и взаимопонимания народов.

Мы, советские писатели, видим главный смысл литературных встреч и форумов в воспитании однозначного писательского взгляда, в терпеливом формировании нашего единого отношения к проблеме мира и войны. Пусть люди земли знают — настоящий писатель, подлинный исследователь человеческой души, где бы он ни жил, на каком бы языке ни говорил, о чем бы ни писал, выступает за мир на земле! Да может ли быть иначе? Может ли истинный писатель, творчеством своим совершенствующий человеческую душу, желать этой душе погибели в атомном костре!

Безусловно, между людьми существуют и непонимание, и несогласие, и полная противоположность суждений, но почему на земле ракет должно быть больше, чем круглых столов для переговоров? Разве не вернее спорные вопросы обсуждать именно за круглым столом — спокойно, обстоятельно, проявляя терпение и желание понять друг друга? Разве международная практика не представляет благодарные примеры того, как наиболее сложные проблемы поддаются, уступают взаимному стремлению сторон найти ключ к их решению? Взять хотя бы переговоры об ОСВ-2. Мы приветствуем усилия правительств СССР и США, стремящихся ограничить гонку вооружений. Но читаешь газеты и диву даешься: сколько еще безумцев, выступающих против этого исторического соглашения, скрываются за всякими высокими военными и гражданскими званиями! Как ловко им удается замаскировать свое безумие блеском звезд на погонах либо сенаторскими мандатами! Но надолго ли хватит такой маскировки?

Все больше людей на земле понимает цену всем этим истерическим воплям о «советской военной угрозе», об «агрессии Москвы». И долг писателей — разоблачать неправду, множить число людей, ясно осознающих, что ныне они стоят на развилке дороги, идущей в будущее.

Но будущее — это ведь прежде всего дети. И провозглашение нынешнего года Международным годом ребенка мы, советские писатели, воспринимаем как призыв ко всем людям планеты бороться за мир, за счастье, за социальный прогресс, без которых вообще немыслимо нормальное детство.

Нам дорога инициатива гостеприимной Болгарии, которая в августе проведет Всемирную детскую ассамблею «Знамя мира». Из разных стран в Софию съедутся ребята, проявившие яркие способности в искусстве, в литературе. Пусть их голос в защиту мира будет услышан всюду — когда дети говорят о мире, они говорят о своей будущей жизни!..

Каждую секунду на свет появляется три новых человека... И каждые тридцать секунд один из малышей в Латинской Америке умирает от истощения! Но в эти же секунды на вооружение тратятся миллионы долларов. 380 миллиардов долларов в год для того, чтобы приблизить войну! Это ли не сумасшествие?

Двадцать лет назад Организацией Объединенных Наций была принята Декларация прав ребенка. В этой Декларации десять святых принципов детства. Видимо, не стоит их вновь перечислять. Гораздо важнее, как мне кажется, отметить, что половина (половина — повторяю!) всех детей на земле в возрасте до 15 лет живет в условиях, неблагоприятных для здоровья и нормального развития! Больше чем в сорока странах нет еще закона об обязательном обра-

зовании. Четыре процента рабочей силы в развитых капиталистических странах — это дети в возрасте от 10 до 14 лет... И сегодня на разных материках дети являются жертвами расизма, фашизма, апартеида, геноцида, войн... Где уж тут цитировать Декларацию прав ребенка!

Очень многое предстоит еще сделать человечеству, чтобы подрастающее поколение могло спокойно смотреть в будущее. И в этом книге, писательскому труду принадлежит великая роль.

И если кто-то из писателей пытается остаться в стороне от насущных жизненных проблем, пытается укрыться от людских страстей и надежд в своем «литературном замке», то объективно он служит тем, кто против разрядки международной напряженности. Хочет этого такой писатель или не хочет, но он оказывается в числе тех, кто старается закрыть перед человечеством дверь в будущее...

Почему мы, советские писатели, активно, убежденно выступаем против «нейтральной» позиции тех наших зарубежных коллег, которые все еще считают, что занятие изящной словесностью освобождает их от необходимости обладать острым политическим зрением? Потому, что мы полагаем, что самообман, как бы долго ни продолжался, все равно остается самообманом. И худо, очень худо, если окончится он лишь в тот день, когда над головой взвоют бомбардировщики. Тогда будет поздно.

Мы в Советском Союзе, к сожалению, слишком хорошо знаем, что такое война. Нам это знание обошлось в 20 миллионов жизней. 953 советских писателя — по тем временам почти половина Союза писателей СССР — с первых дней Великой Отечественной войны ушли в ряды армии. И многие, очень многие не вернулись с фронтов.

Пережитое заставляет нас с глубоким уважением относиться к испытаниям, перенесенным другими народами, к их жертвам, к их мужеству, проявленному в борьбе против фашизма, агрессии, за свободу и независимость.

Пережитое побудило нас с надеждой, с доверием воспринять соглашение в Хельсинки, упрочившее культурные и деловые контакты, явившееся великим вкладом в дело мира.

Мы с охотой расширяем и углубляем свои связи с зарубежными литераторами и хотим открыто и прямо сказать — мы не мыслим своего литературного развития без общения с другими литературами, без вдумчивого знакомства с творческим опытом писателей других стран.

И мы всегда рады, когда ощущаем искренний интерес зарубежных коллег к проблематике многонациональной советской литературы. Мы готовы поделиться накопленным опытом, ответить на любые вопросы.

Нам есть что рассказать... Если взять, например, направление, которое мне как писателю особенно близко и дорого,— детскую литературу, то мы могли бы познакомить любого искренне заинтересованного писателя с целой могучей отраслью, располагающей более чем шестьюдесятью издательствами, выпускающими ежегодно свыше 3 тысяч книг тиражом в полмиллиарда экземпляров. Представьте, полмиллиарда детских книг, и ни в одной (я повторяю — ни в одной!) не найти призыва к войне, человеконенавистнических идей, расовой неприязни, неуважения к труду, преклонения перед денежным идолом!

У нас в Советском Союзе другие взгляды на жизнь, на то, какой она должна быть. Мы никому не навязываем своих убеждений. Каждый волен обладать собственной точкой зрения. Как говорится — ради бога!

Но в одном мы, советские люди, стоим непоколебимо: мир нужен всем. И пока есть малейшая опасность, что он может быть нарушен, писатель не вправе бездействовать. Его слово, подобно набату, должно взывать к совести, разуму, сердцу и чести людей.

Позвольте выразить надежду, что эта софийская встреча послужит дальнейшему распространению духа Хельсинки среди творческой интеллигенции разных стран, что она станет новым стимулом к расширению писательских связей, к утверждению полного взаимопонимания писателей в вопросах войны и мира.

■

Богомил Райнов

БОЛГАРИЯ

Тут уже говорилось, что мир и дети — два естественно взаимосвязанных понятия. Я бы только добавил, что война и дети — также понятия, которые легко связываются одно с другим. И не потому, что дети порой играют в войну. И не потому, что кому-то вздумалось объявить войну детям. И если все-таки их убивают снарядами, бомбами, напалмом, то это не преднамеренно, это — не в счет, это же такие пустяки...

Дети и война. Или, вернее, дети и локальная война. Только за время, прошедшее после второй большой войны, на нашей мирной земле мы пережили десятки малых войн, в которых погибли десятки тысяч детей. Их убили без злого умысла. Походя. Это же такие пустяки...

Я напоминаю эти общеизвестные вещи, чтобы подчеркнуть, какую ненадежную гарантию представляют собой пышные фразы некоторых политиков, рассуждающих на тему о детях и их будущем, фразы, не подкрепленные соответствующими делами. Не берусь утверждать, что мастера произносить пышные фразы не любят детей. Боюсь лишь, что они не любят чужих детей.

Писателю, настоящему писателю, именно потому органически чуждо подобное, сколь слезливое, столь и лицемерное утверждение, что он любит *всех* детей. И мне представляется, что писатель, настоящий, творит прежде всего для детей, для всех детей, даже если он и не «детский» писатель, потому что у каждого художника

есть законное стремление творить не на одно десятилетие и не для одного поколения, и он надеется, что сегодняшние дети — его завтрашние читатели. Но почему непременно завтрашние? При всем моем уважении к тем, кто пишет специально для детей, я хотел бы заметить, что границы между так называемой «детской» и «недетской» литературой в наши дни довольно сильно размыты. В сущности, и мы когда-то хватались за Достоевского раньше, чем могли его понять. Но все же в те времена, если бабушка заставала меня за чтением неподходящей для моего возраста книги, она решительно вырывала ее у меня из рук со словами: «Это тебе еще рано!» Сегодня благодаря акселерации, мощному потоку информации, большей свободе нравов и так далее уже довольно трудно категорически провести черту между тем, что тебе «рано» или «не рано». Я знаю немало детей, которые усердно смотрят все телевизионные передачи, кроме детских.

Именно общедоступность духовного продукта, в том числе и литературного, с особой остротой ставит сегодня вопрос о его чистоте. Мы с полным основанием встревожены загрязнением рек, океанов, воздуха. Но существует еще одна, может быть, еще более острая проблема — проблема загрязнения духовной атмосферы, в которой растут и воспитываются наши дети.

Уже немало писалось и говорилось об опасном нагнетании насилия и аморализма в массовой культуре. Поэтому я позволю себе упомянуть только об одном из самых модных направлений в этой области — о «жанре катастроф», если так можно его назвать. Явление это, разумеется, не новое. Любая античная трагедия так или иначе теорема катастрофы. Апокалипсис Иоанна Богослова — даже целая энциклопедия катастроф. Но Апокалипсис — книга о возмездии, пророчащая гибель сил мрака и спасение чистых душ. А трагедии Эсхила и Софокла — суровое напоминание о фатуме, и вызванное ими потрясение предназначено служить духовному очищению.

Сегодня же вся продукция «жанра катастроф» полна пессимизма. И остается только спросить — порождение ли она внезапно охватившего ее создателей отчаяния или утонченное средство воздействия на публику, которая должна свыкнуться с мыслью о неизбежной гибели и примириться с ней как с единственно возможной жизненной перспективой. Важно то, что ото всей этой продукции, предсказывающей катастрофы — локальные, планетарные, космические,— веет леденящим дыханием смерти и войны, и эту атмосферу никак нельзя считать здоровым климатом для детских душ.

Тем самым я совсем не хочу провозгласить здоровой одну литературу хэппи-энда. Мы живем в суровом мире. Фальшивое приукрашивание не поможет ему стать лучше, а лишь сделает читателя более близоруким и беспомощным перед лицом реальных опасностей, повсюду подстерегающих его. Серьезная литература всегда была литературой, полной трагизма. Полагаю, однако, что трагизм (конечно, в истинном его понимании) нередко несет в себе и веру в избавление.

Мне вспоминается болгарская сказка о матери, которая в поисках сына приходит к солнцу — ведь оно все озаряет и все видит,— и солнце говорит ей: «Найдешь ты своего сына, но долго придется тебе идти, за девять морей и за девять гор, износишь ты девять пар железных башмаков и девять железных посохов поломаешь, пока отыщешь его».

Вспоминается мне и рассказ нашего писателя-классика Йордана Йовкова о бедняке, который едет на телеге со своей неизлечимо больной дочерью, ищет белую ласточку, потому что добрые люди сказали, будто тот, кто увидит ее, исцелится от всех болезней.

В сказке мать, вероятно, найдет своего сына, хотя бы и на краю света. Хочется верить, что любовь и страданье помогут бедняку отыскать белую ласточку, хотя неизвестно, существует ли она вообще. Ясно одно: они будут упорно шагать по трудным дорогам только туда, куда ведет их надежда. И в этом пафосе преодоления мук и испытаний, неуклонного стремления к цели, как мне кажется, весь горький оптимизм настоящей жизни и большой литературы. ■

Джон Чивер

США

Я очень рад, что присутствую на этой встрече, как и два года назад, по приглашению болгарских коллег.

Надеюсь, что мы придем к соглашению по многим вопросам. Сама наша встреча — уже достижение. Руководители государств — Леонид Брежнев и Джимми Картер — тоже скоро встретятся, и это будет также встреча в духе взаимопонимания. По-моему, литература — это история развития и борьбы человечества. Но кроме того, по-моему, средство коммуникации, связи между народами. Разумеется, сегодня радио и телевидение также связывают нас, но ничто не может сравниться с тем, что дает нам литература. Она — профессия, призвание и одновременно источник информации, занятие, доставляющее одинаковую радость как писателю, так и читателю.

Литература — форма творчества, которая, пожалуй, больше всех остальных сближает нас, лучше всего выражает наши чувства, наши опасения, наши надежды, избавляет нас от одиночества. Литература — это часть истории человечества. Она дает нам представление о том, что происходит за границей у наших коллег-писателей, и о том, как живут другие народы. Писатель берется за перо, чтобы описать события и людей... За последние 50 лет литература, изобразительное искусство, музыка прошли большой

путь развития, и мы стали свидетелями больших художественных открытий. Это достижения искусства, в которых звучит человеческий голос, голос нашего сердца.

Художественное творчество выражает наши чувства, воссоздает природу, что же касается литературы, то, очень умело избегая искушения заниматься чем-то чересчур метафизическим, она дает конкретное представление о том, что происходит вокруг нас, с нашими ближними.

И потому когда мы пишем честно и конкретно, то тем самым находим наилучший способ показать жизнь в ее истинном свете. Литература не только описывает события и людей, но и выражает мир наших чувств, и я считаю, что это главная форма контактов между человеческими существами. Она рождает добрые чувства и взаимопонимание между людьми.

Уильям Сароян

США

У. Сароян и В. Быков

Легко чувствовать удовлетворение тем, что мы собрались здесь, в Софии, чтобы поговорить о мире, но не так легко добиться, чтобы все, что мы считаем таким истинным, таким верным, таким мудрым, таким человечным, таким естественным, таким само собой разумеющимся, такой неотъемлемой частью истории,— непременно было услышано врагами мира, или, иными словами, нелегко принудить этих врагов стать друзьями мира. Но мы должны сделать все, что в наших силах.

Никто никогда не отрицал дыхания, потому что без него в мире не происходит ничего существенного. Прекрасно дышать. Прекрасно быть глупцом. Прекрасно во всем ошибаться. Прекрасно не замечать ошибок других. Все это прекрасно и очень человечно. Первое, чему я научился как начинающий писатель, было то, что не надо бояться выглядеть глупцом в своих писаниях. Если бы я не постиг этой мудрости, то вряд ли стал бы когда-нибудь издаваемым автором. Человек, любой из нас, все человечество — это часть природы, а законы природы просты и в то же время усложнены до степени непроницаемой мистерии. Некоторые из самых смелых действий природы выглядят ошибочными и повергают всех нас в печаль, заставляют нас сетовать, жаловаться. Несколько веков подряд мы думали, что не являемся частью природы, что контролируем природу, что можем требовать от нее служить нам, что она становится рабом человечества. Но природа находится в рабстве лишь у самой себя, или у неизвестности, или у того порядка в науке и искусстве, сами измерения которого все еще не раскрыты и, может быть, никогда не будут раскрыты. Сложная и тонкая структура человека фактически находится по ту сторону понимания, но и сам человек — это чудо воображения и величия — не имеет представления, как он возник. Однако мы твердо знаем, что природа в минуту вдохновения или, возможно, в минуту беспомощности сделала ставку на голову, вмещающую мозг, на глаз, связанный с нервной системой, с тканями и с миллиардами мелких частиц. Криком она возвещает миру о рождении нового члена человеческого семейства. Ни один мужчина-отец и ни одна женщина-мать не знают, каким образом вследствие их любви, их невежества и их совместного дыхания в доме жизни на свет появляется дитя... Но вот он, ребенок, он живой, и, как всякое живое существо, он дышит и кричит. Плачет ли он о мире? Разумеется. Мы здесь, чтобы сберечь надежду на возможность довериться своим чувствам и своим мыслям и чтобы обеспечить этим новым дышащим существам достаточно времени на жизнь, свободную от яростных войн и разрушений. Я хочу верить, что из наших спотыкающихся слов природа смоделирует ответ, в котором наша жажда мира найдет более серьезный отклик, чем это считалось необходимым до сих пор. Во всяком случае, я имею честь находиться тут и глубоко признателен Комитету по культуре за приглашение. Если мы не добьемся мира этим путем, вероятно, мы еще попытаемся снова встретиться через два года, и пока мы будем продолжать наши попытки, возможно, и природа присоединится к нам с мудрой улыбкой, в которой отразится знание того, чего мы не знаем и не можем знать. А может быть, такой улыбки не будет.

Мы говорим, я говорю, все всегда говорили: «Среди смертей есть жизнь, среди войн есть мир, среди ошибок есть что-то правильное...» — и сразу замечаю, что говорю бессмыслицу, умолкаю и начинаю думать, что многое уже было сказано и раньше, но не дошло до каждого из нас.

Азиз Несин

ТУРЦИЯ

Святой Йомер — исламский халиф — бродил ночью по улицам Медины и заходил в дома, чтобы посмотреть, как живет народ.

В один прекрасный вечер, когда он брел по одному из бедных кварталов Медины, он услышал из одного полуразрушенного дома голоса плачущих детей. Он заинтересовался и постучал в дверь. Дверь отворила женщина. Она не узнала его. Йомер увидел пятерых детей, которые плакали, прижавшись друг к другу. «Мама, мы хотим есть!» — повторяли они. Их мать мешала черпаком в котле, стоявшем на огне, и говорила детям: «Подождите немного, дети мои. Сейчас сварится еда, и я вас накормлю».

Дети плачут, женщина мешает в котле, но еда не появляется. Йомер спросил у женщины, что она готовит. Она подняла крышку котла и показала Йомеру — в котле были вода и камни. Женщина перемешивала камни, лежавшие в котле. Она сказала Йомеру: «Ни огня в очаге, ни еды в котле... Одни камни. Ждите, пока сварится еда, так я каждый вечер обманываю детей, и они засыпают голодные»...

Сказав это, женщина, не знавшая, кто стоит перед ней, стала проклинать халифа Йомера: «Пусть господь накажет этого Йомера за то, что он стал халифом! Чтоб он ослеп... Чтоб он околел... Чтоб он превратился в ничто!»

Йомер не выдержал и спросил у женщины:

«Разве в этом виноват халиф Йомер?»

Женщина ответила так:

«Раз он халиф — значит, он и виноват...»

Услышав это, Йомер заплакал, вышел из полуразрушенного дома и сказал себе: «Йомер виноват в том, что в заброшенном бедняцком домишке бедная женщина, чтобы обмануть своих детей, размешивает в котле воду с камнями... Если ребенок умрет от голода, вина падет на Йомера... Если больной не достанет лекарства, вина падет на Йомера... Если какой-то горемыка будет плакать, вина снова падет на Йомера».

Дорогие друзья мои, уже давно в этом мире, где мы живем, нет халифов, которые несут ответственность и берут на себя вину. Однако существуем мы, писатели. Мы, писатели, отвечаем за весь мир, и отчет за этот мир даем именно мы, писатели. Мы — адвокаты измученных, бедных, обделенных, бесправных во всем мире, мы их защитники. Мы, писатели, исполняем функции архитекторов, моделирующих мировое общественное мнение. Никто не возлагал на нас эту задачу. Мы сами взяли ее на себя. Если где-то в мире убивают людей, которых мы не знаем, ответственны мы, писатели. Если в каком-нибудь уголке света, названия которого мы не знаем, дети умирают от голода, от болезней, от нехваток, кто виноват? Мы, писатели...

Во время первой мировой войны было убито более восьми миллионов человек. Во время второй мировой войны — 50 миллионов. Третья мировая война не разгорелась. Ее не было. Однако после второй мировой войны до сих пор во время локальных и региональных войн вновь было уничтожено 40 миллионов человек, как будто действительно была новая мировая война.

Если бы перед первой мировой войной не один, не пять, не сто, а все писатели тогдашнего мира сознавали ответственность за призвание быть писателем и подняли голос против войны, не было бы уничтожено восемь миллионов человек. Если бы перед второй мировой войной все писатели того времени чувствовали свою ответственность и воспротивились бы войне, не было бы убито 50 миллионов человек. И если бы все мы, писатели, после 1945 года до сегодняшнего дня полностью осознавали свой долг и проявили высокое чувство ответственности, которого требовал момент, не погибли бы 40 миллионов человек в локальных и региональных войнах.

Дорогие мои коллеги, халиф Йомер знал только Мекку и Медину. О писателях нашего времени нельзя сказать, что они знают только одну страну и это «моя страна». Они не должны знать только одну страну. У них не только «моя страна», у них — «мой мир». Мир, в котором мы живем, наш, он принадлежит нам. Мы несем ответственность за весь мир, например, я лично как турецкий писатель ответствен за Грецию, за Кипр, за Корею, за Зимбабве... и греческий писатель, и американский, и немецкий, и французский ответственны за Турцию. И сегодня в моей стране каждый день, да, каждый день непрерывно истребляют людей в результате политических преступлений.

Муки людей, в каком бы конце света они ни жили, мы, писатели, берем на себя. Подвергающийся мучениям человек кричит от боли, и мы, писатели, в наших стихах и рассказах, в наших романах и пьесах тоже кричим о муках всего мира, которые мы испытываем, даже если пишем любовную или пейзажную лирику...

Есть одна итальянская песня, которую поют на всех языках и которую мы все, вероятно, знаем. В этой песне мужчина обращается к женщине, пережившей множество любовных приключений, и говорит ей: «Я люблю тебя». Женщина ему отвечает: «Пароле, пароле, пароле!» (Слова, слова, слова!) Мужчина продолжает: «Я умираю по тебе!» Женщина отвечает: «Одни слова...» Мужчина настаивает: «Я не могу без тебя жить!» Женщина дает тот же ответ: «Пустые слова!»

В наш век существуют и такие писатели, которые не чувствуют мучений мира, в котором живут. В своих стихах и рассказах, в романах и пьесах они не кричат и не взывают, потому что не испытывают муки. Они говорят: мы написали стихи. Наш ответ таков: «Пароле, пароле, пароле...» Они на-

стаивают, но наш ответ тот же: «Пароле, пароле, пароле!» Мы написали романы, пьесы!.. И мы отвечаем им: «Пустые слова...»

Дорогие друзья мои, мы все очень хорошо знаем, что в нашем мире играют в крупные игры. Одна из таких игр состоит в том, чтобы сбивать с толку целые народы, придавая отдельным понятиям в их сознании различный смысл. В наше время различное значение придается и понятию МИР. Мир в нашем понимании, которого мы желаем всему миру,— это не простой мир. В этом мире есть войны чести и долга. Есть войны за независимость, за национальное освобождение, есть классовая борьба... Мы являемся приверженцами таких войн, потому что истинный мир может быть создан лишь тогда, когда будут выиграны такие войны. Да, мы борцы за мир, но за мир в таком смысле.

Мы прилагаем усилия с помощью своих перьев, чтобы создать для наших детей такой мир, в котором дети всей планеты будут жить поистине мирно.

Да здравствуют те, кто борется за истинный мир, да здравствует мир во всем мире, да здравствуют дети!

И... сколько бы дней нам ни осталось, давайте жить с надеждой на эти прекрасные дни!

■

Элли Пеониду

КИПР

Дорогие мои друзья!

Примерно в двадцати километрах к западу от городка, где я живу на острове Кипр, и не более чем в 20 километрах от места, где, согласно греческой мифологии, родилась богиня любви Афродита, расположен древний город Куриум, основанный, по расчетам археологов, в XIV веке до рождества Христова. Подобно всем древним городам Кипра, Куриум был воздвигнут на великолепном месте — высоко на отвесной скале, глядящей на море к югу. Руины этого античного поселения полускрыты от палящего солнца кустарником и соснами, запахом которых наполнен недвижный воздух. Покровителем Куриума среди богов был Аполлон — бог солнца, красоты, музыки, поэзии и всех искусств. Недалеко от храма Аполлона, в сторону обрыва находится отлично сохранившийся древний театр Куриума со своей знаменитой акустикой и неправдоподобно прекрасным видом на море. Перед театром, со стороны дороги между Лимасолом и Пафосом, стоит здание, относящееся уже к христианской эре, с хорошо сохранившимся мозаичным полом — наглядное свидетельство непрерывности цивилизации, в течение 25 веков процветавшей в Куриуме. Буквально в двух шагах от этого священного места неприятно удивленный путешественник увидит чудовищно безобразные постройки и установки британской военной базы в Эпископи: бетон, сталь, однообразные ряды сдвоенных домиков английского типа, вывески и уличные указатели на английском языке. Объяснение этого режущего глаз зрелища заключено в том, что древней город Куриум находится на территории британских суверенных баз. Базы эти, согласно надежным источникам информации, уже располагают термоядерным вооружением. Не приходится сомневаться в том, что базы эти в случае необходимости должны служить в качестве военного плацдарма.

Четыре дня назад, 3 июня, весь район Куриума привлек к себе напряженный интерес жителей острова. От храма Аполлона взял старт один из самых величественных походов, какие только видел наш народ за последние годы. Поход под лозунгом защиты мира, в котором участвовали десятки тысяч людей всех возрастов, социальных положений, профессий и политических убеждений. Двадцатикилометровый марш под лозунгами, требующими ликвидации всех военных баз и ухода всех иностранных войск с нашего прекрасного, пронизанного солнцем древнего острова. Марш, которым народ Кипра снова заявил свое требование о мирном, справедливом и реальном решении нашей политической проблемы.

Впечатления от этого похода все еще переполняют меня. Эта нескончаемая людская волна, движущаяся с восьми часов утра то с песнями и громогласными лозунгами, то в молчании или с гневными выкриками... Матери, которых дети тянут за юбки, старики в своих традиционных одеждах, молодые ученые, люди среднего возраста — люди, люди, красочная мозаика лиц, из которой возникает единое лицо моего народа, величавое и суровое лицо народа, полного решимости добиться желанного мира для своей страны. Союз писателей Кипра, который единодушно поддержал поход за мир и стал его участником, выпустил обращение к интеллигенции, где было сказано, в частности, следующее: «Участие в походе в защиту мира — долг каждого интеллигента Кипра, обязанного вместе со своим народом декларировать необходимость демилитаризации острова и достижения всеобщего мира».

Марш этот еще раз показал нам, что борьба за мир больше не может быть пассивной. Чем серьезнее становится опасность уничтожения нашей планеты в ужасной, бессмысленной войне, тем активнее должны действовать силы мира, чтобы противостоять этой опасности.

Наша нынешняя встреча должна стать шагом вперед по сравнению с предшествующей. Речь не идет о формальном выражении нашей тревоги и озабоченности, мы выступаем с действенным призывом бороться за жизнь. Помимо книг и всевозможных выступлений в печати мы, писатели, можем и должны использовать для своего влияния театр, кинематограф, телевидение. Наш призыв должен достичь всех и каждого,

дойти до самых простых людей, даже до неграмотного, даже до ребенка, который еще не ходит в школу, он должен увлечь за собой самого безразличного, ни о чем не подозревающего, забившегося в свой уголок обывателя.

Человечество посвятило этот год ребенку. В каждой стране думают над тем, как бы поинтереснее и пооригинальнее проявить нашу заботу об этом замечательном маленьком человечке, с которым столь часто обращаются плохо и несправедливо. Но в глубине души все мы знаем, что любой наш дар — будь это пища, одежда, игрушки — окажется неполным и эфемерным, если мы не сможем подарить детям главное — уверенность в будущем, сохранить для них в целости великую общую родину — планету Земля.

Мне кажется, что все мы теперь осознали, как настоятельно необходимо нам — писателям, людям, которые должны быть в авангарде движения за мир,— постоянно встречаться, обсуждать и анализировать ситуацию, намечать новые пути.

Давайте превратим эти встречи людей Литературы и Искусства в походы за мир под одним единым лозунгом: «Пусть продолжается жизнь!» ■

Райнер Керндль

ГДР

Дорогие друзья и коллеги!

Дорогие товарищи!

Мои соотечественники считают почетным и нужным делом представлять на этой новой и важной встрече писателей всего мира литературу нашего социалистического немецкого государства. Принимая эстафету таких деятелей культуры, как Анна Зегерс и Бертольт Брехт, Томас и Генрих Манны, Фридрих Вольф, Людвиг Ренн и Лион Фейхтвангер, мы следуем доброй традиции, которая — начиная со знаменитого писательского конгресса 1935 года в Париже — находит продолжение во встрече писателей-гуманистов всех наций, озабоченных сохранением мира и культуры.

За десятилетия, прошедшие с тех пор, политическая ситуация в Европе и во всем мире в значительной мере изменилась. Вопросы войны и мира давно уже стали делом не только тех, кто из крайне эгоистичных интересов предоставляет платить по своим счетам как своим, так и чужим народам.

Во многих странах народные массы видят в своем государстве инструмент, призванный осуществлять их стремление к защите мира. Такой наказ они и дают своим правительствам. И все же мы видим много опасных точек на планете, знаем, что под пеплом тлеет огонь, знаем об угрозе нового страшного пожара.

Человечество все еще раздирают давние конфликты, к ним прибавляются новые, которых двадцать лет тому назад мы еще не могли предвидеть.

Все это внушает глубокую тревогу. Но нашему мировоззрению — философии, ориентированной на борьбу за лучшую долю людей,— не свойственно перед лицом такой всеобъемлющей угрозы ограничиваться призывами к миру, какие бы прекрасные и проникновенные выражения ни содержались в этих призывах. Писатель хочет быть не только услышанным, он хочет быть понятым. Он не хочет, чтобы призыв этот оставался гласом вопиющего в пустыне.

Поэтому и для каждого литератора самый лучший призыв к защите мира — это его собственная деятельность в защиту мира.

Самая благородная похвальная песнь о мире сама по себе еще не может спасти мир.

Сегодня, как и всегда, больше, чем всегда, писатель не должен упускать ни одной возможности сказать свое слово о положении в мире. Ибо он одарен способностью не только воспевать счастье человека и человечества, но и видеть опасности, угрожающие этому счастью, и говорить о них.

Дорогие друзья!

Девизом этой встречи является еще одно слово — дети. Все, что кто-либо из нас делает для сохранения мира, он, разумеется, делает и для счастья детей. Если мы своими произведениями и своей деятельностью помогаем предотвратить угрозу того, что страны и материки станут «постатомной пустыней», если мы не хотим видеть сожженной земли и отравленных рек, безлистенных лесов и погибших садов — это должно означать, что мы стремимся спасти детей, их игры, их жизнь.

И все же это не совсем так. Ведь мы видим, что и в странах, которые десятилетиями не знали войн, горькой повседневностью стала гибель детей, так и не осуществившихся своих мечтаний, повседневностью стали голод, холод и страх, заставляющие детей забывать свои игры.

Мы видим также, что мир не всегда гарантирован там, где нет открытых сражений. Нет мира для каждого человека там, где социальные противоречия проводят скрытую линию фронта через целые нации.

Поэтому позвольте мне поразмышлять еще над двумя другими словами, которые хоть и не произнесены, но связаны с нашей встречей: «солидарность» и «ответственность».

Человеку свойственно делать все для своих детей. Он не задумываясь пожертвует собственной жизнью ради спасения и блага своих детей.

Писателю свойственно осознавать ответственность и за других детей. Это гордое великодушие и мужество достойны всяческих похвал, если, конечно, опираются на реальность и не продиктованы тщеславием.

Другое дело, насколько нынешние пяти-,

десяти- и пятнадцатилетние довольны, и довольны ли они вообще тем миром, который мы им создаем и завещаем. И у наших отцов — я знаю это на собственном опыте — дело обстояло так же. Но я знаю, что мы, нынешние отцы, можем способствовать тому, чтобы создать для них мир, в котором они творили бы доброе и полезное. Это в той же мере наша ответственность, как и наш долг оберегать своих собственных детей.

В заключение я хотел бы сказать о детях двух народов и об отношении к ним писателей. Я имею в виду детей моей страны, ГДР, и детей Палестины. Два примера, между которыми есть связь.

Речь будет идти не о богатой блестящими достижениями литературе для детей, которая известна и за пределами нашей республики, и не о многообразных контактах наших детских писателей со своими читателями-детьми. Я хочу лишь указать на постоянный, оживленный и активный интерес большинства наших писателей к общественной атмосфере, окружающей детей, к тому, как они врастают в духовную и эмоциональную реальность своей страны, а также к противоречиям между идеалом и действительностью,— как их переживают и чувствуют дети. Эта забота граждан нашего развитого социалистического общества о благе детей уже не выражается в борьбе с материальными или физическими тяготами детской жизни. Она выражается в поисках осмысленных путей, вводящих наших детей во взрослую жизнь, и я вовсе не хочу сказать, что здесь не бывает никаких противоречий, никаких конфликтов, никаких споров. Но все это споры и противоречия на другом уровне, на ступени, уже достигнутой нашим обществом. В этой непрекращающейся дискуссии наши поэты и писатели принимают живое участие. И это одна из наших важнейших задач.

А затем я думаю — и трудно подыскать более разительное по контрасту сравнение — о детях Боури Бурание, одного из больших палестинских лагерей на окраине Бейрута. Я был там вместе с двумя палестинскими писателями, и все увиденное там свидетельствовало о глубокой озабоченности палестинского народа судьбой молодого поколения. Посреди горестного лабиринта лагерных переулков мы нашли новое здание: детский сад для трех-, четырех- и пятилетних, которые во время ракетного и артиллерийского обстрела потеряли руку, глаз, кисть руки. Они были окружены такой заботой, какую трудно и представить в условиях, в каких живут эти люди; поэтому впечатление было особенно сильным. И не случайно этот маленький детский сад носил имя Хассана Ханафани, палестинского поэта, который сам стал мучеником за дело своего народа.

Я вспоминаю о наивных и именно потому потрясающих рисунках, в которых ливанские и палестинские дети рассказывали о пережитом во время гражданской войны 1976 года, когда насилие ворвалось в нормальную жизнь; я вспоминаю о двенадцати- тринадцатилетних, которых встретил на небольших боевых постах между Рашидие и Маряйом и для которых обращение с базукой и автоматом давно уже стало отнюдь не увлекательной игрой. Как будут они жить дальше, если только они выживут? Что будет делать тридцатилетний человек, которого страдания народа в тринадцать лет вынудили стать борцом, героем, вместо того чтобы оставаться ребенком?

Размышляя о мире и о том, как говорить о нем, мы ощущаем ответственность и за этих далеких детей. Мы не можем отречься от этой ответственности, поскольку возложили ее на себя ради дела мира.

Не мира любой ценой. Не унижения. Мир, который мы имеем в виду и которого желаем, предполагает осуществление человеческих идеалов, каким бы трудным и тягостным ни был к нему путь.

Я призываю всех, чтобы и на своей второй встрече в Софии мы объединились во имя этого мужественного и прекрасного дела.

Андре Стиль

ФРАНЦИЯ

После выступлений, прозвучавших здесь, я не хочу еще раз повторять ту основную мысль, которая красной нитью проходит через все речи, а именно: каким образом мы, писатели, можем способствовать делу сохранения мира. Становится все более очевидным, что это — наша общая забота, несмотря на разное происхождение, а также на географические, политические, философские и культурные различия. И мы не должны ни скрывать этого разнообразия, ни умалять его значения. Мы обязаны избегать иллюзии, что станем сильнее, если будем делать упор лишь на всеобщем согласии. Напротив, мы должны быть откровенными и откровенно говорить о наших разногласиях, чего бы они ни касались.

Следовательно, не возвращаясь к мысли о том, что является нашей общей заботой, хочу высказать некоторые свои соображения.

Во-первых, в связи с вопросом, который могли бы задать нам как наши друзья, так и скрытые недруги: почему Болгария два года назад и почему снова Болгария? Не хотим ли мы тем самым подчеркнуть, что лишь страны социализма гарантируют подлинную любовь к миру?

Специально такой цели, разумеется, никто не преследовал. И все же почему инициатива исходит именно от этой страны? Мы все, собравшиеся здесь, могли бы стать инициаторами такого начинания. Однако дважды ими оказались наши болгарские друзья, и мы счастливы, что

являемся их гостями, и благодарим их за это.

Минувшие два года укрепили в нас чувство, что подобный почин был правилен. Наш первый опыт и все, что происходило с тех пор до настоящего момента — обнадеживающие факты, новые признаки разрядки, с одной стороны, но также и возникающие повсюду новые угрозы самому существованию человечества,— показали, что мир может и должен быть защищен и что наша активность необходима.

Вот почему мы собрались здесь снова. При этом речь идет не о повторении, а о продолжении, развитии наших позиций.

Мы уже не те, какими были два года назад. Конечно, большинство из нас стали энтузиастами такого рода встреч. Все мы, собравшиеся здесь, чувствуем себя лучше, когда мы вместе. Мы научились узнавать друг друга. Еще вчера мы во многом сомневались, чем-то рисковали, идя на первый контакт, а сейчас мы уже хорошо знакомы и можем относиться друг к другу с доверием. Мы знаем, как тверды убеждения всех участников наших заседаний, подлинных друзей и защитников мира. И никто не боится, что его могут заманить на дорогу, идущую в том направлении, которое его не устраивает. Это нам позволяет активно, без всяких задних мыслей участвовать в общем деле. Во Франции, где любят говорить, что все кончается песней, случается, что песней приветствуют и начало: поют о том, как радует, волнует момент первой встречи! Зато вторая песня и вторая встреча нередко делают связи более прочными.

Именно благодаря этой второй встрече мы можем сделать шаг вперед. Такова суть моего последнего замечания.

То, что мы сумели сделать совместными усилиями, подсказывает нам, что нечего успокаиваться на достигнутом, надо двигаться дальше. Каждый из нас в своей стране далек от чувства, что лишь он один ответствен за мир,— и это укрепляет его решимость. Многие писатели и деятели культуры разделяют нашу заботу о мире, хотя некоторые из них не во всем с нами согласны.

В заключение я хочу сказать, что эта встреча для меня, как для любого из нас, особенно символична тем, что проходит под знаком Международного года ребенка.

Ничто так не говорит в пользу наших усилий, как судьба детей, то есть тех, кто идет вслед за нами и кто сегодня еще беззащитен. Пусть они чувствуют себя защищенными, пусть будет изгнан страх из их сердец, и пусть будут открыты для них самые большие возможности быть счастливыми и свободными.

То, что мы делаем, позволит нам смотреть на наше будущее с чистой совестью, потому что мы сможем сказать подрастающему поколению: «Сделайте еще больше, чем сделали мы. Но не забывайте, что мы сделали все, что смогли!»

Йозеф Рыбак

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Слева направо: Йозеф Рыбак и Слав Христо Караславов.

Мне довелось пережить две мировые войны. Когда разразилась первая, я был десятилетним мальчиком. Тогда я потерял отца. Во время второй мировой войны я пережил гитлеровскую оккупацию. В борьбе против фашизма пали восемь лучших моих друзей и товарищей. Среди них был и Юлиус Фучик. Вот почему я ненавижу войну и требую мира. Я хотел бы, чтобы вместе со мной вы хоть на миг представили себе мир спустя полвека. Может случиться, что через пятьдесят лет не только Европа, но и большая часть нашей планеты обратится в пустыню, подобную Сахаре. Величественные здания, прекрасные города — эти памятники современной человеческой культуры — могут, как Форум и Акрополь, превратиться в развалины.

Но ведь все может быть и иначе.

Дети, за чье будущее мы несем сегодня ответственность, могут стать врачами, которые победят самую страшную болезнь в мире — рак; могут стать инженерами и учеными, великолепные проекты и грандиозные открытия которых будут служить благу человечества. Они могут стать выдающимися творцами культуры: прекрасными художниками, талантливыми наследниками Бетховена, замечательными писателями, чьи произведения будут без каких-либо промедлений и затруднений переводиться на все языки мира.

И я убежден, что эти будущие писатели выскажут свое глубокое уважение к тем, чьи имена высечены на памятной доске здесь, в фойе этого зала.

Отдать все свои силы защите мира — свои произведения, свою общественную деятельность, весь жар своей души — вот, по-моему, долг всех нас, писателей, независимо от национальной принадлежности и политических убеждений. Я думаю, что наша борьба за мир не кончается с этой конференцией и каждый из нас будет и впредь продолжать ее.

Я уверен, что мы на верном пути. До приезда сюда мы не были знакомы друг с другом. Две встречи в Софии объединили нас, во всяком случае, в том, что касается затронутых здесь вопросов.

Почему бы нам не послужить примером для народов, которым помогут сблизиться наши книги, чтобы так же, как и мы здесь, народы собрались и произнесли свое решительное слово в защиту прочного мира на всей Земле. За достижение этой высокой цели стоит бороться.

■

Фридрих Хитцер

ФРГ

Фантазия неисчерпаема. Она безудержней захватывает наши мысли, она сильнее пленяет наши чувства, чем факты серой повседневности. Она может нас обогатить и придать творческую силу. Но она может нас и сделать бедными и больными, глухими к реальным фактам действительности, слепыми к смертельной опасности. Фантазия кажется свойством существ, которых наши предки считали сверхъестественными и называли богоподобными, которые все знали, всем распоряжались: тем, что есть, что было, и что будет, и что могло бы быть, если бы жизнь была не такая, какая она есть.

Каким образом оказывает фантазия столь колоссальное воздействие? Почему так зачаровывают нас вопросы: «Что бы произошло, если?..» или: «Что могло бы произойти, если?..» Может быть, в наше время дело оказывается в том, что разработанные человеком формы и средства господства над природой и ее силами, обретая гигантские масштабы, служат уже не человеку, а идеям истребления жизни на нашей планете? С одной стороны — почти фантастическая цифра: 100 миллионов долларов, которые каждую минуту выделяются на средства разрушения, и с другой стороны — фантастические подсчеты: достаточно лишь 8—10% этих средств, чтобы побороть голод и болезни в странах «третьего мира»!

Среди фантастических образов, которые за последние годы создавали и распространяли средства массовой информации в капиталистическом обществе: фильмы, книги, телесерии и иллюстрированные журналы — доминируют картины страха и ужаса. Тут фигурируют все мыслимые катастрофы и несущие гибель ситуации. Звери превращаются в гигантских чудовищ, они глотают людей и разрушают города. Народы и континенты испепеляются смертельным излучением. Безумные машины времени приучают людей забывать об истории и отвыкать от ответственности перед жизнью.

Кошмары такого рода фантастики, которая приносит прибыли в миллионы долларов, приковывают внимание миллионов людей. Если судить о жизни в метрополиях капитализма и на зависимом от него рынке только по этим страшным фантазиям, можно прийти к выводу: жизнь — сущий ад, человечество не заслуживает лучшего, народы обречены на гибель.

Согласно статистике процент психофармацевтических средств, которые прописываются врачами в США и ФРГ,— самый высокий среди всех лекарств, продаваемых в этих странах. Очевидно, повседневные страхи, страх перед жизнью столь велики, что многие способны существовать и работать, лишь прибегая к оглушающим средствам. Некоторые психотерапевты считают, что общественная система, в которой существование все больше и больше зависит от искусственных средств успокоения и оглушения, потерпела бы немедленный крах, если бы люди вдруг отказались обращаться к этим средствам. Можно ли полагать, что такое потребление психофармацевтических средств возникло само собой, как следствие загадочной внутренней жизни человека, одаренного и отягощенного фантазией?

Самое концентрированное выражение это производство страха получает в играх на темы «третьей мировой войны». Банальный лейтмотив этого повседневного апокалипсиса — демагогия по поводу «советской угрозы», из которой капиталистическая военная индустрия извлекает миллионные прибыли, насаждает идеи агрессивности, милитаризма, подогревает гонку вооружения.

С октября 1917 года формула «советской угрозы» используется для того, чтобы поддержать целые народы в состоянии постоянной боевой готовности. Чтобы дополнить этот репертуар темой «русской опасности», фальсифицируется история революционного движения против царского самодержавия. Особенно роковым образом сказался этот демагогический сплав «советской угрозы» и «русской опасности» на истории Германии. Катастрофы и преступления, ставшие следствием болезненных националистических фантазий, стоили жизни миллионам немцев. Можно ли об этом забывать?

В последнее время опять много говорится о «советской угрозе» и «русской опасности». Голоса, вещающие об этом, слышны из Пекина, Вашингтона, Лондона, раздаются они и в Бонне, и в Мюнхене. Старые мотивы звучат в новых вариациях. Создаются более совершенные машины разрушения, как будто недостаточно того, что уже имеющимся оружием можно

пятнадцать раз уничтожить всю нашу планету. Фантастика ужасов приобретает невиданный до сих пор размах. Мир предстает в облике сумасшедшего дома. Не проходит и дня, чтоб не появилось газетного заголовка о новых советских ракетах, а опровергаются ложные сообщения — как было недавно в случае с ракетами СС-20, якобы стационированными в ГДР,— лишь в форме неприметного комментария. Не проходит недели, чтобы кто-нибудь из ведущих политиков или генералов НАТО не обращался к общественности с заклинаниями о необходимости новых систем оружия; при этом пренебрегают самыми явными противоречиями. То заявляют, что СССР «безнадежно отстал», то — что «неслыханно вырвался вперед». Рынок заполняют книги, варьирующие мотив «русские идут»: «Они придут» (1972), «Красные флаги над Бонном» (1975), «Марш против Федеративной Республики» (1976), «Европа без защиты» (1977).

Однако есть и другие тенденции. Весной 1979 года один генерал бундесвера подчеркнул, что «советской угрозы» не существует, так как советские военные усилия направлены не на нападение, а на оборону. Важное заявление, даже если иметь в виду, что этот генерал вызвал ожесточеннейшие нападки реакционных кругов и что его высказывания отнюдь не выражают господствующих настроений в бундесвере, где солдаты воспитываются, как и прежде, в духе антикоммунизма и антисоветизма.

В 1972 году появилась книга «Завтрак в Мюнхене». Заголовок безобидный, можно подумать, что речь идет о приглашении к мирной трапезе в прекрасном городе. На самом деле автор книги нагоняет на читателя немалый страх: русские просыпаются, садятся в танки и к завтраку оказываются в столице Баварии. Мне кажется, что сегодня население этого города, в котором я живу уже много лет, в своем большинстве воспринимает этот «завтрак в Мюнхене» юмористически. Нагнетение страха теперь не такое простое дело, как прежде, хотя следует сказать, что граждан у нас целыми днями пичкают антикоммунизмом и антисоветизмом. Фантазиями на темы ужаса, как видно, немного пресытились, и хорошая сатира на эту тему имеет у публики больше шансов на внимание и успех — правда, далеко не всегда она получает трибуну.

Так несколько лет спустя после выхода в свет «Завтрака в Мюнхене» появилась песня Вольфа Бранаски о комической эпопее одного мюнхенского жителя, который захотел позавтракать и нигде не смог получить своего кофе и булочки. Всюду, куда он ни приходил, он видел пустые заведения, потому что — «русские тут». И все люди, как он ошарашенно выясняет, исчезли. По дороге к западной окраине какой-то человек, который спрятался «от русских» в могильном склепе, приглашает его спуститься к нему в темноту. Но наш герой не хочет прятаться рядом с мертвецами, он хочет только позавтракать и посмотреть, как выглядят живые «русские в Мюнхене». Что же он видит? На одинокой стоянке он встречает русских — не в танке, а в легковом автомобиле. Это три москвича в своем «москвиче», администраторы балета Большого театра, едут в Баварскую государственную оперу. Наш проголодавшийся мюнхенец очень рад, он показывает путешественникам дорогу к центру, а они приглашают его на дружеский завтрак с водкой.

Эта сатирическая песня разоблачает кампанию по нагнетанию страха. Полные юмора описания эпизодов, рассказанные на баварском диалекте, вызвали аплодисменты публики. Если бы исполнители — сам автор Бранаски и его аккомпаниатор Хонке — выступили с этой песней и на телевидении, они имели бы там такой же бешеный успех, как на собраниях движения в защиту мира и других прогрессивных организаций нашей Земли. Однако на телеэкран их не допустили. Это лишь маленький пример того, что круги, которые обделывают свои дела, распространяя формулу о «советской угрозе», в действительности испытывают страх перед здравым рассудком большинства сограждан, поскольку большинство сограждан желает всеобщего разоружения.

В той мере, в какой страх перед «советской угрозой» перестает действовать, круги, наживающиеся на вооружении, теряют свои возможности. Арсеналы уничтожения должны постепенно сводиться на нет. Фантазии, которые делают людей больными, но при этом еще и слепыми и глухими к действительным опасностям, потеряли бы свое влияние. Потребность в средствах оглушения и успокоения понизилась бы. Вместо этого ожила бы фантазия мира, радости и доброй человеческой надежды. ■

Эмма Смит

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Наступил Международный год ребенка, и мы встречаемся в Болгарии, в стране, где социалистическая революция произошла тридцать пять лет тому назад. В обществе, где действуют принципы социализма, на ребенка смотрят как на бесценное сокровище, которое нельзя ни продать, ни обменять, ни расточить, ни погубить небрежным обращением. Детьми дорожат безмерно, для них не жалеют ничего. Ведь дети—начало будущего. В понятии социалистического общества будущее — это не только жизни сегодняшних детей, но и жизни внуков и правнуков: оно разворачивается все дальше и дальше в грядущих поколениях. Это уходящее в дали будущее невозможно без мира, вот почему стало аксиомой, что социалистическое общество, планы которого устремлены в далекое будущее, неотделимо от состояния мира. Национальная политика, предусматриваю-

щая возможности счастливой и благополучной жизни для грядущих поколений,— это политика, основанная на бескорыстной морали. А поскольку необходимо, чтобы такая же бескорыстность была присуща морали, мировоззрению, жизненным целям и поведению граждан этого государства, то оно утверждает эти качества в процессе воспитания и образования подрастающих детей.

В западном обществе, обществе, где я родилась и выросла, дело обстоит иначе. У нас понятие будущего интерпретируется более ограничительно, хотя далеко не все это признают, а может быть, даже и понимают. В современном западном обществе абсолютно доминирующая роль принадлежит культу индивидуализма. Индивидуализм, по существу, равнозначен эгоизму, своекорыстию, а взгляд эгоиста, естественно, не простирается в грядущее. Для убежденного индивидуалиста нет никакого смысла размышлять о том будущем, что выходит за пределы его собственной жизни. На этой почве и зарождается весьма беспечное отношение к вопросу о спасении человечества от гибели.

В нашем обществе индивидуализм стал настолько привычным явлением, что мы уже едва замечаем его присутствие и почти не даем себе труда попытаться понять, откуда он берется, какое воздействие оказывает и почему. Мы склонны принимать все это как должное и неизбежное, как факт современного существования, подобный зараженному воздуху, которым дышим на улицах наших городов. Индивидуализм — это, по сути, извращение здорового и насущного начала: понятие достоинства и ценности каждой человеческой личности, непомерно разросшееся, превратилось в свою противоположность. Вот истинное содержание современного западного индивидуализма. А превращение первоначального принципа в собственную пародию осуществляется крупным бизнесом и служит целям крупного бизнеса. Неотделимо от него оскудение культурной жизни общества. Для подавляющего большинства населения на Западе вполне достаточным считается уровень грамотности, дающий возможность читать рекламные объявления — не выше. Индивидуализм направляет внимание человека (часто, особенно если человек молод,— тревожное внимание) на собственную персону и фиксирует его в этом положении. Если такой человек и взглянет на других, то не затем, чтобы посмотреть, как им живется, а затем, чтобы увидеть, как они смотрят на него: с одобрением ли, с завистью ли, что они представляют собой как возможные соперники и конкуренты. Индивидуализм изолирует личность от личности, и каждому человеку он говорит: ты — один; один — значит, свободен; быть свободным — твое право; ты имеешь право отвечать только за себя и только перед самим собой. Человек оказывается в замкнутом круге. Индивидуализм провозглашает — трудно постичь до конца всю пагубность этой идеи — каждую человеческую личность настолько значительной, что она может без всяких угрызений совести посвятить свою жизнь себе самой с похвальной целью добиться успеха. Каждый, кто не преуспел,— неудачник. А успех можно увидеть и измерить по тем вещам, которыми обладает тот или иной человек. Приобретения его — это призы, которые он выигрывает в гонках-состязаниях с ближними своими, в состязаниях со всеми себе подобными. Считается, что гонки эти — прекрасный, здоровый вид спорта, и те, кто не получает призов, не должны жаловаться: ведь никто в этом не виноват, кроме них самих.

Чистая совесть также входит, в качестве дополнительного удобства, в этот «джентльменский набор», и чтобы человек мог пользоваться им беспрепятственно, своекорыстие и связанное с ним самоублажение изображаются не как нечто нуждающееся в оправдании, а как вполне положительные свойства. Эта ситуация действительно самым разрушительным образом влияет на общественные инстинкты человека, на его инстинктивное стремление помогать и принимать помощь. Она полностью разрушает творческую диалектику человеческого общения. Индивидуалистическая доктрина таит в себе семена отчаяния, что особенно пагубно для самых юных, для тех, кто входит в жизнь полный веры и надежд, неся единственный чудесный дар, который он вправе предложить миру,— самого себя.

Молодые люди великодушны по своей природе, их доброжелательность естественна, они чувствуют, что дар, который они готовы предложить, что-то значит, что они сами что-то значат, хотя в данных обстоятельствах ощущают и некоторую неуверенность в этом. Но крикливые голоса коммерческих средств массового воздействия спешат уверить их: ну конечно же они представляют собой очень ценный товар! И для того, чтобы доказать это, а также добиться всеобщего восхищения, которого юность — синоним красоты — вполне заслуживает, молодежь должна щедро тратить на себя деньги как можно больше и как можно быстрей — ведь юность кончается так скоро! Ценность ее — как утверждает тот же коммерческий глас — огромна, но преходяща. Подобный цинизм — издевательство над всем, что составляет подлинную ценность этих юношей и девушек, он вносит путаницу в их жизненные представления. Если действительно — в чем их стараются убедить — значение имеет внешность, и только одна внешность, то не следует ли из этого, что товарищество, дружба, любовь — всего лишь иллюзия? И неужели каждый из них действительно сам по себе и один? Как это страшно! Что же им делать? Находятся среди них такие, что предпочли, ради спасения души своей, просто-напросто уйти, покинуть эту головокружительную рекламную ярмарку. И этот индивидуалистический жест, в общем, на руку пропагандистам индивидуализма — ведь тот, кто уходит, ни во что не вмешивается. Есть и другие — те, что попадают в число жертв этой нескончаемой пропаганды. И наконец, есть люди — и они образуют весьма значительную часть нашей молодежи,— которые понимают: молодежь стала объектом высокоорганизован-

ного мошенничества и всеми силами сопротивляются этой мошеннической практике, сопротивляются энергично и умно, с мужеством, с сочувствием к более слабым, используя все доступные средства — хоть их у них и немного.

Индивидуализм, подобно фашизму, может принимать разнообразные обличия. Некоторые формы его очевидны, другие — не столь очевидны. Самый, пожалуй, пугающий аспект в нынешней разновидности индивидуализма — это особый упор на «сиюминутность»: потребление, ощущения, выгоды — все это должно быть немедленно, тут же. «Сейчас!» — вот главный лозунг. Призывая людей к интенсивному сиюминутному существованию, их отрывают не только друг от друга, но и во временной дистанции от прошлого и будущего, они перестают чувствовать себя частицей какого-либо разумного порядка событий, перестают представлять себе последствия собственных поступков, не сознают, какова цена этих поступков и кому приходится расплачиваться. Процесс изоляции и отрыва неизбежно приводит и к тому, что чужие действия и их последствия перестают касаться людей. И это порождает чрезвычайную опасность в контексте сохранения мира во всем мире. Я убеждена в том, что мы, писатели, живущие в западном обществе, должны осознать до конца, как бы ни было это для нас трудно и неудобно, далеко идущие последствия сегодняшней разновидности индивидуализма. И, осознав всю его извращенность и способность извращать человеческое сознание, понимая, куда он ведет и какую угрозу несет всему, в том числе и существованию самой литературы,— мы не имеем права вести себя, подобно коммивояжерам индивидуализма. Нам следовало бы отказаться от тенденции сужать поле своего писательского зрения и приспосабливать его к тривиальному, нарочито обмельченному видению мира. Нам следовало бы решительно отказаться представлять всевозможные эгоцентричные и интроспектные блуждания личности, отчужденной от окружающего мира с его большими проблемами, как нечто правдиво отражающее удел человеческий. Нам следовало бы решительно отказаться способствовать отрыву личности от окружающей среды и от других человеческих существ, потому что мы знаем, такая изоляция не только разрушает в нем человеческое начало, но и делает его бессильным. А когда человек изолирован и бессилен, страшные дела могут твориться — и творятся — власть имущими от его имени. Идеи, которые должны внушать мы — неважно, прямо или подспудно, публицистично или тонко, художественно,— непосредственно противостоят тем тезисам, что непрестанно, день и ночь, широко рекламируются поборниками индивидуалистической этики. И мне кажется, что, принимаясь за свою писательскую работу, мы должны всегда видеть сидящего по другую сторону машинки — самого что ни на есть замороченного, безнадежно запутавшегося представителя жертв пропаганды индивидуализма и писать должны именно для него. Мы обязаны поведать ему, что он не одиночка, а часть сообщества, что стоит ему поднять руку, поднять глаза, оторваться от самосозерцания, и он обнаружит, что является уникальным вариантом миллионов подобных ему человеческих существ, с которыми делит те же самые чувства, радости, страхи и потребности. И личная его ценность в этой огромной системе в том и заключена, что каждый его поступок, все, что он совершает, говорит, все, что он представляет собой, как-то отзывается на других. И еще ему следует сказать, что все, чего он не совершает, оставаясь немым и бездейственным, отзывается на других в такой же степени. На мой взгляд, долг современного западного писателя состоит в том, чтобы вернуть индивидуальной личности чувство ответственности за жизни других людей. Мы должны заново подключить ее к тем, кто ее окружает, а это непосредственное окружение — к миру, а мир — к истории, к прошлому, настоящему и будущему. Я представляю себе нас, писателей, как профессиональных связистов. А если такова наша истинная задача, то на нашу долю выпадает и восстановление тех линий связи, которые постоянно оказываются перерезанными,— связи между причиной и следствием, между действием и его причиной. Причина есть всегда — истинная причина, скрытая где-то глубоко под видимой сверху.

Помню, несколько лет назад, в разгар войны во Вьетнаме, мне рассказали об одном журналисте, который оказался лицом к лицу с северовьетнамским крестьянином на рисовом поле после авианалета. Человек этот протянул вперед мертвое тело своего ребенка и произнес: «Почему?» Это был настоящий вопрос, не риторический, и ответ на него существовал и существует. Смерть этого ребенка не была вызвана роковым стечением обстоятельств, несчастным случаем. Была для нее своя логическая, страшная причина, так же как и для гибели, увечий, голода, недоедания, всевозможных лишений великого множества других детей. В чем же заключается эта причина? Мы, писатели, можем и не ответить на этот вопрос в своих произведениях, но я считаю нашим долгом снова и снова ставить его, привлекать к нему всеобщее внимание. Спрашивать снова и снова: «Почему?»

Речь идет о насущных моральных проблемах, которые говорят сами за себя, стоит лишь сделать их явными. В том и заключается дело, чтобы они стали явными, чтобы сорвать искусный камуфляж, которым маскируют правду люди, в этом заинтересованные. Вот это и есть долг писателя.

...«Внемли! Я открываю перед тобой добро и зло. Поэтому избери добро». Не помню, из какой части Ветхого завета пришла ко мне эта строка. Я услышала ее очень давно и была поражена высоким моральным смыслом ее, столь сжато переданным. И во Вьетнаме, и во множестве других мест мораль эта снова и снова была проиллюстрирована с абсолютной ясностью. Для меня добро — это социализм, и я выбрала его.

(Окончание следует)

Наши публикации

ЦЮЙ ЦЮБО

ВПЕРЕД, В КРАСНУЮ СТОЛИЦУ!

Из книги «Путевые заметки о новой России», 1922 г.

Вступление и перевод с китайского М. ШНЕЙДЕРА

Цюй Цюбо — один из авторитетных руководителей Компартии Китая, видный деятель международного коммунистического движения, пламенный пропагандист марксизма, талантливый публицист, литературный критик, переводчик русской классической и советской литературы, верный друг СССР. Во время своего первого пребывания в Советской России (1921—1922) в качестве корреспондента китайской прессы он написал множество очерков и репортажей, а также две книги: «Путевые заметки о новой России» и «Впечатления о Красной столице», в которых правдиво и объективно отображена жизнь молодого социалистического государства, его миролюбивая, созидательная политика и практика.

Сегодня в Китае богатейшее творческое наследие выдающегося революционера-интернационалиста находится под запретом. Одна из главных причин этого — стремление пекинских лидеров вытравить из сознания китайского народа правду о стране Октября, о советских людях. За последние два десятилетия в Советском Союзе переведены и опубликованы многие произведения Цюй Цюбо. Не раз печатались они и на страницах нашего журнала [1]. Цюй Цюбо стоял у истоков китайско-советской дружбы, был страстным ее поборником. Представленная несколькими фрагментами в «Иностранной литературе» [2] его книга «Путевые заметки о новой России», где собраны свидетельства заинтересованного очевидца первых лет жизни Страны Советов,— ценный литературный и исторический документ, подтверждение традиционного дружелюбия советских людей по отношению к китайскому народу. И теперь, когда наша партия и Советское государство неуклонно выступают за разрядку международной напряженности, за нормализацию советско-китайских отношений, за введение их в русло добрососедства, мы вновь обращаемся к этому замечательному произведению. Полностью книга включена в сборник Цюй Цюбо «Публицистика разных лет», который выйдет в свет в Главной редакции восточной литературы издательства «Наука».

Город Цзинань в провинции Шаньдун. На берегу озера Даминху под соломенным навесом при тусклом свете лампы сидят за столиком трое. На них с безмолвным укором глядят остатки трапезы, недопитое вино, будто сожалеют, что люди не в силах уже ни есть, ни пить и палочки для еды оставлены без внимания...

— Ты едешь...— ласково говорит старик с изможденным, обветренным лицом, обращаясь к юноше.— Смотри, будь осторожен... Главное — не забывай свои обязанности, трудно тебе придется...

Юноша обещает все выполнить и встает из-за стола. Взошла молодая луна, залила светом озерную гладь, отраженные в ней облака, выхватила из темноты шелестящий камыш и ивы. Листья ползучих растений — ими сплошь увита харчевня — негромко шелестят на ветру. Трое выходят из-под навеса и бредут вдоль берега. Зябко и грустно бывает

[1] См. № 5 за 1955 г., № 11 за 1956 г., № 9 за 1957 г., № 1 за 1959 г.
[2] См. № 5 за 1977 г.

осенней ночью, да еще перед долгой разлукой...

Итак, я решил побывать в России, хотя мне и жаль было покидать моего дорогого отца, с которым я приехал проститься в Цзинань.

Поужинав вечером в маленьком ресторанчике на берегу озера Даминху, мы с отцом и его другом возвратились домой. Спать мы улеглись с отцом вместе, на плетеной лежанке, и проговорили почти всю ночь напролет. Встал я рано, мы попрощались, и я сел в пекинский поезд. Кто знает, когда теперь свидимся!..

...На Восточном вокзале в Пекине проводить меня собрались близкие родственники, в том числе брат Чуньбо, и кое-кто из друзей. День выдался чудесный. Свежий ветерок и сверкающее солнце действовали на меня как-то необъяснимо: все окружающее представлялось в причудливом свете... Рукопожатия, слова прощания...

На станцию Маньчжурия мы приехали 13 декабря вечером. В тот же день сюда прибыл возвращавшийся на родину генерал-лейтенант Чжан Сылинь — военный представитель Управления китайской пограничной стражи в России. Он рассказал нам, что возникшая было надежда на установление дипломатических отношений между Китаем и Россией не оправдалась по вине китайского правительства, которое, к сожалению, не решилось пойти на такой шаг и не определило четко своей позиции в этом вопросе.

— В Москве,— продолжал Чжан Сылинь,— с готовностью отказались от всех привилегий царской России. Они желают начать дружественные переговоры с Китаем, восстановить торговые отношения... Но китайское правительство не облекло меня необходимыми полномочиями, и я не смог довести начатое дело до конца. Русские руководители в высшей степени гостеприимно встречают иностранные делегации, и мне был оказан прекрасный прием. Но в Пекине неожиданно сменился кабинет, Дуань Цижуй был отстранен от власти. Новое центральное правительство сообщило по телеграфу в Лондон, что я не являюсь официальным представителем... И все переговоры пошли насмарку...

На станции Маньчжурия мы застряли. Чжан Сылинь в своем поезде уже проследовал на юг, а спецпоезд Чэнь Гуанпина[1] все стоит на месте. Отозванный пекинскими властями на родину, Чжан Сылинь уведомил рабоче-крестьянское правительство о том, что в Москву назначен китайский генеральный консул. Ему ответили: мы, несомненно, приветствуем это назначение, и после прибытия представителя Китая Россия тоже пошлет своего представителя в Пекин. Однако Китай, как всегда, ограничился телеграфной информацией через Лондон, и так как рабоче-крестьянское правительство не было официально уведомлено о назначении генконсула Китая, Москва не имела возможности приготовить ему соответствующую встречу. Ну, а Дальневосточная республика и вовсе была не в курсе дела. Вот и пришлось нам сидеть на станции Маньчжурия, ожидая ответную телеграмму из Читы. Да и вообще нам предстоял рискованный путь: многие железнодорожные мосты были разрушены. И если после окончания военных действий в районе станции Маньчжурия поезд Чжан Сылиня был первым составом, проехавшим из Читы в Маньчжурию, то нашему спецпоезду предстояло первым пройти в обратном направлении...

18 декабря прибыли в Читу — новую столицу Дальневосточной республики. Отсюда предстояло запросить Москву, потом уведомить об ее ответе пекинское правительство — лишь после этого спецпоезд генконсула мог продолжать свой путь. Нам, журналистам, предстояло получить визы в министерстве Дальневосточной республики по иностранным делам...

Мы знакомились с общественной жизнью Читы, встречались и беседовали с руководителями правительства Дальневосточной республики. Как-то в помещении Телеграфного агентства ДВР у нас завязался интересный разговор с бывшим польским офицером, который сносно говорил по-английски. Дело в том, что корреспонденты агентства, когда мы беседовали с ними, коснулись вопроса о КВЖД и посоветовали повидаться с министром транспорта республики Шатовым.

— Я познакомлю вас с ним,— обрадовался поляк.

Кабинет министра транспорта Дальневосточной республики был просторным и полупустым. Стол, несколько стульев — вот и вся мебель. Наш знакомый поляк ввалился в кабинет в шапке и пальто и наследил своими грязными ботинками. Он сел не дожидаясь приглашения и сразу потянулся к лежавшим на столе папиросам, спросив: «Можно?» — и, не получив ответа, закурил. Мы с Юй Сунхуа обратились к Шатову, который, как оказалось, говорил по-английски. Он холодно бросил:

— Прошу задавать вопросы!

Изложив цель нашего прихода, мы повели разговор о КВЖД. По этому вопросу нам не раз довелось беседовать с представителями Харбинского объединенного комитета рабочей партии. Мы высказали свои симпатии к трудящимся революционной России и выразили уверенность, что в дальнейшем сможем

[1] Чэнь Гуанпин — генеральный консул Китая, направлявшийся в Москву. В его спецпоезде с Цюй Цюбо ехали еще два китайских журналиста. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

должным образом представлять их интересы в своих корреспонденциях для китайской прессы. Нам также хотелось знать о политике нового читинского правительства по отношению к Китаю и КВЖД. Министр постепенно перешел с начальнического тона на дружеский и весьма любезно обратился к Юй Сунхуа:

— Читинское правительство решительно высказывается за возвращение КВЖД Китаю на договорных началах. Китай и Россия как добрые соседи должны совместно бороться против японского империализма. Захват КВЖД японцами весьма пагубно отразился бы на слаборазвитых странах Дальнего Востока...

Беседа закончилась, и мы ушли. На следующий день все тот же поляк познакомил нас с начальником продовольственного управления Гроссманом, который оказался человеком прямым и откровенным. Он рассказал нам о политике нового правительства в области снабжения продовольствием.

— Россия, особенно Дальневосточная республика,— говорил он,— рассматривает Китай как самую близкую и дружественную страну в мире и надеется стать его союзником. Мы искренне желаем торговать с Китаем. Но из-за длительной блокады, которую пришлось выдержать России, у нас нехватка товаров, и этим могут легко воспользоваться спекулянты. Поэтому все продовольственные запасы мы вынуждены держать под контролем государства. Каждый торговец обязан сообщать о количестве имеющихся у него товаров и придерживаться цен, установленных правительственными органами, осуществляющими контроль. Если китайские купцы будут соблюдать оба условия, они смогут совершенно беспрепятственно вести торговлю. Мы согласны торговать и с Японией, но лишь в том случае, если она откажется от политики агрессии...

Я с жадностью набросился на книги и журналы, присланные нам Читинским комитетом коммунистической партии, я читал все время, пока мои попутчики по спецпоезду и их гости развлекались азартными играми. Однако дело продвигалось крайне медленно: я с трудом одолевал каждую страницу. Только прочитав Программу РКП (б), журнал III Интернационала «Интернационал», «Историю социализма» и еще кое-что, я составил себе некоторое представление о теоретических основах русской компартии.

Наступил Новый год. 4 января все предотъездные сборы были наконец закончены, и мы с радостью тронулись в путь — к нашей цели, отказавшись от возникшего было намерения остаться в Чите.

6 января я проснулся чуть свет. Мы подъезжали к станции Межевая. Все было покрыто снегом, и не было ему ни края, ни конца. По обочинам дороги, тоже укрытые снегом, лежали срубленные вековые деревья, точь-в-точь как на картине Ван Шигу «Семь деревьев на берегу реки»...

Межевая — первая станция на восточной границе Советской России. Здесь предстояла смена паровоза. Наш прежний паровоз возвращался в Дальневосточную республику...

Мимо нашего поезда, стоящего в южной части станции, в обоих направлениях идут и идут воинские эшелоны. Бойцы в изодранных шинелях и грязных меховых папахах то и дело высовываются из теплушек, жадно глядят на наш завтрак — рисовую кашу, говядину и капусту. Вот напротив наших окон останавливается еще один эшелон. Бойцы делают нам знаки руками, прося закурить. Мы угощаем их папиросами...

С самого начала наш спецпоезд шел вне расписания, и министр транспорта Дальневосточной республики Шатов выделил для него специальный паровоз. Начальник станции Межевая сменил паровоз, и прежний машинист пришел попрощаться. Он тоже попросил закурить.

— Жизнь стала невыносимо тяжелой! — жаловался он.— Коробок спичек стоит двести рублей, а зарабатываю я в месяц семьсот...

Прибыл «красный» паровоз и повез наш поезд в новую, Советскую Россию.

Ранним утром 7 января, едва проснувшись, я вскочил на ноги и стал пристально вглядываться в бледно-серую пелену за окном — мир, закованный в лед. Оказалось, мы едем уже по берегу озера Байкал. Извиваясь и кружа, наш длинный состав миновал более сорока туннелей в горах, окаймляющих озеро. Он двигался наискосок, через снежные отроги, отражаясь в оледеневших волнах, и, казалось, сотрясал неподвижный мир исконных сибиряков, как бы символизируя величие и власть цивилизации. Вдалеке, таинственные, будто в сказке, смутно маячили горы, а может, это были тучи. Вдруг появилось облако, светлое, насквозь пронизанное холодом, задумчивое. Оно то поднималось ввысь, то опускалось, застывая на месте, равнодушное ко всему на свете, величавое и неподвижное. Ледяные волны на берегу озера, словно каменные пласты, громоздились друг на друга, образуя неприступные кручи. Сколько же времени прошло с тех пор, как свирепый ветер вздыбил гулявшие на свободе бурные волны и вмиг заморозил, нагнав лютый холод? И хотя его адская сила давно иссякла, он продолжал бесчинствовать — беспощадный, упорный, жестокий. Поодаль от берега остались полоски совершенно гладкого льда, в них отражались земля и небо — ковры, сверкавшие, как хрусталь. Эта плоская водная даль — там, позади волн — как бы воплощала

в себе вечное стремление к покою. Но неумолимая природа вдруг сковала ее, превратила в недвижную красоту, ослепляющую своим блеском. В прозрачной, как лед, студеной воде отражались тучи и снежинки. Временами она начинала ежиться, точно в испуге, и по ней пробегали сердитые волны. Потом, смешиваясь со льдинками, вода покрывалась морщинами. Но даже сквозь это угрюмое обличье, в котором предстала она перед закоченевшими, насквозь продрогшими земляками, вода порывалась выразить тягу к жизни, все еще теплившуюся в огромном, поистине необъятном озере, будто желая сказать: «Вон как разъярился бессердечный дух холода! Бушует, безумствует, точно неприкаянный призрак. Лишь на самой середине озера оставил крошечную полынью — где и жить-то можно только в затишье да при весеннем ветерке. И никому не ведомо, когда, наконец, этот дух холода отступит перед теплой, ласковой порою...»

В три часа пополудни 7 января поезд прибыл в Иркутск. Наш вагон отцепили и поставили на дальний путь...

Полное безлюдье... Снега простираются до самого горизонта. Гнетущее, словно навеянное духом смерти безмолвие. Из-за туч, застывших в своей невозмутимой неподвижности, будто их сковала лютая предрассветная стужа, не видно робких проблесков утренней зари. И кажется: нет, это не утро, а глухая ночь. Одни лишь спящие деревья чуть приметно трясут ветками, измученные неисчислимыми напастями и бедами, и молча ждут прихода далекой весны. Налетают порывы беспощадного северного ветра, он то завоет, то зашуршит — будто метлой по снегу, то, обессиленный, хрипло застонет...

18 января выехали из Омска, а 20-го прибыли в Тюмень — важный пункт на пути между Европой и Азией. В тот же вечер добрались до Екатеринбурга [1]. Места эти чрезвычайно богаты залежами полезных ископаемых. Кажется, обильная, щедрая природа глядит на вас с усмешкой: вот, мол, вы, люди, погрязли в «семейных» дрязгах да мышиной возне и все никак не удосужитесь пригласить меня, природу, отпраздновать великую радость — ведь на земле воцарились мир и покой.

Проснулся на рассвете 21 января — мы уже на Урале, стоим на станции Кордон. Белый снег, кругом горы. Они напрочь скрыли от глаз, заслонили все те богатства, которыми славится здешняя природа. Скрыто от взора и вековечное противоборство между пролетариями и капиталистами, повсюду лишь чистая, девственная красота, которую так любят воспевать поэты.

На изломанных, вознесшихся ввысь вершинах и невысоких горах сплошь густые леса. Они то тянутся по петляющим гребням горных хребтов, то растекаются вширь по склонам, стремясь показать себя во всем могуществе и величии. В искрящемся, отливающем кристаллическим блеском снегу отражается раннее солнце — суровое, холодное и всесильное.

Даже из-за черной тучи, заслонившей его, проглядывает скорбный, но неизменно прекрасный лик солнца. Изумрудные сосны и ели облачились в богатый наряд — серебряные мантии и блестящие латы; вид у них — и без того величавых и горделивых — становится уж вовсе надменным; невозмутимые, они несомненно в силах противостоять любому натиску природы. Но вот в мгновение ока налетает яростный ветер, и бешеный рев его отзывается эхом в окрестных горах. Мириады ветвей разом приходят в неистовый трепет, невольно роняя наземь шуршащие хлопья снега. На фоне суровой и лютой здешней зимы в глаза бросаются мелькающие там и сям — неуместные вроде — изумрудные пятна сосен. Они, словно восхищенные, очарованные красавицы, безошибочным чутьем ощущают первое веяние тепла — дар долгожданной ласковой весны. Но пока еще каждый ствол, каждая ветка тщательно кутаются в холодный снег, чтобы укрыться от стужи, свирепствующей вокруг. Внутреннюю силу деревьев питают мечта, жажда тепла и влаги, а их не одолеть даже самым могучим силам вселенной, повелевающим небом и землей.

Неукротимый безжалостный ветер, сотрясающий земную твердь и вздымающий в море громадные волны, угодив в непроходимые чащи, сваливает все в кучу, клокочет, раскачивает, крушит и валит все на своем пути. Где уж в такой миг распознать в этом хаосе полное раскрытие движущих сил природы — да и сама попытка сделать это выглядела бы нелепицей. Возможно ли за одно лишь краткое мгновенье распознать вкус и испить ароматную росу, которой напоен промчавшийся вдруг мимолетный весенний ветер. Точно так же нельзя, невозможно никакими заклинаниями и призывами к небесному провидению повернуть вспять ревущую, рокочущую мощь прибоя. И вовсе уж не под силу нам опознать скрытые силы, благодаря которым величественные горные кряжи Урала заняли на материке Восточного полушария такое господствующее положение, пронизав, как становой хребет, сверху донизу территорию целого государства. Своими вершинами Урал встречает купы быстро летящих облаков, по склонам его катятся шумные ручьи и потоки. Они предвещают нынешнему веку невиданное доселе изобилие энергии.

Извиваясь длинной змеей, поезд не

[1] Ныне Свердловск.

спеша движется через Урал. Все время в окна вагона врывается чистый, девственный горный пейзаж, из стремительно чередующихся цветов — изумрудного и белого — складывается единая картина.

Спускаясь по западному склону хребта, мы остановились у маленькой станции. Вдруг за окном вагона среди густого леса в урочище показалось милое русское село — сбившиеся скопом маленькие деревянные избы, укрытые белым снегом, а в середине — возвышающаяся над ними церковь. Бронзовый купол ее, ни на миг не тускнея, сияет и поблескивает, как бы перекликаясь с мириадами укутанных сверкающих снегом ветвей. Этот таинственный их задушевный разговор вдруг обрывается, едва в полдень до пади доносится звук первого удара церковного колокола.

А вот за окнами вагона появился старик в видавшей виды, рваной и засаленной меховой шапке. Сквозь всклокоченную бороденку проглядывает его простое и честное лицо. Он принимается очищать железнодорожное полотно от слежавшегося снега. Старательно сваливает его в кучу лопатой. Толкаясь и хохоча, вихрем несутся двое мальчишек лет этак по семь-восемь. Старик вроде говорит им что-то. Один из мальчишек хватает лопату и помогает сгребать снег, другой оттаскивает руками слежавшиеся комья. Это длится минут десять. Потом мальчишка, который сгребал снег, отставляет в сторону лопату и достает из рваной сумки ломоть черного хлеба. Второй паренек немедленно бросает работу и бежит за своей долей хлеба. Какое-то время они стоят друг против друга, за милую душу уписывают хлеб, смеются и болтают. Вдруг тот из них, что таскал снежные комья, поднял снежок и швырнул его в спину другому. Они сцепились в клубок и давай мутузить друг дружку. Один из них повалился наземь, другой бросился наутек. Упавший вскочил и кинулся вдогонку. Старик подобрал лопату, и стало видно, как у него беспорядочно задвигались губы. Наверно, он произносил длинную тираду вдогонку мальчишкам, но те даже не обернулись.

Как зачарованный следил я за ними. Тут неожиданно раздался паровозный гудок, поезд тронулся, и старик вместе с мальчишками медленно скрылись с глаз. Но где-то в глубине моей души запечатлелись и мягкая, доброжелательная улыбка старика, увлеченного работой, и веселые лица ребятишек — шустрых, смешливых и простодушных.

Вечером 22 января спустились к западному подножью Уральского хребта. На небольшой станции русская крестьянка меняла целую корзинку куриных яиц на соль. Но соли у нас самих было очень мало, и за сотню яиц пришлось уплатить ей тридцать тысяч советских рублей...

Двигаясь все дальше и дальше на запад, мы на каждой станции покупали что-нибудь. Но торговля велась украдкой, из-под полы. На всем пути от Иркутска до Урала на станциях, где останавливался наш поезд, практически не было мелкой торговли. И только проехав Урал, мы увидели одно из проявлений натурального хозяйства — товарообмен. Со временем коммунистическая партия изменит свою экономическую политику. После трехлетней передышки и известной стабилизации она сможет приступить к реконструкции хозяйства, начнет организовывать экономику, опираясь на восстановленную промышленность и торговлю,— иными словами, постепенно продвигаясь вперед по пути современной цивилизации, приступит к созданию базы коммунистического общества. Но все это произойдет в марте — апреле 1921 года. А пока что мы наблюдаем все тех же мелких торговцев, продающих что-то из-под полы.

23 января утром проехали Вятку, 24-го прибыли в Вологду. По мере продвижения на запад мы оказывались все ближе и ближе к индустриальным районам России и уже перекочевали из средневековья в современность. Постепенно все явственней ощущалось наличие торговли. Пассажиры на станциях — они ехали в различных направлениях — одеты гораздо лучше, аккуратнее и внешне уже не напоминают людей, находящихся в крайне стесненном положении, которые то и дело встречались нам в Восточной Сибири...

Вологда — промежуточная станция на линии Северной железной дороги. От нее до Петрограда шестьсот с лишним русских верст, а если от Вологды свернуть на юг, то, проехав четыреста семьдесят верст, попадешь в Москву.

От стука колес в вагоне стоял неумолчный грохот. Но на душе, полной неясных надежд, было радостно и легко. Она, словно в огневой пляске, рвалась вперед. Вот мы проехали над великой русской рекой Волгой — в верхнем ее течении. Когда миновали железнодорожный мост, справа и слева сначала неясно, потом все отчетливее замелькали заводские трубы.

25 января, поднявшись чуть свет, я стал торопливо укладываться: более чем сорокадневная жизнь на колесах близилась к концу. Стояла ясная погода. Суровый холодный ветер ворвался в толщу белоснежных облаков, и те как бы с опаской посторонились от него. Мир озарила мягкая улыбка, она согрела мне душу и поселила в ней безмятежный покой. Во все глаза гляжу я на лес. Он — весь в снежном уборе — радостно приветствует гостя, приехавшего из далекого далека, за десять тысяч ли. Но вот темно-голубая вечерняя мгла постепенно окутывает небо и обволакивает землю своим покровом. Мне вспоминаются проводы на далекой родине, но выплывший откуда-то холодный диск луны тотчас кладет конец моим невеселым раздумьям.

В такт пыхтению паровоза нас слегка

потряхивает. Вырывающиеся наружу пышные хлопья дыма и пара стелются по земле, вьются вокруг белыми облаками. Когда в топку паровоза подбрасывают дрова, в воздухе мимо окон вагона проносятся снопы искр. На темном фоне леса, на белом снегу промерзших далей они смело вспыхивают красным светом. А поезд-дракон, стремительно мчащийся вперед, разбрасывает их по сторонам, словно расправляет множество гибких золотых крыльев.

Справа и слева от дороги проплывают подмосковные места. Зажатый меж двумя рядами заснеженных деревьев, то редеющих, то снова встающих плотной стеной, поезд идет вперед, а по вагонам бегут тени ветвей. Неожиданно деревья исчезают, и тотчас вновь появляется сверкающая, как снег, бледная, остывшая луна. Ее холодный свет падает в окна вагонов. Сверкая вагонными стеклами, поезд мчится вперед, приближаясь к Москве. Вот вдали уже показался город с мерцающими кое-где электрическими огнями. В темноте едва заметно дышат заводские трубы. Еще несколько минут — и мы прибываем в Москву, на Ярославский вокзал. Около одиннадцати часов вечера 25 января 1921 года, или 17 числа двенадцатого месяца по лунному календарю. В небе по-прежнему светит холодная луна, вокруг стоит разноголосый гомон; я знаю: мы добрались наконец до «голодного края» — края обетованного.

Центр столицы Красной России — старый дворец времен Московской Руси, существовавший еще много веков назад. Три с лишним года прошло с тех пор, как Москва взметнулась на гребень огромного вала в море чаяний европейского пролетариата и заклокотала бурным прибоем энтузиазма, объявшего трудящихся России. Она стала одиноким островом, сотрясаемым капиталистическими бурями.

В первый же вечер красная столица произвела на меня глубокое впечатление. Юнец с Востока начал мало-помалу постигать ее внутреннюю силу. Она зажглась как светоч, как маяк, столь необходимый для культурных связей человечества, и если голод, свирепствующий в «голодном крае», не раздавит, не задушит красную столицу, то в будущем ей обеспечено, несомненно, спокойное плаванье по морю без ветра и волн. Ей предстоит множество дел и забот, но, подготовив заблаговременно паруса, руль и оснастку, она подобно ладье древних мореплавателей сможет спокойно и уверенно отправляться в неведомое.

Красная столица, где вздымались могучие волны социалистической революции, стала средоточием, квинтэссенцией общественных взглядов всех трудящихся России... Пока по древней, старой, мрачной России в течение трех последних лет рокочущим прибоем катились стремительно раскаленные волны, жизнь трудящихся проявлялась лишь в смелых, решительных и яростных атаках. Конкретным воплощением всего достигнутого ими, всех их успехов стала современная Москва. В высоком, как океанские валы, взлете их воли — исторические дела социального прогресса новой России. В бескрайней, как море, широте их души — непреложные принципы социального устройства новой России. В ходе реальной жизни общественная психология претерпевает все новые и новые изменения, она находится в постоянном развитии. И коль скоро далекое будущее действительно сулит трудящимся России великие победы, следует прежде всего договориться о том, чтобы успехи, достигнутые ими в школе политической борьбы, которой явилась для них революция и гражданская война, стали бы гарантией кредитоспособности их основного капитала в победоносном мирном строительстве...

За плотной пеленой снега скрывается огромное шестиэтажное здание. Напротив, вдалеке виднеются башни Кремля — царского дворца. Рядом — бывший императорский Большой театр, над порталом которого вздымаются могучие кони, отлитые из бронзы. В старое время шестиэтажный дом был самой большой гостиницей в Москве, а теперь здесь Народный Комиссариат РСФСР по иностранным делам.

Канцелярия на четвертом этаже. Через роскошные, но уже ветхие шторы проникает тусклый свет. Кажется, будто пропитанные многолетней пылью мягкие диваны, великолепные столы и стулья радостно приветствуют далеких гостей. Ни на секунду не умолкает треск пишущих машинок, поскрипывает под облепленными снегом и грязью калошами гладкий, блестящий паркет. Сотрудники работают не снимая поношенных кожаных пальто. Они без устали подписывают и визируют документы, торопливо носят взад-вперед какие-то бумаги. Как бы посмеиваясь над этой кипучей деятельностью, трубы парового отопления украдкой распространяют холод. Они — словно вены больного, у которого после тяжкого недуга еще не наладилось кровообращение.

Здесь же находится кабинет Янсона — заведующего в Наркоминделе отделом стран Востока.

— Вот у нас здесь как!..— с улыбкой обращается Янсон к приехавшим издалека гостям.— Страшный холод. Видите, так и работаю не раздеваясь... Конечно, трудящиеся Китая относятся к нам очень сердечно. К сожалению, пока Антанта осуществляла блокаду нашей страны, о Советской России распространя-

---

ЦЮЙ ЦЮБО
ВПЕРЕД, В КРАСНУЮ СТОЛИЦУ!

лось множество злостных слухов; китайские трудящиеся были лишены объективной, подлинной информации о положении у нас, так что у многих могло сложиться неправильное представление. Ваш приезд к нам поможет открыть честным китайцам глаза на истинное положение вещей, он предвещает установление взаимопонимания между Китаем и Россией. От всей души приветствуем вас! Только вот из-за стеснённых экономических обстоятельств, в которых мы оказались, нам не удастся как следует обеспечить вас всем необходимым. Так что уж вы не взыщите!..

На третий день после нашего приезда в Москву мы получили в Наркоминделе продуктовые карточки, и нас проводили в столовую наркомата. Питание здесь неважное, но по нынешним условиям в России оно считается самым наилучшим: все-таки здесь дают сливочное масло, сахар. Столуются тут главным образом сотрудники Наркоминдела. Пообедав, они заворачивают остатки хлеба, масла и сахара и уносят с собой. Наш случайный спутник объяснил: сейчас в России все ресурсы сосредоточены в руках государства и каждый получает паек на работе, больше нигде продуктов не найти...

Общественная столовая тоже в здании бывшей гостиницы. Большинство сотрудников Наркоминдела живет прямо здесь же, и это чрезвычайно удобно. Через несколько дней, 2 февраля, нас на наркоминдельском автомобиле перевезли в другое общежитие. До революции и там была гостиница — «Княжий двор». Втроем мы разместились в двух комнатах, где имелось все необходимое — столы, стулья, кровати, постельные принадлежности, электричество. Так что нам оставалось прибраться на скорую руку да расставить все по местам. Калориферы в полной исправности, в комнатах теплынь, и столовая здесь же, при общежитии. Короче, живем в сытости и тепле. Выглянешь в окно — и глаза слепит блеск сверкающих золотом куполов соборов и церквей, окруженных небольшими купами притихших деревьев, сплошь покрытых холодным снегом и погруженных в крепкий, беспробудный сон...

Условия для нашей деятельности складывались довольно благоприятные. Янсон порекомендовал нам множество мест, где можно было собирать материал, встречаться с крупными деятелями. Первый, кого мы посетили и с кем повидались, был один из редакторов центрального органа Российской Коммунистической партии — газеты «Правда» — Мещеряков. Он разъяснил нам порядок проведения экскурсий и многое другое. Одновременно отдел Востока Наркоминдела выделил в наше распоряжение переводчика Го Чжишэна [1]. Он вырос в Китае, а потому имел и китайское имя. Но мы почти не прибегали к его помощи, так как сами могли немного объясняться по-русски, вдобавок у нас был и переводчик с английского, также присланный Наркоминделом. Впоследствии мы с Го Чжишэном стали закадычными друзьями. Он сообщил мне много интересного о революции, рассказал о событиях, не зафиксированных в официальных источниках, о том, как практически совершалась революция. Таким образом, наше официальное знакомство с жизнью страны, сбор сведений о ней начались со встречи с Мещеряковым, а, так сказать, неофициальное — со знакомства с Го Чжишэном.

[1] Го Чжишэн — известный советский китаевед, профессор В. С. Колоколов (1896 — 1979).

Величественное, красивое здание, тихие, безмолвные залы. В некоторых из них у больших полотен толпятся девушки с карандашом и бумагой в руках. Это Третьяковская галерея — первое место в Москве, куда мы пришли на экскурсию. Здесь огромное множество картин. Смотришь на картину, изображающую пейзаж, и кажется, будто ты сам очутился в горах, в лесной чаще — до того все это похоже на реальную живую природу.

Отгремели годы войны и революции, а светоч русской культуры не померк, он по-прежнему сияет и искрится. Разрушенные войной железные дороги, нехватка книг и газет — все это забывается, едва очутишься в Третьяковской галерее. Вспоминая ее основателя — Павла Михайловича Третьякова, чья гранитная скульптура высится на том самом месте, где он лежал на смертном одре, невольно задумываешься об истинном значении культуры. Величие и богатство русской культуры, ее высокий, подлинно гражданский пафос, необыкновенные таланты, заложенные в ней, порожденные ею поразительные шедевры, потрясшие весь мир,— все это убеждает в огромном значении культуры. Величие и богатство общества — это квинтэссенция общественного духа, прогресс общества — это вечное биение пульса общественной идеологии. Непосредственное восприятие реальной жизни, уроки, извлеченные из нее, в какой-то мере научили меня новому подходу к изучению общественной философии. Юнец с Востока, приехавший в красную столицу, готов испить до дна чашу живительной влаги национальной культуры новой и старой России. В интеллектуальной учебе он отдает предпочтение научному социализму, в поисках духовной пищи — с упоением растворится в том волшебстве, которым является Россия. Маяк уже виден, и пусть море волнуется, поворачивай штурвал, и вперед, вперед — к цели!

Антирубрика

ВИДИА НАЙПОЛ

ЗАПИСКИ НОЧНОГО ПОРТЬЕ

Перевод с английского ЛЮДМИЛЫ БИНДЕМАН

21 ноября 22 ч. 30 мин. Ночной портье Кавендер заступил на дежурство в отеле. Все в порядке.

Цезарь Элвин Кавендер

Отмечаю, что ночной портье Кавендер третий раз спит на дежурстве. Вчера он спал мертвым сном, развалившись в кресле-качалке прямо в холле. Ц. Э. Кавендер с работы уволен.

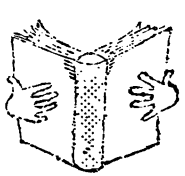
Ночной портье Хилльярд! Отныне вы будете вести журнал происшествий за ночь. Подробно записывайте все, что происходит в отеле. И помните, как закончилась карьера нашего бывшего служащего Кавендера.

В. А. Инскип, управляющий

22 ноября 23 ч. 00 мин. Ночной портье Хилльярд заступил на дежурство в отеле. Принял: фонарь электрический — один, ключей от холодильников — два, ключи от номеров 1, 3, 6, 10 и 13, тридцать две бутылки карибского пива и две коробки хаванских сигар. Пиво в целости и сохранности, бар на замке, происшествий нет.

Ч. Э. Хилльярд

РИСУНКИ ПОЛЬСКОГО ХУДОЖНИКА МИРОСЛАВА МАЛЬХАРЕКА



С вашим журналом меня связывает давняя дружба. Рисунки, которые я осмеливаюсь предложить дорогим читателям журнала, представляют собой в некотором роде чистосердечный «плагиат». Дело в том, что здесь встречаются идеи, которые старательно собирались со страниц юмористических журналов всего (или почти всего) света. Автор представленной коллекции только повторно их нарисовал, добавив иногда немного собственной фантазии и стараясь привести их к форме настолько графически единой, насколько это необходимо для книги-антологии.

Именно такая идея придает этой коллекции вид шуточно-лирических «поэмок» с их симпатичным героем — книжкой.

Какой будет эта книга с шутками о книгах? Пока неизвестно. Одно ясно: улыбка, сопровождающая эти рисунки, должна быть всегда сердечной, потому что как можно сдержать душевное волнение, когда речь идет о прекраснейшей из муз — о ЛИТЕРАТУРЕ?

МИРОСЛАВ МАЛЬХАРЕК

23 ноября 7 ч. 00 мин. Ночной портье Хилльярд сдал портье Вигналису дежурство, а также фонарь электрический — один, ключей от холодильников — два, ключи от номеров 1, 3, 6, 10 и 13, тридцать две бутылки карибского пива, две коробки хаванских сигар. Пиво в целости и сохранности, бар на замке, происшествий нет.

Ч. Э. Хилльярд

Ночной портье Хилльярд! Поступила жалоба от мистера Уилса. Почему вы не пустили его в бар? Известно ли вам, для чего мы держим этот отель? Все наши гости могут посещать бар, когда им заблагорассудится. Ваше дело — записывать, что они берут. Для этого вам и оставляют пиво и сигары. Кстати, «гаванские», а не «хаванские».

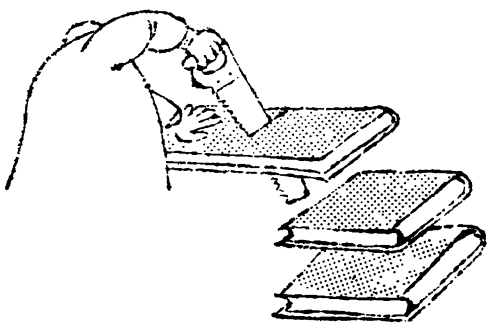
В. А. Инскип, управляющий

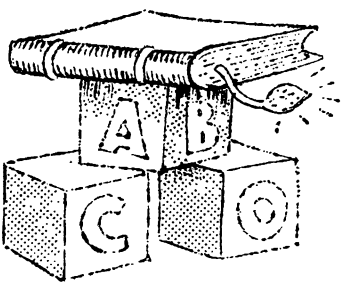
Господин управляющий, будет исполнено! Сожалею, что не получил хорошего образования, сэр!

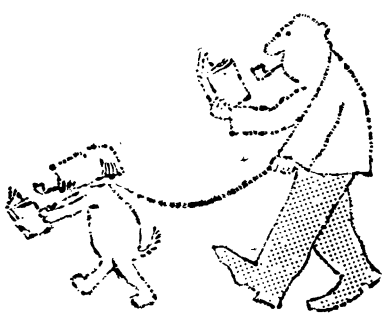
24 ноября 23 ч. 00 мин. Ночной портье Хилльярд заступил на дежурство в отеле. Бармен ушел в 24 ч. 00 мин. Мистер Уилс и компания пробыли в баре до 1 ч. 00 мин. Мистер Уилс взял шестнадцать бутылок карибского пива, мистер Уилсон — восемь, мистер Перси — восемь. В 2 ч. 00 мин. мистер Уилс вернулся в бар и взял еще четыре бутылки карибского и хлеб. Он разрезал себе руку вместо хлеба, так что не беспокойтесь насчет крови на ковре, сэр. В 6 ч. 00 мин. мистер Уилс пришел за содовой, но ее не оказалось, и он прихватил взамен имбирного пива. Как видите, я стараюсь, сэр. Не могу понять, как Кавендер спал на такой работе.

Ч. Э. Хилльярд

25 ноября 24 ч. 00 мин. Бармен ушел в 24 ч. 20 мин. Мистер Уилс и компания сидели в баре до 1 ч. 25 мин. Мистер Уилс взял восемь бутылок карибского пива, мистер Уилсон — двенадцать, мистер Перси — восемь, и человек, которого они звали







Поль,— двенадцать. Миссис Роско из двенадцатого номера подсела к джентльменам в 24 ч. 33 мин. Взяла два двойных джина. Они ее величают «Минни с Тринидада». Вся компания пела песни под гитару сначала в баре, а потом — у нее в номере. В 24 ч. 12 мин. ко мне подошел какой-то господин и попросил разрешения позвонить по телефону. Пока он набирал номер, подбежало человек семь — видно, собирались его поколотить, но он кинул трубку и пустился наутек. В общем, все в порядке!

Ч. Э. Хилльярд

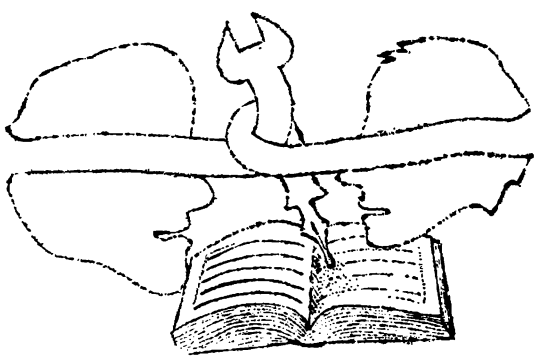
Ночной портье Хилльярд! Что, по-вашему, значит «все в порядке»? Я узнал и, разумеется, не от вас, что в отель по ночам стала наведываться полиция. Отмечайте время прихода полицейских.

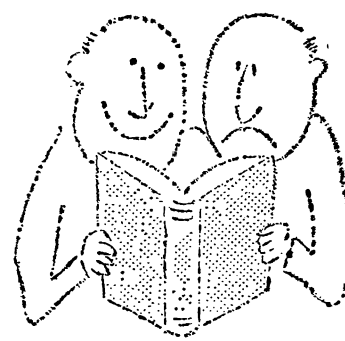
Инскип, управляющий

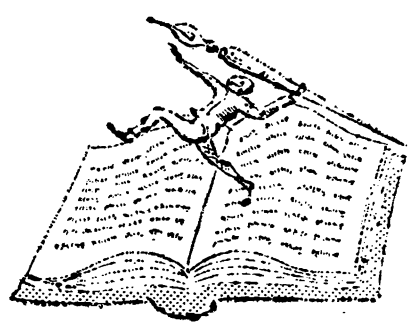
Сэр, все в порядке — значит: порядок во всем. На вас никак не угодишь, сэр. Уж и не знаю, чего нынче хотят от ночного портье. Скоро, чего доброго, потребуют диплом об окончании Кембриджа. Если я без образования, значит, каждому можно меня оскорблять?

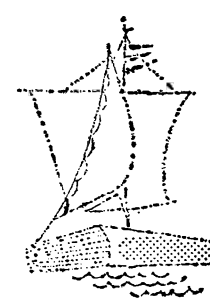
26 ноября 24 ч. 00 мин. Бармен ушел в 24 ч. 25 мин., а мистер Уилс и миссис Роско остались в баре. Они ушли в 24 ч. 30 мин. В 1 ч. 40 мин. мистер Уилс и компания снова явились в бар и гуляли до 2 ч. 55 мин. Осталось только две бутылки пива. Все остальное взял человек, которого они зовут Поль. Полицейские являлись в 2 ч., 3 ч. 04 мин. и 4 ч. 52 мин. и подолгу околачивались в баре. На заднем дворе стреляли. Приходили сыщики и наводили справки. Мистер Лондон из номера 5 говорит, что у него стащили 80 центов и пачку сигарет. Когда только люди спят в этом отеле!

Ч. Э. Хилльярд









Ночной портье Хилльярд! Похищено значительно больше. За ночь очистили несколько номеров, включая мой собственный. Вас нанимали для того, чтобы подобные случаи не имели места. Вероятно, забота о нравственности наших гостей отвлекает вас от исполнения своих обязанностей. Что вы делаете по ночам?

Инскип, управляющий

Господин управляющий! Я делаю все, что могу, но, бог свидетель, я не знал, что у ночного портье так много писанины, что и времени не остается ни на что другое. У меня не четыре руки и не шесть глаз. Дайте мне помощника, чтоб следил за мистером Уилсом и компанией.

Ч. Э. Хилльярд

Ночной портье Хилльярд! Отныне вам вменяется в обязанность следить, чтобы нашим постояльцам не докучали незваные гости. Никаких сведений о том, кто проживает в отеле, не давать. Впредь всех посторонних лиц направлять прямо ко мне.

Инскип, управляющий

27 ноября 24 ч. 25 мин. Бармен ушел в 1 ч. 00 мин. Мистер Уилс и компания остались в баре. Мистер Уилс взял двенадцать бутылок карибского пива, мистер Уилсон — шесть, миссис Роско — три двойных джина. В 1 ч. 30 мин. миссис Роско ушла. Полицейские явились в 1 ч. 35 мин. В 1 ч. 55 мин. человек, которого они называют Поль, велел мне подняться в двенадцатый номер и передать Минни, что приехал Малькольм, мол, корабль только что пришвартовался. Ну, я поднялся к ней в номер и сказал, что приехал Малькольм, мол, корабль только что пришвартовался. Женщина вмиг протрезвела и как закричит: «Где мне спрятаться? Где спрятаться?» Выбежала в коридор и опрометью — к управляющему. В 2 ч. 05 мин. вижу — бежит по коридору какой-то рыжий верзила. Я спрашиваю, приглашал его кто или нет, а он в ответ: «Не морочь мне голову, скажи, где она». Ну, я по инструкции посылаю его прямо к управляющему. Минут пять слышу только «бам-бам», «трах-трах» и женский визг. Потом вроде все утихомирилось. Рыжий выволок миссис Роско и увез на такси.

Не знаю, чего нынче хотят от ночного портье, но я хочу тихую работу, как в полиции.

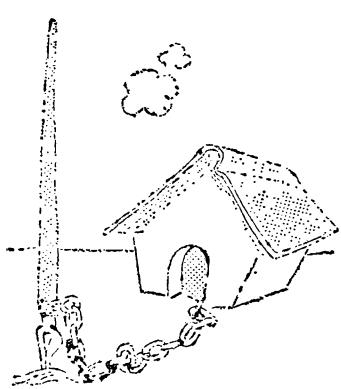
Ч. Э. Хилльярд

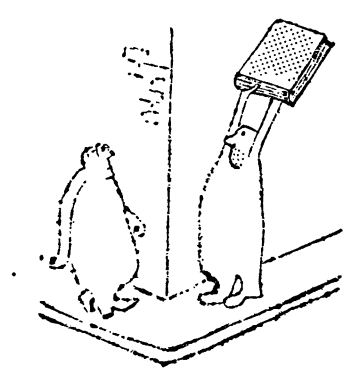
Мистер Хилльярд! Ввиду внезапной болезни мистера Инскипа я временно исполняю обязанности управляющего отелем. Продолжайте вести журнал, но пишите по возможности кратко.

Роберт Магнус, и. о. управляющего

28 ноября 22 ч. 30 мин. Ч. Э. Хилльярд заступил на дежурство в отеле. Все в порядке. Бармен — 24 ч. 00 мин. 2 ч. 00 мин.— мистер Уилс 2 бут. пива; 6 ч. 00 мин.— мистер Уилс одна содовая, 7 ч. 00 мин.— ночной портье Хилльярд передал портье Вигналису дежурство, а также фонарь электрический — один, ключей от холодильников — два, ключи от номеров 1, 3, 6 и 12. Бар на замке, происшествий нет.

Ч. Э. Хилльярд





Наши гости

Альдо Де Яко, Элио Филиппо Аккрокка

ИТАЛИЯ

Гости журнала — руководители Национального синдиката писателей. Итогом их переговоров в Союзе писателей СССР стало Соглашение о сотрудничестве между советскими и итальянскими писателями. Разговор идет о состоянии современной итальянской литературы, о ее связи с политической действительностью страны.

По мнению Альдо Де Яко, итальянская литература переживает в настоящее время глубокий кризис.

— *Налицо серьезное противоречие между запросами читающей публики, которая ищет в художественных произведениях ответ на животрепещущие вопросы современности, и идейной разноголосицей, характерной для современной литературы Италии. Нашей стране свойственна высокая степень политизации не только так называемого «образованного общества», но и рядовых граждан — рабочих, служащих, студенчества. Поток информации чрезвычайно велик и неоднороден. В нем нелегко разобраться. В этих условиях люди все чаще обращаются к «политологам» — специалистам, набившим себе руку на интерпретации быстро меняющейся действительности. Большую популярность в современной Италии получили книжки и брошюры, быстро откликающиеся на такие злободневные вопросы, как защита демократических институтов страны, борьба женщин за свое политическое и гражданское равноправие, отношение церкви к проблемам семьи, терроризм. Однако узость подхода к этим вопросам, тенденциозность изложения зачастую не удовлетворяют читателей, заставляют их обращаться к художественным произведениям. От них ждут широкого, по-философски обобщенного взгляда на жизнь. Правда, и тут дела обстоят не блестяще: изобилуют произведения, для которых характерны мелкотемье, секс, копание в подсознании. Одно из величайших преимуществ социалистических стран состоит в том, что литература играет в них величайшую роль.*

Альдо Де Яко рассказывает, что Альберто Моравиа шутливо называет себя скорей зарубежным, чем итальянским писателем, ибо, например, в СССР тиражи его произведений намного превысили итальянские. Книга самого Де Яко «Повесть с эпилогом в тюрьме», опубликованная в журнале «Иностранная литература» [1], вышла на родине автора тиражом всего в четыре тысячи экземпляров.

— *В этих условиях,— говорит Альдо Де Яко,— писатели стремятся уйти в область литературного экспериментаторства, словотворчества. Однако как обществу не удается жить без литературы, так и попытки писателей оградиться от живой жизни обречены на неудачу. Немало писателей, не один год потративших на модернистские поиски, отказываются в конце концов от самоизоляции, переходят на позиции активного отношения к жизни. Это не означает, конечно, что на этом пути их непременно ждет удача. Многое зависит от общественной позиции автора... Насилие и эротика, экстремизм и сенсационность могут привлечь читателя, но ненадолго. Примером закономерного литературного фиаско может служить последний роман Альберто Моравиа «Внутренняя жизнь». Его перенасыщенность сексом, извращенный взгляд на смысл жизни предопределили неудачу автора.*

— *Итальянские писатели,— вступает в разговор Элио Филиппо Аккрокка,— стремятся вновь обрести идеалы движения Сопротивления, его унитарный дух. Лучшие из них выступают против тех, кто мирится с ретроградными позициями реакционных сил, кто цепляется за порядки и устои, обреченные историей на исчезновение. И речь идет не только об идеологической и политической сферах, но и о культуре. Прошедшая в Сан-Венсане на севере Италии встреча писателей с участниками Сопротивления показала, что писатели чувствуют свои связи с освободительным движением, что они не забыли о своем моральном и идейном долге перед обществом.*

И все же, глядя на панораму современной итальянской литературы, трудно избавиться от впечатления, что имеешь дело с большой пестротой позиций. Как отмечал в интервью «Литературной газете» прогрессивный писатель Джузеппе Д'Агата, «нынешнее состояние итальянской литературы напоминает бредущих вразброд солдат большой армии». А что думают по этому поводу наши гости?

— *Разговор о том, почему демократическая литература в нашей стране зачастую не поспевает за временем, почему иногда*

[1] См. «ИЛ» № 11, 1977.

ей «не хватает дыхания», не легок. Начинать его надо издалека,— отвечает Альдо Де Яко.— Сразу же после освобождения от фашистов в итальянской культуре утвердилось сильное демократическое направление неореализма. Коммунисты заняли прочные позиции среди творческой интеллигенции. Однако в конце 50-х годов наступил определенный кризис демократических тенденций в литературе, театре, кино. Многие хорошие писатели надолго замолчали. Кое-кто стал кричать, что произведения писателей-реалистов «воняют козой». В 60-е годы появился неоавангардизм — с его отрицанием политики, абстрактным экспериментаторством. В этом сказались и определенные ошибки, допущенные компартией во взаимоотношениях с интеллигенцией и впоследствии самокритично признанные. Часть литературы пошла по ошибочному пути.

Парадоксально, но факт — на первое место очень часто выдвигаются ныне произведения, написанные непрофессионалами. Так случилось с замечательной книгой «Выбор жизни» одного из старейших деятелей Итальянской компартии Джорджо Амендолы. Это произведение получило одну из крупнейших литературных премий страны и неоднократно выходило за последние годы массовыми тиражами.

Причина такого успеха понятна. «Выбор жизни» Амендолы — автобиографический рассказ одного из видных революционеров и руководителей Итальянской компартии. Повествование основано на политической тематике, ибо молодость Амендолы тесно переплетается с событиями, определявшими итальянскую историю с начала века до 1929 года, то есть на протяжении всего периода выбора жизненного пути революционера. Показ формирования характера, становления личности коммуниста, психологическая достоверность изображаемого — главные достоинства этой книги. Она, несомненно, играет большую мобилизующую роль для молодежи современной Италии.

— Среди прогрессивных писателей-профессионалов, создавших заметные произведения за последние три-четыре года,— продолжает Де Яко,— можно отметить, например, Джузеппе Д'Агату — автора известного романа «Врач кассы взаимопомощи» (в русском переводе «Дети Гиппократа»), Гавино Леддy, написавшего интересный роман из жизни сардинских крестьян «Отец-хозяин», Саверио Страти, автора «Шлемов Сципиона» и ряда других антифашистских произведений.

Примечательно обращение многих писателей к жизни простого народа. Среди наиболее интересных романов на эту тему — «Боги возвращаются» Карло Сгорлона, в котором автор повествует о судьбе эмигранта, вернувшегося в Италию после десяти лет жизни в Перу; «Дикарь из Санта-Венере» Саверио Страти — о крестьянах Калабрии, живущих в тисках бедности и предрассудков, но не утративших гордости и великодушия; «Лучшая жизнь» Фульвио Томиццы, сделанная в форме автобиографии бедного церковного служки, который принимает участие в борьбе с фашизмом.

С переменным успехом продолжает развиваться и так называемый «политический роман» и особенно его разновидность — «фантаполитический» жанр, примером которого может служить опубликованный в «Иностранной литературе» роман Д' Агаты «Четверо повешенных на Пьяцца дель Пополо» [1]. *В целом, однако, нельзя закрывать глаза на то, что сейчас в итальянской литературе нет, как это было после войны, сильной и сплоченной группы писателей демократического направления.*

Отдельно надо сказать о мастерах, ставших известными в послевоенные годы. Они, несомненно, создали значительные произведения, их книги по-прежнему выходят самыми крупными тиражами и привлекают внимание читателей. Лучшие из повестей и романов писателей этого поколения, как, например, «Чочара» Альберто Моравиа [2], *«Сицилийские беседы», «Люди и нелюди» покойного Элио Витторини, воспринимаются и сейчас как произведения современные; активно ставящие проблематику борьбы с фашизмом, привлекающие, по словам Витторини, внимание читателя к судьбам «маленького человека из третьего класса». Правда, последние книги многих из них подобны «перестоявшемуся вину». Они либо повторяют знакомые схемы, либо пытаются по итальянской поговорке «наполнить старые меха новым содержанием». Показателен в этом отношении роман Карло Кассолы «Неудачи». В целом он продолжает прежнюю линию писателя, однако чрезмерное внимание к внутренним переживаниям героев, отход от социальной и политической проблематики отрицательно сказываются на достоинствах этого произведения.*

Каким же должно быть главное направление поиска? На этот вопрос наши гости отвечают по-разному. Альдо Де Яко, основываясь на собственном литературном опыте, говорит о необходимости преодолевать поверхностные, мнимопопулистские тенденции, оттачивать оружие критического отношения к действительности. «Быть в гуще неспокойных вопросов, одолевающих современный мир, понять состояние души современника»,— подчеркивает Элио Филиппо Аккрокка.

Ясно одно: итальянская литература в наши дни — зеркало бурлящего моря общественных страстей, столкновения противоречивых тенденций и сил, действующих в условиях экономического, политического, нравственного кризиса капиталистического общества, когда итальянская буржуазия все более теряет свою идейную гегемонию. Процесс становления демократического самосознания, повышения ответственности рабочего класса, всех трудящихся за политические судьбы страны — отнюдь не гладкий путь. Тем более когда это относится к литературе.

Г. СМИРНОВ

[1] См. «ИЛ» № 11, 1976.
[2] См. «ИЛ» № 1—3, 1958.

Василис Василикос

ГРЕЦИЯ

С Василисом Василикосом читатели «Иностранной литературы» встречались уже не раз. В № 5 за 1971 год была напечатана его повесть «Растение» — притча о «бунте в одиночестве» и его неизбежном крушении, о тяжелом кризисе сознания молодого человека, вступающего в джунгли буржуазной действительности. В Греции эта повесть была издана в 1961 году как первая часть трилогии «Растение. Колодец. Школа ангелов». Она принесла писателю большой успех. Критика заговорила о Василикосе как о самом ярком представителе молодого поколения, и с тех пор, вот уже почти двадцать лет, разговор об этом литературном поколении прежде всего связывается с его именем.

О том, как складывалась судьба его поколения, Василикос не раз говорил и языком публицистики. Через год после выхода трилогии он опубликовал статью «Страна, которая нас не вмещает», где уже «открытым текстом» рассказал о трагедии молодых людей, переживших оккупацию и гражданскую войну 1946—1949 гг. детьми и отроками и вошедших во взрослую жизнь в тот тяжелый для страны период, когда надежды на лучшее будущее казались погребенными среди руин, а действительность, ожидавшая юношей за порогом гимназии, открывалась им во всей своей жестокой неприглядности и нескрываемой враждебности. В одном из интервью Василикос передал восприятие этой действительности в образе «лавки, где торгуют замороженным мясом и где уцелела лишь одна живая овца», и магазина с вывеской «1001 изделие из пластмассы», куда попала одна деревянная вещь, «связывающая нас с подлинной жизнью, между тем как все вокруг стремятся ее уничтожить».

«Я старался как можно более живо изобразить звериную жестокость общества, прилагающего все усилия, чтобы истребить то цельное и подлинное, что мы несли в себе,— сказал в этом интервью Василикос.— Я старался разрушить стену социальной среды».

Символика притчи была для писателя и формой протеста, и своего рода бегством в сферу фантазии. Но пройдет несколько лет, и именно Василикос активнее других греческих писателей ассимилирует достижения документальной литературы, ее методологию воссоздания реального. Поворотным моментом станет его книга «Зет» (1966) — острополитический роман об убийстве греческого борца за мир, депутата парламента Григориса Ламбракиса. Раскрывая историю этого убийства, писатель выявляет причастность к нему лиц высшей администрации, полиции, уголовного мира, освещает деятельность всех звеньев государственного механизма насилия. Подзаголовок романа — «фантастическая хроника одного убийства» — свидетельствует о тесной взаимосвязи документальности и художественного замысла. Канва событий излагается с предельной документальной точностью, художественный же вымысел помогает воссоздать их атмосферу, характеры персонажей, мотивы их поступков.

Роман «Зет» был переведен на многие языки мира, в том числе и на русский («Прогресс», 1970). Его популярности способствовал успех фильма, снятого по этому роману и в 1969 году демонстрировавшегося на Московском кинофестивале. В те дни Василикос, приезжавший на фестиваль, посетил редакцию «Иностранной литературы» [1].

Фильм «Зет» был снят во Франции. Василикос жил тогда в изгнании. Военная диктатура, установленная в Греции в 1967 году, застала его за границей, и он вынужден был остаться там на весь период правления «черных полковников». Статьи, очерки, романы, рассказы, стихи Василикоса (подборка его стихов тех лет публиковалась в «Иностранной литературе» [2]) были незамедлительными откликами на злобу дня, пулями с антидиктаторским зарядом, и они сыграли немалую роль в активизации кампании международной солидарности с греческими демократами.

В 1974 году диктатура в Греции пала. Василикос вернулся на родину. И вот, через десять лет после его первого приезда в СССР, он снова в Москве и снова в редакции «Иностранной литературы». Первый вопрос к гостю касается его последних книг.

---

[1] См. «ИЛ» № 3, 1970.
[2] См. там же.

— Последними были романы «Судебный эксперт» (1976) и «Вода» (1977). Только что издан сборник рассказов «Последнее «прощай», жду выхода в свет романа «Пламя любви».

Писатель воздержался от пояснений. Поэтому скажем несколько слов об этих его работах. Романы «Судебный эксперт» и «Вода» написаны в том же жанре фантастической хроники, что и «Зет»: в основе сюжета — подлинные события, на их достоверную канву ложатся созданные авторским вымыслом человеческие судьбы, что помогает достичь художественной убедительности и социального обобщения. Рассказы сборника «Последнее «прощай» и роман «Пламя любви» посвящены недавно умершей жене писателя, его верному другу, делившему с ним радости творческих удач, горесть изгнания.

— Что вы могли бы рассказать нам о современной греческой прозе?

— В литературе Греции и XIX века, и нашего первенствовала поэзия. Она выдвинула ряд очень крупных фигур — Соломос, Кавафис, Сеферис, Рицос. Проза же, которой очень мешала неоформленность социальной структуры общества, долго не могла обрести своей национальной традиции, и греческие прозаики вынуждены были, да, пожалуй, и по сей день вынуждены, опираться на образцы зарубежной литературы.

— В этой связи какие образцы зарубежной литературы привлекли вас? Кто оказал влияние на формирование вашей писательской индивидуальности?

— Гоголь, Достоевский, рассказы Чехова, Кафка, Сартр, Камю, Капоте...

И перечень имен, и даже их последовательность представляются нам закономерными, подчеркивающими такие грани творческого облика Василикоса, как острая социальность, тонкое мастерство в воссоздании психологических ситуаций, душевного мира героев, их сознания и подсознания, пытливые размышления об онтологических проблемах человеческого бытия, активное овладение художественным арсеналом литературы-документа, чуткое ощущение актуальности.

Разговор возвращается к греческой прозе. Десять лет назад, во время своего первого посещения «Иностранной литературы», Василикос говорил, что проза, «этот великий хромой греческой культуры», сделала в атмосфере того подъема, который переживала Греция в 1963—1966 годах, несколько обнадеживающих шагов. Продолжается ли эта тенденция сейчас?

— Нет, тот взлет остался непревзойденным,— с горечью констатирует Василикос.— Все еще нет такого литературного журнала, каким был в 60-е годы журнал «Эпитеориси технис». Его публикации имели широкий резонанс, вызывали бурные дискуссии. Писатель чувствовал, что его слово играет какую-то роль. Мне кажется, что сейчас у него не возникает такого ощущения. Расстояние между писателем и публикой не сокращается. Писатель не может рассчитывать на широкий контакт с читателем — тиражи книг ничтожно малы. И это нередко побуждает замыкаться в себе. Поэтому когда читатель все-таки обращается к книге, чтобы найти в ней отголосок волнующих его проблем, воссоздание его сегодняшней жизни, он не получает удовлетворения, разочаровывается и отходит. Возникает заколдованный круг взаимного отчуждения.

К тому же мы живем в эпоху господства средств массовой информации. Люди отдают предпочтение телевизору и газете. И хотя я выпустил в свет пятьдесят книг и не могу пожаловаться на то, что они не расходятся, у себя на родине я гораздо больше известен как сценарист и еще больше как журналист, чем как писатель. Поверьте, я нисколько не преувеличиваю. Именно журналистика принесла мне наибольшую известность. Не так давно вышел сборник моих статей «Двадцатилетие».

— Какие книги, какие имена вы рекомендовали бы нам для ознакомления с сегодняшней литературой Греции?

— Я не готов дать обстоятельный ответ на ваш вопрос. Это сопряжено с определенной ответственностью. Поэтому, не претендуя на полноту картины, ограничусь тем, что назову несколько имен из моего поколения: Антонис Самаракис, Менис Кумандареас, Георгос Иоанну, Костас Тахцис, Никос Каздаглис...

С творчеством тех, кого назвал Василикос, советские читатели смогут познакомиться. Их произведения вошли в сборник «Рассказы греческих писателей», выпускаемый издательством «Прогресс». Среди тридцати авторов этого сборника и наш гость. Его рассказу «Папка с вырезками» свойствен уже знакомый нам колорит документальности. Немаловажную роль в развитии сюжета играют в нем газетные вырезки с сообщениями об аресте, пытках, суде, голодовке и, наконец, освобождении одного из борцов против военной диктатуры. В образе героини рассказа Василикос воплотил судьбу многих гречанок, разлученных со своими мужьями.

— Над чем вы работаете сейчас?

— Я только что закончил роман «Пламя любви», которому отдал много душевных сил, и новой работы пока не начал. Возможно, я вскоре снова приеду в СССР, мне хотелось бы написать о вашей стране.

С. ИЛЬИНСКАЯ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ВЫРАЗИТЬ НЕВЫРАЗИМОЕ

Агния Барто. Переводы с детского. Москва, «Детская литература», 1977.

Говорят, что, читая книгу, в книге читаешь себя. Может быть, даже с бóльшим пристрастием, любопытством, волнением открывают взрослые детскую книгу — ибо читаешь себя не теперешнего, а прежнего, каким был когда-то.

Разумеется, это можно сказать не о всякой книге для детей. Но о такой, которая — «на вырост». Это выражение замечательного детского поэта Агнии Барто. О ее книге — «Переводы с детского» и пойдет речь.

Не правда ли, кажется парадоксальным уже само название? Отвечает сам автор: «Конечно, я не знаю многих языков. Но знаю язык детский. И потому в подстрочном переводе стараюсь уловить чувства детей, понять, что они думают о дружбе, о мире, о людях. Многое роднит «невеликих поэтов» (так Барто шутливо называет юных авторов.— *В. К.*), но часто их переживания глубже, богаче, чем ребенок способен выразить. Вот я и постаралась, сохранив смысл каждого стихотворения, найти для него ту поэтическую форму, которая позволит прояснить, точнее передать сказанное ребенком. Сумею ли я при этом сберечь присущую ребенку непосредственность, детскость? Должна суметь — я же детский поэт».

Впрочем, что, собственно, детская поэзия, как не «перевод с детского», ведь ребенок, по словам Корчака, думает сердцем. И все-таки А. Барто не только нашла универсальную формулу, не только закрепила в слове идею, которая «носилась в воздухе»,— поэт выразил нравственно-эстетический принцип, определяющий содержание и смысл детской литературы в целом: не *от* имени взрослых *для* детей, но *от* имени детей *для* детей и... взрослых. Но так ли просто понимать детей, поэтов по самой своей природе, чей язык, волнующий нас, непоправимо взрослых, кажется прекрасным, но позабытым древним наречием, эхом из загадочной страны детства?

О чем же говорят «невеликие поэты»? Они творят поэзию стихийно: выкрикивая, выплясывая — в избытке радость жизни, ликование от того, что ты существуешь, переполняет их, не умещается в сердце. По их стихам-кликам, стихам-играм, стихам-танцам, как по барометру, можно узнать «погоду», говорит А. Барто, не только в стране, где эти стихи родились, но и во всем мире, потому что детей земли в конечном счете роднят одни и те же чувства и мысли. Стихи «невеликих поэтов» обо всем — о маме и солнце, о цветах и деревьях, о дружбе и о любви... Но прежде всего — о Мире и о Войне, может быть, потому, что дети все чаще и чаще видят тревогу в глазах близких, кого они любят самоотверженно и самозабвенно, кого защитить им так хочется.

Взрослый поэт не разрушает образ поэта-ребенка. Напротив, говоря от имени

ребенка, он сберегает присущую ему непосредственность переживания, испытывая детские эмоции в напряженном драматическом столкновении с реальной, «взрослой», жизнью. Правда поэзии — это красота живых образов, это обретенная радость надежды, гимн веры в торжество справедливости. Она живет в сердце ребенка, ибо он помнит будущее. Тем более страшно, когда ребенок, оптимист по натуре, этого будущего боится, как одна французская девочка, заклинающая: «Пусть лучше тогда /Никогда не придет/ Двухтысячный год!» А ведь стихотворение «В саду Тюильри» начиналось так солнечно, так празднично, и разговор про двухтысячный год, казалось, не предвещал ничего печального. Если бы не самолет, вдруг появившийся в небе. И тогда:

В краю голубом
Ты спокойно паришь,
Но тысячи бомб
Не взорвут ли Париж?

Их сколько скопилось!
Куда их девать?
Двухтысячный год
Их начнет раздавать!

Дети — и трагизм мироощущения? Еще совсем недавно мы, взрослые, сказали бы, что это «две вещи несовместные». А сегодня?.. Зная, о чем думают и говорят дети, с какой силой мы должны ощущать свою ответственность за их судьбу, за право на радостное детство, на будущее? Как ответить на любовь ребенка, который готов разделить нашу тревогу и боль, предупредить о грозящей опасности?

Я говорила маме:
— Не уходи далеко!
Слезы польются сами,
Если ты далеко...
Вдруг ты в лесу дремучем
И от меня далеко!
Лучше, на всякий случай,
Не уходи далеко.

Читаешь эти строки и вспоминаешь — было у тебя такое. Было же! Но неужели ушло? Или такая любовь бывает только к матери? Но мать для ребенка — весь мир, вся жизнь; в ней для него — залог счастья, в ней — победы над страхом, одиночеством. Я вспоминаю собственное детство, я ставлю себя на место девятилетней Сивры Густавссон или двенадцатилетней Любицы Ивич, написавшей на ладони мамино имя и ставшей от того необыкновенно счастливой. Вспоминаю, рассматривая рисунки советских детей, которые «перевели» поэзию на язык живописи, озарившей всю книгу ликующим пожаром сказочного воображения. Вы знаете, что в лесах Финляндии водятся львы и тигры? Не смейтесь — это дочь предупреждает маму об опасности. А вот девочка летает по комнате вместе с ласточками: кто из нас не стремился преодолеть земное притяжение?

Продолжает ли Агния Барто «переводы с детского»? Да, в ее новой книге заговорят новые «невеликие поэты» — из Англии, США, Кении, Польши, Португалии... Диалог равных, одинаково необходимый детям и взрослым, продолжается.

В. КОРКИН

ГРУСТНАЯ УЛЫБКА ДЕЛИБЕСА

Мигель Делибес. Пять часов с Марио. Перевод с испанского Е. Любимовой. «Иностранная литература» № 11, 1974. Мигель Делибес. Красный листок. Перевод с испанского Скины Вафы. Москва, «Художественная литература», 1978. Мигель Делибес. Войны отцов наших. Перевод с испанского Е. Лысенко. Предисловие И. Тертерян. Москва, «Прогресс», 1978.

Какой, в сущности, монотонной может оказаться жизнь человека в провинции, особенно в испанской провинции! И как описать эти будни, в которые ничего не происходит, но которые непременно нужно описать, ибо они-то и заключают в себе опыт народной жизни?!

Эту задачу упорно пробовал решать Мигель Делибес, прибегая к самым разнообразным художественным «ухищрениям». Три его романа, переведенные на русский язык (а всего он написал одиннадцать), представили три резко разнящихся типа повествования.

«Красный листок» — традиционное реалистическое повествование о чиновнике муниципалитета. Выйдя на пенсию, он обрел единственного заинтересованного собеседника, единственного близкого человека не среди бывших сослуживцев, не в семье своего сына, а в безграмотной, туповатой девушке-служанке, которой он и предложил выйти за него замуж, чтоб ей потом досталось его нехитрое имущество.

«Пять часов с Марио» — внутренний монолог вдовы в ночь перед похоронами мужа. Опорными узлами этого внутреннего монолога — почти потока сознания — служат фразы, когда-то подчеркнутые ее мужем Марио в Библии. Каждая глава начинается с какого-либо библейского изречения, причем Кармен отнюдь не старается постичь ход мысли мужа, побуждавшей его подчеркнуть именно эти фразы. Скорее, от них отталкиваются, ими «разогреваются» все новые и новые всплески ее воспоминаний, размышлений, упреков, оправданий.

«Войны отцов наших» — магнитофонная запись бесед (семь вечеров, семь бесед) тюремного врача и деревенского парня, ожидающего исполнения смертного приговора за убийство брата своей возлюбленной. Если в «Пять часов с Марио» начальная и финальная главы были еще повествовательные, как бы обрамляли накаленный внутренний монолог, то здесь уже нет никаких описательных деталей. А удержать целый роман на диалоге, как

пьесу для двух действующих лиц,— задача, согласитесь, труднейшая!

Итак, роман-описание, роман-монолог, роман-диалог — три попытки поднять, растормошить зыбкую повседневность, проложить какие-то тропы в затягивающей трясине быта.

Зачем же понадобилось Делибесу каждый раз отыскивать новую форму, новый композиционный прием? Видит ли он в этом некую эстетическую компенсацию за монотонность жизненного содержания? Считает ли, что традиционный тип повествования нуждается в резком обновлении? Прямого ответа мы не найдем, но все три романа примечательно сближаются тем, что объект изображения всюду — монотонная жизнь, а ведущий художественный прием — ретардация.

Скудно-монотонной была жизнь муниципального чиновника Элоя, у которого за пятьдесят три года службы в муниципалитете не было иного интереса, иной заботы, кроме вывозки мусора; даже в нерабочее время — ко гневу жены! — он мог порадоваться новой тележке для мусора, увиденной на улице. А после ухода на пенсию жизнь и совсем оскудела событиями. Только и было что болезнь старого друга, поездка в семью сына да долгие часы сидения на кухне возле служанки Деси — единственного человека, с кем можно перемолвиться. Незаметно она оказалась для него самым близким человеком, а он остался для Деси хоть какой-то опорой после ареста ее жениха за убийство девицы из публичного дома.

Не менее монотонна жизнь Кармен, жены Марио, матери пятерых детей. Едва ли не самое сильное потрясение за двадцать три года замужества — как объявился после двадцатилетнего отсутствия давнишний ухажер, покатал ее на своей машине и даже попытался приласкать, но сам отступился, поняв, что такая добродетельная женщина не сумеет согрешить. А самая сильная ее мечта — так и не состоявшаяся — приобрести дешевый автомобиль, «шестисотку», чтобы жить, «как люди».

И уж совсем бессобытийна жизнь больного деревенского парня, сборщика меда. Разве что ему неожиданно повезло: на него обратила внимание красивая девушка Канди, вернувшаяся в село из столицы и провозгласившая сексуальную свободу и свободу от условностей. Да и то Пасифико чувствовал какое-то неудобство, грешность от ее любовных игр. И больше, пожалуй, из стыда, чем из страха, убил он ее брата, заставшего их в минуты близости. А потом опять однообразная жизнь в тюрьме, выйти из которой не хотелось: «Чего я там не видел, в деревне-то».

Но при всей этой монотонности внешнего бытия героев есть в каждом романе свой философский нерв, создающий внутреннюю напряженность действия. Перед нами не натуралистично-бытописательские, а социально-философские романы. И чем более отходят они от канонического повествовательного типа, тем более обнаженно и сильно бьется этот нерв.

В «Красном листке» потрясает вымороченность жизни человека, не имеющего никакой мечты, устремленности. Причем это не бездуховность как некое отклонение от нормы, а словно само состояние духа. Жизнь Элоя и Деси для писателя-гуманиста, конечно, не образец жизни, но... образ жизни, и он смотрит с грустной улыбкой примирения на то, как человек прожил никчемную жизнь.

Еще яснее эта позиция обнаружится, едва мы попробуем сравнить «Пять часов с Марио» с «Другой жизнью» Ю. Трифонова. В этих написанных о принципиально различной социальной среде произведениях можно тем не менее отметить много совпадающих частных мотивов в круге общей сходной сюжетной ситуации: внешне благополучный брак при взаимном непонимании любящих друг друга супругов. Как и Кармен, Ольга Васильевна бессонной ночью вспоминает свою семейную жизнь. У обеих мужья сравнительно рано умерли. Марио в сорок девять лет, Сергей — в сорок три года. К тому же оба умерли от сердечных перегрузок, явившихся следствием духовных поисков,— тот и другой не удовлетворялись сущим, мучились стремлением понять смысл и ход жизни, «взять на себя всю скорбь мира», как выразилась Кармен. И Сергей писал статьи, и Марио писал статьи, опубликовал книгу, пробовал издавать газету. Оба были неумелы и робки в житейских делах, но тверды в своих общественных принципах. Ольга Васильевна говорила о том, что в семье Сергея все какие-то «несуразные», и Кармен произносит: «Не случайно вы брат и сестра... какие-то вы неприспособленные — это теперь очень модно».

Но Трифонов, пишущий не только о глубинно иной социальной среде, но и с иных социальных позиций, вилит в семейном разладе столкновение двух укладов жизни, а Делибес усматривает выпадение Марио из общепринятого уклада. Поэтому если у Трифонова из воспоминаний вдовы отчетливо прорисовывается облик мужа — она не была согласна с ним, но понимала, что он делал и искал,— то воспоминания Кармен отчетливее выхватывают ее саму: слишком мало понимала она в делах мужа, и главным для автора было запечатлеть именно ее как распространенный тип общественного сознания. Если у Ольги Васильевны есть своя философия: «Все начинается и кончается химией», то у Кармен все начинается и кончается укором: «Для чего ты жил, скажи на милость, если ты не смог жене купить даже какую-то несчастную «шестисотку». В ней воплотился причудливый сплав того, что мы именуем конформизмом, подчинением ходовым идеям и вкусам — тому, что «сильная власть это гарантия порядка»,

что глубоко прав отец, написавший: «За границу нам надо вывозить не машины, а духовные ценности и целомудрие».

Наконец, если у Трифонова звучит неестественность, трагизм взаимонепонимания, то Делибес и здесь грустно фиксирует стабильность сосуществования. Конечно, уже тем, что автор вскрыл это взаимное отчуждение, он выражает свою позицию: иначе ему не пришло бы в голову обнажить эту коллизию. Но опять-таки это для него образ жизни, а не взывающее к исправлению нарушение его.

В романе «Войны отцов наших» уже в самом заголовке сформулирована философская идея (в ее структуру входят и имена героев: Пасифико — значит мирный, а имя доктора Франсиско Ассис Бурганье отчетливо перекликается с именем милосердного святого Франциска Ассизского).

В чем же эта идея?

Агрессивный инстинкт заложен в памяти и крови поколения. Прадед, дед, отец мирного Пасифико были солдатами и твердо убеждены: «У каждого есть своя война, как у каждого есть своя жена». Мирный, болезненный, способный тонко чувствовать природу — его и пчелы не кусали, и аллергия у него появлялась при виде умирающей форели,— Пасифико долго противостоял их воинственному воспитанию, но все-таки спокойно пырнул ножом брата своей Канди. Совершить такое можно, только впитав в кровь «войны отцов наших». И в этом смысле война не нарушение, а проявление нравов. Так снова звучит все тот же горький фатализм Делибеса. Поначалу казалось, что Пасифико подобен редкостной яблоне Зимовщице, что расцветала глубокой осенью, но потом и он «вошел в норму».

Эта идея «удовлетворения инстинкта примитивной агрессивности», как ее формулирует доктор, перекликается с идеями двух предшествующих книг, ибо агрессивность тоже отчуждает людей друг от друга. «Если ты в ком-нибудь нуждаешься, тот, естественно, этим злоупотребляет»,— утвердил для себя в качестве жизненного урока Пасифико. Еще сильнее, чем в романах «Красный листок» и «Пять часов с Марио», выявлена здесь идея тотального взаимонепонимания даже близких людей. Пасифико не находит общего языка со своими воинственными предками — Пра, Дедом, Отцом. Не понимает он и Канди с ее тирадами насчет сексуальной свободы. Но главное — не понимают друг друга Пасифико и доктор, столь взаиморасположенные: Пасифико бесхитростно рассказывает свою жизнь, а доктор ищет «зацепок» для оправдания Пасифико.

Но все три романа сближаются не только пульсирующими в них общими идейными мотивами, а и стремлением передать монотонную жизнь героев почти адекватной художественной формой — лексикой, интонацией, композицией в соотношении, как говорится, один к одному. Везде один и тот же прием — повторение, кружение мыслей, воспоминаний, привязчивых слов. Причем повторяются не какие-то объективно значительные, опорные события, а те мелкие, пустяковые факты, происшествия, мысли, которые почему-то бывают дороги каждому человеку или нечаянно отложились в памяти. Они-то и сплетают сеть, в которой вяло колышется месиво быта. Как, в сущности, может быть бедна событиями жизнь человека, словно подсказывает сострадающий своим героям автор, вот и крутятся их мысли вокруг немногих впечатлений.

А в «Войнах отцов наших» сохраняется даже засоренность речи Пасифико словечками «значит», «видите ли».

Это я и определяю как прием ретардации, нарочитого замедления: заставить читателя вжиться в малоподвижный духовный склад героя, в его ход мысли. Такое замедление, на мой взгляд, не всегда приводит Делибеса к успеху, не всегда создает все-таки сравнительно редкий в искусстве эстетический эффект: сохранить непосредственность живой речи при напряженности переживания, напряженности восприятия.

Но в целом перед нами художественно убедительная попытка найти новые возможности для того, чтобы повысить читательское внимание к произносимому простыми героями, к мысли, содержащейся в их воспоминаниях или беседе.

Происходит это, пожалуй, оттого, что, как правильно заметила И. Тертерян в предисловии к «Войнам отцов наших», Делибес по складу своего дарования — «художник в высшей степени концептуальный, но вместе с тем и наблюдающий, пристально вглядывающийся в жизнь».

А. БОЧАРОВ

ВООБРАЖЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Bernard Clavel. Le Temps des loups. Moscou, «Progres». 1978.
Бернар Клавель. Пора волков. Предисловие Л. Зониной. Москва, «Прогресс». 1978.

Имя французского писателя Бернара Клавеля хорошо известно нашим читателям: он не раз бывал в нашей стране, на русском языке публиковался его роман «Плоды зимы» [1] *и ряд рассказов. В последние годы писатель один за другим выпустил три исторических романа: «Пора волков»* [2]*, «Свет озера», «Женщина на войне»* [3]*. Эти книги, составившие цикл под названием «Опоры неба», отличаются антивоенной направлен-*

[1] См. «ИЛ» № 5, 6, 1970.
[2] На русском языке роман выходит в издательстве «Художественная литература».
[3] Об этом романе см. «ИЛ» № 8, 1979, стр. 284. О творчестве Б. Клавеля в целом см. статью О. Тимашевой «Действенная сила добра», «ИЛ» № 7, 1976.

ностью и перекликаются с современностью. В связи с публикацией этих произведений, имевших во Франции большой успех, корреспондент газеты «Нувель литтерер» Жан-Луи Рамбюр взял у Б. Клавеля интервью, которое мы предлагаем вниманию наших читателей.

Бернар Клавель. Пожалуй, я и сам не мог бы сказать, в какой момент мне труднее — когда я только приступаю к книге или заканчиваю ее. Мне никогда не бывает легко. Возможно, есть писатели, которые, покидая рабочий кабинет, расстаются и со своими персонажами. Мне же стоит выйти за дверь, как мои герои, словно кошки, прошмыгивают между ног, ни за что не соглашаясь оставаться взаперти. Даже умерев, они не отступаются от меня, подобно друзьям, которые не успели до конца рассказать мне свою жизнь.

Когда я еду в метро, соседи странно поглядывают на меня. И я ловлю себя на том, что разговариваю вслух со своими персонажами. Это утомительно, но все же я остерегаюсь их прогонять. Ведь они могут и не вернуться.

Для меня быть писателем — это непрерывное состояние, неотъемлемое свойство моей натуры. И если бы я даже попытался изменить профессию, я не смог бы жить иначе, я должен вглядываться в то, что меня окружает, слушать, чувствовать, пропуская через себя все, словно фильтр, который задерживает лишь необходимое.

Жан-Луи Рамбюр. Расскажите, как рождаются ваши книги.

Бернар Клавель. Начинается это всегда с какого-нибудь сильного впечатления. Например, это может быть встреча с человеком, о котором возникает потребность написать. Иногда эта потребность годами дремлет во мне, пока какое-то другое переживание не заставит ее вновь проснуться. Так было с «Испанцем»[1]. С героем моей будущей книги я работал вместе на ферме, где укрывался во время оккупации. Но только гораздо позже, в Лионе, в бытность мою журналистом, я вдруг почувствовал непреодолимое желание оторваться от действительности, которая совершенно не соответствовала моим идеалам, захотелось вспомнить Юру, куда я не мог в то время вернуться, и жизнь виноградаря, которая мне так полюбилась. И я принялся за работу над «Испанцем».

Каждый раз, когда у меня возникает потребность взяться за перо, я завожу новую записную книжку и набрасываю план будущей книги. Когда я только начинал писать, у меня накапливалось до трехсот таких книжек. Сейчас при отборе сюжетов я достиг некоторого прогресса. Тут-то и понимаешь, что и в писательском деле не обойтись без учета. Сделав первую запись, я вырываю из книжки страницу, прячу в папку и на ее обложке пишу предполагаемое название. Теперь остается только ждать. Если папка начинает разбухать, есть надежда, что впоследствии что-то и получится (роман, рассказ, пьеса или телесценарий). Это выяснится только со временем. Если же записей не прибавляется, что ж, тем хуже, придется выкинуть ее в корзину.

«Пора волков» — это как раз книга, родившаяся благодаря очень сильному впечатлению. Долгие годы я не бывал в краю Юра и наконец поехал туда с заданием написать для одного журнала репортаж о солончаках. Весь день я пробродил по улицам маленьких городков, побывал на соляных копях, перерыл груды архивов. Вечером я отправился к одному старому рабочему — встретиться с ним мне посоветовал мэр. Этот рабочий сказал: «Я могу вам показать кое-какие документы, но завтра вы должны мне их вернуть».

Возвратившись в гостиницу, я уселся за стол в своей холодной комнате и углубился в чтение. В первых строках говорилось о том, как во время великой чумы в Белине, над солончаками, как раз напротив моей гостиницы, были построены бараки для людей, которым было приказано хоронить умерших. Я и сам не знаю, что со мной тогда произошло. Снаружи дул ледяной ветер. В ночном воздухе кружились редкие снежные хлопья. А я вдруг перенесся в 1639 год. Длилось это, быть может, несколько секунд, но ощущение было чрезвычайно сильным. Вместе с этими людьми я испытал и ужас, и невыносимый холод. Дома я потом несколько месяцев жил под этим впечатлением. У меня перед глазами все время стояли эти бараки, где жили люди, обреченные на смерть.

Жан-Луи Рамбюр. Приступая к новой книге, вы представляете себе, как в ней будет развиваться действие?

Бернар Клавель. Если вы имеете в виду план, то да, представляю, даже если пишу короткий рассказ. Я уверен, что все писатели, сознательно или нет, набрасывают предварительный план. Даже если утверждают обратное. Ведь важно уметь соблюдать пропорции. Художник знает, что не может выйти за рамки холста. То же самое и с писателем. Начиная новую работу, я определяю приблизительно количество страниц, глав, частей (пять частей — по-моему, самое лучшее число). Потом я откладываю все это в сторону. И поверьте, когда книга бывает закончена, оказывается, я почти не ошибся. Но вот если бы я заранее знал, как будет развиваться действие, у меня пропало бы желание писать. Когда я утром сажусь за чистый лист бумаги, для меня самое большое удовольствие — самому себе рассказывать мною же придуманную историю. Иногда мысль бежит столь стремительно, что рука едва поспевает за ней, и я только потому не поддаюсь искушению прибегнуть к магнитофону, что считаю это

[1] Наш журнал готовит публикацию этого романа на русском языке.

предательством по отношению к моему писательскому ремеслу.

Жан-Луи Рамбюр. Что вас обычно увлекает? Какая-то ведущая идея?

Бернар Клавель. Больше всего меня увлекают мои персонажи. Может быть, вы и сами это заметили. В каждой из моих книг все показано как бы глазами главного героя. Вполне возможно, впоследствии мне захочется узнать, в каком свете воспринимают происходящее и другие персонажи. Но пока я предпочитаю на все смотреть глазами одного из них. Мне кажется, так удобно для читателя, и я предпочитаю держаться этого правила, хотя в процессе работы возникают и непредвиденные осложнения. Так было, когда я перечитывал заново «Свет озера». В качестве героини я выбрал Мари. И вдруг обнаружил, что это ошибка. Пришлось все переписывать и главным героем делать Бизонтена. Книга была уже в печати, и мой издатель пришел в ярость. Но потом согласился, что я прав.

Еще более удивительная вещь произошла со мной, когда я работал над романом «Пора волков». Описав встречу главного героя, возчика Матье, с группой беженцев, ехавших в кантон Во, спасаясь от ужасов войны, я почувствовал, что не могу не последовать за ними. И решил, что напишу второй том, чтобы узнать, что же сталось с этими людьми. Так родился цикл, озаглавленный мною «Опоры неба», который все продолжает расти — не в пример циклу «Великое терпение», который внезапно приостановился после «Плодов зимы».

Могу лишь добавить, что я никогда не выдумываю полностью своих героев. Они всегда имеют что-то общее с людьми, которых я встречал в жизни.

Жан-Луи Рамбюр. А случается, что заинтересованные лица узнают себя в ваших персонажах?

Бернар Клавель. Мои близкие утверждают, что во всех моих героях они узнают меня. После выхода «Повелителя реки» все три моих сына заявили, что лодочник — это я. А мне это даже не приходило в голову. Просто я рассказал историю, которую хотелось пережить самому. Но в конечном счете разве романист не отражает прежде всего себя в своих персонажах? Известная фраза Флобера: «Мадам Бовари — это я» — остается до сих пор одним из самых искренних авторских признаний. Ну, а в том случае, когда мои прототипы не узнают себя, это тоже вполне естественно. Не нужно забывать, что романист — в большой степени сочинитель, который и сам не всегда знает, когда он сочиняет, а когда говорит то, что было в действительности.

Самое поучительное для писателя — столкнуться в жизни с им же придуманным персонажем. После передачи по телевидению фильма по роману «Испанец» человек, узнавший себя в герое, разыскал меня через мэрию. Оказалось, он живет в сотне метров от меня, а я об этом даже не подозревал. Он пришел ко мне, и о чем мы с ним только не переговорили.

Он поведал мне много такого, о чем я давно успел забыть, зато, когда я рассказывал кое-что из того, что произошло на самом деле, а вовсе не было мною придумано, он качал головой и приговаривал: «Что-то я этого не помню». Представляете, как мне было интересно узнать от него, что произошло уже после моего отъезда из тех мест, которые я описал, и что мне пришлось досочинить в моей книге. Вот так переплетаются воображение и реальность.

Издано за рубежом

МОНОЛОГ РАБОЧЕГО ПАУЛЯ

Paul Gratzik. Transportpaule. Monolog. Rostock, Hinstorff, 1977.
Пауль Гратцик. Пауль-на-электрокаре. Монолог. 1977.

Пауль-на-электрокаре — так шутливо называют молодого рабочего его товарищи по бригаде. П. Гратцик не случайно вынес эти слова в название своего первого прозаического произведения. Тем самым писатель сразу подчеркивает принадлежность своего героя к рабочему классу, и его роман встает в один ряд со многими интересными произведениями последних лет, появившимися в ГДР на так называемую производственную тему, тему глубоко современную, необходимую и, как показывает жизнь, для развития литературы социалистических стран весьма плодотворную.

Повествование строится на материале, которым автор хорошо владеет. Сам в недавнем прошлом рабочий, сменивший за свою жизнь немало профессий, он не «придумывал» своего героя, не подгонял его под тот или иной литературный стереотип. Его Пауль, такой, как он есть — с успехами и неудачами, просчетами и победами, привлекательными и не очень привлекательными чертами характера,— сразу завоевывает симпатии читателя.

Способствует этому и избранная Гратциком форма свободного, динамичного внутреннего монолога, в котором высвечивается внутренний мир героя, раскрываются его взаимоотношения с окружающими. Так о чем же этот лишь условно поделенный на главы монолог, в котором уместилась вся история жизни главного героя? О том, как Пауль после долгих странствий

обосновался наконец в маленьком городке Н. на Эльбе, о его любви к шестнадцатилетней Розе, о связанных с этим переживаниях, об уютных вечерах за партией в скат в пивной с ласковым названием «Капелька»; о премьере в городском театре, на которой Паулю, правда, побывать не удалось из-за того, что он несколько засиделся в вышеупомянутой «Капельке», но зато он великолепно «выступил» на последующем торжестве; о строительстве городского клуба молодежи на месте прежней мусорной свалки; о летнем отпуске, который сложился совсем не так, как было запланировано; о событиях незначительных и значительных, о веселом и серьезном, радостном и грустном, о многом и все же в первую очередь о работе, к которой то и дело возвращаются мысли героя, о его товарищах по бригаде, о его цехе и о столь дорогой его сердцу, хотя в сердцах же и нередко проклинаемой, не самой крупной, но и не такой уж захудалой мебельной фабрике.

Пауль-на-электрокаре не просто числится рабочим, он рабочий по самой своей сути, рабочий по призванию и очень гордится своей причастностью к той части человечества, что трудом своих рук создает реальный облик окружающего мира.

Казалось бы, что тут хорошего, размышляет временами Пауль, ездишь себе целый день по цеху на электрокаре да подвозишь товарищам детали для сборки мебели, а потом забираешь уже готовые узлы, части будущих красивых шкафов, столов, кроватей. Сноровки, правда, работа эта требует большой, тут и минуты не посидишь, особенно если хочешь трудиться на совесть, так, чтобы не подвести бригаду и не оказаться хуже товарищей. Эта проблема нравственного, сознательного отношения к труду постепенно, ненавязчиво выдвигается на первый план в романе Пауля Гратцика. Но писатель не спешит подсказывать читателю свое, авторское мнение. Пусть читатель сам поразмышляет над книгой, выработает собственное отношение ко всему, что занимает мысли Пауля-на-электрокаре. И когда читатель начнет ориентироваться в переплетениях искренности и бравады, беспощадных попыток самоанализа и безобидного камуфляжа, когда ему станет легче отделять главное от второстепенного, тогда из непосредственных высказываний рабочего Пауля выступит главное — новое сознание человека социалистического общества, верящего в свои рабочие руки и в свой завтрашний день.

Перед героем Гратцика не стоит вопрос, с кем он и на чьей стороне. Он может иронизировать по адресу городских властей и критиковать сложный и не всегда объективно срабатывающий механизм начисления премий у себя на предприятии, да и другу своему, партийному руководителю Вилли, он порой, не проявляя должного пиетета, высказывает в глаза все, что думает. Однако у читателя не возникает сомнения в том, что главные жизненные ценности героя — «здесь и сегодня», в немецком социалистическом государстве. Пауля не нужно убеждать в преимуществах реального социализма. И его острый взгляд, подмечающий в окружающей действительности не только радужные стороны, но и обидные недостатки, это взгляд человека заинтересованного, готового по мере сил своих способствовать улучшению мира, в котором он живет.

В книге Гратцика читатель встретит немало характерных черточек социалистического быта. Это и клуб, возведенный общими усилиями молодежи города в свободное время за восемь дней вместо запланированного гораздо более длительного срока, и повседневный интернационализм, проявляющийся во взаимоотношениях Пауля с венгерскими товарищами по бригаде. Это и новое отношение к труду, сочетающее в себе принцип материальной заинтересованности с высокой степенью моральной ответственности, и новое отношение к искусству, когда премьера в городском театре становится не просто очередным «событием в культурной жизни города», но вызывает самое широкое и темпераментное обсуждение.

Пронизанная мягким юмором, книга Пауля Гратцика читается легко, с интересом, и все те важные, серьезные акценты, которые писатель точно расставляет в своем, на первый взгляд, незатейливом повествовании, воспринимаются как вполне естественные, не привнесенные извне, а вытекающие из конкретной жизненной ситуации.

Пожалуй, такая органичность повествования слегка нарушается из-за образа партийного руководителя Вилли, который получился несколько схематичным и блеклым по сравнению с более ярко выписанными остальными персонажами. Не способствует убедительности образа и то обстоятельство, что, в отличие от других героев романа, мы не наблюдаем Вилли непосредственно в работе, в его отношении к основному своему делу; и здесь, увы, ощущается некоторая художественная недостаточность, тем более обидная, что полнота жизненного материала — характерная особенность этой книги.

Если же говорить в целом, то Пауль Гратцик написал книгу веселую и увлекательную, воссоздающую образ рабочего человека, нашего современника. Пусть не со всем в монологе Пауля-на-электрокаре мы можем согласиться; главное, что читатель способен полюбить героя со всеми его достоинствами и недостатками. Монолог Пауля не закончен. Автор оборвал его, можно сказать, «на самом интересном месте», рассказывая о том, как Пауль борется со штормом в волнах Балтийского моря и всерьез раздумывает, не

суждено ли ему вот так и закончить свою жизнь. Читатель, однако, вряд ли поверит тут герою. Он знает, что Пауль и в этой ситуации окажется «на коне», а про себя надеется и в будущем встретиться с этим симпатичным рабочим парнем.

Н. ЛИТВИНЕЦ

ДВА ПОЭТА

Hans Cibulka. Lebensbaum. Halle, Mitteldeutscher Verlag, 1977.

Manfred Streubel. Inventur. Lyriburg, Hoffmann und Campe Verlag, 1978.

Ганс Цибулка. Древо жизни. 1977.

Манфред Штройбель. Опись. Лирический дневник. 1978.

Среди поэтических новинок последних лет, которые привлекли внимание любителей поэзии в ГДР, свое законное место заняли две книги поэтов среднего поколения — «Древо жизни» Ганса Цибулки и «Опись» Манфреда Штройбеля. Поэтический почерк Цибулки и Штройбеля различен, но оба они — поэты ярко выраженного лирического склада, которые стремятся именно средствами лирики постичь и выразить нашу современность. Наш читатель уже знает отдельные стихи этих поэтов, печатавшиеся в русских переводах, и знакомство это стоило бы продолжить.

Старший из двух поэтов, Ганс Цибулка, родился в 1920 году в чешском городке Крнов. В годы войны он воевал на итальянском фронте, был взят в плен; после 1945 года Цибулка получил библиотечное образование и вот уже много лет руководит городской библиотекой в старинном немецком городе Гота.

Творческий путь Цибулки напоминает литературные биографии таких выдающихся поэтов старшего поколения, как Георг Маурер и Иоганнес Бобровский. Подобно им, Цыбулка был воспитан в религиозном духе, рано увлекся образами истории и искусства, в юности был склонен к некоторой мечтательности. Война вывела его из этого фаустовского затворничества, грубо и резко обнажив перед ним грозные контрасты истории, открыв ему глаза на преступления кровавой фашистской диктатуры. Осознав их, поэт сделал свой выбор. Одна из основных тем его последующего творчества — это осознание личной вины и вины своего поколения, обретение истинного места в жизни. Развитие этой темы можно наблюдать, начиная с дебюта Цибулки («Мартовский свет», 1954) и вплоть до поэмы «Тема с вариациями», завершающей его сборник стихов «Ласточки света» (1973). Наряду с этим он всегда охотно и много писал на темы искусства.

Высокая поэтическая культура неизменно отличает стихи Цибулки. В ранних стихах — о детстве и трагедии военных лет — он охотно прибегал к античным размерам: мерные, плавные двустишия оттеняли драматизм содержания. С годами его лирика стала более задушевной, в ней преобладают небольшие, скупые по образному строю стихотворные миниатюры, напоминающие образцы старой японской или китайской поэзии. В новой книге «Древо жизни» мы также находим такого рода строфы:

Последнюю ягоду
Я сорву с куста,
Покуда она снежинкой
Не упадет с ветвей.
Это слово
Ты мне подарила.
Когда нагрянет холод,
Я укроюсь
В его слогах.[1]

(«Песня любви»)

Новая книга целиком состоит из таких лирических миниатюр. По содержанию она делится на две части: стихи о любви (в которых, как своего рода второй план, проходят воспоминания прошлого, но уже не с прежней остротой) и большой цикл стихотворений о музыке и музыкантах (от Баха и Гайдна до Брукнера, Малера и Шёнберга). Этот жанр лирического портрета, или этюда, был представлен и в прежних книгах Цибулки (напомним, что такого рода лирические портреты любимых поэтов и музыкантов писал и Бобровский). Цибулка хорошо передает впечатления, например от музыки Брукнера, ее глубокую связь с альпийской природой. Однако не все стихотворения этого цикла обладают оригинальностью. Для тех, кто помнит впечатляющие портреты Рембо, Тракля, Мандельштама, ранее созданные Цибулкой,— в новых портретах очевидны приметы некоторой инерции и творческой самоуспокоенности. Но, взятое в целом, творчество Цибулки, несомненно, обогащает эстетический спектр современной поэзии ГДР. Его поэтические образы подкупают своей свежестью и необычностью. Ликование любви может быть выражено одной фразой: «Я возложил радугу на твои плечи». И так же метафорически тонко передано предчувствие разлуки: «Между губами любящих реют снежинки». Еще важнее, что Цибулка стремится лирически выразить духовный мир современного человека. Таково стихотворение «Космические знаки», дышащее преклонением перед мощью стихий, проникнутое глубочайшей любовью к нашей земле. «Земля — голубой цветок вселенной»,— пишет поэт. Это лирико-философское восхищение земным бытием живо напоминает нам, русским читателям, знаменитую строфу Пастернака:

Природа, мир, тайник вселенной,
Я службу долгую твою,
Объятый дрожью сокровенной,
В слезах от счастья отстою!

Манфред Штройбель — сын лейпцигского учителя — моложе Цибулки (род. в 1932 году); война миновала его, и жизненный путь его сложился значительно легче. Ему было проще овладеть современной темой в поэ-

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

зии: однако первый сборник юного поэта — «Громко и тихо» (1956) — был очень неровным, изобиловал трафаретами; оптимизм поэта еще выражался в поверхностно-декларативной форме. Вскоре Штройбель умолкает на десять лет; с появлением второй книги — «Стрелка времени» (1968) — становится ясным, насколько углубился идейный мир поэта; его восприятие мира стало более контрастным, а поэтический голос — более мужественным и спокойным. После выхода этой книги Манфреду Штройбелю была присуждена премия имени Генриха Гейне (1970).

Последняя книга Манфреда Штройбеля «Опись» также отмечена зрелостью и предельной конкретностью поэтического мышления. Четкость и ясность высказывания, пристрастие к зримым подробностям, ярко выраженная, подчас ликующая любовь к жизни — вот те черты поэтического облика Штройбеля, которые проявились в этой книге. Название «Опись» имеет, конечно, полушутливый характер, хотя и подчеркивает широкий тематический регистр. Подзаголовок «Лирический дневник» более точен; в этом дневнике мы находим и семейную хронику, и хронику времени, и стихи о радостной, разделенной любви, и впечатления от природы и города, и образы искусства. (Причем в отличие от Цибулки Штройбель редко обращается к музыке и ее творцам; зато предметность, живописная фактура его стиха как бы сами диктуют его стихотворные обращения к пластическому искусству: к суровой, монументальной пластике Барлаха, к жесткой графичности Кете Кольвиц, к лирическим фантазиям Шагала.) Из Барлаха взят и знаменательный эпиграф к книге: «Жест мужества был бы легковесен, если бы я не мог осязаемо показать те обстоятельства жизни, которые его порождают». Беря столь ответственный эпиграф, Манфред Штройбель сразу предупреждает читателя, что разговор предстоит серьезный и хорошо аргументированный.

Подробная «опись» этой книги была бы здесь излишней (тем более, что поэт, упредив нас, уже поставил это слово в своем заглавии). Попытаемся лишь наметить те (условно говоря) годовые кольца, из которых складывается на наших глазах история души поэта и близких ему людей. С большой лирической силой звучит здесь тема детства, его первозданной свежести. «Голубая труба» детства и ее звучащий металл не перестают волновать поэта:

О, только бы рифма звучала!
О, чаша дней и ночей,—
И золотого начала
Звонкий ручей...

В ином, гораздо более драматическом ключе выдержаны стихи, посвященные любимым спутникам детства, чьи судьбы были так или иначе омрачены социальными трагедиями прошлого,— о вечной труженице — бабушке-прачке, о постоянно усталой матери, об отце («Мой отец со своими первоклассниками anno 1933[1]»). Штройбель — сын учителя, и стихи, несомненно, написаны под впечатлением фотографии из семейного архива. Вначале мы видим идиллическую картинку: учитель с опрятной бородкой, окруженный почтительными детишками; «пастух со своим стадом», как шутливо замечает поэт. Сознание неизбежной катастрофы диктует поэту резкий, публицистический финал стихотворения:

...Повадка их очень тиха.
Но, ставши яростной сворой,
Их стадо убьет пастуха.

Обширный цикл стихов посвящен нашим дням. И хотя поэт помнит, что у «ангела» его родного города «обожжены крылья» (память войны!), радостные впечатления явно преобладают. В стихах о любви, пожалуй, с особой силой выражено то чувство активной причастности к людям, к миру, которым жива поэзия Штройбеля. Приведем целиком небольшое стихотворение «Завтрак вдвоем»:

Куплены чашки недавно.
В окнах — туманный рассвет.
Ложечки движутся плавно.
Шума на улицах нет.
Глаза твои все понимают,
Свободны от всех неволь.
И как торжество ощущают
Пальцы и хлеб, и соль.
Благодарно и терпеливо
Молчим. Ничего не ждем,
Кроме единого дива:
Быть неразлучно вдвоем.

Жизненный путь Манфреда Штройбеля и Ганса Цибулки сложился неодинаково, различны их излюбленные лирические темы, существенно отличается и манера письма. Одним словом, эти поэты непохожи друг на друга, и нас это только радует. Но есть и некоторая принципиальная общность и в истоках их творчества, и в самом их взгляде на мир, и в их гражданском миропонимании. Оба они пишут, как живут, берут темы творчества прямо из своей жизни, из мира своих чувств (пусть у Штройбеля это проявляется более открыто, а у Цибулки — более опосредованно). И, не сговариваясь, приходят к общему выводу: оба они дорожат своей родиной, обновленной Германией. Ибо, как писал Цибулка (в книге стихов «Ласточки света», 1973), они живут в стране, где «никакие трутни не грабят ульев», где нет угнетения и насилия. Вероятно, в этом и есть исток той свободы, о какой они пишут.

Г. РАТГАУЗ

[1] В 1933 году *(лат.)*.

НОВАЯ ПОЭМА АЙ ЦИНА

А й Ц и н. Цзай лан цзяньшан. Шикань, Жэньминь жибао, 1978 (на китайском языке).
А й Ц и н. На гребне волны. «Шикань» № 12, 1978; «Жэньминь жибао», 10 декабря 1978.

В литературных кругах Китая произошло важное событие: после более чем двадцатилетнего перерыва

к активному творчеству вернулся один из самых известных в стране поэтов Ай Цин.

Ай Цин стал жертвой маоистского произвола задолго до «культурной революции» и формирования политического альянса «четверки». Зачисленный в разряд «правых» в 1957 году, когда в литературе и искусстве «господствовала линия Председателя Мао», Ай Цин долгие годы разделял участь тысяч и тысяч китайских интеллигентов, сосланных в трудовые лагеря, лишенных гражданских прав, и прежде всего права на творчество.

Однако прежде чем представить читателям первое произведение реабилитированного поэта, следует охарактеризовать те события, которые предшествовали его публикации и имели к нему непосредственное отношение.

Новый, 1978 год ознаменовался в поэзии появлением 9 января на стене одного из зданий Пекина дацзыбао, подписанной «революционными массами» и обращенной к пекинскому горкому КПК. В обращении содержалось требование разрешить открытую публикацию сборника стихотворений, которые народные массы наклеивали на площади Тяньаньмэнь во время известных апрельских событий 1976 года.

В дацзыбао сообщалось, что пробный экземпляр сборника был выпущен издательством «Жэньминь чубаньшэ» и направлен в горком КПК еще в сентябре 1977 года, но «по сей день экземпляр оттуда не возвращен и разрешение на публикацию не получено».

Последующие события показали, что появление дацзыбао было отнюдь не случайным: оно явилось этапом борьбы против «четверки» и было, несомненно, инспирировано сторонниками Дэн Сяопина, который, как известно, сам был жертвой апрельских событий; но поскольку эти события явились одновременно стартовой площадкой возвышения Хуа Гофэна, вполне естественно, что публикация сборника и (что гораздо важнее) пересмотр оценок апрельских событий, позволивший осуществить эту публикацию, натолкнулись на сильнейшее противодействие внутри пекинского руководства.

И только в середине ноября — через десять месяцев после появления дацзыбао — началась массовая всекитайская кампания по пропаганде сборника стихотворений, посвященных событиям на площади Тяньаньмэнь, по «реабилитации» авторов этих стихотворений, подвергшихся репрессиям, по пересмотру оценок событий. Кампания свидетельствует об успехе тех, кто был жертвой событий, вина за которые теперь всецело возложена на «четверку»: это призваны доказать тексты многочисленных стихотворений сборника.

5 апреля 1976 года на площади Тяньаньмэнь было подавлено выступление народных масс, поднявшихся против пекинского режима. По времени эти события совпали с днями поминовения усопших. Стихийно возникшие демонстрации трудящихся в знак памяти о «Премьере Чжоу» вылились в политические выступления, подавленные властями. Пекинская пропаганда сделала все возможное, чтобы в извращенном виде представить тогда народную демонстрацию, и в этой фальсификаторской работе «свидетельствам» профессиональных и в большей степени непрофессиональных стихотворцев отводилась активная роль.

В ноябре 1978 года в центральной прессе стали появляться сообщения о предстоящем выпуске к третьей годовщине со дня смерти Чжоу Эньлая сборника стихотворений, вывешенных на площади Тяньаньмэнь в те апрельские дни, сообщения о распространении сборника по всей стране и о том, что заголовок сборника собственноручно начертал «Председатель Хуа». Сообщалось также о реабилитации всех арестованных в те дни; пекинский горком КПК признал «действия трудящихся на площади Тяньаньмэнь революционными действиями».

«Мужественные горожане,— читаем в информации «Гуанмин жибао» (16 XI 1978),— несмотря на запреты «четверки», написали тысячи революционных стихотворений, в которых выразили скорбь по любимому Премьеру. Эти стихи и песни, наклеенные на монумент народных героев и в других местах площади Тяньаньмэнь, вобрали в себя кровь и слезы людей, любовь и ненависть... они воодушевили широкие народные массы на смертельную борьбу с «четверкой».

И далее: «Тех людей, которые писали или декламировали эти стихи и песни, «четверка» жестоко карала, а сами стихи и песни уничтожала, клеветнически называя их «контрреволюционными стихами и песнями». Однако народные массы, пренебрегая опасностями, распространяли и собирали их. После разгрома «четверки» был составлен сборник».

Значительная часть сборника, включившего до 600 текстов в жанрах классической и современной поэзии, посвящена Чжоу Эньлаю. Скорбь и печаль в связи с кончиной Чжоу, прославление его подвигов и заслуг сменяется в сборнике призывами «искоренить нечисть»: «Нахмурим брови, вырвем меч из ножен».

Как правило, стихи безадресны, но встречаются строки, в которых имена «четверки» хотя и не называются, на них указывают иероглифы, иные по написанию и смыслу, но звучащие одинаково с этими именами [1]. Комментарии к сборнику написаны в прозе и в стихах, но еще важнее оценки самих апрельских событий, данные авторами, гораздо более осведомленными об истинных пружинах событий, чем те, кто были их вольными или невольными свидетелями или участниками.

В «Стихах площади Тяньаньмэнь» делается попытка «ввести» народный гнев в четкое русло борьбы с «четверкой». Между тем народные выступления были направлены против всего маоистского правопорядка. На наш взгляд, эту мысль в слегка завуалированной форме и проводит Ай Цин в новой

[1] На этот счет четкие разъяснения дает журнал «Хунци» № 12, 1978, стр. 52.

поэме «На гребне волны», опубликованной в журнале «Шикань» и перепечатанной затем газетой «Жэньминь жибао».

На судьбе реального лица, юноши Хань Чжисюна, Ай Цин изображает героев, жертв и палачей апреля 1976 года.

В главе «Что это за война» поэт разоблачает политическую демагогию, которой прикрывали насилие, произвол и беззаконие: «Как будто войны нет. Тем не менее в ход пущены штыки и винтовки».

В главах «День поминовения усопших» и «Я желаю сидеть в тюрьме тысячу лет!» поэма достигает кульминации. Снова появляется юноша Хань Чжисюн. В день поминовения, как тысячи его сверстников, он написал стихотворение и прикрепил его к монументу народных героев. Ай Цин цитирует это стихотворение как документ времени. Вот отрывок в подстрочном переводе: «История создает свой монумент славы, История создает место бесчестья... Перед монументом в гневном ропоте народа Будет безжалостно вынесен приговор Ничтожным отбросам нации!»

За это сочинение юношу бросили в тюрьму.

«Здесь свой «закон»: Революционера превращают в контрреволюционера, Патриота превращают в преступника, Здесь осуществляется приказ «императрицы».

Ай Цин называет такой суд «средневековой инквизицией». Он знал о нем не понаслышке и не только из рассказа Хань Чжисюна. В главе «События на площади Тяньаньмэнь» Ай Цин-поэт пытается разобраться в причинах народной трагедии:

«Кто прятался в темных углах, Тщательно готовя «Тяньаньмэнский инцидент»? Кто пытался добиться признания у четырнадцатилетнего юноши, Заставляя его назвать самого себя «поджигателем»? Кто рассчитывал перед площадью Тяньаньмэнь Снова разыгрывать фарс «дела о поджоге рейхстага»?»

Эти события, пишет Ай Цин, «водораздел революции и контрреволюции, Поворотный момент китайской истории!»; они, эти события, «стали похоронным звоном для «банды четырех», ускорили гибель «банды четырех», «сделали зорче глаза народа».

На этой победной ноте поэма не завершается. Поэта терзает вопрос вопросов: «Почему в великом Китае, Который снес три горы (империализм, феодализм, внутреннюю реакцию.— *Л. Ч.*), Могли появиться Линь Бяо, «банда четырех»?.. Откуда пришло это страшное бедствие? Какая почва взрастила его? Ныне живущие люди Не могут об этом не думать».

«Борьба еще далеко не завершена.— предупреждает поэт.— Не позволим снова нас обманывать, Нам нужна правда, Нам нужно солнце!»

К кому обращены вопросы Ай Цина и каково его отношение к прошлому и нынешнему китайским правителям?

Имя Хуа Гофэна встречается в поэме в предпоследнем четверостишии, в котором поэт напутствует своего героя: «Смелее расправь крылья, Хань Чжисюн, Смотри, Председатель Хуа зовет тебя». Это все. Имя Мао Цзэдуна Ай Цин также упоминает один раз: «Хань Чжисюн прошел огненную закалку... Он принадлежит к молодежи эпохи Мао Цзэдуна, Он буревестник на гребне волны политической бури!»

В поэме мы обнаруживаем серьезный подтекст, если ориентироваться на разъяснения журнала «Хунци», где цитировались стихи, в которых имена «четверки» «угадывались» по иероглифам-омонимам. Мы можем предположить, что Ай Цин использует аналогичный прием. Процитируем строки из стихотворения героя поэмы, которые приводит Ай Цин, ранее нами опущенные:

«Как история простит бесчинства этого *объединения?* Народ вырвет павлиньи *перья* у этих ворон, Сорвет с них одежды марксизма-ленинизма, которыми они прикрывались...»

Здесь, во-первых, не случайно взято слово «объединение» («туань»), а не термин, который используется в китайской прессе для обозначения «банды (группы) четырех» («сыцзя бан»): как бы подчеркивается, что речь идет не только о «четверке». Во-вторых, слово «перья» (по-китайски «мао») является фамильным иероглифом Мао Цзэдуна. И, следовательно, весь текст приобретает резко антимаоистскую направленность. А тогда иной смысл приобретают строки поэмы из первой главы, перекликающиеся с только что процитированными и разъясняющие, почему именно Хань Чжисюн стал героем поэмы:

«Когда шакалы и волки устрашали, Ты вдруг осмелился выщипывать *перья* (мао!). Твоя отвага в борьбе вызывает гордость поколения!»

Лишь за особые заслуги воздается такая хвала.

Что же касается самой аллегории — при всей кажущейся необычности и даже странности,— она вполне в духе китайской эстетики.

Две дежурные строки, в которых упоминаются имена пекинских правителей, придающие поэме внешне «благопристойный» вид, ничего не меняют в общем ее звучании.

Поэма завершается словами:

«Если кто-нибудь спросит: «Каковы плоды великой культурной революции?» Отвечу, самые очевидные: «В Китае родилась новая молодежь». Скрытый смысл этих строк заключается в том, что деяния маоизма породили протест молодого поколения и подняли его на борьбу, как Хань Чжисюна и его товарищей.

Четверостишие, которое мы процитировали, по структуре и интонации весьма напоминает написанное Ай Цином более сорока лет тому назад стихотворение «Весна»:

«...Люди вопрос задают: Откуда пришла весна? Я отвечаю им: Она пришла из могил».

Л. ЧЕРКАССКИЙ

СРЕДИ КНИГ

ПЕКИН И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Тун Эньчжэн. Шаньху дао шанды сы Гуан. Пекин, «Жэньминь вэнсюэ» № 8, 1978 (на китайском языке).

Тун Эньчжэн. Лучи смерти на атолле. «Жэньминь вэньсюэ» № 8, 1978.

В сфере научной фантастики китайская литература значительно отстала от всего мира. Однако нельзя сказать, что китайская литература сама по себе чужда научно-фантастического жанра. Вспомним хотя бы полюбившееся советскому читателю произведение Лао Шэ «Записки о Кошачьем городе», которое уже четырежды выходило в русском переводе и общий тираж книги достиг полумиллиона экземпляров. Но книга Лао Шэ была написана в тридцатые годы, еще до Освобождения, затем же традиция фантастики в Китае надолго прервалась. Вот почему привлекает внимание научно-фантастическая повесть «Лучи смерти на атолле» Тун Эньчжэна. О самом авторе ничего не известно. «Лучи смерти на атолле» — его первое произведение.

Повесть начинается с таинственной катастрофы: над Тихим океаном гибнет самолет «Утренняя звезда», который вел инженер Чэнь Тяньхун, главный герой повести. «Я китайский эмигрант,— рассказывает о себе инженер,— родился за границей, и процветающая социалистическая родина неудержимо влекла меня к себе с юных лет. Как жаждущий и голодный, набрасывался я на газеты и журналы, поступающие с родины, земля моих предков обращала ко мне свой призыв». Чэнь получил образование в «одной капиталистической стране» и работал в частной лаборатории. Он физик-ядерщик, его учитель — старый китаец, профессор Чжао. Уже на второй странице профессор Чжао погибает, убитый агентом «некой великой державы», которая замыслила похитить «атомный аккумулятор высокой емкости», изобретенный профессором в подарок далекой родине.

События развиваются с необыкновенным динамизмом. Герой Чэнь, не желая, подобно профессору Чжао погибнуть от «медвежьей лапы некой великой державы», летит в Китай на двухмоторной частной «Утренней звезде», но над океаном его сбивают. Он оказывается на острове, где его приветливо встречает хозяин атолла профессор Ма Тай, тоже физик. Он родился в Японии в семье китайских эмигрантов, но уже десять лет назад поселился на этом оборудованном под лабораторию атолле, где электричество получают из энергии морских приливов, и продолжает свои опыты. Ма Тай удалился сюда потому, что результаты его экспериментов в капиталистической стране хотели использовать в военных целях и в ответ на его отказ в сотрудничестве объявили психически ненормальным. На помощь Ма Таю пришел его бывший однокурсник некий Брайен, успевший к тому моменту занять важный пост в «европейской электронной фирме «Лофэйр». Остров и все оборудование предоставлены Ма Таю европейской фирмой и другом Брайеном; здесь в мирных целях изучают лучи смерти, чтобы использовать их для уничтожения акул. Заметим, что все китайские герои повести — исключительно пацифисты. Правда, все их работы и исследования имеют военное значение — и «аккумулятор» профессора Чжао, и «лучи смерти» Ма Тая хранят гигантские возможности, которые должны монопольно принадлежать великой китайской родине, а не злонамеренным иностранцам. У советского читателя лучи смерти Ма Тая могли бы сразу же воскресить в памяти известный нам с детских лет гиперболоид инженера Гарина, но научная фантастика — незапатентованная область; к тому же физика лучей смерти в повести никак не раскрывается, и суть дела здесь не в приоритете на открытие, а в употреблении этих лучей и социальной трактовке мотивов действующих лиц.

При всей искренности Ма Тай не мог рассказать молодому герою всю правду, потому что сам не знал действительного положения вещей. Его друг Брайен, чье настоящее имя — Ивань, оказался обманщиком, многолетним агентом «некой великой державы», а бедный пацифист Ма Тай работал, по сути, на эту державу, вынашивающую военные планы. И вот к атоллу подплывает корабль, с него поднимается вертолет и высаживает на атолл «подлинных злодеев» повести: «капитана первого ранга Шабунова» с матросами. Ма Тай, узнав правду, умирает. Шабунов же мечтает вдобавок к лучам смерти раздобыть еще и «атомный аккумулятор», причем впадает в откровенность в духе пекинской пропаганды: «Тогда мы станем не только господами земного шара, но и господами всего космоса!» Небезынтересно описание Шабунова, даваемое при первом его появлении в повести: «Высокого роста, могучего телосложения, одетый в белоснежную военно-морскую форму, накрахмаленную и отутюженную, Шабунов был похож на полярного медведя. Хотя его лицо сияло улыбкой, она не скрывала его надменности и свирепости».

В финале повести герой Чэнь уничтожает военный корабль «великой державы» вместе с Шабуновым и его агентом Иванем-Брайеном. Чэнь покидает остров на мотоботе, и атолл лучей смерти исчезает с лица земли в грибовидном атомном взрыве: «великая держава» заметает следы... «Полный ненависти и полный веры в себя, готовый к новой борьбе, я правил мотоботом, который нес меня к моей родине» — такова последняя фраза повести.

Что же означает сие произведение, изготовленное в Китае? Прямо скажем, удивляет только место его изготовления. С первого взгляда видно, что написано оно по давно известным образцам дешевой антисоветской продукции, ежегодно выбрасываемой на книжный рынок капиталистических стран в огромных количествах. Приметы тому — на каждой странице; так, все персонажи по-

вести — китайские эмигранты, весьма обеспеченные люди, процветающие в капиталистических странах, где они проживают и где пользуются общественным признанием и вниманием прессы. Буржуазная пресса играет в повести роль просветителя и опекуна главного действующего лица: она все время предупреждает о происках «некой державы», о длинной «медвежьей лапе» с большими, острыми когтями... Вообще, в странах капитала у китайцев полно друзей: на банкете у профессора Чжао «все присутствующие радовались тому, что я могу возвратиться на родину, и многократно провозглашали тосты за процветание Китая».

Национализм — главная черта этого боевика. Для утверждения китайского превосходства выведен единственный персонаж из низов, слуга профессора Ма Тая, малаец, чья доля — собачья преданность китайским хозяевам. Национализм внушает персонажам повести чувство превосходства не только над слугой-малайцем, но и над вскормившим их капиталистическим обществом. Националистическое «здоровье» героя начисто освобождает его от размышлений по поводу социальных проблем и страны, где он живет, и своей процветающей родины, куда он стремится. Однако напомним, что мнимый пацифизм китайских ученых, работающих за рубежом, не мешает им участвовать в военных разработках — они лишь благородно противятся «гегемонизму» капитана первого ранга Шабунова, представителя «некой великой державы». Дух национальной исключительности, отличающий повесть и ее персонажей, создающих новое оружие в дар Китаю для утверждения его величия, вполне соответствует агрессивной политике пекинского руководства, проводимой им в отношении стран Юго-Восточной Азии, которые стремятся к независимому развитию.

Таким образом, перед нами произведение, которое лишь формально можно назвать научно-фантастическим, по сути дела это заурядная пропагандистская поделка, антисоветский комикс, состряпанный по рецептам буржуазной массовой литературы.

В. ВАЛИЦКИЙ

ПОЧЕМУ ЗИГМУНТ РОГАЛЛА СЖЕГ СВОЙ МУЗЕЙ?

Siegfried Lenz. Heimatmuseum. Hamburg, Hoffmann und Campe Verlag, 1978.
Зигфрид Ленц. Краеведческий музей. 1978.

До «Краеведческого музея» Зигфрид Ленц написал семь романов, четыре пьесы, немало рассказов и эссе, даже книгу для детей. Роман «Урок немецкого» (1968) принес ему славу, сделал его одним из первых писателей ФРГ, а роман «Живой пример» (1973) еще более укрепил эти писательские позиции. В упомянутых вещах Ленц обратился к очень сложным и очень болезненным для современников проблемам. В «Уроке немецкого» речь идет о противостоянии нацизму со стороны немецкой культуры, немецкого духа, и в то же время об опасности для культуры, для духа, которая исходит от жизни Шлезвиг-Гольштейна, жизни застывшей, окостеневшей, питающейся убежденностью в собственной избранности. Что же до «Живого примера», то писатель вместе со своими героями — составителями школьной хрестоматии — перебирает образцы, которые могут быть предложены юношеству для подражания, отвергая их один за другим. Дает о себе знать память о прошлом: о бронзовых и гранитных фюрерах на перекрестках и площадях, о геббельсовском лае в приемнике. Человека слишком долго и слишком тесно обступали мифы, чтобы он сегодня мог не испытывать неловкости перед лицом вдохновляющих, мобилизующих символов.

В «Краеведческом музее» прослеживаются черты двух предшествующих книг. Изображаемой средой (а в чем-то и проблематикой) роман напоминает «Урок немецкого», открытость решений, противоречивая неоднозначность всей картины сближает «Краеведческий музей» с «Живым примером». Но есть и различия. «Урок немецкого» воссоздает в деталях глухой уголок северной Германии между Глюзерупом и Хузумским шоссе, где Ленц бывал и даже некоторое время жил после 1945 года. В «Краеведческом музее» перед нами простираются мазурские земли, откуда писатель родом, где прошло его детство, где все ему знакомо, все до боли близко. Если Гюнтер Грасс в своем эпическом первенце, романе «Жестяной барабан» (1959), обратился к воспоминаниям далекого детства, к своим кашубским предкам, то Ленцу потребовался не один десяток лет, прежде чем он решился на встречу с собственным прошлым. В этом смысле этнография «Урока немецкого» — как бы подготовка к такой встрече, но при всем сходстве атмосферы нельзя не отметить, что в «Уроке немецкого» речь идет о том, что изучено — внимательно и добросовестно,— но не впитано с молоком. И, надо думать, это отличие повлекло за собой и другое, касающееся, впрочем, не столько даже «Урока немецкого», сколько «Живого примера»: при том, что к выводам автор ведет читателя через жизнь со всеми ее неясностями, неожиданностями, загадками, сами по себе эти выводы порой слишком однозначны. В «Краеведческом музее» Ленц стремится преодолеть подобную однозначность.

В этой книге З. Ленца пятнадцать глав. Пятнадцать вечеров рассказывает главный герой Зигмунт Рогалла, как он собственноручно сжег свой краеведческий музей, и подробно объясняет, почему он решился на этот странный поступок. Его собеседник — некто Мартин Витт — посещает героя в больнице. Рогалла попал туда потому, что с музея пожар перекинулся на его дом, и

Рогалла, тщетно пытаясь спасти самое для себя дорогое — рукописную книгу своей учительницы, лучшей мастерицы по изготовлению мазурских ковров Сони Турк,— получил тяжелые ожоги лица.

Рогалла весь в бинтах. На протяжении доброй половины своего рассказа он — пока не сняли повязки — даже не видит собеседника, и перед его мысленным взором с удивительной яркостью и рельефностью проносятся картины минувшего. Он рассказывает об этом прошлом обстоятельно, последовательно, подолгу задерживаясь на, казалось бы, необязательных подробностях, ибо ему крайне необходимо, чтобы собеседник его понял до конца. Его не сбивают неслышные нам вопросы и замечания Мартина Витта. Отвечая или возражая собеседнику, Рогалла не теряет нити своей исповеди, которая одновременно является и нитью его жизни.

Повествование охватывает добрые шесть десятков лет и начинается перед первой мировой войной в городке Луккнове (его прообразом послужил, надо полагать, родной город писателя Лык) в двадцати километрах от тогдашней границы с Россией. Городок лежит среди болот и тихих озер, по соседству с девственной лесной пущей. Эти древнейшие славянские земли, бывшие некогда яблоком раздора между немецким рыцарским орденом и польскими королями, теперь принадлежат прусской короне. Но они сохранили свою самобытность, и она не только в именах и названиях, непривычных для немецкого уха. Еще важнее для Ленца легенды, поверья, нравы, обычаи и человеческие характеры: «Чем-то временным я себя до сих пор никогда не ощущал. Это, вероятно, объясняется и тем, что мазурская земля не несла на себе ничего временного, ничего сделанного лишь наполовину; все казалось предуготованным, определенным, завершенным; эти леса, эта заговорщицкая тишина, это терпение, пояс озер и рамки традиции: здесь не могло возникнуть ощущение предварительности, поспешности, здесь ничто не казалось требующим дополнения. Даже бедность представлялась нам окончательной, как и контрасты, как многообразные зависимости, в которых жил человек»,— говорит герой Ленца.

После смерти отца — мечтателя, фантазера, создателя всевозможных чудодейственных средств (от змеиного противоядия до порошка, делающего контрабандиста невидимым) — Зигмунт с матерью поселились у двоюродного деда, бывшего учителя рисования. У деда была страсть — мазурская история, мазурский быт. Он заложил основы того домашнего краеведческого музея, о котором Зигмунт Рогалла долгие годы пекся и который в конце концов предал огню.

Персонажи романа раскрываются именно через свое отношение к музею: определяется их чувство родины, проясняется смысл, который они в него вкладывают. Название романа — «Heimatmuseum» — не вполне поддается переводу: русский его эквивалент — «Краеведческий музей» — не содержит слова «Heimat», «родина». Между тем в нем — главная суть...

Мазурская земля — глухая провинция, дальняя окраина, в чем-то для германского рейха нетипичная. А в чем-то как раз в высшей степени показательная. Здесь, на отшибе, виднее истоки национального самосознания, национальной гордости и национальной ограниченности.

Ленцовский Луккнов—периферийная сцена, но и на ней разыгрываются большие трагедии. Через город проходит фронт первой мировой войны (совсем рядом, в мазурских болотах сражались армии Самсонова и Ренненкампфа). А после поражения Германии Луккнов охвачен лихорадкой плебисцита, призванного решить, отойдет ли он к Польше или останется немецким. И это подогревает враждебность к «инородцам», испокон веку живущим на здешних землях. Так городок постепенно приобщается к нацизму. Это, можно сказать, обыкновенный фашизм, представленный со своей повседневной, чуть ли не бытовой стороны. Не случайно иерархическая пирамида замыкается на местном штатгальтере Решате, даже в воображении не простираясь далее Кёнигсберга, «столицы» (никакого Берлина как бы и в помине нет). Но если в «Уроке немецкого» фашизм в общем-то чужд духу жителей Блекенварфа, Ругбюля, Кулькенварфа и приходит туда из окружного центра Хузума, то в Луккнове он вполне «свой», и его питательная среда — здешняя, на первый взгляд, безобидная патриархальность. С бытовой стороны подается и вторая мировая война. Если не считать вторжения в Польшу и отчаянного зимнего исхода 1945 года (во время которого Зигмунт Рогалла растерял всю свою первую семью), война эта прошла стороной от Луккнова и долгое время казалась его обитателям «рентабельной». Как и нацизм, она была для них — при всех ущемлениях и потерях — чем-то своим.

Впрочем, несколько «приватную» окраску всему этому луккновскому бытию придает повествователь — Зигмунт Рогалла. Ведь он не Историю воссоздает, а вспоминает об отдельных происшествиях, в которых сам участвовал и о которых слышал от людей.

Вот двое мальчишек — Зигмунт Рогалла и его приятель Конни Карраш,— спрятавшись за деревом, наблюдают, как русский офицер после поражения своей армии в мазурских болотах пускает себе пулю в лоб. Бывшие с офицером солдаты укладывают своего командира на самодельные носилки и молча, медленно, уважительно несут через лес в сторону границы. Мальчишки столкнулись с чужой, непонятной жизнью, с чужими, непонятными представлениями о долге и чести...

А вот идет церемония бракосочетания Зигмунта Рогаллы с его первой женой Эдит (она — сестра Конни Карраша), и вдруг на улице громкоговорители начинают передавать речь нацистского вождя. «Хотя окна были закрыты, каждый из нас мог разобрать, чего требовал сдавленный голос; речь шла о чести и о преданности, о торжест-

венном обете, о безоговорочном послушании». Пастор Нагушевский попытался превзойти оратора, но сдался, когда многократно усиленный голос потребовал готовности доверять ему как руководителю, следовать за ним, с радостью в сердце принести ему в жертву, если потребуется, самое дорогое и т. д. Эпизод этот символичен: механическое, фальшивое, ложное вторгается в естественную жизнь, подминает ее под себя.

Так, продвигаясь от истории к истории и попутно полемизируя с Мартином Виттом или сообщая ему точки зрения дочери Хенрики, жены Каролы, сына Бернгарда, Зигмунт Рогалла реализует свою цель — объяснить, почему он не мог не сжечь музей.

Музей и мазурские ковры — увлечение и профессия — слились для героя в некое единое, осязаемое воплощение родины. Прошлое, полагает он, не ушло и не умерло, «прошлое существует среди нас как боль или как возможность...». Поэтому «родина — это для меня не только место, где лежат мертвецы; это — уголок, где чувствуешь себя во многих отношениях в безопасности, место, где ты сохраняешься: в языке, в чувстве, даже в молчании, и это тот клочок земли, на котором тебя способны узнать; а ведь в один прекрасный день каждому хочется быть узнанным, что также означает: быть принятым». Так Зигмунт Рогалла думал раньше, не оставило его это чувство и после сожжения музея, несмотря на скепсис симпатизирующего ему Мартина Витта и насмешки любящего его сына Бернгарда. Вопреки равнодушию, апатии, безразличию многих своих мазурских земляков, он защищал национальное чувство от обвинения в националистичности.

Почему же Зигмунт Рогалла все-таки сжег музей? Влюбленный в свой край, в тех, кто его населяет, он был против ограниченного, слепого, самовлюбленного национализма. Но национализм этот настойчиво протягивал руки к нему и к его музею. Его двоюродный дед наряду с музеем основал краеведческое общество. Однако при нем члены общества не отличались терпимостью к инородцам, а после смерти деда оно и вовсе стало кузницей нацистских кадров, одним из ответвлений гитлеровского движения. Впрочем, именно в музее кое-что нацистское начальство отвращало. Кёнигсбергский искусствовед в мундире бригадефюрера СС пришел к выводу, что он не заслуживает поддержки, ибо истинно германские экспонаты соседствуют тут с предметами славянского или просто неизвестного происхождения, и потребовал чистки. Новый председатель общества, активный нацист, попытался осуществить чистку. Но Зигмунт Рогалла воспротивился: музей — частная собственность, он лучше закроет его для посетителей.

И эту «частную собственность» герой ценой величайших трудностей и жесточайших лишений вывез на запад, в Шлезвиг, поскольку «то, что было мне доверено, принадлежало всем, я был лишь опекуном общего достояния». И в Шлезвиге Зигмунт Рогалла с помощью двух-трех земляков, а потом и жены Каролы и дочери Хендрики, восстановил музей.

На открытие съехались многие бывшие жители Луккнова — «эти раки-отшельники, каждый в своей тюрьме воспоминаний». Среди них герой встретил и тех, кого менее всего ожидал увидеть. Например, экс-штатгальтера Решата. Более того, Решат и некогда отправленный им в концлагерь врач Дудек обнялись как старые друзья. Ибо Луккнов — далекое, легендарное прошлое — заставил забыть все различия: «мы представляли собою союз, орден, семью, орден уныния, союз больных тоскою по родине». Но эта «болезнь» опасна: на открытии музея звучали речи реваншистские, поджигательские.

Однако самый удручающий для Рогаллы феномен — эволюция Конни Карраша, друга детства. В свое время в Луккнове он был близок с поляками, насмехался над всем великогерманским, писал в местную газету сатирические репортажи, задевавшие «национальные святыни» и «честь армии». При нацистах был даже арестован гестапо за связи с группой Сопротивления и за расклейку плакатов с изображением огромного вопросительного знака. А теперь в ФРГ Конни Карраш основал газету и превратился в активного деятеля луккновского землячества перемещенных лиц. Более того, пойдя по стопам кёнигсбергского бригадефюрера СС, он потребовал чистки музея и передачи его в ведение землячества. А во главе землячества помог поставить бывшего штатгальтера Решата.

Это переполнило чашу терпения Зигмунта Рогаллы. Ни Решату, ни теперешнему Конни Каррашу герой не мог отдать свой музей. «Прошлое получило то, что ему принадлежит и что оно нам лишь на время одолжило. И уже опять пробуждается память, уже воспоминания что-то ищут и что-то копят в тишине ничьей земли»,— так заканчивает Зигмунт Рогалла свой рассказ. Но в жизни его, в действительности, еще ничто не завершено. Сожжение музея — лишь акт отчаяния и само по себе удовлетворения не приносит. Герой будто во второй раз потерял родину. Ему еще предстоит найти общий язык с женой и дочерью, которые осудили его шаг, и с сыном, который этот шаг чересчур горячо одобрил.

«Краеведческий музей» — не только сочинение мастера, но и книга писателя, человека, который не страшится додумывать мысль до конца и анализировать явления во всех их противоречивых тенденциях. Именно так — с чувством ответственности — подошел он к проблеме родины вообще и «немецкой родины», в частности. И при этом ничего не упростил.

Д. ЗАТОНСКИЙ

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

РАССКАЗЫ О ЖИЗНИ СЕВЕРНОЙ ПРОВИНЦИИ

На пороге своего пятидесятилетия аргентинский писатель Эктор Тисон выпустил в издательстве «Судамерикана» новую книгу — сборник рассказов «Почтенный предатель». Эктор Тисон родился в 1929 году в северной провинции Жужуй, где живет в настоящее время, совмещая литературный труд с адвокатской практикой. Именно здесь развертывается действие многих его произведений.

В сборнике рассказов «Почтенный предатель» Тисон пишет о том, как живут, что думают и чувствуют простые жители его родной северной провинции. В этой глуши время словно повернуло свой ход вспять, ее обитатели влачат самое жалкое существование. Робкий проблеск надежды, появившийся в связи с назначением нового губернатора, вскоре гаснет, ибо этот чиновник ничем не отличается от своего предшественника. Беспросветность существования народа сквозит во многих рассказах писателя.

Тонкая стилистика, сочетающая краски северного диалекта с ярким, живым диалогом и метафоричным описанием природы, становящейся подлинным героем рассказов Э. Тисона, придает новой книге писателя особую художественную выразительность.

БОЛГАРИЯ

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК ЛУЧЕЗАРА ЕЛЕНКОВА

Новый стихотворный сборник «Бескрайние мосты» Лучезара Еленкова, вышедший в издательстве «Болгарский писатель»,— наиболее характерное, по мнению критики, выражение идейного и эстетического кредо автора.

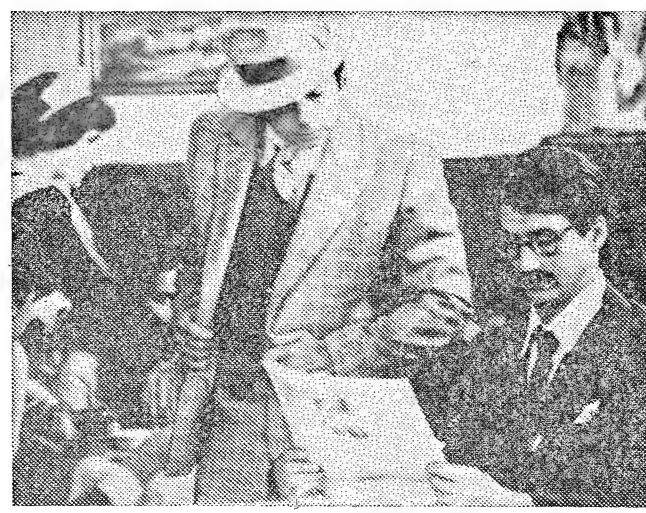
Поэмы, вошедшие в сборник,— это своеобразные монологи известных и неизвестных борцов за свободу, в которых «исповедующая сила слова» вовлекает нас в драматический и порой трагический мир подвига.

Среди персонажей новых поэм Еленкова — скромный болгарский сержант, доблестный защитник Москвы Огнян Михайлов, оставшийся навсегда в памяти тех, кто спустя годы воздвиг ему скромный памятник на окраине Нарофоминска.

В поэме «Огнян Михай-

Фильм «Пантелей» режиссера Георгия Стоянова посвящен последним месяцам второй мировой войны, сложным перипетиям, в которые попадает герой фильма Пантелей, человек, далекий от политики, но оказавшийся волею обстоятельств втянутым в антифашистское Сопротивление. Фильму «Пантелей» была присуждена премия Союза болгарских кинематографистов за лучшую режиссуру.
На снимке: кадр из фильма «Пантелей».

(Журнал «Болгарские фильмы»)



лов» Еленкова, пишет журнал «Септември», ощущаются «непосредственные и кровные братские основы болгаро-советской дружбы».

Поэмы составляют большую часть нового сборника, стихотворений в нем всего одиннадцать, но они также объединены темой борьбы за свободу в цикл «Ночной монолог», близкий проблематике поэм.

Как отмечает болгарская критика, новый сборник Лучезара Еленкова займет достойное место и в творчестве этого интересного художника, и в современной болгарской поэзии, пронизанной идеями гражданственности, патриотизма и интернационализма...

БРАЗИЛИЯ

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ПОЭТА

«70 маленьких историй»— так называется изданный в Рио-де-Жанейро сборник научно-фантастических рассказов классика бразильской литературы Карлоса Друмонда ди Андраде. Друмонд ди Андраде — писатель-реалист, проза и поэзия его тематически разнообразны. Среди его произведений оказалось и много фантастических рассказов. Автор впервые решил собрать их и издать отдельной книгой. Так появились «70 маленьких историй». Все они невелики по объему, стилистически выразительны и читаются, как пишет рецензент «Жорнал ди летрас», с неослабевающим интересом.

ВЕНЕСУЭЛА

ВСТРЕЧА ТЕАТРОВЕДОВ

В Каракасе состоялось совещание, посвященное изучению истории театра Латинской Америки. В нем приняли участие литературоведы, искусствоведы, актеры, режиссеры и драматурги из многих стран континента. Участники совещания выступили с сообщениями о театральной жизни в своих странах, обсудили теоретические вопросы. Предметом дискуссии были, в частности, многие народные представления, не привлекавшие до сих пор должного внимания специалистов. Рассматривался также вопрос о специфике латиноамериканского театра. Было решено создать коллективную «Историю латиноамериканского театра».

ВЕНГРИЯ

СТО ОДИН ПИСАТЕЛЬ — СТО ОДИН РАССКАЗ

Два центральных венгерских издательства — «Сепиродалми» и «Магветё» — совместно выпустили трехтомную антологию венгерского рассказа под общим названием «Сто один рассказ». Со статьей, посвященной этому изданию, выступил в журнале «Кёнывилаг» литературовед Матьяш Домокош.

Антология отражает жизнь Венгрии с последних месяцев второй мировой войны до событий наших дней. Сто один рассказ — это сто один писатель со своей неповторимой интонацией, художественной манерой, своим взглядом на мир. Таким образом, эта антология воссоздает не только картину эпох, но и жизнь самой литературы с ее тенденциями развития, отразившимися в художественных исканиях.

На страницах антологии выступили писатели нескольких поколений. Здесь и классики венгерской литературы Лайош Надь, Милан Фюшт, Эрне Сеп, получившие признание еще в последние дни существования Австро-венгерской монархии, и старейшины венгерской литературы, произведения которых появились непосредственно после первой мировой войны: Енё Й. Тершански, Лайош Кашшак. За ними следует поколение писателей, сформировавшееся в период между двумя мировыми войнами: Ласло Немет, Дюла Ийеш, Петер Вереш, Янош Кодолани. Пал Сабо, Арон Тамаши, Тибор Дери, Эндре Иллеш, а также писатели, вступившие в литературу накануне второй мировой войны: Геза Оттлик, Иштван Эркень, Ференц Каринти, Иван Манди. Заключают антологию писатели, начавшие свой творческий путь уже после 1945 года. В их отряде тоже есть «старшее» и «младшее» поколения. К первому, например, относятся Имре Шаркади, Миклош Месёй и Магда Сабо, ко второму — Ласло Камонди, Ференц Шанта, Иштван Сабо, Эржебет Галгоци, Иштван Чурка, Дёрдь Молдова, Булчу Берта, Иштван Часар, Эрвин Лазар.

«Нужна ли такая всеобъемлющая антология? — задается вопросом Матьяш Домокош.— Да, нужна, потому что она отражает духовный путь нации. Как невозможно сегодня представить эпоху наполеоновских войн без «Войны и мира» Толстого, период соглашения Венгрии с Габсбургами без Кальмана Миксата, Будапешт начала столетия без Дюлы Круди и всю страну без Жигмонда Морица, так невозможно будет потомкам представить и исторические 30 лет после Освобождения без их литературы».

ВЬЕТНАМ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Многими интересными событиями была насыщена музыкальная жизнь социалистического Вьетнама в минувшем 1978 году. Наиболее плодотворным музыкальным жанром для вьетнамских композиторов является массовая песня. Вьетнамские композиторы успешно работают и в других жанрах. Симфония Чан Нгок Сыонга «Сто рек впадают в море» воспевает славную деятельность Коммунистической партии Вьетнама, любовь и веру народа в свой боевой авангард. В хоровом сочинении «Колыбельная на границе» (музыка Нго Ши Хиена, слова Нгуен Чонг Тао) рассказывается о кампучийской девочке, которую спас вьетнамский солдат.

Симфоническая сюита «Испытание» Нгуен Динь

Большое развитие при народной власти в городе Хошимине получили художественные промыслы.
На снимке: художницы по производству изделий из лака Фам Тхи Ким Лиен и Нгуен Тхи Бить Фыонг.

(Журнал «Вьетнам»)

Тана воспевает победу вьетнамской армии и народа в декабре 1972 года, когда американские бомбардировщики совершили разрушительный налет на Ханой. Нгуен Динь Тан также написал хоровое сочинение «Эпоха Хо Ши Мина — эпоха героев», симфоническую поэму «Истоки», в которых говорится о глубоких чувствах народов к В. И. Ленину и президенту Хо Ши Мину; он же — автор музыки к хореографической поэме «Новая песня о Тихом океане», поставленной балетмейстером Ньы Бинем по одноименному произведению известного вьетнамского поэта Хюи Кана.

Композитор Дам Линь написал музыку к хореографической поэме «Феи спускаются на землю» (по мотивам народной легенды) и танцевальной сюите «Рассказ о защитниках Родины», посвященной борьбе жителей расположенной на морском побережье провинции Тхайбинь.

Танцевальная сюита «Девушка с красных земель» (композитор Ка Ле Тхуан, балетмейстер - постановщик Тхай Ли) воспевает подвиг молодой революционерки Во Тхи Шау.

Композиторы Нгуен Ван Тхыонг и Чонг Банг написали музыку к балету «Дух вод и Дух гор», в основу которого положена популярная сказка.

Недавно состоялась I Всевьетнамская конференция, посвященная 30-летию национального балета. Сейчас в Ханойском театре оперы и балета ведется работа над постановкой оперы известного советского композитора А. Э. Спадавеккиа «Овод».

ГДР

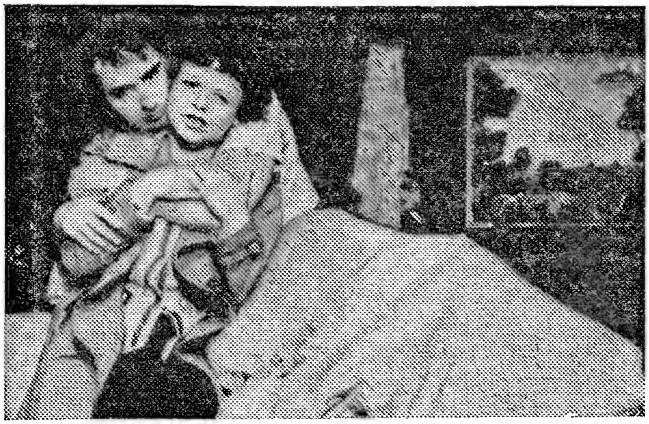
«ДЕТСТВО В ПРЕДМЕСТЬЕ»

Так называется первый роман поэта и художника Карла Германа Рёрихта. Роман охватывает 20-летний отрезок времени (с 1925-го по 1945 год). Рассказывая о детстве и юности главного героя романа — Вальдемара, Рёрихт изображает большую семью, состоящую из людей разных профессий, разного возраста, разных взглядов. Он показывает этих людей в тяжелое время фашизма и войны и в радостные дни конца войны. Это мир простых «маленьких» людей, мир их мыслей, стремлений, желаний. Некоторые персонажи уже знакомы читателю по коротким прозаическим произведениям Рёрихта. Как отмечает рецензент газеты «Берлинер цайтунг», «в обрисовке характеров писателю Рёрихту очень помогает глаз художника Рёрихта».

«Своим первым романом писатель сказал новое для нашей литературы слово,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Он поведал о трагедиях жителей предместья, о тех испытаниях, которым подвергла их жизнь, очень правдиво, с большим чувством такта».

ПОСВЯЩАЕТСЯ 30-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ

Двенадцать лет назад Театр имени Максима Горького показал пьесу известного драматурга Райнера Кернда «Необычайное путешествие Алоиза Фингерлайна» (см. «ИЛ» № 2, 1968). Это был рассказ о первых послевоенных годах, о трудной судьбе деревенского мальчика, выросшего в Польше, пережившего ужасы войны, фашистского плена и нашедшего свою родину в новой Германии. Райнер Кернда снова вернулся к своему герою. Недавно Театр имени Максима Горького поставил новую пьесу драматурга «Долгий путь Алоиза Фингерлайна». «Алоиз Фингерлайн, безусловно, один из самых удачных образов, которые создал Кернда»,—



На снимке: актеры Урсула Вернер и Уве Коккиш в сцене из спектакля «Долгий путь Алоиза Фингерлайна».
(Газета «Нойес Дойчланд»)

пишет газета «Берлинер цайтунг».

Спектакль поставил режиссер Вольфрам Кремпель (он же ставил и первую пьесу о Фингерлайне). Рецензенты отмечают, что Кремпелю удалось передать романтизм и народный колорит пьесы, сатирические и юмористические моменты, характерные для пьес Керндля, что не заслонило серьезности поставленных в пьесе проблем. Удачно исполнил главную роль молодой актер Уве Коккиш.

«Новая работа Театра имени Максима Горького посвящена тридцатилетию Германской Демократической Республики — пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Прослеживая путь своего героя, Керндль дает картину развития страны, показывает ее прошлое и настоящее. Судя по тому, как прошла премьера спектакля, можно говорить, что пьеса вызовет большой интерес у зрителей и будет иметь успех».

ГРЕЦИЯ

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ЯННИСУ РИЦОСУ

С большим успехом прошла в Афинах выставка, организованная галереей «Неес морфес» и издательством «Кедрос» в связи с широко отмечавшимся в Греции семидесятилетием выдающегося греческого поэта, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Янниса Рицоса. На выставке были представлены все греческие издания поэта и около ста его зарубежных изданий на двадцати двух языках мира.

Особый интерес вызвало тридцатое издание поэмы Рицоса «Эпитафии», выпущенное специально к юбилею в подарочном оформлении и с шестью крупными гравюрами известного греческого художника Тасоса. Были выставлены также посвященные Рицосу картины видных греческих и зарубежных художников — работы Я. Царухиса, В. Катраки, В. Василиадиса, М. Аргиракиса, З. Макри и др.

Особый раздел составили работы самого Рицоса — его рисунки на камне, эскизы, акварели, а также зарисовки на папиросных коробках, сделанные им в концлагере.

На снимке: рисунки Янниса Рицоса.
(Газета «Вима»)

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ «МАНИМЕХАЛЕЙ»

Двадцать лет назад в южноиндийском городе Раджапалайям (штат Тамилнад) было создано литературное объединение «Манимехалей». Манимехалей — имя героини популярной в народе одноименной древнетамильской эпической поэмы, созданной в начале нашей эры.

Как сообщает очередной литературный альманах литобъединения «Маними-

халей вижа малар», литераторы, ученые и любители тамильской словесности приняли участие в торжествах по случаю двадцатилетия со дня основания «Манимехалей». Многие из его членов — рабочие, крестьяне, учителя, чиновники — уже стали известными прозаиками, поэтами, драматургами. Они поддерживают творческие контакты с писателями других регионов Индии, ведут оживленный обмен литературными новинками с зарубежными читателями и учеными. На своих семинарах они выступают с сообщениями о творческих планах, обсуждают творчество таких выдающихся писателей, как Лев Толстой, А. Чехов, М. Горький, В. Маяковский, М. Шолохов.

«Нашей целью является пропаганда сокровищ мировой литературы среди наших соотечественников, укрепление творческих связей с литературой на телугу, малаялам, каннада, санскрите, пракрите и других языках. Мы должны способствовать целям национальной интеграции. Знаменитые слова из древнетамильской поэмы «Пуранануру»: «Каждая деревня — мой отчий дом, каждый встречный мне больше чем брат» — являются нашим девизом», — говорится в «Манифесте» этого литобъединения.

ИНДОНЕЗИЯ

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ РОМАН В 70-Е ГОДЫ

Недавно опубликована работа Якоба Сумарджо «Современный индонезийский роман: критические наблюдения». В ней собраны статьи автора, печатавшиеся ранее на страницах газет и журналов, которые, по мнению его коллеги Корри Лаюн Рампан, «дают достаточно подробную картину литературной жизни страны за последние годы».

Отмечая заметный подъем творческой активности и издательской деятельности по сравнению с предшествующим десятилетием, Я. Сумарджо вместе с тем указывает на явное засилье массовой, коммерческой беллетристики, пользующейся растущим спросом у читателей. Он отмечает также резкое увеличение удельного веса романов, созданных женщинами в последнее десятилетие, что побудило критика назвать этот период «женским десятилетием». Наряду с зарекомендовавшими себя ранее Н. Дини, Т. Бастино и Т. С. Садикун появились такие популярные писательницы, как Марианне Катоппо, Яти Марьяти Вихарья, Ла Росе. Арьянти, Марга Т., Сери Субакир, и другие.

ИОРДАНИЯ

КНИГА О СОВРЕМЕННОЙ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ

Журнал «ИБЛА» опубликовал рецензию на вышедшую в лейденском издательстве «Бриль» (Нидерланды) работу Джайюси Сальмы Хадра «Направления и динамика развития современной арабской поэзии».

Автор этого фундаментального исследования — палестинская поэтесса Дж. С. Хадра.

В исследовании подробно рассматриваются направления арабской поэзии от начала XX века до наших дней, характеризуются особенности этих направлений в отдельных арабских странах и в творчестве отдельных поэтов. В главах, посвященных арабской поэзии в двадцатые и тридцатые годы, Хадра анализирует не только поэзию таких стран, как Египет или Ливан, стоявших тогда во главе арабского литературного движения. но и поэзию Ирака, Туниса, Трансиордании, Палестины и Судана. Отдельные главы посвящены романтизму и символизму в арабской поэзии. В двух последних главах книги анализируются современные направления арабской поэзии, получившие развитие с 1948 года и резко отличающиеся как по содержанию, так и по форме, от всего, что было свойственно ей в предшествующие эпохи.

Книга хорошо документирована и снабжена библиографией на арабском и английском языках. Многочисленные цитаты из арабских поэтов сопровождаются параллельным английским переводом.

ИРЛАНДИЯ

«ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ» НА ЭКРАНЕ

Американский режиссер Джозеф Стрик известен своим фильмом по роману Джеймса Джойса «Улисс». Замысел, пишет рецензент «Нью-Йорк таймс» Винсент Кэнби, был «отчаянно дерзким», как не раз отмечалось специалистами, но Джозефу Стрику не удалось создать кинематографического эквивалента прозы «Улисса».

Сейчас на экраны вышел новый фильм Джозефа Стрика — «Портрет художника в юности», снятый по одноименному роману Джеймса Джойса (см. «ИЛ» № 10—12, 1976), над которым он работал вместе со сценаристкой Джудит Раско.

Рецензент отмечает продуманную композицию фильма, отличную операторскую работу, особенно съемки в Дублине. Удачно подобран состав актеров, большинство из которых, по настоянию Джозефа Стрика, ирландцы. Трудность задачи Боско Хогана, исполнителя главной роли Стивена Дедалуса, пишет критик, была в том, чтобы показать напряженную внутреннюю жизнь юноши, бунтующего, мятущегося, страстно ищущего свой собственный путь.

В фильме принял участие Джон Гилгуд. Он исполняет небольшую роль священника-иезуита в колледже, где учится маленький Стивен. Гилгуду, пишет рецензент, удалось за несколько минут пребывания на экране создать убедительный образ религиозного фанатика.

«Портрет художника в юности», в отличие от семисотстраничного «Улисса»,— книга небольшая, но тем не

На снимке: кадр из фильма «Портрет художника в юности». *(Газета «Нью-Йорк таймс»)*

менее, замечает рецензент, трудно поддающаяся экранизации. Ее суть — становление сознания своего героя — Джойс виртуозно передает не через сюжет, не в последовательном развертывании событий, а посредством языка. А поскольку письменное слово отличается от языка кинематографа, критик полагает, что задача, которую поставили перед собой Джозеф Стрик и Джудит Раско, отчасти осталась невыполненной.

И все же он считает новый фильм Стрика удачей. Потери в случае с Джойсом неизбежны, но режиссеру удалось передать атмосферу эпохи, особенности сознания ирландского интеллигента, выросшего в стране, борющейся за независимость, трагедию художника, ищущего самовыражения.

ИСПАНИЯ

ПОЧЕТНАЯ ПРЕМИЯ КАТАЛАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ежегодная Почетная премия каталанской литературы в этом году присуждена писателю Мануэлю де Педроло (род. в 1918 г.). Он — автор нескольких десятков книг, написанных в разных жанрах. Участник национально-революционной войны 1936—1939 годов на стороне Республики, Педроло, как пишет критик барселонского еженедельника «Дестино», и после поражения остался «борцом за национальные права Каталонии, что проявилось, в частности, в его литературной деятельности».

Творчество писателя отмечено неустанными поисками новых способов выражения, многообразием тем. Педроло — один из самых значительных прозаиков послевоенной Каталонии, завоевавший читателей в трудных условиях гонений на каталанскую культуру и язык. Он получил «Почетную премию каталанской литературы», говорится в еженедельнике, и за свою гражданскую позицию, и за литературное творчество, которое было одним из проявлений гражданского чувства.

ИТАЛИЯ

«ДЕСЯТЬ РОМАНОВ В РОМАНЕ»

Вышел в свет роман Итало Кальвино под интригующим названием «Если однажды зимней ночью один путешественник...». Первая глава книги написана с расчетом захватить читателя напряженным ритмом, увлечь сюжетом. Но вторая глава — это начало нового романа, а не продолжение первого. Читатель ищет разгадку в третьей главе, но тщетно: вместо продолжения он видит начало третьего романа. На пути своих поисков, упорных и обреченных на неуспех, Читатель встречается с Читательницей, которая, как и он сам, жаждет продолжения романа. Они начинают странствовать вместе в поисках разгадки фабулы, авторского замысла, смысла.

Внутри романа Читателю и Читательнице (а также каждому из тех, кто прочитает эту книгу, сам не будучи профессиональным литератором и ни в какой мере не присутствуя на страницах

романа) предлагается на выбор десять вариантов тайны, которую каждый волен разгадать, как ему захочется. В конце концов тайна должна быть раскрыта и автор приоткроет завесу над замыслом, но все-таки десять вариантов остаются. Автор сам определяет характер своих «десяти романов в романе». В одном из романов «реальность исчезает, как туман». В другом, напротив,— «все чрезвычайно точно, вещно, чувственно». В третьем — «преобладают интроспекция и интроверсия». В четвертом романе «все сосредоточено на истории, на политике и на действии». Есть романы, в которых «преобладает грубый цинизм», или «чувство растерянности и тревоги», или «эротика», есть даже «апокалипсический роман».

Читатель и Читательница в поисках разгадки сюжета совершают путешествия, иногда короткие — в издательство или в университетскую библиотеку, иногда долгие и полные приключений, когда они перелетают с одного материка на другой. Меняются ритмы, персонажи, ситуации, но остается некая одержимость первоначально заданной писателем задачей, страстное желание найти разгадку тайны. По мнению итальянских критиков, роман Кальвино— большое литературное событие.

На снимке: Надя Ферреро в спектакле «Анна Снегина» в главной роли.

(Газета «Паэзе сера»)

«ДРАМАТУРГИЧЕСКОЕ ЧУДО»

Так характеризует корреспондент газеты «Паэзе сера» спектакль по поэме Сергея Есенина «Анна Снегина», поставленный туринским «Кооперативо театро «У». Авторы пьесы и режиссеры — Валериано Джалли и Джорджо Ленца. Это последняя часть трилогии. Первые две части — «Владимир Ильич Ленин» В. Маяковского и «Пугачев» С. Есенина — тоже вызвали интерес у римского зрителя, которому туринцы показали свои работы. Однако первые два спектакля, как пишет «Паэзе сера», «не вышли за рамки грамотного, корректного применения на сцене «биомеханики» Мейерхольда и «монтажа аттракционов» Эйзенштейна, а «Анна Снегина» — это маленький шедевр, который буквально очаровывает зрителя...»

Музыкальный фон постановки — записанные на пленку русские народные мелодии.

Спектакль «Анна Снегина», пишет газета «Унита», «ярко продемонстрировал нам один из многих новых путей развития театра в Италии».

ПОЛЬША

МНОГООБРАЗИЕ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Июньский номер журнала «Нове ксёнжки» почти целиком посвящен советской литературе.

В рецензии, которая называется «Судьба и будущее», известный польский писатель Войцех Жукровский пишет о сборнике рассказов Георгия Маркова, вышедшем в Польше. Оценивая творчество Г. Маркова в целом как значительное явление в советской литературе, о чем неоднократно писала польская критика, В. Жукровский подробно останавливается на последнем сборнике его рассказов. «Рассказы написаны с удивительной простотой, это добрая, мудрая проза».

«Блокаду» Александра Чаковского рецензирует Адам Каска. О достоинствах этой эпопеи, отмечает он, не раз писалось в журнале «Нове ксёнжки» при выходе каж-

дого очередного тома; теперь критик рассматривает последний том, охватывающий наиболее трагический период в военной истории Ленинграда от ноября 1941-го до января 1943 года, высоко оценивая литературные и познавательные достоинства книги.

О повести Чингиза Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» пишет Мария Боярская. Сравнивая повесть Айтматова с повестью Хемингуэя «Старик и море», критик говорит, что их роднит моральная позиция: это не только борьба за физическое существование, это борьба за веру в человека, в его возможности. Жестокости судьбы человек противопоставляет свое достоинство, верность долгу. Повесть Айтматова пронизана верой в смысл человеческой деятельности, в смысл человеческой жизни. Збигнев Плажевский высоко оценивает исторический роман известного эстонского писателя Яана Кросса «Три чумы».

Сборнику стихов Е. Евтушенко «Яблоко» посвящена статья Эдварда Павлика под названием «Исповедальная поэзия»; о творчестве Ю. Трифонова пишет Богдан Гальстер.

* * *

В издательстве ПИВ в серии «Коллекция советской литературы» вышла двухтомная «Антология советской поэзии». Составитель и автор предисловия известный переводчик Юзеф Вачков дал книге подзаголовок «Стихи ста народов». «Народом ста народов» назвал советский народ Юлиан Тувим в поэме «Цветы Польши». В двухтомнике около 1000 страниц; здесь собраны польские переводы стихов и поэм почти 200 советских авторов, представляющих 22 национальные литературы. Принцип композиции — хронологический. С Валерием Брюсовым соседствует Аветик Исаакян, с Александром Блоком и Андреем Белым — Якуб Колас и Янка Купала. В предисловии составитель напоминает об изданных ранее в Польше антологиях азербайджанской, грузинской, латышской, украинской поэзии, о многочисленных антологиях русской поэзии, о сборниках стихотворений отдельных советских поэтов (около 20), подчеркивая, что в значительной степени новая книга включает уже имеющиеся польские переводы, то есть итог коллективного и многолетнего труда. Составителем учтена работа целого ряда поэтов и переводчиков разных поколений, начиная с Юлиана Тувима, Влодзимежа Слободника и Анатоля Стерна, обратившихся к переводу русской советской поэзии еще в 20-х годах. Вошли в книгу и переводческие удачи последних лет, среди которых и работы самого составителя — его переводы из русской и украинской советской поэзии, в частности новый перевод «Двенадцати» Блока.

«Трибуна люду» откликнулась на выход книги рецензией.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ СТЕФАНА ЖЕРОМСКОГО

В издательстве «Чительник» начало выходить «Полное собрание сочинений» классика польской литературы Стефана Жеромского. В 1979 году читатели получат первый том, в который включены рассказы писателя.

В «Собрание сочинений» войдет все литературное наследие писателя: новеллы, рассказы, романы, драмы, публицистика, дневники и письма.

Предполагается, что «Собрание сочинений» составит сорок томов. Издательский коллектив возглавляет Збигнев Голинский.

В Кракове, в Театре им. Словацкого, прошла премьера спектакля «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова. Театральный критик Зофья Серадцкая выступила на страницах журнала «Театр» с большой рецензией на эту постановку, оценивая спектакль как интересную работу режиссера Ежи Красовского, «который, сохранив дух чеховских пьес, приблизил спектакль к современному зрителю».
На снимке: сцена из спектакля «Вишневый сад».

(Журнал «Театр»)

ПОРТУГАЛИЯ

ЛАБИРИНТ ИЗ ФРАГМЕНТОВ

«О неизменной розе» — новое произведение популярной в Португалии романистки Марии Велью да Кошта. Произведение оригинально по форме, оно содержит философские высказывания М. Велью да Кошта, афоризмы, стихи, близкие к эпиграммам, короткие лирические впечатления-воспоминания. Романистка рассказывает о провинции Алту-Алентежу, о единственной в жизни любви, которая означает для нее обретение безграничной свободы. Книга порождена «апрельскими

мечтами и грезами», стремлением к идеалу. По мнению рецензента, она многозначна, каждый небольшой фрагмент обладает смысловой насыщенностью. Перед читателем проходит жизнь — извечное ожидание счастья, гармонии, верности, человеческой доброты. Поэтому Роза — символ красоты — неизменна, как неизменно стремление женщины к теплу души, к гармонии чувств. Отсутствием единого сюжета, мозаичностью повествовательной структуры книги Марии Велью да Кошта подсказано определение, которое дает ей автор рецензии: «Это произведение — лабиринт».

РУМЫНИЯ

ИТОГОВАЯ КНИГА

Йожеф Мелиус, один из старейших представителей венгерской литературы в Румынии, опубликовал недавно свою новую книгу «Без кофейни». Название это в данном случае означает: «вне дома», «в большом мире»; как известно, для писателей многих стран Европы кофейня, кафе — это и клуб, и рабочий кабинет, место повседневного труда. Недаром одна из предыдущих книг Мелиуса называется «Кофейня иллюзий» — речь в ней идет о кофейне в Клуже, где прошли молодые годы Мелиуса.

Книга «Без кофейни» отражает все лучшее, чего достиг Мелиус в своих художественных поисках, чему научился на своем долгом жизненном и творческом пути. Она необычайно разнообразна по форме и объединяет поэтический дневник и путевые заметки, воспоминания и литературную критику.

Отметивший в январе 1979 года свое семидесятилетие Йожеф Мелиус «не желает разделять в себе художника и политика,— пишет о Мелиусе газета «Непсабадшаг».— Он со всей страстью выступает за то, чтобы в социалистическом обществе полностью раскрылись возможности человека. Его творчество, вся деятельность Мелиуса проникнуты идеями интернационализма, братства, дружбы, взаимопонимания».

США

ДВЕ ЖИЗНИ УИЛЬЯМА ДУБИНА

Герой нового романа Бернарда Маламуда «Жизнь Дубина» (советским читателям его творчество известно по сборнику рассказов «Туфли для служанки»), стареющий нью-йоркский литератор, составивший себе имя написанными им биографиями Линкольна и Марка Твена, испытывает смутную, но неодолимую тоску, болезненно ощущает пустоту и бессодержательность однообразно проходящих лет. Творчество становится для него защитой от повседневности. Перевоплощаясь в героев своих книг, он надеется и для себя самого перенять что-то от этих выдающихся личностей, чья жизнь отмечена масштабностью духовных исканий. И вот та же жажда другой жизни заставляет Дубина заняться ее поисками не за пишущей машинкой, а в реальной действительности.

Критики, откликнувшиеся на появление романа «Жизнь Дубина», единодушно отметили глубину и актуальность коллизий романа, в котором отразился сегодняшний кризис ценностей и идей, охвативший американское общество. В самом характере поисков героя Маламуда различаются приметы этого кризиса: представление о подлинном богатстве бытия для него сливается с иллюзорной этической свободой, исповедуемой той молодежью, которая дорожит только сиюминутными наслаждениями. Занятый работой над биографией английского писателя Д. Г. Лоуренса, в чьих книгах властвует темная стихия эроса, Дубин не в силах противиться искушению испытать на себе ее могущество.

Его роман с недалекой и своекорыстной Фанни Бик, появившейся у Дубинов в качестве прислуги, описан Маламудом в трагикомическом ключе. Нелепость собственного положения угнетает Дубина, однако после измены Фанни, вызвавшей разрыв, для героя начинается полоса еще более затяжной депрессии. В незатейливой истории своего персонажа Маламуд показал присущее типичному современному интеллигенту-американцу недовольство обезличенностью существования и его неспособность что-либо изменить, характерные для него безволие, растерянность и дряблость души. По мнению ряда рецензентов, под пером Маламуда частный случай стал красноречивым свидетельством тупика, в котором сегодня оказалось общественное сознание страны.

Беседуя с корреспондентом «Нью-Йорк таймс бук ревью», Маламуд сказал, что самым сильным художественным влиянием были для него фильмы Чаплина с их «поразительным смешением комического и грустного». На вопрос о том, в чем заключается роль литературы, писатель ответил: «Она обогащает и возвышает дух, она может менять людей и в некоторых случаях способна разгадать загадку бытия... Ей по силам сделать жизнь лучше».

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТЕАТРОВ

В Калифорнийском университете города Санта-Крус проведен Второй всеамериканский фестиваль народных театров. Организаторы фестиваля, выпускники местного университета, заявили: это была «попытка объединить всех, кто занят разработкой теории и практики современного народного театра». Большинство участников смотра вынуждено добывать средства к существованию побочными заработками.

В центре обсуждения находились вопросы финансирования координаций действий, проблемы многонационального театра, а также ряд социальных вопросов: борьба против апартеида,

На снимке: сцена из спектакля «Манифест».
(Газета «Дейли уорлд»)

ограничение гонки вооружений, соотношение труда и отдыха в капиталистическом обществе, эмансипация женщин и другие.

Творческая программа фестиваля открылась выступлением женского театрального коллектива «Лилит» из Сан-Франциско. Зрители увидели пьесу «Манифест» итальянской писательницы Дачи Мараини о борьбе женщин за равноправие. По окончании фестиваля труппа отправится в европейское турне, где, в частности, примет участие в театральном фестивале наций в Гамбурге.

Лестер Коул, известный сценарист и театральный критик, озаглавил свою лекцию — «Американские артисты и политические репрессии». Он рассказал о борьбе американских театральных деятелей за гражданские права после второй мировой войны. Сам автор был одним из членов так называемой «голливудской десятки».

Представленная Ассоциацией искусства Сан-Франциско пьеса «Ткачихи» (авторы Нина Серрано и Джудит Биндер) основана на подлинных судьбах двух женщин, живущих в настоящее время в Калифорнии. Обе посвятили жизнь борьбе с фашизмом, одна в гитлеровской Германии, а другая — в Чили, в наши дни.

«Джулиан театр» показал пьесу «Следствие по делу Бико», документальную драму Нормана Фентона и Джона Блэра, посвященную памяти студента Стивена Бико, противника режима апартеида в Южной Африке, который безвременно погиб от руки агента тайной полиции. По окончании спектакля режиссер-постановщик Ричард Рейнеккиус сказал: «Мы чувствуем важность этой пьесы и надеемся, что вносим посильный вклад в борьбу с бесчеловечной системой, существующей в Южной Африке».

На снимке: Билли Хаттон в роли Стивена Бико.
(Газета «Дейли уорлд»)

Театр мимики и жестов Сан-Франциско недавно отпраздновал свое двадцатилетие. Театр завоевал международное признание в 1977 году на Всемирном театральном фестивале в Нанси (Франция). Зрители тепло встретили новый спектакль театра — пьесу «Электродоллары» о борьбе за объединение рабочих электронной промышленности.

ТУРЦИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА

Стамбульское издательство «Хабара» выпустило первую книгу десятитомного собрания Фахри Эрдинча, одного из крупнейших турецких писателей, много лет прожившего в эмиграции. В первый том вошел роман «Братский дом», рассказывающий о жизни прогрессивных турецких эмигрантов. Роман носит автобиографический характер.

Фахри Эрдинчу посвятил один из своих номеров и стамбульский журнал «Фельсефе» («Философия»). Подробно рассказав о жизненном и творческом пути писателя, он опубликовал выдержки из его писем, высказывания о литературе, образцы его поэзии и прозы, посвященные ему критические статьи известных прозаиков и поэтов, а также беседу с Фахри Эрдинчем в связи с шестидесятилетием художника-борца.

ФРАНЦИЯ

НОВАЯ ПОВЕСТЬ ВЕРКОРА

Вышла в свет новая повесть Веркора «Волчий капкан», которую критики относят к числу его лучших книг. Как пишет Ж. Марсенак в «Юманите», эта небольшая повесть «в будущем несомненно займет место среди произведений, без которых духовная жизнь остается неполной». «Волчий капкан», по словам критика, «вписывается в ту долговременную перспективу, где продолжает звучать «Молчание моря».

Действие «Волчьего капкана» начинается в наши дни, в лесной глуши, где живет вместе со своим отцом, торговцем леса, его юная дочь. Она почти ничего не знает о своей матери и не подозревает о преступлении, тяготеющем над ее отцом. Но вот однажды охотники приносят в дом раненого молодого человека, случайно попавшего в волчий капкан, и девушка узнает страшную историю: отец этого молодого человека в начале войны попал в плен к немцам, а мать тем временем сошлась с другим; вернувшись из плена, отец вступил в Сопротивление, но вскоре был схвачен полицией по доносу любовника своей жены. Мать мальчика потрясена случившимся, но любовник принуждает ее уехать с ним, бросив сына на няньку, которая и воспитала его. Выросши, юноша начинает розыски, которые приводят его в этот тихий лесной дом... Девушка (оказавшаяся его сестрой) ошеломлена страшной правдой и уезжает вместе с братом в Париж.

Ж. Марсенак подчеркивает, что, вопреки впечатлению, которое может возникнуть при пересказе, в повести «нет ничего мелодраматического». А. Вюрмсер считает, что судьба одного преступника имеет куда меньше значения, чем напоминание о совершенных в войну преступлениях. Убийцы среди нас — вот что главное, и книга Веркора, поднимающая эту проблему, помогает французам осознать урок истории. Таким образом, в общей оценке Вюрмсер смыкается с Марсенаком, который видит в Веркоре одного из «главных свидетелей» эпохи 1940—1945 годов и приветствует 75-летнего писателя, решившего напомнить о ней другим, более молодым, «оживить память об этих неизгладимых, подобно незаживающей ране, событиях».

На снимке: кадр из фильма «Мисс».

(Журнал «Нувель критик»)

ФИЛЬМ О «МИСС ФРАНЦИИ»

Последняя лента кинорежиссера Жана Даниэля Симона была посвящена Анджеле Дэвис. Сейчас он снимает свой седьмой фильм — «Мисс» вместе с Жеромом Канапа и Клодом Мэем. Это второй фильм Ж. Д. Симона для французского телевидения.

Фильм «Мисс» рассказывает о судьбе девятнадцатилетней девушки, поддавшейся соблазну и выступившей на ежегодном конкурсе красоты. Заманчивые перспективы открываются перед Вероникой, героиней фильма, благодаря ее победе на этом конкурсе — путешествия, подарки, надежда сниматься в кино, возможность вырваться из скучных будней банка, где она работала программисткой. Оставив в провинциальном городке родителей, жениха и близкую подругу, Вероника приезжает в Париж, превращается в «мисс Францию» и сразу попадает в безостановочную рекламную карусель. В течение года, пролетевшего в непрерывном позировании перед объективами фотокамер, участии в гала-спектаклях, «самая красивая девушка Франции» теряет все свои иллюзии и надежды, получая взамен лишь опустошенность и одиночество.

ФРГ

«ТРУД ДУШИ»

Так называется новая повесть известного западногерманского писателя Мартина Вальзера, вышедшая в издательстве «Зуркамп». Ее главный герой — шофер Ксавер Цюрн. Почти полтора десятка лет он служит у фабриканта Гляйзе, возглавляющего фирму по производству сигнальных устройств. Работа неплохая, и шеф у Цюрна — не грубый эксплуататор, а на вид интеллигентный человек, даже меломан. Страстный поклонник Моцарта, д-р Гляйзе заставляет шофера возить его на оперные спектакли в самые разные концы страны: он пишет книгу об истории постановок мо-

цартовских опер в Германии.

И все же Ксаверу Цюрну вдруг начинает казаться невыносимой эта служба, вся его жизнь. Его мучает бессонница, он чувствует недомогание. Клиническое обследование показывает, что со здоровьем у него все в порядке. Причина его страданий скорей душевная, нравственная. Цюрн вдруг осознает, что рафинированный эстет Гляйзе уже много лет не дает ему почувствовать себя самостоятельной, полноценной личностью. Он по сути не воспринимает своего шофера как живого человека, не считается ни с его временем, ни с его реальными нуждами, проблемами. Цюрн испытывает потребность показать шефу, что он «не просто сочетание верности, усердия, трезвости, он живой, настоящий Ксавер Цюрн».

«Между работодателем и его служащим возникают напряженные отношения, своеобразная борьба, причем в руках у одного из них сильнейшее оружие: он может эксплуатировать другого, не считая его человеком»,— пишет в швейцарском еженедельнике «Вельтвохе» критик Петер Павлик. Вынужденный колесить с Гляйзе по всей Германии, ездить на деловые и личные встречи, на оперные премьеры, Цюрн почти не бывает дома, из-за чего у него складываются напряженные отношения с женой и двумя дочерьми. Возникают навязчивые мысли о самоубийстве. Порой Цюрн готов убить и самого шефа. Тот, наконец, замечает, что шофер становится «ненадежным», и переводит его на должность водителя автопогрузчика.

Финал книги необычно для Вальзера светлый, оптимистичный. Ксавер Цюрн возвращается домой, где преданная, любимая Агнес помогает ему вновь обрести уважение к себе, ощутить себя полноценной личностью. Впервые за долгое время ему удается заснуть безмятежным, счастливым сном.

Критики отмечают мастерское владение формой, проявленное в этой повести писателем. «Никогда прежде Вальзер не писал так уверенно и раскованно»,— считает критик Петер Хамм из еженедельника «Ди цайт».

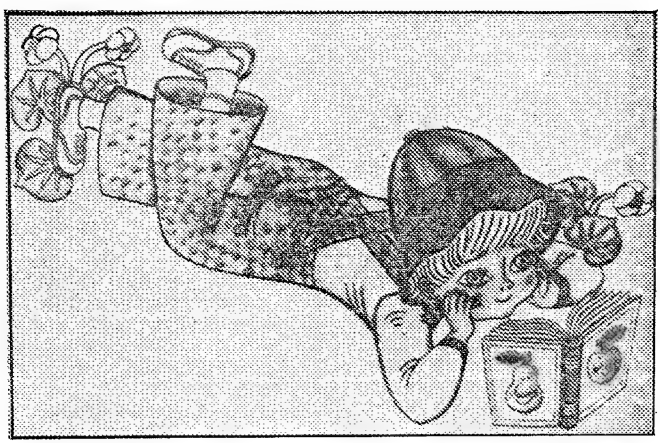
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

О ТОМ, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

Новый фильм режиссера Вацлава Матейки «Соло для старой дамы», созданный по мотивам повести Вали Стибловой «Скорый до Нюрнберга», не отличаясь ни динамизмом действия, ни эффектными поворотами сюжета, полон внутреннего напряжения и заставляет зрителя включаться в идеологический спор.

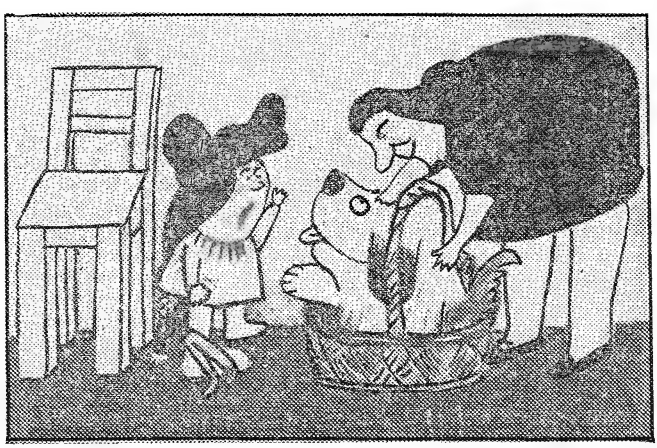
Главная героиня, старая дама Мария Ганова, еще до войны вышла замуж за немца, ставшего впоследствии одним из гитлеровских палачей в оккупированной Чехословакии, и уехала с ним в Германию. Много лет спустя после войны она приехала из ФРГ взглянуть на свою родину и с удивлением обнаружила, что бывшие соотечественники относятся к ней враждебно. Ей казалось, что, раз война кончилась, все должно быть забыто.

О том, что микробом на-



Как уже сообщалось, в пражском зале «Манес» («ИЛ» № 9, 1979) была проведена выставка «Чешские иллюстраторы», посвященная Международному году ребенка.
На снимках: иллюстрация к книге Э. Петишки «Мартинкова хрестоматия» художницы Г. Зматликовой (вверху) и рисунок художника И. Шаламоуна «Макси-пес Фик».

(Газета «Руде право»)



цизма заражены не только сами нацисты, но и так называемые «мирные обыватели», и напоминает новый фильм, посвященный «симпатичной старой даме» из Западной Германии.

Чешская критика отмечает великолепную игру народной артистки ЧССР Иржины Шейбаловой, которая, психологически правдиво и точно рисуя образ старой дамы, убедительно доносит до зрителей глубину и актуальность решаемых в фильме проблем.

На фестивале чешских и словацких фильмов этого года Иржина Шейбалова получила премию за лучшее исполнение женской роли. Премией была отмечена и работа оператора Франтишека Ульдриха.

ЧИЛИ

«ИСЧЕЗНУВШИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ»

Так называется поставленный чилийским режиссером Серхио Кастильей фильм, премьера которого недавно состоялась в столице Кубы Гаване. Исполнитель роли рабочего-революционера Рамиро чилийский актер Уго Медина, который вскоре после установления в Чили фашистской диктатуры Пиночета был заключен в концентрационный лагерь, а в 1975 году вынужден был покинуть свою родину, рассказал в интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде»: «Эта художественная кинолента, основой для которой послужили свидетельства очевидцев, посвящена чилийским патриотам — самоотверженным борцам за свободу народа, которые были арестованы, брошены в фашистские застенки и ныне числятся в обширных списках «пропавших без вести».

События фильма происходят в одном из отсеков секретного ада — в камерах пыток тайной тюрьмы, где при допросах заключенных пиночетовские палачи прибегают к чудовищно-изощренным методам физических и психологических истязаний, само применение которых свидетельствует о бесчеловечной сущности фашизма. Однако и жесточайшие пытки не могут сломить Рамиро — у него крепнет уверенность в неизбежности грядущей победы народа над фашизмом.

Фильм «Исчезнувшие заключенные» является не только обвинением фашистского режима Пиночета, подчеркнул Уго Медина. Это и дань уважения героизму и стойкости «пропавших без вести» чилийских патриотов.

ФАНТАСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ ХОСЕ ДОНОСО

В Барселоне вышел новый роман «Загородный дом» известного чилийского прозаика Хосе Доносо, живущего последние двенадцать лет в Испании.

«Действие романа,— сказал автор в интервью, опубликованном на страницах мадридского журнала «Куадернос пара эль диалого»,— происходит в вымышленной стране, в вымышленную эпоху; в нем изображено прошлое, которое может стать будущим». Местонахождение загородного дома, где в основном и развиваются события романа, таинственно и неясно. Здесь поселилась на время летних каникул семья Вентура. Воображение Хосе Доносо воссоздает, по словам рецензента мадридской газеты «Паис», замкнутый мир семьи Вентура, живущей в роскоши и достатке, хотя вокруг, в девственном лесу, обитают человекоподобные людоеды. Персонажами романа являются также коренные жители этих мест. Работая в шахтах, они добывают золото, которое в конечном итоге стекается в руки хозяев дома. Этот дом обнесен оградой, прутья которой напоминают копья. Она позволяет его обитателям жить спокойно, в абсолютной изоляции от окружающего их опасного и таинственного мира дикой природы.

Как-то раз (события этого дня и стали сюжетным центром «Загородного дома») дети, устав от постоянного подчинения взрослым и устоявшемуся укладу жизни, начали, играя, обламывать ограждающие дом прутья. Закончили эту «игру» местные жители: заняв дом, они стали хозяевами добываемого золота, создателями нового жизненного уклада. Сумрачный парк был быстро преображен в плодоносящий сад. «Загородный дом» — это роман-аллегория. Его обитатели олицетворяют собой верхушку общества, финансовую олигархию, власть. «Аборигены» (те, что вне дома, вне семьи) — это эксплуатируемое коренное население, рабочий класс; дети — новое поколение, новые силы; устрашающие людоеды — «людоеды» реакционной хунты, которая угрожает завоеваниям народа. Так, прибегнув к жанру фантастической сказки, системе аллегорий и символов, чилийский прозаик создал остросоциальное произведение, заключает критик газеты «Паис». «Фантастика, как мне кажется,— заметил в интервью барселонскому журналу «Дестино» Хосе Доносо,— это иное видение реальности, иной источник реальности».

◆

Авторы этого номера

МАКС ВАЛЬТЕР ШУЛЬЦ — MAX WALTER SCHULZ (род. в 1921 г.).

Немецкий писатель (ГДР). Лауреат Национальной премии; действительный член Немецкой академии искусств. Окончил Литературный институт им. Иоганнеса Бехера в Лейпциге и с 1964 года является его директором. Широкую известность получил его роман «Мы не пыль на ветру» («Wir sind nicht Staub in Wind»), вышедший в 1962 г. и знакомый советским читателям по русскому переводу. В 1974 г. вышел в свет его второй роман «Триптих с семью мостами» («Triptychon mit sieben Brücken»). М. В. Шульц является также автором рассказов, очерков, эссе, литературно-критических сборников «Седло и стремя» («Stegreif und Sattel», 1967), «Пиноккио и несть конца» («Pinocchio und kein Ende», 1978). Мы предлагаем вниманию читателей новую повесть М. В. Шульца «Солдат и женщина» («Der Soldat und die Frau». Halle-Leipzig, Mitteldeutscher Verlag, 1978).

ФРИДЛЯНД СОФЬЯ ЛЬВОВНА

Советский переводчик классической и современной литературы с немецкого и скандинавских языков. В переводах С. Фридлянд выходили произведения Иоганна Вольфганга Гёте, Теодора Фонтане, Кнута Гамсуна, Стефана Цвейга, Мартина Андерсена-Нексе, Анны Зегерс, Мартина Вальзера, Эрвина Штриттматтера, Макса фон дер Грюна, Кристы Вольф и др. писателей.

АНХЕЛЬ МАРИЯ ДЕ ЛЕРА — ANGEL MARÍA DE LERA (род. в 1912 г.).

Испанский писатель и публицист. Окончил юридический факультет Гранадского университета. В годы национально-революционной войны в Испании сражался на стороне Республики, после поражения республиканцев провел восемь лет во франкистских тюрьмах и лагерях. Первый роман А. М. де Леры «Забытые» («Los olvidados») вышел в свет, когда автору было 45 лет. В последующие годы А. М. де Лера написал десять романов и несколько публицистических книг. Широкую известность получил его роман «Последние знамена» («Las últimas banderas», 1967) о последних днях республиканского Мадрида. Его произведения переведены во многих странах Европы и Америки. Лауреат нескольких литературных премий. С февраля 1979 г.— президент коллегиальной ассоциации писателей Испании.

В Советском Союзе издан его роман «Земля, где умереть» («Прогресс», 1972).

В этом номере мы начинаем публиковать роман А. М. де Леры «Продается человек» («Se vende un hombre», Barcelona, Editorial Planeta, 1973).

СПАССКАЯ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА

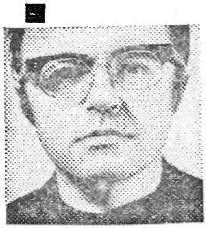
Советский переводчик с испанского и португальского языков. В ее переводе выходили романы Кармен Лафорет «Остров и демоны» (Испания), Хосе Мариа Аргедаса «Глубокие реки» (Перу), Эдуардо Бланко «Сáрате» (Венесуэла) и др. произведения.

РИЧАРД УИЛБЕР — RICHARD WILBUR (род. в 1921 г.).

Американский поэт; лауреат многих литературных премий. Президент Американской академии и Национального института искусств и литературы. Переводчик французской и русской поэзии.

В русском переводе стихотворения Р. Уилбера публиковались в «Иностранной литерáтуре» (№ 9, 1966), в антологии «Современная американская поэзия» («Прогресс», 1975).

Предлагаемые стихи взяты из новой книги поэта «Ясновидящий» («The Mind-Reader», New York and London, Harcourt Brace Jovanovich, 1976).



СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

(род. в 1933 г.).

Советский переводчик с английского. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Роберта Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона; в антологиях и журналах печатались подборки стихов Карла Сэндберга, Роберта Грейвза, Дилана Томаса, Алена Гинзберга и других американских, английских, австралийских, африканских поэтов XX века.

АМРИТА ПРИТАМ

(род. в 1919 г.).

Индийская писательница — поэтесса и прозаик, член Литературной академии Индии, пишет на панджаби. Ею опубликовано более 60 книг — сборники стихов, романы, книги рассказов.

Советские читатели знакомы с ее творчеством по публикациям в журналах, по двум сборникам стихов — «Черная роза» (Ташкент, 1971) и «Тайны сердца» (Алма-Ата, 1977).

В этом номере публикуются фрагменты книги Амриты Притам «Свидетельство оплаты» (Дели, изд-во «Нагмани», 1978).

ЦЮЙ ЦЮБО (1899—1935).

Китайский литературовед, публицист, переводчик. Общественный и политический деятель, видный руководитель КПК. Был первым китайским журналистом, рассказавшим в своих корреспонденциях, очерках и книгах: «Путевые заметки о новой России» и «Впечатления о Красной столице»— правду о молодой Советской республике. В 1935 году расстрелян гоминьдановцами.

ВИДИА НАЙПОЛ — VIDIADHAR SURAJPRASAD NAIPAUL (род. в 1932 г.).

Тринидадский писатель. Пишет на английском языке. Его первый роман «Таинственный массажист» («The Mystic Masseur») вышел в 1957 г. и получил премию Ллевелина Райса, роман «Мигель-стрит» («Miguel Street», 1959) — премию Сомерсета Моэма. С тех пор В. Найпол выпустил еще несколько романов и сборников рассказов.

«Записки ночного портье» взяты из сборника «Флаг на острове» («A Flag in the Island», London, 1967).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017 Москва. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 2/VIII 1979 г. А 03315. Подписано в печать 11/IX 1979 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,69.

Тираж 686.000 экз. (1-й завод: 1—450 000 экз.) Зак. 2565.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394